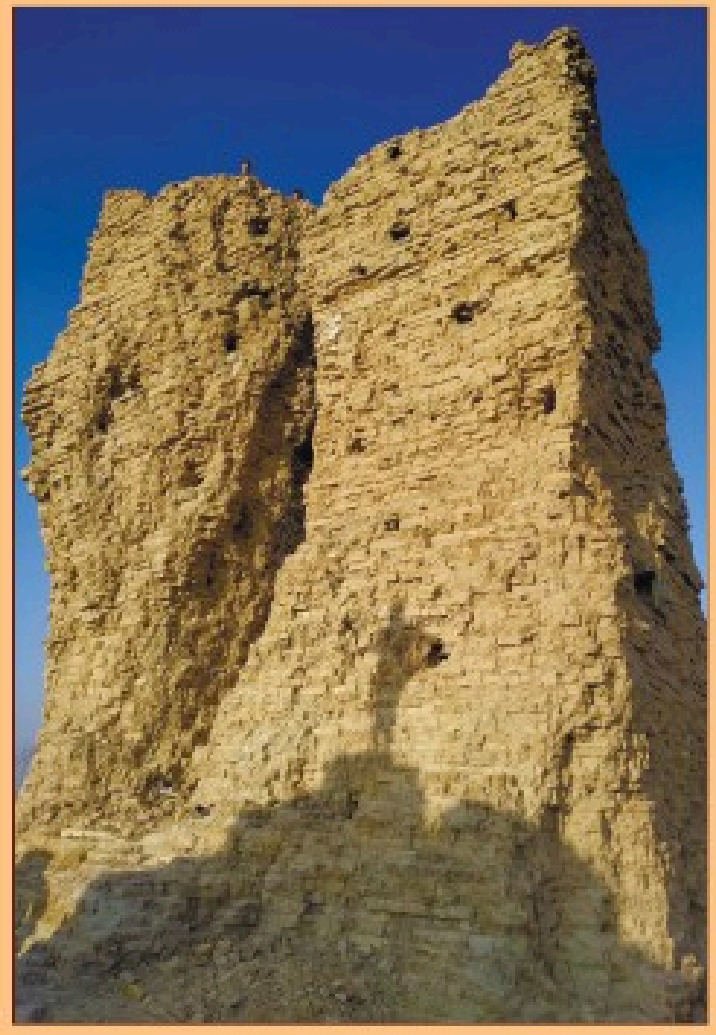
ISSN (Print): 0869-1908
ISSN (Online): 2713-0401

BOCTOK
ORIENS



5
2026

ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ РАН
Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences

Восток (Oriens)

Vostok (Oriens)

№ 5 · 2026

ISSN 0869-1908 (Print)
ISSN 2713-0401 (Online)

Содержание Contents

СТАТЬИ

Ярмолович Виктория Игоревна, Малых Светлана Евгеньевна, Кулькова Марианна Алексеевна **6**

«Chaîne opératoire» керамических форм для выпечки хлеба в Нубии во второй половине I тыс. до н.э.

«Chaîne opératoire» of ceramic bread moulds in Nubia in the second part of the 1st millennium B.C.

Май Наталия Аркадьевна **16**

“Son of a Whore”? More on “Matronyms” in Babylonia

“Son of a Whore”? More on “Matronyms” in Babylonia

Изосимов Денис Александрович **29**

Древнеегипетская должность «начальник портов и пристаней» в царствование Псамметиха I

Ancient Egyptian Office of “Master of Harbors and Docks” during the Reign of Psammethicus I

Китинов Баатр Учаевич, Ратушный Данила **41**

Кэнша □□ и «захороненные заживо» солдаты Чжао: легистский контекст результатов Чанпинской битвы 260 г. до н.э.

Kengsha □□ and the “Buried Alive” Zhao Soldiers: The Legalist Context of the Outcome of the Battle of Changping in 260 BCE

Берзон Екатерина Михайловна **52**

Борсиппа в эллинистический период (по данным клинописных источников)

Borsippa in the Hellenistic Period (According to Cuneiform Evidence)

Федорин Андрей Львович **64**

Главный апокриф вьетнамской историографии «Краткое описание Аннама». Биография его автора Ле Така и история создания и бытования этого источника

The main apocrypha of Vietnamese historiography "Brief Description of Annam". The biography of its author Le Tac and the history of the creation and existence of this source

Гринёв Иван Владимирович **75**

Развитие стратегии обеспечения государственной безопасности Республики Корея в период президентства Пак Чонхи (1961–1979)

Development of the national security strategy of the Republic of Korea during the presidency of Park Chung-hee (1961–1979)

Буй Вьет Хыонг, Чан Нгок Зунг, Зыонг Тхюи Линь **84**

Assistance and Collaborations between Vietnam and Cuba (1960–2025)

Assistance and Collaborations between Vietnam and Cuba (1960–2025)

Кучеренко Григорий Николаевич **96**

Стратегия диверсифицированного хеджирования: сможет ли Хун Манет сбалансировать влияние Китая и Запада?

A diversified hedging strategy: can Hun Manet balance the influence of China and the West?

Кочеров Олег **107**

Стратегические культуры Индии, КНР и РФ в контексте стратегической коммуникации БРИКС

Strategic Cultures of China, India and Russia in the Context of BRICS Strategic Communication

Алнаджар Тарек **119**

Международное посредничество в асимметричном конфликте: американская структурная модель и российская нормативно-фасилитативная роль в палестино-израильском урегулировании

International mediation in an asymmetric conflict: The American structural model and Russia's normative and facilitative role in the Palestinian-Israeli settlement

Белавин Савва Андреевич **132**

Islam, Digital Communication, and the Taliban: Patterns of Internet Use and Online Influence After Coming to Power

Islam, Digital Communication, and the Taliban: Patterns of Internet Use and Online Influence After Coming to Power

Захаров Иван Андреевич, Горохов Станислав Анатольевич **139**

Механизмы реализации добровольной возвратной миграции: взаимодействие ЕС и стран Западной Африки

Mechanisms of Voluntary Return Migration: the EU Engagement with West Africa Countries

Лисенкова Алена Денисовна **152**

Эволюция стратегических приоритетов Европейского союза в Африке в 2020-е гг.

Evolution of the European Union's Strategic Priorities in Africa in the 2020s

Денисова Татьяна Сергеевна, Костелянец Сергей Валерьянович **163**

Политическая роль женщин в Гане: социокультурные особенности и роль общественных организаций

Women's political role in Ghana: sociocultural specifics and the role of civil society organizations

Соколов Олег Александрович **175**

European Christians (the Franks) in the Exegesis of the Quran and Hadiths (14th-18th centuries)

European Christians (the Franks) in the Exegesis of the Quran and Hadiths (14th-18th centuries)

Никольская Ксения Дмитриевна **186**

«Полезный инструмент» – лютеранский катехет в Тамилнаду (История Раджанаики)

“A Useful Tool”: A Lutheran Catechete in Tamil Nadu (The Story of Rajanaika)

Зарипова Лилия Рафисовна **196**

Межэтнические конфликты в Северо-Восточной Индии: типология и современное состояние

Interethnic Conflicts in Northeast India: Types, Patterns, and Current Trends

Куценков Петр Анатольевич **207**

Архитектура Мали глазами европейцев: поиски прототипа

Mali Architecture throu the Eyes of Europeans: the Search for a Prototype

Петров Александр Юрьевич, Сапрыкина Анастасия Олеговна **220**

Японская политика в отношении Сахалина в 1850-х годах в контексте русско-японских отношений

Japanese Policy on Sakhalin in 1850s in the Context of Russian-Japanese relations

Камбак Бурак **232**

Восточная политика Советской России и Веймарской Германии: сравнительный анализ (1919–1925)

Eastern policy of Soviet Russia and Weimar Germany: a comparative analysis (1919–1925)

Гаврюшева Александра Евгеньевна **240**

Немецкая африканистика и исследование доколониального прошлого Африки (конец XIX – начало XX вв.)

German Africanistics and the Investigation of Precolonial Africa's Past (Late 19th – Early 20th Centuries)

Прусаков Дмитрий Борисович **252**

О "британской щедрости" в свете одной египтологической гипотезы

On the "British generosity" in the light of an egyptological hypothesis

Виноградова Наталия Матвеевна **260**

Каменные косметические сосуды из погребений раннего бронзового века могильника Фархор в Южном Таджикистане

Stone Cosmetic Vessels from the Early Bronze Age Burials of the Farkhor Ground in Southern Tajikistan

Аникеева Татьяна Александровна, Чмилевская Илона Алексеевна **270**

Коллекция Магомед-Галиба Садыки в Институте востоковедения РАН: рукописи и документы Южного Дагестана XIX–XX вв.

The Collection of Magomed-Galib Sadyki at the Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences: Manuscripts and Documents from Southern Dagestan, 19th–20th Centuries

Чориев Шахзод Холтура угли **280**

Сочинение «Байан-и дастан-и саргузашт-и ʿАбд ал-Гафур Туркистани» в рукописи Российской национальной библиотеки: проблемы атрибуции и датировки

The Manuscript of "Bayān-i dāstān-i sarguzasht-i ʿAbd al-Ghafūr Turkistānī" in the National Library of Russia: Issues of Attribution and Dating

РЕЦЕНЗИИ

Загребин Алексей Егорович, Устьянцев Герман Юрьевич **292**

[Рец. на:] Шаронов А.М. Масторава: 5-е издание, исправленное и дополненное. Науч. ред. В.В. Наумкин. Саранск: Научный центр социально-экономического мониторинга, 2022. 512 с. ISBN: 978-5-7103-4300-5

[Review of:] Sharonov A.M. Mastorava: 5th edition, revised and expanded. Ed. by V.V. Naumkin. Saransk: Scientific Center for Socio-Economic Monitoring, 2022. 512 p. ISBN: 978-5-7103-4300-5

СТАТЬИ

ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

DOI: 10.31696/S086919080038188-3

«CHAÎNE OPÉRATOIRE» КЕРАМИЧЕСКИХ ФОРМ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ ХЛЕБА В НУБИИ В I ТЫС. ДО Н.Э.

© 2026 В.И. ЯРМОЛОВИЧ [a], С.Е. МАЛЫХ [b], М.А. КУЛЬКОВА [c]

[a, b] – Институт востоковедения РАН, Москва, Россия
[a] – ORCID: 0000-0001-9306-5433; viktoriya.yarmolovich@yandex.ru
[b] – ORCID: 0000-0002-2077-7285; malyh2002@mail.ru
[c] – РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург, Россия
ORCID: 0000-0001-9946-8751; kulkova@mail.ru

Резюме: *В статье предлагается реконструкция операционной цепи особого вида керамических изделий Нубии, заимствованного от Древнего Египта – сосудов, использовавшихся для выпечки хлебов-конусов. Материал, послуживший основным источником для исследования, был получен во время работ совместной Российско-суданской археологической экспедиции Института востоковедения РАН и Национальной корпорации древностей и музеев Судана (NCAM) на памятнике Гебель Баркал (4-й порог реки Нил) в 2020 и 2021 гг. Экспедиция изучала область к северу от основной доминанты археологической зоны – Большого храма бога Амона. Подобные сосуды чаще всего называют «хлебными формами» или «хлебными конусами», что отражает их первичную функцию. На территории Нубии они использовались для выпечки конического хлеба, приносимого в жертву богу Амону. Большие концентрации (керамические сбросы) подобных сосудов были найдены вблизи нубийских храмов этого бога. В Гебель Баркале находится один из таких керамических сбросов, занимающий территорию порядка 9500 кв.м. Для восстановления операционной цепи были использованы археологические и естественнонаучные методы исследования. Петрографический анализ установил, что в качестве сырья применялись каолинит-смектитовые и каолинитовые глины с добавлением различных примесей, обожженные при температуре от 700 до 900°C. Данные разновидности глин характерны для нильской долины у Гебель Баркала. Формовка происходила лепным способом на болванках-патрицах, после чего сосуды сушились до обжига. Гончарные мастерские, производившие данный вид продукции, должны были располагаться поблизости от керамического сброса, о чём свидетельствует гончарный брак, найденный в значительных количествах на его поверхности и в заложенных в ходе раскопок шурфах. Таким образом, исследуемые в статье хлебные формы, относящиеся к Напатскому и Мероитскому периодам (VII–I вв. до н.э.), вероятно, были изготовлены в непосредственной близости от храма бога Амона в Гебель Баркале.*

Ключевые слова: Древний Судан, Древний Египет, Нубия, царство Напата, царство Мероэ, Гебель Баркал, храм Амона, древнее ремесло, древнее гончарство, суданская керамика, хлебные формы

Для цитирования: Ярмолович В.И., Малых С.Е., Кулькова М.А. «Chaîne opératoire» керамических форм для выпечки хлеба в Нубии в I тыс. до н.э. *Восток* (*Oriens*). 2026. № 5. С. 6–15. DOI: 10.31696/S086919080038188-3

«CHAÎNE OPÉRATOIRE» OF CERAMIC BREAD MOULDS IN NUBIA IN THE 1ST MILLENNIUM B.C.

© 2026 Victoria I. YARMOLOVICH [a], Svetlana E. MALYKH [b], Marianna A. KULKOVA [c]

[a, b] – Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia.
[a] – ORCID: 0000-0001-9306-5433; viktoriya.yarmolovich@yandex.ru
[b] – ORCID: 0000-0002-2077-7285; malyh2002@mail.ru
[c] – Herzen State Pedagogical University, Saint Petersburg, Russia.
ORCID: 0000-0001-9946-8751; kulkova@mail.ru

Abstract: *The article proposes a «chaîne opératoire» for Nubian ceramic conical bread-baking moulds, which was accumulated during the work of the Joint Russian-Sudanese Archaeological Mission of the Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences and the National Corporation for Antiquities and Museums of Sudan at Gebel Barkal in 2020 and 2021. The mission investigated the area north of Amun's Great Temple. Such vessels are most commonly referred to as "bread moulds" or "bread cones", reflecting their primary function. In Nubia they were used for baking conical breads as offerings to the god Amun. Large concentrations ("pottery dumps") of the vessels have been found near Nubian temples dedicated to this deity. One such ceramic concentration is located at Gebel Barkal, occupying an area of approximately 9500 sq m within the site. To reconstruct the «chaîne opératoire», archaeological and scientific research methods were employed. The petrographic analysis established that kaolinite-smectite and kaolinite clays of local origin with the addition of various tempers were used as raw materials for the bread moulds and were fired in pottery kilns at temperatures ranging from 700 to 900°C. The vessels were shaped on conical moulds, and then were dried prior to firing. The pottery workshops produced these vessels should have been located somewhere on the "pottery dump", as evidenced by the rejected pottery found in significant quantities on its surface. Thus, the conical moulds were produced at Gebel Barkal, probably in the vicinity of the Great Temple of the god Amun in the 7th–1st centuries B.C.*

Keywords: Ancient Sudan, Ancient Egypt, Nubia, Napata, Meroitic Kingdom, Gebel Barkal, Temple of Amun, ancient craft, ancient pottery, Sudanese pottery, bread moulds

For citation: Yarmolovich V.I., Malykh S.E., Kulkova M.A. «Chaîne opératoire» of Ceramic Bread Moulds in Nubia in the 1stt Millennium B.C. *Vostok (Oriens)*. 2026. No. 5 Pp. 6–15. DOI: 10.31696/S086919080038188-3

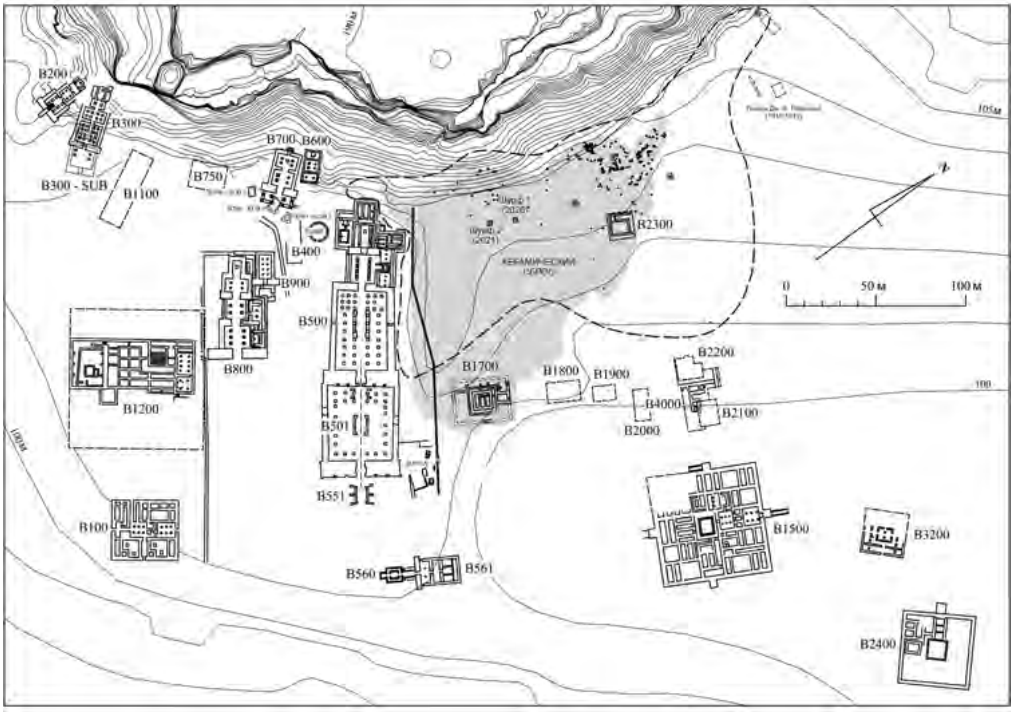


Рис. 1. Общий план памятников у Гебель Баркала: серым цветом отмечена скопление керамики, черными квадратами – шурфы (рис. С.В. Ветохова с дополнениями М.А. Лебедева)

Fig. 1. General plan of monuments near Gebel Barkal: the grey color indicates the “pottery dump”, the black squares indicate the trial pits (drawn by S.V. Vetokhov with additions by M.A. Lebedev)

В статье реконструируется операционная цепь[1] особого вида гончарной продукции – форм для выпечки хлебов-конусов на основе археологических исследований с использованием естественнонаучных методов. Анализируемая группа предметов обнаружена в ходе работ совместной Российско-суданской археологической экспедиции Института востоковедения РАН и Национальной корпорации древностей и музеев Судана (NCAM) в Гебель Баркале[2] в 2020 и 2021 гг.

Экспедиция работала к северу от доминанты храмового комплекса – Большого храма бога Амона (B 500 по нумерации Дж.Э. Райзнера). В частности, была исследована сырцовая платформа здания B 1700 [Лебедев, 2021; Lebedev, 2021] и заложено несколько шурфов в массивном керамическом сбросе (“pottery dump”) (*рис. 1*). В обоих местах выявлено большое количество керамики, характерной для этого региона Нильской долины. Предварительно мы можем заключить, что наибольший процент от общего количества предметов в комплексах составляют конические сосуды с венчиками и донцами различной формы (*табл. 1*). В литературе их обычно называют «хлебными формами» – т.е. формами для выпечки хлеба (“bread moulds”) [Jacquet-Gordon, 1981; Anderson et al., 2007], «хлебными

[1] Chaîne opératoire – понятие, введенное французским антропологом и археологом А. Леруа-Гураном для обозначения этапов производства различных изделий, т.е. последовательности традиционных способов действий, движений и процессов для превращения исходного сырья в готовое изделие, а также его использования и потребления.

[2] Экспедицией руководит к.и.н., с.н.с. ИВ РАН М.А. Лебедев. Авторы признательны ему за предоставленную возможность работы с материалом.

конусами» (“bread cones”) [Nowotnick, 2022, p. 15], а значительно реже – «жертвенными сосудами» (“offering-pots”) [Macadam, 1955, p. 224]. Несмотря на семантическую разницу, эти термины в равной степени характеризуют исследуемые сосуды, отражая их прямое и опосредованное назначение.

Табл. 1. Статистические данные одного кубометра из слоя 115L в здании В 1700 и слоя 122L шурфа 1 керамического скопления (“pottery dump”)

Слой 115L отсека VII здания В 1700	
Венчики хлебных форм	4534
Стенки хлебных форм	17398
Донца хлебных форм	1519
Мелкие фрагменты керамики	68200
Хлебные формы, с археологически целым профилем, или профильные части сосудов других форм	143
Итого фрагментов керамических сосудов:	91794
Слой 122L шурфа 1 на участке керамического сброса	
Венчики хлебных форм	2227
Стенки хлебных форм	17409
Донца хлебных форм	2464
Мелкие фрагменты керамики	58500
Хлебные формы с археологически целым профилем	1
Стенки сосудов (не хлебные формы)	13747
Профильные части сосудов других форм	293
Итого фрагментов керамических сосудов:	94646

Практика использования специальных сосудов для выпечки хлеба уходит глубоко корнями в древние времена истории цивилизаций долины Нила [Jacquet-Gordon, 1981]. Керамические хлебные формы в Египте появляются уже в начале III тыс. до н.э.: их находят в больших количествах в бытовых и погребальных контекстах. За время своего существования в Египте и Нубии они прошли несколько стадий морфологической эволюции от крупных форм с толстыми стенками до относительно тонкостенных и небольших цилиндрических сосудов с круглым или коническим донцем [Jacquet-Gordon, 1981, p. 18, fig. 5]. При этом их назначение оставалось неизменным – служить формами для выпечки крупных или мелких хлебов-конусов.

Коллекция археологически целых и фрагментированных хлебных форм, собранная в ходе работ Российско-суданской экспедиции в Гебель Баркале, позволяет реконструировать этапы их производства и дальнейшего использования.

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ ХЛЕБНЫХ ФОРМ

Керамические хлебные формы происходят из отсека фундаментной платформы здания В 1700 и массивного керамического сброса (“pottery dump”). Оба объекта расположены к северу от Большого храма бога Амона (В 500) (*рис. 1*).

Массивный керамический сброс, занимающий площадь порядка 1 га, представляет собой концентрацию большого количества выброшенных глиняных сосудов вместе с остатками растений, углём, фрагментами кирпичей, камней. С высокой долей вероятности можно заключить, что он сформировался в результате ритуальной деятельности при отправлении культа бога Амона в его храме.

Учитывая интерес к процессу формирования этого археологического объекта, но при этом невозможность изучить его за один сезон из-за масштабов, было принято решение сделать несколько шурфов для изучения стратиграфии и ассортимента керамики, определения датировки, а также для сбора археоботанических образцов. Также были проведены разведки дневной поверхности скопления[3]. Для исследования керамики из шурфа 1 стратиграфического слоя 122L (рис. 2[4]) были использованы те же методы, что и для изучения слоя 115L отсека VII[5].

Здание B 1700 предположительно являлось резиденцией жреца или члена царской семьи (*рис. 1*). Оно было построено на рубеже I в. до н.э. – I в. н.э. (возможно, при царе Натакамани или при его преемниках) на массивной платформе из сырцового кирпича [Лебедев, 2021, с. 93]. Внутри она была разделена стенками на отсеки, заполненные преимущественно глиняными черепками и строительным мусором [Лебедев, 2021, с. 90]. Хлебные формы происходят из стратиграфического слоя 115L отсека VII. Принимая во внимание датировку здания, М.А. Лебедев высказал предположение, что керамический бой, оказавшийся в фундаментной платформе, был взят из массивного керамического сброса (“pottery dump”) [Лебедев, 2021, с. 91]. Вместе с коническими хлебными формами в скоплениях находились и другие сосуды – разнообразные миски, противни, кратеры, тонкостенные сосуды, транспортная тара, лампы.

СЫРЬЁ

Формовочные массы большинства хлебных форм из Гебель Баркала были описаны в полевых условиях. Визуальный анализ теста проводился с помощью лупы с 10-кратным увеличением. Описание включало в себя фиксирование твердости, плотности, тонкости, включений, цвета свежего скола по атласу Munsell Soil Colour Book. Затем была сделана выборка образцов для исследования методом петрографического анализа. Эти образцы отбирались среди сосудов с разными морфологическими признаками, не только хлебных форм, но и у других разновидностей.

Керамические хлебные формы из Гебель Баркала были сделаны из нильской аллювиальной глины (Nile alluvial (silt) clay fabric) – одного из самых распространённых видов сырья для всей долины Нила, залегающего в пойме этой реки [Nordström, Bourriau, 1993, p. 160]. В тесте отмечены примеси мелко рубленной соломы в значительных количествах, окатанного песка, частицы известняка, редкие фрагменты костей животных [Малых, 2022, с. 35]. После обжига изделия приобрели цвет, характерный для этого сырья, – от красного до коричневого.

С помощью петрографического анализа[6] было исследовано 25 образцов. Установление композиционного состава глин и дополнительных примесей позволило выделить среди

[3] Подробнее см.: [Малых, 2022].

[4] Рис. 2–7 см. на цветной вклейке.

[5] Описание методики изучения сосудов и подробная статистика их количества в одном кубометре слоя были опубликованы в: [Ярмолович, 2021].

[6] Петрографический анализ выполнялся на базе ЦКП «Геоэкология» РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург). Пришлифованные образцы исследованы с использованием бинокуляра МБС-1 при увеличении в 16,

проанализированной группы хлебных форм три рецептуры керамического теста. Также были определены температурные характеристики и условия среды обжига сосудов.

В группу 1 (*рис. 3*) входят сосуды, сделанные из тощих каолинитовых глин с примесью 35 % кластического (т.е. обломочного) материала (размер зерен 0,028–0,25 мм). В составе присутствуют полевой шпат, биотит, амфибол. В качестве добавки в формовочную массу подмешивалась измельченная растительность (количество: 15 %; размер: 0,07–1,4 мм), о которой можно судить по порам, образовавшимся в результате выгорания.

Группа 2 (*рис. 4*) разделена на две подгруппы, все хлебные формы попали во вторую подгруппу. Формовочная масса сделана из тощих каолинитовых глин (кластический материал составляет 35 %), в составе которых присутствует полевой шпат. В качестве дополнительной примеси использован слабоокатанный песок (количество: 8 %, размер зёрен: 0,28–0,7 мм) и, в незначительных количествах, органические частицы, фиксируемые порами от измельченного тростника.

Глиняная масса образцов, вошедших в группу 3, изготовлена из тощих каолинит-смектитовых глин (кластический материал составляет 35 %; размер зёрен – 0,028–0,25 мм) с биогенными карбонатами, полевым шпатом и эффузивами (подгруппа 3.1, в подгруппе 3.2 не отмечен). Наблюдаются поры, возникшие вследствие выгорания органики. По количеству и размеру примесей – песок и измельченная растительность – выделено две подгруппы этой формовочной массы. Подгруппа 3.1 (*рис. 5*)[7] имеет в составе 18 % песка (размер зерен: 0,28–0,7 мм) и 25 % измельчённой растительности (размер пор варьируется от 0,07 до 1,4 мм[8]). У образцов подгруппы 3.2 (*рис. 6*) отмечен песок в количестве 35 % (размер зёрен от 0,5 до 1,0 мм) и поры от выгоревших включений в количестве 25 % (размер 0,07–1,4 мм).

Больше всего хлебных форм выполнено из формовочной массы третьей группы – каолинит-смектитовых глин (10 образцов), в то время как к группам 1 и 2 (каолинитовым) относятся по одному и двум образцам соответственно, остальные принадлежат сосудам других типов.

Макроскопическое исследование формовочных масс хлебных форм с помощью лупы показало, что основная масса материала была сделана из нильской аллювиальной глины. Петрографический анализ по большей степени подтвердил это определение, но позволил внести ряд уточнений в сделанных в полевых условиях определениях сырья. Было установлено, что те формовочные массы, которые в полевых условиях определены как «нильские аллювиальные глины», сделаны из каолинит-смектитовых глин. Также были выделены две группы теста из каолинитовых глин.

Если в случае с каолинит-смектитовыми глинами данные укладываются в привычную гончарную традицию по производству хлебных форм в Нубии, то каолинитовые глины выбиваются из неё. Образцы из каолинитовых глин имеют приблизительно тот же цвет, что и каолинит-смектитовых (то есть нильской аллювиальной глины) – красновато-коричневые оттенки. Древние гончары не выбирали сырьё для своих изделий по химическому составу, они ориентировались на свойства глины, с которыми привыкли работать [Цетлин, 2012, с. 128]. Можно предположить, что на каком-то этапе гебель-баркалские ремесленники сде-

24 и 140 раз. Петрографическое изучение керамики выполнялось в шлифах с поляризационным микроскопом ПОЛАМ-11 при увеличении в 65,7 раз. Фотографии сделаны с помощью поляризационного микроскопа Leica в Ресурсном центре СПбГУ. Для некоторых образцов было проведено исследование с помощью рентгеновской микротомографии (m-CT) на оборудовании SkyScan 1172.

[7] Сосуд, формовочная масса которого стала образцом Обр.Нуб/17, не был зарисован из-за плохой сохранности. Его форма была аналогична сосуду 2020/B1700/115L/Pile2/2, приведённому на рис. 5 в качестве примера.

[8] Размер органических включений мог быть значительно больше. В данном случае указан размер органики для образца в шлифе.

лали формы для выпечки хлеба из каолинитовых глин, получив после обжига продукцию, цвет которых был похож на привычные сосуды из нильской аллювиальной глины.

В составе формовочных масс определены несколько разновидностей отощителей. На текущем этапе результаты носят предварительный характер. Для формирования комплексного понимания сырьевой базы керамики Гебель Баркала необходимо провести дополнительные исследования на большем числе образцов.

Исходное глинистое сырьё гончары обычно брали поблизости от мастерской [Цетлин, 2012, с. 60–61, табл. 5], в нашем случае – на ближайшем берегу Нила. Кратчайшее расстояние от реки до храмового комплекса у подножия горы Баркал около 1,5 км, поэтому логично, что сырьё добывалось в непосредственной близости от памятника, и в нём не было дефицита. Каолинитовые глины также использовались в качестве материала для производства керамики в Верхнем Египте, Нубии и Мероэ [Nordström, Bourriau, 1993, p. 160; Brand, 2013, p. 85], так как распространены в этой области и обычно приурочены к скальным останцам на надпойменных террасах или намывам пустынных вади. Однозначно ответить на вопрос, где именно гончары Гебель Баркала добывали каолинитовую глину, без дополнительных исследований пока что не представляется возможным. Для более точного определения источников следует провести дополнительные анализы с отбором отложений глин на памятнике и вокруг него и определения химического состава их вместе с керамикой (например, XRF и SEM-EDX). Эта задача для будущих исследований, когда экспедиция сможет возобновить работы на памятнике.

ФОРМОВКА ИЗДЕЛИЙ

Облик большинства хлебных форм отличается неаккуратностью исполнения: их внешние стенки грубые, без заглаживания, на них видны крупные минеральные и органические включения.

Формовка анализируемой группы сосудов происходила методом ручной лепки при помощи конической болванки-*патрицы*. На это указывают следы на самих изделиях и направление формовочной массы [Ярмолович, 2021, с. 103–104; Малых, 2022, с. 34]. Подобная технология изготовления была отмечена у хлебных форм из Мероэ и Дангейла; более того, в последнем была найдена патрица-конус из желтого песчаника [Anderson, Ahmed, 2006, p. 97–99, col. pl. XLIII; Nowotnick, 2018, p. 216–217; 2022, p. 27–28]. Использование патрицы позволяло создавать быстро и с минимальными трудовыми затратами большое количество однообразных и одинаковых по объему сосудов для выпечки хлеба. Тем самым в конце операционной цепи пекарни получали небольшие стандартизированные по весу и форме конические хлеба значительными партиями.

Сосуды формовались кверху донцем, и, судя по гончарному браку, найденному на дневной поверхности керамического сброса в Гебель Баркале, для облегчения снятия сырого изделия с патрицы его поверхность посыпалась кварцевым песком, который частично налипал на внутреннюю часть сосуда [Малых, 2022, с. 34, рис. 7]. Донца защипывались пальцами (*рис. 4–6*: Обр.Нуб/15, Обр.Нуб/17, Обр.Нуб/21, Обр.Нуб/22); иногда излишек глины откручивался (*рис. 6*: Обр.Нуб/18). Равным образом встречаются заглаженные руками округлые и конические донца (*рис. 6*: Обр.Нуб/20, Обр.Нуб/23).

Сформованные изделия размещались в тени мастерских для сушки – производственной стадии, предшествующей обжигу.

ОБЖИГ

В специальной литературе высказывались идеи, что формы для выпечки хлеба не обжигались, как остальная керамика, а высушивались, заполнялись тестом и помещались в печь, где проходили термическую обработку одновременно с хлебом [Breuer, 2012, p. 92]. Такие представления легко опровергаются, прежде всего, технологическими исследованиями, установившими минимальную температуру обжига для керамики из нильской аллювиальной глины в 600°C, что в несколько раз превышает предельную температуру выпечки хлеба. Дополнительным аргументом в этом вопросе служит гончарный брак, в том числе из Гебель Баркала. Из 239 выявленных на поверхности керамического сброса (“pottery dump”) бракованных хлебных форм[9] 63 образца представляют собой конгломераты двух и более спекшихся сосудов, вставленных один в другой (*рис. 7*). Компактное размещение сосудов путем вставки один в другой – известный общемировой прием для экономии места в гончарном горне, позволяющий значительно сократить затраты на топливо при обжиге.

Свой цвет – от серовато-коричневого до красного – керамические хлебные формы из Гебель Баркала приобрели в результате окислительного обжига при температурах между 600 и 800°C [Nordström, Bourriau, 1993, p. 165]. Проведённый петрографический анализ[10] позволил установить, что изученные сосуды были обожжены при температурах от 700 до 900°C: сосуды групп 1 и 2 прошли обжиг при температуре от 750 до 900°C, сосуды группы 3 – от 700 до 800°C. Несмотря на то, что собранные данные охватывают только общие температурные показатели и относятся к ограниченному числу сосудов, они соответствуют температурным значениям для обжига нильской аллювиальной глины, установленным благодаря многочисленным исследованиям керамики долины Нила [Nordström, Bourriau, 1993, p. 165]. Для огнеупорных каолинитовых глин требовалась более высокая температура обжига, что и демонстрируется сосудами групп 1 и 2.

После обжига изделия некоторое время оставались в печи, чтобы остыть. Как указывает П. Николсон, период остывания зависел от многих факторов – «от условий и интенсивности обжига, окружающей среды и устойчивости сосудов к термическому шоку» [Nicholson, 1993, p. 104]. По завершению этого процесса формы были готовы к использованию и поступали храмовые пекарни. Дополнительной обработки сосудов после обжига не отмечено.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Судя по присутствию многочисленных образцов бракованных (спекшихся, деформированных и пережженных) хлебных форм на современной дневной поверхности керамического сброса (“pottery dump”), а также в заложенных здесь шурфах (*рис. 7*), гончарное производство располагалось вблизи храма Амона, к северо-востоку от него, у подножия горы Баркал[11]. По сопутствующему материалу гончарный брак, собранный у подножия скалы, может быть датирован III–I вв. до н.э. [Малых, 2022, с. 35–38]. Соответственно, к этому же хронологическому интервалу следует отнести и собственно гончарное производство, являвшееся подсобным для хлебопекарен храма Амона в Гебель Баркале. Более того, с учетом более ранней датировки VII–III вв. до н.э. некоторых хлебных форм из шурфов, заложенных на территории керамического сброса [Ярмолович, 2021, с. 102], можно гово-

[9] Гончарный брак, выявленный на поверхности керамического скопления (“pottery dump”) был опубликован ранее в: [Малых, 2022].

[10] Подробное описание признаков, использованных для определения температур, см. в [Кулькова, 2015, с. 104–105; Nicholson, 1993, p. 117].

[11] Подробнее см.: [Малых, 2022, с. 39–40].

рить о длительном существовании пекарен и гончарен при храме Амона на протяжении Напатского и Мероитского периодов.

Равным образом гончарный брак от производства хлебных форм был выявлен специалистами в Дангейле [Anderson, Ahmed, 2006, p. 97–98]. Это также послужило основанием для исследователей предположить, что где-то на этом памятнике располагались конструкции для обжига этих изделий, а они сами производились около храмов – основного заказчика и потребителя хлеба, для выпечки которого они были нужны.

В производствах, как древних, так и современных, соблюдение всей операционной цепи (chaîne opératoire) необходимо для того, чтобы получить в результате продукцию, на производство которой затрачены человеческие, временные и природные ресурсы. В гончарном деле особенно это важно на этапе обжига, так как именно термическая обработка керамики при определенных температурах делает сосуды прочными, но лишает глину пластичности. Следовательно, после обжига сосуды нельзя переделать, что делает эту производственную стадию наиболее ответственной [Nicholson, 1993, p. 103]. Незнание или несоблюдение технологических условий увеличивает шансы на неблагополучное течение обжига, в результате чего появляется гончарный брак, наподобие обнаруженного в 2020–2021 гг. Российско-суданской археологической экспедицией у подножья горы Баркал в Судане.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

Кулькова М.А. Петрографический анализ в оценке формовочных масс при изучении древней глиняной посуды. *Самарский научный вестник*. 2015. № 3 (12). С. 100–107 [Kulkova M.A. Petrography for Assessment of Moulding Compound of Ancient Pottery. *Samara Journal of Science.* 2012. No. 3 (12). Pp. 100–107 (in Russian)].

Лебедев М.А. Раскопки элитного здания B 1700 в Гебель Баркале (Судан): предварительные результаты сезона 2020 г. *Вестник Института востоковедения РАН*. 2021. № 2. С. 86–95 [Lebedev M.A. Excavation of Elite Building B 1700 at Gebel Barkal (Sudan): Preliminary Results of the Season 2020. *Journal of the Institute of Oriental Studies RAS*. 2021. No. 2. Pp. 86–95 (in Russian)].

Малых С.Е. Гончарный брак в Гебель Баркале: к вопросу о локализации керамических мастерских в царстве Мероэ (Судан). *Восток (Oriens).* 2022. № 5. С. 28–42 [Malykh S.E. Rejected Pottery in Gebel Barkal: Revisiting the Localisation of Ceramic Workshops in the Kingdom of Meroe (Sudan). *Vostok (Oriens).* 2022. No. 5. Pp. 28–42 (in Russian)].

Цетлин Ю.Б. Древняя керамика. Теория и методы историко-культурного подхода. М.: ИА РАН, 2012 [Tsetlin Yu.B. *Ancient Ceramics. Theory and Methods of Historical and Cultural Approach.* Moscow: IA RAS, 2012 (in Russian)].

Ярмолович В.И. Хлебные формы из Гебель Баркала (Судан): результаты исследований полевого сезона 2020 г. *Вестник Института востоковедения РАН*. 2021. № 2. С. 96–104 [Yarmolovich V.I. Bread Moulds from Gebel Barkal (Sudan): Results of the Study in the Field Season 2020. *Journal of the Institute of Oriental Studies RAS.* 2021. No. 2. Pp. 96–104 (in Russian)].

Anderson J.R., Ahmed S.M. Bread Moulds and ‘Throne Halls’: Recent Discoveries in the Amun Temple Precinct at Dangeil. *Sudan & Nubia. The Sudan Archaeological Research Society Bulletin.* 2006. No. 10. Pp. 95–101.

Anderson J.R., D’Andrea A.C., Logan A., Ahmed S.M. Bread Moulds from the Amun Temple at Dangeil, Nile State – an Addendum. *Sudan & Nubia. The Sudan Archaeological Research Society Bulletin.* 2007. No. 11. Pp. 89–93.

Brand M. Dangeil, A Preliminary Report on the Petrography. *Sudan & Nubia. The Sudan Archaeological Research Society Bulletin.* 2013. No. 17. Pp. 78–89.

Breuer S. *Täglich Brot. Die Brotformen in Naga, Sudan.* Magisterarbeit. Berlin: Freien Universität, 2012.

Jacquet-Gordon H. A Tentative Typology of Egyptian Bread Moulds. *Studien zur altägyptischen Keramik*. Hrsg.: Arnold Do. Mainz am Rhein: Phillip von Zabern, 1981. Pp. 11–24.

Lebedev M.A. Archaeological Works to the North of the Great Amun Temple at Jebel Barkal (Sudan): Preliminary Results and New Perspectives. *Vostok (Oriens)*. 2021. No. 4. Pp. 36–47.

Macadam M.F.L. *The Temples of Kawa.* Vol. II. *History and Archaeology of the Site.* Oxford: Oxford University Press, 1955.

Nicholson P. The Firing of Pottery. *An Introduction to Ancient Egyptian Pottery.* Do. Arnold, J. Bourriau (eds.) Mainz am Rhein: Philipp von Zabern, 1993. Pp. 103–120.

Nordström H.-Å., Bourriau J. Ceramic Technology: Clays and Fabrics. *An Introduction to Ancient Egyptian Pottery.* Do. Arnold, J. Bourriau (eds.) Mainz am Rhein: Philipp von Zabern, 1993. Pp. 146–189.

Nowotnick U. Napatan Ceramics from the Excavations at the Royal Baths in Meroe. *Céramique Égyptiennes au Soudan ancient. Importations, imitations et influences. Cahiers de la Céramique Égyptienne*. Vol. 11. R. David (ed.) Le Caire: IFAO, 2018. Pp. 209–230.

Nowotnick U. *Ceramic Technology, Production and Use in an Urban Settlement on the Middle Nile: The Pottery Assemblage from Late Meroitic Hamadab, Sudan (2nd to 4th Century A.D.).* (*Archäologische Forschungen in Afrika* 1). Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag, 2022.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ / INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

ЯРМОЛОВИЧ Виктория Игоревна – кандидат исторических наук, научный сотрудник Института востоковедения РАН, Москва, Россия.

Victoria I. YARMOLOVICH, PhD (History), Research Fellow, Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia.

МАЛЫХ Светлана Евгеньевна – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, Москва, Россия.

Svetlana E. MALYKH, PhD (History), Senior Research Fellow, Institute of Oriental Studies Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia.

КУЛЬКОВА Марианна Алексеевна – доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры геологии и геоэкологии факультета географии РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург, Россия.

Marianna A. KULKOVA, Doctor of Geological and Mineralogical Sciences, Department of Geology and Geoecology, Herzen State Pedagogical University, Saint Petersburg, Russia.

Иллюстрации к статье В.И. Ярмолович, С.Е. Малых, М.А. Кульковой

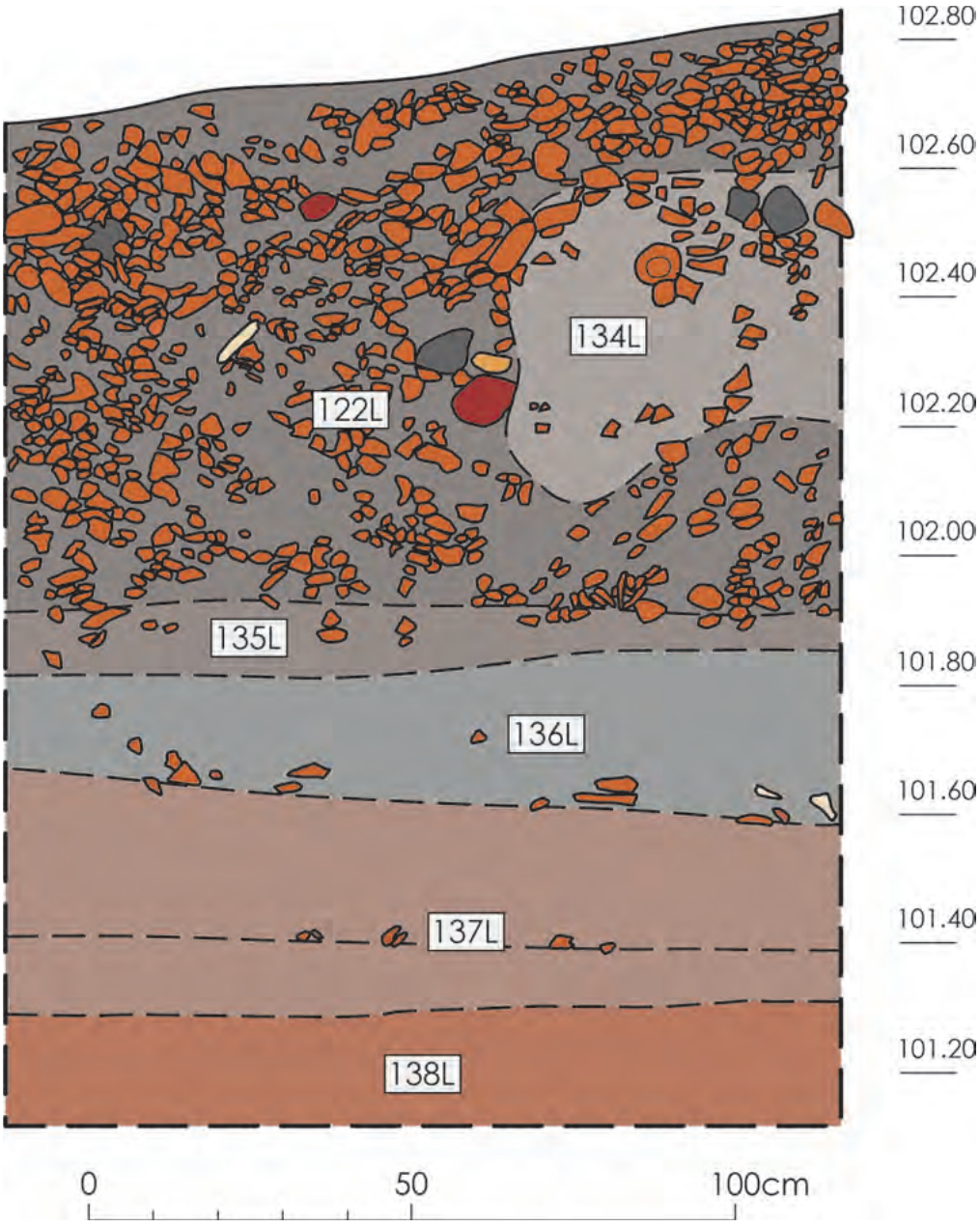
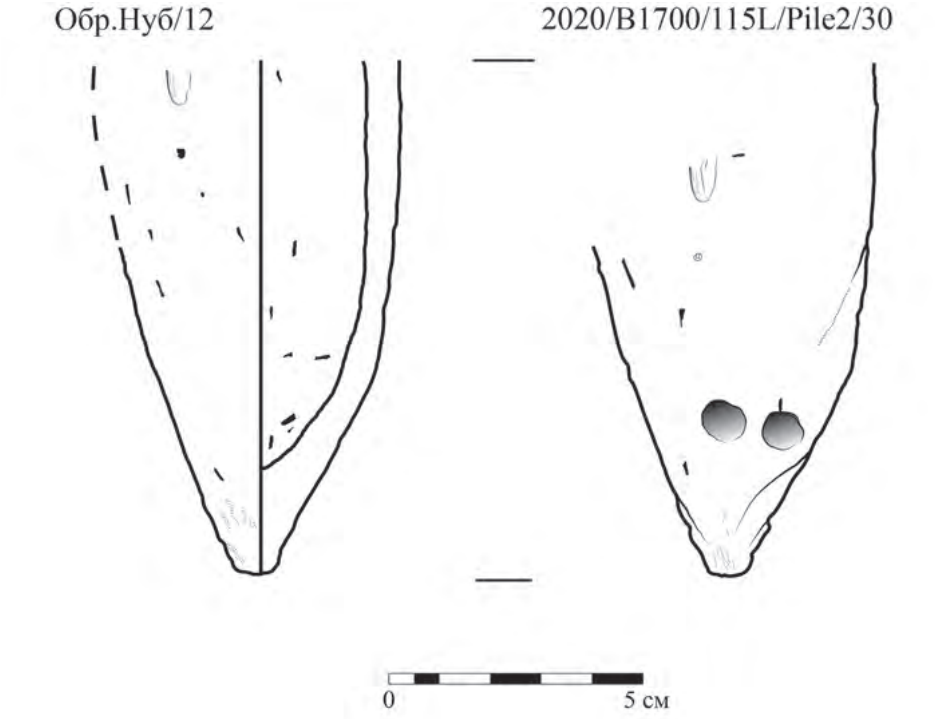


Рис. 2. Стратиграфия шурфа 1 на керамическом скоплении в Гебель Баркале (рис. М.А. Лебедева)
Fig. 2. Stratigraphy of the trial pit 1 at the “pottery dump” in Gebel Barkal (by M.A. Lebedev)



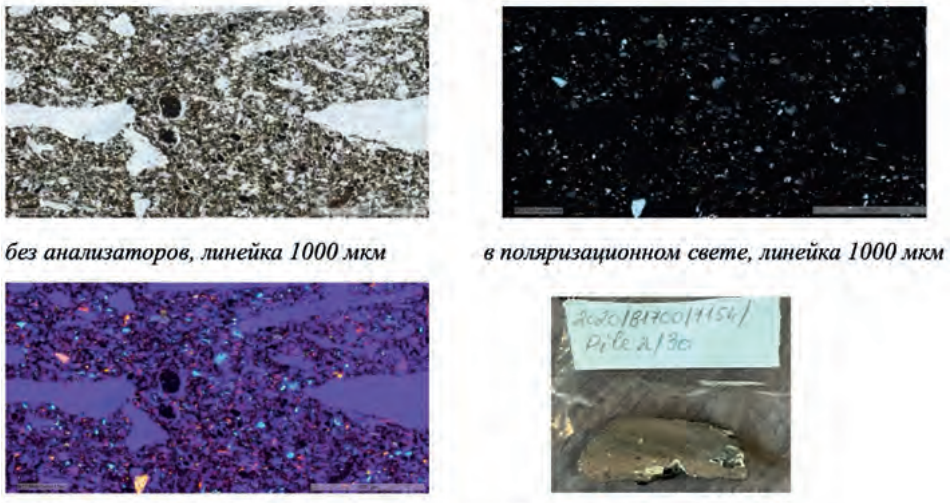


Рис. 3. Донце хлебной формы из формовочной массы группы 1. Фотографии формовочной массы группы 1 (рис. В.И. Ярмолович, фото М.А. Кульковой)

Fig. 3. Base of a bread mould made of fabric group 1. Photos of fabric group 1 (drawn by V.I. Yarmolovich, photographed by M.A. Kulkova)

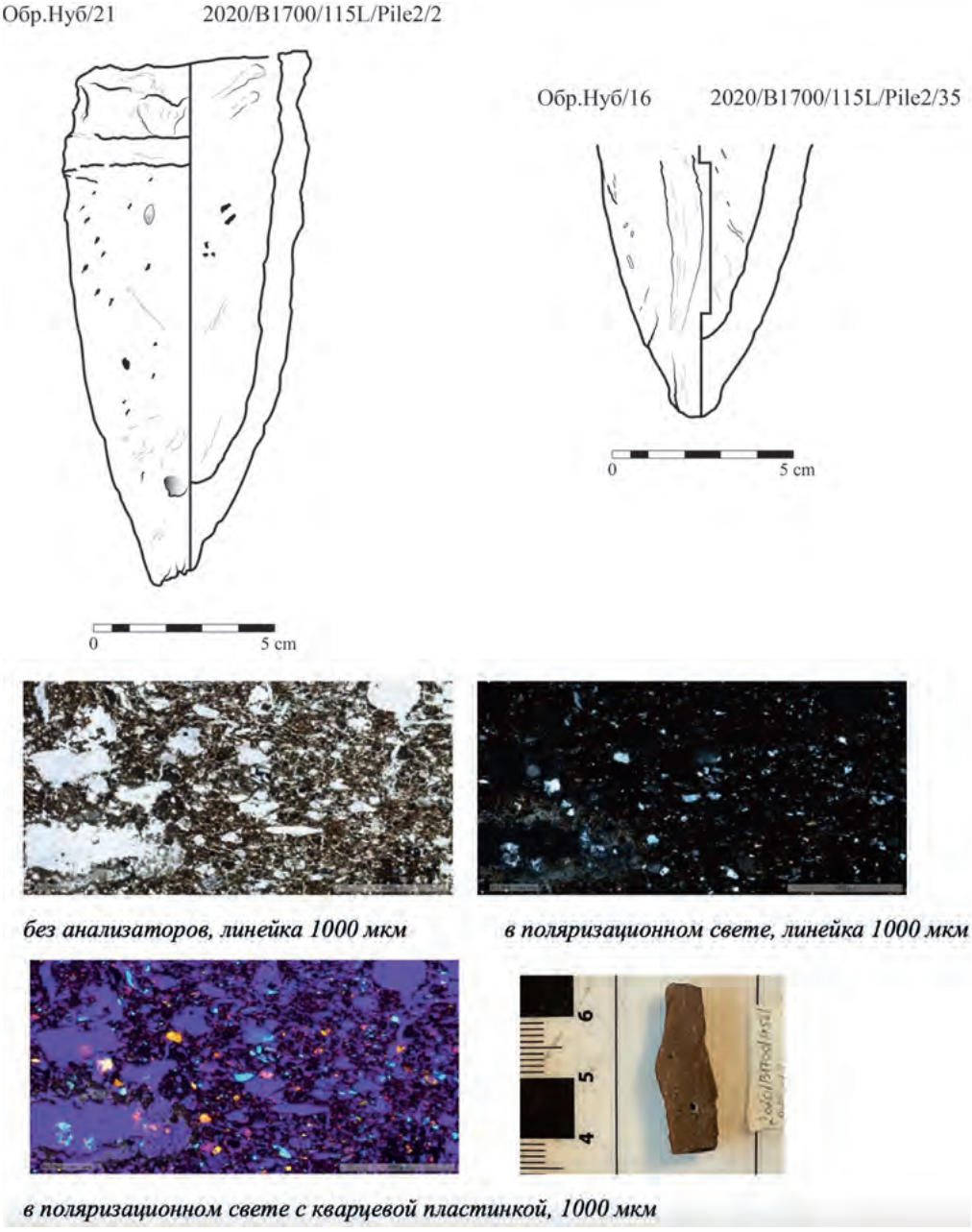


Рис. 4. Хлебная форма и донце хлебной формы, изготовленные из формовочной массы подгруппы 2.2. Фотографии формовочной массы подгруппы 2.2 (рис. В.И. Ярмолович, фото М.А. Кульковой)
Fig. 4. Bread mould and base of a bread mould, both made of fabric subgroup 2.2. Photos of fabric subgroup 2.2 (drawn by V.I. Yarmolovich, photographed by M.A. Kulkova)

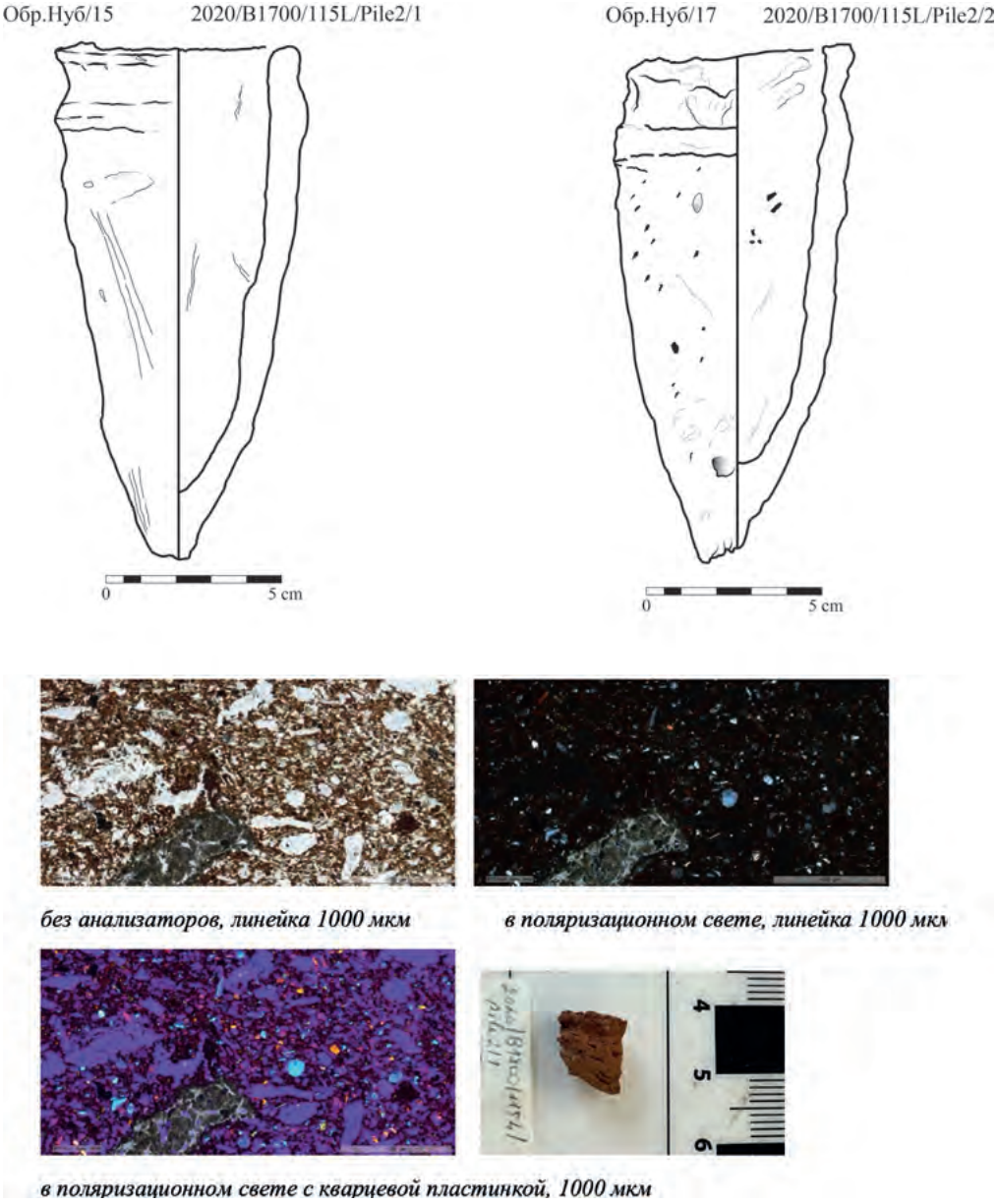


Рис. 5. Хлебные формы из формовочной массы подгруппы 3.1. Фотографии формовочной массы подгруппы 3.1 (рис. В.И. Ярмолович, фото М.А. Кульковой)

Fig. 5. Bread moulds made of fabric subgroup 3.1. Photos of fabric subgroup 3.1 (drawn by V.I. Yarmolovich, photographed by M.A. Kulkova)

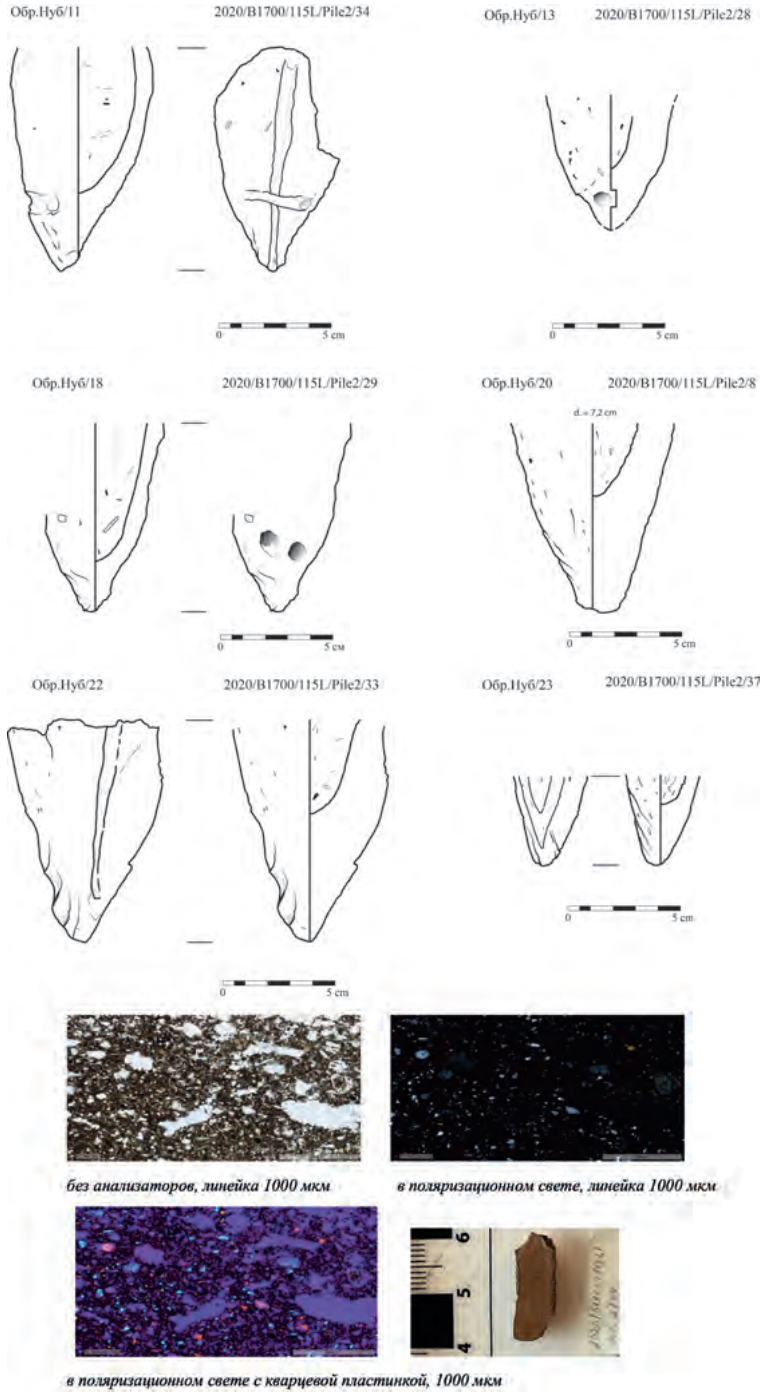


Рис. 6. Донца хлебных форм, сделанных из формовочной массы подгруппы 3.2. Фотографии формовочной массы подгруппы 3.2 (рис. В.И. Ярмолович, фото М.А. Кульковой)

Fig. 6. Bases of the bread moulds, made of fabric subgroup 3.2. Photos of fabric subgroup 3.2 (drawn by V.I. Yarmolovich, photographed by M.A. Kulkova)



Рис. 7. Образцы гончарного брака из Гебель Баркала: JB20/PD1/122/S/79 из шурфа, остальные – из керамического скопления, демонстрируют технологический прием вставки одного сосуда в другой для экономии места в гончарном горне (фото С.Е. Малых, В.И. Ярмолович)

Fig. 7. Samples of production waste from Gebel Barkal: JB20/PD1/122/S/79 from the trial pit, the rest from the "pottery dump", demonstrating the technological method of inserting one vessel into another to save space in a pottery kiln (photographed by S.E. Malykh, V.I. Yarmolovich)

ДРЕВНИЙ ВОСТОК

DOI: 10.31696/S086919080039745-6

“SON OF A WHORE”? MORE ON “MATRONYMS” IN BABYLONIA

© 2026

Natalie N. MAY [a]

[a] – The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem, Israel
ORCID: 0009-0006-2799-8642; natalie.may@mail.huji.ac.il

Abstract: *The article explores the use of matronyms and matronymic family names in Babylonia in diachronic perspective. Researches into matronyms were undertaken separately for each period — the Old, Middle and Neo-Babylonian, but there was no attempt to study this phenomenon in its development. The inconsistent use of personal determinatives constitutes a challenge for the research goals. Matronyms, though rare, appear as early as the Old Babylonian period; masculine determinatives prefixed to female names reflected scribal convention rather than gender designation. In the Middle Babylonian period, matronyms could replace patronyms for servile personnel and be applied to members of female-headed extended families. Unsystematic application of determinatives and use of matromyms derived from the names of the heads of extended families, persisted into the Neo-Babylonian period. References to a mother’s status, such as the designations* mār ḫarimti, *“son of a whore” or* mār zakīti, *“son of a freed woman”, functioned not as family names but as indicators of reduced legal rights and social standing, as seen in disinheritance cases.*

Over time, indicating a mother’s status or profession often took precedence over her name. Matronyms could mark independent women or specify lineage through a maternal grandfather’s household, without implying low status or absence of a legal father. Overall matronyms and maternal designations served specific purposes: denoting social status, legal capacity, or familial structure. Their use was not simply a substitute for a missing father but responded to contextual needs, whether highlighting a woman’s independent role, her household affiliation, or her offspring’s legal rights.

Keywords: matronyms, matronymic family names, Babylonia, social stratification and matronyms, *mār ḫarimti* (son of a whore)

For citation: May N.N. “Son of a Whore”? More on “Matronyms” in Babylonia. *Vostok (Oriens).* 2026. No. 5. Pp. 16–28. DOI: 10.31696/S086919080039745-6

Памяти Игоря Михайловича Дьяконова,
пионера исследования матронимов

A “matronym” actually means a “mother’s name” used with or instead of a patronym. Ancestral names derived from matronyms are understood as “matronymic family names” in this study. Instead of a personal name, an occupational name, an office name or their derivatives can be used as matronyms. As we will see, a person’s “mother name” replacing a patronym is not always the actual name of that person’s mother or even his or her family name[1].

[1] All abbreviations in this article are in accordance with the *RlA*. Archibab = Archives babyloniennes XXe–XVIIe siècles av. J.-C. at https://archibab.fr/home (accessed: 01.05.2026); Prosobab = Prosopography of Babylonia (c. 620–

OLD BABYLONIAN PERIOD

The use of matronyms in the Old Babylonian period was first touched upon by Igor M. Diakonoff regarding the women "not Under Patriarchal Authority" in Old Babylonian Ur [2]. Diakonoff concludes that the Ur texts only provide evidence for women at the top and at the bottom of Old Babylonian society. In his opinion, the use of matronyms is limited to the women of the highest or lowest social strata [Diakonoff, 1986].

In the Old Babylonian period, both masculine and feminine personal determinatives were yet rarely and unsystematically used. In most cases, the absence of determinatives makes it impossible to distinguish between male and female names. Nonetheless, some examples for the use of matronyms in the Old Babylonian period can be traced. The most prominent Old Babylonian instance for applying a matronym instead of a patronym is the inscription on the two seal impressions of Abba, which reads: A-ab-ba / dumu En-an-⸢na-túm⸣-ma / en ^{d}Šeš-ki, "Abba, son of Enanatuma, the high priestess of Nanna"[3]. Enanatuma, the daughter of Išme-Dagān of the First dynasty of Isin, was installed as the high priestess (en) of the Moon god in the beginning of her father's reign. In her inscriptions written in Sumerian[4], she is referred to as the "son" (dumu) of her father, which in the OB period is already an instance of male-gendering a woman [May, 2024, p. 359–362]. Enanatuma was also a *zirru*-priestess. The latter position was apparently even more prestigious than that of the en-priestess since this title always precedes the title "high priestess of Nanna" in Enanatuma's inscriptions. At Ur Enanatuma acts vigorously and carries out extensive construction work in the city's sacred areas. Her standard inscriptions from the time of Išme-Dagān have been found on bricks and cones. She also dedicated her seated statuette to Ningal. In the time of Gungunum of Larsa, who gained control over Ur in his tenth regnal year, Enanatuma kept her position and built the temples of Dagān and Šamaš at Ur for "her life and the life of Gungunum". The latter is called the king of Ur in these building inscriptions of hers. No doubt, Enanatuma was one of the most influential women of her time. Thus, it is not surprising that her son's seal bears his matronym instead of his father's name. Not only the name of Enanatuma but also her high status is indicated in the seal inscription of her son.

It is worth noticing in this conjunction that a masculine determinative with a female name appears in BM 131282[5] in ^{m}GEMÉ—^{d}ŠEŠ.KI[6] NIN.DINGIR, apparently "Amat-Sîn, the high-priestess", who together with her brother, Āllā, gets a repayment of 5/6 mina of silver[7]. It marks probably the first occurrence of the phenomenon of using masculine determinatives for high-positioned women. Another time ^{m}GEMÉ—^{d}EN.ZU is found in ARM 23 622 rev. iii 2′[8]. There it is not a title

330 BCE) at https://prosobab.leidenuniv.nl (accessed: 01.05.2026). This paper was first presented at "Дьяконовские чтения" on 18.04.2025.

[2] Recently, K. de Graef [de Graef, 2022] studied matronyms and conflicting determinatives in the *sukkalmaḫḫu*-period Elam, but Elam can hardly be compared to Babylonia because of the very different social status of women in Elam, where even avuncular succession, real or false, still existed. For the use of matronyms in Nuzi, see K. Grosz [1989, p. 175–176]. In Nuzi men with matronyms apparently were sons of women adopted as sons, as was most plausibly suggested by K. Grosz.

[3] YOS 5 46, 50, 51 (Warad-Sîn 2) = RIME 4 E4.1.4.14. This is the only evidence for this person.

[4] For the inscriptions of Enanatuma, see RIME 4 E4.1.4.1–E4.1.4.4 and E4.1.4.1.13.

[5] = UET 5 267: 8, CDLI no. P415152.

[6] ^{m}GEMÉ-^{d}ŠEŠ.KI /^{d}EN.ZU (^{m}GEMÉ-NANNA) literary means "female servant/slave of Sîn," In UET 5 267: 26 she is called *bé-le-su-nu* NIN.DINGIR, "Their lady, the high-priestess". Archibab presumes that this is the high priestess of Sîn, Likūnu (https://www.archibab.fr/texte/13072?supp=&ref=uet%205%20267&trloo=false&dmin=2020&dmax=0&o=ref,id&page=1&size=25&count=1&i=0).

[7] UET 5 267: 9. See N. N. May for masculine personal determinatives applied to females [May, 2024].

[8] But note GEMÉ ^{d}EN.ZU without any determinative in M.13184 vii 20′, in ARM XXII 43+ v 24, ARMT 22 44+ vii 39′ and so forth [https://archibab.fr/textes?trloo=false&lems=Geme-Nanna&dmin=2020&dmax=0&o=ref,id&page=1&size=25&count=6 (accessed: 01.02.2025)]!

and this woman is not a high priestess of the Moon god, but a servant, a chambermaid of queen Šiptu, but her name is written with the masculine determinative. In this document all names of female servants are written with masculine determinatives. Applying masculine determinatives to the names of queen's servants could indicate that these women held a position of honour, but in Mari female names were frequently written with masculine determinatives.

CT 8 7b[9] from Sippar is a betrothal (*kallūtum*) contract[10] of Elmešum, the "daughter" of Ammiya dated to year 11 of king Ammī-ditāna. The name of Elmešum is written with a masculine determinative in l. 1, but not in l. 10, where a feminine determinative appears. In ll. 12 and 17, the name lacks any determinative at all. Elmešum is designated as a *ḫīrtu* — a wife of a status equal to her husband's (l. 12)[11]. It should be said that the majority of the male names in this contract, including the names of witnesses and the name of king Ammī-ditāna (l. 30), are written without any personal determinatives. The names of the bridegroom (l. 7), the bridegroom's father (l. 13) and the bride's brother or uncle (l. 3) are also written without any classifiers. Only in three cases the bridegroom's (l. 13) and his father's (l. 5) names are preceded by a personal wedge. These two cases are the only instances for using personal determinatives before male names in this document. Such inconsistency regarding determinatives is normal for the Old Babylonian period. The bride's mother(?)[12] is a *kezertum*, a kind of a palace woman [Ziegler, 1999, p. 87–88][13]. Peculiar is that both women — the bride and her mother(?) — maybe are "daughters" of the same man. Diakonoff considered matronyms to be an indication that a person did not have a legal father [Diakonoff, 1986, p. 228, 237]. But in the case of CT 8 7b reference to the grandfather(?) as a patronym might be the matter of a prestigious descent for both women. The *kezertum* and her brother(?) Šumum-libši act as legal guardians of the bride[14]. Because of the text's rather non-standard content, the

[9] BM 78322 = Bu. 88-5-12, 193.

[10] https://archibab.fr/texte/4793?supp=BM%2078322%20&trloo=false&dmin=2020&dmax=0&o=ref,id&page=1&size=25&count=1&i=0 (accessed: 01.02.2025). See R. Westbrook for the Old Babylonian *kallūtum* [Westbrook, 1988, p. 17–18]..

[11] See also my previous publication on this matter [May, 2024, 362–364, 366]. R. Westbrook pointed out that according to the divorce terms proscribed in this contract, she was by no means really equal to her husband [Westbrook, 1988, p. 19].

[12] Or sister(?). Line count here is in accordance with CT 8 7b = Archibab; both R. Westbrook and CDLI mix it up. R. Westbrook reads *ke-ze-er-tum* DUMU.MUNUS *Am-mi-ia um-ma-ša* in CT 8 7b: 2 (his l. 3) and points out that C.B.F. Walker and himself collated the text [Westbrook, 1988, p. 119]. CDLI no. P370431 reads *Am-mi-di-ta-na* LUGAL in CT 8 7b: 2. R. Westbrook, however, provides only collations and not the transliteration of the entire document. The transliteration by J. Renger based on these collations, see https://archibab.fr/img/59496P5876.pdf; (accessed: 01.02.2025) and https://www.archibab.fr/texte/4793?ref=CT%208%207%20&trloo=false&dmin=2020&dmax=0&o=ref,id&page=1&size=25&count=2&i=1 (accessed: 30.03.2026). Archibab follows Walker's and Westbrook's collations, but confuses determinatives used with the name of Elmešum.

It is plausible that the *kezertum* is the mother of Elmešum, since she acts as the latter's legal guardian. The *kezertum* is called the sister of Šumum-libši in l. 12, and he is called her brother in l. 3. Their relation to Elmešum is not indicated according to the copy in CT 8 and in the CDLI transliteration. According to both transliterations, Elmešum, the *kezertum* and Šumum-libši are called daughters and son (respectively) of the same man — either of king Ammī-ditāna, or of a certain Ammiya.

Although the collation of the tablet by the present author in May 2026 proved that there is indeed *Am-mi-ia* in l. 2, the rest of C. Walker's collations cannot be proved or disproved since the ends of ll. 3-4 are effaced. Patronyms of Elmešum and Šumum-libši in ll. 10-11 are effaced too and were restored by J. Renger following l. 2. Archibab uses his transliteration.

[13] CAD still translates *kezertu* as "a prostitute" [CAD K 314–415]. Cf. DUMU^{meš} GEME É.GAL IN MB Ni. 866 [*apud* Brinkman, 2006, p. 42, n. 111].

[14] Another *kezrētum*-related document also provides mother's name or position. In A 141: 3–4 (Kiš[?], reign of Ammī-ditāna) Iddin-Nanaya, the supervisor of *kezrētum* (^{r}m^{1}[*I-di*]*n-*^{r}d*Na*^{1}*-na-a* UGULA ^{f}SUHUR.LÁ^{meš}) rents a field on behalf of his mother, Tārītu(?) (^{f}*Ta*^{1}*-ri-tum um-mi-šu*). Although CAD gives this instance as an example of the *tārītu*, "nursemaid", use as a personal name [CAD T 233a s.v. tārītu 1b], it can be just an indication of her status. Both the mother and the son are obviously "middle class", but might be, nonetheless dependent personnel. Each of the names(?) is written with the proper determinative: his with the masculine, and her with the feminine one.

involvement of the possibly royal lineage and the use of *ḫīrtu* (MUNUS.NITA.DAM or DAM.MUNUS.NITA), which is otherwise attested only in literary texts [May, 2024, p. 362–364, 366][15], I presume that CT 8 7b might be a literary contract or a school exercise.

The maternal grandfather's name instead of a patronym is attested also in UET 5 190, the deed of sale of Abūni, "son" of Aḫumma (DUMU *A-ḫu-*ᵀ*um*ᵀ*-ma*) into slavery. The seller is Abunī's mother Garātum, daughter of Aḫumma (DUMU.MUNUS *A-ḫu-um-ma*), according to the inscription of her seal on this document, which also states that Abūni is her son[16]. Abūni is sold resulting from debts[17], but his mother Garātum had her own inscribed seal; thus, initially she was not a woman of low status and probably even mastered some level of literacy. The case of Abūni and Garātum is probably an instance of a member of a once well-established family being sold into slavery to settle debts of a deceased head of the household[18].

Using the names of maternal grandfathers as patronyms for their daughters' offspring indicates that these daughters belonged to their fathers' households. It does not mean that these daughters were unmarried. In the case of the granddaughter(?) of Ammī-ditāna, using the grandfather's(?) name instead of a patronym could also be a matter of prestige and a reference to her high position.

Most interesting adoption document TMH 10 10a and its envelope TMH 10 10b (28 of Samsuiluna) present another instance of a high-positioned and married woman, which stayed in her father's household. The document states that Tabni-Ištar[19], daughter of Ki-a'aganiše, the *nešakkum*-priest, "is daughter (and) first-born son of her father" (DUMU-MUNUS IBILA[DUMU.NITA]) AD.DA.NA.KAM (TMH 10 10a: 2), and the text on the envelope says that she is the "(female) first-born son of her father's house", MUNUS.IBILA(DUMU.NITA) É ᵀADᵀ.DA x- […][20]. Tabni-Ištar adopts Lipit-Enlil, scribe of the king, son of Tarībum. She gives him the position of her father, the *nešakkum*-priest of Enlil and its subsistence field. He in turn brings one mina of silver to her house upon signing the contract in addition to the obligation to annually provide Tabni-Ištar with various commodities in kind. Interestingly, Tabni-Ištar was not childless[21]. Lipit-Enlil was to compensate Ninurta-muballiṭ and Lu-Ninurta, "his brothers", the sons (DUMU^{me}) of Tabni-Istar.

[15] Recently published IM 8790 [Hussein, 2024] seems to be a real marriage contract where munus-nita-dam is found. According to this OB text (Ha 33) from Nippur written in Sumerian ^{m}*Da-mi-iq—ì-lí-šu* dumu munus-nita-dam-a-ni / šeš-gal, "Damiq-ilišu, son of the his equal-status wife (munus-nita-dam), the elder son", is to share the inheritance with future offspring of Iltani, his father's new wife [IM 8790: 4–6]. Interestingly, the bride, Iltani, is a *nadītum* (lukur) of Nergal. Usage of munus-nita-dam in IM 8790 is akin to that of the OB Lipit-Ištar Code, which is written in Sumerian. There dam-munus-gidlam(nita-dam) is opposed to the dam-egir-ra, the "second wife" (lit. "the wife of after", who married a man after the death of his first wife [Steele, 1948, xvi 24; May, 2024, p. 363]. It should be stressed again that this law code as well as the Laws of Ḫammurabi are literary compositions.

[16] This rather strange burgul seal impression reads as follows: *Ga-ra-tum* / DUMU.MUNUS *A-ḫu-um-ma* / A-ᵀ*bu*ᵀ*-ni* DUMU.NI, "Garātum, daughter of Aḫumma, Abūni is her son".

[17] See also UET 5 185.

[18] This was a standard practice in Ur III to enslave families of officials for their debts [Waetzold, Sigrist, 1993; Wilcke, 2006, S. 106]. Cf., e.g., AAICAB 1/1 = Ashm 1911–237. I am most grateful to Natalia V. Koslova for these references.

[19] The name is written with the masculine determinative.

[20] TMH 10 10b: 3. Cf. TMH 10 15, dated to the 4th year of Rīm-Sîn, in which Narāmtum as the *nadītum* of the god Lugalaba gets from her brothers a share in the family possessions. Her father is alive, so this is actually a will. In TMH 10 15: 27 Narāmtum is called dumu-munus munus-nita nin_9-a-ni, "female-male daughter, his sister." Her name is written sometimes with the masculine determinative (l. 25) and sometimes without any signifier (ll. 27, 28 and in her burgul seal impression). Cases of both Tabni-Ištar and Narāmtum are similar to adoptions of daughters as sons in order to make them heirs in Nuzi, Arappḫa, Emar and Ekalte [May, 2024, p. 365–369 with further literature]. Both women are obviously self-standing. I am most grateful to Victoriya Chenkovskaya for the references to these two texts as well as to IM 8790.

[21] Unlike Zazītu, who lost her son and husband, and had to adopt her own grandson Marduk-rēmanni to perform the duties of the prebends she owned. Typically, Marduk-rēmanni also had to sustain Zazītu until the end of her life [MR 4 (528 BCE); Waerzeggers, 2014, p. 181–182; May, 2022, p. 138].

He gives them five positions in the temple of the goddess Bāba for 6 months *per* year. This was income equal to that of the *nešakkum*-priest of Enlil. Thus, Tabni-Ištar inherited her father's office. Her sons belonged to her and her father's household, as did her unnamed husband. She is called the mother (AMA.NI; ll. 6, 7, 19, 22) of Lipit-Enlil, her elder son (IBILA.GAL.NI; l. 6) or just her son (DUMU.NI; ll. 16, 22). The document is actually the sale of the prebend of the *nešakkum* of Enlil in form of an adoption. To hold this position, Lipit-Enlil had to become Tabni-Ištar's family member and to "inherit" it from her father through her[22]. Tabni-Ištar's name is consistently written with a masculine determinative throughout the entire document, except in the inscription on her burgul seal impression, where her name appears without any determinative.

In UET 5 475 = CDLI no. P415351, a list of silver payments, appears a certain Nanna-mansum, son of a prostitute (^{d}ŠEŠ.KI—MA.AN.SUM DUMU *ḫa-ri-im-ti*)[23]. According to this document, Nanna-mansum and another person (name lost, l. 11) receive the lowest amount of silver — a quarter (IGI.4.GÁL) of a *šekel*(?)[24]. This is evidence of their relatively low status, which in the case of Nanna-mansum probably resulted from the occupation of his mother (or some other female ancestor).

Sîn-gāmil, son of a prostitute (^{d}EN.ZU—*ga-mi-il* DUMU *ḫa-*ˈ*rim*ˀ*-ti*) appears as a witness on a promissory note UET 5 328: 20 [Diakonoff, 1986, p. 228[25]]. He was probably a temple oblate and the son of a temple prostitute[26]. If so, his case is similar to that of sons of *zakītu* in the Neo-Babylonian period[27]. It is worth noting that in the Middle Babylonian period, *ḫarimtu* written with a masculine determinative is, according to J. Antony Brinkman, a family name [Brinkman 2006, p. 32][28].

Typically, in all the few aforementioned references to matronyms or maternal lineage, including the seal of Enanatuma's son, the status of these persons' mother, even if it is as denigrating as a "prostitute", is purposely indicated. Brinkman notices that "occupation names or titles are also used to form personal names for principals in Kassite period texts" [Brinkman, 2006, p. 32]. UET 5 475, UET 5 267, UET 5 328 and CT 8 7b, where the position of the mother serves as a matronym, certainly testify that this was already the case in the Old Babylonian period[29].

---

[22] Cf. TMH 10 18 (Nippur, Si 4). There Ur-Pabilsaĝa, son of Ubārum, whom Narāmtum has adopted as her son (NAM.IBILA.NI.ŠÈ BA.DA.AN.RI.A) is entitled to inherit Narāmtum's property together with her granddaughter Narubtum, daughter of Migir-Enlil, Narāmtum's apparently diceased son (in l. 19 she is called his mother). In this document Ur-Pabilsaĝa keeps his patronym and is never called the son of Narāmtum.

[23] Cf. the later Nuzi text JEN 666, where Musteya, son of the woman Ziliya is claiming the property of the deceased Tarmiya. It seems that Tarmiya before his death disinherited Musteya by proclaiming the latter's mother to be not his wife, but his *harimtu*. In Emar 31 a *ḫarimtu* (KAR.KID) is appointed "for fatherhood and (as) the mother" (*a-na a-bu-ut-ti ù* AMA-*mi*) and called the "father and mother," (*a-ba-šu-nu ù* AMA-*šu-nu*) of her sisters, who are adopted as her sons. For the Middle Babylonian period, see below, p. 24, 27.

J. Cooper points out that sons of prostitutes (PN dumu [PN] geme-kar-kid/kìd/kìd-ke$_4$) are frequently mentioned in Ur III ration lists together with sons of female weavers [Cooper, 2006, S. 16]. He also mentions ^{lú}< DUMU.>KAR.KID in some "fragmentary NA royal appointment text" [*ibid*., without further reference]. But Assyria as well as Ur III are beyond the scoop of this article.

[24] Broken in both cases.

[25] Cf. https://www.archibab.fr/texte/12299?ref=UET%205%20328&trloo=false&dmin=2020&dmax=0&o=ref,id&page=1&size=25&count=1&i=0 (accessed: 01.02.2025) that suggests *Ḫa-*ˈ*la*ˀ*-ti*, apparently meaning "sick (f.)," unattested, but not impossible, as a name.

[26] I.M. Diakonoff suggested that the witness' name in UET 5 92: 32 should be read as $^{md+}$EN.ZU—*ga-mi-il* LÚ [^{d}INNIN] based on LÚ ^{d}INNIN, "man of Ištar" in UET 5 328: 19, and that this might be the same person as Sîn-gāmil in UET 5 328: 20 [Diakonoff, 1986, p. 228].

[27] See below, p. 25, 26.

[28] See below, p. 24, PBS 8/2 158.

[29] J.A. Brinkman points to the use of the occupational names in the Old Akkadian and Old Babylonian periods and even in Late Bronze Emar [Brinkman, 2006, p. 42].

Finally, in UET 5 93 Ludlul-Sîn and Naramtum, son and daughter of Gublātum (*Lu-ud-lu-ul*—$^{d+}$EN.ZU DUMU *Gub-la-tum* (l. 24) and ^{m}*Na-ra-am-tum* DUMU.SAL *Gub-la-tum* (l. 29) are witnesses for adopting a baby. Their matronym is apparently derived from their mother's place of origin — Gublātum, "a woman from Byblos". She, however, was not necessarily a manumitted slave, and nothing indicates that her children were of low status[30].

The mother's status as a slave was important proof that her children were slaves, too[31]. These cases are subjects for a future study. Matronyms proper, *i.e.* mothers' names serving as patronyms, are rare in the Old Babylonian period, and indication of the status of the mother of an individual seem to be more important than indication of her name. But this might be due to our inability to distinguish female personal names from the male ones because of the unsystematic use of determinatives and rarity of feminine determinatives in the Old Babylonian period[32].

KASSITE BABYLONIA

Brinkman collected ample evidence for the use of matronyms and matronymic family names in the Middle Babylonian period. The focus of his paper was, however, on conflicting double determinatives [Brinkman, 2007]. Notwithstanding, his examples include the use of feminine determinatives with matronyms and matronymic family names as well as matronyms and matronymic ancestral names without any determinatives at all. His small note in passing is not less important than the rest of his article: "Lack of personal determinatives is at present confined mostly to patronyms and matronyms [Brinkman, 2007, n. 4. with further examples]". In fact, he meant patronymic (derived from patronyms) and matronymic (derived from matronyms) family names. This is extremely important for us, since this observation makes it clear that personal determinatives, though already consistently applied to personal names in the Middle Babylonian period, were not equally consistently used with ancestral names. Brinkman further notes that in labour rosters of female personnel classifiers are often omitted before the names of women, but the personal wedges before the names of males in similar rosters are not omitted [Brinkman, 2007, p. 2–3].

The emergence of family names is usually associated with the Kassite period [Brinkman, 2006, p. 24][33]. By the time of the Kassites, however, this phenomenon occurs in a rather mature form. It is well known that there is a gap in preserved documentation between the late Old Babylonian period and the Kassite period. It has been shown above that the cases of using a maternal grandfather's name instead of a patronym existed already in the late Old Babylonian period. Evidence for more than one-tier genealogies is also lacking in the Old Babylonian period. In light of the absence of any grammatical or linguistic system that discerns a patronym from a family name in the Old Babylonian period[34], I would cautiously suggest that some family names could have already existed in the Old Babylonian period. In the Kassite period we deal with a

[30] DU can be read as GUB in the Old Babylonian period [Mittermayer, Attinger, 2006, S. 27 (no. 206[350])].

[31] E.g., AbB 1 129 (Sippar, reign of Samsuiluna) where Liwira-ana-ilim is said to be a slave of *nadītum* of Šamaš, because he is the son of the unnamed slave girl of *nadītum* of Šamaš (*um-ma-šu* GEMÉ LUKUR ^{d}UTU).

[32] Thus I.M. Diakonoff considers Lālīkū and Ummī-rīmeda in UET 5 187: 21 and 28–29 respectively to be female names, which is by no means obvious as well as the opposite suggestion [Diakonoff, 1986, p. 227–228].

[33] But see above, the previous page.

[34] For comparison: such lack of distinction in grammatical form between a patronym and a family name was yet standard for commoners in 18th–19th and in some regions even in the beginning of 20th century in Russia, and that on the backdrop of a very developed system of aristocratic genealogies. I.M. Diakonoff describes this situation as follows: "крестьяне… не имели паспорта, а потому и фамилии, а называли себя, при необходимости (например, как раз при получении паспорта…), либо по отцу, либо по деду, и иной раз по имени его, а иной раз по прозвищу" [Diakonoff, 1995, с. 106]. Babylonians did not have passports, but when identification was needed, both men and women apparently used the same pattern as peasants in prerevolutionary Russia.

well-developed practice of using family names, but the lack of determinatives for family names still prevails, though masculine, feminine and double determinatives are already widely applied.

Brinkman has pointed out the ubiquitous use of occupational names as personal names, patronyms and ancestral names. He notes that occupational personal names are known already in Old Akkadian [Brinkman, 2006, p. 24, 42]. As we have seen, the designation of the position or occupation of an individual's mother in a few known Old Babylonian "matronyms" seems to be the main purpose of mentioning the person's mother since it reflects her status and determines that of her offspring.

Brinkman further discusses instances of conflicting gender determinatives in texts from Kassite Babylonia and lists a number of examples from Nippur [Brinkman, 2007]. All these tablets date from 1300 till at least 1232 BCE. Brinkman discerns two patterns of occurrence of parental citation with matronym prefixed by the determinative cluster /mf/: PN_1 DUMU.(SAL) $^{mf}PN_2$, and ø DUMU ^{mf}PN[35] in these tablets. He stresses that all these instances are nothing but citations of parentage [Brinkman, 2007, p. 2–3].

A roster of servile personnel (GURUŠ), CBS 3640, presents most interesting evidence for the use of matronyms prefixed with /mf/ (of which there are twelve examples). In this roster the same parental name, full or replaced by KI.MIN, is used with the double determinative /mf/ if the matronym relates to a son. Yet, only /f/ is used before the same matronym if it relates to a daughter[36]. This roster testifies that matronyms prefixed by double determinatives could be used with names of individuals from the lowest layers of Middle Babylonian society as well. All the women listed in CBS 3640 were servile labourers, as were their offspring.

Aside from CBS 3640, there are at least nineteen Middle Babylonian examples of using matronyms with double determinatives for male offspring: eight instances with $^{m}PN_1$ DUMU $^{mf}PN_2$, (at least) nine with ø DUMU ^{mf}PN, and one with [$^{f}PN_1$] DUMU.SAL $^{mf}PN_2$ [Brinkman, 2007, p. 2–4, 7]. In Bab 34300 rev. 3, the matronym ^{mf}*Ba-bi-la-a-a-i-*⌜*ti*⌝ appears. It means "Babylonian" (f.) and is a derivative of a toponym, similar to the Old Babylonian Gublātum, "a woman from Byblos", discussed above[37]. In the other text the name of Ina-pīša-imrir, who wants to buy a bride for her son, is written with /f/, except for a single instance, when it appears with /mf/ as a matronym after the name of her son [Brinkman, 2007, p. 7]. In one instance the pattern [$^{f?}PN_1$] DUMU.SAL $^{mf}PN_2$ ([...]-x DUMU.SAL ^{mf}GEMÉ—^{d}IM, "… daughter of Amat-Adad" is attested [CBS 13253 rev.? 7′]. But as Brinkman points out, the standard for Kassite Babylonia was applying a feminine determinative to a matronym and there are multiple examples of matronyms attested in the patterns as $^{m}PN_1$ DUMU $^{f}PN_2$, $^{f}PN_1$ DUMU.SAL $^{f}PN_2$, ø DUMU ^{f}PN and ø DUMU.SAL ^{f}PN. There are also cases of $^{f}PN_1$ DUMU.SAL $^{o}PN_2$[38].

This leads Brinkman to conclude: "There is no indication that the women with /mf/ determinatives occupied a distinctive social or economic status in the community other than their role as mothers and presumably heads of household" [Brinkman, 2007, p. 5]. In the absence of citation of a patronym the name of a mother is used — the matronym prefixed with /mf/ in the case of a male offspring. Brinkman points out that in Middle Babylonian Nippur there are many instances of women having been the heads of households or heads of clans/family groups (*qinnu*s). In his understanding, this happened when an "adult male was lacking" [Brinkman, 2007, p. 5]. He seems

[35] Ø stands for an absent principal PN or an absent determinative in the MB period.

[36] J.A. Brinkman lists a very few exclusions [Brinkman, 2007, p. 4–5].

[37] See above, p. 21.

[38] Brinkman J.A. suggests three instances where meaningful names of feminine grammatical gender might be sobriquets; one of them is ^{f}*U-bar-*⌜*tum*⌝ DUMU.SAL ^{f}*Ni-sa-an-ni-ti,* "Foreigner (f.), daughter of 'born in Nisannu' (f.)" [UM 29-16-108: 4; Brinkman, 2007, p. 4].

to believe that *qinnu* were clans of servile labourers (GURUŠ). Female heads of a *qinnu* could occur also with feminine determinatives [Brinkman, 2007, p. 5 with n. 19–20].

A few interesting instances for using masculine determinatives before matronyms should be noted. Brinkman provides an example of a prominent female family head from Middle Babylonian Ur, Dey(y)anātu, who is attested as a female ancestor of at least seven males[39]. Descendants of Dey(y)anātu were brewers[40] of Sîn at Ur. Dey(y)anātu herself could have been a high-positioned person or one of the high priestesses of the Moon god. Dey(y)anātu means "she-judge"[41]. At Middle Babylonian Ur, a high priestess acted as a judge [May, 2022, p. 133; Gurney, 1983, no. 7 = UET 7 7][42]. Only males are known in this function besides the case of the high priestess of the Moon god. Dey(y)anātu might have been an epithet of one of the high priestesses used as a family name of honour by her descendants[43]. Dey(y)anātu is an exclusively Middle Babylonian name [Brinkman, 2007, n. 22]. In most cases, it is written with a masculine determinative. In two cases, Dey(y)anātu is written with a feminine determinative, although according to Oliver R. Gurney's transliteration[44], these are feminine determinatives corrected into masculine; in one instance, Dey(y)anātu occurs with a feminine determinative[45].

The brewers of Sîn, descendants of Dey(y)anātu, were a rich family that played an important role in the temple's business activities. This is evidenced by their substantial archive of at least 62 tablets dated to ca. 1237–1176 BCE [Gurney, 1983, p. 1–6]. But a reconstruction of their family tree is not possible, because the descendants of Dey(y)anātu never used patronyms. It is tempting to suggest that only the name of their familial ancestor is indicated because hers has been more important and more prestigious than their paternal lineage; but the absence of a patronym is common in the Middle Babylonian period. Outside the archive of the brewers of Sîn at Ur, the personal name Dey(y)anātu is attested in three lists of people from Nippur[46], among them the list of servile labourers. Thus, this name was not always a sign of prestige.

There is a sole occurrence of ^{m}Qadištu[47] apparently as a feminine ancestral name, in a Middle Babylonian document. This confirms that the use of masculine determinatives with feminine ancestral names starts concurrently with the use of determinatives with family names in general.

[39] According to J.A. Brinkman [Brinkman, 2007, p. 6 with n. 22–23]; O.R. Gurney lists eight persons as her descendants [Gurney, 1983, p. 1–2].

[40] A kind of a priest.

[41] Further details discussed by J.A. Brinkman [Brinkman, 2007, n. 22].

[42] I.M. Diakonoff has pointed out the cases of high-priestesses of the Moon god of Ur acting as judges in the OB period [Diakonoff, 1986, p. 228]. Note that J.A. Brinkman is reluctant to consider Dey(y)anātu an occupational family name [Brinkman, 2006, p. 34–35].

[43] For Abba, son of Enanatuma, see above, p. 17 and RIME 4.1.14 (his seal). Note, however, that J.A. Brinkman points out that although Dayyāntu/Diyyāntu occurs as a personal name in accounts from Nippur [Brinkman, 2006, p. 35]. It is not known as a title or occupation for human beings, but only for goddesses.

[44] On p. 25 transliterated as "^{m}*da-a-a-*< *na* >*-ti*" [Gurney, 1983, no. 2: 25], but on p. 28 O.R. Gurney commented that the scribe first had written "^{f}*da-a-a-*< *na* >*-ti*" and then corrected himself. Gurney's handcopies in UET 7 do not reflect any erasure and correction. The instance, where Dey(y)anātu appears "perhaps with both determinatives", according to J.A. Brinkman [Brinkman, 2006, p. 6 with n. 22], is probably UET 7 21. Unfortunately, I cannot collate tablets in Iraq and must rely on the handcopies. For Šamaš-ēṭir, see UET 7 [Gurney 1983]: nos. 12 and 22] and the next fn.

[45] No. 2 rev. 25 (masculine) [Gurney, 1983]; no. 12: 4′ (feminine in handcopy; corrected according to the transliteration and O.R. Gurney [Gurney, 1983, p. 28]); no. 14: 3 (the determinative broken); no. 18 rev. 8 (masculine); no. 21 rev. 11 (corrected to feminine in the transliteration, double in the handcopy no. 22: 5′ (masculine); no. 25: 8 (probably double; in the handcopy a crack passes through the sign; in the transliteration the sign is marked as corrected to feminine); no. 30: 3 (masculine); no. 33: 7 (masculine); no. 46: 3 (masculine) [Gurney, 1983].

[46] ^{f}*Da-a-a-an-tu*$_4$ in BE 14 91a: 36 (= EAH 178, CDLI no. P453346 [payment of wages]), *Di-ya-an-tu*$_4$, without any determinative(!) in BE 15 190 iii 18′ (= CBS 3443, CDLI no. P259817 [payment of salaries]) and ^{f}*Da-a-a-an-tu*$_4$ in CBS 3650 rev. i′ 9′, 19′ (= CDLI no. P260022 [a list of labourers]).

[47] *Qadištu* is a kind of a priestess and a healer related to childbirth, nursing and childcare. Her functions are different in various periods and regions [May, 2022 with further references].

[f]Qadištu is known from three more Middle Babylonian documents[48]. There cannot be, however, full confidence that this is a true family name, but rather a reference to the occupation of a mother or a female ancestor, since all these sons or descendants of Qadištu/*qadištu*s are not attested related to one another.

Brinkman added to his article an excursus on the names [mf]Ḫazi-Marduk and [mf]Ḫagi-… There are three instances for the former, all matronyms of unnamed daughters, where Ḫazi is a Hurrian element(?). Ḫagi remains unclear [Brinkman, 2007, p. 7–10].

Finally, [md]IM—EN—*ka-la* DUMU [m]*Ḫa-ri-im-ti*$_4$, "Adad-bēl-kala, son of a prostitute" is a witness in PBS 8/2 158: 5-6, a contract from Ur. His "matronym" or, more probably, the occupational matronymic family name(?) is written with a masculine signifier[49].

NEO-BABYLONIAN PERIOD

The number of matronyms and feminine ancestral names in the Neo-Babylonian period is meagre in comparison to the Middle Babylonian evidence for the same phenomenon. Cornelia Wunsch, who so far has been the only person to explore matronyms in the Neo-Babylonian period, could find three feminine family names, which were written with a masculine determinative. Wunsch stresses that "Metronymic ancestoral(! — *NNM*) names … are extremely rare in Babylonia. The earliest example, Qaqqadānītu, (lit. "the great headed", f. — *NNM*) can be traced to pre-Neo-Babylonian times" and is apparently a very early attestation of the feminine ancestral name [Wunsch, 2006, S. 468 and 464–465][50]. This earliest instance, BM 37246: 4′, 17′, is the sole case of this family name having been written with a feminine determinative. Wunsch lists descendants of Qaqqadānītu, whose names were written with masculine determinatives (dates of documents range from 575 through 491 BCE, places of writing are Babylon, Šaḫrīnu and Ālu-ša-Nabû) and points out that there are further instances[51].

Maqartu ("the dear one", f.) is attested in Borsippa since 687 BCE. Wunsch counted nine documents: earlier occurrences (four texts; from 687 till 552 BCE) use a feminine determinative with this name, which was, obviously deliberately, replaced by a masculine indicator in later texts[52]. Now nine more examples from Borsippa and one from Babylon can be added to her list[53]. In BM 53861, a document written in Dilbat, Maqartu appears with a masculine determinative.

The name Arrabtu ("she-dormouse[?]", f.[54]) is the third and the most often found (35 instances) feminine family name[55], written both with masculine and with feminine determinatives. Wunsch missed another Neo-Babylonian matronym written with a masculine determinative. This is [m]*Balṭā*(?)*nītu*, which is attested five times and might be a case of a learned writing or even cryptography[56].

---

[48] [m]MU—*lib-ši* DUMU [f]*Qa-di-*⌜*il*⌝*-ti* in PBS 2/2 122: 22, [m][x]-x-*tum* DUMU ⌜[f]⌝*Qa-diš-*⌜*ti*⌝; ø DUMU ⌜[f]⌝*Qa-diš-*⌜*ti*⌝ [Sassmannshausen, 2001, no. 348: 5]. J.A. Brinkman pointed out that Qadištu was also a personal name in Middle Assyrian [Brinkman, 2006, n. 43].

[49] Cf. Nanna-mansum, son of a prostitute ([d]ŠEŠ.KI—MA.AN.SUM DUMU *ha-ri-im-ti*) in UET 5 475 [above p. 20] and Nuzi text JEN 666, which records that Musteya, son of the woman Ziliya was disinherited because his mother was not a wife, but a *harimtu* of his father [above p. 20, fn. 23].

A.J. Brinkman's assumption that in the Middle Babylonian period a masculine personal wedge with a female name, a title or an occupational term necessarily indicates a family name must be checked again.

[50] Although the date of the document is lost, C. Wunsch demonstrates that it might be from the end of the second–beginning of the first millennium.

[51] See also https://prosobab.leidenuniv.nl/listQuickSearch.php (accessed: 01.02.2025).

[52] Five instances; from 551–508 BCE according to C. Wunsch [Wunsch, 2006, S. 453].

[53] https://prosobab.leidenuniv.nl/listQuickSearch.php (accessed: 01.02.2025).

[54] It can also be a male personal name, despite its feminine grammatical form.

[55] https://prosobab.leidenuniv.nl/listQuickSearch.php (accessed: 01.02.2025).

[56] This topic will be developed elsewhere. The meaning and grammatical form of this name is not quite clear. It can

Wunsch then discusses *zakītu*, which is only found written with a feminine determinative and never with a masculine one [Wunsch, 2006, S. 466–467]. She rejects the possibility that *zakītu* was a feminine family name. Wunsch translates *zakītu* as a "freedwoman". In her opinion *mār zakīti* (lit. "son of *zakītu*") indicates a temple oblate (*širku*); *i.e.* the son of an originally privately-owned slave woman who had been freed[57] by her master to perform service in a temple. Wunsch claims that in the absence of a legal father, this child was called *mār zakīti*. She argues that "the meaning of both Qaqqadānītu and Maqartu indicate respect and appreciation for the women concerned and therefore do not hint at cases of illegitimate birth or single mothers" [Wunsch, 2006, S. 466–468]. Wunsch's study, however, was accomplished and published before that of Brinkman's and the case of Middle Babylonian female servile labourers, who acted as legal patrons of their adolescent sons[58] and whose names were written with the double determinative, was not known to her when she wrote her article.

Zakītu, however, could have been used as a true matronym. Wunsch herself notes (with the reference to the dictionaries) that *zakītu* could also be a personal name [Wunsch, 2006, S. 466, n. 36]. The dictionaries, however, only quote Zakūtu as the Assyrian translation of the West Semitic name of the famous queen-mother of Esarhaddon, Naqī'a[59]. Zakītu does not only mean "freed", but also also "pure". This was indeed the meaning of the West-Semitic name of Esarhaddon's mother and obviously the primary meaning of the word *zakītu*. A single attestation of Zakītu as a principal personal name in Babylonia comes from UET 4 48[60]: 13, 18–19[61]. In this text, Zakītu, daughter of Anu-uballiṭ[62], serves a guarantor that her son Kidin-Nabû, son of Šumāya/Iddināya[63] would perform the duties he is hired for. He is to go to Susa and deliver the royal tax on behalf of the man who hired him. There is no doubt that the son of this Zakītu had a legal father, since his patronym is mentioned three times in this document. This evidence clearly expels any suggestion that matronyms were necessarily used in cases of unknown or absent father. Zakītu, daughter of Anu-uballiṭ, was not a freedwoman either, but apparently an economically independent person. Since she, and not the father of her son, served a guarantor for him, she was most probably a widow at the time the contract was drawn up. Her patronym indicates that Zakītu originated not from Ur but from Uruk.

The chain $^{m}PN_1$ A-*šú šá* $^{f}PN_2$ ^{f}*za-ki-ti,* "PN_1, son of PN_2, a freedwoman" [UET 6 317: 8; UET 6 186: 2, 4], as well as multiple attestations of just ^{f}PN ^{f}*za-ki-ti*, "PN, a freedwoman"[64] indicate the importance of referring to this kind of women's status[65].

Wunsch discusses four documents, where *zakītu* occurs in genealogical chains, all of them only two-tier chains. Indeed, only these four documents with the references of the type PN A ^{f}*zakītu* were known by the time she has been writing her article. The first one, UCB 9/2 29: 25

be some derivative of *ba'latu* (*bēltu*), "lady, mistress" [CAD B 45b] or *balāṭu*, "to recover, to be alive, vigorous," etc. [CAD B 52b], and should be then read as ^{m}*Bal-ṭá-ni-tu*$_4$. It is attested in BM 28917 (Borsippa, Šaddinnu, Dar 11); BM 77407 (Babylon, Nappāhu, Dar 24); BM 33157 (Babylon, Egibi Nūr-Sîn, Dar 12); BM 30979 (Babylon, Egibi Nūr-Sîn, Nbn 7); BM 30971 (Babylon, Egibi Nūr-Sîn, Dar 12).

[57] *Zakītu* derives from G or D-stem of *zakû*.

[58] All the offspring of these female servile labourers inherited their mothers' status.

[59] Assyrian Zakūtu = Naqī'a, "pure"; CAD Z 24, s.v. zakû 2b 2′; AHw 1505 s.v. zakû 7b. Wunsch points out that *Zakītu* is the only matronymic ancestral name referred as such in AHw [AHw 1505 s.v. zakītu "als FamN"; Wunsch, 2006, S. 466 with n. 37].

[60] For transliteration see Popova [forthcoming]. I am grateful to O.V. Popova for sharing her yet unpublished editions and her interpretation with me.

[61] Work contract; Art III 6, archive of Gallābu at Ur. See Popova [forthcoming].

[62] l. 13: ^{f}*Za-ki-tu*$_4$ AMA-*šú* D[UM]U.MUNUS *šá* ^{md}60—DIN-*iṭ* and l. 19 ^{f}*Za-ki-tu*$_4$ AMA-*šú*.

[63] l. 6 ^{m}*Ki-din*—$^{d+}$AG a *šá* ^{m}⌜MU⌝-[*a*]; l. 8 ^{m}*Ki-din*—$^{d+}$AG a *šá* ^{M}MU-[*a*]; l. 8 ^{m}*Ki-din*—$^{d+}$AG a *šá* ^{M}MU-*a*.

[64] E.g. YOS 6 129: 1, 7 and AHw 1505a s.v. zakītu.

[65] YOS 6 129: 1, YOS 6 137: 8, YOS 6 186: 2, 4 etc.

(561 BCE), is the list of workmen employed in the temple service (*dullu*) of Eanna. Nabû-tukultī-ēdu, "son" of a freedwoman ($^{d+}$AG—TUKUL-*ti—e-du* A ^{f}*za-ki-ti*), seems indeed to have been an oblate temple servant. In YOS 19 115: 4, 11, 12, 13 and 30 — a list of workmen assigned to the Eanna temple watch — seven(!) descendants of ^{f}*zakītu* are mentioned (*contra* Wunsch). This is a reference to the status of these men's mothers or female ancestors and not to a real matronym or a family name. The seven men were obviously not all related to the same woman. Further two instances of descendants of *zakītu*s are as follows: $^{md+}$AG—MU A ^{f}*za-ki-*⌜*tu*$_4$⌝, "Nabû-iddin, a 'son' of a freedwoman"[66] and ^{m}*Ri-mut* a ^{f}*za-ki-tu*$_2$, "Rīmūt, a "son" of a freedwoman"[67].

Wunsch discusses the problematics of understanding *zakītu* in formulas of the type PN A ^{f}*zakītu* as personal names. She nonetheless insists that *zakītu* is a matronym and not a family name, even though, in the Neo-Babylonian period "A-*šú šá*" was consistently used for "son of" and just "A" for "descendant (of) ". She also considers the absence of any attestations for writing *zakītu* with a masculine personal determinative to testify for a lesser respect to this "name" as opposed to Qaqqadānītu, Maqartu etc., which are mostly attested with masculine determinatives [Wunsch, 2006, S. 467]. In my view, *zakītu* in these documents is neither a matronym nor a matronymic family name in the strict sense. It is a designation of an individual's status as the son or descendant of a freedwoman, which was important most probably as indicating his relation to the temple and his duties towards it.

Finally, Nidintu-Sîn, the basket maker, son of Taštībī (^{m}*Ni-din-tu*$_4$—^{d}30 ^{lú}AD.KID A *šá* ^{f}*Taš-ti-bi*) in UET 4 194: 6–7[68] gives up any share in any kind of property of Sîn-aḫḫē-bulliṭ and Sîn-ušallim, sons of Balāṭu, descendants of Gallābu. Olga V. Popova, who studied the Gallābu archive, presumes that Nidintu-Sîn might have been the illegitimate son of Balāṭu with Taštībī [Popova, forthcoming[69]].

CONCLUSION

The present study does not purport to exhaust all occurrences of matronyms and female family names in Babylonia. A database of Babylonian matronyms does not yet exist, and none of the databases for cuneiform sources of the Old or Neo-Babylonian periods allows searching for matronyms[70]. The task is further complicated by the inconsistent use of feminine, masculine and double determinatives with female names, even in the Neo-Babylonian period.

As has been demonstrated, matronyms, though rare, and probably even matronymic family names began to appear as early as the Old Babylonian period. Already in that time they could have been used with masculine personal determinatives, but this could hardly be taken as evidence for male-gendering, because personal determinatives were not yet systematically used in the Old Babylonian period, and feminine personal determinatives were extremely rare. A masculine personal wedge could prefix either a male or a female name just to indicate its being a name and might have nothing to do with the individual's status.

From very early on, indicating a mother's position or profession, if applicable, was more important than indicating her name. A maternal grandfather's name could be used instead of a patronym; this was not evidence of the person's mother being single or of low status, but specified

[66] AUWE 5 127: 4; a list of names.

[67] BIN 1 161: 7; 15/2, 2 Nbn; record of payments in silver.

[68] Art I 39, archive of Gallābu at Ur.

[69] I am indebted to O.V. Popova for driving my attention to this text.

[70] To the best of my knowledge no database for the Middle Babylonian texts exists. Prosobab, which is a database of NB individuals has neither entry "matronyms", nor is it possible to search them there or in any other NB database through the entry "gender".

her having belonged to her father's household, which might even have been a royal one(?). Matronyms also marked self-standing women, who acted "not under patriarchal authority".

In the Middle Babylonian period, matronyms could indeed replace patronyms for servile personnel in the absence of a legal father[71], but could also be mentioned when a mother's name was more important than a father's one for one reason or another. Thus, Middle Babylonian matronymic family names no doubt resulted from females heading extended families. Brinkman concludes his article with the words: "Interesting and fruitful should be a broader study of the roles and influence of women, especially as heads of household, in Middle Babylonian society" [Brinkman, 2007, p. 6]. While starting with the claim that "the prefixing of personal gender determinatives seems to have become the rule by about 1400 B.C. ", he brings plenty of examples of the unsystematic use of determinatives or of their lack in the Middle Babylonian period [Brinkman, 2007, p. 1]. Thus, the thorough and exhaustive investigation into the use of personal determinatives must be undertaken for this period as well as the study of the roles of women during this time. The use of personal determinatives and especially the use of double or masculine determinatives with female names in the Old and in the Middle Babylonian periods might be a matter of a scribal school, or even a choice of a certain scribe. Yet it is clear that masculine determinatives with matronyms and matronymic ancestral names were certainly not a matter of honour. In the case of the roster of servile personnel, CBS 3640, the use of double determinatives probably resulted from the habit of its scribe. Unsystematically used masculine, feminine and double determinatives, confusion and correction of feminine determinatives into masculine ones [Gurney, 1983, no. 2: 25][72], as well as the absence of any determinatives for matronymic family names in the Middle Babylonian period indicates that applying masculine and double determinatives was not necessarily a way to honour the female head of an extended family. This inconsistency continued into the Neo-Babylonian period.

Indicating the mother's or female ancestor's status (and not a matronym or ancestral name) was important, too. In some cases, such "parentage" pointed to the individual's low status such as that of the offspring of *ḫarimtu*s or *zakītu*s, who apparently had reduced rights. The latter probably remained temple dependents for generations[73]. As we have seen, the designation "son of a prostitute" is attested in three different documents. It can hardly be a family name. It rather meant something like a "bastard" in Shakespearian sense of this word, pointing to a lower social status and apparently restricted rights of an individual, for instance, inheritance rights, like in JEN 666, where a man was disinherited by his father through proclaiming his mother not a legal wife, but a *harimtu*[74]. In each specific case, the use of a matronym, a matronymic family name or a position/profession of a person's mother had a specific reason, and it absolutely is not necessarily connected to the absence of a legal father.

REFERENCES

Brinkman J.A. The Use of Occupation Names as Patronyms in the Kassite Period: A Forerunner of Neo-Babylonian Ancestral Names? *If a Man Builds a Joyful House: Essays in Honor of Erle Verdun Leichty* (Cuneiform Monographs 31). Ed. by A. Guinan et al. Leiden–Boston: Brill, 2006. Pp. 23–43.

Brinkman J.A. Masculine or Feminine? The Case of Conflicting Gender Determinatives for Middle Babylonian Personal Names. *Studies Presented to Robert D. Biggs June 4, 2004* (From the Workshop of the Chicago Assyrian Dictionary 2). Ed. by M.T. Roth et al. Chicago, IL: The Oriental Institute, 2007. Pp. 1–10.

[71] As it was probably in Ur III. See fn. 23.

[72] See above, fnn. 44–45.

[73] Probably, but not necessarily they were *širku*s, "oblates", as suggested by Wunsch [Wunsch, 2006, S. 467–468].

[74] See above, fn. 23.

Cooper J. Prostitution. *Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie*. Vol. 11. Berlin–New York: De Gruyter, 2006. S. 12–21.

Diakonoff I.M. Women in Old Babylonia not Under Patriarchal Authority. *Journal of the Economic and Social History of the Orient*. 1986. Vol. 29. Pp. 225–238.

Diakonoff I.M. *Book of Memories*. St. Petersburg: Peterburgskoe Vostokovedenie, 1995 (in Russian) [Дьяконов И.М. *Книга воспоминаний*. Санкт-Петербург: Петербургское Востоковедение, 1995].

de Graef K. In nomine matris et filii…: The Use of Matronymics in the Legal and Economic Documents from Sukkalmaḫ Susa. *The Mummy Under the Bed. Essays on Gender and Methodology in the Ancient Near East* (wEdge 1). Ed. by K. de Graef et al. Münster: Zaphon, 2022. Pp. 89–124.

Grosz K. Some Aspects of the Position of Women in Nuzi. *Women's Earliest Records from Ancient Egypt and Western Asia*. Ed. by B. Lesko. Atlanta, GA: Scholars Press, 1989. Pp. 167–189.

Gurney O. R. *The Middle Babylonian Legal and Economic Texts from Ur*. Oxford: Oxford University Press, 1983.

Hussein L. Eine altbabylonische Eheurkunde aus dem Irak-Museum. *Zeitschrift für Assyriologie*. 2024. Vol. 114. S. 23–27.

May N.N. Male-Gendered Women in Mesopotamia — When and Why? *Orientalistica*. 2024. Vol. 7/2. Pp. 356–382.

May N.N. Women in Cult in First Millennium BCE Mesopotamia. *The Mummy Under the Bed* (wEdge 1). Ed. by K. de Graef et al. Münster: Zaphon, 2022. Pp. 125–156.

Mittermayer C., Attinger P. *Altbabylonische Zeichenliste der sumerisch-literarischen Texte* (Orbis Biblicus et Orientalis, Sonderband). Fribourg: Academic Press, 2006.

Popova O. V. *L'archive des Gallābu: une famille de notables de la ville d'Ur du VIe au IVe siècle av. J.-C.* (Archiv für Orientforschung 36, Beiheft). Forthcoming.

Sassmannshausen L. *Beiträge zur Verwaltung und Gesellschaft Babyloniens in der Kassitenzeit* (Baghdader Forschungen 21). Mainz am Rhein: Zabern, 2001.

Steele F. R. The Code of Lipit Ishtar. *American Journal of Archaeology*. 1948. Vol. 52. Pp. 425–450.

Waerzeggers C. *Marduk-Rēmanni: Local Networks and Imperial Politics in Achaemenid Babylonia* (Orientalia Lovaniensia Analecta 233). Leuven: Peeters, 2014.

Westbrook R. *Old Babylonian Marriage Law* (Archiv für Orientforschung, Beiheft 23). Horn: Berger, 1988.

Waetzoldt H., Sigrist M. Haftung mit Privatvermögen bei Nichterfüllung von Dienstverpflichtungen. *The Tablet and the Scroll: Near Eastern Studies in Honor of William W. Hallo*. Ed. by M.E. Cohen et al. Bethesda: CDL Press, 1993. S. 271–280.

Wilcke C. Markt und Arbeit im Alten Orient am Ende des 3. Jahrtausends v. Chr. *Menschen und Märkte: Studien zur historischen Wirtschaftsanthropologie*. W. Reinhard und J. Stagl (Hrsgg.). Wien: Böhlau, 2007. S. 71–121.

Wunsch C. Metronymika in Babylonien. Frauen als Ahnherrin der Familie. *Šapal tibnim mû illakū: Studies Presented to Joaquín Sanmartín* (Aula Orientalis Supplementa 22). Ed. by G. del Olmo Lete et al. Barcelona: Editorial AUSA, 2006. S. 459–469.

Ziegler N. *La population féminine des palais d'après les archives royales de Mari: le harem de Zimrî-Lîm* (Florilegium Marianum 4; Mémoires de N.A.B.U. 5). Paris: SEPOA, 1999.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ / INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

МАЙ Наталья Аркадьевна – PhD, ведущий исследователь, проект "Colophons and Scholars", Еврейский университет в Иерусалиме, Иерусалим, Израиль.

Natalie Naomi MAY, PhD, Principal Investigator, Colophons and Scholars Project, The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem, Israel.

DOI: 10.31696/S086919080040110-8

ДРЕВНЕЕГИПЕТСКАЯ ДОЛЖНОСТЬ «НАЧАЛЬНИК ПОРТОВ И ПРИСТАНЕЙ» В ЦАРСТВОВАНИЕ ПСАММЕТИХА I

© 2026

Д.А. ИЗОСИМОВ [a]

[a] – Институт востоковедения РАН, Москва, Россия
ORCID: 0000-0003-4335-1487; DenLore@yandex.ru

Резюме: *В статье рассматриваются функции древнеегипетской должности «начальник портов и пристаней» и ее роль в царской администрации Псамметиха I (664–610 гг. до н.э.). Согласно демотической «Повести Петеисе III», данную должность последовательно занимали двое сановников – Падиисет, сын Анхшешонка, и Сематауитефнахт. В произведении «начальники портов и пристаней» представлены в качестве высших царских сановников, которые осуществляли руководство Гераклеополем (Средний Египет) и землями Верхнего Египта. Сведения частных памятников показывают, что в функции «начальника портов и пристаней» также могли входить: контроль за речным судоходством и снабжением кораблей, судебные функции, полицейский надзор. Исходя из того, что в надписи на статуе Сематауитефнахта Richmond 51.19.4+64.60 отсутствуют упоминания каких-либо связанных с Фивами административных или жреческих должностей, но при этом приводится обширный список эпитетов, указывающих на различные административные функции «начальника портов и пристаней», подчеркивающих его связь с саисским царем, автор предполагает, что царский сановник осуществлял контроль над Фивами без включения в местную администрацию, т.е. находясь «над ней». Надпись на статуе Падиисета, сына Анхшешонка (Stockholm NME 81) показывает тесную связь сановника как со Средним Египтом, так и с Саисом в Дельте. Частные памятники Сематауитефнахта подчеркивают близость сановника к саисскому двору употреблением различных почетных титулов и эпитетов и происхождением сановника от царской дочери. Автор предполагает, что назначение Падиисета и Сематауитефнахта руководителями среднеегипетского Гераклеополя и Верхнего Египта было связано с политикой саисских царей, которые стремились создать систему тесных связей с местными верхнеегипетскими правителями, которая в случае «начальников портов и пристаней» была основана на династических узах. Подобная политика, по мнению автора, аналогична той, которая была характерна для ливийских династов Египта I тыс. до н.э.*

Ключевые слова: Древний Египет, Саисское время, XXVI династия, частные памятники, древнеегипетская администрация

Для цитирования: Изосимов Д.А. Древнеегипетская должность «начальник портов и пристаней» в царствование Псамметиха I. *Восток (Oriens)*. 2026. № 5. С. 29–40. DOI: 10.31696/S086919080040110-8

ANCIENT EGYPTIAN OFFICE OF “MASTER OF HARBORS AND DOCKS” DURING THE REIGN OF PSAMMETHICUS I

© 2026

Denis A. IZOSIMOV [a]

[a] – Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
ORCID: 0000-0003-4335-1487; DenLore@yandex.ru

Abstract: *The author analyzes the functions of the Ancient Egyptian office of Shipmasters (Demotic pꜣ ʿꜣ n mr; ʿꜣ n mryt). According to Demotic “Petition of Peteise”, this office was held by two officials: Padiiset, son of Ankhsheshonk, and Sematawytefnakht. Both dignitaries appear in the Demotic “Petition” as high-ranking royal officials who administered middle Egyptian Heracleopolis and Upper Egypt. Data from private monuments of these officials also demonstrate that they supervised the river navigation, ship provisioning, and their duties included judicial functions and police oversight. The author suggests that, due to the lack of specific regional titles from Thebes in the inscription on Sematawytefnakht’s statue Richmond 51.19.4+64.60, which contains a list of his epithets that emphasize his administrative duties and connection to the Saite king, the Shipmaster’s control over Thebes was exercised without him being integrated into the regional administration. The inscription on Padiiset’s fragmented statue (Stockholm NME 81) also highlights the dignitary’s connection with both Middle Egypt and Sais in the Nile Delta. Moreover, Somtutefnakht’s private monuments point out to his high status at royal court by including several honorary titles and epithets and mentioning his royal descent. Thus, the assignment of Padiiset and Somtutefnakht as Shipmasters and governors of Heracleopolis and Upper Egypt could be connected with Psammethicus I’s policy of creating close ties with local rulers. In case of Heracleopolitan Shipmasters this system was also based on dynastic bonds. Such policy is similar to that of the Libyan rulers of the 1st Millenium BC.*

Keywords: Ancient Egypt, Saite period, Dynasty XXVI, private monuments, Ancient Egyptian administration

For citation: Izosimov D. A. Ancient Egyptian Office of “Master of Harbors and Docks” during the Reign of Psammethicus I. *Vostok (Oriens)*. 2026. No. 5. Pp. 29–40. DOI: 10.31696/S086919080040110-8

В течение долго времени демотическая «Повесть Петеисе III» (pRylands IX) считалась одним из важных источников по административной истории древнего Египта[1]. Текст написан в конце VI в. до н.э. и описывает борьбу между родом Петеисе III и жрецами Амона в Теуджое[2] за право владением доли первого жреца в местном храме. «Повесть» не ограничивается событиями конца VI в. до н.э.: она содержит обширный экскурс в историю рода Петеисе III, чьи предки владели долей первого жреца на протяжении первой поло-

[1] Основные издания «Повести Петеисе III» см.: [Griffith, 1909; Vittmann, 1998].

[2] Поселение в XVIII верхнеегипетском номе [Montet, 1961, p. 178; Helck, 1974, S. 116–118], современная эль-Хиба [Graefe, 1977]. Древнеегипетское название – Таиу-джаит (дем. *Tȝj=w-ḏj*; др.-егип. *Tȝyw-ḏȝyt*; букв. «ее стена»); древнегреческое название – Анкиронполь (Ἀγκυρῶν πόλις); коптское – Теуджой (τεγχο; τογχοι). В период XXVI династии поселение входило в состав XX верхнеегипетского нома (центр – Гераклеополь Магна) [Graefe, 1977, S. 1181]. Согласно «Повести Петеисе III», в Теуджое располагался храм, в котором почитались ипостаси Амона-Ра как «царя богов» (дем. *Ỉmn-Rʿ-njswt-nṯrw*) и «великого возгласами» (дем. *Ỉmn-Rʿ ʿꜣ hmhm*) [pRylands IX, Col. XXII; Vittmann, 1998, Bd. I, S. 192–193]. В данной статье мы придерживаемся передачи наименования поселения согласно переводу А.В. Эдакова: [Эдаков, 1993, с. 263–304].

вины XXVI династии, начиная с Петеисе I, который получил ее еще при Псамметихе I (664–610 гг. до н.э.).

Описанная в «Повести» история Петеисе I была тесно связана с другими сановниками, которые занимали должность «начальника портов и пристаней» (дем. *pꜣ ꜥꜣ n mr*; др.-егип. *ꜥꜣ n mryt*; букв. «управляющий судоходством»)[3]. Демотическое произведение упоминает двух «начальников портов и пристаней»: Падиисет, сын Анхшешонка (*Pꜣ-di-ist zꜣ ꜥnḫ-ššnḳ*) занимал ее в период от первых годов царствования Псамметиха I и вплоть до своей смерти в Год 18 саисского царя (pRylands IX, Col. X.1–7), а затем ему наследовал Сематауитефнахт (*Zmꜣ-tꜣwy-t.f-nḫt*), который в последний раз упоминается при событиях Года 31 (pRylands IX, Col. XI.1–XII.9). Данные чиновники выступали в качестве руководителей территории, именуемой в тексте «земля южная» (дем. *pꜣ tꜣ rsy*). Контроль над данным регионом, в который входили земли Египта от южной границы мемфисского нома вплоть до Сиены (Асуана, т.е. вся территория Верхнего Египта), осуществлялся из среднеегипетского Гераклеополя[4] (pRylands IX, Col. V.14–15) [Vittmann, 1998, Bd. II, S. 708–709]. «Начальнику портов и пристаней» также подчинялись различные сановники (в том числе Петеисе I), в чьи функции входило инспектирование входивших в состав «земли южной» регионов и взимание с них податей зерном и серебром (pRylands IX, Col. V.17–18, V.20–VI.2). Кроме того, «Повесть Петеисе III» приписывает «начальникам портов и пристаней» ряд других функций, в том числе полицейский надзор (pRylands IX, Col. XI.16–18, XII.3–4), возможность даровать земельные наделы жрецам (pRylands IX, Col. VIII.2–3) и т.д.

Отметим, что данная должность фигурирует на памятниках на среднеегипетском языке Позднего времени. Так, в «Стеле удочерения Нитокрис» (Cairo JE 36327) [Caminos, 1964; Der Manuelian, 1994, p. 297–322] «начальник портов и пристаней» Сематауитефнахт выступает в качестве руководителя речной делегации, сопровождавшей царскую дочь Нитокрис в Фивы. В представленном на памятнике перечне титулов сановника упомянуты также другие его должности, указывающие на его связь с Гераклеополем[5]. В «Стеле удочерения Нитокрис» также упоминается и контролируемая «начальником портов и пристаней» территория: в «земле южной» (др.-егип. *tꜣ-rsy*) располагались земельные наделы, которые были подарены царской дочери Нитокрис царем (Cairo JE 36327, стлк. 17–20). «Начальник портов и пристаней» также присутствует в сценах на песчаниковых блоках из фиванского храма Мут (т.н. «блоки Пианхи»; Cairo JE 31886)[6]. Кроме того, ряд частных памятников Сематауитефнахта[7] и Падиисета, сына Анхшешонка[8], сохранились до наших дней. Однако в большинстве случаев тексты на них состоят из стандартных «формульных» фраз и/или перечней должностей сановников, что не позволяет точно определить сферу деятельности «начальников портов и пристаней» [Leahy, 2011, p. 209]. Таким образом, наиболее подробное описание функций данной должности содержится в «Повести Петеисе III».

Однако, начиная с последней четверти XX в., ряд исследователей ставили под сомнение достоверность сведений демотического произведения. Подобный скепсис обусловлен жанром «Повести Петеисе III», которая создавалась как «семейная хроника» для частного использования [Traunecker, 2008, p. 395]. При составлении текста «Повести» автор этого

---

[3] *Wb*. II, S. 108:8. В англоязычной литературе данная должность переводится чаще всего как Shipmaster (см., к примеру, статью Э. Лихи: [Leahy, 2011]). В данной статье мы придерживаемся варианта перевода, предложенного А.В. Эдаковым: [Эдаков, 1993, с. 31–32].

[4] Др.-егип. *Nn-nsw*; XX верхнеегипетский ном [Montet, 1961, p. 186–187; Helck, 1974, S. 121–126].

[5] «<…> друг единственный, номарх Гераклеополя, начальник войска великий, начальник портов и пристаней Сематауитефнахт <…> (*smr wꜥty ḥꜣty-ꜥ n Nn-nsw mr mšꜥ wr ꜥꜣ n mryt Zmꜣ-tꜣwy-t.f-nḫt;* Cairo JE 36327, стк. 9).

[6] Подробнее о них см.: [Benson, Gourlay, 1899, p. 257–258; Jansen-Winkeln, 2014, S. 189; Broekman, 2012].

[7] Полный обзор известных на данный момент памятников см.: [Leahy, 2011, p. 220–223].

[8] Stockholm NME 81 [Pope, 2015], Гос. Эрмитаж 18112 [Большаков, Степанова, 2012, с. 92].

демотического произведения мог опираться на различные юридические документы, связанные с тяжбой рода Петеисе III, однако, как показывают исследования, они подверглись дополнительной литературной обработке [Jay, 2015]. Более того, демотическая «Повесть» содержит ряд ошибок, неточностей и анахронизмов, которые не позволяют использовать ее в полной мере как надежный исторический источник.

Так, в случае с «начальниками портов и пристаней», представленная в папирусе хронология профессиональной деятельности обоих сановников не соответствует сведениям памятников на среднеегипетском языке Позднего времени. Согласно демотическому произведению, Падиисет пребывал в должности уже в Год 4 Псамметиха I вплоть до своей смерти в Год 18, после чего его преемником был назначен Сематауитефнахт. Однако на датируемой Годом 9 Псамметиха I (656 г. до н.э.) «Стеле удочерения Нитокрис» «начальником портов и пристаней» назван Сематауитефнахт, а не Падиисет. Иначе говоря, в момент объединения Египта под властью саисского царя уже Сематауитефнахт занимал данную должность, а не его предшественник. Кроме того, в Год 4 Псамметиха I власть саисских царей и подчинявшегося ему «начальника портов и пристаней» не могла распространяться на земли всего Верхнего Египта, как это описано в «Повести Петеисе III», поскольку Фивы все еще оставались под контролем напатских царей и продолжали вести летоисчисление по правлению царя Танутамона [Breyer, 2003, p. 14–15]. Ряд исследователей высказывали предположение, что в Год 4 Псамметиха I среднеегипетский Гераклеополь вместе с территорией Верхнего Египта мог признавать власть только напатских царей [Pope, 2014, p. 244–248].

Дискуссионным остается вопрос о родственной связи между Падиисетом и Сематауитефнахтом. В демотической «Повести» описывается, что после смерти Падиисета, сына Анхшешонка, царь намеревался передать должность «начальника портов и пристаней» его родственнику – Петеисе I. Однако вельможа указал на то, что у прежнего «начальника портов и пристаней» уже есть сын, который также являлся «человеком царским и умелым человеком» (pRylands IX, Col. XI.4). После этого руководство Верхним Египтом было вверено Сематауитефнахту. В «Повести» Падиисет также несколько раз упоминается в качестве отца следующего «начальника портов и пристаней» (pRylands IX, Col. X.5, 7). Исходя из этого, предполагается, что оба известных «начальников портов и пристаней» состояли в кровном родстве. Вместе с тем, как верно отметил Э. Лихи, в демотическом произведении по отношению к Сематауитефнахту ни разу не употребляется формула филиации (*X z3 Y* – «*X* сын *Y*»), которая постоянно применяется по отношению к другим встречающимся в «Повести» персонажам. Кроме того, имя отца Сематауитефнахта ни разу не упомянуто на частных памятниках самого вельможи, в отличие от имени его матери – царской дочери. Исследователь также отмечает, что сами термины родства («отец» *it*; «сын» *šry*) могли употребляться в более широком значении, а не только для обозначения кровного родства между родителем и ребенком [Leahy, 2011, p. 218]. В связи с этим, по его мнению, факт родства между первым и вторым «начальником портов и пристаней» не является несомненным.

Под сомнение также ставилась историчность представленного в «Повести» описания назначения Сематауитефнахта на должность «начальника портов и пристаней». В демотическом произведении сановник получил ее при протекции Петеисе I, который являлся родственником Падиисета, сына Анхшешонка. При этом сам Сематауитефнахт назван в тексте сыном предшествующего «начальника портов и пристаней», который, к тому же, состоял при дворе саисского царя. По мнению Э. Лихи, данная ситуация является «необоснованной», поскольку маловероятно, что царь не знал о существовании при его дворе Сематауитефнахта, которого к тому же другие сановники признавали умелым человеком.

Подобная версия могла возникнуть из-за стремления выставить в более выгодном свете предка Петеисе III, которому к тому же изначально был передан предмет спора между жрецами и его родом (должность и земельные владения первого жреца Амона Теуджойского) [Leahy, 2011, p. 214].

Однако, на наш взгляд, вышеназванные аргументы не могут служить основанием для того, чтобы полностью отвергнуть историчность «Повести Петеисе III» при описании функций «начальников портов и пристаней» и их роли в царской администрации. Как мы покажем далее, указанные в демотическом произведении сферы деятельности Падиисета и Сематауитефнахта подтверждаются должностями и титулами, которые перечислены на их частных памятниках.

«НАЧАЛЬНИКИ ПОРТОВ И ПРИСТАНЕЙ» – РУКОВОДИТЕЛИ ГЕРАКЛЕОПОЛЯ И ВЕРХНЕГО ЕГИПТА

В «Повести Петеисе III» основным титулом, который употребляется по отношению к Падиисету и Сематауитефнахту, является «начальник портов и пристаней». Вместе с тем, Падиисет также обладает рядом других должностей и жреческих санов, что указано «Повести». Сравнение с данными статуи Падиисета мы приведем ниже, здесь же необходимо отметить, что титул «начальника портов и пристаней» встречается только на тех памятниках Сематауитефнахта, которые происходят из Фив: на «Стеле удочерения Нитокрис», которая была установлена на территории Карнакского храма [Caminos, 1964, p. 71], в сценах на блоках из храма Мут.

В перечнях должностей Сематауитефнахта чаще встречаются те, что указывают на его функции в качестве руководителя Гераклеополя: «градоначальник Гераклеополя» или «номарх Гераклеополитского нома» (*ḥ3ty-ʿ n Nn-nsw*)[9], «начальник войск Гераклеополя» (*imy-r mšʿ n Nn-nsw*)[10]. В случае Сематауитефнхта данный титул мог служить дополнительным указанием на его роль руководителя Гераклеополя. В качестве градоначальника он также являлся «начальником жрецов-“слуг бога” Херишефа» (*imy-r ḥmw-nṯr Ḥry-š.f*) и «жрецом-“слугой бога” Херишефа» (*ḥm-nṯr Ḥry-š.f*)[11]. Практика совмещения должности градоначальника с одним из высших санов местного жречества известна как минимум со времени Нового царства [Gauthier, 1930, p. 30] и продолжала существовать в период XXVI династии[12].

На многих своих памятниках сановник именует себя «начальником Верхнего Египта» (*imy-r Šmʿ*)[13]. В научной литературе он рассматривался в качестве обозначения функций руководителя территории Верхнего Египта. Однако также отмечалось, что данный титул могли одновременно носить несколько человек[14]. В частности, помимо Сематауитефнахта, «начальником Верхнего Египта» называют себя высокопоставленные фиванцы Неспакашути и «четвертый жрец-“слуга бога”» Монтуэмхат, которые были старшими современниками «начальника портов и пристаней». Ряд исследователей высказывали предположение, что это является свидетельством того, что обозначение «начальник Верхнего Египта» являлось

[9] Фрагмент наофора, найденного в Абидосе [Jansen-Winkeln, 2014, S. 120].

[10] Статуя из Карнакского тайника (Richmond 51.19.4+64.60) [Leahy, 2011, p. 198–207], блоки из храма Мут в Фивах (Cairo JE 31886); систрофор, происходящий, предположительно, из Фив (Louvre E25388) [Jansen-Winkeln, 2014, S. 188].

[11] Фрагмент наофорной статуи из Абидоса; фрагмент наофора, предположительно, из Атрибиса [Jansen-Winkeln, 2014, S. 46–47]; систрофор Louvre E25388.

[12] См., к примеру, случаи совмещения в Абидосе: [Изосимов, 2023, с. 27].

[13] Фрагмент наофорной статуи из Абидоса; наофор Cairo TN 31/3/18/7 [Jansen-Winkeln, 2014, S. 119].

[14] См. сводную таблицу: [Naunton, 2011, p. 105–107].

почетным титулом, который не был связан с определенными административными функциями по контролю за Верхним Египтом, а служил показателем статуса представителей элиты [Vittmann, 1978, S. 189–197; Pressl, 1998, S. 64–69].

Отметим также, что в «Повести Петеисе III» «земля южная», которой управляли руководители Гераклеополя, простиралась от юга Мемфисского нома и вплоть до Сиены, т.е. охватывала всю территорию Верхнего Египта (pRylands IX, Col. V.14–15). Однако среди даров от «земли южной» на «Стеле удочерения Нитокрис» приводятся земельные наделы в семи номах, самым южным из которых оказывается Тинитский ном. В анналах царя Ашшурбаннипала (Призма A, стк. 109) [Novotny, Jeffers, 2018, p. 233] упомянуто, что Тинис был под властью правителя, который идентифицируется с Неспамеду, который был фиванцем по происхождению [Leahy, 1979]. Однако, учитывая, что в дар Нитокрис переходил расположенный в данном номе земельный надел и дарителем выступал сам царь[15], то мы предполагаем, что к Году 9 Псамметиха I или вскоре после него Тинис перешел под власть саисского монарха и был включен в «землю южную». При этом Фивы, по всей видимости, сохранили свою автономию и не были напрямую включены в состав «земли южной», поскольку дары от фиванцев были выделены в отдельный список на «Стеле удочерения Нитокрис» [Изосимов, 2025, с. 22–23], а высокопоставленные фиванцы (в том числе Монтуэмхат и его сын Несптах) сохраняли свои должности вплоть своей смерти [Parker, 1962].

Однако сведения частных памятников времени Псамметиха I, на наш взгляд, указывают, что царская администрация осуществляла контроль над Фивами без назначения своих сановников на региональные должности. Так, на статуе Неснаисута перечисляются поселения, в которых он занимал должность градоначальника (Berlin AM 17700, стк. 15–16) [Heise, 2007, S. 143–145]. В этот список включены также Фивы, в которых он являлся «стражем» (rsw), а не «градоначальником» (*ḥ3ty-ʿ n niwt*). То же самое мы предполагаем и для «начальника портов и пристаней» Сематауитефнахта. Из Карнакского тайника происходит его статуя (Richmond 51.19.4+64.60) [Leahy, 2011], изображающая сановника в сидячем положении с развернутым листом папируса в руке; надпись на статуе расположена на свитке и пьедестале. Предполагается, что памятник был установлен вскоре после удочерения Нитокрис «супругой бога Амона»[16] и мог составлять единую композицию со «Стелой удочерения Нитокрис» [Leahy, 2011, p. 208]. Основную часть надписи составляет перечень эпитетов и титулов Сематауитефнахта, которые описывают, во-первых, его высокое положение при дворе саисского царя, во-вторых, его функции по контролю над речным судоходством, в-третьих, его характеристика в качестве милостивого судьи. Также подчеркиваются функции сановника как ответственного за принятие различных прошений к царю и их решение («тот, кто осуществляет, чтобы входил он и был умиротворен он»; *sḫpr pr.f ḥtp.f*). При этом в надписи на памятнике вельможа назван «глазами царя в Верхнем Египте» (*irty nsw m t3 Šmʿ*) и «устами царя в Нижнем Египте» (*r.f m t3 Mḥw*). По мнению Э. Лихи, подобная характеристика вельможи вкупе с предполагаемой установкой на территории Карнакского храма была призвана показать его статус в качестве посредника между царем и фиванцами во время событий Года 9 Псамметиха I [Leahy, 2011, p. 209–211].

Заметим, что для осуществления подобных функций Сематауитефнахт указывает лишь различные эпитеты, связанные с функцией посредника. Единственной должностью, которую указывает сановник на памятнике, является «начальник войска Гераклеополя»; какие-либо другие должности или саны, связанные с Фивами, отсутствуют. Учитывая, что фиванская элита сохраняла свое положение и свою автономию в течение некоторого време-

[15] Подробнее об этом см.: [Изосимов, 2025, с. 22–24].

[16] Подробнее об институте «супруги бога Амона» см.: [Ayad, 2009].

ни после установления власти саисского монарха, мы полагаем, что основным назначением памятника из Карнакского тайника было отразить роль «начальника портов и пристаней» не только как посредника между царем и Фивами во время одного события (речное путешествие Нитокрис и ее последующее удочерение «супругой бога»), но и в качестве царского агента, в чью ответственность входило наблюдение за делами внутри фиванского региона, принятие различных прошений со стороны фиванцев и решение судебных вопросов. При этом отсутствие указания на какие-либо административные должности Сематауитефнахта, на наш взгляд, свидетельствует о том, что контроль «начальника портов и пристаней» (и всей царской администрации) над Фивами осуществлялся им без необходимости занимать определенные региональные должности, т.е. находясь как бы «над» местной иерархией.

ФУНКЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С КОНТРОЛЕМ НАД РЕЧНЫМ СУДОХОДСТВОМ

Функции «начальника портов и пристаней», как следует из названия должности, должны были быть связаны с контролем над портами Египта [Agut-Labordère, 2013, p. 983–984]. Данная деятельность не отражена в демотической «Повести Петеисе III», однако ряд должностей на частных памятниках Сематауитефнахта позволяют судить об этом. В «Стеле удочерения Нитокрис» сановник упомянут в качестве главы речной делегации, сопровождавшей царскую дочь на пути в Фивы. При этом, Сематауитефнахт как номарх Гераклеополя также мог участвовать в снабжении процессии необходимыми припасами: «Было получено снаряжение ее от градоначальника / номарха всякого, [каждый из которых] был во главе приношений его, снабженный вещью всякой прекрасной в хлебе, пиве, быках, гусях, овощах, сладких плодах, растениях, вещи всякой прекрасной» (Cairo JE 36327, стк. 10)[17].

Более явно его роль ответственного за снабжение судов отражена в надписи на происходящей из Мемфиса статуе (Cairo CG 653) [Jansen-Winkeln, 2014, S. 67–68], где приводится его должность «начальник экипажей кораблей царских» (*imy-r ꜥprw ꜥḥꜥw nsw*).

Однако наиболее важным свидетельством того, что функции Сематауитефнахта были связаны с речным судоходством, служит наличие на его статуе из Карнакского тайника эпитета «начальник плывущих на север и на юг (кораблей)» (*imy-r* (*m*) *ḫdi*(*t*) *ḫnti*(*t*)) (Richmond 51.19.4+64.60, стк. 3)[18]. Какие-либо подробности относительно того, в чем заключалась деятельность сановника в этом качестве, в надписи не приведены. Однако мы предполагаем, что данный эпитет Сематауитефнахта указывал, что в сферу ответственности сановника входил контроль над беспрепятственным речным судоходством между различными частями Египта. Упоминание о налаживании речного судоходства между северной и южной частью Египта присутствует в «Стеле сна Танутамона», где оно приводится в качестве одного из основных достижений похода напатского царя на Египет: «Жители юга плавали на север, а жители севера на юг в место под Величеством Его, [принося] вещь вся-

[17] *šsp ḫꜥw.s n ḥ3ty-ꜥ nb ḫry-tp i3bt.f ꜥpr m ḫt nb*(*t*) *nfrt m t ḥnḳt k3w 3pdw i3kwt bnr smw ḫt nb*(*t*) *nfr*(*t*). Данного варианта транслитерации придерживаются Р. Каминос и П. Дер Мануэлиан [Caminos, 1964, p. 83; Der Manuelian, 1994, p. 300–301, 317]. Однако отметим также вариант Г. Гёдике, который предлагает отнести фразу *šsp ḫꜥw. sn* к предшествующему пассажу о поднятии мачт в начале речного путешествия (Cairo JE 36327, стк. 8–9) [Goedicke, 1970, p. 70], в то время как фразу *ḫry-tp i3bt.f* рассматривать в качестве адвербиальной фразы с измененным порядком слов «ради ясности» (“every mayor – in regard of his provisioning – was equipped with all kinds of good things”) [Goedicke, 1970, p. 71].

[18] Отметим, что данный эпитет выписан после эпитетов «любящий владыку его, любимый владыкой его», образуя, таким образом, своеобразную аллитерацию: «любящий владыку его, любимый владыкой его, начальник плывущих на север и на юг (кораблей)» (*mr nb.f mry nb.f imy-r* (*m*) *ḫdi*(*t*) *ḫnti*(*t*)).

кую прекрасную Верхнего Египта и припасы всякие Нижнего Египта, чтобы удовлетворить сердце Величества его (*wnn rsyw ḥr ḫd mḥyw ḥr ḫnty r bw ḫr ḥm.f ḫr ḫt nbt nfr*(*t*) *nw tȝ-Šmᶜ dfȝw nb nw tȝ-Mḥw*; Cairo JE 48863, сткк. 41–42) [Breyer, 2003, S. 212].

РОЛЬ «НАЧАЛЬНИКА ПОРТОВ И ПРИСТАНЕЙ» ПРИ ДВОРЕ САИССКИХ ЦАРЕЙ

«Начальник портов и пристаней» также был одним из высокопоставленных чиновников царской администрации. В тексте «Повести Петеисе III» это подчеркивается упоминанием того, что Падиисет был приведен к царскому двору еще до того, как наследовал должность своего отца (pRylands IX, Col. V.16). Сематауитефнахт также был «человеком царским», приведенным во дворец царя (pRylands IX, Col. XI.4). При этом «начальники портов и пристаней» имели возможность добиваться аудиенций у царя: Петеисе I неоднократно описывает свои обращения к Псамметиху I в те времена, когда он был представлен правителю по протекции Падиисета (pRylands IX, Col. V.19–VI.3, VIII.14–20). Заметим, что попытки потомков Петеисе I обратиться к египетскому царю или к «сенти» для разрешения спора о земельном наделе оказывались безуспешными: Петеисе II не смог добиться аудиенции у Псамметиха II из-за болезни правителя и его смерти (pRylands IX, Col. XV.16–20); различные чиновники чинили препятствия для Петеисе III, из-за чего он не мог добиться решения вопроса (pRylands IX, Col. III.11–12, IV.11–V.13).

Частные памятники Сематауитефнахта также отражают его привилегированный статус и связь с царем. На многих памятниках он назван различными почетными титулами и эпитетами, такими как «друг единственный» / «друг единственный из-за любви [его]» (*smr wᶜty / smr wᶜty n mr*(*wt*))[19], «казначей царя Нижнего Египта» (*sḏȝwty bity*)[20], «знакомый царя, действительно любимый им» (*rḫ nsw mȝᶜ mr.f*)[21], «управляющий дворцом» (*ḥrp ᶜḥ*)[22], которые отражают его высокое положение среди придворных и на то, что сановник имел непосредственный доступ к царю и мог сопровождать его в различных предприятиях [Pressl, 1998, S. 27][23]. В перечнях должностей и титулов также встречается эпитет «находящегося над тайнами царя в месте его всяком» (*ḥry sštȝ nsw m bw.f nb*)[24], т.е. царского советника, что также отражает его статус сановника, которому доверяет царь.

Более подробно связь Сематауитефнахта отражена в надписи на его статуе из Карнакского тайника. Он назван «глазами царя Верхнего Египта, уста его в Нижнем Египте, глашатаем царя в месте его всяком, тот, кто окружает позади царя <…> находящийся над тайнами царя в месте его всяком <…> облаченный в ткани царя им самим» (*irty nsw m tȝ šmᶜ r.f m tȝ mḥw wḥm nsw m st.f nb šny r-ḫȝ nsw <...> ḥry sštȝ m st.f nb <...> wnḫ m wᶜb nsw m mnḫ*(*t*) *nt nsw ḏs.f*). Ряд перечисленных эпитетов («находящийся над тайнами царя в месте его всяком», «облаченный в ткани царя им самим») являются часто встречающимися на памятниках XXVI династии эпитетами, подчеркивавших близость с царем. К этой же группе близок эпитет «тот, кто окружает позади царя» (*šny r-ḫȝ nsw*), который также указывал на принадлежность вельможи к ближайшему кругу правителя [Leahy, 2011, p. 206]. Титул «глашатай царя» (*wḥm nsw*) известен с Нового царства; предполагается, что он был связан с судебными и военными сферами [Pressl, 1998, S. 19–20]. Данный титул имеется у ряда других сановников саисского времени, которые имели связанные с военным делом звания,

[19] Tanta Magazine 694 [Jansen-Winkeln, 2014, S. 46].

[20] Фрагмент наофора из Абидоса.

[21] Cairo CG 653.

[22] Tanta Magazine 694.

[23] О наличии у «управляющего дворцом» функции сопровождения царя в Древнем царстве см.: [Papazian, 2013, p. 51].

[24] Louvre E 25388; Richmond 51.19.4+64.60; Cairo CG 653.

и при этом носили басилеофорные имена с основой в виде имени царя XXVI династии [Pressl, 1998, S. 20–21]. Однако подробно функции «глашатаев царя» не описаны на их памятниках. Заметим, что на статуе Сематауитефнахта титул выписан в более подробном виде, с добавлением указания «в месте его всяком», что, возможно, указывает на то, что функции вестника царя распространялись на территорию всего Египта и на все связанные с администрацией институты власти.

ЖРЕЧЕСКИЕ ДОЛЖНОСТИ ПАДИИСЕТА, СЫНА АНХШЕШОНКА, И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ ПРИ ДВОРЕ САИССКИХ ЦАРЕЙ

В «Повести Петеисе III» сообщается, что Падиисет, сын Анхшешонка, был сыном жреца Амона-Ра, царя богов, который он унаследовал еще до того, как был приведен ко двору саисского царя. Позднее он также стал жрецом богов Херишефа и Собека (pRylands IX, Col. V.15–17).

Данные сведения подтверждаются надписью на статуе сановника (Stockholm NME81): «Выхождение всякое на жертвенный стол Осириса, предстоящего перед “Подворьем пчелы”[25], для Двойника князя, вельможи, начальника жрецов-“слуг бога” Херишефа, царя Обеих земель, жреца-“слуги бога” Собека Крокодилополя, жреца-“слуги бога” Анубиса, жреца-“слуги бога” Хатхор, владычицы Атфиха, князя и вельможи, великого в Нечерет, Падиисета, сына Анхшешонка, правогласного, рожденного владычицей дома Таухи» (*prt nb ḥr ḫ3yt Wsir ḫnty Ḥt-bity n k3 r-pˁt ḫ3ty-ˁ imy-r ḥmw-nṯr Ḥry-š.f nsw t3wy ḥm-nṯr Sbk Šdy*(*t*) *ḥm-nṯr Ỉnpw ḥm-nṯr Ḥt-ḥr nb*(*t*) *Tpy-iḏw r-pˁt ḫ3ty-ˁ wr m Nṯrt P3-di-ist z3 ˁnḫ-šsḳ m3ˁ-ḫrw ms n nb*(*t*) *pr T3w-ḫy m3ˁ-ḫrw*).

Заметим, что на памятнике Падиисет назван «начальником жрецов-“слуг бога”» почитавшейся в Гераклеополе ипостаси Херишефа. Таким образом, Падиисет также, вероятнее всего, являлся руководителем Гераклеополя, поскольку должность главы жрецов местного культа занимали чаще всего градоначальники.

Кроме того, Падиисет также являлся жрецом культов Собека и Хатхор в расположенных в Среднем Египте поселениях[26]. Помимо этого, как отмечал Дж. Поуп, в надписи подчеркивается связь сына Анхшешонка не только со Средним Египтом, но и с Саисом. Во-первых, сам памятник мог быть установлен первоначально на территории столицы XXVI династии, на что указывает упоминание в жертвенной формуле Осириса и «Подворья пчелы», т.е. одного из святилищ, располагавшегося на территории столичного храма Нейт, и почитавшегося в нем божества. Во-вторых, в надписи указан характерный для западной Дельты и Саиса титул «великий в Нечерет» (*wr m Nṯrt*). К примеру, данный титул упоминается в «Победной стеле Пианхи», где он употребляется по отношению к правителю Саиса Тефнахту (I) [Cairo JE 48862; стк. 2–4; Grimal, 1981, p. 12–13]. Также следует отметить, что на стокгольмском памятнике титулы «князь и вельможа» (*r-pˁt ḫ3ty-ˁ*) употребляются дважды: перед списком жреческих санов Падиисета и перед титулом «великим в Нечерет». По мнению исследователей, подобный повтор может отражать то, что Падиисет занимал должности как в Среднем Египте, так и в западной Дельте. Таким образом, дополнительно подчеркивается связь сановника с Саисом и его правителями.

---

[25] «Подворье пчелы» (*Ḥt-bity*) – святилище Осириса, которое было расположено за северной стеной священного ограждения храма Нейт в Саисе [El-Sayed, 1975, p. 207].

[26] Крокодилополь (др.-егип. *Šdyt*) расположен в Фаюмском оазисе [Montet, 1961, p. 215]. Атфих (др.-егип. *Tpy-iḏw*) располагался в XXII верхнеегипетском номе [Montet, 1961, p. 203].

РОЛЬ «НАЧАЛЬНИКА ПОРТОВ И ПРИСТАНЕЙ» В ЦАРСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Учитывая вышесказанное, отметим, что в период правления Псамметиха I Верхний Египет представлял собой особую административную единицу, включавшую земли различных номов, управление которой было передано сановнику – «начальнику портов и пристаней». В функции такого вельможи входил контроль над вверенной ему областью, решение судебных дел и контроль над речным судоходством, обеспечивавшим экономические связи между Севером и Югом страны. «Повесть Петеисе III» также приписывает «начальнику портов и пристаней» осуществление полицейского надзора и контроль над сбором податей хлебом и серебром в царскую казну.

В научной литературе политика саисских царей по отношению к Среднему Египту рассматривалась с различных точек зрения: переход Верхнего Египта под управление одного сановника – «начальника портов и пристаней» – рассматривалось как экспансия Саиса на Верхний Египет и попытка установить прочный контроль царской администрации над данным регионом [Graefe, 1972, p. 242; Ritner, 2009, p. 338–339]. Кроме того, возвышение гераклеополитских сановников было обусловлено стремлением саисского монарха ослабить власть ливийских династов и местной аристократии, усилив положение царской администрации [Wessetzky, 1963; Ritner, 2009, p. 338].

На наш взгляд, следует отметить другой важный факт. Оба известных «начальника портов и пристаней» – Падиисет и Сематауитефнахт – были тесно связаны с саисским монархом. Падиисет, сын Анхшешонка, носит один из титулов, характерных для западной Дельты, и который мог употребляться по отношению к правителю Саиса. При этом памятник из Стокгольма демонстрирует, что сановник был тесно связан не только с Саисом, но и со Средним Египтом, на что указывают его жреческие должности в различных поселениях этого региона.

Сематауитефнахт также обладал высоким положением при дворе саисского монарха, что подчеркивается не только употреблением по отношению к нему различных почетных титулов. На частных памятниках вельможи упоминается имя его матери, которая названа царской дочерью («дочь царя от тела его», *z3t nsw n ḥt.f*)[27]. Вопрос о том, дочерью какого царя она была, дискуссионен, однако наиболее вероятной является версия о ее происхождении от одного из предков Нехо I [Perdu, 2002, p. 1232–1233]. В таком случае, Сематауитефнахт оказывается связанным династическими узами с правителями Саиса. Не совсем ясно, был ли он сыном предшествующего «начальника портов и пристаней». Однако, в любом случае, можно отметить, что на должность руководителя Гераклеополя и всего Верхнего Египта были назначены вельможи, которые были непосредственно связаны с Саисом. Оба сановника обладали высоким положением при царском дворе, а в случае Сематауитефнахта, также могли быть родственниками царя. Схожую ситуацию мы наблюдаем также в Фивах: установление власти XXVI династии над Фивами было обеспечено путем удочерения царской дочери действовавшей «супругой бога Амона» и созданием, таким образом, династической связи между Псамметихом I и будущей «супругой бога» [Изосимов, 2025, с. 18–22].

Таким образом, на наш взгляд, можно говорить о единой политике Псамметиха I по установлению контроля над Верхним Египтом, которая заключалась в создании династических уз между ним и местными высшими руководителями (в случае Нитокрис и Сематауитефнахта). В случае с Падиисетом власть саисских монархов основывалась на тесных связях между саисским домом и руководителем Гераклеополя. Подобная политика, в которой на первое место выступал аспект утсановления династических связей и личных

[27] Richmond 51.19.4+64.60; фрагмент статуи из Абидоса; Cairo TN 31/3/18/7.

взаимоотношений между правителями регионов, был характерен для ливийских династов предшествующих периодов [Broekman, 2010].

После смерти «начальника портов и пристаней» Сематауитефнахта мы не находим свидетельств о существовании данной должности. В «Повести Петеисе III» отмечено, что в Год 4 Псамметиха II и в Год 15 Амасиса судебные функции были возложены уже на других должностных лиц, обозначенных как «управляющих Гераклеополем» (дем. *ḥrj n Ḥt-nn-nsw*): ими были Хоруджа, сын Хорхеба (pRylands IX, Col. XV.4) и Харбес (pRylands IX, Col. XIX.15). По всей видимости, уже к нач. VI в. до н.э. должность «начальника портов и пристаней» была упразднена, а присущие данным сановникам функции были перераспределены между другими вельможами, входившими в царскую администрацию. Исходя из этого, мы предполагаем, что исчезновение должности «начальника портов и пристаней» могло быть обусловлено усилением контроля царской администрации над территорией Среднего Египта.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

Большаков А.О., Степанова Е.В. *«Звучат лишь письмена…». К 150-летию со дня рождения академика Николая Петровича Лихачева. Каталог Выставки*. СПб.: Гос. Эрмитаж, 2012 [Bolshakov A.O., Stepanova E.V. *"In Written Words Alone…". On the 150th Anniversary of the Birth of Academician Nikolay Petrovich Likhachev. Exhibition Catalogue.* Saint Petersburg: State Hermitage Museum, 2012 (in Russian)].

Изосимов Д.А. Жречество и администрация Абидоса в Саисское время (по материалам частных памятников). *Восток (Oriens).* 2023. № 5. С. 20–31 [Izosimov D.A. The Priesthood and Administration of Abydos during the Saite Period (based on the Data from Private Monuments). *Vostok (Oriens).* 2023. No. 5. Pp. 20–31 (in Russian)].

Изосимов Д.А. «Стела удочерения Нитокрис» (Cairo JE 36327): Некоторые наблюдения. *Восток (Oriens)*. 2025. № 6. С. 15–27 [Izosimov D.A. The Nitocris Adoption Stela (Cairo JE 36327): Some Remarks. *Vostok (Oriens)*. 2025. No. 6. Pp. 15–27 (in Russian)].

Эдаков А.В. *Общество и государство древнего Египта VII–IV вв. до н.э. (политическая структура, проблемы экономики и социальная организация общества):* дисс. … д.и.н. М.: ИВ РАН, 1993 [Edakov A.V. *Ancient Egyptian Society and State during 7th–4th Centuries BC: Political Structure, Economic Problems and Social Organization*. DSc Thesis. Moscow: IOS RAS, 1993 (in Russian)].

Agut-Labordère D. The Saite Period: The Emergence of Mediterranean Power. *Ancient Egyptian Administration.* J.C. Moreno García (ed.) Leiden, Boston: Brill, 2013. Pp. 965–1028.

Ayad M.F. *God's Wife, God's Servant. The God's Wife of Amun (c. 740 – 525 BC).* New York: Routledge, 2009.

Benson M., Gourlay J. *The Temple of Mut in Asher*. London: John Murray, 1899.

Breyer F. Tanutamani. *Die Traumstele und ihr Umfeld*. Wiesbaden: Harrassowiz, 2003.

Broekman G.P.F. Libyan Rule Over Egypt. The Influence of the Tribal Background of the Ruling Class on Political Structures and Developments during the Libyan Period in Egypt. *Studien zur Altägyptischen Kultur*. 2010. Bd. 39. S. 85–99.

Broekman G.P.F. Once Again the Piankhy-Blocks from the Temple of Mut at Karnak. *Chronique d'Égypte*. 2012. Vol. 87. № 174. Pp. 233–258.

Caminos R.A. The Nitocris Adoption Stela. *Journal of Egyptian Archaeology*. 1964. Vol. 50. Pp. 71–101.

Der Manuelian P. *Living in the Past. Studies in Archaism of the Egyptian Twenty-Sixth Dynasty*. London: Kegan Paul, 1994.

El-Sayed R. *Documents relatifs à Sais et ses divinités*. Le Caire: IFAO, 1975.

Gauthier H. *Le personnel du dieu Min*. Le Caire: IFAO, 1930.

Goedicke H. Some Notes on the Nitocris Adoption Stela. *Journal of American Research Center in Egypt*. 1970. Vol. 8. Pp. 69–71.

Graefe E. Zwei Ergebnisse einer Inspektion des Grabes No. 196 im Assassif. *Chronique d'Égypte*. 1972. Vol. 46. Pp. 234–249.

Graefe E. El Hibe. *Lexikon der Ägyptologie. Band II. Erntefest – Hordjedef*. W. Helck, W. Westendorf (eds.) Wiesbaden : Harrassowitz, 1977. S. 1180–1181.

Griffith F.L. *Catalogue of the Demotic Papyri in the John Rylands Library, Manchester: III v*. Manchester; London: Quaritch and Sherratt and Hughes, 1909.

Grimal N.-C. *La stele triomphale de Pi(ankh)y au Musée du Caire (JE 48862 et 47086–47089)*. Le Caire: IFAO, 1981.

Heise J. *Erinnern und Gedenken. Aspekte der biographischen Inschriften der ägyptischen Spätzeit*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2007.

Helck W. *Die altägyptischen Gaue*. Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert, 1974.

Jansen-Winkeln K. *Inschriften der Spätzeit.* Teil IV. *Die 26. Dynastie*. Wiesbaden: Harrasowitz Verlag, 2014.

Jay J.E. The Petition of Peteise Reconsidered. *Mélanges offerts à Ola el-Aguizy.* F. Haikal (ed.) Le Caire: IFAO, 2015. Pp. 229–247.

Leahy A. Nespamedu, King of Thinis. *Göttinger Miszellen*. 1979. Bd. 35. S. 31–39.

Leahy A. Somtutefnakht of Heracleopolis. The Art and Politics of Self-Commemoration in the Seventh Century BC. *La XXVIe dynastie: Continuités et ruptures. Actes du Colloque international organisé les 26 et 27 novembre 2004 à l'Université Charles-de-Gaulle – Lille 3*. D. Devauchelle (ed.) Paris: Cybelle, 2011. Pp. 197–223.

Montet P. *Géographie de l'Égypte ancienne:* 2 T. *T. 2: La Haute Égypte*. Paris: Nationale Librairie Klincksieck, 1961.

Naunton C.H. *Regime Change and the Administration of Thebes during the Twenty-Fifth Dynasty. PhD Diss*. Swansea: Swansea University, 2011.

Novotny J., Jeffers J. *The Royal Inscriptions of Ashurbanipal (668–631 BC), Aššur-etel-ilāni (630–627 BC), and Sîn-šarra-iškun (626–612 BC), Kings of Assyria.* Part I. Winona Lake: Eisenbraums, 2018.

Parker R.A. *A Saite Oracle Papyrus from Thebes in the Brooklyn Museum (Papyrus Brooklyn 47.218.3).* Providence: Brown University Press, 1962.

Papazian H. The Central Administration of the Resources of the Old Kingdom: Departments, Treasuries, Granaries and Work Centers. *Ancient Egyptian Administration*. J.C. Moreno García (ed.) Leiden, Boston: SBL Press, 2013. Pp. 41–84.

Perdu O. De Stéphanitès à Néchao ou les débuts de la XXVIe dynastie. *Comptes rendu des séances de l'Académie des inscriptions et Belles-Lettres*. 2002. Vol. 146. № 4. Pp. 1215–1244.

Pope J. *The Double Kingdom under Taharqo. Studies in the History of Kush and Egypt, c. 690–664 BC*. Leiden; Boston: Brill, 2014.

Pope J. The Historicity of Pediese, Son of Ankhsheshonq. *Revue d'égyptologie*. 2015. Vol. 66. Pp. 199–209.

Pressl D.A. *Beamten und Soldaten. Die Verwaltung in der 26. Dynastie in Ägypten (664–525 v. Chr.)*. Frankfurt am Main; Berlin; Bern; New York; Paris; Wien: Peter Lang, 1998.

Ritner R.K. Fragmentation and Re-integration in the Third Intermediate Period. *The Libyan Period in Egypt*. G.P.F. Broekman, R.J. Demarée, O.E. Kaper (eds.) Leuven: Peeters, 2009. Pp. 327–340.

Traunecker C. Les deux enfants du temple du Teudjoï (à propos du P. Rylands IX). *Hommages à Jean-Claude Goyon*. L. Gabolde (ed.) Le Caire: IFAO, 2008.

Vittmann G. *Priester und Beamte im Theben des Spätzeit. Genealogische Untersuchungen zum thebanischen Priester- und Beamtentum der 25. und 26. Dynastie*. Wien: Afro-Pub, 1978.

Vittmann G. *Der demotische Papyrus Rylands 9*. Wiesbaden: Harrassowitz, 1998.

Wb. – *Wörterbuch der ägyptischen Sprache*. Hrsg.: A. Erman, H. Grapow. Bd. I–V. Berlin: Akademie *Verlag*, 1955–1957.

Wessetzky W. Die Familiengeschichte des Peteese als historische Quellen für die Innenpolitik Psametiks I. *Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde*. 1963. Bd. 88. S. 69–73.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ / INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

ИЗОСИМОВ Денис Александрович – младший научный сотрудник Института востоковедения РАН, Москва, Россия.

Denis A. IZOSIMOV, Junior Research Fellow, Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia.

DOI: 10.31696/S086919080039459-1

КЭНША 坑杀 И «ЗАХОРОНЕННЫЕ ЗАЖИВО» СОЛДАТЫ ЧЖАО: ЛЕГИСТСКИЙ КОНТЕКСТ РЕЗУЛЬТАТОВ ЧАНПИНСКОЙ БИТВЫ 260 г. до н.э.

© 2026

Б.У. КИТИНОВ [a], Д.Н. РАТУШНЫЙ [b]

[a] – Институт востоковедения РАН, Москва, Россия
ORCID: 0000-0003-4031-5667; kitinov@mail.ru
[b] – Российский университет дружбы народов, Москва, Россия
ORCID: 0009-0007-7807-6557; khashmodai@mail.ru

Резюме: *Статья представляет собой комплексное исследование результатов Чанпинской битвы (260 г. до н.э.) – важнейшего сражения эпохи Сражающихся государств (Чжаньго, 453–221 гг. до н.э.), в котором царство Чжао понесло сильное поражение от царства Цинь, предопределившее его последующее падение. На основе анализа древних китайских источников («Вёсны и осени господина Люя», «Книга правителя области Шан», «Комментарий к “Канону рек”», «Универсальная география эпохи Тайпин», словаря «Приближение к классике», «Географическое описание Шаньси» эры Чэнхуа и др.), археологических данных (захоронение солдат Чжао периода Чанпинской битвы), а также проведенных в марте и августе 2025 г. полевых исследований на территории и в окрестностях города Гаопин в Китайской Народной Республике, в комплексе с последними достижениями исторической науки, авторы выделяют роль легизма в методе ключевого для значения битвы массового убийства военнопленных-чжаосцев. В работе, с опорой на достижения исследования китайских специалистов Чжи Цзяня и Чжан Жуньцзэ, критически пересматривается интерпретация и чтение термина кэнша 坑杀, который обычно понимается исследователями как массовое захоронение заживо циньцами 450 тыс. чжаоских воинов, но в действительности, судя по всему, обозначает системное уничтожение пленных с последующим созданием курганов из голов и тел противников цзингуань 京欢 и должно читаться как ганша. Вероятно, это был сделано в значительной степени для учёта (подсчета) достижений войск, согласно легистской ранговой системе, а также для устрашения противников. Одна из таких конструкций, прозванная в источниках «Платформой Бай Ци», столетиями находилась на территории деревни Гукоу вблизи Гаопина. В период правления империи Мин (1368–1644) над ней был возведён Храм Черепов, ставший местом поклонения воинам, погибшим в древней битве.*

Ключевые слова: Древний Китай, Чанпинская битва, царство Цинь, царство Чжао, период Чжаньго, Сыма Цянь, «кэнша», легизм

Для цитирования: Китинов Б.У., Ратушный Д.Н. *Кэнша* 坑杀 и «захороненные заживо» солдаты Чжао: легистский контекст результатов Чанпинской битвы 260 г. до н.э. *Восток (Oriens).* 2026. № 5. С. 41–51. DOI: 10.31696/S086919080039459-1

KENGSHA 坑杀 AND THE "BURIED ALIVE" ZHAO SOLDIERS: THE LEGALIST CONTEXT OF THE OUTCOME OF THE BATTLE OF CHANGPING IN 260 BCE

© 2026

Baatr U. KITINOV [a], Danila N. RATUSHNYI [b]

[a] – Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
ORCID: 0000-0003-4031-5667; kitinov@mail.ru
[b] – RUDN University, Moscow, Russia
ORCID: 0009-0007-7807-6557; khashmodai@mail.ru

Abstract: *This article examines the Battle of Changping (260 BCE), a decisive Warring States period engagement in which Zhao suffered a crushing defeat at the hands of Qin, foreshadowing Zhao's eventual collapse. Drawing on ancient Chinese sources (Springs and Autumns of Mr. Lü, The Book of Lord Shang, Commentary on the Waterways Classic, Universal Geography of the Taiping Era, the dictionary Approach to the Classics, Geographical Description of Shanxi from the Chenghua era), archaeological data (burials of Zhao soldiers), and field studies conducted in March and August 2025 in and around Gaoping City, PRC – combined with recent historiographical advances – the authors highlight the role of Legalism in the mass killing of Zhao prisoners, which was central to the battle's significance. Building on the research of Chinese scholars Zhi Jian and Zhang Runze, the work critically reexamines the term kengsha* 坑杀, *commonly interpreted as the Qin army's live burial of 450,000 Zhao troops. In reality, the term appears to denote systematic extermination of captives followed by the construction of mounds from enemy heads – jingguan* 京观 *– and should be read as gangsha. This practice was likely motivated by the need to record military achievements under the Legalist rank-based system, as well as to intimidate adversaries. One such structure, referred to in sources as the "Bai Qi Platform", stood for centuries near Gukou Village, Gaoping. During the Ming dynasty (1368–1644), the Skull Temple was erected over it, becoming a site of veneration for warriors who perished in the battle.*

Keywords: ancient China, Battle of Changping, state of Qin, state of Zhao, Warring States period, Sima Qian, "kengsha," Legalism

For citation: Kitinov B.U., Ratushnyi D.N. *Kengsha* 坑杀 and the "Buried Alive" Zhao Soldiers: The Legalist Context of the Outcome of the Battle of Changping in 260 BCE. *Vostok (Oriens)*. 2026. No. 5. Pp. 41–51. DOI: 10.31696/S086919080039459-1

Чанпинская битва 260 г. до н.э. – кампания за регион Шандан[1] 上党, по устоявшемуся в науке мнению считается переломным событием, открывшим государству Цинь 秦 (770–221 гг. до н.э.) возможность к завоеванию всей Восточной Азии. Изучение историографии по теме позволяет заключить, что в российском китаеведении за последние 30 лет и ранее отсутствуют работы, которые бы не переписывали так или иначе один и тот же нарратив, приведенный в «Исторических записках» («Ши цзи» 史记) ханьского историка Сыма Цяня 司马迁 (145/135 – ок. 86 гг. до н.э.)[2]: под Чанпином циньцы заживо закопали сдавшихся в плен 450 тыс. чжаоских воинов [Сыма Цянь, 1996, с. 161]. Например, повтор информации Сыма Цяня дан и в недавней работе Л.С. Васильева «Древний Китай» [Васильев, 2006, с. 37].

[1] Сегодня территории древнего Шандана входят в городской округ Чанчжи 长治 провинции Шаньси.
[2] К примеру, информация Сыма Цяня практически дословно изложена в работе: [Попов, 2001, с. 3–4]

В западной историографии Чанпинская битва была изучена в рамках общего контекста циньских завоеваний М.Э. Льюисом в труде «Политическая история Воюющих царств» [Lewis, 1999, p. 587–650]. Аспект численности войск в битве при Чанпине был затронут Д. Бодде в «Кембриджской истории Китая» в главе «Государство и империя Цинь» [Bodde, 1986, p. 20–102].

В целом стоит отметить, что во многом по причине скудной информации о битве в письменных источниках, кроме труда Сыма Цяня, а также ограниченного внимания специалистов к археологии битвы, практически все исследователи повторяют во многом одну и ту же информации, что отражается на определенной мифологизированности этого события.

Китайские ученые изучили Чанпинскую битву достаточно подробно. В нашей работе мы использовали, в частности, малоизвестный российскому и западному китаеведению труд Чжи Цзяня 郅剑 и Чжан Жуньцзэ 张润泽 «Новое решение проблемы “Похороненных заживо” в битве при Чанпине» (*Чанпин чжи чжань кэн ша синьцзе* 长平之战“阬杀”新解). Это одна из самых значимых работ по настоящей теме, на достижения которой мы также будем ориентироваться в настоящей публикации.

Стоит учитывать, что хотя «Исторические записки» и являются одним из древнейших исторических источников и дают бесценную информацию о прошлом, однако воспринимать их как непреложную истину, разумеется, не стоит. Поэтому в нашем материале мы подойдем к тексту Сыма Цяня с осторожностью, для верификации используя другие источники.

В ходе исследования в качестве важных источников, содержащих информацию по легистским практикам, был использован текст «Вёсны и осени господина Люя» (*Люй-ши чуньцю* 吕氏春秋) [Люй Бувэй, 2024] и текст «Книга правителя области Шан» (*Шан цзюнь шу* 商君书) [*Книга правителя области Шан*, 1993]; для уточнения топонимики и связи событий Чанпинской битвы с реально существующими местами использовался «Комментарий к “Канону рек”» (*Шуй цзин чжу* 水经注) [Ли Даоюань, 1985], а для выяснения значения спорного термина *кэнша* 坑杀 использовались древнекитайские толковые словари, такие как «Объяснение письмен и толкование иероглифов» (*Шовэнь цзецзы* 说文解字)[3] [Сюй Шэнь, 1988] и «Приближение к классике» (*Эръя* 尔雅)[4].

БЫЛО ЛИ ЗАХОРОНЕНИЕ ЗАЖИВО?

С начала III в. до н.э. царство Цинь последовательно усиливалось, захватывая земли своих соседей, прежде всего царства Хань 韩. Так, циньская армия смогла к началу 260-х гг. до н.э. приблизиться к региону Шандан, имевшему стратегически важное значение для расположенного северо-восточнее царства Чжао 赵. В результате первого столкновения между циньскими передовыми отрядами и чжаоскими копейщиками вторые были наголову разбиты [Wu, 2024, p. 13]. Чжаосцы отступили и закрепились в крепости Чанпин – так начался позиционный этап кампании, когда армией Чжао командовал известный полководец Лянь По 廉颇. В течение нескольких месяцев войска Цинь безрезультатно осаждали Чанпин. В результате циньского подкупа чиновников при дворе Чжао, чжаоский правитель был настроен против Лянь По как ненадёжного и трусливого командира, который боится атаковать Цинь и вскоре сдаст Чанпин. Поэтому Лянь По сменил сын известного генерала Чжао Шэ 赵奢, *мафуцзюнь*[5] Чжао Ко 赵括 [Сыма Цянь, 1996, с. 161]. Узнав о смене

[3] Составлен Сюй Шэнем 许慎 , жившим в I–II вв. н.э.

[4] Древнейший из толковых словарей иероглифов, написан в III–II вв. до н.э.

[5] 马服君 «Владетель, укрощающий лошадей» – отец Чжао Ко, известный полководец Чжао Шэ, получил этот титул после победы над Цинь в 269 г. до н.э. После смерти Чжао Шэ титул перешел по наследству к его сыну.

главнокомандующего в чжаоской армии, циньский правитель втайне поставил во главе своих войск самого результативного главнокомандующего государства Цинь – *уань-цзюня*[6] Бай Ци 白起 [Сыма Цянь, 1996, с. 161].

Вскоре армия Цинь намеренно отступила, спровоцировав Чжао Ко выйти из Чанпина и начать преследование противника, а 25 тыс. пехоты и 5000 кавалерии циньцев вышли в тыл войскам Чжао, тем самым разделив чжаосцев на две части: ведомую Чжао Ко и тех, кто остался за оборонительными сооружениями Чанпина. Спустя 46 дней окружения, после неудачной попытки прорыва, в ходе которой погиб сам Чжао Ко, войска Чжао, включая тех, кто был осажден в Чанпине, сдались. Согласно Сыма Цяню, Бай Ци приказал похоронить заживо почти всех, отпустив только 240 самых молодых; Чжао якобы потеряло в общей сложности 450 тыс. солдат [Сыма Цянь, 1996, с. 161]. Позже эти места стали известны как «Долина убийств» (*Ша гу* 杀谷).

С тех пор, как Сыма Цянь привел эти данные в начале I в. до н.э., историки переписывали с его страниц и количество плененных солдат Чжао, и метод их избиения. Однако недавние находки позволяют поставить под сомнение безоговорочную правоту слов великого китайского историка-архивиста и предложить иные трактовки, новые гипотезы относительно того, что происходило близ Чанпина накануне появления великой империи Цинь.

В январе 1995 г. один из жителей деревни Юнлу 永禄, находящейся на территории древнего поля битвы, во время уборки полей наткнулся на большое количество человеческих костей, обнаружив также монету в форме ножа и другие бронзовые монеты. Эта находка привлекла внимание местных властей и учёных. С конца мая по начало июня того же года были проведены раскопки могильника в деревне Юнлу, которые являлись первыми официальными археологическими исследованиями на месте битвы при Чанпине. Всего в ходе раскопок было обнаружено 62 скелета, однако в археологическом отчете было оговорено, что, поскольку не удалось согласовать дальнейшие работы, реальное количество скелетов может быть много больше. Для консервации объекта над ямами в Юнлу был возведён музей Чанпинской битвы [Ши, Сун, 1996, p. 33–40] (*рис. 1–2*)[7].

При осмотре ям в Юнлу мы сразу же обратили внимание на то, что скелеты не выглядят так, как если бы людей хоронили заживо – многие из тел пребывают в ямах в крайне поврежденном состоянии, скорее всего, являющимся следствием прижизненных травм, некоторые черепа пробиты стрелами (наконечники которых были найдены здесь же). В упомянутом археологическом отчёте отмечено, что многие кости повреждены оружием, и делается вывод, что эти люди были сброшены в упомянутые ямы уже мёртвыми. Можно предположить, что в подобных ямах хоронили воинов, погибших в битве – или же убивали чжаосцев непосредственно перед захоронением, для упрощения процесса (возможно, в какой-то степени верны оба предположения, хотя предположение о массовых убийствах военнопленных может быть и данью пугающему образу Цинь как безжалостного завоевателя). В пользу этого говорят также и находки монет среди костей [Ши, Сун, 1996, p. 33–40]: воинов хоронили поспешно, что скорее характерно для санитарных захоронений большого числа жертв крупного сражения. В целом, нельзя исключать, что изученное захоронение было произведено не циньскими воинами, а местными жителями вскоре после ухода войск.

Одними из первых специалистов, кто провел детальное изучение темы «похороненных заживо» солдат Чжао с учетом новых данных, являются Чжи Цзянь и Чжан Жуньцзэ. После тщательного рассмотрения данных Сыма Цяня они заострили внимание на понятии *кэнша* 坑杀, использованном в «Ши цзи», который традиционно трактуется «похоронить заживо»

[6] 武安君 «Правитель, умиротворяющий военной [силой]».

[7] Рис. 1–6 см. на цветной вклейке.

или «закопать живьём в землю» и отдельно изучили иероглиф *кэн* 坑, традиционно понимаемый как «яма», «могила», «низина».

Приведем анализ Чжи Цзяня и Чжан Жуньцзэ тех случаев, когда термин *кэнша* 坑杀 применялся в «Ши цзи»:

1. [Бай Ци] тогда [обманом] заманил [их] и полностью [их] закопал [заживо], убив. Он отпустил 240 их малолетних [пленников], [чтобы те] вернулись в Чжао. До и после было обезглавлено и взято в плен 450 000 человек. 乃挟诈而尽阬杀之，遗其小者二百四十人归赵，前后斩首虏四十五万人。[Чжи, Чжан, 2023, с. 5; Сыма Цянь, 1996, с. 159].

2. [Бай Ци] к тому же пересек реки Хань и Вэй и напал на сильное Чжао, на севере уничтожил мафу[-цзюня], [он] покарал и вырезал войско в 40 тысяч человек, полностью уничтожил их под Чанпином, текла кровь, наполнив реку, и звук бурления был похож на гром, затем вошли и осадили Ханьдань, позволив Цинь овладеть императорскими обязанностями 又越韩、魏而攻强赵，北阬马服，诛屠四十余万之众，尽之于长平之下，流血 成河，沸声若雷，遂入围邯郸，使秦有帝业 [Чжи, Чжан, 2023, с. 6; Сыма Цянь, 1996, с. 232].

3. Циньская армия убила Чжао Ко. Окружённые войска [были] разгромлены, несколько десятков тысяч солдат затем сдались Цинь, Цинь полностью уничтожило их. Чжао до и после потеряло всего 450 тысяч, [когда] Цинь окружило Чжао Ко, Чжао Ко с войсками сдался, четыреста с лишним тысяч, всех их уничтожили 秦军射杀赵括。括军败，数十万之众遂降秦，秦悉阬之。赵前后所亡凡四十五万;秦人围赵括，赵括以军降，卒四十余万皆阬之 [Чжи, Чжан, 2023, с. 6; Сыма Цянь, 1996, с. 159].

Чжи Цзянь и Чжан Жуньцзэ, проверив «Ши цзи», выявили и другого рода записи о массовых убийствах при Чанпине:

1. Бай Ци **разгромил** Чжао при Чанпине и **убил** четыреста пятьдесят тысяч. 白起破赵长平，杀卒四十五万。[Чжи, Чжан, 2023, с. 6; Сыма Цянь, 1984, с. 300].

2. [Циньцы] сделали [так, что] Чжао Ко сменил [Лянь По на месте] командующего, [после чего] Бай Ци **разгромил** [армию под командованием] Ко [численностью] в четыреста пятьдесят тысяч. 使赵括代廉颇将，白起破括四十五万。[Чжи, Чжан, 2023, с. 6; Сыма Цянь, 1984, с. 301].

3. Циньцы **захватили** у Чжао Шандан и **убили** более четырёхсот тысяч солдат господина *мафу[-цзюня]* при Чанпине. 秦拔赵上党，杀马服子卒四十余万于长平。[Чжи, Чжан, 2023, с. 6; Сыма Цянь, 1992, с. 105].

4. Чжао **потеряло** [при] Чанпине более четырёхсот тысяч солдат. 赵陷长平兵四十余万众 。[Чжи, Чжан, 2023, с. 6; Сыма Цянь, 1996, с. 195].

В этих записях использовались слова 杀 – убить, 破 – разбить, 陷 – ловушка, промах, потеря, но не 坑杀 – убить в яме (убить, поместив в яму).

Таким образом, если верить Сыма Цяню, то результатом Чанпинской битвы действительно стало массовое убийство плененных воинов Чжао. Но источники не утверждают однозначного метода их истребления, единственная относительно подробная цитата говорит о массовом убийстве с бурлящей кровью, в то время как погребение заживо дано в числе общей информации об уничтожении огромной армии.

ХОЛМ (ПИРАМИДА) ИЗ ЧЕРЕПОВ

По версии Чжи Цзяня и Чжан Жуньцзэ, *кэнша* 坑杀 в контексте битвы при Чанпине стоит понимать, как «[сооружать] холмы из убитых» [Чжи, Чжан, 2023 p. 7]. Стоит отметить, что в древних текстах слово *кэн* имеет два варианта написания 阬 и 坑. Первый встречается в текстах на бронзе (VIII–III вв. до н.э.), второй вариант впервые зафиксирован

в стандартном письме *кайшу* 楷书 в период империи Хань 汉 (202 г. до н.э. – 220 г. н.э.). С эпохи Восточная Хань 东汉 (25–220 гг. н.э.) написание 坑 в значительной степени вытеснило 阬, став общепринятой формой знака [*Ханьюй дацыдянь*, 1993, т. XII, с. 915].

Чжи Цзянь и Чжан Жуньцзэ проводят параллель между *кэн* 阬 и *цзингуань* 京观 – символической конструкцией, строившейся победившей стороной в древности для увековечения своей победы [*Ханьюй дацыдянь*, 1993, т. XII, с. 915].

Цзин 京 в данном случае обозначает «высокий насыпной холм», *гуань* 观 – «платформа или сооружение для наблюдения», то есть *цзингуань* 京观 можно перевести как «насыпной наблюдательный курган». Действительно, в «Эръя» 尔雅 отмечается, что такие конструкции зачастую строились из тел убитых солдат [Чжи, Чжан, 2023, p. 7]. В основном примеры *цзингуаней* встречаются в поздних текстах, начиная с Восточной Хань, однако «Эръя» также отсылает к тексту «Цзо чжуань» 左传[8], где рассказывается о до-чанпинском примере *цзингуань*. На 12-й год правления Лу Сюань-гуна (596 г. до н.э. – *Б.К.*, *Д.Р.*) Чу напала на Чжэн. Тогда армия Цзинь пришла на помощь, но была побеждена. Пан Дань предложил «построить военную платформу» и собрать тела погибших солдат Цзинь для создания *цзин-гуаня*:

Пань Дан сказал: «Почему бы вам, государь, не воздвигнуть у-цзюнь[9] и, собрав трупы цзиньских солдат из [них не] соорудить смотровой курган [*цзин-гуань*]? [Я, ваш] слуга, слышал, [что,] победив врага, непременно [должно] показать [её их] сыновьям [и] внукам, дабы не забывали [наших] ратных подвигов». Чуский *цзы* сказал: «Это не то, что ты [можешь] знать. Ведь пишем «остановить клевцы», получается [знак] *у* [«воинственный»] (…). Ведь воинственный – [это] тот, кто запрещает жестокость, останавливает воинов, охраняет великое, утверждает заслуги, успокаивает народ, умиротворяет многочисленных, приумножает богатства. Потому и делает [так, что] сыновья и внуки не забывают его установлений. Ныне же, повелеть [выставить] сухие кости [воинов] двух государств – [это] жестокость![10] Демонстрируя воинов, чтобы устрашить [князей] *чжу-хоу*, воинов не остановить. Быть жестоким и не остановить [воинов] – как можно сохранить великое? Цзинь всё ещё существует – как можно суметь утвердить заслуги? Того, что противоречит желаниям, ещё много – народ как успокоиться в этом? Не имея добродетели и [опираясь на] силу, сражаясь с [князьями] *чжу-хоу*, чем умиротворить многочисленных? [Извлекать] выгоду [из] несчастий людей и устраивать смуту [среди] людей, считая [это] собственной славой, – чем приумножишь богатства? У «воинственности» семь добродетелей, я не обладаю ни одной из них. Посредством чего [же мне] показаться сыновьям и внукам? Стоит возвести дворец прежним правителям – доложить о завершённых делах, вот и всё. Воинственность – не моя заслуга. Древние просвещённые цари карали [войной] непочтительных, захватывали их злыдней [и погребали их,] засыпая [землей], почиталось за великую казнь, поэтому там были *цзингуани*, чтобы наказывать распутство и порок. Ныне вине нет места, а народ весь погиб, [будучи] верным, и потому умер [ради] приказа правителя. Ещё ради чего делать *цзингуани*?» Совершил жертвоприношение [Хуан]хэ, воздвиг дворец прежним правителям, доложил о завершении дел и вернулся.

潘党曰：“君盍筑武军，而收晋尸以为京观。臣闻克敌必示子孙，以无忘武功。”楚子曰：“非尔所知也。夫文，止戈为武。(…)夫武，禁暴、戢兵、保大、定功、安民、

[8] «Комментарии Цзо» – подробный комментарий к хронике «Вёсны и осени» («Чуньцю» 春秋), текст составлен в IV в. до н.э.

[9] У-цзюнь, букв. «воинско-армейский [знак]» – холм, возводимый из голов и трупов врагов после победы в битве.

[10] Игра слов. Высохшие на солнце, непогребённые (*пу*) кости обозначаются тем же знаком, что и жестокость (бао).

和众、丰财者也。故使子孙无忘其章。今我使二国暴骨，暴矣；观兵以威诸侯，兵不戢矣。暴而不戢，安能保大？犹有晋在，焉得定功？所违民欲犹多，民何安焉？无德而强争诸侯，何以和众？利人之几，而安人之乱，以为己荣，何以丰财？武有七德，我无一焉，何以示子孙？其为先君宫，告成事而已。武非吾功也。古者明王伐不敬，取其鲸鲵而封之，以为大戮，于是乎有京观，以惩淫慝。今罪无所，而民皆尽忠以死君命，又何以为京观乎？”祀于河，作先君宫，告成事而还 [Ли, Цзо чжуань, 1999, с. 652].

Что касается *кэн* 阬/坑, то учёные отмечают значения этого иероглифа, учтённые в «Эръя»: 1) Kēng – яма, низина, могила, погубить; 2) Kàng – противостоять; Gāng – высокий холм или возвышенность [*Ханьюй дацыдянь*, 1993, т. XII, с. 915].

Исходя из этих данных, Чжи Цзянь и Чжан Жуньцзэ высказали гипотезу, что в контексте битвы при Чанпине в тексте стоит читать иероглиф *ган* 阬 со значением «холм», «возвышенность». Мы считаем эту точку зрения вполне обоснованной.

Действительно, в «Люй-ши чуньцю» мы находим соответствующее подтверждение: «Циньцы пошли походом на Линьцю. Тогда чжаосцы послали отборные войска Кун Цина на выручку, и те вступили в бой с циньцами. Те потерпели сокрушительное поражение. Циньский полководец пал на поле боя, было захвачено две тысячи повозок и тридцать тысяч тел, из которых хотели сложить две пирамиды» [Люй Бувэй, 2024, с. 306]. Следовательно, пирамиды из тел врага были обычной практикой уже в то время и практиковались как чжаосцами, так и циньцами.

Кроме того, в контексте особенностей идеологии той эпохи, а именно роли легизма, стоит вспомнить «Шан-цзюнь шу» 商君书 («Книга правителя области Шан»), трактат, написанный идеологом циньского легизма Шан Яном 商鞅 (390–338 гг. до н.э.) и лёгший в основу государственной доктрины Цинь. В нем более чётко акцентируется важность подсчёта отрубленных голов врага, а не тел, без привязки к форме погребения/мемориала: «Если кто-либо в бою отрубит голову врагу, он освобождается от повинностей», «Каждый пяток возглавляется командиром, каждые сто человек – сотником. Во время боя сотники и командиры пятков сами не охотятся за вражескими головами; если их отряд добудет тридцать три головы или более, – они выполнили свой долг; сотнику и командирам пятков жалуется ранг знатности», «Если [армия], наступающая на крупный город или окружившая общину, обезглавит свыше восьми тысяч человек, она выполнила свой долг; если она в открытом бою обезглавит две тысячи, то можно считать, что ее воины выполнили свой долг. Все командиры – участники сражений, начиная с *цао*, *сяо* и вплоть до главнокомандующего, получают награды. Поэтому обладателям первого ранга знатности присваивается второй ранг, тем, кто имел второй, – третий, [тем, кто имел] третий, – четвертый, а тем, кто имел четвертый, – пятый ранг знатности…» [*Книга правителя области Шан*, 1993, с. 216–219]. Такого рода поощрения не только возносили командиров, но также стимулировали формирование армии победителей, стремящихся отрубить как можно больше голов противников, закрепляя легистские методы управления.

Можно предположить, что головы, как и тела, после сражения могли складываться, в частности, для учёта, что и отразилось в летописи под термином *ганша*. Возможно, термин был взят Сыма Цянем из циньских документов и неправильно понят – и оттого возникла созданная им картина массового убийства пленных или даже их захоронения живьем (*кэнша* 坑杀).

С этой точки зрения важной является информация из «Люй-ши цуньцю»: «Нин Юэ сказал: “Биться и не победить – это преступление единожды. Уйти в поход с людьми и не привести их назад – это преступление вдвойне. Отказаться забрать тела, когда противник тебе это предлагает – это преступление втройне. Из-за этого тройного преступления подданные будут ненавидеть правителей. Тогда высшие не смогут управлять низшими,

а низшие не станут слушать высших – это и называется большое нападение изнутри”» [Люй Бувэй, 2024, с. 306–307]. Очевидно, циньцам не было резона предлагать Чжао забрать тела погибших, поскольку их армия продвигалась вперед, а возведением холмов из тел/голов погибших чжаоских воинов циньцы не только упрощали для себя подсчёт заслуг подразделений, но и могли дискредитировать чжаоских военачальников, потерявших армию и даже не сумевших забрать тела погибших, кроме этого навести ужас на жителей Чжао, что могло сыграть свою роль в последующем крушении этого государства.

Для комплексного изучения битвы следует рассмотреть несколько знаковых с точки зрения Чанпинской битвы мест, отразившихся в поздней топонимике и исторической памяти района битвы.

Первое из них – так называемая Платформа Бай Ци (*Бай Ци тай* 白起台). На тематическом стенде в музее Чанпинской битвы о ней написано следующее: «На севере деревни Ванхэ 王何村 горный хребет к югу от деревни Ванцзян 王降村. Также называют Бай Ци лин 白起岭 (Хребет Бай Ци). По легенде, на позднем этапе сражения Бай Ци построил платформу на этом хребте, чтобы наблюдать за строем противника в окружении».

Есть и иное объяснение появления платформы: в таком авторитетном источнике, как «Шуй цзин чжу» 水经注 со ссылкой на «Записки о [регионе] Шандан» («Шандан цзи» 上党记) сказано: «Город Чанпин расположен на юге округа. Циньская [армия насыпала] вал на западе от города. Две армии вместе питались из потока текущей воды, находились в пяти ли друг от друга. Циньские войска устраивали ямы для солдат Чжао, собирали черепа и строили [из них] платформу внутри [своих] укреплений. [Взяв за] основу гору, сделали башню, на скальной круче [подобно башням сяского] Цзе вознеслась. Сейчас называют её «Платформа Бай Ци». [长平城在郡之南。秦垒在城西。二军共食流水涧，相去五里。秦坑赵众，收头颅，筑台于 垒中，因山为台，崔嵬桀起。今仍号之曰“白起台”] [Ли, 1985, с. 196–197]. Китайские специалисты отмечают, что эта платформа в древнем географическом справочнике «Карты и описания округов и уездов [эпохи] Юаньхэ» («Юаньхэ цзюнь-сян ту чжи» 元和郡县图志[11]) известна как «Гора черепов» (Тоу лу шань 头颅山) [Чжи, Чжан, 2023, p. 7].

В данном контексте интерес также представляет Храм Черепов, расположенный в деревне Гукоу 谷口 на территории бывшего поля битвы.

Платформа из более чем 8000 человеческих черепов [*Книга правителя области Шан*, 1993, с. 216–219], расположенная на возвышении в долине Шагу вблизи небольшого города Гаопин, как показывают данные «Комментария к канону рек», «Карты и описания округов и уездов», «Шаньси тунчжи», продолжала существовать в заметном виде и в период Северной Вэй (386–534 гг. н.э.), и в период империи Тан (во времена правления под девизом Юань-хэ, 805–820 гг., то есть через более чем 1000 лет после битвы), и позже, вплоть до эпохи Мин (правление под девизом Чэнхуа, 1465–1487 гг., спустя более 1500 лет после битвы, когда над платформой был возведён Храм черепов). Такое долгое существование платформы могло быть обусловлено тем, что циньцы построили её с особым тщанием в назидание врагам и их потомкам.

В тексте «Тай-пин хуаньюй цзи», Всемирной географии эпохи Тайпин (976–983 гг.), об обстоятельствах строительства храма сообщается:

«Обнаружили кости на тысячу шагов, скопившаяся кровь [глубиной в] три *чи*[12], место называлось Шагу («Долина убийств»)[13], в десятый год [периода правления под девизом]

[11] Один из самых ранних географических справочников Китая, составлен в период правления императора Сянь-цзуна (805–820 гг. н.э.) империи Тан.

[12] Чи 尺 – мера длины, равная 1/3 метра.

[13] В реальность такого, конечно, поверить трудно, если только автор текста трактовал так цвет почвы.

Кай-юань (722 г. – *Б.К., Д.Р.*), [император] Сюань-цзун [во время] инспекций осчастливил [посещением], лично [совершил] жертвоприношение, изменил название [на] Шэнъюаньгу («Долина [памяти] невинно-убиенных»)» [露骸千步，积血三尺，地名煞谷，唐开元十年， 玄宗行幸，亲祭，改名省冤谷] [Юэ, 2007]. Однако в хрониках эпох Тан и Сун мы не нашли упоминаний о строительстве храма императором Сюань-цзуном. Первые записи о Храме Черепов появились во времена Чжу Юаньчжана (1328–1398), основателя империи Мин. Тогда по стране строились «алтари неупокоенных душ» (литань 厉坛), чтобы утешить души погибших на войне или умерших на чужбине. В «Шаньси тунчжи» эры Чэнхуа (1465–1487) говорится: «Гора Черепов в 5 ли к западу от [от центра] уезда Гаопин области Цзэчжоу. Циньский Бай Ци закопал живьем 400 тысяч сдавшихся чжаоских солдат, потомки собрали черепа и построили в центре насыпь, по форме словно гору, отсюда и название. Также называют Платформой Бай Ци, наверху построен Храм Черепов[14], в [определенное] время года народ приносит жертвы, как на алтаре неупокоенных душ». [头颅山，在泽州高平县西五里，秦白起坑赵降卒四十万，后人收头颅筑于垒中，状若山，故名。又名白起台，上建头颅庙，岁时民祀之若厉祭云] [Ли, Ху, 2018].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы согласны с мнением Чжи Цзяня и Чжан Жуньцзэ, что смысл термина *кэнша* 坑杀 в битве при Чанпине нельзя трактовать как «закапывать живьём в землю», как это обычно понимается учеными, поскольку такое толкование искажает историческую практику своего времени (возведения пирамид из тел или черепов) и не подтверждается археологическими сведениями (захоронения такого огромного количества трупов потребовало бы выкапывания километров рвов, которых археологически не обнаружено). При чтении иероглифа 坑 как *ган* он передаёт семантику «холма», «горного склона» или «высоты», и в этом контексте он является частью военной практики того времени, также отразившейся в термине *цзинг-гуань* 京观. Однако, в отличие от мнения упомянутых китайских специалистов, мы склонны рассматривать *ганша* именно как холм (даже пирамиду) из голов, а не тел чжаоских воинов. Эта практика не просто являлась распространенной для своего времени, но она специально поощрялась циньской легистской системой награждения воинов. Наше исследование уточняет и дополняет результаты публикации Чжи Цзяня и Чжан Жуньцзэ в части переоценки устоявшегося клише об одном из чудовищных событий в период Чанпинской битвы – «похороненных заживо солдатах Чжао» в силу отсутствия самого «захоронения заживо», но подтверждают массовые возведения холмов из их голов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

Васильев Л.С. *Древний Китай*. Т. 3. *Период Чжаньго (V–III вв. до н.э.)*. М.: Университетская книга, КДУ, 2006 [Vasilev L.S. *Ancient China*. Vol. 3. *The Warring States Period (5th–3rd centuries BC)*. Moscow: Universitetskaya kniga, KDU, 2006 (in Russian)].

[14] Храм был реставрирован в 1609 г., а затем при Цин в 1735 и 1884 гг., последние работы были проведены в 2021 г. [Чжи, Чжан, 2023, p. 7]; В марте и августе 2025 г. один из авторов настоящей публикации лично посещал Храм Черепов, где находится небольшой музей, посвященный событиям Чанпинской битвы, а также статуи Чжао Ко и его супруги в качестве центральных «святых» этого храма (*рис. 3–6*). Построение храма на месте платформы Бай Ци, все эти реставрации, и то, что в храм по-прежнему приходят люди и приносят подношения – конфеты и алкоголь – говорит о большом символическом значении, которое до сих пор имеет битва в сознании местного населения.

Книга правителя области Шан (Шан цзюнь шу). Изд. 2-е, доп. Пер. с кит., вступ. ст., коммент., послесл. Л.С. Переломова. М: Ладомир, 1993 [*The Book of Lord Shang (Shang jun shu)*. 2nd ed. L.S. Perelomov (tr., comm.). Moscow: Ladomir, 1993 (Russian translation)].

Ли Кань (李侃), Ху Ми (胡謐). *Шаньси тунчжи (Общее описание Шаньси)* (山西通志). Тайбэй: Чэнвэнь чубаньшэ юсянь гунсы (臺北：成文出版社有限公司), 2018 [Li Kan, Hu Mi. *General Gazetteer of Shanxi*. Taibei: Chengwen chubanshe youxian gongsi, 2018 (in Chinese)].

Ли Даоюань (郦道元). *Шуйцзин чжу (Комментарии к «Канону рек»)* (水经注). Ван Сяньцянь сяо (王先谦 校). Чэнду: Башу шушэ (成都：巴蜀书社), 1985 [Li Daoyuan. *Commentary on the Waterways Classic*. Wang Xianqian (ed.) Chengdu: Bashu shushe, 1985 (in Chinese)].

Ли Сюэцинь (李学勤). *Чуньцю Цзо чжуань чжэнъи (Правильный смысл «Чуньцю» и «Цзо чжуань») (Шисань цзин чжушу бяодянь бэнь) (Издание «Комментариев к Тринадцати канонам» с пунктуацией)* (春秋左传正义 (《十三经注疏》标点本)). Бэйцзин: Бэйцзин дасюэ чубаньшэ (北京：北京大学出版社), 1999 [Li Xueqin. *The Correct Meaning of the Chunqiu and Zuozhuan (Punctuated Edition of the "Commentaries on the Thirteen Classics")*. Beijing: Beijing daxue chubanshe, 1999 (in Chinese)].

Ло Чжуфэн (罗竹风) (ред.). *Ханьюй дацыдянь (Большой словарь китайского языка)* (汉语大词典). Т. XII. Шанхай: Ханьюй дацыдянь чубаньшэ (上海：汉语大词典出版社), 1993 [Luo Zhufeng (ed.). *The Great Dictionary of the Chinese Language.* Vol. XII. Shanghai: Hanyu dacidian chubanshe, 1993 (in Chinese)].

Люй Бувэй. *Весны и осени господина Люя*. Пер. с кит. Г.А. Ткаченко. М.: КоЛибри, 2024 [Lü Buwei. *Master Lü's Spring and Autumn Annals*. G.A. Tkachenko (tr.) Moscow: KoLibri, 2024 (Russian translation)].

Попов И.М. *Армии Древнего Китая III в. до н.э. – III в. н.э.* М.: АСТ, Астрель, 2001 [Popov I.M. *Armies of Ancient China (3rd century BC – 3rd century AD)*. Moscow: AST, Astrel, 2001 (in Russian)].

Сыма Цянь. *Исторические записки: («Ши цзи»)*. Т. III. Пер. с кит., предисл. и коммент. Р.В. Вяткина. М.: Восточная литература, 1984 [Sima Qian. *Records of the Grand Historian ("Shi ji")*. Vol. III. R.V. Vyatkin (tr., comm.) Moscow: Vostochnaya literatura, 1984 (in Russian)].

Сыма Цянь. *Исторические записки: («Ши цзи»)*. Т. VI. Пер. с кит., предисл. и коммент. Р.В. Вяткина. М.: Восточная литература, 1992 [Sima Qian. *Records of the Grand Historian ("Shi ji")*. Vol. VI. R.V. Vyatkin (tr., comm.) Moscow: Vostochnaya literatura, 1992 (in Russian)].

Сыма Цянь. *Исторические записки: («Ши цзи»)*. Т. VII. Пер. с кит., предисл. Р.В. Вяткина, коммент. Р.В. Боткина, А.Р. Вяткина. М.: Восточная литература, 1996 [Sima Qian. *Records of the Grand Historian ("Shi ji")*. R.V. Vyatkin (tr.), R.V. Botkin, A.R. Vyatkin (comm.) Moscow: Vostochnaya literatura, 1996 (in Russian)].

Сюй Шэнь (许慎). *Шовэнь цзецзы чжу (Объяснение простых и рассечение сложных знаков с комментариями)* (说文解字注). Шанхай: Шанхай гуцзи чубаньшэ (上海：上海古籍出版社), 1988 [Xu Shen. *Annotated Explanation of Simple and Analysis of Composite Characters.* Shanghai: Shanghai guji chubanshe, 1988 (in Chinese)].

Чжи Цзянь (郅剑), Чжан Жуньцзэ (张润泽). Чанпин чжи чжань «кэн ша» синь цзе (Новое решение проблемы «Похороненных заживо» в битве при Чанпине) (长平之战»阬杀»新解). *Чжао вэньхуа яньцзю (Исследования культуры Чжао)* (赵文化研究). 2023. Т. 33.2. С. 5–11 [Zhi Jian, Zhang Runze. A New Interpretation of the "Burial Alive" in the Battle of Changping. *Zhao wenhua yanjiu*. 2023. Vol. 33.2. Pp. 5–11 (in Chinese)].

Ши Цзиньмин (石金鸣), Сун Цзяньчжун (宋建忠). Чанпин чжи чжань ичжи Юнлу 1 хао шигу кэн фацзюэ цзяньбао (Краткий отчёт о раскопках костяной ямы № 1 в Юнлу на месте битвы при Чанпине) (长平之战遗址永录1号尸骨坑发掘简报). Вэньу (文物). 1996. Vol. 6. С. 33–40 [Shi Jinming, Song Jianzhong. A Brief Report on the Excavation of Bone Pit No. 1 at Yonglu, the Site of the Battle of Changping. *Wenwu (Cultural Relics)*. 1996. Vol. 6. Pp. 33–40 (in Chinese)].

Юэ Ши (乐史). Тайпин хуаньюй цзи (*Записи об окружающих пределах, [составленные в период правления под девизом] Тайпин*) (太平寰宇记). Бэйцзин: Чжунхуа шуцзюй (Пекин: Чжунхуа шуцзюй)

(北京：中华书局), 2007 [Yue Shi. *Universal Geography of the Taiping Era*. Beijing: Zhonghua shuju, 2007 (in Chinese)].

Bodde D. The State and Empire of Ch'in. *The Cambridge History of China*. Vol. 1. Cambridge University Press. 986. Pp. 20–102.

Leijia Wu. A Study on the Battle of Changping. *Journal of Chinese Military History*. 2024. Vol. 13.1. Pp. 26–52 (Abridged Version). https://opus.lib.uts.edu.au/handle/10453/183828 (дата обращения: 21.10.2025).

Lewis M.E. Warring States Political History. *The Cambridge History of Ancient China*. Cambridge University Press. 1999. Pp. 587–650.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ / INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

КИТИНОВ Баатр Учаевич – доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН, Москва, Россия.

Baatr U. KITINOV, DSc (History), Leading Research Fellow, Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia.

РАТУШНЫЙ Данила Николаевич – студент Российского университета дружбы народов, Москва, Россия.

Danila N. RATUSHNYI, student, RUDN University, Moscow, Russia.

Иллюстрации к статье Б.У. Китинова, Д.Н. Ратушного

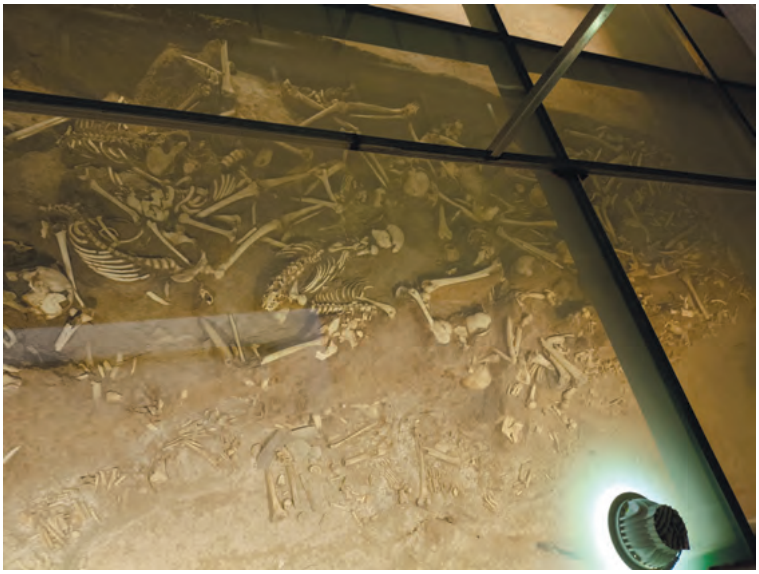


Рис. 1. Захоронение воинов Чжао периода Чанпинской битвы.
Юнлу, Гаопин, Цзиньчэн, Шаньси, 2025
Fig. 1. Burial site of Zhao warriors from the Battle of Changping period.
Yonglu, Gaoping, Jincheng, Shanxi, 2025

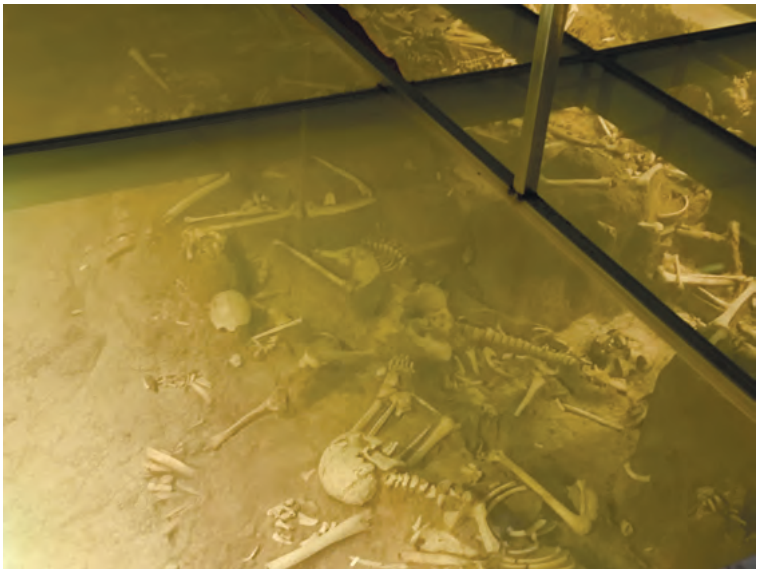


Рис. 2. Захоронение воинов Чжао периода Чанпинской битвы.
Юнлу, Гаопин, Цзиньчэн, Шаньси, 2025
Fig. 2. Burial site of Zhao warriors from the Battle of Changping period.
Yonglu, Gaoping, Jincheng, Shanxi, 2025



Рис. 3. Храм черепов (вид спереди). Гукоу, Гаопин, Цзиньчэн, Шаньси, 2025
Fig. 3. Skull Temple (front view). Gukou, Gaoping, Jincheng, Shanxi, 2025



Рис. 4. Храм черепов (вид сбоку). Гукоу, Гаопин, Цзиньчэн, Шаньси, 2025
Fig. 4. Skull Temple (side view). Gukou, Gaoping, Jincheng, Shanxi, 2025



Рис. 5. Храм черепов (изнутри). Гукоу, Гаопин, Цзиньчэн, Шаньси, 2025
Fig. 5. Skull Temple (interior view). Gukou, Gaoping, Jincheng, Shanxi, 2025



Рис. 6. Статуи чжаоского полководца Чжао Ко и его жены в Храме черепов. Гукоу, Гаопин, Цзиньчэн, Шаньси, 2025

Fig. 6. Statues of Zhao general Zhao Kuo and his wife in the Skull Temple. Gukou, Gaoping, Jincheng, Shanxi, 2025

DOI: 10.31696/S086919080040117-5

БОРСИППА В ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД (ПО ДАННЫМ КЛИНОПИСНЫХ ИСТОЧНИКОВ)

© 2026

Е.М. БЕРЗОН [a]

[a] – Институт востоковедения РАН, Москва, Россия
ORCID: 0000-0002-9703-5722; miss.ekber@yandex.ru
Scopus Author ID: 57209838380

Резюме: *Древняя Борсиппа – один из главных центров сохранения вавилонской культуры в эпоху эллинизма. Исторически Борсиппа имела тесные связи с Вавилоном, обусловленные как относительной географической близостью двух городов, так и сакральной сферой: Набу, бог-покровитель Борсиппы, играл важную роль в вавилонском ритуале Акиту. Культовый центр Набу – храм Эзида – сохранял свой статус в эллинистический период и не был обделен вниманием со стороны царей из династии Селевкидов. Наиболее известным свидетельством такого покровительства является знаменитый цилиндр Антиоха I из Борсиппы (268 г. до н.э.). Однако в целом клинописные тексты, происходящие главным образом из Вавилона и Урука, дают мало сведений о жизни Борсиппы под властью македонских династий и Аршакидов. Настоящая работа представляет собой обзор вавилонской письменной традиции о Борсиппе эллинистического времени. В основу исследования легли вавилонские хронографические документы, исторические секции астрономических дневников и иные клинописные тексты (например, CTMMA IV, No. 148A), содержащие сведения о Борсиппе. На основе этих данных было показано, что в III в. до н.э. Борсиппа получила или восстановила статус автономного «священного города», была освобождена от ряда податей и вместе с Вавилоном и Кутой выступала в составе своего рода конфедерации, интересы которой представлял шатамму Эсагилы (Вавилон). Привилегированное положение этих городов, возможно, является эллинистической реминисценцией статуса kidinnūtu, которым обладала Борсиппа еще в новоассирийский период. Источники показывают, что храмовый комплекс Эзида сохранял свой статус одного из наиболее значимых культовых центров эллинистической Вавилонии вплоть до I в. до н.э.*

Ключевые слова: Борсиппа, Вавилония, государство Селевкидов, Парфия, эллинистический период

Для цитирования: Берзон Е.М. Борсиппа в эллинистический период (по данным клинописных источников). *Восток (Oriens).* 2026. № 5. С. 52–63. DOI: 10.31696/S086919080040117-5

BORSIPPA IN THE HELLENISTIC PERIOD (ACCORDING TO CUNEIFORM EVIDENCE)

© 2026

Ekaterina M. BERZON [a]

[a] – Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
ORCID: 0000-0002-9703-5722; miss.ekber@yandex.ru
Scopus Author ID: 57209838380

Abstract: *Ancient Borsippa was one of the primary centers for preserving Babylonian culture during the Hellenistic period. Historically, Borsippa maintained close ties with Babylon, driven by both relative geographical proximity and the ritual sphere, as Nabû, the patron deity of Borsippa, played a crucial role in the Babylonian Akitu festival. The cult center of Nabû, the Ezida temple, retained its status throughout the Hellenistic period and received significant attention from the Seleucid kings. The most renowned evidence of this patronage is the famous Borsippa cylinder of Antiochos I (268 BC). However, cuneiform texts, originating mainly from Babylon and Uruk, generally provide limited information about Borsippa under the Macedonian dynasties and the Arsacids. This paper offers an overview of the Babylonian written tradition concerning Hellenistic Borsippa, drawing upon Babylonian chronographic documents, historical sections of astronomical diaries, and other cuneiform records (e.g. CTMMA IV, No. 148A). Based on this evidence, it is demonstrated that in the 3rd century BC, Borsippa acquired or restored its status as an autonomous "sacred city" (māḫāzu), was exempted from certain taxes (cf. ἀτέλεια), and formed a kind of confederation with Babylon and Cuthah, represented by the šatammu of the Esagila temple in Babylon. The privileged status of these cities was likely a Hellenistic reminiscence of the kidinnūtu status that Borsippa had possessed as early as the Neo-Assyrian period. Sources indicate that the Ezida temple complex maintained its position as one of the preeminent cult centers of Hellenistic Babylonia until the 1st century BC.*

Keywords: Borsippa, Babylonia, Seleucids, Parthia, Hellenistic period

For citation: Berzon E.M. Borsippa in the Hellenistic Period (According to Cuneiform Evidence). *Vostok (Oriens).* 2026. No. 5. Pp. 52–63. DOI: 10.31696/S086919080040117-5

Древняя Борсиппа (совр. Бирс-Нимруд) – один из наиболее значимых городов Южной Месопотамии в I тыс. до н.э., который оставался оплотом вавилонской культуры также и в эпоху эллинизма. История этого города тесно связана с Вавилоном, что обусловлено как относительной географической близостью двух городов, так и той ролью, которая отводилась Борсиппе и ее богу-покровителю Набу в вавилонском новогоднем ритуале Акиту.

Различные аспекты политической, социально-экономической, религиозной и интеллектуальной жизни Борсиппы в нововавилонский период восстанавливают по текстам из ассирийской канцелярии, царским надписям и хроникам, а также архивам т.н. «долгого шестого столетия», охватывая таким образом период с конца VIII по начало V вв. до н.э. [Дандамаев, 2009; Waerzeggers, 2010, p. 4–10]. Значительная часть исследований, посвященных Борсиппе, базируется именно на последней группе источников, которые являют собой ценный материал для изучения экономической и социальной истории города, а также организации храмового хозяйства Эзиды в период Нововавилонского царства (626–539 гг. до н.э.) и правление ранних Ахеменидов (539–484 гг. до н.э.) [Joannès, 1989; Zadok, 2009; Waerzeggers, 2010 (с предшествующей литературой)]. После вавилонских восстаний 484 г. до н.э. архивы Борсиппы фактически обрываются [Waerzeggers, 2003/2004], и какие-либо свидетельства о позднейшей истории города, в том числе в эллинистический период, являются спорадическими[1].

История Борсиппы в эллинистическое время не получила должного освещения в историографии, в отличие, например, от Вавилона и Урука [Funck, 1984; Boiy, 2004; Linssen, 2004 и др.]. Город чаще всего ассоциируется с последней известной клинописной царской

[1] Документы из «архива пивоваров» (вторая половина IV в. до н.э.), а также отдельные административные тексты из Борсиппы селевкидского периода в силу их специфики в работе не рассматриваются. Следует также упомянуть о колофоне из Борсиппы (BM 34035), который датируется 138 г. до н.э.

надписью на аккадском языке – т.н. «цилиндром Антиоха I» (268 г. до н.э.), который обнаружили in situ при раскопках в Борсиппе под руководством Х. Рассама в 1880 г. [van der Spek et al., 2025, p. 989–1009]. Тем не менее это далеко не единственное свидетельство, связанное с Борсиппой, в источниках эпохи эллинизма: так, город фигурирует в астрономических дневниках вплоть до I в. до н.э. Известен он также античным авторам римского времени: Борсиппа упоминается в сочинениях Страбона (*Strab*. XVI. I. 6–7) и Клавдия Птолемея (*Ptol*. Geog. V. 20. 6; 28). В настоящей работе мы постараемся свести воедино все основные свидетельства клинописных источников о Борсиппе в эллинистический период и проанализировать их, наметив таким образом перспективы дальнейших исследований.

Однако прежде стоит сказать несколько слов о самих источниках и структуре работы. Поскольку большая часть клинописных документов из эллинистической Вавилонии происходит из Вавилона и Урука, включая наиболее информативные в историческом ключе жанры текстов (хроники, исторические секции астрономических дневников)[2], то и опираться приходится по большей части на «внешние» (относительно Борсиппы) источники – главным образом, на тексты, составленные в Вавилоне. Какие-либо хронографические документы из самой Борсиппы эллинистического периода нам не известны[3]. Рассмотрение данных строится по хронологическому принципу: сперва рассматриваются свидетельства клинописных источников с конца IV в. до н.э. по 141 г. до н.э., охватывающие эпоху диадохов и селевкидский период; далее производится обзор вавилонских источников о Борсиппе аршакидского периода (вторая половина II в. до н.э. – первая треть I в. до н.э.).

СВЕДЕНИЯ О БОРСИППЕ В КЛИНОПИСНЫХ ИСТОЧНИКАХ ЭПОХИ ДИАДОХОВ И СЕЛЕВКИДСКОГО ПЕРИОДА[4]

Самые ранние свидетельства о Борсиппе в эллинистический период мы находим т.н. «Хронике диадохов» (BCHP 3), одном из главных источников о событиях конца IV в. до н.э. (320–308 гг. до н.э.) в Вавилонии. Хроника отмечает приезд в города «[сатрапа А]ккада» в 309/308 г. до н.э. (r32′–34′), однако цель визита остается неясной ввиду плохой сохранности этих строк. Если восстановление верно, то речь идет о посещении Селевком I Борсиппы в ходе войны за Вавилонию между Селевком и диадохами Антигоном и Деметрием (311–308/7 гг. до н.э.). Высказывалось предположение, что эти меры можно связать с эвакуацией населения Вавилона, готовившегося к осаде [van der Spek et al., 2025, p. 58], однако, по словам Диодора (*Diod*. XIX. 100. 5), эвакуация производилась в более отдаленные области – за Евфрат или же за Тигр, вплоть до Сузианы и прибрежных районов. Борсиппа, находившаяся в непосредственной близости от Вавилона, едва ли могла служить полноценным укрытием для мирного населения. Более того, пример Куты, разоренной войсками Деметрия в марте 309 г. до н.э. (BCHP 3: r26′–27′), т.е. незадолго до рассматриваемого эпизода, показывает, что такого рода опасность была вполне реальна.

Ранее в том же тексте (o31=12′) мы находим упоминание стены Борсиппы *Ṭābi-supūršu* (NÍG.DUG.GA.AMAŠ-⌜*šú*⌝ BÀD BÁR.S[ÍP^{ki}]) (318/317 г. до н.э.), что свидетельствует о наличии городских укреплений в конце IV в. до н.э. Эти эпизоды отделены друг от друга почти десятью годами, однако в общем контексте хроники наводят на мысль о том, что Борсиппа имела стратегическое значение или, по меньшей мере, рассматривались в этом качестве

[2] Здесь мы во многом опирались на новейшее издание [van der Spek et al., 2025], представляющее собой своего рода хрестоматию вавилонских хронографических текстов эллинистического периода.

[3] О хрониках из Борсиппы нововавилонского времени [Waerzeggers, 2012, p. 290–298].

[4] Основные события из истории Борсиппы в раннеэллинистическое и селевкидское время представлены ниже в табл. 1.

Селевком. Неясно, коснулись ли события войны за контроль над Вавилонией Борсиппы непосредственно – источники умалчивают об этом, однако сохранение значительных средств в храмовой казней Эзиды – эпизод, о котором пойдет речь далее – свидетельствует о том, что город во всяком случае избежал судьбы Куты и не подвергся разграблению противником[5].

Действительно, астрономические дневники упоминают о перемещении крупной суммы в объеме 113 талантов (3390 кг) серебра и 2 талантов (60 кг) золота из храмовой казны Эзиды (1.ME.13 GUN KÙ.BABBAR 2 GUN KÙ.GI *šá* ^{d}AG *šá ina* IGI ⌜É⌝.[ZI.DA(?)) спустя несколько лет после окончания войны – осенью 303 г. до н.э. (AD -302: r5–6). Несмотря на некоторую неясность фрагмента и лакуны в тексте, эпизод трактуется как отражение финансовых трудностей Селевка I накануне его кампании против Антигона, которая завершилась разгромом последнего при Ипсе в 301 г. до н.э. [Taylor, 2014, p. 225–227; van der Spek et al., 2025, p. 266–268]. Впрочем, в данном действии, возможно, следует видеть не столько грубое, принудительное изъятие денег из собственности храма, сколько отражение практики храмовых займов, к которой Селевкиды неоднократно прибегали впоследствии, и которая в свидетельствах античных авторов характеризовалась как ограбление. Несмотря на дискуссионность этого суждения применительно ко всем подобным случаям в селевкидской истории, заметим, что в вавилонских реалиях такая практика действительно могла иметь место (см. подробнее: [Taylor, 2014; Madreiter, 2016, p. 120–124]). И если Эзида в данном случае выступила в качестве «кредитора», то особое внимание к этому святилищу, выказанное преемником Селевка Антиохом I, отчасти было обусловлено подобного рода «сделкой».

В правление Антиоха I Борсиппа упоминается в источниках дважды. Первое событие относится к сфере земельной политики Селевкидов: речь идет о дарении по приказу царя в 280/279 г. до н.э. гражданам Вавилона, Борсиппы и Куты земель, которые в 274 г. до н.э., накануне Первой Сирийской войны, были изъяты (обратно?) во владения царского домена [Monerie, 2017, p. 194–197; van der Spek et al., 2025, p. 296–300].

«Этот же месяц (март/апрель 274 г. до н.э.): сатрап Вавилонии посевные пол[я, кот]орые в 32-м году (280/279 г.) по указу царя на пропитание жителям Вавилона, Бор[сипп]ы и Куты были дарованы, а также быков, овец и все, что было в [город]ах и храмах по велению царя у граждан (было отнято на нужды) царского дома» (AD -273B: r36′–38′)[6].

Позже эти земли будут возвращены в правление Антиоха II (см. ниже). Не касаясь непосредственно земельного вопроса, обращаем внимание на то, что Борсиппа здесь и в дальнейшем выступает как член объединения трех городов – Вавилона, Борсиппы и Куты; к этому вопросу мы еще вернемся.

Второе свидетельство происходит непосредственно из самой Борсиппы и являет собой «цилиндр Антиоха», содержание которого свидетельствует о реставрации Эзиды и особом царском патронаже этому святилищу (268 г. до н.э.). Этот источник, однако, сам по себе сообщает мало сведений о самом храмовом строительстве, а историческая часть цилиндра фиксирует, скорее, намерение царя и сам факт реставрации храма: «Когда к строительству Эсагилы и Эзиды сердце мое склонило меня, кирпичи Эсагилы и Эзиды в стране Хатти своими чистыми руками, используя лучшее масло, я изготовил и для закладки основания Эсагилы и Эзиды привез (их). В 20-й день месяца аддара, в 43 г. (27 марта 268 г. до н.э.) основание Эзиды – храма истинного, дома Набу, что посреди Борсиппы, – его основание

[5] О материальных трудностях Эзиды в этот период (на основе данных «архива пивоваров») см.: [Monerie, 2017, p. 130].

[6] ITI BI ^{lú}*mu-ma-*$^{?}$*-ir* ^{kur}URI^{ki} ŠÉ.NUMUN[$^{meš(?)}$ *š*]*á ina* MU 32.KÁM *ina* UMUŠ *šá* LUGAL *ana* ŠUKU$^{ḫi.a}$ ^{lú}E$^{ki.meš}$ ^{lú}BÁR.[SÍP]^{meš} *u* ^{lú}GÚ.DU$_{8}$.A$^{ki.meš}$ SUM^{meš} GU$_{4}^{ḫi.a}$ U$_{8}$.UDU$^{ḫi.a}$ *u mim-ma gab-bi šá* [URU]^{meš} *u ma-ḫa-zi*^{meš} *ina* UMUŠ *šá* LUGAL *la-pa-ni* ^{lú}DU-MU⌜^{meš}⌝ [….] X É LUGAL DÙ-*uš*.

я заложил» (i 6–16)[7]. Не вдаваясь в многочисленные дискуссии, которые породил этот текст по самым разным аспектам [Sherwin-White, 1991; Erickson, 2011; Strootman, 2013; Beaulieu, 2014; Kosmin, 2014; Stevens, 2014] – что само по себе заслуживает отдельного рассмотрения – отметим сам факт патронажа святилищу на самом высоком уровне, что укрепляет статус Эзиды как одного из наиболее значимых культовых центров Вавилонии в эллинистический период.

Эпизоды из истории Борсиппы середины – второй половины III в. до н.э. вновь возвращают к теме земельной политики Селевкидов. «Текст Леманна» (CTMMA IV, No. 148A), представляющий собой копию (173/172 г. до н.э.) документа, составленного в 236 г. до н.э., свидетельствует о передаче земель из царского домена жителям Вавилона, Борсиппы и Куты при Антиохе II и подтверждении статуса этих земель в царствование Селевка II [Wallenfels, van der Spek, 2014; Monerie, 2017, p. 197–202]. Документ проливает свет на некоторые детали этого дарения (первоначально оформленного как дар царице Лаодике и ее сыновьям, которые, в свою очередь, передали эти земли – точнее, право на получение с них дохода – гражданам Вавилона, Борсиппы и Куты), а также позволяет прояснить вопрос относительно статуса Борсиппы при Селевкидах. Итак, из документа становится ясно, что речь идет о землях, располагавшихся непосредственно в окрестностях Вавилона и Борсиппы по обоим берегам Евфрата; десятина урожая, собранного на этих полях, должна была отдаваться Эсагиле, Эзиде и Эмесламу (сткк. 3–7); а вавилоняне «в святилищах Аккада» освобождаются (No. 148A, сткк. 13–14 …˹*ú*˺-*za*[*k-ku ana* ^{lú}E$^{ki.meš}$] *gab-bi šá ina ma-ḫaz* KUR URI^{ki}…) от ряда налогов и повинностей. Это же право «навечно» подтвердил Селевк II (No. 148A, сткк. 29–30).

Термин *māḫāzu* в данном случае может трактоваться двояко: (1) святилище, место культа; (2) город, ассоциируемый с неким храмом; (3) просто поселение (без связи с храмом) [CAD M, vol. I, s.v. *māḫāzu*, p. 85–88]). Все три варианта вполне соотносятся с Борсиппой, однако в первом случае фраза предполагает привилегии только для тех «вавилонян», которые имеют отношение к храмовому персоналу, во втором (и третьем) они распространяются на все население вавилонских городов-храмовых общин. Издатели переводят это выражение ‘sanctuary-cities of Babylonia (lit. Akkad)’ [Wallenfels, van der Spek, 2014, p. 217], что в данном контексте выглядит вполне убедительно, учитывая, что налог-десятина в пользу храма оговаривается отдельно. Таким образом, Борсиппа с точки зрения эллинистической административной терминологии предстает как «священный город» (ἱερὰ πόλις), обладающий освобождением от прямых налогов (ἀτέλεια) и относительной автономией в управлении. Исходя из вавилонской практики, это во многом соответствует статусу *kidinnūtu*, которым обладала Борсиппа в новоассирийский период – наряду с Вавилоном, Сиппаром и Ниппуром [Waerzeggers, 2010, p. 6, n. 17]. Локальная традиция также нашла отражение в объединении Вавилона, Борсиппы и Куты в своего рода конфедерацию – истоки этой триады также прослеживаются еще в нововавилонское время [Waerzeggers, 2010, p. 6]. В роли представителя всех трех храмовых общин выступал *шатамму* Эсагилы, однако Борсиппа и Кута, по-видимому, обладали внутренней автономией.

Следующим важным событием в жизни Борсиппы стал приезд в город Антиоха III в 187 г. до н.э. (AD -187A: r13′–r17′). Это посещение является единственным бесспорным свидетельством царского визита в Борсиппу в эллинистический период. Лакуны в тексте оставляют вопросы относительно планов и действий Антиоха. Примечательным является упоминание зиккурата Эзиды, на который царь, по-видимому, пожелал подняться (r13′: … UD 14.KÁM *ana ziq-qur-rat šá* É.ZI[.DA ….]). Далее следует упоминание неких ритуальных

[7] *i-nu-ma a-na e-pé-eš*$_{15}$ É.SAG.ÍL *ù* É.ZI.DA ŠÀ-*bi ub-lam-ma* SIG$_4^{ḫi.a}$ É.SAG.ÍL *ù* É.ZI.DA i-na KUR *ḫa-at-tì ina* ŠU.II-*iá el-le-ti i-na* Ì.GIŠ *ru-uš-ti al-bi-in-ma a-na na-de-e uš-šu ša* É.SAG.ÍL *ù* É.ZI.DA *ub-bi-il ina* ^{iti}ŠE UD 20.KAM MU 43.KAM *uš-šu ša* É.ZI.DA É *ki-i-ni* É ^{d}AG *šá qé-reb bar-sìp*^{ki} *ad-de-e uš-ši-šu*.

действий, связанных с божествами Борсиппы (r14′–16′). Всего царь провел в городе 9 дней, что достаточно много и не имеет объяснения в тексте[8].

Такое внимание Антиоха III к Борсиппе остается не вполне ясным. Надо заметить, рассматриваемый приезд царя в Вавилонию, по-видимому, не был ординарным в принципе: вавилонские хронисты в строках, описывающих приезд Антиоха в Вавилон, откуда тот и отправился в Борсиппу, помимо описания жертвоприношений, совершенных царем, отмечают также некоторые необычные мероприятия. Так, *шатамму* и совета Эсагилы преподнесли царю золотой венок весом в тысячу сиклей (r9′: *ki-li-*[*l*]*i šá* 1 LIM GÍN KÙ.GI)[9], *pāḫāt Bābili* как представитель эллинизированного комьюнити также подарил какое-то количество золота (r9′–10′: *lú pa-ḫat* E^{ki} [*u lú pu-li-ṭe-e* (?)] | [*ša ina* E^{ki} (?) .. .. KÙ].GI *ana* ^{m}*an* LUGAL GAR^{meš}), кроме того, царю преподнесли и особые вавилонские реликвии – «золотую тиару, золотой сундук Белтьи и пурпурное одеяние царя Навуходоносора» (r11′: AGA KÙ.GI [x] *pi-šá-an-nu* KÙ.GI *šá* ^{d}GAŠAN-*iá u* TÚG.SÍG.SAG *šá* ^{md}PA.NÍG.DU.ŠEŠ LUGAL) [Madreiter, 2016; van der Spek et al., 2025, p. 398–408]. И если события в Вавилоне так или иначе можно связать с желанием Антиоха III пополнить казну[10], с чем сложно не согласиться, то описание царского визита в Борсиппу выглядит заметно сдержаннее: оно не выявляет явных экономических мотивов, хотя и не исключает их. Как отмечает И. Мадрайтер, храмовое золото действительно нередко служило a kind of liquid capital на случай войны [Madreiter, 2016, p. 122]; цари одаривали храмы золотом и подарками, но в случае необходимость могли изымать средства – божество в таком случае выступало в роли кредитора и одновременно покровительствовало предприятию. Следуя этой логике, казна Эзиды также могла представляться своего рода банком, и царь вполне мог рассчитывать на эти средства, как ранее, по всей видимости, поступил Селевк I (см. выше). Таким образом, визит Антиоха III в Борсиппу с большей долей вероятности был продиктован теми же экономическими мотивами.

О последних десятилетиях селевкидского периода в истории Борсиппы источники умалчивают. Единственное любопытное свидетельство мы находим в дневниках за 156/155 г. до н.э. (правление Деметрия I), где говорится о посещении Вавилона представителем клана Эгиби из Борсиппы летом 156 г. до н.э. (AD -155A: r8–11) [van der Spek et al., 2025, p. 496–498]. Этот человек выступает как представитель людей, которые прибыли [в Вавилон] для исполнения ритуалов (*ku-um* ^{lú}UN^{meš} *šá* TA ^{uru}BAR.SÌP^{ki} *ana* DÙ-*eš par-ṣi ana* ⌜E?⌝[$^{ki?}$] KU$_4$^{meš}-*ni*). Он организовал некое собрание (UKKIN GAR-*an*), посетил район TE.E. (юго-восточная часть города). В тот же месяце член семейства Эгиби вернулся в Борсиппу, и это означает, что он пробыл в Вавилоне еще некоторое время. Мотивы этой поездки дневники не раскрывают. Поскольку речь идет о представителе клана Эгиби, можно было бы предположить, что визит был обусловлен обстоятельствами экономического характера. В целом это выглядит обоснованно, поскольку в нововавилонский период Борсиппа выступала как один из центров деловой активности представителей этого дома (см.: [Wunsch, 1999]). В то же время дневники подчеркивают, что этот визит не был связан с деятельности представителя Эгиби как частного лица, напротив, он выступает как представитель Борсиппы в Вавилоне и, по-видимому, защищает интересы борсиппцев. Можно предположить, что имели место некие столкновения или недоразумения между жителями Вавилона и паломниками

[8] Если дата отъезда – 21-й день XI месяца (r17′) – верна.

[9] Сцена с подношениями в Вавилоне наводит на мысль о «добровольных взносах» στεφανιτικός φόρος (венечный налог; ср. акк. *kilīlu* – ‘венок’), которые в качестве экстраординарного взноса собирали эллинистические цари. Подробнее: [Aperghis, 2004, p. 164ff.].

[10] Точнее, с финансовыми трудностями Антиоха III после поражения в войне с Римом и необходимостью выплачивать огромную контрибуцию по условиям Апамейского мирного договора (188 г. до н.э.). Впрочем, в данном случае средства могли быть необходимы на фоне готовящейся экспедиции Антиоха III в Элимаиду, которая закончилась гибелью царя (подробнее: [Берзон, 2022, с. 23–24]).

из Борсиппы (ср. с конфликтом мясников Эсагилы и Эзиды в 105 г. до н.э., см. ниже), и представитель Эгиби выступил в роли посредника для урегулирования ситуации. Как бы то ни было, данное упоминание о Эгиби, по всей видимости, является самым поздним в вавилонских источниках.

Таблица 1. Основные события в истории Борсиппы селевкидского периода (по данным письменных источников).

Дата (до н.э.)	Источник	Комментарий
310–308	BCHP 3: r32′–34′	Упоминание Борсиппы и ее стены *Ṭābi-supūršu* в «Хронике диадохов» в контексте войны диадохов за Вавилонию; [сатрап] Вавилонии (Селевк?) посещает Борсиппу
303	AD -302: r5–6	Займ (?), вероятно, Селевком I средств из храмовой казны Эзиды в объеме 113 талантов серебра и 2 талантов золота
280/279, 274	AD -273B: r36′–38′	Дарование земель царем гражданам Вавилона, Борсиппы и Куты (280/279 г.) и их изъятие в царский домен (274 г.)
268	Цилиндр Антиоха	Реставрация Эзиды в правление Антиоха I
240-е – 236	CTMMA IV, No. 148A	Возвращение земель гражданам Вавилона, Борсиппы и Куты и освобождение их от налогов, десятина с этих земель идет в пользу храмов Эсагилы, Эзиды и Эмеслама
187	AD -187A: 13′–17′	Антиох III посетил Борсиппу и поднялся на зиккурат Эзиды
156	AD -155A: r8–11	Представитель клана Эгиби из Борсиппы посетил Вавилон

СВЕДЕНИЯ О БОРСИППЕ В КЛИНОПИСНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПАРФЯНСКОГО ПЕРИОДА[11]

Упоминания о Борсиппе в клинописных текстах аршакидского времени еще более малочисленны и относятся по большей части ко второй половине II в. до н.э. Характер этих заметок существенно отличается от записей селевкидского период и во многом несет на себе отпечаток «смутного времени» (130–120-е гг. до н.э.) – периода, когда Вавилония, со 141 г. до н.э. номинальная перешедшая под контроль Аршакидов, де-факто оказалась предоставлена самой себе и неоднократно страдала от вторжений соседних правителей Элимаиды и Месены, а также набегов арабов [Dąbrowa, 2005; Берзон, 2024]. Вавилонские хронологические заметки, составленные в этот период, представляют собой один из главных источников по истории региона в первые десятилетия аршакидского владычества.

[11] Основные события из истории Борсиппы в парфянский период представлены ниже в табл. 2.

Источники по-прежнему фокусируется главным образом на Вавилоне, однако они содержат несколько сообщений, касающихся событий в Борсиппе.

Одно из таких происшествий – история «пророка Нанайи» – произвело особое впечатление на современников – возможно, поэтому составители дневники оставили довольно подробное описание этих событий (AD -132B: 29; r25–t.e.6). Осенью 139 г. до н.э., Вавилон и Борсиппу внезапно охватило необычное религиозное возбуждение, «и на устах стара и млада установилось “Нанайя войдет/вошла в Борсиппу (и) Эзиду!» (стк. 29: ITI BI *ina* KA ^{lú}UN^{meš} GAL-*a u* TUR GAR-*ma um-ma* ^{d}*na-na-a-a ana* BAR.SÌP^{ki} *ana* É.ZI.DA ⌜KU$_4$ -*ub*⌝). Эти события датируются VI месяцем. В следующем же, VII, когда войска Гиспаосина из Месены совершил очередное нападение на Вавилонию (r18–20), некий лодочник (1-*en* ^{lú} DUMU MÁ.LAḪ$_4$) воздвиг алтарь в Вавилоне неподалеку от Экишнугаля, храма Сина, совершил жертвоприношения и провозгласил «Бел войдет/вошел в Вавилон!». К нему присоединились горожане и устроили большое празднество (r25–29). Вскоре в Вавилон к воздвигнутому алтарю начали массово стекаться люди, в т.ч. на лодках – т.е. из других поселений (r30). «Лодочник» же со словами «Нанайя вступила в Эзиду в Борсиппе» отправился во главе этой группы в Борсиппу.

Борсиппцы также радостно примкнули к «пророку». Они вошли в Эзиду, по-видимому, совершили там жертвоприношение (строки частично повреждены) (r31–b.e.6). После этого «пророк» обратился к совету *киништу* Эзиды со словами «Я – вестник Нанайи. Я послан (известить?) о могучем божестве, поражающем ваших богов!» (l.e.1: [^{lú}DUMU *šip-r*]*i šá* ^{d}*na-na-a-a ana-k*[*u-ma*] *ana* ⌜*muḫ*⌝*-ḫi* DINGIR KALAG *ma-ḫi-ṣu* DINGIR^{meš}*-ku-nu šap-ra-ku*)[12]. На это члены совета ответили «лодочнику» и людям, которые были с ним: «Возвращайтесь в свои дома, уходите в свои города! Не передавайте город на разграбление и мародерство. Не заставляйте богов покидать город как разграбленный!» (l.e.2: *iḫ-sa-a ana* ⌜É⌝[^{meš}]*-ku-nu* GUR^{meš} *ana* URU^{meš}*-ku-nu* URU *ana* SAR-*tú u šil-lat* NU SUM-$^{?}$ DINGIR^{meš} GIM URU *šil-lat la tu-še-ṣa-a*). На это «пророк» вновь заявил, что он вестник Нанайи и что он не предаст город разграблению, но рука могучего божества падет на Эзиду (l.e.3: ^{lú}DUMU [*šip*]*-ri šá* ^{d}*na-na-a-a ana-ku-ma* URU *ana* SAR-*tú u šil-lat ul a-nam-din ki-ma* ŠU.II DINGIR *dan-nu ma-ḫi-ṣu ana* É.ZI.DA *ur-r*[*ad* ?]). В ответ члены совета *киништу* снова начали убеждать людей не слушать «лодочника» (l.e.4ff.), однако те не вняли им. История в конце концов закончилась плачевно, и лодочник, по-видимому, погиб (AD -132C: 26ff.).

Этот фрагмент дневников заслуживает отдельного внимания и уже достаточно подробно проанализирован в [Dirven, 2019; van der Spek et al., 2025, p. 608–623]. По этой причине мы ограничились лишь общим обзором этого, безусловно, самого подробного поздневавилонского нарратива о Борсиппе, как нельзя лучше отражающего общее смятение, царившее в Вавилонии в «переходный период», а также, вероятно, некую форму социального протеста против жречества Эзиды, о чем недвусмысленно свидетельствуют слова «пророка», произнесенные им в совете *киништу*.

Все эти события произошли осенью 133 г. до н.э. Приблизительно к этим же годам (между 138 и 127/6 гг. до н.э.) следует отнести посещение города аршакидским царевичем Багайашей, о чем сообщают хронографические фрагменты BCHP 18A&B (A22′–24′; B29′–B32′) [van der Spek et al., 2025, p. 890–915]. Из этих строк известно, что Багайаша принес жертвы Набу и Нанайе, богам Эзиды, а также был занят еще каким-то вопросом, но сохранность текста не позволяет установить это более предметно. Учитывая, что пребывание Багайаши в Вавилоне (накануне посещения в Борсиппы) больше носило характер карательной экспедиции [van der Spek et al., 2025, p. 903–905], нежели походило на тради-

[12] Перевод и смысл этой фразы не вполне ясны: *ana* ⌜*muḫ*⌝*-ḫi* DINGIR – буквально «относительно бога» (ср. concerning a god [van der Spek et al., 2025, p. 619–620]).

ционный «благожелательный» визит кого-либо из членов царского дома, то и его внимание к Борсиппе, вероятно, было вызвано не столько благочестием, сколько желанием навести порядок в регионе. Точная дата этого визита остается неясной, однако представляется весьма уместным связать его с историей «пророка», всколыхнувшей Вавилон, Борсиппу и другие близлежащие поселения.

На протяжении второй половины II в. до н.э. Борсиппа, по-видимому, сохраняла значение как стратегический и культовый центр. Так, например, в 127 г. до н.э. Борсиппу посетил Тимарх, в прошлом военачальник Гиспаосина, правителя Месены (AD -126A: 6′–r2), перешедший на службу к Аршакидам и, вероятно, представлявший теперь их интересы [van der Spek et al., 2025, p. 659–662]. Впрочем, ситуация в регионе еще долго оставалась напряженной: вавилонские источники отмечают регулярные нападения арабов в период между 125 и 119 гг. до н.э., от этих рейдов также страдало и население Борсиппы; сообщение и торговля между городами были прерваны (AD -124A: 8′–9′; -123A: r6–8 и др.). В конечном итоге к 119 г. до н.э. в связи с прибытием в Вавилон некого высокопоставленного чиновника, по-видимому, посетившего и Борсиппу, данная проблема была частично решена (AD -118A: 19–22).

После этих событий, закрепивших контроль Аршакидов над регионом, Борсиппа на полтора десятилетия исчезает из текстов. Следующее упоминание относится лишь к 106 г. до н.э.: дневники сообщают о столкновении между мясниками Эсагилы и Эзиды, которое случилось на 12-й день I месяца, т.е. как раз по завершении праздника Акиту, когда статуя Набу должна была вернуться из Вавилона в Борсиппу. Причиной конфликта стала попытка мясников Эсагилы «узурпировать» обязанности своих коллег в Борсиппе, причем в результате этого столкновения один из мясников Эсагилы был убит (AD -105: A15′–16′; B14′–15′) [van der Spek et al., 2025, p. 761–763]. Имело ли это происшествие какие-либо последствия для сторон конфликта, остается неизвестным: дневники об этом умалчивают. Тем не менее данный эпизод показывает, что несмотря на тесное взаимодействие Вавилона и Борсиппы, особенно в дни Акиту, представители обеих храмовых корпораций жестко защищали свои права и интересы.

Наконец, последнее упоминание Борсиппы в клинописных источниках датируется 78/77 г. до н.э. (AD -77A: 28′–30′): дневники отмечают установление статуи божества (Иштар, если прочтение знаков является верным). Борсиппцы наряду с представителями Вавилона и Куты обеспечили жертвенных животных для празднества, устроенного по случаю этого события [van der Spek et al., 2025, p. 845–848]. В данном эпизоде обращает на себя внимание, что эти три города – Вавилон, Борсиппа, Кута – снова выступают как своего рода конфедерация или союз «городов-святилищ», возглавляемый *шатамму* Эсагилы. Однако сохраняла ли Борсиппа в I в. до н.э. время тот же автономный статус «священного города», освобожденного от налогов, что и в селевкидский период, остается неясным.

Таблица 2. Основные события в истории Борсиппы парфянского периода (по данным письменных источников).

Дата (до н.э.)	Источник	Комментарий
133	AD -132B: 29; r25–t.e.6	«Пророк Нанайи» в Борсиппе
138–127/6	BCHP 18A&B A22′–24′; B29′–32′	Визит в Борсиппу Багайаши
127	AD -126A: 6′–r2	Посещение Борсиппы военачальником Тимархом

125–124, 119	AD -124A: 8′–9′; -123A: r6–8 и др. -118A: 19–22	Регулярные нападения арабов на Вавилон и Борсиппу
106	AD -105: A15′–16′; B14′–B15′	Столкновение мясников Эсагилы и Эзиды и Борсиппе
78	AD -77A: 28′–30′	*Шатамму* Эсагилы установил статую ʿИштарʾ, [вавилоняне], борсиппцы и кутийцы обеспечили жертвенных животных для празднества

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленный выше обзор источников об эллинистической Борсиппе показывает, насколько фрагментарны имеющиеся данные, и насколько сложно составить из них более-менее целостное представление об истории этого города в период с конца IV по I вв. до н.э. Ключевую роль в Борсиппе по-прежнему занимал храмовый комплекс Эзида: большая часть упомянутых событий так или иначе была связана с Эзидой, а храмовый совет *киништу*, по сути, представлял собой и городскую администрацию. В этом отношении ситуация является довольно типичной для Южной Месопотамии в эллинистический период и в целом может быть сопоставлена с системой управления в Вавилоне и Уруке. На протяжении эллинистического времени (по крайней мере с III в. по первую половину I в. до н.э.) Борсиппа, Вавилон и Кута составляют своего рода конфедерацию, истоки которой прослеживаются еще в нововавилонский период. Возглавляет эту триаду *шатамму* Эсагилы (Вавилон), представляющий интересы всех трех «священных городов». В царствование Антиоха II этот статус, по-видимому, был официально закреплен за Борсиппой, население которой освобождалось от ряда податей. Десятина же с земель из царского домена, подаренных жителям вавилонских городов, должна была выплачиваться храмам (в случае с Борсиппой – в пользу Эзиды). В этом отношении положение Борсиппы было схоже с вавилонским статусом *kidinnūtu*. Изменилось ли положение Эзиды под властью Аршакидов, остается неясным.

Несмотря на высокий региональный статус святилища, визиты представителей правящих династий в Борсиппу (Антиох III, царевич Багайаша) даже по сравнению с Вавилоном выглядят как экстраординарные события. В то же время какие-либо проявления царского эвергетизма со задокументированы только в правление первых Селевкидов: это патронаж Эзиде со стороны Антиоха I и пожалования земель вместе с освобождением от налогов при Антиохе II и Селевке II.

События из жизни Борсиппы в парфянский период, включая такие эпизоды, как история «пророка Нанайи» и столкновение между представителями храмового персонала Эсагилы и Эзиды, несут на себе отпечаток того неспокойного времени, каковым оказались первые десятилетия владычества Аршакидов в Южной Месопотамии, и в то же время выявляют процесс постепенного упадка последних центров сохранения вавилонской культуры.

Как долго в целом функционировал храмовый комплекс Эзида, остается неясным. Опираясь на слова Страбона (*Strab*. XVI. I. 6–7)[13], можно допустить, что культовый центр Набу продолжал существовать вплоть до рубежа эр. Однако это свидетельство само по

[13] «Борсиппа – это священный город Артемиды и Аполлона…» (τὰ δὲ Βόρσιππα ἱερὰ πόλις ἐστὶν Ἀρτέμιδος καὶ Ἀπόλλωνος…), т.е. город ассоциируется в первую очередь с храмовым комплексом Эзида (Аполлон – Набу, Артемида – Нанайя).

себе не бесспорно, поскольку неизвестно, на какие источники в данном случае опирался сам античный географ и являются ли эти данные синхронными или же описывают реалии более раннего времени. Пожар, оставивший свой след на структурах зиккурата и с расплывчато датируемый парфянским периодом, необязательно должен был разрушить храм, следовательно, Эзида вполне могла функционировать и во время Страбона. Тем не менее масштаб бедствия предполагает, что весь комплекс нуждался в реставрации (необходимой также и в силу специфики сырцовой архитектуры), но какие-либо свидетельства проведения восстановительных работ в Эзиде в парфянский период отсутствуют. Таким образом, даже если сведения Страбона хронологически достоверны, то они являются последним свидетельством функционирования Эзиды как культового центра.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ / ABBREVIATIONS

AD – Astronomical Diaries (Sachs A.J., Hunger H. *Astronomical Diaries and Related Texts from Babylonia*. Vol. I–III. Wien: Osterreichische Akademie Der Wissenschaften, 1988–1996). https://oracc.museum.upenn.edu/adsd/corpus (accessed: 15.08.2026).

BCHP – Babylonian Chronicles of the Hellenistic Period (см.: [van der Spek R.J., Finkel I.L., Pirngruber R., Stevens K. *Babylonian Chronographic Texts from the Hellenistic Period*. Atlanta: Society of Biblical Literature, 2025]).

BM – British Museum.

CAD – *The Assyrian Dictionary of the Oriental Institute of the University of Chicago*. A.L. Oppenheim et al. (eds.). Chicago: Oriental Institute Publ., 1956 ff.

CTMMA – Cuneiform Texts in the Metropolitan Museum of Art.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

Берзон Е.М. Селевкиды и Элам во II в. до н.э. *Восток (Oriens)*. 2022. № 5. С. 20–27 [Berzon E.M. The Seleukids and Elam in the 2nd c. BC. *Vostok (Oriens)*. 2022. No. 5. Pp. 20–27 (in Russian)].

Берзон Е.М. Между Селевкидами и Аршакидами: сатрапия Вавилония в первое десятилетие парфянского владычества. *Восток (Oriens)*. 2024. № 6. С. 33–44 [Berzon E.M. Between the Seleukids and the Arsakids: The Satrapy of Babylonia in the First Decade of Parthian Rule. *Vostok (Oriens)*. 2024. No. 6. Pp. 33–44 (in Russian)].

Дандамаев М.А. Храм Эзида и культ бога Набу в Вавилонии I тысячелетия до н.э. *Вестник древней истории*. 2009. № 3. С. 87–94 [Dandamaev M.A. Ezida Temple and the Cult of Nabû in Babylonia of the First Millenium BC. *Journal of Ancient History*. 2009. No. 3. Pp. 87–94 (in Russian)].

Aperghis G.G. *The Seleukid Royal Economy*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

Beaulieu P.-A. Nabû and Apollo: The Two Faces of Seleucid Religious Policy. *Orient und Okzident in hellenistischer Zeit. Beiträge zur Tagung „Orient und Okzi-dent – Antagonismus oder Konstrukt? Machtstrukturen, Ideologien und Kulturtrans-fer in hellenistischer Zeit“, Würzburg 10.–13. April 2008*. F. Hoffmann, K.S. Schmidt (Hrsgg.). Vaterstetten: Patrick Brose, 2014. Pp. 13–30.

Boiy T. *Late Achaemenid and Hellenistic Babylon*. Leuven: Peeters, 2004.

Dąbrowa E. Les aspects politiques et militaires de la conquête parthe de la Mésopotamie. *Electrum*. 2005. Vol. 10. Pp. 73–88.

Dirven L. The Astronomical Diaries and Religion in Seleucid and Parthian Babylon: the Case of the Prophet of Nanāya. *Keeping Watch in Babylon: The Astronomical Diaries in Context*. J. Haubold, J. Steele, K. Stevens (eds.) Leiden; Boston: Brill, 2019. Pp. 154–174.

Erickson K. Apollo-Nabû: the Babylonian Policy of Antiochus I. *Seleucid Dissolution: The Sinking of the Anchor*. K. Erickson, G. Ramsey, C.E. Ghita (eds.) Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2011. Pp. 51–65.

Funck B. *Uruk zur Seleukidenzeit: eine Untersuchung zu den spätbabylonischen Pfründentexten als Quelle für die Erforschung der sozialökonomischen Entwicklung der hellenistischen Stadt*. Berlin: Akademie Verl., 1984.

Joannès F. *Archives de Borsippa: La famille Ea-ilûta-bani: Étude d'un lot d'archives familiales en Babylonie du VIIIe au Ve siècle av. J.-C.* Genève: Librairie Droz, 1989.

Kosmin P.J. Seeing Double in Seleucid Babylonia: Rereading the Borsippa Cylinder of Antiochus I. *Patterns of the Past*: *Epitaphs, Inscriptions and Culture in the Classical World*. A. Moreno, R. Thomas (eds.) Oxford: Oxford University Press, 2014. Pp. 173–198.

Linssen M.J.H. *The Cults of Uruk and Babylon. The Temple Ritual Texts as Evidence for Hellenistic Cult Practice*. Leiden; Boston: Brill; Styx, 2004.

Madreiter I. Antiochos the Great and the Robe of Nebuchadnezzar: Intercultural Transfer between Orientalism and Hellenocentrism. *Cross-Cultural Studies in Near Eastern History and Literature*. S. Svärd, R. Rollinger (eds.) Münster: Ugarit Verl., 2016. Pp. 111–136.

Monerie J. *L'économie de la Babylonie à l'époque hellénistique*. Berlin; Boston: De Gruyter, 2017.

Sherwin-White S. Aspects of Seleucid Royal Ideology: The Cylinder of Antiochus I from Borsippa. *Journal of Hellenic Studies*. 1991. Vol. 111. Pp. 71–86.

Stevens K. The Antiochus Cylinder, Babylonian Scholarship and Seleucid Imperial Ideology. *Journal of Hellenic Studies*. 2014. Vol. 134. Pp. 66–88.

Strootman R. Babylonian, Macedonian, King of the World: the Antiochos Cylinder from Borsippa and Seleukid Imperial Integration. *Shifting Social Imaginaries in the Hellenistic Period: Narrations, Practices, and Images*. E. Stravrianopoulou (ed.) Leiden; Boston: Brill, 2013. Pp. 67–97.

Taylor M.J. Sacred Plunder and the Seleucid Near East. *Greece & Rome*. 2014. Vol. 61. No. 2. Pp. 222–241.

Van der Spek R.J., Finkel I.L., Pirngruber R., Stevens K. *Babylonian Chronographic Texts from the Hellenistic Period*. Atlanta: Society of Biblical Literature, 2025.

Waerzeggers C. The Babylonian Revolts Against Xerxes and the "End of Archives". *Archiv für Orientforschung*. 2003/2004. Bd. 50. Pp. 150–173.

Waerzeggers C. The Babylonian Chronicles: Classification and Provenance. *Journal of Near Eastern Studies*. 2012. Vol. 71. No. 2. Pp. 285–298.

Waerzeggers C. *The Ezida Temple of Borsippa: Priesthood, Cult, Archives*. Leiden: Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten, 2010.

Wallenfels R., van der Spek R. Land Grant by Antiochus II. The "Lehmann Text". Copy of Record of Entitlement and Exemptions to Formerly Royal Lands. *The Ebabbar Temple Archive and Other Texts from the Fourth to the First Millennium B.C. Text no. 148*. I. Spar, M. Jursa (eds.) New York: The Metropolitan Museum of Art; Winona Lake, Indiana: Eisenbrauns, Inc., 2014. Pp. 213–227.

Wunsch C. The Egibi Family's Real Estate in Babylon (6th Century BC). *Urbanization and Land Ownership in the Ancient Near East*. M. Hudson, B. Levine (eds.) Cambridge, MA: Peabody Museum of Archaeology and Ethnology and Harvard University, 1999. Pp. 391–419.

Zadok R. *Catalogue of Documents from Borsippa or Related to Borsippa in the British Museum*. Vol. 1. Messina: Di.Sc.A.M., 2009.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ / INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

БЕРЗОН Екатерина Михайловна – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, Москва, Россия.

Ekaterina M. BERZON, PhD (History), Senior Research Fellow, Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia.

КЛАССИЧЕСКИЙ ВОСТОК

DOI: 10.31696/S086919080038648-9

ГЛАВНЫЙ АПОКРИФ ВЬЕТНАМСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ «КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ АННАМА». БИОГРАФИЯ ЕГО АВТОРА ЛЕ ТАКА И ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И БЫТОВАНИЯ ЭТОГО ИСТОЧНИКА

© 2026

А.Л. ФЕДОРИН [a]

[a] – Институт Китая и современной Азии РАН, Москва, Россия
ORCID: 0000-0003-0336-0055; ffeedd@list.ru

Резюме: *Составление «Краткого описание Аннама» («Аннам тьи лыок») было завершено в Китае ориентировочно в 40-х гг. XIV в., и это произведение, содержащее уникальные сведения по Вьетнаму и вьетнамо-китайским отношениям, сразу же вошло в число признанных авторитетных текстов, включаемых в перечень главных исторических и литературных произведений как при династии Юань (1279–1368), так и при всех последующих китайских династиях – Мин (1368–1644) и Цин (1644–1911). Между тем в самом Вьетнаме эту работу длительное время игнорировали, поскольку ее автор, вьетнамец Ле Так (1365? – после 1340), в свое время перебежал на сторону монгольских захватчиков и писал это произведение в первую очередь, чтобы обосновать правомерность своего предательства и поставить под сомнение правильность действий правителей из династии Чан (1225–1400). Неоднозначной и противоречивой фигуре Ле Така и важности уникальной информации, содержащейся в «Кратком описании Аннама», для изучения истории Вьетнама и посвящена данная статья, в которой приводятся биографические сведения, касающиеся автора этого источника, изложена история его написания, продвижения и превращения в часть канонической китайской литературы, судьба работы после смерти ее создателя, прослеживаются появление ее многочисленных рукописных, ксилографических и печатных вариантов в разных странах, отношение к ней и ее автору во Вьетнаме. Отдельно рассматривается проблема источников, использованных при ее написании, и делается вывод о том, что данный историографический труд, безусловно, относится к числу наиболее древних аутентичных текстов, написанных вьетнамцами, и имеет прямую непосредственную связь с несохранившимся до наших дней первым вариантом собственно вьетнамской летописи, написание которой началось в 70-х гг. XI века. Обращается внимание на то, что в XXI веке отношение к источнику во Вьетнаме постепенно меняется.*

Ключевые слова: историография Вьетнама, Ле Так, «Краткое описание Аннама», «Аннам тьи лыок», вьетнамо-китайские отношения

Для цитирования: Федорин А.Л. Главный апокриф вьетнамской историографии «Краткое описание Аннама». Биография его автора Ле Така и история создания и бытования этого источника. *Восток (Oriens)*. 2026. № 5. С. 64–74. DOI: 10.31696/S086919080038648-9

THE MAIN APOCRYPHA OF VIETNAMESE HISTORIOGRAPHY "BRIEF DESCRIPTION OF ANNAM". THE BIOGRAPHY OF ITS AUTHOR LE TAC AND THE HISTORY OF THE CREATION AND EXISTENCE OF THIS SOURCE

© 2026

Andrey L. FEDORIN [a]

[a] – Institute of China and Contemporary Asia, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
ORCID: 0000-0003-0336-0055; ffeedd@list.ru

Abstract: *The compilation of the "Brief Description of Annam" ("Annam chi luoc") was completed in China approximately in the 1340s, and this work, which contains unique information on Vietnam and Vietnamese-Chinese relations, immediately became one of the widely recognized texts included in the list of the main historical and literary works both of the Yuan dynasty (1279–1368), and of all subsequent Chinese dynasties – the Ming (1368–1644) and Qing (1644–1911). Meanwhile, in Vietnam itself, this work was ignored for a long time, since its author, a Vietnamese Le Tac, at one time defected to the Mongol invaders and wrote this work primarily to justify the legitimacy of his betrayal and to question the correctness of the actions of the rulers of the Tran dynasty (1225–1400). This article is devoted to the ambiguous and contradictory figure of Le Tac and the importance of the unique information contained in the "Brief Description of Annam" for studying the history of Vietnam. It provides biographical information about the author of this source, history of its writing, promotion, and transformation into a part of canonical Chinese literature, fate of the work after its creator's death, emergence of its numerous handwritten, xylographic, and printed versions in various countries, and attitude towards it and its author in Vietnam. The article also discusses the sources used in the writing of this work and concludes that it is undoubtedly one of the most ancient authentic sources written by a Vietnamese author.*

Keywords: historiography of Vietnam, Le Tac, "Brief Description of Annam", "Annam chi luoc", Vietnam-China relations

For citation: Fedorin A.L. The main apocrypha of Vietnamese historiography "Brief Description of Annam". The biography of its author Le Tac and the history of the creation and existence of this source. *Vostok (Oriens)*. 2026. No. 5. Pp. 64–74. DOI: 10.31696/S086919080038648-9

Апокриф (от древнегреческого ἀπό-κρῦφος – «скрытый, сокровенный») – произведение религиозной литературы, преимущественно посвященное событиям и лицам церковной истории, не включенное в канон. Апокрифы являются запрещенными для чтения в церкви. Клириков, которые их читают в храме, христианская церковь лишает сана. Но последнее время отношение к этим текстам и в религиозной среде постепенно меняется. Так, по мнению Владимира Лосского, церковь должна извлечь из них то, что может пополнить и иллюстрировать события, о которых умалчивает Писание, но которые Предание считает достоверными.

Очень похожа на судьбу подобных западных неканонических религиозных произведений судьба чисто исторической работы Ле Така «Краткое описание Аннама» (в дальнейшем – АНТЛ). Будучи одним из наиболее древних и подробных аутентичных текстов по древней и средневековой истории Вьетнама, написанное вьетнамцем и содержащее уникальную информацию, в силу особенностей биографии его автора и условий, в которых оно было создано, АНТЛ на протяжении веков крайне редко использовался в качестве

источника для исторических исследований в этой стране, и лишь в последние годы эта ситуация стала постепенно меняться.

«Краткому описанию…» повезло. Оно многократно привлекало внимание историографов Китая, Японии и некоторых западных стран (см. ниже) и сохранилось в довольно большом количестве копий как в виде рукописей и ксилографов, так и в виде печатных изданий. Многие из них сопровождаются исследовательскими статьями, из которых наибольший интерес, на мой взгляд, представляет собой предисловие к последнему китайскому изданию [*Annan zhi lue*, 2000] и статья работавшего в Японии китайского ученого Чэнь Цзинхэ [Lê Tắc, 1961, p. I–XVIII]. Однако в них содержится в основном текстологический анализ этого произведения, а истории его создания и биографии автора, как мне кажется, не уделяется должного внимания. Ле Так и его книга довольно часто упоминаются и в работах некоторых отечественных историков (Д.В. Деопик [Деопик, 2002, с. 79, 354], П.В. Познер [Познер, 1980, с. 11, 40, 146], А.Б. Поляков [Деопик, Поляков, 1975, с. 15–22; Поляков, 2024, с. 162], Е.Ю. Кнорозова [Кнорозова, 2025, с. 32], К.Ю. Леонов [Леонов, 1986, с. 265–271], А.В. Никитин [Деопик, Никитин, 2015, с. 88, 190]), но они никогда не были для них предметом отдельных специализированных исследований. Эта статья представляет собой попытку исправить подобную ситуацию.

* * *

Ле Так, второе имя Ле Кань Као, еще одно имя Ле Фунг Шы, псевдоним Донг Шон («Восточная гора»), псевдоним, использованный в Китае – Цзин Лэ («Спокойный и радостный» [Lê Tắc, 1961, p. 10]), родился предположительно в 1265 г. Об этом нигде не говорится прямо, но вычислить это несложно: в своей автобиографии он пишет, что стал лауреатом конкурса для юных знатоков канонов в возрасте 9 лет. Конфуцианские конкурсы при династии Чан (1225–1400) проводились редко, нерегулярно и различались масштабом. Один из самых больших был организован в 1275 г. [*Полное собрание*, 2002–2022, т. 4, с. 90], где, скорее всего, он и добился успеха. Кроме того, в одном из предисловий [Lê Tắc, 1961, p. 8] указано, что Ле Так перешел на сторону Юаней, когда ему едва исполнилось 20 лет, а это произошло в первой луне 1285 г.

Ле Так являлся выходцем из семьи высокопоставленных чиновников, потомков Жуань Фу (вьет. Нгуен Фу), инспектора-*цыши* Зяотяу времен династии Восточная Цзинь (317–420), из поколения в поколение проживавшей в Айтяу (в провинции Тханьхоа). Его отец был лауреатом конкурсных испытаний и служил чиновником. Уже в раннем детстве Ле Така отдали в качестве приемного сына в семью Ле Бонга, его родного дяди по материнской линии, у которого, по-видимому, не было своего мужского потомства, и он стал носить его фамилию. Все свое детство будущий автор изучаемого текста посвятил упорной учебе и благодаря этому уже в девятилетнем возрасте стал лауреатом конкурса для самых юных конфуцианцев. Император Чан Тхань-тонг (прав. в 1258–1278 гг.) высоко оценил его знания и умения и повелел оставить его при дворе в числе трех юных лауреатов, чтобы они время от времени декламировали ему стихи. Это сулило Ле Таку блестящую карьеру, которую он вскоре и начал делать, дослужившись до *тхиланга*, т.е. до уровня заместителя министра. Но потом что-то случилось: будущий автор «Краткого описания Аннама» был отлучен от двора, переведен в военный разряд в подчинение члену императорской семьи Чан Киену (?–1285). Видимо, примерно в то же время государственную службу оставил и его отец, объявивший себя даосским монахом и уединившийся в скиту на горе [Lê Tắc, 1961, p. 23].

У члена императорской семьи Тьыонгхиен-*тхыонгвихау* (или Миньхиен-*хау*) Чан Киена положение при дворе было специфическим. Он являлся сыном от наложницы Чан Куок

Кханга (1237–1300), единоутробного старшего брата Чан Тхань-тонга (второго императора династии Чан), но отцом его был не император Чан Тхай-тонг, а его старший брат Чан Лиеу (1211–1251), жену которого, уже беременную Чан Куок Кхангом, в 1237 г. насильно отобрали и передали его младшему брату. Пока не родились младшие сводные братья Чан Куок Кханг даже некоторое время числился наследником престола, но затем его постепенно отодвинули на второй план и даже выпроводили из столицы, назначив губернатором провинции Зиентяу (в современной провинции Нгеан); в этой должности он и оставался вплоть до своей кончины в 1300 г. С учетом изложенного, как старший представитель старшей линии династии, Чан Киен вполне мог претендовать на престол и вызывал подозрения у действующих властей. Помимо прочего, накануне второго монгольского нашествия у Чан Киена случился конфликт с младшим сыном императора Чан Тхань-тонга Чан Дык Виепом (1265–1306), он попал в опалу, был вынужден оставить столицу, уехал в свое родовое имение и объявил, что отныне отходит от политических дел и будет заниматься исключительно даосскими практиками.

Когда в конце 1284 г. началось второе вторжение монгольских войск сначала с севера, а потом и с юга (из Чампы, где в то время находился экспедиционный корпус во главе с Согэту), император повелел Чан Киену с подчиненными ему отрядами во главе с Ле Таком отправиться на юг, чтобы преградить дорогу вышедшим на подмогу. Потерпев поражение в первом же бою, он с согласия окружения принял решение прекратить сопротивление и сдаться Юаням вместе со всеми своими войсками. При этом в обращении к подчиненным он заявил, что не считает это предательством. По его мнению, предательством являлся как раз отказ действующего императора подчиниться указу Юаней и явиться на аудиенцию в Пекин, что уберегло бы его страну от тотального разрушения, а его народ – от истребления. Чан Киен явно рассчитывал, что с учетом его высокого положения и происхождения при активной помощи армии Юаней он вполне может надеяться занять престол. Некоторые документы свидетельствуют, что существенную роль при принятии этого решения как раз и сыграл Ле Так, настоятельно рекомендовавший своему сюзерену поступить именно так [Lê Tắc, 1961, p. 7].

Возглавлявший войска вторжения сын Хубилая Тоган принял и богато наградил Чан Киена, а затем направил его и верхушку сдавшихся, включая Ле Така, в Пекин для принятия окончательного решения. Но по дороге на север в провинции Лангзянг (современная провинция Лангшон) отряд Чан Киена был атакован поджидавшими его в засаде вьетнамцами. Сам он был убит, и прорваться к границе удалось лишь немногим из его сторонников, включая Ле Така, который не только спасся сам, но и смог увезти тело своего сюзерена и похоронить его на заставе Кхауон (совр. г. Тьиланг).

В Пекине Ле Так получил денежное вознаграждение, высокие титулы и звания, но второй поход на вьетнамцев был вскоре завершен, и принять участие в боевых действиях против «своих» в тот раз ему так и не пришлось. Вскоре он вошел в окружение Чан Ить Така (1254–1328), очередного претендента на престол в Дайвьете, младшего брата императора Чан Тхань-тонга. Тот также перешел на сторону Юаней и в 1286 г. был признан ими единственным законным правителем государства Аннам.

В 1287 г. начался третий поход Юаней на Дайвьет. Ле Так должен был стать его активным участником, но по дороге к театру военных действий тяжело заболел и был оставлен в Сымине выздоравливать. В конце 1287 г. он все-таки попытался присоединиться к действующим войскам, войдя на территорию страны в составе небольшого отряда вспомогательных войск, отправленных на подмогу основным силам. Этот отряд попал в засаду и был почти полностью перебит. Ле Так, один из немногих прекрасно ориентировавшийся на местности, где все это случилось, вновь смог вывести командование отряда из-под удара

и вернуть на китайскую территорию. При этом в числе спасенных оказался девятилетний сын «правителя государства Аннам» Чан Ить Така, что способствовало существенному укреплению позиций Ле Така при его «дворе в изгнании».

Уже в первой половине 1288 г. Тоган и его войска были вынуждены покинуть Дайвьет под угрозой полного разгрома, однако император Ши-цзу (Хубилай, прав. в 1260–1295 гг.) не собирался отказываться от планов его оккупации и повелел готовиться к новому походу. В 1293 г. даже было создано командование будущей операции, и стали формироваться войска для нового вторжения. Ле Так был активным участником всех этих мероприятий. Но в январе 1295 г. основатель династии Юань скончался, а его преемник император Чэн-цзун (Олджэйту-*хаган* Тэмур, прав. в 1295–1307 гг.) принял решение отказаться от планов дальнейшего расширения империи на юг и захвата вьетских земель. Более того, на протяжении всего времени дальнейшего правления династии Юань вплоть до 1368 г. этот вопрос более не поднимался. Чтобы наказать непокорного данника, Дайвьет (Аннам) отнесли к самой низшей категории подвластных Китаю государств, его правители монголами не признавались и не получали соответствующую инвеституру, посольства, подносящие дань, в столицу не допускались, но должны были ее передавать в пограничных районах. Юаньские посольства во Вьетнам также более не приезжали. Исключения по ритуальным соображениям делались только в том случае, если в Пекине менялся император. Вьетнамцы считали такую ситуацию унизительной, но терпели и особо не протестовали, поскольку альтернативой ей было очередное вторжение и попытка оккупации: признаваемым северянами единственным законным «правителем государства Аннам» вплоть до своей кончины в 1328 г. оставался Чан Ить Так, а позднее его прямые потомки, и это обстоятельство грозило в любой момент спровоцировать открытый военный конфликт.

Перешедшие на сторону Юаней во время второго и третьего походов довольно многочисленные представители вьетнамской элиты оказались в непростой ситуации. С одной стороны, в расчете на возможное использование в будущем, если будет принято решение об очередном походе, северяне продолжали их содержать, сначала выдавая деньги, а затем наделяя большими участками земли, но, с другой стороны, все их планы и надежды на возвращение на родину в одночасье рухнули. Большинство вьетнамских эмигрантов довольно быстро интегрировалось в систему северян, благо она сама по себе изначально предполагала весьма высокую степень многонациональности.

Но Ле Так категорически отказался занимать любую реальную должность в китайском госаппарате, хотя это сулило ему немалые материальные выгоды. Он остался «при дворе» Чан Ить Така в Ханьяне (уезд в провинции Хубэй) на скромном содержании, таким образом подчеркивая, что продолжает быть вьетнамским подданным и лишь ждет своего часа, чтобы вернуться в Дайвьет и занять здесь достойное место. Главной его задачей стало написание большой по объему и максимально подробной работы, посвященной Вьетнаму и в первую очередь вьетнамо-китайским отношениям на момент ее написания и на протяжении многих веков. Целью создания этого произведения, судя по его содержанию, было вовсе не желание повиниться и показать объективные причины, заставившие автора пойти на предательство и перебежать на сторону противника. Ле Так пытался доказать, что именно его сюзерен Чан Киен, а затем и «правитель государства Аннам» Чан Ить Так занимали, согласно конфуцианским нормам, правильную и оправданную позицию по защите интересов Дайвьета, а действующие правители страны, наоборот, из-за трусости и высокомерия обрекли страну на разрушительные войны и истребление населения, от которых она долго не могла оправиться, и на унизительную ситуацию отсутствия признания и инвеституры со стороны северного соседа.

Запершись в своем маленьком жилище вдали от любопытных глаз, Ле Так работал не покладая рук всю оставшуюся жизнь, не только дополняя и улучшая созданный текст, но и всячески продвигая его, чтобы он стал доступным для широкой массы китайских читателей. Делалось это единственно возможным тогда путем – представлением работы для оценки и написания предисловий («рецензий») высокопоставленным чиновникам юаньской администрации. И в этом вопросе создатель АНТЛ вполне преуспел. Из авторов одиннадцати предисловий современников к работе Ле Така, сохранившихся до нашего времени, четверо позднее были удостоены специальных разделов в хронике *Юань ши*, и еще один в ней упомянут. Да и оставшиеся шесть были высокопоставленными чиновниками, историками и писателями, чьи работы были широко известны.

Первоначальный вариант текста АНТЛ был завершен не позднее 1307 г. Именно в этом году умер император Чэн-цзун, его место занял император У-цзун (Кулуг-*хан* Хайсан, прав. в 1307–1312 гг.), и Ле Таку было поручено возглавить «посольство», чтобы от имени «правителя государства Аннам» Чан Ить Така поздравить его с восшествием на престол. Эту свою поездку в Пекин он активно использовал для продвижения своего произведения: целых три дошедших до нашего времени хвалебных предисловия к нему известных и авторитетных деятелей той эпохи датированы именно этим годом. Эта работа активно велась и в дальнейшем. Следующие три сохранившиеся «рецензии» на эту книгу известных юаньских конфуцианцев датированы соответственно 1312, 1318 и 1322 гг. Обращался он и к чиновникам династии, непосредственно занимавшимся составлением карт Поднебесной, географическим описанием далеких пограничных районов и соседних вассальных государств (Юань Миншань [Lê Tắc, 1961, p. 4–5], Лю Бида [Lê Tắc, 1961, p. 5–6]). Эти усилия наконец принесли результаты. Работу Ле Така отметили при императорском дворе, повелели обратить в ксилограф и поместить в библиотеки. Решение это, видимо, было принято где-то в 1333 г., которым помечено собственное авторское предисловие к работе. Незадолго до этого (1331 г.) юаньские историографические ведомства завершили работу над большим собранием работ «Классические произведения о делах правления». АНТЛ решили присовокупить к этому собранию, а поскольку оно уже находилось в процессе изготовления ксилографических досок, то выпустить этот текст в качестве его отдельного тома.

Но и после этого Ле Так продолжил свою работу над этой рукописью. Последние изменения в нее были внесены в 1341 г., когда ему уже было не менее 75 лет. В дальнейшем, скорее всего, продолжать ее не пытались: в некоторых разделах (обмен посольствами, жизнеописания правителей и т.д.) это было сделать несложно, но никто этим не озаботился. Что же касается исходного текста, то на протяжении веков он подвергся многочисленным изменениям и правкам, в том числе и содержательного характера, о чем много говорится в поздних предисловиях. Возможно, были и сокращения, о чем свидетельствует анализ данных предисловия к изданию в *Сыку цюаньшу* («Собрание книг по четырем разделам»).

Год смерти Ле Така в имеющихся у нас источниках не указан. Но это произошло явно не ранее 1340 г. Это подтверждают и последние датированные дополнения к тексту АНТЛ, и тот факт, что в предисловии Гоюань Сячжэня под этим годом [Lê Tắc, 1961, p. 10–11] об авторе говорится как о продолжающим свое творчество современнике.

После кончины Ле Така его произведение зажило своей и, надо сказать, очень интенсивной и насыщенной жизнью. Судя по всему, и рукописных его копий оказалось немало (уже в 1307 г. автор отдал этот весьма объемный текст для написания предисловий не менее чем четырем рецензентам, и вряд ли можно предположить, что затем он потребовал возвращения рукописей), а появление его в качестве отдельной *цзюани* в главном энциклопедическом собрании эпохи Юань «Классические произведения о делах правления» и вовсе придало ему статус канонического текста, доступного для самого широкого по средневековым

меркам круга читателей. Во времена правления династии Мин (1368–1644) этот статус был подтвержден: АНТЛ вошел и в энциклопедическое издание того периода – «Великое собрание [образцовых сочинений], составленное в эру *Юн-лэ* (1403–1425)», которое заменило вскоре исчезнувший прежний сборник эпохи Юаней. Также высокую оценку эта работа получила и позднее, во времена династии Цин (1644–1911), ученые которой также не обошли ее своим вниманием, поместив в знаменитое *Сыку цюаньшу*.

Не менее активной была жизнь и рукописных вариантов АНТЛ. Их многократно переписывали, заново правили и комментировали. В результате получались новые поколения списков. В частности, большое внимание этой работе уделил известный писатель и историк Цянь Дасинь (1735–1796), создавший в 1790 г. собственную рукопись этого произведения. И именно этот вариант лег в основу первого печатного издания АНТЛ, выпущенного в Шанхае в 1884 г., которое подготовил и профинансировал японский ученый Кисида Гинко. Упоминаются и другие древние рукописи этого источника (копия рода Чжэн из Хайяня, копия Яо Минфу, рукопись рода Ма из Лянхуая, рукопись, хранящаяся в Тайном совете в Японии и т.д.). У каждой из них была своя история, задача проследить которую выходит за рамки нашего исследования. Помимо Китая и Японии большим вниманием АНТЛ пользовалось и у историков некоторых западных стран. В Британском музее до сих пор хранится рукописная копия этой работы, датированная 1750 г., а в 1896 г. в Пекине вышел первый перевод этой работы на западноевропейский (французский) язык под заголовком «Воспоминания об Аннаме» (“Mémoire sur l’Annam”), который был выполнен Камилем Сэнсоном [Chương Thâu, 2002, p. 54].

Что касается Вьетнама, то нет оснований сомневаться в том, что «Краткое описание Аннама» Ле Така было известно местным историографам очень давно. В центральных библиотеках Дайвьета, безусловно, присутствовали и юаньские «Классические произведения о делах правления», и минское «Великое собрание [образцовых сочинений], составленное в эру *Юн-лэ*», не говоря уже о *Сыку цюаньшу*. Но этот источник по идейным соображениям не упоминался местными историками практически никогда. Даже если содержащаяся в нем информация все-таки оказывалась востребованной при составлении собственных текстов (как это редко, но случалось во время создания «Одобренного высочайшим повелением всеобщего зерцала вьетской истории, основа и частности»), ссылок на АНТЛ и его автора не делали. А уж об источниковедческом анализе данной работы и говорить не приходится. Впервые подобная попытка была предпринята лишь в 1939 г. Чан Тхань Маем в статье «Продавший Родину историк, позорное историческое произведение. Ле Так и книга “Краткое описание Аннама”» в журнале «Таодан» (01.04.1939), содержание которой максимально полно отражено в ее названии [Chương Thâu, 2002, p. 51]. На современный вьетнамский язык эта работа была переведена лишь в 1961 г. в существовавшей тогда на юге страны Республике Вьетнам [Lê Tắc, 1961] и, похоже, сделано это было скорее в пику северовьетнамским коллегам. Но на севере АНТЛ продолжали упорно игнорировать, не замечая и не ссылаясь. Ситуация постепенно начала меняться в нулевых годах XXI в. В 2001 г. перевод источника на вьетнамский язык, впервые увидевший свет в 1961 г., без каких-либо изменений и новых комментариев был переиздан в стереотипном виде [Lê Tắc, 2001]. В следующем 2002 г. в главном историческом журнале СРВ (Nghiên cứu lịch sử) появилась специальная статья, посвященная этой работе и ее автору [Chương Thâu, 2002], в которой подробно (насколько это было возможно) излагалась биография Ле Така, история создания и существования «Краткого описания…», его особенности и структура. Не подвергая даже малейшему сомнению резко негативное отношение к Ле Таку как к национальному предателю, автор статьи Тьюонг Тхау в то же время отмечает его многолетний труд, глубокие знания и умения, высокую трудоспособность и приверженность к

систематизации исторических данных. В 2005 г. знаменитый вьетнамский историк Ха Ван Тан в своей небольшой статье подметил, что работа Ле Така, вероятно, является самым древним письменным источником, где используется термин «Вьетнам», современное название государства [Hà Văn Tấn, 2005]. Наконец, в 2014 г. Нгуен Тху Хиен, наверное, впервые использовала АНТЛ как наиболее полный и подробный источник по одному из важных аспектов вьетнамо-китайских отношений во времена правления династии Юань, уже не делая основной упор на идейно-политических воззрениях автора текста и даже оставляя за ним право быть по сути своей вьетнамцем, несмотря на сложившиеся обстоятельства [Nguyễn Thu Hiền, 2014].

Характеризуя «Краткое описание Аннама» как источник по истории Вьетнама, следует прежде всего отметить, что такой перевод названия этой работы (安南志略, кит. *Аньнань чжи люэ*, вьет. Annam chí lược) давным-давно был заимствован в нашей историографии из западноевропейских статей. Между тем еще в конце прошлого века российский историк К.Ю. Леонов обратил внимание на то, что оно вряд ли адекватно. По своей сути АНТЛ – одно из наиболее полных и объемных описаний Вьетнама того времени, причем так и было задумано его автором с самого начала. У знака 略 действительно главное значение это «сокращенный», «поверхностный», «без деталей». Но есть и второстепенные – «разбивать на разделы», «разделять». Наверное, более правильным было бы перевести название этого источника как «Записки об Аннаме по разделам», что более соответствует его содержанию. Впрочем, вполне возможно, что, взяв такой заголовок, Ле Так стремился продемонстрировать положенную конфуцианцу скромность и самоуничижение, оценив свои знания как посредственные, свои способности как недостаточные для решения такой грандиозной задачи в полном объеме. В связи с изложенным, а также дабы не вносить путаницу, было принято решение в нашей статье все-таки сохранить название источника в том виде, в котором оно давно знакомо русскоговорящему читателю.

По своему жанру АНТЛ можно отнести к довольно распространенным в Китае историко-географическим описаниям отдельных местностей и соседних стран. И хотя по подробности содержащейся информации эта работа не уступает традиционным летописям, а иногда и превосходит их, назвать ее хроникой в прямом смысле этого слова с учетом отсутствия *бэньцзы* – описания разнообразных событий в хронологической последовательности – вряд ли будет правильным. В то же время следует отметить, что автор во многом отклонялся от канонических требований к работам такого жанра, уделяя гипертрофированное внимание вьетнамо-китайским отношениям по сравнению с другими проблемами и злоупотребляя обращением к чисто литературным произведениям, в частности, к поэзии, которой он уделил три специальных раздела в своей книге. Впрочем, работа Ле Така не была заказной или уставной, поэтому он не был связан какими-то нормами, навязанными извне, и мог составлять свой текст так, как считал нужным.

Касаясь структуры и сохранности источника, следует отметить, что, судя по всему, в том виде, в котором текст АНТЛ дошел до нашего времени, он сформировался к 1307 г. Уже тогда для оценки и подготовки предисловий китайским высокопоставленным конфуцианцам была предложена работа, состоящая из двадцати разделов. В дальнейшем появились списки из девятнадцати разделов, что породило многочисленные дискуссии и предположения, касающиеся того, почему это произошло, куда делась двадцатая глава. На мой взгляд, чтобы как-то объяснить сложившуюся ситуацию, следует обратиться к оглавлению работы, помещенному перед первой главой. Исчезнувшая XX глава в нем именуется, как «Знаменитые заслуженные деятели, восхвалившие “Записки об Аннаме” <отсутствует>». Т.е. в первоначальном варианте Ле Так, по-видимому, заранее решил собрать все отзывы-предисловия на его произведение в отдельный раздел, а поскольку этот раздел должен был постоянно

расширяться (что и происходило), он поместил его в самом конце работы, чтобы в дальнейшем при добавлении новых фрагментов не разрушать ее структуры. Позднее, когда эту рукопись стали преобразовывать в книги (рукописные, ксилографические или печатные), следуя существовавшим тогда правилам, предисловия были из нее изъяты, вынесены за пределы основного текста и перенесены в начало: XX глава существовать перестала. Но в текстах (и основном, и предисловий) информация о двадцати, а не о девятнадцати главах сохранилась. И однажды, когда АНТЛ готовили к публикации в *Сыку цюаньшу*, редакторы текста, столкнувшись с этой проблемой, не нашли ничего лучшего, как просто произвольно разбить XVII главу работы на две части, разрубив таким образом этот «гордиев узел».

С учетом изложенного можно считать, что текст источника с многочисленными поздними изменениями и правками дошел до нас именно с той структурой, которую предложил Ле Так. Судя по оглавлению, из него исчезла лишь географическая карта Вьетнама (в первой главе), размножить которую обычным путем было сложно, «Дополнение о Линьи» (в XV главе, видимо, уже ранние редакторы решили, что информация о Чампе не имеет отношение к основной теме работы) и часть автобиографии автора (в XIX главе, она могла быть утрачена чисто случайно, так как находилась на последних листах).

Касаясь источников, которые были использованы при подготовки текста АНТЛ, сам автор скромно упомянул лишь два, причем один из них (по Чэнь Цзинхэ – «Нынешняя смесь классических сюжетов» [Lê Tắc, 1961, p. XII–XIII]) так и не удалось идентифицировать, поскольку это, скорее всего, не название конкретной работы, а обозначение целой группы однородных произведений. Однако анализ АНТЛ показывает, что круг текстов, привлеченных Ле Таком, был очень широк. Особенно это касается видения ситуации с китайских позиций. Это и канонические конфуцианские произведения, и существовавшие на тот момент государственные хроники, и историко-географические обзоры отдельных провинций, и сборники литературных произведений (в первую очередь поэтических), если в них упоминались вьетнамские реалии, и многое, многое другое. Как известно, императоры династии Юань не признавали законными правителей династии Чан (кроме самого первого из них), не выдавали им инвеституру и не допускали их послов с регулярной данью в столицу. Процедуры приема посольств из Дайвьета продолжались, но в пограничных с этой страной районах. Для их подготовки и проведения активно привлекались перебежчики, знакомые со спецификой вьетнамо-китайских отношений в прошлом, которые как раз в массе своей здесь и проживали. Однажды в 1292 г. во встрече послов принял участие и сам «правитель государства Аннам» Чан Ить Так [*Полное собрание*, 2002–2022, т. 4, с. 123], однако этот эксперимент был признан неудачным и в дальнейшем от подобного отказались. Вся дипломатия того времени строилась на основании прецедентов, в связи с чем в пограничных районах, безусловно, существовала база документов о прошлых визитах послов для принятия соответствующих решений. Анализ текста АНТЛ показывает, что Ле Так имел доступ к этой базе. Об этом свидетельствует тот факт, что в перечне посольств, прибывших из Вьетнама в Китай в XIV в., есть уникальные сведения о миссиях, не упомянутых более ни в каких других китайских или вьетнамских источниках, причем достоверность этой информации вряд ли может быть подвергнута сомнению.

В своих рассуждениях автор исследуемого источника, безусловно, следует китайским концепциям и оценкам описываемых событий, которые он в основном заимствует из китайских же канонических и летописных текстов, однако этим он не ограничивается. Судя по всему, он проделал колоссальную работу, просто просмотрев огромное количество текстов на предмет наличия в них данных о двусторонних отношениях или о событиях во Вьетнаме, скрупулезно фиксируя даже те из них, которые имели весьма косвенное отношение к реальной политической жизни. Это особенно важно и интересно в связи с тем, что очень многие

источники, которыми пользовался Ле Так, до нас просто не дошли либо дошли в поздних (минских или цинских) интерпретациях.

В целом база китайских документов, которые использовал Ле Так при подготовке АНТЛ, вполне очевидна. При более тщательном изучении «Краткого описания…» вполне можно составить достаточно полный перечень того, что ему удалось привлечь. Значительно более сложным является вопрос о том, чем руководствовался автор источника, описывая события непосредственно в Дайвьете, а именно этому посвящена большая часть его работы, и ради выполнения этой задачи она, собственно говоря, и была задумана и написана. Дело в том, что данные Ле Така о происходившем во Вьетнаме во все времена существенным образом расходятся с неточной и весьма лаконичной информацией из китайских источников. При этом уже его современники и редакторы более поздних версий АНТЛ (включая версию *Сыку цюаньшу*) единодушно отмечали, что информация в этом тексте значительно более точная и часто исправляет данные, которые были известны китайцам ранее. Следует отметить, что массовые исправления касаются и столь важных вещей, как, например, точные даты и географические координаты событий, имена и титулы действующих лиц и тому подобное. Кое-что из того, что случилось при династии Чан, Ле Так, некоторое время служивший столичным чиновником, вполне возможно, и сохранил в памяти, однако массовый характер упомянутых исправлений и изменений, особенно в отношении предыдущих династий (начиная с Поздних Ли, 1010–1225), с учетом того, что они полностью соответствуют вьетнамской версии истории страны и противоречат китайской, свидетельствует о том, что они не могли попасть в текст АНТЛ иначе, чем через использование какого-то или каких-то документов, написанных в Дайвьете. Эта проблема уже была изучена автором этой статьи ранее [*Полное собрание*, 2002–2022, т. 3, с. 39–68]. В результате удалось установить, что таким документом стал не написанный в первой половине XIII в. анонимный *Дайвьет шы лыок*, и не летопись Ле Ван Хыу *Дайвьет шы ки* (1272 г.), позднее положенная в основу «Полного собрания…», а общий для всех этих хроник источник: несохранившийся древний текст, составление которого было начато еще в 70-х гг. XI в. При этом авторы всех этих трех работ действовали абсолютно самостоятельно и с произведениями друг друга знакомы не были. Этот факт, безусловно, подчеркивает весьма важную роль АНТЛ как одного из самых древних независимых и самостоятельных источников по истории древнего и средневекового Вьетнама, который стоит в одном ряду с *Вьет шы лыок* и «Полным собранием…».

Как этот древний текст попал в руки Ле Така, мы можем только догадываться. Обстоятельства его бегства из страны в 1285 г. и неудачная попытка возвращения в конце 1287 г. вряд ли предполагали наличие при нем каких-либо книг. Скорее всего, данная работа могла быть вывезена в Китай ранее либо официальным посольством, либо книготорговцами. Впрочем, поделиться ею с Ле Таком мог и кто-то из многочисленных в то время перебежчиков на сторону Юаней, которые покидали страну в менее экстремальных, чем он, условиях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

Деопик Д.В. *Вьетнам: История, традиции, современность*. М.: Издательство «Восточная литература», 2002 [Deopik D.V. *Vietnam: History, Traditions, and Modernity*. Moscow: Vostochnaya literatura, 2002 (in Russian)].

Деопик Д.В., Никитин А.В. *Аграрная история Вьетнама* (*X – начало XVI в.*). М.: Наука – Восточная литература, 2015 [Deopik D.V., Nikitin A.V. *The Agrarian History of Vietnam (10th – Early 16th Centuries)*. Moscow: Nauka – Vostochnaya literatura, 2015 (in Russian)].

Деопик Д.В., Поляков А.Б. Феодальный дом Чанов и его лидеры во внутриполитическом кризисе в начале XIII в. (по данным ранней и поздней вьетнамской летописной традиции). *Вестник*

Московского университета. Сер. 13. Востоковедение. 1975. № 2. С. 15–22 [Deopik D.V. Poliakov A.B. The Tran feudal house and its leaders in the internal political crisis of the early 13th century (according to the early and late Vietnamese chronicle traditions). *Lomonosov Oriental Studies Journal*. 1975. No. 2. Pp. 15–22 (in Russian)].

Кнорозова Е.Ю. *Духовная культура Вьетнама. Традиционная вьетнамская литература*. СПб.: БАН, 2025 (Rara Orientalia. Вып. 3 (9)) [Knorozova E.Yu. *The spiritual culture of Vietnam. Traditional Vietnamese literature*. St. Petersburg: BAN, 2025 (Rara Orientalia. Issue 3 (9)) (in Russian)].

Леонов К.Ю. О факте существования древнейшей вьетнамской летописи на основании китайских династийных хроник и средневековых вьетнамских летописей. *История и культура Восточной и Юго-Восточной Азии*. Т. 2. М.: Институт востоковедения АН СССР, 1986. С. 265–271 [Leonov K. Yu. The existence of the oldest Vietnamese chronicle based on Chinese dynastic and medieval Vietnamese chronicles. *History and Culture of East and Southeast Asia*. Vol. 2. Moscow: IOS RAS, 1986. Pp. 265–271 (in Russian)].

Познер П.В. *Древний Вьетнам. Проблемы летописания*. М.: Издательство «Наука», 1980 [Pozner P.V. *Ancient Vietnam. Problems of Chronicle Writing*. Moscow: Nauka, 1980 (in Russian)].

Полное собрание исторических записок Дайвьета (Дайвьет шы ки тоан тхы). Т. 1–8. М.: Восточная литература, 2002–2022 [*The complete collection of the historical notes of Dai Viet (Dai Viet su ky toan thu)*. Vol. 1–8. Moscow: Vostochnaya literatura, 2002–2022 (in Russian).

Поляков А.Б. *Возрождение средневекового Вьетнама* (*X – начало XV вв.*). М.: Наука – Восточная литература, 2024 [Poliakov A.B. *The Revival of Medieval Vietnam (10th – early 15th centuries)*. Moscow: Nauka – Vostochnaya literatura, 2024 (in Russian)].

Chương Thâu. Sách “An nam chí lược” và tác giả của nó (Тьыонг Тхау. Книга «Аннам тьи лыок» и её автор). *Nghiên cứu lịch sử*. 2002. No. 322. Pp. 53–61 [Chuong Thau. “Annam chi luoc” va tac gia cua no. *Nghien cuu lich su*. 2002. No. 322. Pp. 53–61 (in Vietnamese)].

Hà Văn Tấn. Tên Việt Nam xuất hiện sớm nhất là từ bao giờ? *Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2004* (Ха Ван Тан. Когда раньше всего появилось название «Вьетнам»? *Открытия в археологии в 2004 г.*). Hà Nội, 2005. P. 766 [Ha Van Tan. Ten Viet Nam xuat hien som nhat la tu bao gio? *Nhung phat hien moi ve khao co hoc nam 2004*. Hanoi, 2005. P. 766 (in Vietnamese)].

Lê Tắc. *An-nam chí lược* (Ле Так. *Краткое описание Аннама*). Huế: Nxb. Viện đại-học Huế, 1961 [Le Tac. *An-nam chi luoc*. Hue: Nxb. Vien dai hoc Hue, 1961 (in Vietnamese)].

Lê Tắc. *An-nam chí lược* (Ле Так. *Краткое описание Аннама*). Thuận Hóa: Nxb. Thuận Hóa, 2001 [Le Tac. *An-nam chi luoc*. Thuan Hoa: Nxb. Thuan Hoa, 2001 (in Vietnamese)].

Nguyễn Thu Hiền. Chức quan Đạt lỗ hoa xích trong bang giao giữa triều Trần và triều Nguyên (1262–1281) (Нгуен Тху Хиен. Должность даругачи во взаимоотношениях между династиями Чан и Юань в 1262–1281 гг.). *Nghiên cứu lịch sử*. 2014. No. 461. Pp. 16–23 [Nguyen Thu Hien. Chuc quan Dat lo hoa xich trong bang giao giua trieu Tran va trieu Nguyen (1262–1281). *Nghien cuu lich su*. 2014. No. 461. Pp. 16–23 (in Vietnamese)].

安南志略。海外紀事 (*Краткое описание Аннама. Записки о заморских делах*). Пекин, 2000 [*Annan zhi lue. Hai wai ki shi*. Beijing, 2000 (in Chinese)].

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ / INFORMATION ABOUT AUTHOR

ФЕДОРИН Андрей Львович – доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра изучения культуры Китая Института Китая и современной Азии РАН, Москва, Россия.

Andrei L. FEDORIN, DSc (History), Leading Research Fellow, Center for the Study of Chinese Culture, The Institute of China and Contemporary Asia, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia.

ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА

DOI: 10.31696/S086919080038382-7

РАЗВИТИЕ СТРАТЕГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ В ПЕРИОД ПРЕЗИДЕНТСВА ПАК ЧОНХИ (1961–1979)

© 2026

И.В. ГРИНЁВ [a]

[a] – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Институт стран Азии и Африки, Москва, Россия
ORCID: 0009-0000-6475-6251; Nagy9881@gmail.com

Резюме: *В статье рассматривается политика руководства Республики Корея (РК) в сфере национальной безопасности в период президентства Пак Чонхи, а также её влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. В условиях непростой геополитической обстановки в Северо-восточной Азии и существования на Корейском полуострове двух государств проблема защиты режима от внешних и внутренних угроз стала одной из ключевых задач, представших перед новым руководством Сеула. Уже на раннем этапе нахождения у власти правительство Пак Чонхи указывало на существование потенциальной угрозы для государства со стороны коммунистического движения. Стратегия обеспечения национальной безопасности предусматривала меры по противостоянию как полномасштабному военному вторжению вооружённых сил Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) на территорию РК, так и деятельности северокорейских разведчиков внутри страны. Такое положение дел позволяло властям предпринимать шаги, предполагавшие ограничение гражданских и политических свобод. Изначально стратегия обеспечения государственной безопасности основывалась на военном союзе с США, однако после провозглашения доктрины Никсона южнокорейское руководство стало придавать большее значение развитию собственных вооружённых сил. Руководством Республики Корея были предприняты меры, направленные на привлечение большого количества рядовых граждан к защите государства. Во второй половине президентства Пак Чонхи власти стали более пристально следить за потенциальными источниками угрозы государственной безопасности. Изменения, внесённые в законодательство, предоставили руководству страны возможность противостоять росту массовых антиправительственных акций, а также обвинять в антигосударственной деятельности любого политического оппонента. Ряд инцидентов продемонстрировал готовность правительства предпринять меры по непосредственной ликвидации лиц, представлявших, по его мнению, угрозу государственной безопасности. Источниковую базу исследования составили труды Пак Чонхи, иные официальные документы, такие как Белые книги Министерства Обороны РК, а также речи и интервью главы государства, информация южнокорейской прессы, материалы правозащитных организаций.*

Ключевые слова: Республика Корея, Пак Чонхи, безопасность, авторитарный режим

Для цитирования: Гринёв И.В. Развитие стратегии обеспечения государственной безопасности Республики Корея в период президентства Пак Чонхи (1961–1979). *Восток (Oriens).* 2026. № 5. С. 75–83. DOI: 10.31696/S086919080038382-7

DEVELOPMENT OF THE NATIONAL SECURITY STRATEGY OF THE REPUBLIC OF KOREA DURING THE PRESIDENCY OF PARK CHUNG-HEE (1961–1979)

© 2026

Ivan V. GRINEV [a]

[a] – Lomonosov Moscow State University,
Institute of Asian and African Studies, Moscow, RF
ORCID: 0009-0000-6475-6251; Nagy9881@gmail.com

Abstract: *The article examines the policy of the Republic of Korea (ROK)'s leadership in the field of national security during the presidency of Park Chung-hee, as well as its impact on the domestic political situation in the country. The complex geopolitical situation made ensuring state security one of the key challenges facing the new leadership of Seoul. In the early stages of Park Chung-hee's presidency the government emphasized the existence of a potential threat to the state from the communist movement. The national security strategy included measures to counter both a full-scale military invasion by the armed forces of the Democratic People's Republic of Korea (DPRK) into the territory of the Republic of Korea and the activities of North Korean intelligence agents within the state. This state of affairs allowed the authorities to take steps that involved restricting civil and political liberties. During the second half of Park Chung-hee's presidency, the authorities began to more closely monitor potential sources of threats. Changes to the legislation allowed the country's leadership to counter the growth of mass anti-government protests and to accuse any political opponent of anti-state activity. A number of incidents demonstrated the government's readiness to take measures to directly eliminate individuals it considered a threat to state security. The source base of the research was the works of Park Chung-hee, other official documents, speeches and interviews of the head of state, information from the South Korean press, and materials from human rights organizations.*

Keywords: Republic of Korea, Park Chung-hee, state security, authoritarian regime

For citation: Grinev I.V. Development of the national security strategy of the Republic of Korea during the presidency of Park Chung-hee (1961–1979). *Vostok (Oriens).* 2026. No. 5. Pp. 75–83. DOI: 10.31696/S086919080038382-7

В период нахождения у власти Пак Чонхи (1961–1979) в Республике Корея действовал военно-бюрократический режим, деятельность которого способствовала экономическому развитию государства. При этом в условиях Холодной войны и существования на Корейском полуострове двух враждующих государств одним из важнейших вопросов, вставших перед сеульским руководством, оказалось обеспечение национальной безопасности. Согласно Белой книге министерства обороны РК под ним понималась, в первую очередь, защита государства от внешнего вторжения [*Кукпанпэксо*, 1967, с. 24].

РАЗВИТИЕ СТРАТЕГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Как и при предыдущих администрациях, важнейшее место в стратегии обеспечения национальной занимала борьба с коммунизмом. Глава государства Пак Чонхи в своей книге «Путь нашей нации» (кор. 우리 민족의 나갈 길) охарактеризовал это учение как противоречащее основам восточной культуры, а его сторонников как людей, намеренных

перечеркнуть «4000 лет развития страны». В качестве обоснования подобной точки зрения он приводил полномасштабное наступление армии КНДР на территорию Республики Корея в 1950 г. По мнению южнокорейского лидера, этот трагичный опыт демонстрировал опасность коммунизма гораздо лучше теоретических аргументов. Он констатировал, что коммунисты не откажутся от идеи установления контроля над всем Корейским полуостровом военным путём [Park Chung Hee, 1970, p. 107].

В качестве основного источника угрозы рассматривалось мировое коммунистическое движение, представленное, в частности, СССР и Китаем. КНДР, в соответствии с этой концепцией, характеризовалась как марионетка Москвы. При этом рядовые граждане Северной Кореи не рассматривались как представляющие опасность для РК, угроза, по мысли южнокорейских властей, исходила от руководства КНДР, компромисс с которым не представлялся возможным [Park Chung Hee, 1970, p. 168–170].

Основой оборонной стратегии на этом этапе являлся союз с США. Присутствие их войск на территории государства характеризовался как необходимая мера, продиктованная сложившейся геополитической обстановкой. Республика Корея фактически оказалась в окружении коммунистических государств. По мнению Пак Чонхи, вопрос о выводе американских войск не подлежал обсуждению до тех пор, пока сохраняется угроза со стороны социалистических стран [Park Chung Hee, 1970, p. 168–170].

Победа над коммунизмом и формирование прочной национальной идентичности были названы приоритетными задачами нового правительства. Для их решения предполагалось повысить международный статус республики путём установления прочных контактов с зарубежными партнёрами. В рамках данного подхода был пересмотрен подход к выстраиванию отношений с Японией, в которой перестали видеть источник опасности [Park Chung Hee, 1971, p. 129].

Участие вооружённых сил Южной Кореи во Вьетнамской войне (1955–1975) также рассматривалось под призмой противостояния с коммунистами. По утверждению Пак Чонхи, поддержка Сайгона являлась косвенной формой защиты национальной безопасности РК. Кроме того, поддержка Южного Вьетнама была охарактеризована, как способ отблагодарить 16 стран, поддержавших Республику Корея во время Корейской войн [Park Chung Hee, 1970, p. 131].

Провозглашение «доктрины Никсона», за которым последовало заявление о сокращении военного контингента США на Корейском полуострове, вынудило южнокорейское руководство обратиться к стратегии обеспечения национальной безопасности путём укрепления собственного военно-промышленного комплекса.

Претерпела изменения стратегия выстраивания отношений со странами социалистического блока. Сеульское руководство стало более терпимо относиться к концепции «мирного сосуществования». Признавая, что страна заслужила репутацию одного из наиболее ярых противников социалистического блока, власти заявили о намерении избавиться от подобного образа. На обсуждение были выдвинуты вопросы установления экономического сотрудничества с некапиталистическими странами. Между тем южнокорейское государство стало видеть основной источник угрозы непосредственно в КНДР.

Изменения геополитической ситуации в регионе и стремление Пак Чонхи сохранить власть привели в 1972 г. к принятию новой конституции, призванной укрепить единоличную власть главы государства. Нововведения предусматривали увеличение срока президента до 6 лет, выборы главы государства особым органом параллельным парламенту, предоставление лидеру страны право распускать Национальное собрание и принимать чрезвычайные меры под предлогом существующей или прогнозируемой угрозы национальной безопасности и общественного порядка. Для защиты государства правительством была

введена «Система всеобщей безопасности» (кор. 총력안보체제) [Park Chung Hee, 1976, p. 115], подразумевавшая развитие собственных вооружённых сил, предотвращение попыток военных провокаций со стороны КНДР, развитие разносторонних межгосударственных связей, а также модернизацию и развитие экономики [Чоннёканбочхедже хваннип, 1972].

В это время основным источником угрозы окончательно стала КНДР. Причём южнокорейское руководство подчёркивало, что Пхеньян отличается от других социалистических государств большей агрессивностью, воинственностью и догматическим мышлением. Иные социалистические режимы не похожи на Северную Корею готовностью сотрудничать с разными странами независимо от идеологических установок, а также стремлением решать возникающие противоречия дипломатическим путём, не прибегая к насильственным методам [Park Chung Hee, 1976, p. 168].

По мысли властей, страна должна была находиться в состоянии одержать победу над КНДР не только в материальном плане, но и в ментальном. Современная война слишком сложна, чтобы доверять её только военным, поэтому в случае начала полномасштабного военного противостояния достичь успеха возможно только при полном участии представителей всех слоёв общества [Park Chung Hee, 1979, p. 132].

Решение Вашингтона о выводе войск с полуострова стало новым вызовом для южнокорейского руководства, который привел к изменению стратегии выстраивания сотрудничества с США и другими союзниками. В изменившихся условиях южнокорейское руководство прибегло к формированию системы обороны, опиравшейся на собственные силы. При этом Пак Чонхи подчёркивал, что правительство предвидело такое развитие событий и заранее предприняло шаги по укреплению собственных вооруженных сил. В частности, были созданы Резервные силы Родины (кор. 향토예비군), силовая структура, подготовленная и вооружённая для противостояния северокорейским разведчикам и партизанам [Park Chung Hee, 1976, p. 134], а также Корпус гражданской обороны (кор. 민방위대), в который вошли все граждане мужского пола от 17 до 50 лет. Последние могли быть мобилизованы по приказу министра внутренних дел в случае возникновения угрозы национальной безопасности [*Минпанвигипонбоп*, 1975].

Южнокорейские власти считали, что изменение геополитической обстановки в регионе привело к ситуации, в которой каждая нация стала преследовать свои собственные интересы, опираясь только на собственные силы для обеспечения безопасности. В новых обстоятельствах помощь может быть оказана только тому, кто способен самостоятельно отстаивать свои интересы. В случае начала новой войны на Корейском полуострове союзники начнут помогать РК только после того, как убедятся, что она, а не КНДР, одерживает верх в противостоянии [Park Chung Hee, 1976, p. 132]. При этом в 1979 г. Пак Чонхи констатировал, что в экономическом плане Южная Корея троекратно превзошла КНДР. Тем не менее данный разрыв не нивелировал опасность со стороны Северной Кореи, поскольку пхеньянский режим компенсировал своё отставание путём концентрации ресурсов в военной сфере [Park Chung Hee, 1979. p. 96].

ЭВОЛЮЦИЯ ПОДХОДОВ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ ВНУТРЕННЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВЯЩЕГО РЕЖИМА

Руководство РК во главе с Пак Чонхи уделяло большое внимание не только внешним, но и внутренним угрозам государству и политическому режиму. Согласно Белой книге министерства обороны РК 1967 г., обеспечение национальной безопасности невозможно без установления политического, экономического и социального порядка внутри страны

[*Кукпанпэксо*, 1967, с. 24]. Значительную роль в этом играло противостояние активности северокорейских диверсантов. По официальной версии властей, правительство КНДР, не сумев установить контроль над югом полуострова в ходе Корейской войны, не отказалось от своих амбиций. Оно стало тайно перебрасывать своих разведчиков на территорию Республики Корея, которые сливались с гражданским населением и выполняли поручения, направленные на подрыв, внесение смуты и нарушение сложившегося общественного порядка, а также дискредитацию Республики Корея на международной арене, с целью запугивания иностранных инвесторов. В Белой книге министерства обороны утверждалось: «Эта опосредованная агрессия похожа на так называемую народную войну Мао Цзэдуна и преследует цель всеми способами дестабилизировать южнокорейское общество, привлечь на свою сторону недовольных властью и социалистов, чтобы путём вооружённых беспорядков, партизанской войны и т. д. добиться свержения правительства» [*Кукпанпэксо*, 1967, с. 51].

Руководство Республики Корея предпринимало различные меры для вычисления и нейтрализации северокорейских диверсантов. Активно использовались силы быстрого реагирования, вдоль сухопутной границы строились ограждения и наблюдательные пункты. Усиливался контроль над береговой линией силами морской полиции и ВМС. В январе 1968 г. для координации мер по предотвращению проникновений диверсантов был создан Совет по контрразведывательным операциям (кор. 대간첩작전대책협의회) под председательством премьер-министра [*Confrontation in Korea*, 1969, p. 7]. Опасения сеульских властей не были беспочвенными. Аналитики ЦРУ США также отмечали активность северокорейских диверсантов. В частности, по их данным, в 1967 г. южнокорейскими военнослужащими было ликвидировано 89 разведчиков КНДР, а в 1968 г. – 163 [*Confrontation in Korea*, 1969, p. 9].

В 1968 г. Пак Чонхи заявил, что экономическое развитие страны и уровень жизни граждан вводят в замешательство любого северокорейского разведчика. По его мнению, система образования и подготовки кадров в КНДР направлена на создание у них ложных представлений о Южной Корее как отсталой стране, не сумевшей восстановиться после войны. Подобные установки оказываются неоправданными, когда разведчик оказывается на территории РК и знакомится с реальным положением дел [*Major Speeches*, 1970, p. 258]. При этом сеульское руководство подчёркивало, что для выявления и нейтрализации агентов северокорейской разведки недостаточно сил полиции и вооруженных сил Республики Корея. Причиной этому, согласно официальным заявлениям, было растущее число разведчиков, а также внешняя идентичность последних с рядовыми южнокорейскими гражданами и их способность имитировать южный диалект [*Major Speeches*, 1970, p. 366–367]. Для решения этой проблемы власти призывали рядовых граждан участвовать в процессе выявления диверсантов. В частности, в 1968 г. в газете Кёнхян синмун (кор. 경향신문) была опубликована статья, характеризовавшая типичного северокорейского разведчика как молодого человека в возрасте 20–26 лет, который вёл себя неестественно, плохо ориентировался в местной географии, ценах и особенностях повседневной жизни. В случае обнаружения подобных лиц автор статьи призывал читателя сообщить об этом сотрудникам государственной безопасности [Судорыль чимбомхан, 1968]. В то же время руководство РК утверждало, что северокорейское правительство прибегло к тактике военных провокаций и заброса партизанских отрядов из-за внутриполитической ситуации в КНДР. В апреле 1968 г. Пак Чонхи заявил, что Ким Ир Сен и его сторонники сознательно культивируют чувства незащищенности среди граждан КНДР. Не имея иного способа сохранить власть в своих руках, они внушают страх и таким образом скрывают несостоятельность собственного государственного режима [*Major Speeches*, 1970, p. 264].

Действовавшее в стране законодательство позволяло государственному руководству выдвигать обвинения рядовым гражданам, заподозренных в сотрудничестве с КНДР. Важнейшим инструментом в руках государства продолжал оставаться Закон о Национальной безопасности, согласно которому лицо, уличённое в создании «антигосударственной организации», приговаривалось к высшей мере наказания или пожизненному заключению, а прочие руководители подобных формирований – к ограничению свободы сроком не менее 5 лет. Под «антигосударственной организацией» подразумевалось любое объединение, ставящее целью свержение государственного режима. При этом формулировки оставляли широкое пространство для интерпретаций, в связи с чем практически любая деятельность левого толка могла рассматриваться, как «прокоммунистическая» [*Documents*, 1975, p. 50–53]. 3 июля 1961 г. вступил в силу Антикоммунистический закон (кор. 반공법), согласно которому лицо возглавляющее, принимающее участие, финансирующее или одобряющее деятельность «антигосударственной организации» привлекалось к уголовной ответственности и наказывалось лишением свободы на срок не менее 5 лет [*Пангонбоп*, 1961]. Для осуществления контроля за выполнением статей вышеперечисленных актов, летом 1961 г. было образовано Корейское Центральное разведывательное управление (кор. 중앙정보부, далее – КЦРУ) [Куккачегончхвегохвеибоп, 1961]. Его служащие осуществляли сбор информации государственной важности и отвечали за контроль над органами государственной безопасности [*Чунанчонбобубоп*, 1962]. Именно данное ведомство стало основным объектом критики со стороны политической оппозиции и правозащитных организаций [DeWind, Woodhouse, 1979, p. 44].

Такое положение дел позволяло властям активно противостоять оппозиции, а также продвигать собственные инициативы, не разделяемые активной частью гражданского населения. Одной из них стали меры, предпринятые правительством РК для нормализации отношений с Японией, вызвавшие серьёзное сопротивление граждан, которые не были готовы пойти на сотрудничество с Токио, в условиях, когда японское руководство не принесло извинений за преступления колониального периода, а соответствующие расследования не были осуществлены. Узнав о намерениях правительства, общественность отреагировала массовыми студенческими митингами. Для восстановления порядка власти были вынуждены ввести военное положение [*Major Speeches*, 1970, p. 80–82].

В 1972 г. после принятия конституции «Юсин» уровень контроля за населением возрос. В этот период наказывалась любая критика правительства, сильно ограничивались возможности оппозиции, а офицеры КЦРУ исполняли приказы по физической ликвидации лиц, признанных противниками режима. В то же время изменения в законодательстве позволяли властям выдвигать обвинения всем гражданам, заподозренным в нелояльности к правительству.

Государственное руководство продолжало настаивать на своей приверженности принципам либерально-демократического строя, подчёркивая, что существовавший в РК режим предоставлял гражданскому населению гораздо больше прав и свобод, чем существовавший в КНДР [Park Chung Hee, 1979, p. 46]. При этом президент, в частности, утверждал, что корейская политическая культура продемонстрировала свою несовместимость с некоторыми принципами демократии западного образца, такими как право на организацию митингов [Park Chung Hee, 1979, p. 51]. Пак Чонхи признавал, что существуют люди, несогласные с таким подходом. По его утверждению, последние придают чрезмерно большое значение внешним атрибутам демократии, что вредит национальной безопасности, поскольку ведёт к беспорядку [Park Chung Hee, 1979, p. 46–47].

Глава государства подчёркивал особую важность стабильности для сохранения темпов развития. В его представлении она не противоречила бурным изменениям внутри

страны, связанным со стремительным экономическим ростом. Напротив, по его мнению, только политическая стабильность была способна обеспечить безопасность и развитие страны [Park Chung Hee, 1979, p. 96]. Объявленная в то время «Система всеобщей безопасности» предполагала активную работу по распространению государственной идеологии среди рядовых граждан с целью мобилизации населения. Для выполнения этой задачи в Министерстве культуры и информации был разработан план, предполагавший усиление контроля над средствами массовой информации, повышение нравственных стандартов в среде телерадиовещания, распространение как среди граждан государства, так и среди представителей диаспоры информации, способствующей национальному единению, и противостояние северокорейскому информационному воздействию, а также поддержка проектов по сохранению культурного наследия [Кунминэ чорёк, 1972].

Президент, используя полномочия, предоставленные ему новой конституцией, ввёл ряд чрезвычайных положений, серьёзно повлиявших на внутриполитическую жизнь страны. Чрезвычайное положение № 1 вступило в силу 8 января 1974 г., став ответом властей на растущее давление со стороны лидеров общественного мнения, требовавших пересмотра Конституции. Согласно ему, публичная критика, обсуждение или требование пересмотра высшего нормативного акта страны наказывалось лишением свободы на срок до 15 лет. Для выполнения данного постановления, в тот же день было опубликовано чрезвычайное положение № 2, в соответствии с которым был учрежден Чрезвычайный военный суд [*Documents*, 1975, p. 88–91].

3 апреля 1974 г. студенты по всей стране проводили демонстрации и раздавали брошюры за авторством Национальной демократической лиги молодежи и студентов (кор. 전국민주청년학생총연맹). В ответ на эти действия правительство объявило о введении Чрезвычайного положения № 4, согласно которому студентам запрещалась любая политическая активность [*Documents*, 1975, p. 123–126], а лига была объявлена незаконной, созданной с намерением свергнуть правительство Республики Корея посредством насильственного восстания. КЦРУ арестовало 1034 человека, 253 было предъявлено обвинение. Несмотря на то, что похожие инциденты происходили ранее, меры, предпринятые государством, оказались более жёсткими. В результате 8 граждан были приговорены к смертной казни [Оджеоджон, 1975].

Хотя описанные выше положения существенно ограничивали политические свободы граждан, период их действия был кратковременным. В августе 1974 г. президент объявил об их отмене. Также непродолжительное время действовало Чрезвычайное положение № 7, согласно которому была приостановлена работа университета Корё.

Гораздо больший срок действовало Чрезвычайное положение № 9 (Третье положение снизило налоги для малообеспеченных слоёв населения. Пятое, шестое и восьмое положения отменили действия принятых ранее указов), вступившее в силу в мае 1975 г., значительно ограничившее возможности граждан участвовать в политическом процессе. Любая критика конституции, членов правительства, государственных ведомств и положений чрезвычайного положения была объявлена незаконной. Запрещались массовые собрания и демонстрации. Лицо, нарушившее данное постановление, наказывалось лишением свободы сроком не менее одного года [*Major Speeches*, 1970, p. 88]. Статья 104 уголовного кодекса республики распространяла действие чрезвычайного положения на всех граждан Южной Кореи, проживавших за границей [*Major Speeches*, 1970, p. 250].

Кроме того, в 1975 г. был принят Закон об общественной безопасности, ставший юридической основой для борьбы с «угрозой повторного повторения преступления». Действие данного нормативно-правового акта распространялось на статьи Закона о Национальной безопасности. Он определял охрану безопасности прерогативой министерства юстиций и

позволял продлевать тюремные сроки заключённых во внесудебном порядке. Более того, данная мера могла «автоматически продлеваться до тех пор, пока указанное лицо окончательно не проявит искренних антикоммунистических убеждений». Причиной наказания лиц, осуждённых за политическую деятельность, в данном случае считались их убеждения. Мотивировалось это «угрозой повторного совершения преступления» [DeWind, Woodhouse, 1979, p. 15].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для стратегии обеспечения государственной безопасности Республики Корея в период президентства Пак Чонхи была характерна констатация положения страны в условиях постоянной угрозы. Наиболее острым вопросом в это время продолжала оставаться опасность, исходящая от КНДР. Ссылаясь на данное обстоятельство, южнокорейские власти оправдывали существование ограничений гражданских и политических свобод. Действовавшее в стране законодательство позволяло властям противостоять политическим оппонентам, а также продвигать собственные инициативы, не разделяемые активной частью гражданского населения. В ранний период президентства Пак Чонхи основным источником угрозы считалось международное коммунистическое движение, сторонники которого рассматривались, как приверженцы радикальной идеологии не совместимой с традиционной корейской культурой и стремящиеся её уничтожить. При этом власти подчёркивали необходимость противостоять возрастающему числу северокорейских разведчиков на территории РК. Основой обеспечения безопасности государства в этот период являлось сотрудничество с США. В то же время большое значение стало иметь выстраивание взаимодействия с Японией. Особое место отводилось экономическому развитию страны, которое должно было продемонстрировать сторонникам КНДР и её гражданам несостоятельность режима последней.

По мере ужесточения политического режима подход властей к стратегии обеспечении государственной безопасности также претерпел изменения. Законы страны позволили властям выдвигать обвинения всем гражданам, заподозренным в нелояльности к режиму. На фоне намерений Вашингтона сократить своё военное присутствие на Корейском полуострове Сеул обратился к реализации политики «самостоятельной обороны», а также стал более лояльно относиться к сотрудничеству с социалистическими странами. Главной угрозой безопасности государства был назван непосредственно северокорейский режим. Основой стратегии в этот период стала «Система всеобщей безопасности», направленная на антикоммунизм, преобладание национальных интересов над частными, самостоятельное обеспечение обороноспособности страны, модернизацию и развитие экономики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

Куккачегончхвегохвеибоп (Закон о Высшем совете национальной реконструкции (국가재건최고회의법)), 1961 [*Gukgajaegeonchoegohoeuibeop* (Supreme Council for National Reconstruction Act) (in Korean)]. https://www.law.go.kr/법령/국가재건최고회의법/ (00618,19610610) (accessed: 22.01.2026).

Кукпанпэксо 1967 (Белая книга обороны. (국방백서 1967)). Соуль: Кукпанбу, 1967 [*Gukbangbaekseo 1967*. Seoul: Gukbangbu, 1967 (in Korean)].

Кунминэ чорёк чоннёканбоэ чипгёль 72 ёндо мунгонбу чуёсичхэк (Основные направления политики Министерства культуры и информации 1972 г.: Сосредоточение усилий страны на обеспечении всеобщей национальной безопасности. (국민의 저력 총력안보에 집결 72연도 문공부 주요시책)). *Мэилкёнджэ* (газета «Мэилкёндже» (매일경제)) 18.01.1972. [Kunmine choryok chonnyokanboe

chipgyol 72 yondo mungonbu chuyosichkhek (Ministry of Culture and Public Information's Key Policies of 1972: Focusing the Nation's Strength on Total National Security). *Maeil Business*. 18.01.1972 (in Korean)].

Минпанвигипонбоп (Рамочный закон о гражданской безопасности (민방위기본법)) [*Minbangwigibonbeop* (Framework act on civil defence) (in Korean)]. https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=61657#0000 (accessed: 22.01.2026).

Оджеоджон инхёктанкваллён 8мён сахёнчипхэнь (Казнь восьми человек, связанных с Народной революционной партией (어제오전 인혁당관련 8명 사형집행). *Тонаильбо* (газета «Тонаильбо»(동아일보)). 10.04.1975) [Odzheodzhon Inhyeokdanggwanryeon 8 myeong sahyeongjiphaeng (Yesterday morning, eight people related to the People's Revolutionary Party were executed). *The Dong–A Ilbo*. 10.04.1975. (in Korean)].

Пангонбоп (Закон об антикоммунизме (반공법)) [*Bangongbeop* (Anti-communist Act) (in Korean)]. https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=3535#0000 (accessed: 22.01.2026).

Судорыль чимбомхан канчобыль ханмёндо ночхё сонын антвенда (Ни один шпион вторгшийся в столицу шпион не останется безнаказанными (수도를 침범한 간첩을 한명도 놓쳐 서는 안된다) *Кёнхянсинмун* (газета «Кёнхянсинмун» (경향신문)). 1968.01.22. [Sudoryl chimbomhan kanchobyl hanmyondo nochkhyo sonyn antvenda (We must not let go of a single spy who invaded the capital). *Kyunghyang Shinmun*. 1968.01.22 (in Korean)].

Чоннёканбочхедже хваннип (Создание системы всеобщей безопасности (총력안보체제 확립)). *Мэилькёнджe* (газета «Мэилькёндже» (매일경제)) 11.01.1972 [Chonnyokanbochkhedzhe hvannip (Establishment of a Total security system). *Maeil Business*. 11.01.1972 (in Korean)].

Чунанчонбобубоп (Закон о Центральном разведывательном управлении(중앙정보부법)) [*Jungangjeongbobubeop* (Central Inteligence Agency Act) (in Korean)]. https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=3423#0000 (accessed: 22.01.2026).

Confrontation in Korea. Special national intelligence estimate. January, 30, 1969. *Central Intelligence Agency Freedom of Information Act Electronic Reading Room*. https://www.cia.gov/readingroom/document/0001218149 (accessed: 22.01.2026).

DeWind, Adrian W.; Woodhouse, John. *Persecution of Defence Lawyers in South Korea: Report of a Mission to South Korea in May 1979.* Geneva: International commission of jurists, 1979.

Documents on the struggle for democracy in Korea. Tokyo: Shinkyo Shuppansha, 1975.

Major Speeches By Korea's Park Chung Hee. Seoul: Hollym Corporation, 1970.

Park Chung Hee. *Our nation's path: ideology of social reconstruction.* Seoul: Dong-a Pub. Co, 1970.

Park Chung Hee. *To Build a Nation.* Washington DC: Acropolis Books, 1971.

Park Chung Hee. *Korea reborn: a model of development*. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1979.

Park Chung Hee. *Toward peaceful unification: selected speeches.* Seoul: Kwangmyong Pub. Co, 1976.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ / INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

ГРИНЁВ Иван Владимирович – аспирант Института стран Азии и Африки Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, Москва, Россия.

Ivan V. GRINEV, Postgraduate Student, Lomonosov Moscow State University, Institute of Asian and African Studies, Moscow, Russia.

DOI: 10.31696/S086919080039427-6

ASSISTANCE AND COLLABORATIONS BETWEEN VIETNAM AND CUBA (1960–2025)

© 2026

BUI Viet Huong [a], TRAN Ngoc Dung [b], DUONG Thuy Linh [c]

[a, b, c] – Ho Chi Minh National Academy of Politics (HCMA), Hanoi, Vietnam;
[a] – ORCID: 0009-0003-6938-4268; buiviethuong78@gmail.com; first author
[b] – ORCID: 0000-0001-9631-1097; tndung0921@gmail.com; corresponding author
[c] – ORCID: 0009-0007-6085-6993; thuylinh2106.hcma@gmail.com; co-author

Abstract: *The article adopts a historical and interdisciplinary approach to analyze the evolution of Vietnam – Cuba relations over a 65-year period (1960–2025). Despite significant geographical separation and constrained socio-economic resources, the two states have maintained a consistently high level of mutual support, particularly during periods of difficulty. Prior to 1986, Cuba functioned as a crucial and steadfast supporter of Vietnam, extending assistance during the resistance war against the US (1954–1975) and in post-war reconstruction. Although the scale of Cuban aid in military, economic, and scientific terms remained more limited than that of major socialist powers such as the Soviet Union and China, its significance lays in the exceptional political commitment and spirit of internationalist solidarity. This support was emblematic of a broader ethos of revolutionary solidarity that transcended material constraints. In the post-Cold War context, bilateral relations have continued to evolve on the basis of enduring foundations, including shared ideological commitments to socialism, the legacy of international communist solidarity, and a historically distinctive partnership. Asymmetries have emerged as Vietnam's reform has generated substantial socio-economic progress, while Cuba has faced prolonged structural challenges associated with the US embargo and internal economic constraints. Within this shifting context, Vietnam has increasingly assumed the role of a provider of developmental support and cooperation. The Vietnam-Cuba relationship represents a special friendship of enduring political-diplomatic alignment and people-to-people solidarity. It continues to expand across multiple sectors, with Vietnam expressing a sustained commitment to supporting Cuba's development and international integration amid ongoing external pressures.*

Keywords: Vietnam-Cuba relations, special friendship, rice provider, political friends, embargo

For citation: Bui V.H, Tran N.D, Duong T.L. Assistance and Collaborations between Vietnam and Cuba (1960–2025). *Vostok (Oriens).* 2026. No. 5. Pp. 84–95. DOI: 10.31696/S086919080039427-6

INTRODUCTION

In 1960, Cuba was the earliest country in Latin America to recognize and establish diplomatic relations with the Democratic Republic of Vietnam (DRV). Over 65 years, the Vietnam-Cuba relationship has represented an enduring model of socialist internationalism, characterized by political trust, ideological affinity, and sustained material cooperation. More than a convergence of political systems, this partnership has been anchored in a profound sense of revolutionary solidarity and shared historical experience. During Vietnam's protracted struggle against the US, Cuba consistently expressed diplomatic, moral, and material support for Hanoi. Conversely, in the post-Cold War era, as Cuba confronted mounting economic constraints, most notably those

associated with the long-standing US embargo, Vietnam emerged as an important partner in both political advocacy and developmental exchange. Having initiated its Đổi Mới reforms in 1986 and progressively constructed a "socialist-oriented market economy," Vietnam accumulated practical and theoretical experience in economic transformation that has informed dialogue with Cuban policymakers. Recent years, amid Cuba's deepening socio-economic difficulties, Vietnam has reaffirmed its solidarity at both the state level and societal mobilization, underscoring the symbolic and substantive depth of bilateral ties.

Despite the historical and contemporary significance of this relationship, scholarly inquiry remains comparatively limited. Existing literature often adopts a descriptive or commemorative tone, or narrows its analytical focus to comparison between reforms in Cuba, Vietnam, and China. Such approaches, while valuable, tend to overlook the broader evolution of political trust, strategic adaptation, and reciprocal support that has defined the relationship across distinct historical conjunctures. The relative paucity of comprehensive, document-based studies thus highlights the need for a more systematic and critically grounded examination. Drawing upon original communist party and state documents of Vietnam, diplomatic records, and related archival materials, this article seeks to reassess the Vietnam-Cuba relationship as a dynamic and historically contingent process. It traces the trajectory of bilateral cooperation from the era of anti-imperialist resistance to the contemporary phase of socialist-oriented nation-building. The study also elucidates how patterns of assistance and leadership have shifted over time, from Cuba's prominent support during Vietnam's wartime struggles to Vietnam's increasing role as a partner in economic reform and development dialogue, while demonstrating the persistence of core principles of solidarity, mutual respect, and fraternal cooperation that continue to define this distinctive partnership.

CUBA'S SUPPORT FOR VIETNAM IN THE RESISTANCE WAR AGAINST THE US

The origins of the Vietnam-Cuba relationship are inseparable from the geopolitical and ideological transformations that followed the 1959 Cuban Revolution. Having asserted its independence from US influence and embraced socialist internationalism, Cuba sought to align itself with anti-imperialist movements worldwide. In this context, the struggle of Vietnam resonated strongly with Havana's revolutionary leadership. On December 2, 1960 Cuba and the DRV established ambassador-level diplomatic relation [Cục lưu trữ, 2020, p. 5], a move that carried both symbolic defiance and strategic intent within the Cold War order. The subsequent exchange of ambassadors in 1961–1962 institutionalized bilateral ties and laid the groundwork for sustained cooperation. Cuba's acknowledgment of the National Liberation Front of South Vietnam in 1965 and of the Provisional Revolutionary Government of the Republic of South Vietnam in 1969 demonstrated an expansive conception of revolutionary legitimacy. These early diplomatic initiatives were reinforced by the Vietnam-Cuba Friendship Association, founded in 1965, which mobilized public solidarity and embedded bilateral relations within broader societal networks. This formative period illustrates that Vietnam-Cuba ties were not merely conventional state relations but a consciously constructed transcontinental alliance grounded in shared ideology, anti-imperialist commitment, and institutionalized solidarity.

The strength of this relation was expressed in both official diplomacy, sustained political and societal engagement. Che Guevara personally received Vietnamese delegations in Havana, underscoring that solidarity with Vietnam was integral to Cuba's revolutionary identity. Equally pivotal was Melba Hernandez Rodriguez del Rey, who helped institutionalize solidarity by founding the Cuban Committee for Solidarity with Vietnam in 1963. The Committee brought

together organizations, intellectuals, and professional associations, transforming support for Vietnam into coordinated political mobilization.

Cuba's policy toward Vietnam during the 1960s reflected a consistent and operationalized commitment to revolutionary solidarity. This orientation was articulated most explicitly by Fidel Castro in 1966, where he declared that "for Vietnam, Cuba is willing to sacrifice its own blood" [Ruvislei, 2023, p. 24]. The statement encapsulated Havana's concepti of internationalism as entailing not only political endorsement but also concrete sacrifice in the broader anti-imperialist struggle. In July 1966, six Cuban officers were killed during a reconnaissance mission in Vietnam as a result of the US airstrike, underscoring the risks Cuba was prepared to assume. Simultaneously, Cuba dispatched medical personnel, engineers, and construction workers to Vietnam, thereby contributing to both wartime resilience and infrastructural development.

Commander Castro's visit in 1973 is considered a significant event among the visits of foreign leaders to Vietnam. This marked the first and only time a high-ranking foreign leader crossed the 17th parallel to reach Quang Tri in South Vietnam. Castro received a warm welcome at the airport from several prominent Vietnamese officials, including First Secretary Le Duan, Chairman of the National Assembly Standing Committee Truong Chinh, Prime Minister Pham Van Dong, and General Vo Nguyen Giap. Additionally, President Ton Duc Thang extended greetings to Castro at the Government Guest House.

Defence cooperation constituted a significant institutional dimension of Vietnam-Cuba relations during the war years. Vietnam established a defence attaché office in Cuba in 1964, and Cuba reciprocated by opening a military attaché office in Vietnam in 1966, thereby formalizing channels of military coordination. During his visit to Vietnam in 1966, President Osvaldo Dorticós declared that "the Cuban people stand ready to fight alongside the Vietnamese people and are prepared to dispatch volunteer combatants at the request of the Government of the DRV" [Ruvislei, 2023, p. 33–34]. Although precise figures remain unavailable, it is clear that Cuban personnel supported Vietnam through medical teams treating the wounded (such as a medical delegation comprising 6 surgeons, 3 anesthesiologists, and 6 nurses in 1972 [Ruvislei, 2023, p. 57]) and maritime crews delivering aid despite the US blockades and the bombardment of Vietnamese ports. Especially, Cuba dispatched officers and technical experts, together with equipment, to assist in the construction and maintenance of the Ho Chi Minh Trail, a strategic logistical artery of the resistance. Although Cuban military assistance did not match that of the Soviet Union or China in scale, its political and symbolic significance was nonetheless substantial. Cuban participation reflected a willingness to assume operational risks and to translate ideological solidarity into practical engagement [Dang, Le, 2020, p. 22–23].

An important dimension of cooperation was Cuba's systematic institutionalization of Vietnam-oriented research and propaganda activities. Approximately 25,000 specialized units were reportedly mobilized to study and disseminate knowledge about Vietnam, including the compilation of popular histories, academic research, Vietnamese literature and periodicals, and the translation of works by Vietnamese leaders and writers into Spanish. Literary, artistic, and cinematic initiatives centered on Vietnam were widely organized, and mass rallies in support of Vietnam's resistance against the US were regularly convened across Cuba [Nguyen, 1982, p. 69]. Havana established a dedicated radio channel to rebroadcast the Voice of Vietnam, thereby amplifying information about developments on the battlefield and framing US actions within a broader anti-imperialist discourse.

Cuba has provided significant economic support to Vietnam, in the context of the shortages faced by Vietnam. Two countries signed a trade agreement in 1960, followed by protocols on the exchange of goods in 1961, 1964, 1968, and 1969, as well as an agreement on delivery terms in 1965 [Cục lưu trữ, 2020, p. 7, 13, 70, 74, 121, 127]. In addition to bilateral trade, Vietnam

requested that Cuba provide a specified volume of aid, while also undertaking technology transfer and supporting the development of infrastructure to promote economic growth, especially the provision of sugar which played a pivotal role in Cuba's efforts to support socialist nations [Radoslav, 2021]. In 1972, despite the US bombing campaign in North Vietnam, Cuba dispatched two ships, Imias and El Jigue, carrying 20,000 tons of sugar to Hai Phong [Ruvislei, 2023, p. 40]. From 1961 to 1979, Cuba supplied Vietnam with 50,000 tons of sugar annually, while also training over 1,000 students and professionals across various fields, and hosting thousands of interns in diverse occupations [Nguyen, 1982, p. 70; Ruvislei, 2023, p. 83].

Cuba also deployed a number of experts to Vietnam in support of development. In 1970–1971, 37 Cuban specialists assisted in Vietnam's agricultural development, while Hanoi reciprocally sent 71 trainees to Havana for advanced technical training [Cục lưu trữ, 2020, p. 171–173]. More than 1,000 Vietnamese students pursued their studies in Cuba from 1965 to 1975 [Ngo, 2024]. After the 1973 Paris Agreement, Cuba reoriented its solidarity with Vietnam toward large-scale reconstruction, thereby translating wartime support into long-term developmental engagement. Technical teams supplied machinery and assisted to establish cattle farms, while Cuban institutions received Vietnamese trainees to study poultry and livestock production techniques [Trung tâm lưu trữ quốc gia III, 1973, p. 8–13]. Additional assistance included support for a steel-mesh cement shipbuilding factory, the delivery of 2 fishing vessels, 1,350 breeding cows, 65,000 fertilized eggs, and 225 purebred pigs, and the construction of 2 noodle-processing factories, 4 coastal broadcasting stations, and 4 meteorological stations [Nguyen, 1982, p. 70].

Trade constituted a central pillar of Vietnam-Cuba cooperation, functioning as both an economic lifeline and a material expression of solidarity. In 1961, Cuba supplied 500 tons of cotton, 200 tons of tobacco leaves, and 5,000 tons of sugar to Vietnam. Vietnam exported 20,000 tons of coal, 5,000 tons of rice, agricultural machinery valued at approximately £40,000, and other commodities [Trung tâm lưu trữ quốc gia III, 1961, p. 17–19]. By 1964, Cuban exports to Vietnam had expanded significantly, with sugar shipments doubling to 10,000 tons and other goods, primarily pharmaceuticals, reaching 127,000 tons. Vietnam exported 63,000 tons of coal, 3,500 sets of handicrafts, and 180,000 buttons [Cục lưu trữ, 2020, p. 72–73]. The range of Vietnamese exports broadened markedly: from 12 categories in 1967 to 17 in 1971 and 30 by 1978 [Ibid, p. 123, 129, 205, 269–270]. Although coal and rice, each around 20,000 tons annually, remained Vietnam's principal exports, the diversification of traded goods indicates a progressively institutionalized and adaptive exchange mechanism.

After 1975, relations between Vietnam and Cuba entered a new phase centered on postwar reconstruction and consolidation of socialist development. This transition was institutionally anchored in the 1982 Treaty of Friendship and Cooperation, which formalized long-term collaboration on the basis of equality, mutual benefit, and shared ideological orientation. The treaty marked a strategic recalibration in Vietnam's external relations, from wartime reliance on emergency assistance toward structured, reciprocal cooperation, while reaffirming the comprehensive partnership between the two Communist Parties and the broader solidarity between their states and societies [Nguyen, 2012]. The Military Cooperation Agreement signed in 1984 further deepened bilateral ties. Its provisions included regular exchanges of military delegations, enabling Vietnamese officials to study Cuban wartime experience and facilitating the deployment of Vietnamese experts to assist Cuba [Dang, Le, 2020, p. 23]. Vietnam became a principal beneficiary of Cuban financial and technical assistance, and Cuba's foremost partner in Asia, as evidenced by frequent high-level exchanges and sustained cooperation in healthcare and agriculture [Haggerty et al., 1990, p. 12–13]. Cuba committed resources to 5 major projects completed in the 1980s: the Thắng Lợi Hotel in Hanoi (USD 80 million), the 500-bed Vietnam-Cuba Friendship Hospital in Quang Binh, 10 dairy farms in Son La with roughly 1,200 cattle,

a poultry breeding farm in Hoa Binh, and the 42-kilometer Xuan Mai-Son Tay road [Haggerty et al., 1990, p. 13; Ruvislei, 2023, p. 70]. Cuba contributed to agricultural modernization through the provision of breeding cattle and Yorkshire pigs, the dispatch of veterinary and husbandry experts, and the training of Vietnamese personnel. These developments show that after 1975, bilateral solidarity was not diminished but transformed into a structured, multidimensional partnership suited to peacetime development and socialist state-building.

During the Cold War, Cuba emerged as a uniquely close ally and ideological partner of Vietnam. Although it lacked the capacity to provide military assistance on the scale of the Soviet Union or China, its consistent moral and political support fostered a distinctive bilateral bond. Despite the constraints of the US embargo, Cuba continued to extend material aid, support staff training, and assist in infrastructure development for both Vietnam's wartime and postwar needs. Conversely, Vietnam has affirmed its role as "a close brother and comrade-in-arms, sharing the same trench and common ideals with the Cuban people" [Cục lưu trữ, 2020, p. 66]. President Ho Chi Minh also affirmed that although "Vietnam and Cuba are separated by vast geographical distance, the peoples of the two countries are as close as members of one family" [Ho, 2011, p. 179]. These statements laid an important foundation for the enduring and cooperative relationship between the two countries in subsequent years. Vietnam-Cuba relations during the Cold War can be understood as a paradigmatic case of ideological solidarity among Third World states pursuing socialist trajectories. More than rhetorical alignment, this relationship reflected a substantive convergence grounded in communism and a shared resistance to imperialism, thereby exemplifying the practical and normative dimensions of socialist internationalism.

VIETNAM-CUBA FRIENDSHIP AFTER THE COLD WAR

After 1991 the bilateral relationship has evolved, characterised by mutual support in national development and socio-economic advancement while upholding a commitment to solidarity. Vietnam has undergone nearly 4 decades of economic reform and modernization, achieving notable progress. In contrast, Cuba remains hampered by the enduring impacts of the US embargo, which has stymied its economic restructuring and innovation. Therefore, the dynamic of their partnership has shifted; Cuba finds itself in a state of crisis and increasingly relies on Vietnam's expertise and support in nation-building and socio-economic development strategies.

The strength of the political relation is evidenced by the frequency of official visits from senior leaders of both nations and by the ongoing collaboration between their respective Communist Parties. A detailed statistical table can be referenced to illustrate the prevalence of high-level meetings between the two countries.

Table 1. Official visits between Vietnam and Cuba senior leaders

Year	Vietnam visits Cuba	Cuba visits Vietnam
1966		- President Osvaldo Dorticos - General, Ministry of the Revolutionary Armed Forces Raúl Castro
1973		First Secretary of the Communist Party of Cuba (PCC), Prime Minister Fidel Castro (the first time)

1974	Prime Minister Pham Van Dong	
1982	Chairman of the Council of State Truong Chinh	
1986	General Secretary of the Communist Party of Vietnam (CPV) Nguyen Van Linh, (the first time)	
1989	- General Secretary of CPV Nguyen Van Linh (the second time) - Chairman of the Council of Ministers Vo Chi Cong	
1993	Prime Minister Vo Van Kiet	
1995	President Le Duc Anh	President Fidel Castro (the second time)
1999	General Secretary of CPV Le Kha Phieu	
2000	President Tran Duc Luong (the first time)	
2002	Prime Minister Phan Van Khai	
2003	Chairman of National Assembly Nguyen Van An (the first time)	President Fidel Castro (the third time)
2004	- General Secretary of CPV Nong Duc Manh (the first time) - President Tran Duc Luong (the second time)	
2005		Second Secretary of the Central Committee of the PCC Raúl Castro
2006	Chairman of National Assembly Nguyen Van An (the second time)	
2007	General Secretary of CPV Nong Duc Manh (the second time)	
2009	President Nguyen Minh Triet	
2010	Chairman of National Assembly Nguyen Phu Trong (the first time)	
2012	General Secretary of CPV Nguyen Phu Trong (the second time)	President Raúl Castro
2014	Prime Minister Nguyen Tan Dung	
2015	President Truong Tan Sang	
2016	- President Tran Dai Quang - Chairman of National Assembly Nguyen Thi Kim Ngan	
2017		Chairman of National Assembly Etseban Lazo Hernandez

2018	General Secretary of CPV Nguyen Phu Trong (the third time)	President Miguel Díaz-Canel (the first time)
2021	President Nguyen Xuan Phuc	
2024	General Secretary of CPV To Lam	
2025		President Miguel Díaz-Canel (the second time)

MADE BY THE AUTHORS.

High-level diplomatic exchanges reveal a discernible shift in the directional pattern of visits, shaped by changing historical and structural conditions. Prior to 1986, visits by senior leaders from Cuba to Vietnam were particularly prominent, reflecting Cuba's active engagement during Vietnam's wartime and reconstruction phases. This period has been characterized by sustained and often intensified visits by Vietnamese leaders to Cuba. Multiple senior Vietnamese officials traveled to Cuba, and certain leaders undertook repeated visits, indicating not episodic diplomacy but institutionalized political commitment. The consistent participation of Vietnam's highest officeholders, including General Secretary of the Communist Party, President, Prime Minister, and Chair of the National Assembly, underscores the strategic prioritization of bilateral ties. The two countries have issued five joint statements in 1999, 2007, 2018, 2024, and 2025, reflecting the close and enduring ties between their parties, governments, and states [Cục lưu trữ, 2020, p. 411, 604, 618]. The 2018 Joint Statement affirmed that the special friendship and close solidarity constitute a symbol of the era and an invaluable asset of both communist parties and their peoples [Cục lưu trữ, p. 619]. The 2025 Joint Statement reaffirmed Vietnam's enduring solidarity with Cuba and its continued commitment to strengthening bilateral unity and comprehensive cooperation [VNA, 2025]. Alongside Laos and Cambodia, Cuba is designated as a "special friendship", rather than within standard categories such as comprehensive or strategic partnership, underscoring its exceptional priority in Vietnam's foreign policy. However, this "special friendship" is fundamentally rooted in shared ideology, historical experience, and a spirit of international solidarity. As such, its practical value, particularly in areas such as economic, security, defense, and scientific-technological cooperations, cannot be assessed according to the conventional metrics typically applied to Vietnam's relations with countries such as Russia, China, or the US.

Cooperation between the Communist Party of Vietnam (CPV) and the Communist Party of Cuba (PCC) has increasingly assumed a structured and programmatic character, particularly in the domains of theoretical research and human resources education. A pivotal moment was the first joint theoretical seminar in 2012, which institutionalized structured exchanges on socialist construction under market reform and global integration, moving beyond symbolic solidarity toward policy-oriented dialogue. This engagement holds particular strategic value for Cuba as it navigates cautious economic opening under the constraints of the US embargo, drawing on Vietnam's experience to balance political continuity with socio-economic adaptation. The planned 7th theoretical workshop and 3rd scientific seminar in 2026 further reflect efforts to connect historical legacies with contemporary governance challenges. Institutional linkages, spanning party academies, ideological bodies, and policy forums, have since consolidated, positioning party-to-party cooperation as a central pillar of bilateral relations within a broader transnational leftist movement.

Vietnam and Cuba have also consistently demonstrated reciprocal support across a range of international forums and institutional mechanisms. Cuba has backed Vietnam's election as a non-permanent member of the UN Security Council, while Vietnam has facilitated Cuba's accession to the Treaty of Amity and Cooperation in 2020 and supported its candidacy for the UN Human Rights Council for the 2021–2023 term [Ngo, 2026]. Vietnam has consistently called on the US to remove Cuba from the list of state sponsors of terrorism, lift the embargo, and advance the normalization of bilateral relations [VNA, 2025; Thu, 2026]. This position became particularly salient during the Trump administration, when the US pursued a policy of strangulation and regime change in Havana. In this context, Vietnam has adopted a calibrated approach, avoiding direct confrontation with the US while consistently opposing unilateral sanctions and supporting dialogue and normalization. Drawing on its reform experience, Vietnam has encouraged Cuba to pursue economic opening and deeper international integration, including engagement with the US to mobilize external resources for development. Collectively, these policies reflect a strategy of hedging: Vietnam sustains its ideologically grounded "special relationship" with Cuba while deepening strategic ties with the US as a key economic partner, underscoring both diplomatic pragmatism and Cuba's distinctive place in its foreign policy.

Defense cooperation between Vietnam and Cuba has been institutionalized through successive Cooperation Plans (2014–2016 and 2017–2019), prioritizing defence industry development, air defence, military medicine, training, and personnel exchanges. The Information Security Agreement (2017) and the Military Cooperation Agreement (2018) further consolidated the legal and strategic foundations of bilateral engagement. Current cooperation is articulated across 6 principal dimensions: the sharing of Vietnam's experience in people's warfare; assistance in strengthening defence zones; support for reorganizing and enhancing the combat readiness of the Cuban armed forces; capacity-building in leadership and command structures; collaboration in doctrinal research and documentation; and the training and professional development of defence personnel [Dang, Le, 2020]. Vietnam has dispatched hundreds of military experts, engineers, and air defense specialists to Cuba, reflecting a shift in the functional balance of the partnership.

This relation is also reinforced by sustained people-to-people solidarity through mechanisms such as the Vietnam-Cuba Friendship Association. This solidarity unfolds against markedly divergent socio-economic trajectories. While Vietnam has advanced comprehensive reform, Cuba has faced persistent structural constraints, exacerbated by the US embargo. Between 1989–1994, Cuba exports declined by 80%, and GDP reduced nearly 50% [Bunck, 1996, p. 236]. Recently, GDP in 2023 was 10.1% lower than in 2018. Structural deterioration is evident in production indices: in 2022, industrial output stood at 46% of its 1989 level, while the sugar sector operated at just 7% capacity. Agricultural output between 2018 and 2022 declined sharply, including rice (-69%), beans (-57%), pork (-90%), and vegetables (-42%), contributing to acute food shortages and an economic downturn [Center for Latin American & Latino Studies, 2023, p. 3]. Vietnam has consistently translated political solidarity with Cuba into material and humanitarian assistance. Forms of support have included rice shipments, educational supplies, clothing, financial contributions, preferential trade arrangements, and cooperation in agricultural projects [Ruvislei, 2023, p. 94]. Vietnam donated around 20,000 tons of rice annually in the 1990s. In 2017, Vietnam cancelled Cuba's outstanding debt of USD 143.7 million. The "65 Years of Vietnam-Cuba Friendship" campaign (8–10/2025) aimed to mobilize at least VND 65 billion to support Cuba; but within a month, contributions exceeded VND 400 billion. On September 1, 2025, the first installment of USD 15.7 million was delivered to Cuba [Ngoc, 2025].

Although Cuba is not among Vietnam's principal economic partners, economic relations have expanded since the 1990s. A series of formal agreements were designed to institutionalize economic engagement, including on the Promotion and Protection of Investment (1995), on Trade

Exchanges and Other Forms of Economic Cooperation (1996), on Bilateral Tourism Cooperation (1999), on Cooperation in Quarantine and Plant Protection (1999), and on the Avoidance of Double Taxation and Prevention of Tax Evasion with Respect to Income Taxes (2002) [VCCI, 2016, p. 9]. A new trade agreement in 2020 provides for the gradual elimination or reduction of tariffs on bilateral imports within 5 years and further signals a commitment to deepening economic integration despite structural constraints and geographical distance.

In 2000, Vietnam exported goods worth USD 81.8 million to Cuba, of which rice accounted for USD 73.7 million, underscoring the concentration of trade in essential commodities. Cuba's exports to Vietnam were negligible, amounting to only USD 28.9 thousand in pharmaceuticals [OEC, 2025]. Before 2005, Cuban exports to Vietnam remained under USD 1 million annually. After 2005, it increased slightly to approximately USD 2–3 million yearly, except for 2008, when it fell to USD 712,000 [VCCI, 2016, p. 9]. These figures highlight the structural asymmetry in bilateral trade, characterized by Vietnam's dominant export position and the limited diversification of Cuban outbound flows.

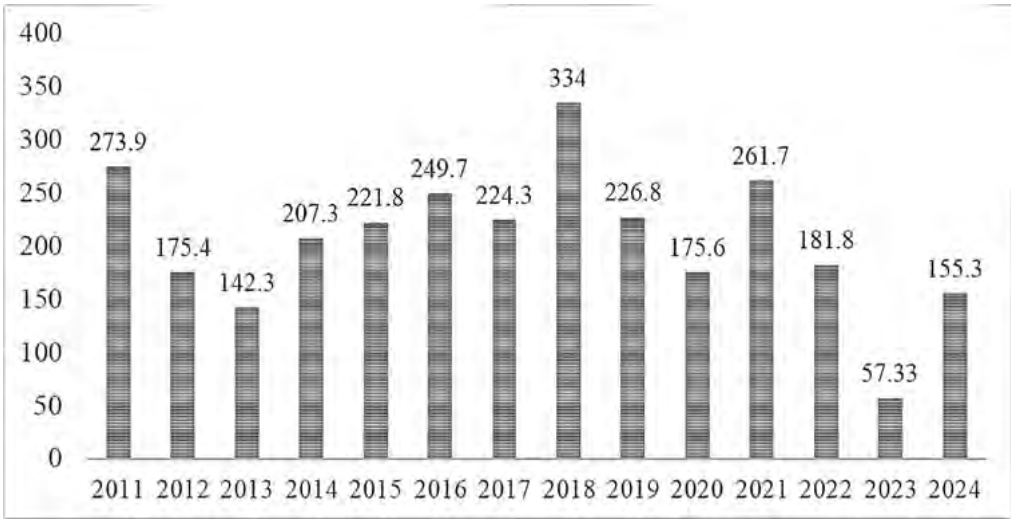


Figure 1. Bilateral trade between Vietnam and Cuba from 2011 to 2024 (millions USD)
Source: Collected from the Ministry of Planning and Investment (Vietnam) by authors

Since 2010, Vietnam has ranked as Cuba's second-largest trading partner in Asia, reflecting a gradual consolidation of economic ties. Trade reached USD 175.42 million in 2012, and rose to USD 240 million in 2016, placing Vietnam among Cuba's top ten global trading partners (after Russia and Japan). By 2022, trade reached USD 255 million, with Vietnam exporting USD 219 million (over half consisted of rice), while Cuba exported USD 36 million, primarily pharmaceuticals [OEC, 2025]. Trade flows, however, remain vulnerable to macroeconomic volatility. In 2023, it fell sharply to USD 57.33 million before rebounding to USD 134.7 million in 2024. During a 2025 meeting between Prime Minister Pham Minh Chinh and President Miguel Diaz-Canel Bermudez, two countries set a target of USD 500 million in trade by 2030. Vietnam expressed readiness to expand investment in key sectors, while Cuba pledged to facilitate Vietnamese engagement in agriculture, biotechnology, pharmaceuticals, consumer goods, tourism, and oil [Ha, 2025].

Trade between Vietnam and Cuba remains structurally asymmetrical yet functionally complementary. Cuba imports a broad range of Vietnamese goods, including rice, coal, chemicals,

textiles, and consumer products, while exporting primarily pharmaceuticals and biotechnology, reflecting Vietnam's strengths in agriculture and light industry and Cuba's comparative advantage in biomedical research. Rice has been central to this exchange; in 2016 and 2017, Cuba ranked 5th among Vietnam's rice export markets, importing 400,067 and 321,474 tons, respectively [Bộ Công thương, 2018, p. 20]. However, from 2022, Vietnam rice exports to Cuba declined markedly, indicating both market volatility and the impact of Cuba's domestic economic constraints [VietnamBiz, 2024]. Cuba has expanded exports of biotechnology products and medical equipment to Vietnam. A notable example of deepened health sector cooperation occurred in 2021, when Vietnam ordered 10 million doses of a Cuban-developed COVID-19 vaccine.

Agricultural cooperation is a strategic pillar of bilateral relations, focused on concessional rice provision and the transfer of technical expertise to strengthen Cuba's domestic production. Since 2002, five phases of household-scale rice development projects have expanded across multiple provinces, increasing cultivated area from 137,000 to 200,000 hectares and generating around 300,000 tons of output, meeting nearly half of national demand [WTO Center, 2017]. In 2025, Vietnamese-supported projects assisted in harvesting around 1,300 ha of rice in Cuba, with average yields of 6–7 tons/ha, contributing to Cuba's annual requirement of roughly 600,000 tons. The operations of AGRI VINA have reportedly doubled local rice yields, underscoring the tangible developmental impact of technology transfer and reinforcing agriculture as a cornerstone of economic cooperation.

Bilateral investment remains modest, reflecting structural constraints in both economies despite strong political ties. Cuba's presence in Vietnam is limited: its first project, Bio Vietnam (1999) in biological pest control, was followed by only one registered investment by 2016, valued at USD 6.6 million and ranking 75th among 110 foreign investors [VCCI, 2016, p. 9]. Vietnam's investment in Cuba, while still constrained, is more substantive, including two oil and gas exploration projects by PetroVietnam Exploration Production Corporation and a broader portfolio of seven projects totaling approximately USD 160 million. Investment has diversified into agriculture, construction materials, fertilisers, pharmaceuticals, solar energy, and oil and gas, with key actors including Thai Binh Corporation, Viglacera Corporation, and Agri VMA [Ha, 2025]. Notably, since 2019, Viglacera has developed the ViMariel Industrial Park within the Mariel Special Development Zone, the first limited-term concession granted to a wholly foreign-owned enterprise in Cuba. Covering 256 hectares, ViMariel has attracted firms across multiple sectors, signaling gradual institutional deepening of investment ties, albeit at a scale still limited relative to the political significance of the relationship [Minh, 2024].

CONCLUSIONS

After 65 years of diplomatic engagement, Vietnam-Cuba relations remain defined less by material interdependence than by historical solidarity and ideological affinity. Cuba's early wartime support established an enduring moral-political foundation that continues to shape bilateral cooperation. In the post-Cold War period, as Cuba has navigated prolonged embargoes and gradual reform, Vietnam has reciprocated through technical assistance, concessional trade, and selective investment. This trajectory indicates that the relationship's resilience derives primarily from sustained political coordination and societal solidarity rather than economic complementarity, and become a model of a special friendship. Moreover, structural constraints, including limited trade potential, overlapping export profiles, and Vietnam's earlier dependence on external assistance, have historically circumscribed the depth of commercial ties.

In the contemporary period, Vietnam's sustained growth and outward-oriented reform strategy have created new incentives to expand engagement in Latin America, with Cuba occupying both symbolic and strategic significance. However, structural impediments, including geographical distance, Cuba's prolonged socio-economic crisis, and institutional rigidities, continue to constrain

market access and limit the expansion of Vietnamese enterprises. Although both governments have set an ambitious target of USD 500 million in bilateral trade, its realization will depend on institutional reform, export diversification, and improved investment conditions. Ultimately, the durability of the Vietnam-Cuba partnership suggests that deepened political trust and strengthened people-to-people diplomacy can provide the necessary foundation for the gradual expansion of economic and investment cooperation.

REFERENCES

Báo cáo thị trường Lúa gạo năm 2024. *VietnamBiz* [Rice Market Report 2024. *VietnamBiz (in Vietnamese)*]. https://mediacdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/files/2025/01/20/bao-cao-thi-truong-gao-nam-2024-2025012015551719.pdf (accessed: 02.12.2025).

Bộ Công thương [Ministry of Industry and Trade]. *Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam 2017 [Vietnam Import and Export Report 2017]*. Hà Nội: NXB Công thương [Hanoi: Congthuong Publisher], 2018 (in Vietnamese).

Bunck J.M. Marxism and the Market: Vietnam and Cuba in Transition. *Annual Proceedings, The Association for the Study of the Cuban Economy.* 1966. Pp. 234–243.

Center for Latin American & Latino Studies. *Cuba's Economic and Societal Crisis*. Washington: American University, 2023.

Cục lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Cục văn thư và lưu trữ Nhà nước [Central Party Office Archives, and State Records and Archives Department of Vietnam]. *Việt Nam-Cuba 60 năm đồng hành (văn kiện Đảng và Nhà nước) [Vietnam-Cuba: 60 years of Companionship (Party and State Documents)]*. Hà nội: NXB Chính trị quốc gia Sự thật [Hanoi: National Political Publishing House], 2020 (in Vietnamese).

Dang C.T., Le X.H. 60 năm hợp tác quốc phòng Việt Nam – Cuba [60 years of Defense Cooperation Vietnam-Cuba]. Tạp chí Châu Mỹ ngày nay *[Americas Today Journal]*. 2020. Vol. 5. Pp. 21–30 (in Vietnamese).

Ha L. Thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Cuba. *VnEconomy*. 03.09.2025 [Promoting Trade and Investment between Vietnam and Cuba. *VnEconomy*. 03.09.2025 (in Vietnamese)]. https://vneconomy.vn/thuc-day-hop-tac-thuong-mai-dau-tu-giua-viet-nam-va-cuba.htm (accessed: 15.12.2025).

Haggerty R.A., Hudson R.A., Merrill, T. *Cuban presence and activities in the third world: A report prepared under an interagency agreement by the Federal Research Division*. Washington: Library of Congress, 1990.

Hồ Chí Minh toàn tập, tập 15 (1966–1969) [Complete Books of Ho Chi Minh, vol. 15 (1966–1969)]. Hà nội: NXB Chính trị quốc gia Sự thật [Hanoi: National Political Publishing House], 2011 (in Vietnamese).

Minh N. Khu kinh tế đầu tiên do doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Cuba. *Bao Chin Phu*. 27.09.2024. [The First Economic Zone invested by Vietnamese Enterprises in Cuba. *Government News*. 27.09.2024 (in Vietnamese)]. https://baochinhphu.vn/khu-kinh-te-dau-tien-do-doanh-nghiep-viet-nam-dau-tu-tai-cuba-10224092713314874.htm (accessed: 15.912.2025).

Nguyen N.M. Vài nét về sự ủng hộ của Cuba đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam [Some Features of Cuba's Support for the Vietnamese Revolution]. *Nghiên cứu Lịch sử (=Journal of Historical Studies).* 1982. Vol. 1. Pp. 68–72 (in Vietnamese).

Nguyen N.M. *Nhìn lại chặng đường quan hệ Việt Nam-Cuba (từ 1960 đến nay), Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: Việt Nam học lần thứ tư [Looking Back at the Vietnam-Cuba Relations from 1960 to Present. Proceedings of the 4th International Conference on Vietnamese Studies]*. Hanoi, 2012. Pp. 513–524 (in Vietnamese).

Ngo L.V. Việt Nam – Cuba: Tình hữu nghị vượt thời gian. *Tạp chí Cộng sản*. 26.09.2024 [Vietnam-Cuba: An enduring friendship across time. *Communist Review*. 26.09.2024 (in Vietnamese)]. https://tapchicongsan.org.vn/media-story/-/asset_publisher/V8hhp4dK31Gf/content/viet-nam-cuba-tinh-huu-nghi-vuot-thoi-gian (accessed: 27.4.2026).

Ngoc A. Việt Nam trao tặng Cuba 385 tỷ đồng. *VNExpress*. 01.09.2025 [Vietnam Donates 385 Billion Vietnamese Dong to Cuba. *VNExpress*. 01.09.2025 (in Vietnamese)]. https://vnexpress.net/viet-nam-trao-tang-cuba-385-ty-dong-4933973.html (accessed: 19.12.2025).

Radoslav Y. Bittersweet solidarity: Cuba, Sugar, and the Soviet bloc. *Revista de Historia de América núm*. 2021. Vol. 161. Pp. 215–240.

Ruvislei G.S. *Cuba-Vietnam: two Nations, one History.* Vu Trung My, Pham Hoai Nam (tr.). Hanoi: National Political Publishing House, 2023 (Vietnamese translation).

Thu Uyên. Việt Nam kêu gọi Hoa Kỳ dỡ bỏ ngay các biện pháp bao vây, cấm vận đơn phương chống Cuba. *Quan doi nhan dan.* 02.02.2026 [Vietnam has called on the US to immediately lift its unilateral blockade and embrago measures against Cuba. *People's Army Newspaper.* 02.02.2026 (in Vietnamese)]. https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/viet-nam-keu-goi-hoa-ky-do-bo-ngay-cac-bien-phap-bao-vay-cam-van-don-phuong-chong-cuba-1024284 (accessed: 22.4.2026).

Trung tâm lưu trữ quốc gia III [National Archives Centre III]. *Phông Thủ tướng, Mục 3, hồ sơ 7800 [Prime Minister's Office, Section 3, File 7800]*, 1961. Pp. 17–19 (in Vietnamese).

Trung tâm lưu trữ quốc gia III [National Archives Centre III]. *Phông Thủ tướng, Mục 3, hồ sơ 9127 [Prime Minister's Office, Section 3, File 9127]*, 1973. Pp. 8–13 (in Vietnamese).

VCCI. *Cuba Market Profile*. Hanoi, 2016 (in Vietnamese).

Vietnam-Cuba. *OEC*. https://oec.world/en/profile/bilateral-country/vnm/partner/cub?selector-541id=2000 (accessed: 12.12.2025).

Vietnam, Cuba issue joint statement. *Ho Chi Minh National Academy of Politics.* 03.09.2025. https://hcma.vn/en/Pages/chi-tiet-tin.aspx?ItemID=1120 (accessed: 25.04.2026).

Việt Nam: Đối tác thương mại quan trọng của Cuba. *WTO Center.* 2017. [Vietnam: Cuba's Important Trading Partner. *WTO Center.* 2017 (in Vietnamese)] https://aecvcci.vn/tin-tuc-n2366/viet-nam-doi-tac-thuong-mai-quan-trong-cua-cuba.htm (accessed: 12.12.2025).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ / INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

БУЙ Вьет Хыонг – доктор политических наук, старший преподаватель, Национальная академия политики имени Хо Ши Мина, Ханой, Вьетнам.

BUI Viet Huong, PhD (Political Science), Senior Lecturer, Ho Chi Minh National Academy of Politics, Hanoi, Vietnam.

ЧАН Нгок Зунг – доцент, доктор исторических наук, Старший преподаватель, Национальная академия политики имени Хо Ши Мина, Ханой, Вьетнам.

TRAN Ngoc Dung, Associate Professor, PhD (History), Senior Lecturer, Ho Chi Minh National Academy of Politics, Hanoi, Vietnam.

ЗЫОНГ Тхюи Линь – доктор наук по международным отношениям, старший преподаватель, Национальная академия политики имени Хо Ши Мина, Ханой, Вьетнам.

DUONG Thuy Linh, PhD (International Relations), Senior Lecturer, Ho Chi Minh National Academy of Politics, Hanoi, Vietnam.

DOI: 10.31696/S086919080039440-1

СТРАТЕГИЯ ДИВЕРСИФИЦИРОВАННОГО ХЕДЖИРОВАНИЯ: СМОЖЕТ ЛИ ХУН МАНЕТ СБАЛАНСИРОВАТЬ ВЛИЯНИЕ КИТАЯ И ЗАПАДА?[1]

© 2026

Г.Н. КУЧЕРЕНКО [a]

[a] – ИМЭМО РАН, Москва, Россия
ORCID: 0000-0002-8160-1662; kucherenko@imemo.ru

Резюме: *В августе 2023 г. в Камбодже произошла первая за тридцать лет смена главы правительства. Пост премьер-министра перешёл от многолетнего лидера Хун Сена к его старшему сыну – Хун Манету. Это событие ознаменовало первую смену главы правительства с момента восстановления королевства в 1993 г. Несмотря на фактическое отсутствие демократических процедур и непрозрачность голосования, передача власти прошла достаточно спокойно, вызвав неоднозначную реакцию со стороны международного сообщества. В то время как внутри страны трансфер был воспринят как естественное продолжение династии, за её пределами часть экспертного сообщества ожидала, что новое поколение руководителей сможет провести диверсификацию внешних связей и провести необходимые внутренние реформы. На деле же первые годы пребывания Хун Манета на посту показали, что речь идёт не о смене парадигмы, а о развитии уже имевшейся модели диверсифицированного хеджирования, в рамках которой государство, зажатое между конкурирующими державами, сознательно избегает выбора в пользу одной из них, стремясь максимизировать выгоды от сотрудничества с обеими, при этом минимизируя риски недовольства от каждой. Цель данной статьи – оценить промежуточные результаты и эффективность этой стратегии. В работе подробно анализируются ключевые направления камбоджийской дипломатии: сохранение стратегического фундамента отношений с КНР, сближение с западными партнёрами и тактическая коррекция курса на американском направлении. Особое внимание уделено инструментам экономической дипломатии. В статье выявлены ключевые структурные ограничения и вызовы для внешней политики Пномпеня, среди которых выделяются асимметричная зависимость от Пекина, геополитическое давление крупных игроков, а также внутренние проблемы, включая превращение страны в региональный хаб транснационального онлайн-мошенничества. Делается вывод, что долгосрочный успех стратегии хеджирования Камбоджи будет зависеть не столько от дипломатического лавирования, сколько от институциональной дееспособности государства.*

Ключевые слова: Камбоджа, КНР, США, хеджирование, внешняя политика

Для цитирования: Кучеренко Г.Н. Стратегия диверсифицированного хеджирования: сможет ли Хун Манет сбалансировать влияние Китая и Запада? *Восток (Oriens).* 2026. № 5. С. 96–106. DOI: 10.31696/S086919080039440-1

[1] Статья подготовлена при поддержке гранта Министерства науки и высшего образования Российской Федерации на проведение крупных научных проектов по приоритетным направлениям научно-технологического развития № 075-15-2024-551 «Глобальные и региональные центры силы в формирующемся мироустройстве».

This article was prepared with the support of a grant from the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation for major scientific projects in priority areas of scientific and technological development № 075-15-2024-551 «Global and regional centers of power in the emerging world order».

A DIVERSIFIED HEDGING STRATEGY: CAN HUN MANET BALANCE THE INFLUENCE OF CHINA AND THE WEST?

© 2026

Grigorii N. KUCHERENKO [a]

[a] – IMEMO RAS, Moscow, Russia
ORCID: 0000-0002-8160-1662; kucherenko@imemo.ru

Abstract: *In August 2023, Cambodia underwent its first leadership change in three decades when power transitioned to Hun Manet. This milestone marked a new era in the kingdom's modern history. Domestically, it was viewed as a natural dynastic continuation, but internationally, observers anticipated that the new leadership might diversify foreign relations and initiate reforms. However, the first years of Hun Manet's tenure have revealed continuity rather than a paradigm shift. Phnom Penh has focused on refining its diversified hedging model. This strategy involves a small state caught in great power rivalry avoiding alignment with any single bloc. The goal is to maximize economic benefits from all partners while mitigating security risks. This article assesses the effectiveness and structural limitations of Cambodia's foreign policy under the new administration. It examines three key dimensions of Cambodian diplomacy: maintaining the strategic foundation of ties with China, including the modernization of the Ream Base and the Funan Techo canal project; deepening relations with alternative partners, such as Japan and France; and pursuing pragmatic reengagement with the United States. Additionally, the paper analyzes economic diplomacy, particularly Cambodia's outreach to Gulf states to diversify trade. The research identifies critical constraints on Phnom Penh's strategy, including asymmetric dependence on Beijing, geopolitical friction over infrastructure projects, and nontraditional security challenges. Notably, Cambodia has emerged as a hub for transnational cyber scam networks. Ultimately, the article concludes that the long-term viability of Cambodia's hedging strategy hinges on bolstering state institutional capacity rather than mere diplomatic maneuvering.*

Keywords: Cambodia, China, United States, hedging, foreign policy

For citation: Kucherenko G.N. A diversified hedging strategy: can Hun Manet balance the influence of China and the West? *Vostok (Oriens).* 2026. No. 5. Pp. 96–106. DOI: 10.31696/S086919080039440-1

Понятие хеджирования изначально сформировалось в финансовой сфере как идея страхования рисков от неблагоприятных изменений цен на активы и уже впоследствии перешло в политологию для описания курса действий стран, стремящихся не «складывать яйца в одну корзину». Концепция стала альтернативой распространённым принципам балансирования и бандвагонинга. Традиционный неореализм предполагал, что малые и средние страны должны вступать в коалиции против доминирующей силы, либо же присоединяться к ней, однако реалии постбиполярного мироустройства продемонстрировали наличие иного варианта. Известный малайзийский политолог Ченг-Чви Куик определяет хеджирование как преобладающую после холодной войны модель внешнеполитического поведения «средних государств» Юго-Восточной Азии. В условиях соперничества великих держав большинство региональных игроков отвергло жёсткие стратегии балансирования и присоединения к сильнейшему, предпочтя смешанный подход. В его рамках страны заинтересованы в диверсификации своих внешнеполитических связей, создании резервных

вариантов и сохранении максимально объёма пространства для манёвров с целью нейтрализации потенциальных рисков [Kuik, 2016].

Подобной модели поведения старалась придерживаться Камбоджа периода «раннего» Хун Сена, когда королевство, обременённое сложным историческим наследием отношений с КНР, было настроено на активное сотрудничество с различными центрами силы, включая Европу и США. В дальнейшем этот подход естественным образом трансформировался: по мере ухудшения отношений Пномпеня с западными донорами, критикующими кхмерские власти за ситуацию с правами человека, Камбоджа начала дрейф в сторону Пекина. Данный процесс в итоге привёл к тому, что Камбоджа оказалась во многом завязана на КНР как политически, так и экономически в рамках т. н. сообщества «единой судьбы» и «железной дружбы», связавшей страны нерушимым, по мнению официального Пномпеня, союзом.

Тем не менее существующие экспертные оценки и мнения в СМИ о том, что Камбоджа является государством-клиентом Пекина, кажутся преувеличенными. Невзирая на близость с КНР, Камбоджа проводит самостоятельную внешнюю политику, наращивая сотрудничество с Японией, США и Францией – тенденция, ставшая особенно заметной после вступления Хун Манета в должность. Новый премьер-министр выделил шесть принципов внешней политики Камбоджи, которые подчёркивают стремление развивать отношения со всеми международными акторами и способствовать глобальному управлению для повышения роли страны на международной арене и в мировой экономике [PM Highlights, 2025]. Подобный дискурс подчёркивает сугубо прагматичный подход Пномпеня и его стремление диверсифицировать партнёрства, не снижая при этом уровня традиционно глубоких связей с Пекином.

При этом внешнеполитическую линию Хун Манета наиболее точно характеризует формула, которую можно описать как стратегическую преемственность при тактической модернизации. Не меняя глобальной долгосрочной цели своего предшественника, новый глава кабинета привнёс в неё уникальные приёмы, продиктованные быстро меняющимся международным контекстом. Имея западное военное и экономическое образование, Хун Манет сместил фокус на экономическую дипломатию и прагматичный технократический язык диалога. Это позволяет Пномпеню отвечать на актуальные вызовы более гибко, камуфлируя традиционную автократическую сущность режима под современную международную повестку.

КИТАЙ КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФУНДАМЕНТ

Несмотря на заметную диверсификацию внешнеполитических связей, Пномпень продолжает воспринимать отношения с Пекином как стратегический фундамент и стремится к их дальнейшему углублению. КНР остается доминирующим источником прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и ключевым поставщиком сырья, оборудования и строительных материалов. В 2023 г. высокопоставленный кхмерский чиновник Вонгсей Виссот подчеркнул, что КНР является главным торговым визави Пномпеня, открывающим перспективные рынки сбыта для камбоджийской продукции, и одновременно крупнейшим поставщиком официальной помощи в целях развития (ОПР) [Chinese Investment, 2023].

Хотя экспортный рынок Камбоджи в основном ориентирован на США (43 % от общей экспортной выручки), Китай сохраняет статус ключевого торгово-инвестиционного направления, на долю которого в 2021 г. приходилось 35 % от общего импорта и 8,6 % от общего экспорта. Это свидетельствует о том, что Камбоджа в значительной степени зависит от Китая в плане импорта, который в основном состоит из тканей или одежды, предназначенных для ее обрабатывающей промышленности [Tan et al., 2025].

Официальная помощь в целях развития и инвестиции Китая сыграли решающую роль в поддержке экономического развития Камбоджи и сокращении бедности [Chinese Investment, 2023]. Объем китайских инвестиций в Камбодже в 2016 г. вырос до 2,9 млрд долларов США, что составляет около 29,9 % от общего объема иностранных инвестиций [Po, Primiano, 2020]. Они были в основном направлены на повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции Камбоджи за счет повышения стандартов качества продукции. Благодаря китайским инвестициям в сельскохозяйственный сектор было освоено около 237406 га земель [Tan et al., 2025]. Наиболее значимым сельскохозяйственным проектом с китайскими инвестициями является специальная экономическая зона (СЭЗ) в провинции Кампонгспы с общим объемом инвестиций в 2 млрд долларов США.

Важной вехой в закреплении преемственности курса кхмерской элиты на тесные отношения с КНР стал первый официальный визит Хун Манета в Пекин в сентябре 2023 г. В ходе поездки стороны обменялись традиционными заверениями в поддержании «железной» дружбы, что символизировало неизменность внешнеполитических приоритетов новой камбоджийской администрации в отношении КНР [General Secretary, 2023]. Данный визит положил начало интенсивной серии контактов на высшем и высоком уровнях в 2024–2025 гг, охвативших широкий спектр направлений – от оборонного взаимодействия до реализации механизмов «двухтрековой» дипломатии. Среди них ключевое значение имел государственный визит Си Цзиньпина в Камбоджу в апреле 2025 г. Итогом переговоров стало подписание 37 новых соглашений, затрагивающих торговлю, развитие инфраструктуры, образование, энергетику, туризм и стратегическую цифровую связность [Cambodia and China, 2025].

Интенсификация контактов на высшем уровне между Пномпенем и Пекином совпала с завершением важного этапа модернизации военно-морской базы Реам и придала дополнительный импульс проекту строительства канала «Фунань-Течо». Эта транспортная артерия протяжённостью около 180 км призвана соединить реку Меконг с прибрежной провинцией Кеп в Сиамском заливе, что позволит Камбодже существенно снизить зависимость от вьетнамских портов при транзите грузов.

Реализация обоих проектов носит амбивалентный характер. Наряду с повышением логистической автономии Камбоджи и снижением её зависимости от вьетнамских портов, данные инициативы ведут к значительному усилению военно-стратегического и экономического присутствия Китая в регионе. Наметившееся смещение баланса вызывает растущую озабоченность у США, Вьетнама и других стран. Хун Манет позиционирует эти проекты как «национальные», однако их реализация во многом зависит от китайского финансирования и технологий.

В условиях глубокой экономической взаимозависимости и географической близости к КНР любой резкий разрыв связей с Пекином представляется для администрации Хун Манета нецелесообразным и контрпродуктивным шагом. Таким образом, китайское направление остается константой, на фоне которой Пномпень выстраивает свои манёвры по диверсификации внешних связей. Однако это не означает отказ от диверсификации. Наоборот, новая администрация активно развивает отношения с альтернативными партнёрами, стремясь создать дополнительные рычаги влияния и снизить риски чрезмерной зависимости от Пекина. Именно в этом контексте наиболее показательны усилия Пномпеня по выстраиванию связей с Францией, Японией и США.

РАСШИРЕНИЕ СЕТИ ПАРТНЁРСТВ В КОНТЕКСТЕ СТРАТЕГИИ ХЕДЖИРОВАНИЯ

Ярким примером внешнеполитического подхода новой администрации стал визит Хун Манета в Париж в январе 2024 г. по приглашению Эммануэля Макрона. Выбор страны

не был случайным: в силу исторического прошлого Камбоджа и Франция поддерживают конструктивные и даже тёплые отношения, что особенно важно для Пномпеня с учётом членства Франции в ЕС. Стоит отметить, что из-за ранее упомянутого ухудшения ситуации с правами человека в Королевстве, Евросоюз принял ряд ограничительных мер. В частности, в 2020 г. Европейская комиссия приняла решение отменить часть тарифных преференций, предоставленных Камбодже в рамках торговой схемы ЕС «Всё, кроме оружия» (EBA), обосновывая это «серьёзными и систематическими нарушениями принципов прав человека» [Commission Decides, 2020]. Принятые меры затронули около 20 % камбоджийского экспорта в ЕС и привели к ежегодным дополнительным издержкам для национальных производителей в размере около 130 млн долл. [Hunt, 2020]. Данные санкции совпали с глобальным кризисом, вызванным пандемией COVID-19, что в совокупности привело к закрытию около 400 фабрик по производству одежды, обуви и товаров для путешествий, в результате чего более 150000 работников остались без работы [Pandemic and Trade Sanctions Impact, 2020]. Тем не менее, визит в Париж продемонстрировал желание Пномпеня постепенно нормализовать отношения с Европой через двусторонний формат.

Взаимный интерес Парижа и Пномпеня также обусловлен совпадением их стратегических установок: в то время как Камбоджа ищет пути диверсификации внешних связей, Франция продвигает в Индо-Тихоокеанском регионе концепцию «третьего пути», предлагая странам ЮВА альтернативу жесткой конкуренции Вашингтона и Пекина [Frécon, 2022]. Наиболее значимым результатом визита Хун Манета стало соглашение об укреплении двусторонних отношений с целью их перевода на стратегический уровень. Хотя детали предстоящего повышения статуса партнерства пока не раскрыты, этот шаг сделает Францию четвертым стратегическим партнером Камбоджи – после Китая, Японии и Таиланда [Bong, 2024].

Японский вектор в политике Хун Манета выполняет роль еще одного стратегического балансира. На протяжении длительного времени Пномпень и Токио поддерживали традиционно тесные отношения, практически не подверженные флуктуациям, характерным для кхмеро-американских или кхмеро-тайских связей. Еще в 2013 г. в ходе визита Хун Сена в Японию стороны подписали соглашение о стратегическом партнерстве, стремясь к росту взаимного товарооборота и объемов японских инвестиций. Десять лет спустя был подписан новый документ, повысивший уровень отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства – высшего ранга в камбоджийской дипломатии. Япония продолжает активно работать с Камбоджей для снижения китайского влияния в стране и продвижения своих интересов в АСЕАН и Южно-Китайском море [Luo, Un, 2021].

При новой администрации взаимодействие между странами охватило не только традиционную гуманитарную помощь, но и чувствительные сферы цифровой инфраструктуры и морской безопасности. Последнее крайне значимо для Пномпеня не только в контексте территориального спора с Таиландом в Сиамском заливе, но и ввиду проблемы военно-морской базы Реам. Данный объект стал ключевым камнем преткновения в отношениях КНР и США из-за подозрений Вашингтона в создании там эксклюзивного китайского военного присутствия, что потенциально меняет баланс сил в регионе [Кучеренко, 2023].

Стремясь конвертировать политический диалог в практические меры по деэскалации, администрация Хун Манета санкционировала заходы японских военных кораблей как в глубоководный порт Сианукville, так и непосредственно на территорию базы Реам. В апреле 2025 г. два эсминца Сил морской самообороны Японии стали первыми иностранными военными судами, посетившими объект после его официального открытия для международного взаимодействия [Japanese Ships, 2025]. Данный шаг позволил Пномпеню не только деполитизировать вопрос функционирования базы, но и продемонстрировать инклюзивный

характер своей оборонной политики, что полностью соответствует стратегии многовекторного хеджирования рисков.

Качественная трансформация кхмеро-японских связей при Хун Манете проявилась и в формате взаимодействия между странами в финансовой сфере. Если при Хун Сене японский капитал вкладывался, в первую очередь, в развитие инфраструктуры и предоставление безвозмездной помощи, то при его преемнике фокус сдвинулся на формирование высокотехнологичных цепочек добавленной стоимости в рамках т.н. формата «экономического созидания». Примером нового подхода можно назвать финансирование строительства первого национального центра хранения данных в Камбодже, на что было выделено до 2,3 миллиарда иен (около 16 млн долл.) [Japan to Help, 2023]. Особое место в технологическом партнерстве занимает проект по развертыванию сетей 5G на базе японской технологии Open RAN [Japan's 5G Plan, 2024]. Для администрации Хун Манета это решение становится инструментом «цифрового хеджирования»: внедрение открытых архитектур позволяет избежать монопольной зависимости от китайских поставщиков и гарантировать международные стандарты безопасности данных, что критически важно для привлечения инвестиций из стран G7. В свою очередь, для Токио поддержка цифровой трансформации Камбоджи является способом укрепления региональной связности и продвижения альтернативной модели «прозрачной инфраструктуры» в противовес цифровому доминированию Пекина.

Что касается американского вектора политики администрации Хун Манета, то здесь стоит обратить внимание, в первую очередь, на состояние этих отношений при Хун Сене и ситуацию, сложившуюся к 2023 г. Как ранее упоминалось, США выступали одним из наиболее жестких критиков внутренней политики Пномпеня, неоднократно подчеркивая авторитарный характер режима и проблемы в области соблюдения прав человека. Пномпень, в свою очередь, регулярно призывал Вашингтон не вмешиваться во внутренние дела королевства, обвиняя американскую сторону в попытках организации «цветной революции» [Colour Revolutions, 2021].

С приходом к власти Хун Манета в отношениях между Камбоджей и США начали проявляться признаки осторожной нормализации. При этом наметившаяся коррекция курса не являлась исключительно инициативой Пномпеня. Уже в последние годы президентства Дж. Байдена Вашингтон демонстрировал большую заинтересованность в стабилизации двусторонних отношений. Во многом это было связано с осознанием ограниченной эффективности прежнего подхода, подверженного влиянию политического давления и публичной критике внутренней политики Камбоджи. В американских экспертных и политических кругах всё чаще высказывалась точка зрения, согласно которой дальнейшее ухудшение отношений лишь способствовало усилению зависимости Пномпеня от Китая и сокращало возможности США влиять на ситуацию в стране и регионе в целом. В этих условиях обе стороны постепенно стали проявлять готовность к более прагматичному взаимодействию, стремясь перевести двусторонний диалог из плоскости политико-идеологических разногласий в русло предметного и деполитизированного диалога.

Знаковым событием в этом контексте стал визит министра обороны США Ллойда Остина в Пномпень в июне 2024 г. – первый контакт такого уровня за многие годы. В ходе переговоров стороны сместили фокус с проблем демократизации на вопросы возобновления военного обучения и гуманитарного сотрудничества, включая разминирование и ликвидацию неразорвавшихся боеприпасов [Readout of Secretary, 2024]. Этот шаг Хун Манета, выпускника американской военной академии Вест-Пойнт, был призван продемонстрировать Вашингтону готовность к открытости и поиску точек соприкосновения в сфере безопасности, не затрагивая при этом основы внутриполитического устройства королевства.

Толчком к дальнейшему развитию данного дипломатического трека послужил пограничный конфликт между Камбоджей и Таиландом, разгоревшийся в мае 2025 г. и остановленный в июле того же года при посредничестве президента США Дональда Трампа. Несмотря на то, что очередная итерация приграничного спора поставила под удар стратегию хеджирования, показав, что даже важнейший партнёр на субрегиональном уровне может стать противником, исключив себя тем самым из числа факторов стабильности, целесообразность дальнейшего следования курсу хеджирования не вызвала сомнений у камбоджийского экспертно-аналитического сообщества. Напротив, диверсификация экономических и внешнеполитических связей, равно как и необходимость дальнейшей адаптации стратегии хеджирования к меняющимся реалиям, были восприняты в качестве наиболее оптимального выхода из кризиса, способного в перспективе усилить позиции Пномпеня в отношениях с Бангкоком.

В условиях эскалации для медиации американская сторона применила финансовый рычаг в виде импортных тарифов, введенных Трампом после вступления в должность. В случае с Камбоджей и Таиландом, для которых американский рынок является ключевым, цифра могла составить 49 % и 36 % соответственно – при условии продолжения эскалации. Для Пномпеня это означало бы невозможность экспортировать товары на прежнем уровне, а прогнозируемый рост уровня бедности составил бы порядка 8 %. По оценкам экспертов, 130000 человек потеряли бы работу, а еще 54000 были бы вынуждены перейти на низкооплачиваемые позиции [Thomas, Khiev, 2025]. Однако после достижения перемирия уровень тарифов был снижен до 19 %, что не оказывает фатального влияния на двусторонний товарооборот.

Важным этапом в развитии отношений между Камбоджей и США стало решение Хун Манета о присоединении к сформированному администрацией Дональда Трампа «Совету мира». Данный орган позиционировался Вашингтоном как гибкая альтернатива ООН для оперативного урегулирования конфликтов по всему миру. С одной стороны, учитывая традиционно персоналистский характер кхмерской политики и соответствующую трансформацию американской внешнеполитической линии при текущем президенте, новый институт позволил установить прочные личные связи между двумя лидерами. С другой стороны, «Совет мира» стал дополнительным каналом взаимодействия между странами. Так, в феврале 2026 г. Хун Манет провел встречу с заместителем госсекретаря Кристофером Ландау, на которой стороны обсудили ряд чувствительных для Пномпеня и Вашингтона вопросов, включая ситуацию на границе с Таиландом, борьбу с интернет-мошенничеством, сотрудничество в сфере обороны и возможности для расширения инвестиций [Deputy Secretary, 2026].

Решения, принятые камбоджийским премьер-министром, демонстрируют стратегию хеджирования, которой придерживаются власти королевства в отношении своих ключевых партнеров. Не принося в жертву отношения с КНР, Пномпень стремится к сближению с Вашингтоном, вынося за скобки вопросы прав человека и акцентируя внимание на сугубо прагматических аспектах сотрудничества – торговле, инвестициях и безопасности. Подобная трансформация стала возможной во многом благодаря подходу новой американской администрации, ориентированному на realpolitik. Вероятнее всего, в среднесрочной перспективе взаимодействие продолжит развиваться именно в таком ключе. Однако его устойчивость будет во многом зависеть от того, сохранится ли подобный подход в случае смены администрации в Вашингтоне или же последующие правительства вернутся к более идеологизированной линии своих предшественников.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ХЕДЖИРОВАНИЯ

Торговые связи стали одним из ключевых инструментов новой камбоджийской администрации для укрепления экономики страны в условиях существующих вызовов, включая давление со стороны западных стран и конфликт с Таиландом. Пномпень активно использует внешнеэкономические инструменты для снижения рисков и привлечения альтернативных источников инвестиций и технологий.

Одним из наиболее заметных направлений стало укрепление связей со странами Персидского залива, ранее занимавшими маргинальное место во внешней политике страны. Ведущую роль в этом процессе занимают Объединённые Арабские Эмираты; в июне 2023 г. страны подписали соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве (CEPA), которое вступило в силу в январе следующего года. Соглашение охватывает более 92 % тарифных линий и направлено на существенное расширение двусторонней торговли и инвестиций. Комментируя заключение документа, президент камбоджийской торговой палаты Кит Меанг отметил, что стороны планируют довести объём ненефтяной торговли до миллиарда долларов в год к 2030 г., а также сосредоточиться на развитии финтеха и цифровой экономики [Milner, 2025].

Вторым важным партнёром становится Саудовская Аравия. В феврале 2026 г. в Пномпене состоялась встреча между торговыми делегациями обеих стран, в ходе которой саудиты выразили намерение существенно расширить двустороннюю торговлю и туризм, рассматривая Камбоджу как важные «ворота» в АСЕАН и перспективную площадку для реализации Saudi Vision 2030 – долгосрочной стратегии диверсификации саудовской экономики, направленной на снижение зависимости от нефти [Saudi Arabia Eyes, 2026]. Здесь можно заметить, что обе стороны стремятся снизить зависимость своих экономик от конкретных факторов, что говорит о взаимной заинтересованности и потенциальном надёжном сотрудничестве.

Особое внимание уделяется развитию халяль-индустрии, агробизнеса, логистики и туризма. Камбоджийская сторона пригласила саудовских инвесторов рассматривать специальные экономические зоны для производства халяль-продукции. Кроме того, обсуждается возможность открытия прямых авиарейсов между двумя странами, что должно дать мощный импульс туристическому потоку и бизнес-контактам.

Для Пномпеня арабский вектор обладает сразу несколькими преимуществами. Во-первых, он позволяет диверсифицировать источники финансирования инфраструктурных проектов и снизить зависимость от китайских кредитов. Во-вторых, инвестиции из стран Персидского залива носят относительно менее политизированный характер по сравнению с западными и не сопровождаются жёсткими требованиями в области прав человека. В-третьих, ОАЭ и Саудовская Аравия открывают новые рынки сбыта для камбоджийской сельскохозяйственной продукции.

Помимо арабских монархий, Камбоджа активно работает с Южной Кореей и Сингапуром. Сеул рассматривается как важный источник высокотехнологичных инвестиций и опыта индустриализации, а Сингапур – как партнёр в сфере финансов, логистики и цифровой экономики. Пномпень также стремится расширять взаимодействие с Индией и Австралией, хотя эти направления пока носят более скромный характер.

ВЫЗОВЫ И ПРЕДЕЛЫ СТРАТЕГИИ ХЕДЖИРОВАНИЯ

Одним из наиболее серьёзных вызовов для стратегии Хун Манета стало превращение Камбоджи в ключевой хаб транснациональной индустрии онлайн-мошенничества.

В 2024–2025 гг. феномен «цифрового рабства» окончательно оформился в полноценную криминальную индустрию с чёткой логистикой, индустриальными масштабами и сложной системой принуждения.

После ужесточения политики Китая против онлайн-гемблинга и телефонного мошенничества криминальные сети переместили свои операции в приграничные зоны и специальные экономические районы Камбоджи, Лаоса и Мьянмы. Основные кластеры расположены в Сиануквиле, Пойпете, районе «Золотого треугольника» и Шве Кокко. Жертв вербуют через социальные сети под видом высокооплачиваемой работы в IT и продажах, после чего изымают документы, создают «долговые обязательства» и принуждают работать в «компаундах» – закрытых офисно-гостиничных комплексах.

Эта проблема напрямую подрывает стратегию диверсифицированного хеджирования. Во-первых, она наносит серьёзный репутационный ущерб Камбодже на Западе, где страну всё чаще ассоциируют с «современным цифровым рабством». Это существенно осложняет нормализацию отношений с США и ЕС и снижает возможности привлечения качественных западных инвестиций. Во-вторых, многие скам-центры исторически связаны с китайскими криминальными сетями и пользуются покровительством части местных элит, что усиливает зависимость Пномпеня от Пекина в вопросах внутренней безопасности. В-третьих, периодические рейды и зачистки, проводимые камбоджийскими властями под международным давлением, создают напряжённость внутри правящей элиты и между центральной властью и местными бизнес-структурами.

В ответ на растущую угрозу INTERPOL запустил глобальную операцию Liberterra II, в которой правоохранительные органы Камбоджи приняли непосредственное участие [RSO provides, 2024]. Тем не менее, проблема демонстрирует высокую живучесть: после каждой волны рейдов операторы просто перемещают деятельность через границу или меняют юридическую оболочку. Это наглядно показывает пределы государственного контроля Камбоджи над территорией и её способность проводить независимую политику в условиях наличия мощных внешних и внутренних акторов.

Вторым серьёзным вызовом является геополитическая дилемма ключевых инфраструктурных проектов – военно-морской базы Реам и канала «Фунань-Течо». Стремясь повысить логистическую автономию и укрепить отношения с Китаем, Камбоджа одновременно пытается «деполитизировать» эти объекты, допуская визиты японских и других кораблей. Однако такая политика «открытости» имеет свои пределы и вызывает растущее недовольство как в Пекине, так и в Вашингтоне и Ханое.

Третьим ограничением выступают внутренние факторы. Несмотря на технократическую риторику Хун Манета, в системе государственного управления по-прежнему доминируют патронажно-клановые отношения и «старая гвардия». Это создаёт конфликт между молодыми квалифицированными специалистами и традиционной партийно-бюрократической элитой, снижая эффективность реализации внешнеполитических инициатив и способность осваивать иностранные инвестиции.

Ещё одним фактором риска является форсированное омоложение практически всей правящей элиты, что влечёт за собой формирование структурной уязвимости для новых глав министерств, лишённых опыта и связей своих предшественников. С целью частичной нейтрализации этой проблемы в ноябре 2024 г. Хун Манет повторно назначил бывшего министра иностранных дел страны Прака Сокхона на этот пост, заменив Сока Ченда Сопхиа, оставшегося в должности заместителя премьер-министра. Сам Хун Манет заявил, что данное назначение продиктовано многочисленными вызовами, с которыми королевству приходится сталкиваться на международной арене, и обусловлено обширным дипломатическим опытом П. Сокхона, а также его экспертным пониманием вопросов торговли и инвестиций

[Niem, 2024]. Этот кадровый шаг показывает, что технократическая модернизация новой администрации наталкивается на жесткую необходимость сохранения институциональной памяти и старых кадровых опор в условиях геополитической турбулентности.

Наконец, существует риск вторичных санкций и резкого ужесточения позиции Запада в случае дальнейшего сближения с Китаем в чувствительных военных проектах. Стратегия хеджирования работает только до тех пор, пока великие державы готовы терпеть такую многовариантность. Если Вашингтон или Пекин решат, что Камбоджа перешла «красную линию», пространство для манёвра может резко сузиться.

Таким образом, стратегия диверсифицированного хеджирования Хун Манета, хотя и приносит определённые дивиденды в краткосрочной перспективе, демонстрирует заметные структурные пределы. Камбоджа успешно избегает жёсткого выбора между Китаем и Западом, но пока не способна существенно снизить асимметричную зависимость от Пекина. Репутационные риски, слабость государственного контроля над территорией, коррупция и внутренние элитные противоречия существенно ограничивают реальное пространство для стратегического манёвра. В долгосрочной перспективе успех этой стратегии будет зависеть не столько от дипломатической ловкости Пномпеня, сколько от его способности проводить внутренние реформы и повышать институциональную дееспособность государства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

Кучеренко Г.Н. Военно-морская база Реам как один из факторов напряженности в отношениях КНР и США. *Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития*. 2023. № 3 (60). С. 136–149 [Kucherenko G.N. Ream Naval Base as One of the Factors of Tension in Relations between China and United States. *Southeast Asia: Actual Problems of Development*. 2023. No. 3 (60). Pp. 136–149 (in Russian)].

Bong C. Cambodia's Strategic Overture to France. *East Asia Forum*. 05.03.2024. https://eastasiaforum.org/2024/03/05/cambodias-strategic-overture-to-france/ (accessed: 28.05.2026).

Cambodia and China Sign 37 Cooperation Agreements under 'Shared Future' Vision. *Cambodia Investment Review*. 18.04.2025. https://cambodiainvestmentreview.com/2025/04/18/cambodia-and-china-sign-37-cooperation-agreements-under-shared-future-vision-official-document-confirms/ (accessed: 05.05.2026).

Chinese Investment Greatly Benefits Cambodia's Socio-Economic Development: Officials. *Xinhua*. 19.05.2023. https://english.news.cn/asiapacific/20230519/f1280c5bee6f4571b679a1344c61859b/c.html (accessed: 29.05.2026).

Colour Revolutions to Be Crushed, Cambodia PM Warns. *Asia News Network*. 30.12.2021. https://asianews.network/colour-revolutions-to-be-crushed-cambodia-pm-warns/ (accessed: 31.05.2026).

Commission Decides to Partially Withdraw Cambodia's Preferential Access to the EU Market. *European Commission*. 12.02.2020. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_229 (accessed: 31.08.2026).

Deputy Secretary Landau's Meeting with Cambodian Prime Minister Hun Manet. *U.S. Department of State*. 15.02.2026. https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2026/02/deputy-secretary-landaus-meeting-with-cambodian-prime-minister-hun-manet (accessed: 31.08.2026).

Frécon E. "France's Third Path" for the Indo-Pacific? Credentials and Challenges. *ISEAS Perspective*. No. 12. 15.02.2022. https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/2022-12-frances-third-path-for-the-indo-pacific-credentials-and-challenges-by-eric-frecon/ (accessed: 29.05.2026).

General Secretary Xi Jinping Meets with Cambodian Prime Minister Hun Manet. *International Department of the CPC Central Committee*. 10.10.2023. https://www.idcpc.org.cn/english2023/ttxw_5749/202310/t20231010_162439.html (accessed: 05.05.2026).

Hunt L. Cambodian Garment Workers Struggle After EU Withdraws Trade Perks. *VOA News*. 25.09.2020. https://www.voanews.com/a/east-asia-pacific_cambodian-garment-workers-struggle-after-eu-withdraws-trade-perks/6196362.html (accessed: 29.05.2026).

Japan's 5G Plan: Why Cambodia? *Cambodianess*. 04.11.2024. https://cambodianess.com/article/japans-5g-plan-why-cambodia (accessed: 28.05.2026).

Japan to Help Fund Cambodia's National Data Centre. *SAMENA Daily News*. 21.12.2023. https://www.samenacouncil.org/samena_daily_news?news=98673 (accessed: 29.05.2026).

Japanese Ships Make Historic First Port Call at Ream Naval Base. *Khmer Times*. 21.04.2025. https://www.khmertimeskh.com/501672038/japanese-ships-make-historic-first-port-call-at-ream-naval-base/ (accessed: 29.05.2026).

Kuik C.-C. How Do Weaker States Hedge? Unpacking ASEAN States' Alignment Behavior towards China. *Journal of Contemporary China*. 2016. Vol. 25. No. 100. Pp. 500–514.

Luo J.J., Un K. Japan Passes China in the Sprint to Win Cambodian Hearts and Minds. *ISEAS Perspective*. 2021. No. 59. Pp. 1–9.

Milner W. UAE–Cambodia CEPA to Drive Non-Oil Trade Beyond $1bn by 2030. *Arabian Business*. 30.11.2025. https://www.arabianbusiness.com/politics/uae-cambodia-cepa-to-drive-non-oil-trade-beyond-1bn-by-2030 (accessed: 29.05.2026).

Niem C. Manet Explains Return of Sokhonn as Foreign Minister. *The Phnom Penh Post*. 20.11.2024. https://phnompenhpost.com/national/politics/manet-explains-return-of-sokhonn-as-foreign-minister/ (accessed: 23.06.2026).

Pandemic and Trade Sanctions Impact: Over 400 Garment Factories Closed in Cambodia. *Business and Human Rights Resource Centre*. 2020. https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/cambodia-covid-19-causes-about-400-factories-suspensions-leaving-over-150000-workers-jobless/ (accessed: 31.08.2026).

PM Highlights Key Priorities of Cambodia's Foreign Policy. *Khmer Times*. 10.03.2025. https://www.khmertimeskh.com/501651548/pm-highlights-key-priorities-of-cambodias-foreign-policy/ (accessed: 29.05.2026).

Po S., Primiano C.B. An "Ironclad Friend": Explaining Cambodia's Bandwagoning Policy towards China. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*. 2020. Vol. 39. No. 3. Pp. 444–464.

Readout of Secretary of Defense Lloyd J. Austin III's Meetings with Cambodian Prime Minister Hun Manet and Senior Cambodian Officials. *U.S. Department of Defense*. 04.06.2024. https://www.war.gov/News/Releases/Release/Article/3795409/readout-of-secretary-of-defense-lloyd-j-austin-ills-meetings-with-cambodian-pri/ (accessed: 31.08.2026).

RSO Provides Technical Expertise and Support to Asia-Pacific Operational Coordination Unit of Liberterra II, INTERPOL's Largest Ever Counter-Trafficking and Migrant Smuggling Operation. *The Regional Support Office of the Bali Process (RSO)*. 06.11.2024. https://rso.baliprocess.net/rso-provides-technical-expertise-and-support-to-asia-pacific-operational-coordination-unit-of-liberterra-ii-interpols-largest-ever-counter-trafficking-and-migrant-smuggling-operation-2/ (accessed: 31.05.2026).

Saudi Arabia Eyes Cambodia as Strategic Gateway to ASEAN under Vision 2030. *Asia News Network*. 15.02.2026. https://asianews.network/saudi-outline-plans-to-expand-trade-tourism-with-cambodia/ (accessed: 05.05.2026).

Tan G.H.S., Inderjit S., Liaw J.O.H., Wen K.F. Relations between Cambodia and China: The Impact towards Cambodia's Sovereignty. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*. 2025. Vol. 9. No. 3. Pp. 440–452.

Thomas M., Khiev P. Economic Impacts of the United States Tariff on Cambodia. *ADB Briefs*. 2025. No. 360. Pp. 1–8. https://www.adb.org/publications/economic-impacts-us-tariff-cambodia (accessed: 29.05.2026).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ / INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

КУЧЕРЕНКО Григорий Николаевич – младший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО РАН), Москва, Россия.

Grigorii N. KUCHERENKO, Junior Research Fellow, Institute of World Economy and International Relations, Russian Academy of Sciences (IMEMO RAS), Moscow, Russia

DOI: 10.31696/S086919080039567-0

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ ИНДИИ, КИТАЯ И РОССИИ В КОНТЕКСТЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ БРИКС[1]

© 2026

О.С. КОЧЕРОВ [a]

[a] – Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия
ORCID: 0000-0002-2745-5991; o.s.kocherov@spbu.ru

Резюме: *Несмотря на то что стратегическая культура и стратегическая коммуникация являются близкими концепциями, их связь фактически не освещена в тематических исследованиях. Эти концепции демонстрируют сближение в условиях нарративного поворота в теории стратегической культуры и повышенного внимания к межкультурному измерению стратегической коммуникации. При этом, если на уровнях слов и образов отношения между ними продуктивны, зазор между символическим дискурсом и стратегическим поведением, могущий проявляться в стратегической культуре, негативно влияет на стратегическую коммуникацию, подразумевающую синхронизацию между нарративами и действиями, особенно в рамках такого культурально гетерогенного объединения, как БРИКС. Другой проблемой становится слабая теоретизированность стратегической культуры, которая может приводить к эссенциализации (как демонизации, так и идеализации), становящейся преградой для поиска продуктивных в плане межкультурного взаимодействия элементов. Наконец, концепция стратегической культуры может применяться для легитимации определённых форм взаимодействия с другими акторами. Анализ трёх стратегических культур объединения (Россия, Индия, Китай), основанный на сочетании психологического и нарративного подходов, демонстрирует, что в каждом случае есть культуральные факторы, негативно влияющие на стратегическую коммуникацию этих акторов. Так, Россия склонна к применению силовой модели коммуникации и с большим подозрением относится к действиям в своей сфере интересов. Китай часто концептуализируется как дуалистичный актор, предпочитающий методы непрямого воздействия, а попытки идеализации китайской стратегической культуры китайскими исследователями оказываются неэффективными в условиях повсеместной распространённости западных нарративов о ползучей экспансии КНР. Эффективность же стратегической коммуникации Индии оказывается под вопросом в связи с современным отходом от стратегического культурального принципа ахимсы и ростом националистических настроений в стране. Для координации различных стратегических культур и создания общей стратегической культуры БРИКС как широкого набора стратегических инструментов целесообразно использование методов межкультурной философии.*

Ключевые слова: стратегическая культура, стратегическая коммуникация, стратегический нарратив, стратегическая субкультура, БРИКС, Россия, Китай, Индия

Для цитирования: Кочеров О.С. Стратегические культуры Индии, КНР и РФ в контексте стратегической коммуникации БРИКС. *Восток (Oriens)*. 2026. № 5. С. 107–118. DOI: 10.31696/S086919080039567-0

[1] Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 25-18-00699, https://rscf.ru/project/25-18-00699/

STRATEGIC CULTURES OF CHINA, INDIA AND RUSSIA IN THE CONTEXT OF BRICS STRATEGIC COMMUNICATION

© 2026

Oleg S. KOCHEROV [a]

[a] – Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia
ORCID: 0000-0002-2745-5991; o.s.kocherov@spbu.ru

Abstract: *Although strategic culture and strategic communication are closely related concepts, their relationship has remained largely unexplored. While their interaction can be productive, the gap between symbolic discourse and strategic behavior can negatively impact strategic communication, which implies synchronization between narratives and actions, especially within such a culturally heterogeneous association as BRICS. Another problem is the weak theorization of strategic culture, which can lead to essentialization (both demonization and idealization), which becomes an obstacle to the search for elements within cultures that can be employed in intercultural dialogue. Finally, strategic culture can be weaponized to legitimize certain forms of interaction with other actors. An analysis of three strategic cultures of BRICS (Russia, India, and China), based on a combination of psychological and narrative approaches, demonstrates that in each case, there are cultural factors that negatively impact these actors' strategic communication. Russia tends to employ a coercive communication model and is highly suspicious of actions within its sphere of interest. China is often conceptualized as a dualistic actor, preferring indirect influence, and attempts by Chinese scholars to idealize Chinese strategic culture prove ineffective amid the pervasiveness of Western narratives about China's creeping expansion. The effectiveness of India's strategic communication is questionable given its current retreat from the strategic cultural principle of ahimsa and the rise of nationalist sentiments within the country. To coordinate these diverse strategic cultures and create a common BRICS strategic culture as a broad set of strategic tools, it is advisable to use methods of intercultural philosophy.*

Keywords: strategic culture, strategic communication, strategic narrative, strategic subculture, BRICS, Russia, China, India

For citation: Kocherov O.S. Strategic Cultures of China, India and Russia in the Context of BRICS Strategic Communication. *Vostok (Oriens).* 2026. No. 5. Pp. 107–118. DOI: 10.31696/S086919080039567-0

ВВЕДЕНИЕ

Тезис о том, что культура влияет на коммуникацию, уже давно не нуждается в доказательствах. Особую роль их связь приобретает при исследовании и конструировании стратегической коммуникации (СК) – проекции актором долгосрочных ценностей, интересов и целей в сознание определённой аудитории через адекватную синхронизацию слов, дел и образов для достижения конкретных стратегических задач [Bazarkina, Pashentsev, 2021, p. 68]. Культура влияет как на принятие акторами решений, отбор предпочитаемых форм и норм коммуникации и восприятие дел и слов других культуральных акторов, так и на содержание транслируемых сообщений и их рецепцию различными культуральными группами.

Не менее комплексным, но гораздо более проблематичным и трудноизмеримым является влияние культуры на политику. Одним из подходов к его изучению стала концепция стратегической культуры (СКу). По определению К. Грея, она представляет «совокупность

разделяемых членами общности убеждений, предположений, моделей поведения, проистекающих из общего опыта и принятых нарративов (в устной и письменной формах), которая определяет коллективную идентичность и отношения с другими группами и утверждает подходящие цели и средства в процессе обеспечения собственной безопасности» [Strategic, 2009, p. 9]. Хотя в большинстве исследований СКу рассматривается её функционирование на уровне отдельных государств, она может формироваться и в различных международных организациях и объединениях. Тем не менее вопрос о том, насколько сейчас можно говорить о чётко оформленной СКу таких объединений, как НАТО [Becker, 2025] или АСЕАН [Arif, 2025], остаётся дискуссионным.

При этом отношения между СК и СКу остаются фактически неизученными. Представляется, что для столь неоднородных в культуральном плане объединений, как БРИКС, культура может оказаться как важнейшим фактором эффективной СК, так и серьёзной преградой на её пути.

Существуют различные мнения относительно того, как культуры стран БРИКС влияют на стратегический потенциал объединения. Согласно одной точке зрения, страны-участницы демонстрируют совершенно разные паттерны стратегического мышления, что серьёзно затрудняет их сотрудничество [Degaut, 2015, p. 21]. В ответ на это С. Богданов замечает, что различия в СКу станут препятствием для БРИКС только если произойдёт существенная институционализация и иерархизация объединения. На современном же этапе культуральное разнообразие стран-участниц лишь положительно влияет на развитие БРИКС, поскольку способствует развитию инновационных подходов и стратегий взаимодействия [Bogdanov, 2019, p. 155].

В тематической литературе высказываются и различные мнения о совместимости СКу конкретных стран БРИКС. Так, некоторые исследователи считают, что сотрудничество РФ и КНР ограниченно в связи с различными приоритетами их СКу [Staun, Sørensen, 2023]. Впрочем, распространён и тезис о том, что КНР и РФ демонстрируют как сходство «авторитарных» СКу, так и общность стратегических интересов (прежде всего сопротивления западной модели мироустройства) [Rozman, 2014], в связи с чем конфликт между ними крайне маловероятен. Такое расхождение оценок обуславливает необходимость более детального рассмотрения связи между СК и СКу, а также анализа СКу стран БРИКС.

В настоящей статье предпринята попытка проанализировать СКу трёх ключевых стран-участниц БРИКС (Индии, КНР и РФ) и определить, в какой мере их основные элементы могут стать преградой на пути к конструированию общей системы СК объединения. Хотя существуют работы, в которых рассматривается роль культуры в СК этих стран (см., например, [Zabella, Kong, 2026]), сравнительных исследований СКу Индии, КНР и РФ (тем более их коммуникативного измерения) фактически нет.

КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ

Хотя культура часто фигурирует в исследованиях СК, обычно это работы, посвящённые вопросам эффективного менеджмента частных и публичных компаний в мультикультурных контекстах. Так, речь часто идёт об «организационных культурах», под которыми понимается «совокупность коллективных структур знания, включая убеждения и ценности» [Johnston, Everett, 2014, p. 166]. В их рамках функционируют критерии культурального отбора («коммуникативной передачи культуральных вариантов через процесс принятия решений» [Johnston, Everett, 2014, p. 159]), которые влияют на итоговые нарративы и действия организации.

В исследованиях, посвящённых СК в международных отношениях, культура чаще всего упоминается в контексте миротворчества и международной помощи [Bellou, 2014]. При

этом анализируются в основном западные модели СК и функционирование западных стратегических нарративов в поликультуральных контекстах. Как отмечает Э. Амевор, крайне мало исследований посвящено тому, почему западный подход к СК, взятый на вооружение международными гуманитарными организациями, часто оказывается неэффективным в незападных культуральных регионах (например, в Африке) [Amevor, 2025].

Ряд исследований посвящён и вопросам культурального измерения СК международных организаций. В частности, исследователи СК БРИКС отмечают, что культуральный нарратив объединения остаётся тривиальным. Во многом это происходит потому, что сложно найти баланс между культуральным капиталом стран-участниц, особенно в условиях параллельного развития мощных тематических стратегических нарративов отдельными членами объединения (например, КНР своим проектом «Один пояс, один путь» заглушает гораздо менее развитые инициативы других стран) [Van Noort, 2018, p. 94]. Играют роль и сохраняющееся недоверие, и стратегическое соперничество между некоторыми участниками БРИКС, а также недостаток координации при проведении и освещении культурных мероприятий, часто выливающийся в конкуренцию за престиж, а не укрепление единства [Lee, Kornphetcharat, Sims, 2025]. Иными словами, исследование СКу стран-участниц объединения может поспособствовать устранению ряда противоречий между ними и созданию единой системы СК.

НАРРАТИВНЫЙ ПОВОРОТ В ТЕОРИИ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Несмотря на относительно давнее зарождение, СКу остаётся расплывчатой концепцией. Тем не менее современные исследователи (представители «четвёртого поколения») в целом достигли согласия относительно ряда её аспектов.

Во-первых, если первое поколение исследователей СКу делало акцент на как рационализированных, так и подсознательных убеждениях политической элиты, внимание исследователей «четвёртого поколения» привлекают именно нарративы. Нарративы встроены в СКу по меньшей мере в двух отношениях. С одной стороны, политические элиты усваивают СКу через знакомство с её основополагающими текстами и их ведущими интерпретациями. С другой стороны, элиты сами порождают нарративы, которые воспроизводят, и одновременно с этим реинтерпретируют СКу и тем самым влияют на имеющиеся стратегические выборы. Вместе с тем традиционный подход к СКу (СКу как набор сознательных и подсознательных установок) продолжает пользоваться популярностью.

Во-вторых, в культуре функционируют различные стратегические нарративы, которые отражают интересы и воззрения различных стратегических субкультур, конкурирующих друг с другом за влияние на процесс принятия внешнеполитических решений [Heuser, 2023, p. 21]. Но хотя такая концептуализация СКу позволяет раскрыть её0 комплексный характер и избежать банализирующих её генерализаций, она порождает и новые методологические проблемы, связанные с тем, как идентифицировать эти субкультуры и концептуализировать отношения между ними (радикальная ли это конкуренция диаметрально противоположных взглядов, или же у них есть общее «стратегическое ядро»).

Акцент на нарративах является важным сближающим фактором между СК и СКу. В нарративах тесно переплетаются идентичность и стратегические предпочтения, в связи с чем они могут находить отклик у реципиентов как по культуральным, так и по стратегическим причинам. Исследования СК показывают, что нарративы, резонирующие с представлениями аудитории об онтологической безопасности, более успешно воспринимаются реципиентами [Colley, van Noort, 2022]. Это можно объяснить тем, что коммуникация представляет собой не только передачу информации, но и своеобразный ритуал,

который формирует сообщество на основе разделяемых его членами смыслов и ценностей и одновременно с этим приписывает фрагментам бытия определённые интерпретации. Успешная межкультурная СК тем более должна являться актом совместного творения [Botan, 2017, p. 167–174].

СК и СКу связаны не только на уровне слов, но и на уровне образов (символов). Для прояснения этой связи обратимся к определению СКу, данному А. Джонстоном: «система символов (например, структур аргументации, языков, аналогий, метафор), которая устанавливает распространённые долгосрочные стратегические предпочтения через концептуализацию роли и эффективности военных сил в международных отношениях и через придание этой концептуализации такой истинности, что предписываемые ей стратегические предпочтения кажутся неизменно реалистичными и эффективными» [Johnston, 1995, p. 110]. Иными словами, и СК, и СКу в своём функционировании опираются на разнообразные символы (хотя и несколько разного порядка), которые должны резонировать с реципиентом. В связи с этим весьма перспективным пересечением исследований СКу и СК представляется анализ образов «Другого», воплощающих восприятие актором международной среды (см., например, [Воротников, Панков, 2025]).

В то же время на уровне действий СК и СКу вступают в крайне непростые отношения. Важным методологическим вопросом для всех поколений теории СКу является проблема разграничения между СКу и стратегическим поведением. А. Джонстон отмечает, что политическое поведение акторов далеко не всегда совпадает со стратегическим дискурсом, в связи с чем последний носит во многом символический характер. Это не означает, что у него нет функций: он используется для подкрепления общественных представлений о легитимности и компетентности политических элит, для устрашения противника и предотвращения его агрессии, для критики стратегических альтернатив и укрепления солидарности в обществе [Johnston, 1998, p. 55–57]. Разграничение между СКу и стратегическим поведением вылилось в полемику между Джонстоном и К. Греем, который считает, что два этих феномена неотделимы друг от друга, поскольку культура неизменно является контекстом принятия политических решений [Gray, 1999]. Хотя их позиции в определённой степени сближаются через постулирование различных стратегических субкультур, которые могут порождать противоречия между нарративами и деятельностью [Bloomfield, 2012], спор о методологической сущности и верифицируемости теории СКу далёк от завершения.

Если СКу действительно присущ зазор между символическим дискурсом и стратегическим поведением, она вступает в столкновение с самой сутью СК. В связи с этим весьма показательно, что многие современные исследователи СКу заявляют о необходимости анализа и слов, и дел [Skak, 2023, p. 166–167] как сфер проявления СКу.

АНАЛИЗ СТРАТЕГИЧЕСКИХ КУЛЬТУР ИНДИИ, КНР И РФ

Теория СКу на данный момент не располагает единым инструментарием для её анализа (тем более сравнительного). Исследователи предлагают различные методы: дискурс-анализ и контент-анализ, кросс-культурный, семантический и семиотический анализ, изучение документов [Белозёров, 2022, с. 40] и т. д. Ситуация осложняется тем, что, как было сказано ранее, нарративный подход к СКу конкурирует с психологическим (СКу как набор установок).

На наш взгляд, психологический подход проблематичен по меньшей мере в двух отношениях. Во-первых, он чреват эссенциализацией – приписыванием носителям культуры ограниченного и неизменного набора качеств и стратегических предпочтений. Сама по себе

эссенциализация довольно часто используется в официальных нарративах политической элиты в качестве базового способа создания позитивного образа культуры. Но при этом, как справедливо отмечает американский политолог У. Уолфорт, часто исследователи СКу настолько проникаются ей, что фактически начинают некритически воспроизводить нарративы властей этой страны [Сушенцов, 2020, с. 374]. Эссенциализация чревата не только тем, что из-за неё СК будет направлена не на реальных носителей культуры, а на коллективный стереотипный образ, но и тем, что она значительно сужает творческий потенциал культуры как источника норм и подходов к решению проблем. К примеру, некритическое согласие с тезисом о том, что китайская или индийская культуры являются исключительно пацифистскими, лишь преграждает нам путь к использованию их интеллектуальных ресурсов (например, китайской прото-концепции справедливой войны [Рыков, Кочеров, 2024]).

Во-вторых, результаты анализа, полученные при помощи психологической интерпретации СКу, крайне легко использовать для манипуляций. К примеру, в некоторых западных исследованиях утверждается, что для российской и китайской СКу характерен акцент на информационную и политическую войну, которые они на настоящем этапе используют в борьбе против демократии [Paterson, Hanley, 2020]. Иными словами, сама теория СКу может быть использована как «зловредный» стратегический нарратив, приписывающий описываемому актору определённые качества и интерпретации его действий и тем самым легитимизирующий определённые формы взаимодействия с ним.

В связи с этим в дальнейшем кратком обзоре СКу РФ, КНР и Индии в контексте их потенциального влияния на СК БРИКС мы проанализируем то, какие основные паттерны стратегического культурального мышления этих стран выделяются в тематической литературе.

РОССИЯ

При описании российской СК акцент обычно делается не на ключевые тексты отечественной интеллектуальной традиции, а на геополитические факторы. По мнению китайского исследователя Циня Личжи, протяжённость границ российского государства и хроническая нехватка возможностей по их обороне, часто выливающаяся во вторжения неприятеля, привели к тому, что основным драйвером СКу стал страх перед внешними угрозами [Qin, 2022]. Это привело к широкой распространённости реалистского мышления: опоре на армию, стремлению к стратегической автономии и созданию благоприятной внешнеполитической обстановки (прежде всего через установление влияния в регионе и создание буферных зон), а также убеждённости в том, что безопасность государства зависит от его места и статуса в международном порядке. Цинь также считает, что для российской СКу характерна экспансионистская модель: безопасность тесно увязывается с расширением границ и контролем над стратегически важными геополитическими объектами. Хотя этот аспект СКу может потенциально привести к конфликту между РФ и КНР, по мнению исследователя, это маловероятно в силу приоритизации Китаем оборонительной стратегии и его нежелания осуществлять экспансию в буферную зону [Qin, 2022, p. 385]. Эти же элементы во многом проявляются и в новых сферах (например, в информационной [Kari, Pynnöniemi, 2023]).

Другой важной чертой российской СКу является её тесная диалектическая взаимосвязь с Западом, который концептуализируется ей как «значимый Иной» [Dagi, 2025]. С одной стороны, Россия ожидает от Запада признания своего статуса в качестве равноправной державы. С другой стороны, с Запада часто исходит онтологическая угроза существованию России. Последняя итерация этой угрозы, проявившаяся в секьюритизации

Россией расширения НАТО на восток и цветных революций [German, 2020] и восприятии Западом российского стремления сохранить сферу своего влияния как анахронизма, завела российско-американские отношения в тупик [Вершинин, Кривопалов, 2023, с. 96–97]. Неприятие Западом России повлияло на её самоидентификацию и видение исторической роли как защитника русского мира, христианских и традиционных ценностей от западных стран, предавших их.

Важным источником российской СКу являются воззрения советского руководства: представления о допустимости всех средств борьбы против мирового империализма, приоритет стратегического над политическим [Вершинин, Кривопалов, 2023] и серьёзная ограниченность круга политических агентов, склонность к нахождению скрытых смыслов и мотивов в сообщениях и действиях других акторов (что, в частности, обуславливает акцент советской СКу на разведке и контрразведке), а также обеспечение собственной безопасности через устрашение потенциальных неприятелей [Skak, 2023, p. 165–166].

Наконец, ещё одной особенностью российской СКу (или, по крайней мере, её исследований) является то, что в ней фактически не выделяется субкультур. Т. Герман считает, что во время правления Горбачёва мейнстримная российская милитантная субкультура утратила свои позиции, и на передний план вышла субкультура, более склонная к кооперации с Западом [German, 2020, p. 8]. Тем не менее в большинстве случаев российская СКу описывается через взаимодействие президента с силовыми структурами (Росгвардия, Генштаб).

Таким образом, РФ обычно концептуализируется как страна, склонная к силовому подходу в коммуникации, что обусловлено её чувством собственной онтологической уязвимости из-за «тирании географии». Негативно на СК РФ может влиять и подозрительность к нарративам и действиям других акторов, особенно в сфере традиционного влияния РФ. Эти факторы в определённой степени объясняют слабую оформленность СК в современной российской внешнеполитической деятельности.

КНР

Китайская СКу наряду с российской является одним из наиболее популярных направлений тематических исследований. Объясняется это не только удельным весом КНР на современной международной арене, но и древностью китайской традиции. Классическая китайская философия, в большинстве работ рассматриваемая как основной источник китайской СКу, сформировала множество стратегических принципов: от важности нравственности в политических отношениях до акцента на непрямых методах воздействия на оппонента и особых форм концептуализации внешнеполитического пространства (квазиданнической системы, формирующей геокультурный ландшафт). При этом стратегические конструкты, появившиеся во время прихода в Китай марксизма (например, «активная оборона», «народная война» и т.д.), во многом являются не столько новым пластом СКу, сколько творческим переосмыслением традиционного наследия, особо ярко проявляющимся при лидерстве Си Цзиньпина в концепции «второй интеграции» (*ди эр гэ цзехэ* 第二个结合): интеграции марксизма с элементами китайской культуры.

В целом же исследования китайской СКу часто делают акцент на её дуалистичности. Этот дуализм проявляется уже в спектре её интерпретаций исследователями: для многих работ характерна либо демонизация китайской стратегии (во многом наследующая ориенталистскому подходу к изучению незападных культур), либо её идеализация (характерная для многих китайских исследователей [Кожухова, 2021, с. 138–139] и, возможно, возникшая как реакция как дискурсивную агрессию со стороны Запада).

Так, А. Джонстон утверждал, что китайская традиция представлена двумя парадигмами: реалполитической (*parabellum*), которая определяла стратегическое поведение китайской политической элиты на протяжении всей истории, и конфуцианской, являющейся символической, номинально легитимирующей реальные политические решения [Johnston, 1998]. Работа Джонстона подверглась критике за чрезмерное упрощение китайской СКу (в частности, за игнорирование иных течений китайской классической мысли – например, даосизма [Graaf, 1999]). В то же время многие исследователи китайской СКу продолжают придерживаться интерпретации Джонстона. Так, по мнению Э. Скобелла, китайские политические лидеры одновременно реализуют политический курс в духе реализма, но при этом неизменно концептуализируют его как оборонительный, доказывая это ссылками на конфуцианство [Scobell, 2003].

В некоторых исследованиях китайской СКу [Munro, 2023] представлен более продуктивный дуализм, который позволяет описать её через ряд пар: унижение и величие (историческая память о полуколониальной зависимости Китая от западных держав, обуславливающая приверженность КНР принципам незыблемости суверенитета и невмешательства во внутренние дела других акторов, а также стремление к обретению достойного статуса в международной системе), развитие и равенство (экономический курс КНР, который встраивается в более фундаментальный вопрос о взаимоотношении китайской модели с западной), свобода и порядок и т. д. В то же время даже такой дуализм едва ли может передать разнообразие политико-культурного ландшафта Китая и специфику влияния различных групп интересов на процесс принятия решений.

В целом распространённость представлений о дуалистичности Китая также негативно сказывается на его СК, особенно в условиях продвижения Западом нарративов о ползучей экспансии КНР и имперских амбициях Пекина. Попытки китайских исследователей защитить свою традицию от этой дискурсивной агрессии через идеализацию первой пока едва ли можно назвать успешными.

ИНДИЯ

Дискуссии об индийской СКу начались во многом с эссе политолога Дж. Танхама [Tanham, 1996], в котором высказывалась мысль об отсутствии у Индии стратегического мышления, обусловленном историко-культурным опытом страны. Этот тезис привёл к всплеску интереса к СКу как в самой Индии, так и вне её.

Исследователи выделяют в индийской традиции по меньшей мере три основных источника влияния на СКу:

Индуистский литературный канон. Он представлен, во-первых, традицией *артха-шастр*, которая, по мнению современных исследователей индийской философии, может считаться связующим звеном между древнеиндийскими религиозными и политическими текстами [Kamal, 2022, p. xxvi]; во-вторых, более идеалистической по сравнению с *артха-шастрами* традицией, заложенной Буддой и развитой М. Ганди [Дего, 2020, с. 230];

Национальное освободительное движение (синтез индийской мысли и западной философии);

Американский политический дискурс и его институционализация (терминология теории международных отношений, аналитические центры и т. д.) [Beitelmair-Berini, 2017, p. 104].

Эти источники повлияли на формирование основных компонентов индийской СКу (её «ядра») – сдержанности, амбивалентности и стратегической автономии. Первый, тесно связанный с принципом ненасилия (*ахимса*), подразумевает нежелание использовать военную силу, а в тех случаях, когда это необходимо – отказ от конвертирования успехов

на поле боя в долгосрочные стратегические преимущества. Второй компонент означает отсутствие чётко выраженных на доктринальном уровне стратегических принципов (что можно объяснить как нежеланием индийской политической элиты ограничивать себя в стратегическом выборе, так и традиционным акцентом на устную культуру в индийской традиции). Третий, проистекающий из опыта движения неприсоединения, подразумевает независимый внешнеполитический курс, особенно в отношении других великих держав (прежде всего США) [Chaya, 2022, p. 20–21]. По мнению исследователя индийской СКу К. Камала, эти компоненты отражают индийскую приверженность приспособительной и оборонительной стратегиям, заложенную уже в «Артхашастре» Каутильи [Kamal, 2022, p. 213].

В тематических работах также выделяется несколько основных стратегических субкультур: «нерувианисты», выступающие за стратегическую автономию и сдержанный внешнеполитический курс; турбонационалисты, считающие необходимым усиление Индии и более активную роль на мировой арене; левые, стремящиеся к сближению со странами Глобального Юга, и либеральные глобалисты, приоритизирующие торговлю и дипломатию, а также отношения с Западом. [Beitelmair-Berini, 2017]. Хотя в целом все эти субкультуры придерживаются принципов, составляющих ядро индийской СКу, некоторые исследователи [Pervez, 2023, p. 321] считают, что на современном этапе происходит отход от принципов *ахимсы* в сторону более активной националистической политики. В условиях приверженности Индии принципу стратегической амбивалентности такая политическая динамика едва ли поспособствует эффективности СК Индии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: К СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ БРИКС

Проведённый краткий анализ при всех его ограничениях демонстрирует, что СКу стран БРИКС не являются несопоставимыми и тем более не диктуют членам объединения логику неизбежного конфликта между ними. При этом необходимы дальнейшие исследования, которые, с одной стороны, будут закрывать лакуны в имеющихся данных (например, анализировать практически не изученные стратегические культуры Эфиопии, Египта, Южной Африки) и корректировать нынешние выводы (например, вопрос о наличии в российской стратегической культуре субкультур). Безусловно, крайне важно (особенно в связи с расширением объединения в 2024 г.) изучение вопроса о том, как СКу отдельных стран-участниц влияют на принятие решений самого БРИКС. Вместе с тем в рассмотренных стратегических культурах содержатся элементы, могущие вступить друг с другом в противоречие и негативно сказаться на коммуникации между странами. Тем не менее, поскольку СКу не статичны, адекватно сконструированная СК может не только повысить доверие между акторами, но и предоставить им альтернативные инструменты для реализации своих традиционных стратегических целей.

В связи с этим БРИКС необходимо активизировать изучение СКу членов объединения, при этом избегая как идеализации, так и чрезмерной опоры на зачастую не отрефлексированные западные методы анализа. Важным инструментом здесь может стать межкультурная философия – подход, в рамках которого разрабатываются методы равноправного взаимодействия и творческого синтеза различных философских традиций. Хотя уже существуют различные исследования по смежным темам с применением этого метода (см., например, [Demenchonok, 2024]), эпистемическому сообществу БРИКС предстоит серьёзная работа по картографированию и классифицированию стратегического многообразия их культур.

Целью-максимум на этом направлении сотрудничества стран-участниц объединения может быть создание общей СКу БРИКС. На наш взгляд, синхронизация СКу различных

стран-участниц БРИКС предоставила бы объединению широчайший набор стратегических инструментов и значительно поспособствовала бы эффективности СК БРИКС.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Белозёров В.К. Методы анализа стратегических культур. *Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право*. 2022. Т. 15. № 5. С. 29–49 [Belozerov V.K. Methods of Analysis of Strategic Cultures. *Outlines of Global Transformations: Politics, Economics, Law.* 2022. Vol. 15. No. 5. Pp. 29–49 (in Russian)].

Вершинин А.А, Кривопалов А.А. Российская стратегическая культура: опыт исторической ретроспективы. *Россия в глобальной политике*. 2023. Т. 21. № 6. С. 80–98 [Vershinin A.A., Krivopalov A.A. Russian Strategic Culture in Retrospect. *Russia in Global Affairs.* 2023. Vol. 21. No. 6. Pp. 80–98 (in Russian)].

Воротников В.В., Панков Е.С. Визуальное измерение архетипов стратегической культуры Исландии. *Вестник МГИМО-Университета*. 2025. Т. 18. № 2. С. 44–68 [Vorotnikov V.V., Pankov E.S. Archetypes of Icelandic Strategic Culture: A Visual Analysis. *MGIMO Review of International Relations.* 2025. Vol. 18. No. 2. Pp. 44–68 (in Russian)].

Дего М. Прыгающий ягуар, крадущийся тигр: сравнение стратегических культур Бразилии и Индии. *Вестник международных организаций*. 2020. Т. 15. № 3. С. 223–247 [Degaut M. Leaping Jaguar, Crouching Tiger: Comparing the Strategic Culture of Brazil and India. *International Organisations Research Journal*. 2020. Vol. 15. No. 3. Pp. 223–247 (in Russian)].

Кожухова К.Е. «Стратегическая культура» в научном дискурсе Китая. *Проблемы Дальнего Востока*. 2021. № 3. С. 136–144 [Kozhukhova K.E. Strategic Culture in Chinese Scientific Discourse. *Far Eastern Affairs.* 2021. No. 3. Pp. 136–144 (in Russian)].

Рыков С.Ю., Кочеров О.С. Концепция гуманитарной интервенции в древнекитайской философии и в современном дискурсе КНР. *Полис. Политические исследования*. 2024. № 6. С. 122–139 [Rykov S.Yu., Kocherov O.S. The Concept of Humanitarian Intervention in Ancient Chinese Philosophy and Contemporary Chinese Discourse. *Polis. Political Studies*. 2024. No. 6. Pp. 122–139 (in Russian)].

Сушенцов А.А. Внешняя политика России и стратегическая культура: диалог с Уильямом Уолфортом об исследовательской парадигме. *Quaestio Rossica*. 2020. Т. 8. № 2. С. 369–381 [Sushentsov A. Russia's Foreign Policy and Strategic Culture: A Dialogue with William Wohlforth about the Research Paradigm. *Quaestio Rossica.* Vol. 8. 2020. No. 2. Pp. 369–381 (in Russian)].

Amevor E.B. Culture-Centered Strategic Communication for Sustainable International Development in Africa. *International Journal of Strategic Communication.* 2025. Pp. 1–23.

Arif M. Strategic Culture and Threat Perception: ASEAN's Response to Great Power Rivalry in Indo-Pacific. *The Role of Threat Perceptions in International Relations*. V.M. Chotani (ed.) London: Routledge, 2025. Pp. 138–157.

Bazarkina D.Yu., Pashentsev E.N. BRICS Strategic Communication: The Present and the Future. *Russia in Global Affairs*. 2021. Vol. 19. No. 3. Pp. 64–93.

Becker J. Strategic Culture. *The Oxford Handbook of NATO*. J. Sperling, M. Webber (eds.) Oxford: Oxford University Press, 2025. Pp. 226–244.

Beitelmair-Berini B. Theorising Indian Strategic Culture (s): Taking Stock of a Controversial Debate. *Theorizing Indian Foreign Policy*. M. Hansel, R. Khan, M. Levaillant (eds.) London: Routledge, 2017. Pp. 91–111.

Bellou F. Cultural Awareness in Peace Operations: Effective Marketing or Strategic Communications. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*. 2014. No. 148. Pp. 579–587.

Bloomfield A. Time to Move on: Reconceptualizing the Strategic Culture Debate. *Contemporary Security Policy*. 2012. Vol. 33. No. 3. Pp. 437–461.

Bogdanov S. Issues in the Development of the BRICS' Strategic Narrative. *International Organisations Research Journal*. 2019. Vol. 14. No. 2. Pp. 147–162.

Botan C.H. *Strategic Communication Theory and Practice: The Cocreational Model*. New York: John Wiley & Sons, 2017.

Chaya D. *India's Intelligence Culture and Strategic Surprises: Spying for South Block*. London: Routledge, 2022.

Colley T., van Noort C. *Strategic Narratives, Ontological Security and Global Policy*. Cham: Palgrave Studies in International Relations, 2022.

Dagi D. Reconstructing Russian Strategic Culture. *Journal of Strategic Security*. 2025. Vol. 18. No. 1. Pp. 21–35.

Degaut M. *Do the BRICS still Matter?* Washington: Center for Strategic & International Studies, 2015.

Demenchonok E. Russian Philosophy on the Problem of War and Peace and Intercultural Dialogue. *Revista Guillermo de Ockham*. 2024. Vol. 22. No. 1. Pp. 3–22.

German T. Harnessing Protest Potential: Russian Strategic Culture and the Colored Revolutions. *Contemporary Security Policy*. 2020. Vol. 41. No. 4. Pp. 541–563.

Graaf D.A. Cultural Realism: Strategic Culture and Grand Strategy in Chinese History. Princeton Studies in International History and Politics by Alastair Iain Johnston (Review). *China Review International*. 1997. Vol. 4. No. 2. Pp. 450–453.

Gray C.S. Strategic Culture as Context: The First Generation of Theory Strikes back. *Review of international studies*. 1999. Vol. 25. No. 1. Pp. 49–69.

Heuser B. The Conceptual Heritage of Strategic Culture and Collective Mentality. *Routledge Handbook of Strategic Culture*. K.M. Kartchner, B.D. Bowen, J.L. Johnson (eds.) London: Routledge, 2023. Pp. 17–30.

Johnston A.I. *Cultural realism: Strategic Culture and Grand Strategy in Chinese history*. Princeton: Princeton University Press, 1998.

Johnston A.I. Thinking about Strategic Culture. *International Security*. 1995. Vol. 19. No. 4. Pp. 32–64.

Johnston K.A., Everett J.L. Cultural Influences on Strategic Communication. *The Routledge Handbook of Strategic Communication*. D. Holtzhausen, A. Zerfass (eds.) London: Routledge, 2014. Pp. 157–171.

Kamal K. *Kautilya's Arthashastra: Strategic Cultural Roots of India's Contemporary Statecraft*. Routledge India, 2022.

Kari M.J., Pynnöniemi K. Theory of Strategic Culture: An Analytical Framework for Russian Cyber Threat Perception. *Journal of Strategic Studies*. 2023. Vol. 46. No. 1. Pp. 56–84.

Lee B. T. F., Kornphetcharat K., Sims J. P. Soft Power: BRICS Cultural Diplomacy and the Rebalancing of Global Narratives. *International Review of Humanities Studies*. 2025. Vol. 10. No. 2. Pp. 614–629.

Munro N. China's Identity through a Historical Lens. *Routledge Handbook of Strategic Culture*. K.M. Kartchner, B.D. Bowen, J.L. Johnson (eds.) London: Routledge, 2023. Pp. 179–192.

Paterson T., Hanley L. Political Warfare in the Digital Age: Cyber Subversion, Information Operations and 'Deep Fakes'. *Australian Journal of International Affairs*. 2020. Vol. 74. No. 4. Pp. 439–454.

Pervez M.S. Indian Strategic Culture: A Review Essay. *Routledge Handbook of Strategic Culture*. K.M. Kartchner, B.D. Bowen, J.L. Johnson (eds.) London: Routledge, 2023. Pp. 312–325.

Qin L. The Geopolitical Origins of Russian Strategic Culture and its Enlightenment in China. *Vestnik of Saint Petersburg University. International Relations*. 2022. Vol. 15. No. 4. Pp. 367–389.

Rozman G. *The Sino-Russian Challenge to the World Order: National Identities, Bilateral Relations and East Versus West in the 2010s*. Washington: Woodrow Wilson Center Press, 2014.

Scobell A. *China's Use of Military Force: Beyond the Great Wall and the Long March*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

Skak M. Russian Strategic Culture: A Critical Survey of the Literature. *Routledge Handbook of Strategic Culture*. K.M. Kartchner, B.D. Bowen, J.L. Johnson (eds.) London: Routledge, 2023. Pp. 164–178.

Staun J., Sørensen C.T.N. Incompatible Strategic Cultures Limit Russian-Chinese Strategic Cooperation in the Arctic. *Scandinavian Journal of Military Studies*. 2023. Vol. 6. No. 1. Pp. 24–39.

Strategic Culture and Weapons of Mass Destruction: Culturally Based Insights into Comparative National Security Policymaking. J.L. Johnson, K.M. Kartchner, J.A. Larsen (eds.) New York: Palgrave Macmillan, 2009.

Tanham G. Indian Strategic Thought: An Interpretive Essay. *Strategic Thought and Practice*. K. Bajpai, A. Mattoo (eds.) New Delhi: Manohar Publishers, 1996.

Van Noort C. BRICS Issue-narrative on Culture: Strategic or Trivial? *International Journal of Cultural Policy*. 2018. Vol. 24. No. 6. Pp. 786–797.

Zabella A.A., Kong X. The Role of Culture in China's Strategic Communication. *Vestnik RUDN. International Relations*. 2026. Vol. 26. No. 1. Pp. 77–93.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ / INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

КОЧЕРОВ Олег Сергеевич – кандидат политических наук, старший научный сотрудник факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербург, Россия.

Oleg S. KOCHEROV, PhD (International Relations), Senior Research Fellow, School of International Relations, Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia.

DOI: 10.31696/S086919080040021-0

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВО В АСИММЕТРИЧНОМ КОНФЛИКТЕ: АМЕРИКАНСКАЯ СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ И РОССИЙСКАЯ НОРМАТИВНО-ФАСИЛИТАТИВНАЯ РОЛЬ В ПАЛЕСТИНО-ИЗРАИЛЬСКОМ УРЕГУЛИРОВАНИИ

© 2026

Т.В. АЛНАДЖАР [a]

[a] – Институт международных отношений и мировой истории, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия.
ORCID: 0000-0002-1526-5250; twhn2022@gmail.com

Резюме: *В статье рассматривается международное посредничество в палестино-израильском урегулировании в условиях асимметричного конфликта. Цель исследования состоит в сравнении американской структурной модели и российской нормативно-фасилитативной роли с точки зрения нормативных рамок, приемлемости для сторон, инструментов влияния и способности воздействовать на переговорную среду. Методологическую основу составляет качественный сравнительный анализ двух кейсов с опорой на научную литературу, документы ООН, материалы внешнеполитических ведомств и аналитические доклады. Особое внимание уделяется тому, как внешние акторы не только сопровождают переговоры, но и влияют на распределение политических возможностей между сторонами конфликта.*

Показано, что американская модель выступает как форма структурного, или инженерного, посредничества. Она проявляется в способности США формировать региональные, институциональные, безопасностные и символические условия урегулирования: от Кэмп-Дэвидских соглашений и процесса Осло до Авраамовых соглашений, позиции по Иерусалиму и поселениям, а также послевоенных механизмов управления Газой. Такая модель обладает значительным влиянием, но действует при тесной связи с Израилем и низком уровне палестинского доверия. Российская роль, напротив, не концептуализируется как самостоятельная структурная модель. Она определяется как ограниченная нормативно-фасилитативная роль, основанная на международно-правовой аргументации, поддержке двухгосударственного решения, призывах к прямому диалогу, многосторонних форматах и сохранении каналов связи с палестинскими, израильскими и региональными акторами. Однако её возможности ограничены дефицитом прямых рычагов давления, американской поддержкой Израиля, чувствительностью связей с Ираном и ХАМАС, а также внутрипалестинской фрагментацией. Теоретическое значение исследования состоит в уточнении критериев оценки посредничества в условиях устойчивой асимметрии сторон и изменяющейся региональной среды. Делается вывод, что эффективность посредничества в асимметричных конфликтах определяется не только нейтральностью, но также приемлемостью, рычагами влияния и способностью препятствовать закреплению «фактов на земле» как условий будущих переговоров.

Ключевые слова: палестино-израильский конфликт, международное посредничество, асимметричный конфликт, США, Россия, структурное посредничество, нормативно-фасилитативная роль, двухгосударственное решение, факты на земле, Ближний Восток

Для цитирования: Алнаджар Т.В. Международное посредничество в асимметричном конфликте: американская структурная модель и российская нормативно-фасилитативная роль в палестино-израильском урегулировании. *Восток (Oriens)*. 2026. № 5. С. 119–131. DOI: 10.31696/S086919080040021-0

INTERNATIONAL MEDIATION IN AN ASYMMETRIC CONFLICT: THE AMERICAN STRUCTURAL MODEL AND RUSSIA'S NORMATIVE AND FACILITATIVE ROLE IN THE PALESTINIAN-ISRAELI SETTLEMENT

© 2026

Tareq W. ALNAJJAR [a]

[a] – Institute of International Relations and World History, Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Russia
ORCID: 0000-0002-1526-5250; twhn2022@gmail.com

Abstract: *The article examines international mediation in the Palestinian-Israeli settlement under conditions of asymmetric conflict. It compares the American structural model and Russia's normative and facilitative role in terms of normative framework, acceptability, influence instruments, and capacity to shape the negotiation environment. The methodological basis is a qualitative comparison of two cases, drawing on scholarly literature, UN documents, foreign policy materials, and analytical reports. Particular attention is paid to how external actors accompany negotiations and affect the distribution of political opportunities.*

The article argues that the American model represents structural mediation. It is reflected in the ability of the United States to shape regional, institutional, security, and symbolic conditions of the settlement: from Camp David and Oslo to the Abraham Accords, Jerusalem and settlements, and post-war governance mechanisms in Gaza. This model has considerable influence, but operates in close connection with Israel and is accompanied by low Palestinian trust. In contrast, the Russian approach is not conceptualized as an independent structural model. It is defined as a limited normative and facilitative role based on international legal argumentation, support for the two-state solution, calls for direct dialogue, multilateral formats, and channels with Palestinian, Israeli, and regional actors. Its capacity is limited by the lack of direct leverage, American support for Israel, ties with Iran and Hamas, and Palestinian fragmentation. The study refines criteria for evaluating mediation under asymmetry. It concludes that mediation effectiveness depends not only on neutrality, but also on acceptability, leverage, and the capacity to prevent "facts on the ground" from becoming conditions for future negotiations.

Keywords: Palestinian-Israeli conflict, international mediation, asymmetric conflict, United States, Russia, structural mediation, normative and facilitative role, two-state solution, facts on the ground, Middle East

For citation: Alnajjar T.W. International Mediation in an Asymmetric Conflict: The American Structural Model and Russia's Normative and Facilitative Role in the Palestinian-Israeli Settlement. *Vostok (Oriens)*. 2026. No. 5. Pp. 119–131. DOI: 10.31696/S086919080040021-0

ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Палестино-израильский конфликт остаётся одним из ключевых сюжетов современной ближневосточной политики, поскольку в нём особенно отчётливо проявляется связь между

региональной динамикой, международным правом, внешним вмешательством и асимметрией сил. Актуальность темы усиливается в условиях внутрипалестинской фрагментации, нормализации отношений между Израилем и рядом арабских государств, войны в Газе, начавшейся в 2023 г. и последующих попыток институционального оформления послевоенного управления. Эти процессы вновь поставили вопрос о роли внешних посредников и о пределах их способности влиять на параметры урегулирования.

Цель статьи состоит в сравнительном анализе американской структурной модели и российской нормативно-фасилитативной роли в палестино-израильском урегулировании. Основной исследовательский вопрос формулируется следующим образом: каким образом асимметричный характер конфликта влияет на возможности США и России как внешних акторов, претендующих на участие в процессе урегулирования? Исходная гипотеза заключается в том, что различия между двумя подходами определяются не только степенью декларируемой нейтральности, но и сочетанием трёх факторов: приемлемости посредника для сторон, наличия у него инструментов влияния и способности воздействовать на переговорную среду.

В статье используется аналитическое различение фасилитативного и структурного, или инженерного, посредничества. Под фасилитативным посредничеством понимается роль, связанная прежде всего с поддержанием каналов связи, организацией диалога и снижением коммуникативных барьеров между сторонами. Оценочное посредничество занимает промежуточное положение, поскольку предполагает более активное участие посредника в оценке позиций сторон, формулировании возможных вариантов решения и обозначении пределов переговорных ожиданий. Однако для целей настоящего исследования наибольшее аналитическое значение имеет противопоставление фасилитативной и структурной логики. Под структурным, или инженерным, посредничеством понимается более широкий тип внешнего участия, при котором посредник влияет не только на переговоры, но и на политическую, институциональную, региональную и символическую среду конфликта [Bercovitch, 1992; Touval, Zartman, 1985]. Такое различение особенно важно для анализа асимметричных конфликтов, поскольку в них посредник может не только поддерживать диалог между сторонами, но и воздействовать на условия, которые становятся основой последующего переговорного процесса.

Для операционализации этого различия используются несколько индикаторов. Структурное посредничество определяется способностью внешнего актора предоставлять военные, финансовые и дипломатические гарантии, влиять на решения международных институтов, формировать параметры безопасности и управления, участвовать в переопределении вопросов окончательного статуса и воздействовать на закрепление «фактов на земле» как исходных условий будущих переговоров. Нормативно-фасилитативная роль, напротив, проявляется в поддержании каналов связи, апелляции к международно-правовой рамке, участии в многосторонних форматах и сохранении контактов с акторами, исключаемыми из других дипломатических треков, но не предполагает самостоятельной способности навязать сторонам параметры урегулирования или предоставить систему гарантий, сопоставимую со структурным посредничеством.

Методологическую основу статьи составляет качественный сравнительный анализ двух кейсов. Американский кейс рассматривается как пример структурного, или инженерного, посредничества, поскольку США обладают инструментами, позволяющими воздействовать на региональные союзы, палестинские институты, критерии легитимности, вопросы окончательного статуса и послевоенные механизмы управления. Российский кейс анализируется как ограниченная нормативно-фасилитативная роль, основанная на международно-правовой аргументации, поддержке двухгосударственного решения, многосторонних форматах и сохранении каналов связи с палестинскими, израильскими и региональными акторами.

Эмпирическую базу исследования составляют документы ООН, материалы внешнеполитических ведомств США и России, аналитические доклады, заявления политических акторов, а также научные статьи и монографии по проблематике международного посредничества, палестино-израильского конфликта и ближневосточной политики. Сопоставление проводится по единым параметрам: нормативная рамка внешнего участия, приемлемость посредника для сторон, инструменты влияния, способность воздействовать на переговорную среду и ограничения, препятствующие превращению посреднической роли в устойчивый механизм урегулирования.

АМЕРИКАНСКАЯ МОДЕЛЬ ПОСРЕДНИЧЕСТВА: СТРУКТУРИРОВАНИЕ ПЕРЕГОВОРНОЙ СРЕДЫ

Американская роль в палестино-израильском урегулировании не сводится к классическому фасилитативному посредничеству. США выступали не только организатором переговоров, но и актором, воздействующим на более широкую политическую, региональную и институциональную среду конфликта. Поэтому американскую модель можно рассматривать как форму структурного, или инженерного, посредничества: её особенность определяется не столько близостью Вашингтона к Израилю, сколько наличием военных, финансовых, дипломатических и институциональных инструментов влияния на параметры переговорного процесса [Bercovitch, 1992; Crocker et al., 2004].

Первым важным проявлением такой роли стали Кэмп-Дэвидские соглашения 1978 г., создавшие основу для египетско-израильского мирного договора и выведшие крупнейшую арабскую страну из прямого военного противостояния с Израилем [*The Camp David Accords*, 1977–1981]. В результате двусторонние соглашения с Израилем постепенно стали рассматриваться отдельно от комплексного решения палестинской проблемы. Эта логика получила развитие в Авраамовых соглашениях 2020 г., усиливших нормализацию арабо-израильских отношений без прямой привязки к прогрессу на палестинском треке [*The Abraham Accords*, 2020; Rynhold, 2021, p. 121–146].

Этот сдвиг был связан с трансформацией места палестинской проблемы в региональной системе. Долгое время арабо-израильское противостояние выполняло системообразующую функцию, влияя на легитимность арабских режимов и пределы взаимодействия с Израилем. Однако после египетско-израильского мира, войн в Персидском заливе, усиления иранского фактора, арабских восстаний и роста значения вопросов безопасности и экономики палестинская проблема утратила способность единолично определять региональную повестку [Звягельская, Тюкаева, 2021, с. 80–95]. Сохранив символическое значение, она уже не обладала прежней функцией «вето» на нормализацию, что позволило США всё чаще рассматривать арабо-израильскую нормализацию отдельно от прогресса на палестинском направлении.

На палестинском направлении структурный характер американского посредничества проявился прежде всего в процессе Осло. Декларация принципов 1993 г. создала рамку переходного самоуправления, но отложила вопросы окончательного статуса [*The Oslo Accords*, 1993]. В результате палестинские институты формировались в условиях ограниченного суверенитета, зависимости от внешнего финансирования и приоритета безопасности. Как отмечается в российской литературе, переговорная архитектура 1990-х гг. не устранила ключевые противоречия конфликта, а перенесла их в более длительный и институционально ограниченный процесс [Морозов и др., 2024, с. 136–154].

В 1990-е гг. структурное воздействие США сохраняло форму управляемого переговорного процесса и проявлялось менее прямолинейно, чем впоследствии: палестинский

вопрос ещё занимал значимое место в арабской повестке, и Вашингтон был вынужден поддерживать образ посредника, действующего в рамках более широкой мирной формулы. В этом контексте следует рассматривать и попытки периода Б. Клинтона удержать вопрос Иерусалима в рамках переговорного компромисса. Однако даже эта более сдержанная форма американской инженерии не устраняла асимметрию конфликта, а переводила её в институционально управляемую рамку.

После второй интифады подход получил дополнительное измерение в сфере безопасности: участие США в реорганизации палестинских сил безопасности было направлено на поддержание стабильности и предотвращение эскалации с Израилем [*Palestinian Authority*, 2010], и безопасность стала одним из условий функционирования Палестинской администрации. Параллельно США и их партнёры по «квартету» повлияли на критерии палестинской легитимности: после победы ХАМАС на выборах 2006 г. признание будущего правительства было поставлено в зависимость от отказа от насилия, признания Израиля и соблюдения ранее заключённых соглашений [*Quartet*, 2006; Лещеня, 2016, с. 168–181].

Важным критерием становится не только доверие сторон к посреднику, но и их фактическая возможность принять или отвергнуть его роль. Для палестинской стороны американское посредничество не было результатом свободного выбора: в отношении ХАМАС западная линия выражалась в изоляции и делегитимации движения, тогда как Палестинская администрация сохранялась как партнёр, но включалась в систему безопасности, помощи и внешне заданных критериев управляемости. Поэтому приемлемость носила во многом вынужденный характер: одна часть палестинского поля была выведена за пределы официальной рамки, а другая участвовала при ограниченной способности определять её условия.

Американское и европейское влияние затронуло и символико-политическое пространство конфликта. Требования пересмотра палестинских учебных программ, формулируемые в терминах «мира» и «толерантности», выходят за рамки образовательной политики. Исследование палестинских учебников, подготовленное Институтом Георга Эккерта по заказу ЕС, показывает, что школьные тексты рассматриваются внешними акторами как часть политической среды конфликта [*Report*, 2021]. Тем самым образовательная повестка становится элементом борьбы за интерпретацию конфликта и границы приемлемого дискурса.

Особенно отчётливо структурная роль США проявилась в вопросах окончательного статуса, хотя американская линия не была однородной. Показательна резолюция СБ ООН 2334, декабрь 2016 г., (США воздержались при её принятии): она подтвердила, что израильские поселения на оккупированной с 1967 г. территории, включая Восточный Иерусалим, не имеют юридической силы и нарушают международное право [*Resolution 2334*, 2016]. Однако этот эпизод не сопровождался устойчивым давлением: международно-правовое осуждение не было преобразовано в механизм принуждения, и «факты на земле» продолжали укрепляться как исходное условие будущих переговоров.

Администрация Д. Трампа придала американской структурной роли более односторонний характер. Признание Иерусалима столицей Израиля и перенос посольства изменили положение одного из ключевых вопросов урегулирования [*Statement by President Trump*, 2017], а заявление о том, что израильские поселения на Западном берегу сами по себе не противоречат международному праву, закрепило этот сдвиг [Pompeo, 2019]. Речь идёт не о разрыве между несовместимыми линиями, а о вариативности внутри единой структурной позиции США: при разных администрациях менялись риторика и степень правовой сдержанности, но сохранялась способность Вашингтона влиять на политические, правовые и переговорные параметры урегулирования.

После войны в Газе 2023 г. американская модель стала ещё заметнее. Поддержка Израиля опиралась на долгосрочные обязательства США, включая меморандум о военной помощи на 2019–2028 гг. в 38 млрд долл. [Fact Sheet, 2016]; по оценке проекта Costs of War, с октября 2023 г. по сентябрь 2025 г. объём помощи составил не менее 21,7 млрд долл. [Hartung, 2025]. На дипломатическом уровне Вашингтон блокировал в Совете Безопасности ООН решения, ограничивающие свободу действий Израиля, а послевоенные проекты управления Газой, включая поддержанный США план и резолюцию СБ ООН 2803 (2025), отражают стремление институционально оформить новую реальность [*Resolution 2803*, 2025]. Тем самым посредничество действует и в пространстве управления последствиями конфликта.

Таким образом, американская модель – не просто ангажированное посредничество в пользу более сильной стороны. Её специфика – в способности структурировать переговорную среду: влиять на региональные союзы, палестинские институты и критерии легитимности, символическое пространство, вопросы окончательного статуса и механизмы послевоенного управления. В асимметричном конфликте такая роль делает посредника не наблюдателем, а участником формирования той политической реальности, в рамках которой ведутся переговоры.

РОССИЙСКАЯ НОРМАТИВНО-ФАСИЛИТАТИВНАЯ РОЛЬ: МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО, МНОЖЕСТВЕННОСТЬ КАНАЛОВ И ПРЕДЕЛЫ ВЛИЯНИЯ

Российская линия не является реакцией только на события последних лет. Ещё на завершающем этапе холодной войны Москва участвовала в запуске мадридского процесса: конференция 1991 г. проходила при совместном председательстве США и СССР и стала рамкой для последующих переговоров [Jensehaugen, 2024]. После Осло российская дипломатия неоднократно возвращалась к идее международного формата с участием Израиля, палестинцев, «квартета» и региональных акторов [Лавров, 2021]. Поэтому современную российскую линию следует понимать как продолжение длительной установки на сохранение международно-правовой и многосторонней рамки урегулирования.

Важно различать отсутствие у России самостоятельного мирного плана и отсутствие посреднического измерения в её политике. В постбиполярный период Москва не выдвигала инициативы, сопоставимой с американскими планами, и не обладала системой гарантий или стимулов, способной подтолкнуть стороны к итоговому соглашению. Однако её роль не сводилась к декларативной позиции: Россия призывала стороны к прямому диалогу, выступала за международные конференции, участвовала в «квартете» и предоставляла площадку для межпалестинских консультаций.

В настоящей статье российская роль определяется как ограниченное нормативно-фасилитативное участие в урегулировании, а не через простое отсутствие американских инструментов влияния. Его содержание заключается в поддержании международно-правовых рамок, апелляции к резолюциям ООН и принципу двух государств, сохранении многостороннего формата, а также в поддержании каналов связи с палестинскими, израильскими и региональными акторами. Ограниченность этой роли связана не с её декларативностью, а с отсутствием у России системы гарантий, стимулов и прямых рычагов давления, сопоставимых с американской структурной моделью.

Официальная российская позиция исходит из поддержки двухгосударственного решения, неприятия односторонних действий и урегулирования на основе резолюций ООН – по вопросам границ, Иерусалима, беженцев и поселений [Корочкина, 2021, с. 52–68]. В российской юридической литературе эта линия связывается с правом палестинского народа на самоопределение и с проблемой признания Палестины, жизнеспособность ко-

торой ограничивается продолжающейся оккупацией и закреплением положения на местах [Хасанов, 2023, с. 164–173]. Накопление территориальных и политических «фактов на земле» рассматривается как угроза самой возможности двухгосударственной формулы [Лавров, 2024].

Россия не только сохраняет каналы связи с палестинскими и региональными акторами, но и позиционирует себя как возможного посредника – не претендуя на монопольное руководство, а выражая готовность содействовать прямому палестино-израильскому диалогу и участвовать в многосторонних форматах. Это проявлялось в заявлениях о готовности способствовать возобновлению переговоров и в организации межпалестинских консультаций в Москве [Лавров, 2021; *МИД*, 2020].

Важным преимуществом остаётся способность Москвы поддерживать контакты с разными акторами. Россия взаимодействует с Палестинской национальной администрацией как международно признанным институтом, но сохраняет контакты и с ХАМАС, который в российской литературе рассматривается не только как религиозно-идеологическое движение, но и как значимый национально-политический актор [Косач, 2018, с. 179–202]. Эти контакты выражают не идеологическую близость, а прагматическую установку: исключение влиятельного палестинского актора не способствует реализуемому урегулированию [Ahmadian, Barari, 2021, p. 193–223].

О палестинской приемлемости российской роли свидетельствуют и заявления самих акторов. Для Палестинской администрации и ФАТХ российская линия важна как опора на международное право, решения ООН и двухгосударственную формулу [МИД России, 2020]. Это подтверждается и заявлениями палестинских дипломатов: посол Государства Палестина в России А. Ноуфаль связывал визит М. Аббаса в Москву с выработкой нового международного видения мирного процесса и ожиданием более активной роли России в его формировании [Ноуфаль, 2018]. Для ХАМАС значимо то, что Москва сохраняет политический диалог с движением: в марте 2024 г. И. Хания поздравил В.В. Путина с переизбранием, связав российскую позицию с поддержкой палестинского вопроса [Haniyeh, 2024(1)], а в апреле 2024 г. называл Россию среди возможных гарантов соглашения по Газе наряду с Египтом, Катаром, Турцией, ООН и США [Haniyeh, 2024(2)]. Однако это подтверждает скорее коммуникационное преимущество России, чем её способность самостоятельно создать устойчивый переговорный трек.

Палестинская приемлемость не компенсирует ограниченную приемлемость России для Израиля. В асимметричном конфликте важна не только способность говорить со слабой стороной или с акторами вне западных форматов, но и готовность сильной стороны воспринимать посредника как участника рамки. Здесь российская роль сталкивается с серьёзным ограничением: при тесной стратегической связи Израиля с США и после ухудшения российско-израильских отношений в 2022–2023 гг. Москва не располагает достаточной приемлемостью, чтобы превратить свои каналы с палестинцами в механизм давления на Израиль.

До 2022 г. Израиль видел в России не стратегического союзника, а прагматического партнёра по отдельным направлениям — Сирии, Ирану, региональной безопасности; отношения строились скорее как управление рисками, чем как доверие к Москве в роли посредника по палестинскому вопросу [Махмутова, 2020, с. 65–76; Katz, 2018, p. 103–109; Rumer, 2019, p. 12–18]. Российское военное присутствие в Сирии после 2015 г. делало координацию с Москвой практически необходимой, но не превращало Россию в полноценного посредника.

После резкого обострения российско-западного противостояния в 2022 г. и войны в Газе 2023 г. пространство для российско-израильского манёвра сузилось: Израиль ещё сильнее ориентировался на США, сохраняя с Россией лишь неустранимые каналы координации

[Крылов, Микаелян, 2024, с. 23–39]. Дополнительным фактором стали контакты Москвы с ХАМАС после 7 октября 2023 г.: с российской точки зрения диалог с ХАМАС – посредническое преимущество, особенно в гуманитарных вопросах, а в израильском восприятии – политическая легитимация движения [Druyan Feldman, Mil-Man, 2023]. Тем самым один и тот же инструмент повышает коммуникационные возможности Москвы, но снижает её приемлемость для Израиля.

Ограниченная приемлемость для Израиля не означает, что усиление позиции Москвы должно идти через обострение отношений с Израилем или ставку на антиизраильских акторов. Более существенно то, что при сохраняющейся американской дипломатической, военной и политической поддержке Израиля израильская сторона не испытывает практической потребности в российском посредничестве. Пока Вашингтон остаётся главным гарантом израильской безопасности, российская роль для Израиля остаётся скорее дополнительным каналом коммуникации, чем необходимым элементом урегулирования.

Вместе с тем приемлемость посредника не является неизменной. Позиции сторон корректируются под воздействием региональных и международных изменений: готовность палестинского руководства к переговорам в начале 1990-х гг. была связана не только с внутренней эволюцией, но и с изменением среды после войны в Персидском заливе и трансформацией баланса сил. По аналогии, рост региональной турбулентности, напряжённость вокруг Ирана и возможное снижение способности США единолично управлять повесткой могут в перспективе расширить пространство для российской дипломатии.

Региональная среда также ограничивает возможности России. Палестинская проблема, сохраняя символическое значение, отодвигалась на второй план в общеарабской повестке под влиянием новых конфликтов, изменения баланса сил, Авраамовых соглашений и внутрипалестинской фрагментации [Звягельская, Тюкаева, 2021, с. 80–95]. В этих условиях российская апелляция к международному праву и двухгосударственному решению сохраняет нормативное значение, но не всегда становится практическим механизмом давления. Москва способна оспаривать американские формулы в ООН, через БРИКС и в диалоге с Глобальным Югом, однако это воздействие остаётся преимущественно дискурсивно-дипломатическим: оно повышает политическую цену американских подходов, но не превращается в структурный механизм давления на стороны конфликта.

Вместе с тем у России есть инструменты, которые не следует недооценивать: отношения с Ираном как канал коммуникации в периоды эскалации, контакты с палестинскими фракциями в межпалестинском диалоге и гуманитарных вопросах, статус постоянного члена СБ ООН для поддержания международно-правовой рамки. Однако эти инструменты остаются преимущественно дипломатическими и не дают прямых рычагов давления, сопоставимых с американскими.

Серьёзным ограничением остаётся внутренняя палестинская фрагментация. Москва поддерживает контакты и с Палестинской администрацией, и с ХАМАС, может предоставлять площадку для консультаций и призывать к согласованию позиций, однако глубокие противоречия между ФАТХ и ХАМАС препятствуют формированию единой палестинской позиции, без которой посредничество не превращается в устойчивый трек [Рыжов и др., 2025]. Поэтому множественность каналов даёт коммуникационное преимущество, но не обеспечивает перехода к эффективной переговорной роли.

Таким образом, российскую роль можно определить как ограниченную нормативно-фасилитативную роль в урегулировании. Россия способна поддерживать каналы связи, предлагать альтернативный международно-правовой дискурс и повышать политико-дипломатическую цену институционализации «фактов на земле», но на данном этапе этого недостаточно для самостоятельного изменения переговорной среды. Возможное усиление

её роли зависит не от конфронтации с Израилем, а от изменения регионального баланса, сохранения многосторонних каналов и использования ограничений американской монополии на урегулирование.

АНАЛИТИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ АМЕРИКАНСКОЙ СТРУКТУРНОЙ МОДЕЛИ И РОССИЙСКОЙ НОРМАТИВНО-ФАСИЛИТАТИВНОЙ РОЛИ

В таблице 1 обобщены различия между американской структурной моделью и российской нормативно-фасилитативной ролью по пяти параметрам: нормативная рамка, приемлемость, инструменты влияния, воздействие на переговорную среду и пределы роли.

Таблица 1. Американская структурная модель и российская нормативно-фасилитативная роль

Параметр сравнения	**Американская структурная модель**	**Российская нормативно-фасилитативная роль**
Тип внешнего участия	Структурное, или инженерное, посредничество, способное воздействовать не только на переговоры, но и на политическую, институциональную, региональную и символическую среду конфликта.	Ограниченная нормативно-фасилитативная роль, основанная на поддержании каналов связи, международно-правовой аргументации, многосторонних форматах и дипломатическом сопровождении.
Нормативная рамка	Урегулирование через политико-безопасностную архитектуру, в которой США сохраняют ведущую роль и тесную стратегическую связь с Израилем.	Международное право, резолюции ООН, принцип двух государств, неприятие односторонних действий и сохранение многосторонней рамки урегулирования.
Приемлемость для сторон	Высокая для Израиля; для палестинцев во многом вынужденная и функциональная, особенно в условиях зависимости от внешней помощи, безопасности и международного признания.	Более широкая для палестинских акторов благодаря правовой риторике и контактам с разными фракциями, но ограниченная для Израиля, особенно после 2022–2023 гг.
Инструменты влияния	Военная, финансовая, дипломатическая и институциональная поддержка; способность предоставлять гарантии, формировать стимулы, блокировать или продвигать международные решения и влиять на расчёты сторон.	Преимущественно дипломатические и коммуникационные инструменты: статус постоянного члена СБ ООН, связи с палестинскими и региональными акторами, участие в многосторонних форматах, дискурсивно-дипломатическое балансирование через незападные площадки.
Воздействие на переговорную среду и пределы роли	Способность формировать условия переговоров через региональные соглашения, институциональные механизмы, гарантии безопасности, вопросы окончательного статуса и послевоенные проекты управления. Главный риск – закрепление «фактов на земле» как исходных условий будущих переговоров.	Способность поддерживать международно-правовую рамку, сохранять каналы связи и повышать политико-дипломатическую цену односторонних решений. Главный предел – отсутствие прямых рычагов давления, системы гарантий и достаточной приемлемости для Израиля.

Источник: составлено автором

Таблица показывает, что различие между двумя ролями не сводится к оппозиции «нейтрального» и «ангажированного» посредничества, а отражает разные уровни внешнего участия. Американская модель обладает структурным характером, поскольку влияет на условия переговоров и расчёты сторон. Российская роль сохраняет значение как канал международно-правового и дипломатического сопровождения, но не располагает сочетанием давления, гарантий и приемлемости для Израиля, необходимым для самостоятельного изменения переговорной среды.

ВЫВОДЫ

Проведённый анализ подтвердил исходную гипотезу: эффективность внешнего участия в асимметричном конфликте определяется не только нейтральностью посредника, но и сочетанием приемлемости для сторон, инструментов влияния и способности воздействовать на переговорную среду. В палестино-израильском случае это особенно заметно: слабая сторона нуждается в международно-правовой защите и расширении внешней поддержки, тогда как сильная сторона оценивает посредника прежде всего через призму безопасности, гарантий и политической приемлемости.

Американская модель представляет собой форму структурного, или инженерного, посредничества. Её специфика состоит не только в поддержке Израиля, но и в способности формировать региональные, институциональные, связанные с безопасностью и символические условия урегулирования. Это проявилось в Кэмп-Дэвидских соглашениях, процессе Осло, условиях «квартета», Авраамовых соглашениях, позиции по Иерусалиму и поселениям, а также в механизмах управления Газой после войны 2023 г. Главный риск такой модели заключается в закреплении преимущества более сильной стороны в виде устойчивых «фактов на земле», которые затем становятся исходными условиями будущих переговоров.

Российская роль не может быть поставлена в один ряд с американской структурной моделью. Её значение состоит не в выдвижении собственного мирного плана или предоставлении гарантий, а в поддержании международно-правовых рамок, многосторонних форматов и каналов связи с палестинскими, израильскими и региональными акторами. Поэтому её следует определять как ограниченную нормативно-фасилитативную роль. Она имеет политико-дипломатическое значение, особенно для палестинских акторов, ограничивающих монополию американского посредничества, однако сдерживается дефицитом прямых рычагов давления, ограниченной приемлемостью для Израиля, чувствительностью связей с Ираном и ХАМАС, а также внутрипалестинской фрагментацией.

Теоретическое значение исследования состоит в уточнении критериев оценки посредничества в асимметричных конфликтах. Международно-правовая позиция и широкие дипломатические каналы не превращают внешнего актора в эффективного посредника, если он не влияет на расчёты сторон и не воспринимается ими как необходимый элемент урегулирования. Расширение пространства для российской дипломатии возможно при изменении регионального баланса и росте значения незападных площадок, однако это не превращает её роль в структурную модель посредничества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

Звягельская И.Д., Тюкаева Т.И. Палестинская проблема в контексте меняющегося баланса сил. *Пути к миру и безопасности*. 2021. № 2(61). С. 80–95 [Zvyagelskaya I.D., Tyukaeva T.I. The Palestinian

Problem in the Context of Evolving Balance of Power. *Pathways to Peace and Security*. 2021. No. 2(61). Pp. 80–95 (in Russian)].

Корочкина В.А. Палестинская проблема и ее место во внешнеполитической повестке дня России. *Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС*. 2021. Т. 17. № 1. С. 52–68 [Korochkina V.A. The Palestinian Case and Its Place on Russia's Foreign Policy Agenda. *Political Expertise: POLITEX*. 2021. Vol. 17. No. 1. Pp. 52–68 (in Russian)].

Косач Г.Г. Национальное измерение исламского проекта: Движение ХАМАС. *Политическая наука*. 2018. № 4. С. 179–202 [Kosach G.G. The National Dimension of Islamic Project: Hamas Movement. *Political Science*. 2018. No. 4. Pp. 179–202 (in Russian)].

Крылов А.В., Микаелян А.А. Израиль в контексте «новой биполярности». *Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Международные отношения*. 2024. Т. 24. № 1. С. 23–39 [Krylov A.V., Mikaelyan A.A. Israel in the Context of the "New Bipolarity". *Vestnik RUDN. International Relations*. 2024. Vol. 24. No. 1. Pp. 23–39 (in Russian)].

Лавров С.В. Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова в ходе открытого заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, Нью-Йорк, 17 июля 2024 года. *Министерство иностранных дел Российской Федерации*. 17.07.2024. https://mid.ru/ru/foreign_policy/un/1962386/ (accessed: 22.05.2026) [Lavrov S.V. Speech by Foreign Minister Sergey Lavrov at the Open Meeting of the UN Security Council on the Situation in the Middle East, Including the Palestinian Question, New York, July 17, 2024. *Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation*. 17.07.2024. https://mid.ru/ru/foreign_policy/un/1962386/ (accessed: 22.05.2026) (in Russian)].

Лавров С.В. Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова на открытых дебатах Совета Безопасности ООН по ближневосточному урегулированию в формате видеоконференции. *Министерство иностранных дел Российской Федерации*. 26.01.2021. https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/un/organs/sovet-bezopasnosti/1414597/ (accessed: 22.05.2026) [Lavrov S.V. Speech by Foreign Minister Sergey Lavrov at the UN Security Council Open Debate on the Middle East Settlement. *Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation*. 26.01.2021. https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/un/organs/sovet-bezopasnosti/1414597/ (accessed: 22.05.2026) (in Russian)].

Лещеня И.А. Деятельность «Ближневосточного квартета» по урегулированию палестино-израильского конфликта в рамках проекта «Дорожная карта» (2003–2008). *Вестник МГИМО-Университета*. 2016. № 2(47). С. 168–181 [Leshchenya I.A. Activities of the Middle East Quartet and its Participants to Achieve Israeli-Palestinian Settlement within the Road Map Project (2003–2008). *MGIMO Review of International Relations*. 2016. No. 2(47). Pp. 168–181 (in Russian)].

Махмутова М.И. Особенности российско-израильских отношений в контексте палестинской проблемы в период каденции Б. Нетаньяху 2009–2019 гг. *Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского*. 2020. № 1. С. 65–76 [Makhmutova M.I. Features of Russian-Israeli Relations in the Context of the Palestinian Problem during Netanyahu's Period in Office, 2009–2019. *Vestnik of Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod*. 2020. No. 1. Pp. 65–76 (in Russian)].

Морозов В.М., Шебалина Е.О., Мельникова С.В. Взлёт и падение израильско-палестинского мирного процесса 1990-х гг.: обзор литературы. *Вестник МГИМО-Университета*. 2024. Т. 17. № 4. С. 136–154 [Morozov V.M., Shebalina E.O., Melnikova S.V. The Promise and Failure of Israeli-Palestinian Peace Process in 1990s: A Literature Review. *MGIMO Review of International Relations*. 2024. Vol. 17. No. 4. Pp. 136–154 (in Russian)].

Нофаль: визит президента в Россию направлен на выработку нового международного видения мирного процесса. Организация освобождения Палестины. 11.02.2018 [Ambassador Noufal: The President's Visit to Russia Aims to Develop a New International Vision for the Peace Process. *PLO*. 11.02.2018 (in Russian)]. https://www.plo.ps/article/47776 (accessed: 20.06.2026) (in Arabic).

О встрече Министра иностранных дел России С.В. Лаврова с членом ЦК ФАТХ Х. Шейхом. *Министерство иностранных дел Российской Федерации*. 27.02.2020 [On the Meeting of Russian Foreign Minister Sergey Lavrov with Fatah Central Committee Member H. al-Sheikh. *Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation*. 27.02.2020. https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1428467/ (accessed: 22.05.2026) (in Russian)].

Рыжов И.В., Бородина М.Ю., Маргарян Д.Л., Павлов А.Г., Сабиров Р.И., Хохлышева О.О. Роль России в межпалестинском урегулировании и перспективы палестинского фактора в мировой политике. *Мировая политика*. 2025. № 3. С. 16–31 [Ryzhov I.V., Borodina M.Yu., Margaryan D.L., Pavlov A.G., Sabirov R.I., Khokhlysheva O.O. The Role of Russia in Inter-Palestinian Settlement and the Prospects of the Palestinian Factor in World Politics. *World Politics*. 2025. No. 3. Pp. 16–31 (in Russian)].

Хасанов А.А. Проблема признания Палестины в контексте реализации палестинским народом права на самоопределение. *Актуальные проблемы российского права*. 2023. Т. 18. № 11. С. 164–173 [Khasanov A.A. The Problem of Recognition of Palestine in the Context of the Palestinian People's Realization of the Right to Self-Determination. *Actual Problems of Russian Law*. 2023. Vol. 18. No. 11. Pp. 164–173 (in Russian)].

Ahmadian H., Barari K. Russia and Hamas after 2006: Realities of a Questionable Relationship. *Journal of World Sociopolitical Studies*. 2021. Vol. 5. No. 1. Pp. 193–223.

Bercovitch J. The Structure and Diversity of Mediation in International Relations. *Mediation in International Relations: Multiple Approaches to Conflict Management.* J. Bercovitch, J.Z. Rubin (eds.) London: Palgrave Macmillan, 1992. Pp. 1–29.

Crocker C.A., Hampson F.O., Aall P. *Taming Intractable Conflicts: Mediation in the Hardest Cases.* Washington, DC: United States Institute of Peace Press, 2004.

Druyan Feldman B.C., Mil-Man A. Russia-Hamas Relations and the Israel-Hamas War. *INSS Insight*. 2023. No. 1784. https://www.inss.org.il/publication/russia-hamas-israel/ (accessed: 22.05.2026).

Fact Sheet: Memorandum of Understanding Reached with Israel. *The White House*. 2016. https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/09/14/fact-sheet-memorandum-understanding-reached-israel (accessed: 22.05.2026).

Haniyeh Congratulates Putin on Re-election. *Almoqawma*. 19.03.2024(1). https://almoqawma.com/2024/03/19/674/ (accessed: 22.05.2026).

Haniyeh Warns against Rafah Operation and Says Hamas Insists on Russia and Turkey as Guarantors. *Almoqawma*. 21.04.2024(2). https://almoqawma.com/2024/04/21/1249/ (accessed: 22.05.2026).

Hartung W.D. U.S. *Military Aid and Arms Transfers to Israel, October 2023 – September 2025. Costs of War Project*. Watson Institute for International and Public Affairs, Brown University. 2025. https://costsofwar.watson.brown.edu/paper/AidToIsrael (accessed: 22.05.2026).

Jensehaugen J. *The Madrid Conference and the Washington Process (1991–1993): A Regional Framework for Resolving the Arab-Israeli Conflict*. PRIO, 2024.

Katz M.N. Russia and Israel: An Improbable Friendship. *Middle East Policy*. 2018. Vol. 25. No. 4. Pp. 103–109.

Palestinian Authority: U.S. Assistance Is Training and Equipping Security Forces, but the Program Needs to Measure Progress and Faces Logistical Constraints. *U.S. Government Accountability Office*. 2010. https://www.gao.gov/products/gao-10-505 (accessed: 22.05.2026).

Pompeo M.R. Secretary Michael R. Pompeo Remarks to the Press. *U.S. Department of State*. 2019. https://2017-2021-translations.state.gov/2019/11/18/secretary-michael-r-pompeo-remarks-to-the-press/ (accessed: 22.05.2026).

Quartet Meeting, Statement. United Nations Information System on the Question of Palestine. 2006. https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-204615/ (accessed: 22.05.2026).

Report on Palestinian Textbooks. Georg Eckert Institute. 2021. https://www.gei.de/en/research/projects/report-on-palestinian-textbooks-paltex/faq-answers-to-frequently-asked-questions (accessed: 22.05.2026).

Resolution 2334 (2016). United Nations Security Council. 23.12.2016. https://docs.un.org/en/S/RES/2334(2016) (accessed: 22.05.2026).

Resolution 2803 (2025). United Nations Security Council. 2025. https://docs.un.org/en/S/RES/2803(2025) (accessed: 22.05.2026).

Rumer E. Russia and Israel — Best Friends Forever? *Russia in the Middle East: Jack of All Trades, Master of None.* Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace, 2019. Pp. 12–18.

Rynhold J. The Future of US–Israeli Relations. *Survival*. 2021. Vol. 63. No. 5. Pp. 121–146.

Statement by President Trump on Jerusalem. *The White House*. 2017. https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/statement-president-trump-jerusalem/ (accessed: 22.05.2026).

The Abraham Accords. *U.S. Department of State*. 2020. https://www.state.gov/the-abraham-accords/ (accessed: 22.05.2026).

The Camp David Accords and the Arab-Israeli Peace Process, 1977–1981. *U.S. Department of State. Office of the Historian.* https://history.state.gov/milestones/1977-1980/camp-david (accessed: 22.05.2026).

The Oslo Accords and the Arab-Israeli Peace Process, 1993. *U.S. Department of State. Office of the Historian*. https://history.state.gov/milestones/1993-2000/oslo (accessed: 22.05.2026).

Touval S., Zartman I.W. International Mediation: Conflict Resolution and Power Politics. *Journal of Social Issues*. 1985. Vol. 41. No. 2. Pp. 27–45.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ / INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Тарек Валед АЛНАДЖАР – аспирант кафедры зарубежного регионоведения и локальной истории, Институт международных отношений и мировой истории, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия.

Tareq W. ALNAJJAR, Postgraduate Student, Department of Foreign Regional Studies and Local History, Institute of International Relations and World History, Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod, Russia.

DOI: 10.31696/S086919080039866-9

ISLAM, DIGITAL COMMUNICATION, AND THE TALIBAN: PATTERNS OF INTERNET USE AND ONLINE INFLUENCE AFTER COMING TO POWER

© 2026

Savva A. BELAVIN [a]

[a] – Lomonosov Moscow State University, Institute of Asian and African Studies, Moscow, Russia
ORCID: 0009-0001-3372-3622; belavinsavva@gmail.com

Abstract: *This article examines the characteristics and patterns of social media use by the Taliban after coming to power. Based on a systematic analysis of works on the subject of the study, as well as individual empirical data, several stages were identified in the transition from the 'traditional Taliban', which sought to limit Afghans' access to the outside world by shutting down the Internet and banning television and radio, to 'Taliban 2.0', which develops and implements comprehensive strategies for online presence, interaction and influence on various population groups based on a three-step 'ladder' model. The study concluded that after an initial attempt to completely isolate the population from the outside world in 2001, the Taliban's attitude towards the Internet and social media has changed significantly. Members of the movement recognize the importance of these tools in disseminating information, forming a system of communication with the population, and highlighting priorities for territorial development and inter-state relations. The Taliban's active use of social platforms continues to elicit mixed reactions.*

First and foremost, this is due to the fact that despite the reorientation of messages towards issues of territorial development and solving pressing economic problems, in-depth analysis reveals the ideology, culture and political dynamics of the 'old Taliban' presented in a 'new guise' using adapted strategies. However, the expansion of their cross-border online presence is most likely aimed at establishing the relatively positive image of 'Taliban 2.0' that has been created over the years, but now at the level of the global community.

Keywords: Taliban, social media, propaganda, Afghanistan, power, ideology.

For citation: Belavin S. A. Islam, Digital Communication, and the Taliban: Patterns of Internet Use and Online Influence after Coming to Power. *Vostok (Oriens).* 2026. No. 5. Pp. 132–138. DOI: 10.31696/S086919080039866-9

The phenomenon of the Taliban's presence in the social sphere at the present time is of particular academic interest due to its polarizing nature. On the one hand, propaganda aims to transform the image of aggressors and usurpers of power that took shape a decade ago; on the other hand, the desire for total control over the use of social media within the country prevents reliable information from reaching beyond the established territory. In this context, questions arise regarding the study of transformation stages of the Taliban's online presence, the identification of persistent trends and new patterns of behavior, and the classification of the strategies employed. The methodology of this study is based on general research methods such as analysis and synthesis, deduction and induction, and historical genetic method, aimed at identifying the characteristics of the 'traditional' Taliban's digital communication, the factors behind the transition to 'Taliban 2.0' propaganda, and determining its structure and key features.

The first appearance of the Taliban during the civil war in Afghanistan in 1994 was accompanied by the local spread of ideology, which was a by-product of the military and political actions of the movement and focused on restoring security, reducing crime and introducing Sharia law, mainly through word of mouth. Instead of using information and communication technologies to spread propaganda, the Taliban, considering them a dangerous influence of the West, banned the use of the Internet in 2001 in order to minimize access to 'anti-Islamic' materials [Corsello, 2022, p. 30].

For two decades, the Taliban has used complex strategies, including the use of social media, to transform public opinion and strengthen the movement's power. Other strategies included addressing important issues in the development of agricultural areas, solving the problems of the rural population, continuously disseminating information about their determination to regain control of the country, and shaping the image of 'true warriors of Islam' [Misra, 2022]. It can therefore be said that the Taliban's propaganda relied heavily on image-building techniques, combining strategies of shaping public opinion regarding the movement with methods designed to portray its members as fighters for regional development.

Even before the emergence of 'Taliban 2.0'[1] that replaced the 'traditional Taliban', members of the movement were present in the social sphere, as evidenced by the creation of the Alemarah website [Johnson et al., 2021]. Researchers also emphasize that Bin Laden recognized the importance of using media to spread anti-Western ideology not only among his supporters, but also among the younger generation in Muslim countries [Taylor, 2013].

An analysis of the Taliban's use of media, including social media, reveals that, in addition to promoting the movement's values and calling for resistance to the authorities, it also took on certain social roles. Thus, the Taliban presented itself to the people as a 'moderate force', despite the aggressiveness of its members' actual actions, whose sole purpose was to ensure sovereignty and create an 'Islamic Afghanistan' for the needs of the people. At the same time, Taliban propaganda defined the International Security Assistance Force (ISAF) as 'invaders' and the Afghan government and security forces as 'puppets' in the hands of these invaders [Bernatis, 2014]. The Taliban's control of the public narrative, as a tool for spreading their ideas, is aimed not only at shaping a specific image in the eyes of the people, but also at fostering a particular political discourse that aligns the interests of the "ruling elites" into the communicative environment – both within the sphere of power (within the country and beyond its borders) and within the global community as a whole.

By presenting foreign organizations as invaders, the Taliban automatically questioned their legitimacy, laying the groundwork for strengthening its influence not only on Afghans but also on the international community, as evidenced by the fact that its propaganda messages were duplicated in different languages[2]. If we try to systematize the key 'roles' of the Taliban, conveyed through social media and designed to reform public opinion about the movement's activities, we can identify three main categories: The Taliban as a 'government in waiting'[3], as victors[4], and as defenders of the population[5]. These roles were also actively reinforced by reports of desertions from the Afghan army and data on the Taliban's interaction with representatives of foreign forces [Courchesne et al., 2022].

At the same time, Taliban propaganda appears to be quite contradictory, requiring in-depth analysis to minimize the likelihood of the 'post hoc ergo propter hoc' error[6] and simple

[1] Interchangeable names: 'Reformed Taliban,' 'Islamic Emirate of Afghanistan (IEA)'.

[2] In Arabic, English, Pashto, Persian, Turkish, Urdu, etc. [Bodetti, 2016].

[3] Forming the conviction that, given sufficient conditions and civil support, the Taliban will inevitably come to power.

[4] Publication of the Taliban's strategic victories for the purpose of political mobilization of the population.

[5] Counter-propaganda messages primarily related to exaggerating the number of civilians killed by foreign forces and the Afghan government (delegitimization).

[6] Lat. 'after that, therefore because of that': a logical error in which a simple sequence of events is taken to be a cause-and-effect relationship [Ivin, Nikiforov, 1997].

assumptions about the existence of causal relationships between phenomena. It can be assumed that the dissemination of information by the Taliban played a role in increasing the motivation of fighters during the re-seizure of power, but questions remain about the differentiation of motives for individual Taliban groups and the influence of propaganda on the Taliban's ultimate success [Wani, 2023].

The 'Taliban 2.0' completely changed the paradigm of managing the dissemination of information using social networks, forming a so-called "ladder" consisting of three 'steps' or stages. The first stage, which can be called 'electronic activation', involves providing key information to various recipients[7]. The second stage is 'electronic interaction', which involves the formation and development of communication channels through which members of the movement find 'points of contact' with the target audience (e.g., opinion exchange forums, online surveys, etc.). The final stage is 'electronic empowerment', which essentially means the possibility of direct cooperation between citizens and representatives of the movement [Wani, 2023, p. 2–3].

However, the very idea of such cooperation is thwarted by the reality that the Taliban lack coordination in their actions. Thus, following their re-seizure of power in 2021, two distinct factions emerged within the Taliban: the so-called 'Kandahar faction' and the 'Kabul faction', whose key differences lay in their attitudes toward Sharia law and Afghanistan's isolation from the outside world. In their quest to enforce prescribed norms and eradicate the 'source of unbelief', the Kandahar faction attempted to completely shut down the internet in Afghanistan in September 2025. However, representatives of the Kabul faction, who seek to transform Afghanistan into a theocratic, authoritarian state that interacts with the international community, insisted on the need to reverse this decision. [Peltier, 2025]. In this regard, a pressing question arises: how can communication be established between the Taliban leadership and society given such polarized attitudes toward social media platforms and the internet as a whole, and how can ideas be disseminated with the complete exclusion of any channels of digital interaction?

Evidence of the practical implementation of the 'ladder' concept is confirmed by the actual residence and employment of the Afghan masses[8] in provincial capitals, as well as by the public celebration of the Taliban's re-seizure of power on 15 August 2021, – supporters of the movement took to the streets to demonstrate the effective completion of the third step of the ladder – the expansion of their rights and opportunities [Almoqbel, Xu, 2019].

These features highlight the scale of social media's influence on the general public. The use of online tools has enabled the Taliban to convey their beliefs to various target audiences, even though the dissemination of messages was completely unregulated and not based on funding [Nakov, Martino, 2021]. Particular attention should be paid to the ways in which extremist organizations present information, which are largely based on moral intuitions[9] that can determine not only the attitude towards the information received, but also the behavior patterns of the recipients in the present and future. In particular, such tactics of influence are effective in relation to the younger generation who actively uses the Internet, due to its underdeveloped communication and self-regulation skills, socio-legal immaturity, and need for a sense of belonging and involvement [Anin et al., 2022, p. 292].

The Taliban's interaction with the public through social media before and after coming to power is also characterized by a high level of personalization. For example, with the active use of Facebook and X, informative posts were accompanied by direct communication between the target audience and press secretary Zabihullah Mujahid, who personally answered questions [Bahar,

[7] The Taliban, civil society in areas of presence, Internet users in other countries.

[8] Supporters of the Taliban.

[9] Instantly (automatically) formed emotional judgements that are not supported by the results of conscious logical analysis.

2020]. Currently, the trend of direct interaction supports the shift in narrative from ‘warriors of Islam’ seeking to restore the rights and freedoms of the population[10] to the general maintenance of a positive image of those already in power, including for the purpose of minimizing resistance to illegitimate authority without official diplomatic recognition. ‘Taliban 2.0’ seeks to use social media to ‘maintain visibility’ and communicate with supporters, as well as to develop an image of ‘good guys’ who won the war and now want to keep the peace in the conquered land [Yousaf, Jabarkhail, 2022].

Currently, the Taliban’s social media strategy has undergone a number of changes. For example, in view of the restrictions imposed in 2022–2023 on the use of platforms such as YouTube, Facebook[11], Instagram[12], and WhatsApp by representatives of the movement, accounts whose posts contain ‘traces’ of the Afghan Taliban (commissioned posts), as well as accounts of officials, police officers and Taliban soldiers, have been deleted. The Taliban’s development strategy itself is based on ‘three pillars’ – X (formerly Twitter), WhatsApp and Telegram, and the posts themselves, most of which are aimed at ensuring the legitimacy of the movement’s authority in the occupied territories, focus on socio-economic development. The Taliban clearly prefer X, as openly stated by Zabihullah Mujahid, the Taliban’s official spokesman since 2007, due to its mass popularity that forms the ability to expand the reach of information and communication messages, influence the self-identification and ideological affiliation of the population, and relatively liberal content publication policy without automatic blocking of posts containing violations such as propaganda of violence, military actions, etc. [Amiri, 2023].

The Taliban’s use of social media platforms is a matter of debate, particularly with regard to its transparency and legality. According to data from dataset X in May 2025, around 78 suspicious accounts were identified, actively posting ‘pro-Taliban’ content, containing the name of the Panjshiri region (opponents of the Taliban) and presenting themselves as ethnic Tajiks. This approach, on the one hand, aims to create the illusion of an inclusive government; on the other, shifts public opinion ‘in the moment’ using the mirroring technique (an attempt to counter negative events by posting positive content). Furthermore, the use of bots has touched upon such sensitive topics as women’s rights (the majority of accounts are registered under Tajik women’s names, despite the clear repression of women and restrictions on their rights to education and employment) [Alamdar, 2025]. Thus, the range of tasks for external users of information published by the Taliban on social media is expanding to include practices for identifying organized and structured networks for the dissemination of fake data using platform algorithms, alongside tasks for identifying the actual instances of disinformation.

It is worth noticing that at this stage in the evolution of the Taliban’s presence in social media, the trend of social media influencers (most often white) visiting Afghanistan to communicate directly with the Taliban appears to be highly controversial. Influencers seek not only to immerse themselves in Taliban culture and obtain answers to questions of public interest (political regime, women’s rights, education, etc.), but also to highlight these features in a predominantly positive light. For those representatives of the Taliban who are willing to engage in contact, a separate name, ‘Talibros’[13], has even been created by social media users [Elnashar, 2025]. This trend has provoked an extremely ambiguous reaction from the public, since, on the one hand, studying Taliban culture from within is of research interest (especially given the high level of information secrecy of the Taliban before it came to power), but on the other hand, highlighting only positive

[10] The four ‘pillars’: The Taliban’s national sovereignty over Afghan land, the Taliban’s military power, the sanctity of the Taliban’s jihad, and the authority of the Taliban’s Islamic Emirate [EFSAS, 2020].

[11] Forbidden in Russia.

[12] Forbidden in Russia.

[13] Derived from the combination of the words ‘Taliban’ and the abbreviated form of the word ‘brother’ (‘bro’).

aspects can lead to a distortion of data and divert public attention from pressing issues. Moreover, the question arises about the authenticity of such content, – whether it is the expression of the influencers' own will, or the result of a paid online campaign. Currently, there is no evidence that the Taliban pays online personalities, but members of the movement actively create videos to attract tourists [Rajvanshi, 2025].

In other words, influencers act as a kind of 'lobbyists' within a decentralized and semi-structured social ecosystem. The involvement of online personalities, combined with the interaction of the Talibs with each other, generates traffic and promotes content to friendly or neutral publications, thereby raising awareness among the general public without additional financial costs on the part of the movement's participants. This approach allows the Taliban to control the narrative and maintain a certain image, while diverting public attention from the regime's numerous shortcomings [Khorasani, 2025]. This feature once again highlights the evolution of the Taliban's online presence strategies, as well as diversification of channels for influencing the target audience on a global level. The Taliban's collaboration with influencers raises a whole range of questions regarding the commercial aspect of this partnership (paid promotion), the accuracy of the information provided to the general public, and the authenticity of the values and ideas being promoted. In our view, the 'selective' coverage of individual opinions, ideas, and behavioral patterns does not allow for the formation of a comprehensive understanding of the totality of the ideological values and socio-political aspirations of 'Taliban 2.0', and the involvement of people who are 'unfamiliar' with the details of Taliban rule in promotional efforts inevitably leads to information asymmetry, the distortion of significant facts, and the formation of false opinions based on the emotional component of content perception (i.e., audience's blind trust in an influencer).

In summary, it is safe to say that the Taliban recognizes the importance of social media in disseminating information, establishing a system of communication with the population, and highlighting priorities for territorial development and inter-state relations. The Taliban's active use of social platforms, in spite of imposition of a number of restrictive measures, evokes mixed feelings among academic and expert communities, as it is sometimes extremely difficult to separate truth from myth in the social sphere. Despite the apparent reorientation of the Taliban's messages on social media towards issues of territorial development and resolution of pressing economic problems, an in-depth analysis reveals the ideology, culture and political dynamics of the 'old Taliban', partly because the people who have held these positions since the 1990s are still in power today. The old ideology is now being presented in a 'new guise', with the involvement of representatives of the younger generation (influencers), including those from other countries, with the aim of establishing the relatively positive image[14] that has been created over the years, but now at the level of the global community.

The ambiguity of communication practices in the digital sphere —marked by the use of bots to disseminate information and influence public opinion, and the recruitment of foreign online influencers to promote carefully selected ideas and values – and the inability to reach a consensus regarding Afghanistan's internet isolation from the outside world, allow us to characterize the Taliban's internet strategy as a combined one, pursuing several objectives simultaneously – the formation and entrenchment of a positive image among external users of information whilst simultaneously restricting the use of social media within the country to avoid the risk of this image being debunked due to the dissemination of factual data.

In this regard, it is important to emphasize the exceptional significance of increasing the level of digital literacy, social and legal culture, and critical thinking in order to identify and

[14] Based on the Taliban's system of 'roles' and the creation of a unified "mythology" through narratives of strategic victories and the liberation of Afghanistan from 'invaders' in the form of foreign forces [Akram et al., 2023].

subsequently block propaganda messages and distorted data, methods of distracting attention from pressing issues, and reduce the likelihood of spreading extremist sentiments among young people, who are the most active Internet users.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

Ananyin O.Yu., Bazulina A.A., Zhulanova A.V. Recruitment of Youth into Terrorist Organisations through Social Networks: Problems of Prevention. *Bulletin of Economic Security*. 2022. No. 5. Pp. 290–295 (in Russian) [Ананьин О.Ю., Базулина А.А., Жуланова А.В. Вербовка молодежи в террористические организации посредством социальных сетей: проблемы профилактики. Вестник экономической безопасности. 2022. № 5. С. 290−295].

Ivin A.A., Nikiforov A.L. *Logic Dictionary*. Moscow: Tumanit, 'VLADOS', 1997 (in Russian) [Ивин А.А., Никифоров А.Л. Словарь по логике. М.: Туманит, «ВЛАДОС», 1997].

Akram M., Nasar A., Perveen S. Decoding Social Media's Role in Taliban 2.0 and its Implications for Afghan Youth. *Analysis from the East-West Center.* 2023.

Alamdar Q. Taliban's Coordinated Bot Network and the Manipulation of Identity, Language, and Narrative on X. *Hasht e subh Daily.* 27.05.2025. https://8am.media/eng/talibans-coordinated-bot-network-and-the-manipulation-of-identity-language-and-narrative-on-x/ (accessed: 02.03.2026).

Almoqbel M., Xu S. Computational Mining of Social Media to Curb Terrorism. *ACM Computing Survey*. 2019. Vol. 52. No. 5. Pp. 1−25.

Amiri S. Why The Taliban Love Social Media. *The Walrus.* 24.04.2024. https://thewalrus.ca/why-the-taliban-love-social-media/ (accessed: 02.03.2026).

Bahar H M. Social Media and Disinformation in War Propaganda: How Afghan Government and The Taliban Use Twitter. *Media Asia.* 2020. Vol. 47. No. 1−2. Pp. 34−46.

Bernatis V. The Taliban and Twitter: Tactical Reporting and Strategic Messaging. *Perspectives on Terrorism*. 2014. Vol. 8. No. 6. Pp. 25−35.

Bodetti A. The Taliban's Latest Battlefield: Social Media. *The Diplomat.* 08.09.2016. https://thediplomat.com/2016/09/the-talibans-latest-battlefield-social-media/ (accessed: 02.03.2026).

Corsello S. Terrorism in The Digital Era: Taliban's Propagandistic Exploitation of the Wide Web and Social Media. *Department of International Relations, Chair of Comparative History of Political Systems.* LUISS University, 2022.

Courchesne L., Rasikh B., McQuinn B. [et al.] *Powered by Twitter? The Taliban's takeover of Afghanistan.* 2022. https://www.congress.gov/118/meeting/house/115286/documents/HHRG-118-GO00-20230208-SD014.pdf (accessed: 02.03.2026).

Elnashar A. Influencers Dubbed 'Talibros' Portray Regime in Positive Light on Social Media. https://katv.com/news/nation-world/influencers-dubbed-talibros-portray-regime-in-positive-light-on-social-media-afghanistan-youtube-women-girls-us-withdrawal (accessed: 02.03.2026).

Johnson T. H., DuPee M., Shaaker W. Chapter 6: The Taliban's Use of Internet, Social Media Video, Radio Stations, And Graffiti. *Taliban Narratives: The Use and Power of Stories in the Afghanistan Conflict*. 2021. Pp. 85−106.

Khorasani A. How Online Lobbyists Support the Taliban Regime. *The Diplomat.* 02.06.2025. https://thediplomat.com/2025/06/how-online-lobbyists-support-the-taliban-regime/ (accessed: 02.03.2026).

Misra A. The Taliban, Radical Islam and Afghanistan. *Third World Quarterly*. 2022. Vol. 23. No. 3. Pp. 577–589.

Peltier E. Social Media Restrictions and 2-Day Internet Shutdown Rattle Afghanistan. The New York Times. 12.10.2025. https://www.nytimes.com/2025/10/12/world/asia/afghanistan-social-media-internet-shutdown.html (accessed: 02.03.2026).

Rajvanshi A. Travel Influencers Boost Tourism to Taliban-Run Afghanistan. *NBC News.* https://www.nbcnews.com/world/afghanistan/travel-influencers-boost-tourism-taliban-run-afghanistan-rcna218203 (accessed: 02.03.2026).

Social Media Strategies and Online Narratives of Terrorist Organizations; Case Studies of Al-Qaeda, ISIS, Taliban and Lashkar-e-Taiba. *EFSAS – European Foundation for South Asian Studies.* 2020. www.efsas.org/publications/study-papers/social-media-strategies-online-narratives-of-terrorists-groups-al-qaeda-isis-taliban-lashkar/ (accessed: 02.03.2026).

Taylor M. A rhetorical analysis of messages to America by Osama bin Laden. *Communication Honors Projects, Department of Communications*. Providence: Rhode Island College, 2013.

Wani Nassir Ul Haq. *Decoding Social Media's Role in the Resurgence of the Taliban: A Literature Review*. *Kashmir Research Information System*. Kabul: Kardan University, 2023.

Yousaf F., Jabarkhail M. Afghanistan's Future Under the Taliban Regime: Engagement or Isolation? *Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism*. 2022. Vol. 17. No. 1. Pp. 117–134.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ / INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

БЕЛАВИН Савва Андреевич – студент Института стран Азии и Африки Московского Государственного Университета имени М. В. Ломоносова, Москва, Россия.

Savva A. BELAVIN, Student, Institute of Asian and African Studies, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia.

DOI: 10.31696/S086919080039503-0

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОБРОВОЛЬНОЙ ВОЗВРАТНОЙ МИГРАЦИИ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЕС И СТРАН ЗАПАДНОЙ АФРИКИ[1]

© 2026

И.А. ЗАХАРОВ [a], С.А. ГОРОХОВ [b]

[a, b] – Институт Африки Российской академии наук, Москва, Россия
[a] – ORCID: 0000-0003-3838-169X; vanszax@yandex.ru
[b] – ORCID: 0000-0001-9984-6054; stgorohov@yandex.ru

Резюме: *Европа и другие экономически развитые регионы мира, сталкиваясь с усилением миграционных потоков из развивающихся стран, предпринимают шаги по их ограничению. В настоящем исследовании эта проблема изучается с фокусом на добровольной возвратной миграции в условиях кризисного функционирования миграционной системы Западная Африка (страны-доноры) – Северная Африка (транзитные страны) – Европейский Союз (страны-реципиенты). Статья нацелена на определение правовых механизмов реализации данной политики, а также установление территориальной структуры возвратных миграционных потоков в государства Западной Африки. Результаты анализа международных соглашений и национальных миграционных стратегий демонстрируют, что развитие механизмов добровольной возвратной миграции через программы помощи в добровольном возвращении и реинтеграции (ПДВР), добровольного гуманитарного возвращения (ДГВ) и другие инициативы, реализуемые в государствах Западной Африки под эгидой Международной организации по миграции (МОМ) и при финансовой поддержке европейских стран, фактически являются инструментом экстернализации миграционной политики ЕС. Этот вывод подтверждается статистическими данными МОМ и Frontex за 2017–2024 гг., которые свидетельствуют, во-первых, о капсулизации миграционного кризиса в границах Западной Африки, во-вторых, о сильной связи между странами происхождения нелегальных мигрантов и территориальной структурой реализации программ добровольного возвращения, что указывает на условность «добровольного» характера возвратных миграций. Выявлено, что отдельные страны, занимающие ключевое положение в миграционной системе, получают большую поддержку со стороны МОМ. Авторы приходят к выводу о недальновидности подходов Европейского Союза к экстернализации миграционной политики, которая усиливает дезинтеграционные процессы в ЭКОВАС, приводя к ослаблению суверенитета западноафриканских государств и провоцируя социальные конфликты на национальном и локальном уровне. Подчеркивается, что сложившаяся ситуация может иметь негативные последствия и для Европейского Союза, поскольку дестабилизация общественно-политической ситуации способна спровоцировать усугубление миграционного кризиса в развивающихся регионах мира, капсулизация которого окажется невозможной.*

Ключевые слова: добровольная возвратная миграция, экстернализация миграционной политики, капсулизация миграционного кризиса, миграционная система, Западная Африка, Европа

[1] Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-18-00123-П. https://rscf.ru/project/22-18-00123/

Для цитирования: Захаров И.А., Горохов С.А. Механизмы реализации добровольной возвратной миграции: взаимодействие ЕС и стран Западной Африки. *Восток (Oriens).* 2026. № 5. С. 139–151. DOI: 10.31696/S086919080039503-0

MECHANISMS OF VOLUNTARY RETURN MIGRATION: THE EU'S ENGAGEMENT WITH WEST AFRICAN COUNTRIES[2]

© 2026

Ivan A. ZAKHAROV [a], Stanislav A. GOROKHOV [b]

[a, b] – Institute for African Studies, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
[a] – ORCID: 0000-0003-3838-169X; vanszax@yandex.ru
[b] – ORCID: 0000-0001-9984-6054; stgorohov@yandex.ru

Abstract: *Facing increasing migratory flows from developing countries, Europe is taking steps to curb them. This study examines this issue with a focus on voluntary return migration under the crisis-induced functioning of the West Africa (donor countries) – North Africa (transit countries) – European Union (recipient countries) migration system. The article aims to identify the legal mechanisms for implementing this policy and to determine the territorial structure of return migration flows to West African states. An analysis of international agreements and national migration strategies reveals that the development of voluntary return migration mechanisms implemented in West Africa effectively serves as a tool for the externalization of EU migration policy. IOM and Frontex statistical data indicate, firstly, the encapsulation of the migration crisis within West Africa's borders and secondly, a strong interconnection between the countries of origin of illegal migrants and the coverage of voluntary return program implementation, highlighting the conditional nature of the "voluntary" nature of these returns. Certain countries occupying a key position within the migration system receive greater support from the IOM. The authors conclude that the European Union's approaches to externalizing migration policy are short-sighted, as they exacerbate disintegration processes within ECOWAS, weaken the sovereignty of West African states, and provoke social conflicts at both the national and local levels. It is emphasized that this situation may ultimately have negative consequences for the EU as well, since the destabilization of the socio-political situation could aggravate the serious migration crisis in developing regions of the world, making its future encapsulation impossible.*

Keywords: voluntary return migration, externalization of migration policy, encapsulation of migration crisis, migration system, West Africa, Europe

For citation: Zakharov I.A., Gorokhov S.A. Mechanisms of Voluntary Return Migration: The EU's Engagement with West African Countries. *Vostok (Oriens).* 2026. No. 5. Pp. 139–151. DOI: 10.31696/S086919080039503-0

Интенсификация миграционных потоков между странами происхождения, транзита и назначения обуславливает необходимость согласования подходов к их трансграничному регулированию. Это представляется чрезвычайно сложной задачей в связи с часто наблюдаемыми противоречиями интересов стран, составляющих единую миграционную систему. Преодоление этой проблемы необходимо для того, чтобы трансграничные перемещения населения в пределах соответствующей миграционной системы могло дать значительные

[2] The research is supported by Russian Science Foundation under the grant № 22-18-00123-P. https://rscf.ru/en/project/22-18-00123/

социально-экономические выгоды. В частности, страны-реципиенты благодаря притоку мигрантов получают возможность восполнить дефицит рабочей силы и компенсировать низкий естественный прирост населения, обычно характерный для развитых государств [Абрамова, 2015]. Страны-доноры решают проблемы занятости и высокого социального напряжения, а также обеспечивают рост благосостояния за счет денежных переводов и повышения квалификации своих граждан. Страны-транзита развивают секторы экономики, связанные с удовлетворением потребностей временно прибывающих на их территории мигрантов, а также усиливают свои геополитические позиции [Горохов, Дмитриев, 2023]. Тем не менее такая идеалистическая картина – явление чрезвычайно редкое, поскольку интересы участников миграционной системы достаточно часто конфликтуют. Особенно ярко это проявляется в периоды миграционных кризисов, когда объем миграций и нагрузка на пограничные службы резко возрастает [*Трансграничные*, 2024], а на передний план в политической повестке выходят вопросы секьюритизации. В этой ситуации страны-реципиенты и транзита стремятся ограничить въезд мигрантов и обеспечить их возвращение в страны происхождения, из-за чего последние могут сталкиваться с капсулизацией миграционного кризиса, особенно в тех случаях, когда главным выталкивающим фактором миграций являются природные катаклизмы, военные столкновения и другие потрясения [Zakharov et al., 2024].

В настоящей статье рассматривается слабо изученная проблема реализации политики возвратной миграции в условиях кризисного функционирования миграционной системы Западная Африка (страны-доноры) – Северная Африка (транзитные страны) – Европейский союз (страны-реципиенты). Учитывая многоаспектность указанной проблемы, представляется необходимым ограничить объект исследования добровольными возвратными миграциями в западноафриканские страны, которые изучаются в правовом и пространственном аспектах. В связи с этим возникают две задачи: 1) определить правовые механизмы обеспечения добровольных возвратных миграций, 2) установить особенности территориальной структуры возвратных миграционных потоков, направленных в государства Западной Африки.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Решение первой задачи опирается на качественный анализ международных и национальных нормативных документов, позволивший выявить тенденции и факторы развития политики возвратной миграции в западноафриканские страны. Достижение второй задачи предполагает оценку масштабов возвратной миграции в Западную Африку, рассматриваемой в контексте миграционного обмена как внутри региона, так и с другими регионами. Основой для анализа выступает статистика МОМ, содержащая информацию о числе мигрантов, участвующих в программах помощи в добровольном возвращении и реинтеграции (ПДВР; Assisted voluntary return and reintegration) и добровольного гуманитарного возвращения (ДГВ; Voluntary humanitarian return)[3]. В связи с тем, что данные программы ориентированы в основном на нелегальных мигрантов [Teye, 2022], нами также привлекались данные Frontex, содержащие информацию о зафиксированных попытках нелегального пересечения границ государств[4], входящих в рассматриваемую миграционную систему.

[3] Данные программы подразумевают не только непосредственно добровольное возвращение мигрантов, но также консультирование и другие услуги, связанные с этой процедурой.

[4] Эти данные хоть и не отражают общий объем нелегальной миграции, но позволяют выявить тренд в изменении ее масштабов.

Сопоставимые данные ограничиваются 2017–2024 гг., что определяет выбор временного периода для сравнительного анализа.

В определении содержания понятия «добровольные возвратные мигранты» авторы ориентируются на трактовку, предлагаемую МОМ, которая относит к этой категории людей, возвращающихся самостоятельно или при поддержке той или иной организации в страну происхождения, страну транзита или третью страну, на добровольной основе [Sironi et al., 2019, p. 225]. В контексте темы статьи, подразумевающей рассмотрение политического регулирования миграционных систем, нас интересует именно организованная форма добровольных возвратных миграций, которая может осуществляться государствами или международными организациями. Ключевым преимуществом добровольных возвратных миграций в масштабе рассматриваемой миграционной системы считается, во-первых, сокращение финансовых и временных издержек её политического регулирования; во-вторых, снижение рисков возникновения противоречий между государствами, ассоциирующихся с реализацией принудительных возвращений [Захаров, Агафошин, 2024]. При этом само понятие «добровольность» относится к статусу мигрантов de jure, хотя в действительности может носить характер «вынужденной добровольности» или «мягкого принуждения [Aberman, 2022].

ПРАВОВАЯ ОСНОВА ПОЛИТИКИ ДОБРОВОЛЬНОЙ ВОЗВРАТНОЙ МИГРАЦИИ

Политическое регулирование добровольной возвратной миграции в западноафриканские государства обеспечивается как национальным законодательством, так и международными договорами, конвенциями, а также соглашениями, заключенными по линии ЭКОВАС [Zakharov et al., 2024]. Среди последних особое значение имеет Протокол ЭКОВАС о свободном передвижении лиц, проживании и поселении 1979 г., существенно облегчающий миграционный обмен между странами группировки и призванный в конечном счете устранить барьеры для внутрирегиональных миграций, что, однако, не отменяет контроль государств за въездом и передвижением иностранных граждан по их территории. После выделения из ЭКОВАС Альянса государств Сахеля (АГС) имплементация Протокола сталкивается с определенными трудностями, однако сложившаяся региональная модель миграционного управления сохраняет свою жизнеспособность благодаря инерционности миграционных паттернов.

Страны Западной Африки активно вовлечены в международные инициативы в миграционной сфере. Так, подавляющее большинство западноафриканских государств подписали международные соглашения, инициированные ООН, призванные, с одной стороны, определить принципы регулирования миграционных потоков, с другой стороны, обеспечить защиту прав и свобод мигрантов. В 2006 г. западноафриканские страны присоединились к Рабатскому процессу, запущенному по инициативе ЕС в соответствии с его политикой на экстернализацию миграционной политики [*Трансграничные*, 2024]. Данный процесс играет ключевую роль в политическом регулировании рассматриваемой миграционной системы, определяя принципы взаимодействия стран происхождения, транзита и назначения мигрантов в соответствии с глобальными тенденциями в миграционной политике. Особенностью логики развития Рабатского процесса представляется, во-первых, усиление взаимодействия в рамках рассматриваемой миграционной системы, во-вторых, смещение подхода к регулированию миграционных процессов на локальный уровень, вплоть до взаимодействия «город–город» [Квашнин, 2020].

Регулирование собственно возвратной миграции отражено в Глобальном договоре ООН о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции (ГДМ). Этот документ, принятый в

2018 г., можно считать первым всеобъемлющим межправительственным рамочным соглашением по вопросам миграции. ГДМ позиционируется, как основополагающий документ для реализации конкретных инициатив в сфере миграции, координирующая роль в которых принадлежит МОМ.

Страны, подписавшие ГДМ, обязались осуществлять «сотрудничество в целях обеспечения безопасного и достойного возвращения, а также реадмиссии и планомерной реинтеграции». Договор предусматривает совершенствование процедуры возвращения своих граждан при полном соблюдении их прав. Это, в свою очередь, подразумевает, во-первых, расширение базы соглашений о реадмиссии и обеспечение безопасности данной процедуры; во-вторых, сотрудничество в идентификации граждан и выдаче проездных документов; в-третьих, развитие национальных миграционных стратегий, инфраструктуры, а также финансирование соответствующих программ и проектов; в-четвертых, согласие на предоставление гарантий о том, что добровольные возвращения осуществляются при наличии «свободного, предварительного и осознанного согласия мигрантов»; в-пятых, переход к устойчивой реинтеграции возвращающихся мигрантов благодаря значительному расширению предоставляемых мер поддержки (п. 37) [*Global,* 2018]. Принципы, заложенные в ГДМ, нашли свое дальнейшее воплощение в Кадисской декларация 2022 г. [*Cadiz,* 2022], которая смещает внимание на развитие программ добровольной возвратной миграции, в том числе из транзитных стран, и устойчивой интеграции «возвращенцев».

Поскольку ГДМ не имеет обязательной юридической силы, важное значение в его продвижении занимают инструменты мягкой силы. В связи с этим возникла категория так называемых стран-чемпионов, которые, выступая в качестве ролевых моделей, берут на себя «повышенные обязательства» по выполнению положений договора, получая поддержку Сети ООН по вопросам миграции. Западная Африка особенно широко охвачена этой инициативой – из 16 африканских «стран-чемпионов» этот регион представляют 8 государств: Гамбия, Гана, Гвинея-Бисау, Мали, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне. Помимо консультативного сопровождения, эти страны получают финансирование через проекты, поддержанные Многосторонним целевым фондом по миграции (МЦФМ – the Migration Multi-Partner Trust Fund). Основными донорами бюджета[5] этого фонда выступают страны ЕС и США [*UN Network,* 2026]. Только в 2025 г. МЦФМ начал финансирование проектов в регионе общей стоимостью 18,9 млн долл., которые были нацелены на обеспечение защиты границ и борьбу с трансграничной преступностью, поддержку мигрантов и принимающих сообществ, развитие миграционной политики и др. Еще 5,6 млн долл. было выделено транзитным странам рассматриваемой миграционной системы Марокко, Египту и Тунису на проекты, связанные с приемом мигрантов – обеспечение их трудоустройства, предоставление медицинских услуг [*Migration,* 2026].

Рассмотренные международные инициативы нашли свое отражение в разрабатываемых национальных миграционных стратегиях западноафриканских государств. Наибольший прогресс в этой сфере достигнут Нигерией. Еще в 2015 г. ею принята первая в регионе миграционная стратегия, направленная на расширение базы соглашений о реадмиссии для обеспечения как принудительной, так и добровольной возвратной миграции, а также продвижение механизмов реинтеграции. Отдельно выделяется задача по обеспечению контроля над трансграничными миграциями, осуществляемая при поддержке международных организаций. Акцентируется важность взаимодействия с высококвалифицированными представителями диаспоры для их возвращения в Нигерию или для реализации краткосрочных проектов [*Federal,* 2015, p. 40–45, 62]. В 2025 г. началась работа по её обновлению

[5] В 2025 г. его объём составил 68,2 млн долл., из которых более 97% внесли Германия, Великобритания, США, Нидерланды, Дания, Франция и Норвегия. Целевое значение на 2026 г. составляет 100 млн долл.

при участии МОМ в соответствии с положениями ГДМ. В обновленной версии стратегии подчеркивается, во-первых, необходимость создания эффективных устойчивых регулярных каналов добровольной возвратной миграции в страны происхождения, во-вторых, важность оказания адресной поддержки самим мигрантам, а также правительственным структурам и организациям для создания инфраструктуры, необходимой для обеспечения безопасного и достойного возвращения, устойчивой реинтеграции вернувшихся на родину нигерийцев [*IOM Strategic*, 2025, p. 24].

Аналогичные по своим задачам стратегии приняты и другими государствами Западной Африки; ограничимся их кратким обзором на примере ключевых стран в рамках рассматриваемой миграционной системы. Миграционная стратегия Нигера на 2020–2035 гг. предусматривала создание центров приема «возвращенцев» в приоритетных зонах, а также развитие программ реинтеграции и обеспечения занятости мигрантов [*Republique*, 2020]. Сенегалом утверждена Стратегия национальной борьбы с нелегальной миграцией на 2023–2033 гг., в которой очевидные из названия задачи дополняются обеспечением возвратной миграции и реинтеграции сенегальцев, вернувшихся на родину [*Stratégie*, 2023]. В принятой в 2021 г. Миграционной стратегии Гамбии перед страной ставится задача по возвращению своих граждан, для чего предлагается расширить пул международных соглашений о реадмиссии, а также развивать программы возвращения, особенно для высококвалифицированных гамбийцев [*Gambia*, 2021]. Миграционной политикой Ганы от 2016 г. также акцентируются международные обязательства этой страны по обеспечению возвратных миграций и реинтеграции, хотя в ней и не конкретизируются механизмы реализации соответствующих программ [*National*, 2016]. В 2025 г. в Буркина-Фасо обсуждалась новая Национальная стратегия трудовой миграции до 2029 г., призванная обеспечить эффективную реинтеграцию квалифицированных граждан страны [Sidwaya, 2025]. Пересмотр миграционной стратегии от 2014 г. был запущен и в Мали – в 2025 г. обсуждалась необходимость ее приведения в соответствие с национальными и международными нормативными рамками, а также дополнения с учетом новых миграционных вызовов [*Communique*, 2025]. В Либерии на 2025–2029 гг. принят Стратегический план по оптимизации управления миграционными потоками, в том числе возвратными [*Liberia*, 2025]. В Гвинее национальная миграционная стратегия была утверждена в 2021 г., однако в силу внутриполитических событий [Mazzilli et al., 2022] ее имплементация была ограничена вплоть до 2023 г., когда при поддержке МОМ была создана Национальная консультативная структура по вопросам миграции, ставящая своей целью управление миграционными процессами, в том числе возвратной миграцией [*IOM Welcomes*, 2023]. Единственная страна, занимающая важное место в миграционной системе Западной Африки, в которой миграционная стратегия находится на стадии разработки, – Кот-д'Ивуар, где этот процесс активизировался только с 2023 г. [*Towards*, 2023].

Примечательно, что изменения национальных миграционных стратегий западноафриканских государств, осуществляемые при прямом участии МОМ, были инициированы европейскими странами и в большей степени отвечали интересам ЕС. Им же продвигались наднациональные инициативы в Африке. Так, программа защиты, возвращения и реинтеграции мигрантов в странах Африки южнее Сахары (2022–2025), охватывавшая 16 стран Африки, 12 из которых относились к изучаемому полигону, реализовывалась практически полностью за счет Евросоюза. При этом, хотя в перечень индикаторов для оценки эффективности программы входили качественные критерии, позволяющие оценить удовлетворенность мигрантов полученной помощью, приоритет, судя по всему, отдавался количественным показателям. Например, целевой показатель по числу добровольно возвращенных мигрантов зафиксирован на уровне 30 тыс. чел., а число бенефициаров программ реинтеграции должно было достигнуть 60 тыс.

В 2021 г. при участии европейских государств также была разработана Стратегия по добровольному возвращению и реинтеграции, опирающаяся на Новый пакт о миграции и убежище, принятый ЕС [*Action*, 2026]. В дальнейшем, следуя логике развития диалога Евросоюз – Африка, в программах, направленных на добровольное возвращение мигрантов, в экстернализации миграционной политики происходило смещение акцента на выстраивание двустороннего партнерства ЕС с ключевыми странами транзита и исхода мигрантов. Такой подход претерпел географическое расширение: если раньше ЕС стремился создать буферную зону из стран своей внешней периферии, которые должны были обеспечить фильтрацию иммиграционных потоков, то в настоящее время эта задача перекладывается на страны, находящиеся в значительном удалении от европейских границ. В этом отношении показательна описанная в [Morgunova, Moraru, 2025] ситуация Нигера, где с 2015 по 2023 г. действовал закон № 2015-36, введенный под давлением ЕС, который, не учитывая местной специфики миграционных паттернов, резко ограничивал нелегальную миграцию взамен на экономическую поддержку со стороны европейских стран.

Таким образом, современная миграционная политика стран Западной Африки, формально направленная на приведение национального законодательства в соответствие с ГДМ, сфокусирована на совершенствовании механизмов возвращения мигрантов и их реинтеграции на родине. В этой связи ключевую роль во взаимодействии между странами региона и ЕС в области миграции переходит от «традиционных» соглашений о реадмиссии к программам помощи по «добровольному гуманитарному возвращению мигрантов», которые фактически становятся инструментом экстернализации миграционной политики.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ДОБРОВОЛЬНЫХ ВОЗВРАТНЫХ МИГРАЦИОННЫХ ПОТОКОВ

Население Западной Африки характеризуется крайне высокой мобильностью, обусловленной экономическими и политическими факторами: среди первых особое значение имеет специфика хозяйственной деятельности[6] [Arhin-Sam K. et al., 2022]; среди последних – описанная выше интеграция стран региона по линии ЭКОВАС и Рабатского процесса. В связи с этим большинство перемещенных лиц в Западной Африке происходят из стран этого же региона, а их количество с 1990 по 2024 г. увеличилось с 4,5 до 8,2 млн чел. В настоящее время они сконцентрированы в Кот-д'Ивуаре – 35,0%, Нигерии – 17,0%, Буркина-Фасо – 9,0%, Мали – 6,6%, Гане – 6,5% [*International*, 2025, p. 12].

Миграционный обмен между странами региона усиливается в кризисные периоды, обусловленными природными катаклизмами, прежде всего засухами, а также вооруженными конфликтами, активизацией террористических группировок, военными переворотами и другими потрясениями. Возникновение АГС в 2023 г. [Kipo-Sunyehzi, Lambon, 2025] ознаменовало ярко выраженные дезинтеграционные эффекты для стран Западной Африки, отразившиеся на миграционной ситуации в регионе. С одной стороны, изменились привычные маршруты миграций, в том числе из-за закрытия границ, с другой стороны, снизился контроль за нелегальной миграцией на территории Мали, Нигера и Буркина-Фасо, входящих в АГС [Morgunova, Moraru, 2025; Meza, 2024]. В результате в регионе наблюдался рост числа лиц, относящихся к числу вынужденных мигрантов – прежде всего беженцев. Имеющиеся данные свидетельствует о кризисной ситуации: в 2025 г. их число превысило

[6] Она достаточно тесно связана с зависящей от физико-географических условий культурой кочевых и полукочевых этносов, миграционные маршруты которых сохранились даже в условиях их искусственного разделения государственными границами, проведенными колонизаторами.

1 млн чел., из которых большая часть была сконцентрирована в Нигере (37,1%), Мали (27,5%) и Нигерии (13,0%) [*UNHCR*, 2025].

В условиях продолжающегося кризиса направление перемещения вынужденных мигрантов сменялось с интра- на интеррегиональное. Беженцы из обозначенных выше стран, аккумулирующих мигрантов, стремятся проникнуть в Европу, следуя Западноафриканским (Мавритания, Сенегал, Гамбия, Гвинея-Бисау – Канарские о-ва – Испания), Западно-Средиземноморским (Мавритания, Мали, Нигер, Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуар – Марокко, Алжир – Испания) и Центрально-Средиземноморским маршрутами (Мали, Нигер – Ливия – Италия). Суммарно в 2017–2024 гг. ими воспользовалось чуть более 300 тыс. граждан региона, главным образом из Гвинеи, Мали, Кот-д'Ивуара и Сенегала, обеспечивавших около 70% объема нелегальной миграции из региона (табл. 1).

Таблица 1. Страны происхождения нелегальных мигрантов и бенефициаров программ МОМ из Западной Африки, 2017–2024 гг.

Страна	Бенефициары программ МОМ		Нелегальные мигранты	
	тыс. чел.	доля от региона, %	тыс. чел.	доля от региона, %
Гвинея	42,6	21,0	66,0	21,5
Мали	41,0	20,2	55,5	18,1
Нигерия	37,6	18,5	25,2	8,2
Кот-д'Ивуар	15,2	7,5	53,2	17,3
Нигер	12,2	6,0	0,9	0,3
Сенегал	11,5	5,7	44,8	14,6
Гамбия	11,0	5,4	26,5	8,6
Сьерра-Леоне	10,7	5,3	4,4	1,4
Буркина-Фасо	7,3	3,6	11,7	3,8
Гана	5,7	2,8	6,9	2,2
Либерия	3,6	1,8	1,3	0,4
Бенин	2,6	1,3	2,9	0,9
Гвинея-Бисау	1,4	0,7	1,7	0,6
Того	0,7	0,3	1,3	0,4
Мавритания	0,1	0,0	5,2	1,7
Кабо-Верде	0,0	0,0	0,0	0,0
Западная Африка	*203,2*	*100,0*	*307,5*	*100,0*

Составлено по: [*IOM: Regional*, 2024, p. 25; *Frontex*, 2026].

По данным Frontex, объемы и динамика численности зафиксированных нелегальных перемещений существенно отличалась по вышеуказанным маршрутам. Наиболее востребованным был Центрально-Средиземноморский, которым за 2017–2024 гг. воспользовалось 177,3 тыс. выходцев из стран Западной Африки, в основном из Кот-д'Ивуара (23,5%), Гвинеи (23,3%), Нигерии (13,9%), Мали (10,9%). Мощность Западноафриканского маршрута составила 79,5 тыс., большая часть которого обеспечена Сенегалом (40,7%) и Мали (28,7%). Средиземноморским маршрутом переместились 51,1 тыс. граждан стран региона, в том числе Гвинеи (33,6%), Мали (26,4%), Кот-д'Ивуара (15,3%), Гамбии (10,0%).

Принимаемые меры ЕС по ограничению нелегальной миграции оказываются достаточно эффективными, по крайней мере, число зафиксированных Frontex нелегальных пересечений границ ЕС гражданами стран Западной Африки за последний год существенно снизилось[7]. Если в 2017–2024 гг. в среднем ежегодно фиксировалось 38,4 тыс. нарушений, то в 2025 г. – только 23,9 тыс., то есть их число сократилось почти на 40%. При этом масштабное снижение наблюдалось практически повсеместно, например, для Кот-д'Ивуара оно составило 80,2%, Бенина, Либерии, Буркина-Фасо – более 70%, Гвинеи-Бисау, Сьерра-Леоне, Нигерии – более 60%, Ганы, Того, Гвинеи – более 50%, Гвинеи, Нигера, Гамбии, Мавритании – более 30%. Изменений не наблюдалось лишь в Сенегале, а рост числа нелегальных мигрантов был характерен только для Мали – 6% [*Frontex,* 2026].

Таким образом, благодаря усилиям ЕС, мигрантам из Западной Африки зачастую так и не удается проникнуть в Европу – подавляющее большинство из них оседает в Буркина-Фасо, Нигерии, Нигере, Мали и Мавритании, принявших по состоянию на 2022 г. почти 570 тыс. чел. Это способствовало капсулизации миграционного кризиса, которая понимается нами как процесс, приводящий к ограничению миграционных потоков вынужденных мигрантов внутри региона происхождения и транзита под влиянием внешних акторов.

Данная ситуация объясняется главным образом эффектом «бутылочного горлышка», при котором снижение пропускной способности маршрутов приводит к увеличению не только временны*х*, но и финансовых затрат для мигрантов [Agafoshin et al., 2024]. Значительную роль в возникновении этого эффекта играют ограничения на пересечение границ беженцами, введенные транзитными странами, прежде всего североафриканскими. Значительный вклад в сдерживание потоков вынужденных мигрантов обеспечивается не только Frontex и его партнерами в Северной и Западной Африке, но и МОМ. Так, в 2017–2024 гг. более 200 тыс. мигрантов[8] воспользовались программам по добровольному возвращению (ПДВР и ДГВ), которые были ориентированы главным образом именно на нелегальных мигрантов [Teye, 2022]. Эти программы были наиболее востребованы у граждан Гвинеи (21,0%), Мали (20,2%), Нигерии (18,5%) и др. (табл. 1). Ключевыми странами транзита, из которых осуществлялся добровольный возврат мигрантов, являлись Нигер – 92,3 тыс., Ливия – 64,3 тыс., Марокко – 12,5 тыс., Алжир – 11,3 тыс., Тунис – 9,3 тыс. [*IOM: Regional*, 2024, p. 25], где расположены крупные лагеря беженцев и центры временного содержания нелегальных мигрантов. В этой связи добровольность участия в программах МОМ вызывает вопросы, поскольку в действительности большинство их «бенефициаров» фактически лишены возможности достигнуть ЕС.

Сравнение территориальной структуры происхождения нелегальных мигрантов и бенефициаров рассматриваемых программ (табл. 1) свидетельствует о том, что МОМ уделяет значительное внимание странам, из которых поток нелегальной миграции в среднем выше. Тем не менее в основе таргетирования программ ПДВР и ДГВ, судя по имеющимся данным, лежит не только объем нелегальной миграции, но и географическое положение стран в миграционной системе. Так, значительную поддержку получают граждане государств, выполняющих функции транзита и аккумуляции потоков интеррегиональной миграции, прежде всего Нигер и Нигерия. В то же время отдельные страны недостаточно охвачены программами МОМ, хотя занимают чрезвычайно важное место в формировании интеррегиональных миграционных потоков, например, Сенегал, Мавритания, Кот-д'Ивуар. Такое несоответствие можно объяснить использованием ЕС финансовой поддержки, оказываемой

[7] Допускается, что эффективность работы этой организации оставалась неизменной.

[8] После пересечения границ североафриканских государств б*о*льшая часть мигрантов, судя по всему, Frontex относит к числу нелегальных и вынужденных мигрантов, хотя их же перемещения в пределах стран Западной Африки в большинстве случаев осуществлялось легально.

в рамках указанных программ, в качестве инструмента мягкой силы – бóльшую поддержку получают страны, миграционное управление в которых отвечает интересам внешних акторов.

Вместе с этим, судя по проведенной нами детализации данных по потокам возвратных миграций за 2021–2024 гг., они носят в основном интрарегиональный характер: в это период на родину вернулось 87,7 тыс. чел., из них почти 58% – из стран Западной Африки, около 39% от общего объема добровольных возвратных мигрантов прибыли из транзитных государств, а из европейских стран, главным образом из Германии, – лишь 3% (рассчитано по: [*IOM*, 2021; *IOM*, 2022; *IOM*, 2023; *IOM*, 2024]).

ОБСУЖДЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дестабилизация политической ситуации в Западной Африке способствует интенсификации масштабов перемещений в миграционной системе Западная Африка – Северная Африка – Европейский союз. Тем не менее бóльшая часть мигрантов аккумулируется в странах-донорах миграционной системы, значительная их часть – в странах транзита и лишь небольшая доля от общего миграционного потока достигает ЕС. Ключевую роль в сдерживании миграций в пределах Западной Африки сыграли европейские страны, которые благодаря включению стран Африки в систему международных соглашений во возвратной миграции, смогли повлиять на изменение региональной модели миграционного управления в соответствии со своими интересами. Произошедшие сдвиги не приводили к реконфигурации миграционных маршрутов, однако обусловили капсулизацию миграционного кризиса, из-за возникновения эффекта «бутылочного горлышка» – скоплению мигрантов в странах их происхождения и транзита из-за снижения пропускной способности миграционных маршрутов [Agafoshin et al., 2024].

Представляется, что разрабатываемые ЕС программы возвратной миграции и реинтеграции в партнерстве с африканскими странами и МОМ, несмотря на апелляцию к интересам мигрантов, несут в себе риски дальнейшего усугубления миграционного кризиса в Западной Африке и других развивающихся регионах мира [Горохов и др., 2023]. Расширение программ добровольного возвращения, таких как ПДВР и ДГВ, привело к существенному росту эффективности фильтрации миграционных потоков в рамках рассматриваемой миграционной системы, но не смогло сократить масштабов миграционного кризиса в странах аккумуляции и транзита миграционных потоков. Конечными бенефициарами этих программ оказались страны ЕС, о чем свидетельствует признаки сокращения нелегальной миграции из Западной Африки, фиксируемые Frontex.

Тем не менее реализация данных программ, продвигаемых ЕС, имеют ряд долговременных негативных эффектов. На региональном уровне последние выражаются в дезинтеграционных процессах в ЭКОВАС, обусловленных растущим недовольством участием внешних акторов в изменении миграционной политики западноафриканских стран, которое оставляет без должного внимания региональные приоритеты развития. В связи с этим можно согласиться с мнением [Shenfeldt, 2018], что такое вмешательство выступает одним из ключевых факторов дестабилизации политической ситуации. Более того, тенденции развития миграционной политики, диктуемые логикой Рабатского процесса, практически полностью игнорируют специфику функционирования миграционной системы Западной Африки, прежде всего связанную с традиционными паттернами перемещения кочевых народов и этносов, искусственно разделенных государственными границами, установленными в колониальное время. Все это, а также секьюритизация миграционной политики сдерживает социально-экономическое развитие ЭКОВАС, ведь «когда нет

миграций, у всего региона проблема» (цит. представителя НКО в Ниамее по: [Zanker, 2024, p. 23]).

На национальном уровне к негативным эффектам продвигаемой политики возвратной миграции можно отнести ослабление суверенитета государств Западной Африки, которые вынуждены выполнять требования ЕС под угрозой лишения финансовой поддержки [Хахалкина, Погорельская, 2022]. Тем не менее обязанности по фильтрации миграционных потоков, ограничению нелегальной миграции, осуществлению возвратных миграций и реинтеграции своих граждан связаны с дополнительными издержками. При этом принимаемые меры, например, разработка миграционных стратегий, носящих зачастую декларативный характер, оборудование пропускных пунктов и ужесточение контроля за границами, вряд ли способствуют искоренению главных причин интеррегиональной нелегальной миграции, как это прописано в программных документах.

На локальном уровне приток возвратных мигрантов может приводить к возникновению конфликтов, связанных с нехваткой ресурсов и недостаточной проработкой инструментов реинтеграции. Эти проблемы усугубляются и на индивидуальном уровне, поскольку само по себе возвращение на родину чаще всего воспринимается как личная неудача. Более того, поскольку эмиграция редко организуется без финансовой поддержки общины, для многих «возвращенцев» и их семей остро встает проблема возврата долгов, что в большинстве случаев оказывается невозможным [Bisong, 2022].

Всё это усугубляет существующие в регионе социально-экономические и политические проблемы. В этих условиях любое потрясение в регионе, связанное с вооруженными конфликтами или природными катаклизмами, способно спровоцировать миграционный кризис в Западной Африке, масштабы которого могут быть настолько велики, что его капсулизация внутри региона окажется невозможной и он «выплеснется» за его пределы, прежде всего в ЕС. Такой риск связывается не только с высоким естественным приростом западноафриканского населения, но и с ограниченностью финансовых, юридических и организационных ресурсов ЕС, направляемых на сдерживание миграционных потоков и реализацию программ возвратных миграций.

Таким образом, ориентированность европейских государств на экстернализацию миграционной политики, в том числе через программы добровольного возвращения, несет в себе негативные эффекты не только для стран Западной Африки, но и в перспективе для самого ЕС. Для комплексного решения проблемы во главу угла следует поставить интересы наиболее уязвимых стран происхождения мигрантов. Тем не менее обеспечение действительно равноправного положения участников такого диалога – чрезвычайно сложная задача, требующая дополнительных исследований и поддержки международного сообщества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES:

Абрамова И.О. Африканская трансграничная миграция и проблемы международной безопасности. *Ученые записки Института Африки РАН.* 2015. № 2. С. 127–136 [Abramova I.O. African Trans-Border Migration and Problems of International Security. *Journal of the Institute for African Studies*. 2015. No. 2. Pp. 127–136 (in Russian)].

Горохов С.А., Агафошин М.М., Дмитриев Р.В. Миграционный кризис в регионе Восточной Африки. *Восток (Oriens).* 2023. № 1. С. 50–62 [Gorokhov S.A., Agafoshin M.M., Dmitriev R.V. Migrant Crisis in the East Africa Region. *Vostok (Oriens).* 2023. No. 1. Pp. 50–62 (in Russian)].

Горохов С.А., Дмитриев Р.В. Миграционная политика Албании: институциональные аспекты. *Современная Европа.* 2023. № 4. С. 77–88 [Gorokhov S.A., Dmitriev R.V. Migration Policy in Albania: Institutional Aspects. *Contemporary Europe.* 2023. No. 4. Pp. 77–88 (in Russian)].

Захаров И.А., Агафошин М.М. Политика убежища и контроля над нелегальной миграцией в Чехии. *Общественные науки и современность*. 2024. № 3. С. 110–123 [Zakharov I.A., Agafoshin M.M. The Asylum Policy and Illegal Migration Control in the Czech Republic. *Social Sciences and Contemporary World*. 2024. No. 3. Pp. 110–123 (in Russian)].

Квашнин Ю.Д. Европейские города как акторы миграционной политики. *Современная Европа*. 2020. № 7. С. 101–112 [Kvashnin Yu. European Cities as Migration Policy Actors. *Contemporary Europe.* 2020. No. 7. Pp. 101–112 (in Russian)].

Трансграничные перемещения населения: ограничения и перспективы международного регулирования в условиях миграционного кризиса. Под ред. С.А. Горохова. Москва: Институт Африки РАН, 2024 [*Cross-Border Population Movements: Restrictions and Prospects of International Regulation in the Context of the Migration Crisis*. S.A. Gorokhov (ed.) Moscow: Institute for African Studies RAS, 2024 (in Russian)].

Хахалкина Е.В., Погорельская А.М. Содействие развитию или управление миграцией? (анализ европейского подхода). *Мировая экономика и международные отношения*. 2022. № 2. С. 80–89 [Khakhalkina E.V., Pogorelskaya A.M. Development Policy or Migration Management? (The EU Approach). *World Economy and International Relations*. 2022. No. 2. Pp. 80–89 (in Russian)].

Aberman T. Forced-Voluntary Return: An Intersectional Approach to Exploring “Voluntary” Return in Toronto, Canada. *Migration and Society.* 2022. No. 1. Pp. 13–28.

Action Document for “the Migrant Protection, Return and Reintegration Programme for Sub-Saharan Africa. 2026. https://clck.ru/3SYkiC (accessed: 16.03.2026).

Agafoshin M.M., Gorokhov S.A., Dmitriev R.V. Formation of a System of Temporary Accommodation Centers for Migrants in Transit Regions of Europe. *Geography and Natural Resources*. 2024. No. 4. Pp. 436–443.

Arhin-Sam K., Bisong A., Jegen L., Mounkaila H., Zanker F. The (In)formality of Mobility in the ECOWAS Region: The Paradoxes of Free Movement. *South African Journal of International Affairs.* 2022. No. 2. Pp. 187–205.

Bisong A. Return, Precarity and Vulnerability in West Africa: Evidence from Nigeria. *Migration in West Africa.* J.K. Teye (ed.) Springer, Cham, 2022. Pp. 221–236.

Cadiz Political Declaration. 6th Ministerial Conference of the Rabat Process. 2022. https://clck.ru/3SYm2Z (accessed: 16.03.2026).

Communique du Conseil des Ministres du Mercredi. 2025. https://clck.ru/3SYkki (accessed: 16.03.2026).

Federal Republic of Nigeria National Migration Policy. Abuja: International Organization for Migration, 2015.

Frontex. Directions of illegal border-crossings statistics. 2026. https://clck.ru/3SYkkw (accessed: 16.03.2026).

Gambia National Migration Policy: 2020–2030. 2021. https://clck.ru/3SYkm6 (accessed: 16.03.2026).

Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. 2018. https://clck.ru/3SYkva (accessed: 16.03.2026).

International Migrant Stock 2024: Key facts and figures. Advance unedited version. Population Division UN DESA/POP/2024/DC/NO. 2025. https://clck.ru/3SYkmR.pdf (accessed: 16.03.2026).

IOM Strategic Plan for Nigeria 2025–2027. 2025. https://clck.ru/3SYkn8 (accessed: 16.03.2026).

IOM Welcomes Guinea’s First Ever Migration Governance Framework. 2023. https://clck.ru/3SYknS (accessed: 16.03.2026).

IOM: Regional Mobility Mapping: West and Central Africa. 2024. https://clck.ru/3SYkmf (accessed: 16.03.2026).

IOM. Return and Reintegration Key Highlights 2020. Annexes. IOM: Geneva, 2021.

IOM. Return and reintegration key highlights 2021. Annexes IOM: Geneva, 2022.

IOM. Return and reintegration key highlights 2022. Annexes. IOM: Geneva, 2023.

IOM. Return and reintegration key highlights 2023. Annexes. IOM: Geneva, 2024.

Kipo-Sunyehzi D.D., Lambon P.J. Military Coups in West Africa: An Analysis of the Formation of the Alliance of Sahel. *Africa Review.* 2025. No. 3. Pp. 237–250.

Liberia Immigration Service Launches Five-Year Strategic Plan to Strengthen National Security and Migration Management. 2025. https://clck.ru/3SYkno (accessed: 16.03.2026).

Mazzilli C., Binat Sarwar M., Hagen-Zanker J. *Migration-Relevant Policies in Guinea.* Oslo: Peace Research Institute, 2022. https://clck.ru/3SYkoZ (accessed: 16.03.2026).

Meza B. *Migratory Movements Arising from Conflicts in the Sahel Countries*. 2024. https://clck.ru/3SYkow (accessed: 16.03.2026).

Migration Multi-Partner Trust Fond. Pipeline and Funded Joint Programmes. 2026. https://clck.ru/3SYkpd (accessed: 16.03.2026).

Morgunova O.A., Moraru N.-F. Migration Management in West Africa: The Role of the EU and Internal Risks for Countries in the Region – the Case of Niger. *Vestnik RUDN. International Relations.* 2025. No. 1. Pp. 121–132.

National Migration Policy for Ghana. 2016. https://clck.ru/3SYkpq (accessed 16.02.2026).

Republique du Niger Politique Nationale de la Migration, 2020-2035. 2020. https://clck.ru/3SYkq4 (accessed: 16.03.2026).

Shenfeldt A. The European Development Response to the Refugee and Migration Crisis. *International Organisations Research Journal*. 2018. No. 4. Pp. 195–212.

Sidwaya J.K. *Migration de Main D'œuvre: Une Stratégie Nationale en Cours de Validation*. 2025. https://clck.ru/3SYkqK (accessed: 16.03.2026).

Sironi A., Bauloz C., Emmanuel M. *Glossary on Migration. International Migration Law No. 34.* IOM, Geneva, 2019.

Stratégie Nationale de Lutte Contre la Migration Irrégulière. 2023. https://cilmi.gouv.sn/ (accessed: 16.03.2026).

Teye J.K. Migration in West Africa: An Introduction. *Migration in West Africa*. J.K. Teye (ed.) Springer, Cham, 2022.

Towards Stronger Migration Governance in Côte d'Ivoire. 2023. https://clck.ru/3SYkqg (accessed: 16.03.2026).

UN Network on Migration. 2026. https://clck.ru/3SYkqt (accessed: 16.03.2026).

UNHCR. Regional Bureau for West and Central Africa: Refugees and Asylum-Seekers, 2025. https://clck.ru/3SYkrW (accessed: 16.03.2026).

Zakharov I.A., Agafoshin M.M., Gorokhov S.A. Migration Crisis in West Africa: Limits and Prospects of Political Regulation. *Vestnik RUDN. International Relations.* 2024. No. 4. Pp. 616–627.

Zanker F. "When There is No Migration, the Whole Region Has a Problem": The Political Priorities of Migration Policies in West Africa. *African Human Mobility Review*. 2024. Vol. 10. No. 2. Pp. 9–28. https://epubs.ac.za/index.php/ahmr/article/view/2012 (accessed: 16.03.2026).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ / INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

ЗАХАРОВ Иван Андреевич – кандидат географических наук, старший научный сотрудник, Институт Африки РАН, Москва, Россия.

ГОРОХОВ Станислав Анатольевич – доктор географических наук, главный научный сотрудник Института Африки РАН, Москва, Россия.

Ivan A. ZAKHAROV, PhD (Geography), Senior Research Fellow, Institute for African Studies, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia.

Stanislav A. GOROKHOV, DSc (Geography), Chief Research Fellow, Institute for African Studies, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia.

DOI: 10.31696/S086919080038190-6

ЭВОЛЮЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В АФРИКЕ В 2020-е гг.

© 2026

А.Д. ЛИСЕНКОВА [a]

[a] – МГИМО МИД России, Москва, Россия
ORCID: 0000-0002-2457-3466; alena.denisovna@yandex.ru

Резюме: *В данной статье рассматривается эволюция стратегических приоритетов Европейского союза в Африке в 2020-е гг. В указанный период, с 2020 по 2026 г., трансформация акцентов происходила под влиянием миграционного, COVID-19 и энергетического кризисов. Это существенно отличает его от прошлого периода увеличения контактов, 2005–2007 гг., до финансово-экономического кризиса и в момент интенсивной глобализации. Последние годы, особенно в рамках энергетических проблем, стремясь обрести энергетическую независимость, ЕС активизировал внимание к Африке для диверсификации маршрутов, поставщиков и источников энергии. В 2022 г. был анонсирован пакет в 150 млрд евро в рамках инициативы «Глобальный портал» на период 2021–2027 гг. Ключевым направлением стали как раз энергетика и климат, в то время как вторым, как показывают статистические данные по отчётным материалам «Глобального портала» (Global Gateway), транспортно-логистическое направление. Оно необходимо для вывоза критически важного сырья, используемого в развитии европейских «зелёных» технологий. При помощи сравнительного, системного и элементов дискурс-анализа представленное исследование проводится на основе стратегических документов по линии Европейский союз-Африка 2005, 2007, 2020 гг., деклараций саммитов ЕС-АС 2022 и 2025 гг., Соглашения Самоа 2023 г., а также данных по инициативе «Глобальный портал» и комментариев Европейского парламента. Автор приходит к выводу, что в новых реалиях отношения претерпели стратегический откат к положению до середины 2000-х гг., а политика ЕС критикуется за неравноценность выгод, ценностную обусловленность и др. Она основана на стремлении к диверсификации, а также к соответствию глобальным технологическим сдвигам (цифровизация) и к ликвидации новых вызовов и угроз, но по-прежнему далека от стремления к равноправному партнёрству, особенно, в условиях обострения конкуренции за регион с такими крупными игроками как Китай, ОАЭ, Турция.*

Ключевые слова: Европейский союз, Африка, Россия, Global Gateway, ресурсы, ценности

Для цитирования: Лисенкова А.Д. Эволюция стратегических приоритетов Европейского союза в Африке в 2020-е гг. *Восток (Oriens).* 2026. № 5. С. 152–162. DOI: 10.31696/S086919080038190-6

EVOLUTION OF THE EUROPEAN UNION'S STRATEGIC PRIORITIES IN AFRICA IN THE 2020S

© 2026

Alena D. LISENKOVA [a]

[a] – MGIMO University, Moscow, Russia
ORCID: 0000-0002-2457-3466; alena.denisovna@yandex.ru

Abstract: *This article examines the evolution of the EU's strategic priorities in Africa from 2020 to 2026. The transformation of priorities took place under the influence of migration, COVID-19 and energy crises. This significantly distinguishes these years from the previous intensification of contacts in 2005–2007, before the financial crisis and during active globalization. Amid energy challenges and to gain independence, the EU focused on Africa to diversify routes, suppliers and sources of energy. In 2022, a package of 150 billion EUR was announced under the Global Gateway initiative for 2021–2027, prioritizing energy and climate. The second priority was transport and logistics. It is necessary for the export of critical raw materials used in the development of European green technologies. Using comparative and systematic approaches, as well as elements of discourse analysis, the present research is based on the strategic documents on EU-Africa relations of 2005, 2007, and 2020, declarations of the 2022 and 2025 EU-AU summits, the 2023 Samoa Agreement, as well as data from the Global Gateway initiative and comments from the European Parliament. The author concludes that in the new realities, relations have undergone a strategic rollback to the situation before the mid-2000s, and EU policy is criticized for unequal benefits and value conditionality. It is based on the desire to diversify as well as to meet global technological shifts (digitalization) and eliminate new threats, but it is still far from striving for an equal partnership, especially amid intense competition for the region with China, the UAE, and Turkey.*

Keywords: European Union, Africa, Russia, Global Gateway, resources, values

For citations: Lisenkova A.D. Evolution of the European Union's Strategic Priorities in Africa in the 2020s. *Vostok (Oriens).* 2026. No. 5. Pp. 152–162. DOI: 10.31696/S086919080038190-6

На рубеже 2021–2022 гг. Европейский союз (ЕС) столкнулся с чередой потрясений. Сначала в конце 2021 г. в условиях постепенного роста напряжённости в отношениях с Российской Федерацией (РФ) резко взлетели цены на поставляемую продукцию. Затем, после начала специальной военной операции (СВО) на Украине в начале 2022 г., европейское интеграционное объединение решило постепенно сокращать как политическое, так и экономическое сотрудничество с российской стороной. Параллельно ЕС настроился больше не создавать условия для чрезмерной зависимости от какого-либо одного поставщика. Таким образом, озаботившись вопросом обеспечения стрессоустойчивости и стратегической автономии, он стал всё более сфокусирован на поиске новых маршрутов, поставщиков и источников для максимальной диверсификации.

Одним из перспективных направлений для развития новых форм сотрудничества была выбрана Африка, богатый ресурсами континент. Она обладает значительными залежами полезных ископаемых (энергоносители, критически важное сырьё, драгоценные металлы и др.), а также демонстрирует устойчивый рост молодого и трудоспособного населения. Последние годы всё большее число африканских стран (например, Эфиопия, Марокко,

Египет) показывает интенсивный экономический рост и становится весьма выгодным рынком для развития сотрудничества.

Вне привязки к диверсификации ЕС пытается конкурировать с новыми крупными игроками (Китай, Турция, Объединённые Арабские Эмираты и др.) за влияние в бывших колониях своих государств-членов. Это демонстрирует стремление внимательно относиться к самостоятельному развитию традиционных сфер влияния, опираясь на прочные исторические связи и параллельно пытаясь выстроить сотрудничество с постиндустриальными европейскими ценностями в качестве основы [Биссон, 2020, с. 48]. При этом Европейский союз обладает собственной международной правосубъектностью, не сводимой лишь к воле его отдельных государств-членов, бывших метрополий. В некоторых случаях это могло бы снизить градус напряжённости в двусторонних отношениях по линии ЕС-АС или с отдельными африканскими государствами. Тем не менее подобное позиционирование сталкивается со скептицизмом оппонентов. Как Россией, так и другими незападными игроками европейский подход критикуется за неоколониализм, при котором финансовая и технологическая помощь жёстко увязана с ценностной составляющей, политической лояльностью и продвижением «зелёной» повестки в ущерб индустриальному развитию региона [*Видеообращение*, 2026].

В данном исследовании речь идёт именно о политике Европейского союза как интеграционного объединения. Это связано не только с колониальным вопросом, но и с разделением компетенций между уровнями власти, где наднациональное управление имеет свою специфику и по ряду аспектов может отличаться от национальных и субнациональных трендов. При этом 2022 год – лишь относительный рубеж, поскольку многие серьёзные изменения в отношениях ЕС-РФ начались ещё в 2021 г., если не брать в расчёт более ранние этапы постепенно увеличивающейся конфронтации.

Исследованию стратегических и геополитических приоритетов ЕС и его стран-членов в Африке посвящён ряд работ как российских [Ведерников, Сарбаева, 2026; Панцерев, 2012; Судоргин, 2024], так и зарубежных авторов [Grimm, Helwig, Reiners, Siddi, 2021], в том числе африканского происхождения [Suh, 2020]. Обычно они выходят в преддверии или сразу после принятия какого-то нового документа по линии отношений ЕС-Африка [Биссон, 2020; Кулькова, 2020] или связаны с актуальными вопросами повестки – как, например, проблема изменения климата [Obah-Akpowoghaha, Tarro, Bah, Mendy, 2022; Перов, 2025]. Тем не менее заметен интерес к Африке и в условиях текущих противоречий «коллективного Запада» и Российской Федерации [Трофимова и др., 2024; Edmond, Farag, 2026], что подтверждает необходимость проведения более комплексных исследований.

Именно поэтому цель данного исследования – оценить эволюцию стратегических приоритетов Европейского союза в Африке в 2020-е гг. Для этого при помощи сравнительного и системного анализа, а также элементов дискурс-анализа был обработан широкий спектр как европейских, так и африканских источников. Это в первую очередь стратегические и нормативно-правовые документы (декларации саммитов ЕС-АС 2022 и 2025 гг., «Повестка дня 2063» Африканского союза 2015 г., «На пути к всеобъемлющей стратегии с Африкой» 2020 г., Соглашение Самоа 2023 г. и др.), а также комментарии Европейского парламента по принимаемым документам, отчётные материалы по инициативе «Глобальный портал» *(Global Gateway)* и статистические данные по торговле между африканскими и европейскими странами.

ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В АФРИКЕ

Официальный курс Европейского союза в Африке декларируется через четырёхкомпонентную нормативную концепцию «Мир, процветание, люди и планета» *(Peace, Prosperity,*

People & Planet). Объединение позиционирует себя как заинтересованную сторону в стабильных отношениях с соседом. Стремясь соответствовать этому имиджу, оно объясняет собственные инвестиции желанием обеспечить процветание Африки, параллельно оказывая долгосрочное влияние на континенте через образовательные программы и участвуя в преодолении глобальных вызовов.

В совокупности в целях поддержания мира и безопасности выделены порядка 3,5 млрд евро и осуществляются 13 военных и гражданских миссий. С заявленной нацеленностью на процветание развёрнут инвестиционный проект «Глобальный портал» *(Global Gateway)* и работает программа *Erasmus+*. Риски управляются через борьбу с неконтролируемой миграцией и изменением климата, где последнее является не только общим вызовом, но и фактором, наиболее сильно влияющим именно на Африку [*Africa and the EU*, 2024].

В общих чертах данная основа сформировалась за долгие годы эволюции, а не непосредственно в 2020-е гг. Однако именно в этот период она подверглась серьёзной проверке на прочность, в рамках которой требуется оперативная реакция на происходящие изменения. Более того, обострение кризисных явлений увеличило критику в сторону ЕС, обнажив декларативный характер его доктрин и отрыв от реальных потребностей населения Африканского континента.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ ЕС В АФРИКЕ НАКАНУНЕ 2020-х гг.

Отношения Европейского союза и Африки прошли длинный путь, однако долго не получали своего стратегического оформления. В 2005 г. был принят документ «Европейский союз и Африка: на пути к стратегическому партнёрству» *(The EU and Africa: towards a strategic partnership)* сроком на 10 лет [Панцерев, 2012, с. 52]. Центральной философией стратегии стала идея об африканской самостоятельности и ответственности, а основными приоритетами были обозначены: мир и безопасность, права человека и управление, помощь развитию; устойчивый экономический рост, региональная интеграция и торговля, а также инвестиции в людей.

Данная стратегия была лаконична, а также носила односторонний и ценностно обусловленный характер без комплексного вовлечения всех заинтересованных сторон от Африки. Вместе с тем она всё-таки содержала ряд конкретных показателей, хотя их реализация на практике вызывала вопросы. Так, например, это 10 млн евро на официальную помощь развитию, 50 млн евро в рамках Европейского фонда развития на программы в области управления и политических институтов, облегчение долгового бремени на общую сумму 42 млрд евро и др. [*The EU and Africa*, 2005; *European Parliament resolution*, 2005].

Документ 2005 г. получил развитие в уже Совместной стратегии Африка-ЕС *(A Joint Africa-EU Strategy)* 2007 г. В первую очередь она была нацелена на обеспечение политического паритета, более полное представительство интересов Африканского континента и партнёрский подход, насколько это допускали реалии, где одна сторона (ЕС) – по-прежнему де-факто донор, а вторая (Африка) – реципиент.

Стратегическими приоритетами были определены: мир и безопасность, управление и права человека, торговля и региональная интеграция, а также развитие.

Соответственно, тематическая направленность сохранилась [*A Joint Africa-EU Strategy*, 2007]. При этом стоит понимать, что оба документа принимались в условиях интенсивной глобализации и до международного финансово-экономического кризиса. Далее до 2020 г. отношения развивались преимущественно в формате саммитов (в Ливии в 2010 г., в Бельгии в 2014 г., в Кот-д'Ивуаре в 2017 г.) и планов действий, но какого-то реального прорыва не было. Однако следующее десятилетие, ознаменованное кризисами (миграционный, корона-

вирусный, энергетический и др.) и интенсифицировавшимся европейским «энергетическим переходом», привело к обнажению противоречий, с одной стороны, и появлению «окна возможностей», с другой. Это коснулось как Африки, стремящейся повысить свою значимость, так и ЕС, запланировавшего переписать правила под свои новые нужды в условиях обострившейся конкуренции за континент [Кулькова, 2020, с. 123].

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА: ДОКУМЕНТ 2020 г. И СОХРАНЯЮЩИЕСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ

В марте 2020 г. Европейская комиссия всё-таки приняла новый документ «На пути к всеобъемлющей стратегии с Африкой» *(Towards a comprehensive Strategy with Africa)*. Тем не менее он даже не был непосредственно стратегией, а скорее представлял собой «приглашение к диалогу», которое в дальнейшем должно было перерасти в более комплексный текст. Однако этот процесс столкнулся со стагнацией: документ не перерос в стратегию ни к 2022 г., ни к 2026 г. В нём был определён ряд партнёрств, которые, по мнению Европейского союза, должны были стать определяющими: для перехода к «зелёной» экономике и обеспечения доступа к энергии, для цифровой трансформации, для устойчивого роста и создания рабочих мест, во имя мира и управления, а также в области миграции и мобильности.

Основные приоритеты, заложенные в данных партнёрствах, коррелируют с глобальными технологическими сдвигами (цифровизация), а также с новыми секьюритизируемыми вызовами и угрозами (миграция) и обострением климатической повестки. Последнее также сопряжено с нацеленностью на «климатическую нейтральность», закреплённую в Европейском «Зелёном курсе» [Grimm, Helwig, Reiners, Siddi, 2021, p. 41], а также с наблюдаемым и до 2022 г. вектором на диверсификацию. Впрочем, до определённого момента последняя всё-таки не являлась главным приоритетом. Тем не менее расхождения в интересах ЕС и Африки по данному направлению сотрудничества были понятны уже тогда.

Инициативы объединения, по сути, подталкивали Африканский континент к «прыжку» через стадии «энергетических переходов» (с дров на уголь, с угля на нефть, с нефти на газ, а с газа на возобновляемую энергетику), к чему ни инфраструктура, ни состояние экономик его стран не были готовы [Перов, 2025, с. 21–22]. К тому же ЕС подвергся критике за сохраняющийся ценностно обусловленный подход: привязку помощи к стандартам, несмотря на дискурс о необходимости преодоления колониального наследия. Кроме того, это недостаточное участие африканского и европейского гражданского общества, отсутствие конкретных цифр и новых бюджетных обязательств, неэффективность уже реализуемых мер в области миграции, а также обеспечение собственной безопасности за счёт африканской стороны. В конечном итоге прослеживается формат сотрудничества «с Африкой, а не для Африки». Этому подтверждением служит и то обстоятельство, что текст снова не был совместным документом по сравнению с 2007 г., разработанным в сотрудничестве с африканскими партнёрами.

Предполагалось, что совместная стратегия может быть принята уже на саммите ЕС-АС в октябре 2020 г., который из-за пандемии *COVID-19* неоднократно переносился. При этом в появившемся в марте того же года документе «На пути к всеобъемлющей стратегии с Африкой» пандемия ещё не фигурировала в качестве значимого фактора. Отсутствие совместного видения стало серьёзным вызовом и в условиях конкуренции за континент, где Европа всё больше уступала свои позиции в пользу Китая, Турции, ОАЭ, России и др. [*Towards a comprehensive*, 2020; *Towards a new EU strategy*, 2020].

ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ: САММИТ 2022 г. И ЗАПУСК «ГЛОБАЛЬНОГО ПОРТАЛА»

В начале 2022 г., за несколько дней до начала СВО, саммит ЕС-АС всё-таки состоялся. Была принята совместная декларация «Совместное видение на 2030 год» *(A Joint Vision for 2030)*. Она подписывалась в особых условиях, когда ещё сохранялась прежняя риторика, но быстро менялись реалии. С одной стороны, СВО ещё не началась. С другой стороны, цены (особенно на энергоносители) уже выросли и чувствовалась острая напряжённость в отношениях с Россией. Немаловажными факторами стали и двусторонний характер документа с попыткой реанимировать формат 2007 г., и принятие в декабре 2020 г. нового Многолетнего финансового плана на период 2021–2027 гг., позволившего учесть постепенно меняющиеся приоритеты.

Ими стали: антикризисные меры *(COVID-19)*, процветание и устойчивость, мир и безопасность, миграция и мобильность, а также многосторонность.

Фундаментальным изменением, помимо антиковидных мер и поддержки ликвидности (за счёт 13 млрд долл. в эквиваленте СДР Международного валютного фонда), стало анонсирование пакета в 150 млрд евро на период до 2027 г. в рамках инициативы «Глобальный портал». Это первый и наиболее крупный региональный инвестиционный пакет под эгидой данной инициативы, нацеленный на перевод отношений с Африкой в формат более глубокого партнёрства и позиционируемый как альтернатива китайской инициативе «Один пояс – один путь» [*A Joint Vision for 2030*, 2022].

На 2026 г. в рамках «Глобального портала» в Африке реализуются 135 проектов (из 248) по пяти направлениям (табл. 1). В совокупности на регион Ближнего Востока и Северной Африки выделены 78 млрд евро, а на Африку южнее Сахары 80 млрд евро, где количественно проекты распределены следующим образом:

Таблица 1. Проекты «Глобального портала» в Африке на 2026 г.

Направление	**Северная Африка**	**Африка южнее Сахары**
Всего (проектов)	17	118
Климат и энергетика	11	57
Цифровизация	1	14
Образование и исследования	0	12
Здоровье	1	9
Транспорт	4	26

Источник: [Global Gateway projects, 2026].

Представленная в таблице 1 дифференциация показателей обусловлена рядом факторов. Так, Африка южнее Сахары беднее, больше и менее инфраструктурно развита, в то время как Северная Африка уже обладает базовой инфраструктурой и в большей степени для неё актуален контроль региона (безопасность, миграция) европейской стороной. Кроме того, потребность в сдерживании роста влияния Китая (дерискинг) наиболее актуальна именно для Африки южнее Сахары. Наконец, если Африка в целом – источник для различных направлений диверсификации, то Африка южнее Сахары богата именно критически важным сырьём (кобальт, металлы платиновой группы и др.), столь необходимым для реализации «зелёного» перехода. Для его вывоза, в свою очередь, требуется развитая транспортно-

логистическая система. Именно для развития торговли и сотрудничества ЕС заинтересован в Африканской континентальной зоне свободной торговли (АКЗСТ), а также использует ценностно обусловленный постиндустриальный подход и свою нормативную силу [Edmond, Farag, 2026, p. 1]. В то время как в отношении Северной Африки со сравнительно развитой инфраструктурой трубопроводов рассматривается целесообразность её максимальной интеграции в европейскую энергетическую систему. Для этого реализуются точечные крупные инфраструктурные проекты (в частности, электроэнергетической сети *ELMED* с подводным высоковольтным кабелем постоянного тока мощностью 600 МВт и длиной 200 км), правда, всё-таки не в области ископаемого топлива.

Институты ЕС его не финансируют в отличие от компаний государств-членов. Таким образом, все деньги в рамках данного вектора сотрудничества направляются либо на развитие системы электрификации, либо на возобновляемый водород, либо на «зелёную» энергетику, что в перспективе должно содействовать обеспечению энергетической безопасности Европейского союза и формированию у него всё большего числа партнёров, также поворачивающихся в сторону «зелёной» экономики [*Global Gateway projects*, 2026]. При этом в «Совместном видении на 2030 год» от 2022 г. достаточно абстрактно, но всё-таки признаётся «значимость использования имеющихся [всех видов, включая ископаемые] природных ресурсов в процессе этого “энергетического перехода”» [*A Joint Vision for 2030*, 2022]. Так, хотя бы частично, удаётся создать хрупкий компромисс между необходимыми Африке быстрыми деньгами и развитием и стратегически, идеологически, и геополитически обусловленными долгосрочными инвестициями ЕС. В действительности Европейский союз остаётся крупнейшим торговым партнёром для африканских стран, однако последние всё больше ищут дипломатические альтернативы, с чем по крайней мере частично связан раздел по многосторонности в документе «Совместное видение на 2030 год». Это попытка получить новую роль в трансформирующейся системе международных отношений в обмен на лояльность [*A Joint Vision for 2030*, 2022].

СОХРАНЕНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ: СОГЛАШЕНИЕ САМОА 2023 г.

Соглашение Самоа *(Samoa Agreement)* 2023 г. с профильным региональным протоколом для Африки южнее Сахары подтвердили сохранение разногласий. Этот документ стал новой основой для сотрудничества с около 80 странами Организации африканских, карибских и тихоокеанских государств (ОАКТ), представляющей интересы наименее развитых субрегионов. Соглашение пришло на смену неоднократно корректировавшемуся и продлевавшемуся Соглашению Котону 2000 г. Стороны долго искали баланс интересов в условиях стремительно менявшегося мира и смогли подписать новый документ не в 2020 г., а только в 2023 г. С 2024 г. он начал действовать, но лишь на временной основе, поскольку нет ратификации у всех необходимых 27 членов ЕС и 2/3 государств-участников ОАКТ. Сохранение разногласий подтвердило и то обстоятельство, что перечень приоритетов, по сути, остался традиционным. Несмотря на декларируемый совместный и партнёрский характер соглашения, ЕС как де-факто донор продолжает определять и итоговый перечень тем, и их приоритетность, а также настаивать на ценностно обусловленном характере сотрудничества [Suh, 2020, c. 28]: права человека и демократия, мир и безопасность, развитие, миграция и мобильность, изменение климата, а также экономический рост [*Partnership Agreement*, 2023; *The Samoa Agreement*, 2024].

Показательно, что даже в стратегических документах самой Африки, как, в частности, «Повестка дня 2063», цели зачастую формулируются с ориентацией на «коллективный Запад» [*Agenda* 2063, 2015].

ОТСУТСТВИЕ СИСТЕМНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ: САММИТ 2025 г.

Последний на 2026 г. саммит по линии ЕС-АС состоялся в 2025 г. в честь 25-летия с первой встречи. Он прошёл в условиях широкого числа международных конфликтов, за поддержку в которых конкурируют Украина, Палестина, Демократическая Республика Конго и т. д. Другими обстоятельствами стали – расхождения во взглядах на внешнюю политику РФ, обострение конкуренции с крупными внерегиональными игроками (Китай в транспортных проектах, Россия в военно-промышленном комплексе и др.) и многосторонними форматами (например, БРИКС) и сокращение присутствия США на арене содействия международному развитию. Параллельно в институтах ЕС и в правительствах его государств-членов укрепляется понимание, что своего трансатлантического партнёра в Африке не заменить. В то же время всё громче звучат голоса о необходимости финансировать именно стратегически эффективные направления. Это как раз энергетика и климат, которые параллельно лидируют в списке противоречивых тем в отношениях с Африкой. При этом ЕС всё более заинтересован в развитии торгово-инвестиционных связей и в перехвате потенциального сторонника в меняющемся глобальном управлении, а основные приоритеты остались прежними: процветание и устойчивость, мир, безопасность и государственное управление; многосторонность, миграция и мобильность, а также мониторинг и контроль.

Тем не менее, несмотря на стратегическое и геополитическое значение торгового и энергетического сотрудничества, а также управления миграцией и обеспечения безопасности (например, в Сахеле), проблемы преимущественно сохраняются. Это недостаточный учёт африканских интересов и позиции гражданского общества, пока что лишь планы на будущее по созданию системы мониторинга с конкретными целями (нехватка консолидации, данных и последовательности), а также наглядно выявившаяся диспропорциональность выгод от реализации «Глобального портала» [*Joint Declaration*, 2025; *EU-African Union Summit*, 2025]. Другим примером имеющихся перекосов является большая представленность европейских стран в африканском экспорте, чем в импорте. Показательно, что у Китая складывается обратная ситуация, и это свидетельствует о меньшей ориентации ЕС на реальные потребности Африки (инфраструктуру и индустриализацию), нежели на вывоз сырья [*Leading Trade Partners*, 2026]. Наконец, важным тормозящим фактором является крайне низкая заинтересованность многих европейских стран в африканском направлении [Трофимова и др., 2024, с. 85].

В условиях обострения отношений с Российской Федерацией Европейский союз обратил более пристальное внимание на отношения с богатой ресурсами и интенсивно развивающейся на разных направлениях Африкой. В первую очередь это связано с нацеленностью на диверсификацию и, как следствие, с поиском новых товаров, маршрутов и поставщиков. Кроме того, это также коррелирует с развернувшейся конкуренцией в борьбе за влияние на Африканском континенте среди многих крупных игроков (Китай, Турция, ОАЭ и др.). В общих чертах Европейский союз заинтересован в стабильных отношениях с соседом, параллельно вкладывая инвестиции в его экономику, стремясь обеспечить долгосрочное влияние на континенте через образовательные программы и борясь с глобальными вызовами. Однако на практике можно очертить и ряд нюансов.

Накануне 2020-х гг. основными приоритетными направлениями обозначались вопросы, связанные с миром и безопасностью, управлением и правами человека, торговлей и региональной интеграцией, а также с развитием. Общая преемственность сохранилась. Тем не менее предыдущая документация принималась в условиях интенсивной глобализации и до международного финансово-экономического кризиса. В новых реалиях ЕС не просто откатился к односторонней стратегии, но и отошёл ещё дальше, приняв в 2020 г. лишь

олицетворяющий «приглашение к диалогу» документ. Кроме того, проявились три новых акцента в приоритетах – цифровизация, миграция и прикрываемый проблемой изменения климата «энергетический переход». Это связано как с глобальными технологическими сдвигами, так и с новыми вызовами и угрозами. В рамках саммита 2022 г. по линии ЕС-АС произошла попытка возврата к двусторонности, а также проявилась связанная с обострением на российском направлении и принятием нового Многолетнего финансового плана 2021–2027 гг. конкретика. Помимо ожидаемых антиковидных мер примечательным стало появление инициативы «Глобальный портал» с африканским пакетом в 150 млрд евро, где основной фокус сделан либо на «зелёную» энергетику и возобновляемый водород с параллельным развитием электроэнергетической инфраструктуры, либо на транспортно-логистическую систему для вывоза ресурсов из региона. Именно в экспорте Европа представлена больше, чем в импорте. Ни в рамках Соглашения Самоа 2023 г., ни на саммите ЕС-АС 2025 г. фундаментального прорыва и трансформации системы приоритетов и отношений не произошло.

Самые большие проблемы в таких реалиях – недопредставленность гражданского общества, диспропорциональность выгод, отсутствие реальной системы мониторинга и конкретных целевых показателей сотрудничества и развития, ценностная обусловленность партнёрства, отсутствие успеха в формировании равноправных отношений, а также низкая заинтересованность ряда европейских стран. Наконец, в общей сложности на африканском направлении в отношениях сторон произошёл стратегический откат из-за слишком высоких изначально обозначенных темпов, к которым стороны не были готовы, а затем уже и из-за устаревания ранее сформированных инициатив в условиях миграционного, коронавирусного и энергетического кризисов. К тому же любой по-настоящему равноправный двусторонний проект требует времени на согласование, которого в условиях развернувшихся проблем, таких как, например, нестабильность в Сахеле, нет. Именно поэтому, хотя подвижки в возобновлении риторики о двусторонности и партнёрстве присутствуют, на практике проблемы сохраняются.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

Биссон Л.С. Новая стратегия ЕС для Африки: в поисках подлинного партнёрства. *Современная Европа*. 2020. № 3. С. 39–50 [Bisson L.S. The EU's New Strategy for Africa: In Search of a Genuine Partnership. *Contemporary Europe*. 2020. No. 3. Pp. 39–50 (in Russian)].

Ведерников М.В., Сарбаева С.С. Отношения Чехии со странами Африки южнее Сахары. *Восток (Oriens)*. 2026. № 1. С. 140–153 [Vedernikov M.V., Sarbaeva S.S. Czechia's Relations with Sub-Saharan African Countries. *Vostok (Oriens)*. 2026. No. 1. Pp. 140–153 (in Russian)].

Видеообращение Министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова. *МИД РФ*. 2026 [Foreign Minister Sergey Lavrov's video address (in Russian)]. *The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation*. 2026. https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/2094535/?lang=en (accessed: 13.05.2026).

Кулькова О.С. Отношения ЕС-Африка: выработка новой стратегии партнерства на пути к саммиту 2020 г. *Европейский Союз: факты и комментарии*. 2020. № 99. С. 123–127 [Kulkova O.S. EU-Africa Relations: Developing a New Partnership Strategy on the Way to the 2020 Summit. *European Union: Facts and Comments*. 2020. No. 99. Pp. 123–127 (in Russian)].

Панцерев К.А. ЕС-Африка: навстречу стратегическому партнерству? *Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6. Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения*. 2012. № 1. С. 50–57 [Pantserev K.A. EU – Africa: Towards a Strategic Partnership? *Vestnik of Saint Petersburg University. International relations*. 2012. No. 1. Pp. 50–57 (in Russian)].

Перов А.В. От климатической дискриминации к праву на энергию: идеологические основы справедливого энергоперехода для Глобального Юга. *Власть*. 2025. Т. 33. № 5. С. 14–23 [Perov A.V. From Climate Discrimination to the Right to Energy: Ideological Foundations for a Just Energy Transition in the Global South. *Vlast' (= Power)*. 2025. Vol. 33. No. 5. Pp. 14–23 (in Russian)].

Судоргин А.Е. ЕС-Африка: стратегия взаимодействия между молотом и наковальней. *Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета*. 2024. № 2(70). С. 105–115 [Sudorgin A.E. EU–Africa: The Strategy of Interaction between the Hammer and the Anvil. *Uchyonye zapiski (= Academic Notes). Electronic scientific journal of the Kursk State University.* 2024. No. 2(70). Pp. 105–115 (in Russian)].

Трофимова О.Е., Подчасов Н.А., Кулинич А.Д. Проект ЕС – Африка: изменение стратегии в условиях конкуренции. *Сравнительная политика*. 2024. Т. 15. № 4. С. 66–90 [Trofimova O.E., Podchasov N.A., Kulinich A.D. Project EU-Africa: Changes of Strategy in Competitive Environment. *Comparative Politics Russia.* 2024. Vol. 15. No. 4. Pp. 66–90 (in Russian)].

A Joint Africa-EU Strategy. *European Parliament*. 2007. https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/122473/EU-AFrica%20Strategy%20EN.pdf (accessed: 02.03.2026).

A Joint Vision for 2030. *European Council / Council of the European Union*. 2022. https://www.consilium.europa.eu/media/54412/final_declaration-en.pdf (accessed: 02.03.2026).

Africa and the EU. *European External Action Service*. 2024. https://www.eeas.europa.eu/eeas/africa-and-eu_en (accessed: 02.03.2026).

Agenda 2063. *African Union*. 2015. https://au.int/sites/default/files/documents/33126-doc-framework_document_book.pdf (accessed: 02.03.2026).

Edmond C., Farag M.I.H. The Role of the European Union in Managing African Crises Between Development Aid and Geopolitical Interests. *World Affairs*. 2026. Vol. 189. No. 1. Pp. 1–10.

EU-African Union Summit 2025: Setting the scene. *European Parliament*. 2025. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/ 2025/779190/EPRS_BRI(2025)779190_EN.pdf (accessed: 02.03.2026).

European Parliament resolution on a development strategy for Africa. *European Parliament.* 2005. https://www.europarl.europa.eu/doceo/ document/TA-6-2005-0445_EN.html?redirect (accessed: 02.03.2026).

Global Gateway projects. *European Commission*. 2026. https://international-partnerships.ec.europa.eu/policies/global-gateway/ global-gateway-projects_en (accessed: 02.03.2026).

Grimm S., Helwig N., Reiners W., Siddi M. Leadership and Partnerships for the European Green Deal: EU Relations with (Re)Emerging Economies. *L'Europe en formation*. 2021. No. 393. Pp. 40–63.

Joint Declaration: 7th African Union (AU) – European Union (EU) Summit. *European Council / Council of the European Union.* 2025. https://www.consilium.europa.eu/media/5tdhb1f4/joint-declaration_au-eu-summit.pdf (accessed: 02.03.2026).

Leading Trade Partners by Country 2026. *World Population Review.* 2026. https://worldpopulationreview.com/country-rankings/leading-trade-partners-by-country (accessed: 02.03.2026).

Obah-Akpowoghaha N.G., Tarro M.L., Bah M., Mendy S. Climate Change and the African Union's Role in the International System. *Journal of African Union Studies.* 2022. Vol. 11. No. 1. Pp. 31–48.

Partnership Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Members of the Organisation of the African, Caribbean and Pacific States, of the other part. *Council of the European Union.* 2023. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8372-2023-REV-1/en/pdf (accessed: 02.03.2026).

Suh I. F.N. International Regime Complexity in EU-Africa Relations. *The Journal of Territorial and Maritime Studies*. 2020. Vol. 7. No. 2. Pp. 27–48.

The EU and Africa: towards a strategic partnership. *Council of the European Union.* 2005. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/pres_05_367/ (accessed: 02.03.2026).

The Samoa Agreement with African, Caribbean and Pacific states. *European Parliament.* 2024. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2024/762333/EPRS_BRI(2024)762333_EN.pdf (accessed: 02.03.2026).

Towards a comprehensive Strategy with Africa. *European Commission.* 2020. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020JC0004 (accessed: 02.03.2026).

Towards a new EU strategy with Africa: A renewed focus on outreach. *European Parliament.* 2020. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/651965/EPRS_BRI(2020)651965_EN.pdf (accessed: 02.03.2026).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ / INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

ЛИСЕНКОВА Алена Денисовна – кандидат политических наук, старший научный сотрудник, Институт международных исследований, МГИМО МИД России, Москва, Россия.

Alena D. LISENKOVA, PhD (Politics), Senior Research Fellow, Institute for International Studies, MGIMO University, Moscow, Russia.

DOI: 10.31696/S086919080038221-0

ПОЛИТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ЖЕНЩИН В ГАНЕ: СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

© 2026

Т.С. ДЕНИСОВА [a], С.В. КОСТЕЛЯНЕЦ [b]

[a, b] – Институт Африки РАН, Москва, Россия
[a] – ORCID: 0000-0001-6321-3503; tsden@hotmail.com
[b] – ORCID: 0000-0002-9983-9994; sergey.kostelyanyets@gmail.com

Резюме: *Статья посвящена анализу специфики политического участия женщин в Гане – первой стране Тропической Африки, обретшей независимость, но до сих пор демонстрирующей отставание в гендерном паритете в органах власти. На основе системного подхода и анализа электоральной статистики за период с 1997 по 2024 г. рассматривается ряд институциональных, социокультурных и экономических факторов, сдерживающих представительство женщин. Показано, что, несмотря на конституционные гарантии равенства и активную роль женщин в истории страны, их доля в парламенте остаётся критически низкой – 12,8%, что почти вдвое уступает среднеафриканскому показателю (24,5%) и контрастирует с успехами соседних государств. Принятый в 2024 г. закон о позитивной дискриминации, устанавливающий целевые квоты, пока не смог преодолеть системные барьеры: глубоко укоренившиеся патриархальные стереотипы, высокую стоимость избирательных кампаний, угрозы политического насилия, а также дефицит ресурсов у потенциальных кандидаток и нежелание части экономически самостоятельных женщин переводить капитал в рискованную политическую карьеру. Внимание уделено амбивалентной роли традиционных институтов: в обществе ашанти, где значимы матрилинейные механизмы наследования и политической преемственности, институт «королевы-матери» служит важным фундаментом для женского лидерства и участия в управлении, тогда как на патриархальном севере жёсткие традиционные нормы продолжают ограничивать политическую активность женщин. Анализ деятельности политических партий выявил ощутимый разрыв между декларируемой приверженностью гендерному равенству и реальной практикой: женские крылья партий лишены влияния, а предоставляемые им материальные льготы незначительны. Сделан вывод о том, что в условиях дефицита политической воли государства главными акторами продвижения гендерной повестки становятся активные женские неправительственные организации. Они компенсируют недостаток представительства в институтах власти, оказывая кандидатам образовательную и правовую поддержку, защищая социально-экономические права женщин и продвигая законодательные инициативы, необходимые для формирования новой общественной повестки.*

Ключевые слова: Гана, гендерное равенство, политическая активность, политическое участие, представительство женщин, выборы, общественные организации, женские НПО, традиционализм

Для цитирования: Денисова Т.С., Костелянец С.В. Политическая роль женщин в Гане: социокультурные особенности и роль общественных организаций. *Восток (Oriens).* 2026. № 5. С. 163–174. DOI: 10.31696/S086919080038221-0

WOMEN'S POLITICAL ROLE IN GHANA: SOCIOCULTURAL SPECIFICS AND THE ROLE OF CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS

© 2026

Tatyana S. DENISOVA [a], Sergey V. KOSTELYANETS [b]

[a] – Institute for African Studies, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
ORCID: 0000-0001-6321-3503; tsden@hotmail.com
[b] – Institute for African Studies, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
ORCID: 0000-0002-9983-9994; sergey.kostelyanyets@gmail.com

Abstract: *The article analyzes women's political activity in Ghana, the first country in Tropical Africa to gain independence. Based on systemic approach and analysis of electoral statistics, the institutional, sociocultural, and economic factors determining the low level of women's representation in government bodies are examined. It is shown that despite constitutional guarantees and gender-sensitive policies, the share of women in parliament remains only 12.8% (compared to the African average of 24.5%). The 2024 Affirmative Action Act establishing quotas has yet to overcome systemic barriers: deeply entrenched patriarchal stereotypes, high campaign costs, threats of political violence, and a lack of resources among potential female candidates combined with the reluctance of some economically independent women to risk their capital in high-stakes political ventures. Special attention is paid to the role of traditional institutions: among the Ashanti, the Queen Mother institution promotes female leadership, whereas in the patriarchal north of the country, women's influence on decision-making remains minimal. The analysis of major political parties revealed a tangible gap between declared commitment to gender equality and real practice: party women's wings are deprived of real influence, and the material benefits provided to them are insignificant. The conclusion is drawn that in conditions of a deficit of political will women's non-governmental organizations become the main actors in promoting the gender agenda. They compensate for the lack of representation in formal power institutions by providing educational and legal support to candidates, protecting women's socio-economic rights, and promoting legislative initiatives necessary for forming a new public agenda.*

Keywords: Ghana, gender equality, political activity, political participation, women's representation, election, civil society organizations, women's NGOs, traditionalism

For citation: Denisova T.S., Kostelyanets S.V. Women's Political Role in Ghana: Sociocultural Specifics and the Role of Civil Society Organizations. *Vostok (Oriens).* 2026. No. 5. Pp. 163–174. DOI: 10.31696/S086919080038221-0

ВВЕДЕНИЕ

Вопросы представительства и политического участия женщин (первое относится к их количеству на руководящих должностях, второе – к характеру деятельности), их доступа к финансовым и административным ресурсам и вовлеченности в процессы принятия ответственных решений можно рассматривать в качестве важного индикатора устойчивого развития государства. Несмотря на значительный прогресс в достижении гендерного равенства, наблюдавшийся в последние десятилетия, не адекватное их доле в численности населения представительство женщин в органах власти сохраняется во многих регионах мира, в т. ч. в Африке южнее Сахары (АЮС), где оно ограничивается совокупностью социокультурных, экономических и прочих факторов. Это характерно и для Ганы – первой

страны Тропической Африки, обретшей независимость в 1957 г. Во все исторические периоды женщины играли значительную роль в общественной жизни этой страны, однако их вклад долгое время оставался недостаточно признанным и разрыв в уровнях политического представительства мужчин и женщин не сокращается.

Вопросы социально-экономического положения женщин и гендерных аспектов африканской культуры широко представлены в работах российских африканистов [Прокопенко, 2018; Ксенофонтова и др., 2021; *Гендерное насилие*, 2022; *Гендерный аспект*, 2024; Гашков, 2023; Ксенофонтова, 2024; Лакоба, 2025]. Однако вопросы политического представительства/участия африканок и их роли в политическом развитии страны в целом удостоились пока незначительного внимания исследователей, и данная статья нацелена на восполнение этого пробела. Новизна заключается в комплексном сопоставлении электоральной динамики, институциональных ограничений, роли традиционных структур власти, политики государства и деятельности женских НПО применительно к ганскому материалу.

Методологическую основу исследования составляет системный подход, позволяющий рассматривать политическое участие женщин как комплексный процесс, зависящий от совокупности исторических, социокультурных и экономических факторов. В работе применены методы сравнительного анализа (для сопоставления ганских показателей с данными других стран Африки), статистического анализа электоральных данных, а также институциональный подход к изучению деятельности государственных органов и некоммерческих организаций. Эмпирическую базу исследования составили официальная статистика, законодательные акты Ганы и отчеты международных организаций.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ГАНСКИХ ЖЕНЩИН В ОРГАНАХ ВЛАСТИ

В существующей литературе предлагается несколько подходов для объяснения гендерных разрывов в политическом представительстве/участии. Среди них – использование выработанной еще в 1990-е годы т. н. ресурсной модели участия [Занина, Смирнова, 2022], указывающей, что в обществах с сильными патриархальными нормами, ограничивающими для женщин свободу действий в публичной сфере, мужчины негативно реагируют на расширение политического представительства женщин, причем соответствующие социальные нормы могут иметь негативные побочные последствия. Например, их внедрение может привести к отказу от общественно полезной деятельности.

Между тем женщины составляют более половины (50,1%) населения Ганы [*Ghana*, 2026], однако их представительство в политических институтах значительно ниже мужского. Так, доля ганок – депутатов парламента в 2024 г. составила 12,8% (от 276 депутатов) при среднеафриканской в 24,5%. С 1997 по 2023 г. средняя доля женщин в депутатском корпусе достигала 10,76% при минимуме в 7,89% (20 из 230 парламентариев) в 2008 г. и максимуме в 14,55% (40 из 275) в 2021–2023 гг. [*Ghana*, 2024]. Для сравнения: среднемировой показатель составляет 26,9%, в соседней Нигерии – менее 4%, тогда как в Сенегале женщины занимают свыше 46% парламентских мест [Women, 2023].

В 2024 г. из 918 кандидатов, баллотировавшихся на 276 депутатских мест, 118 (12,8%) были женщинами. Причем, когда ганки выдвигаются на политические должности, они, как правило, выигрывают пропорционально количеству женских кандидатур. Иными словами, если они составляют 10% кандидатов, то и получают 10% мест в парламенте, т. е. дискриминации по гендерному принципу не происходит. Таким образом, то обстоятельство, что по результатам выборов 2024 г. женщин-депутатов в Гане стало всего на 3 (43) больше, чем в 2020 г. (40), и это при том, что избранный в 2024 г. главой государства Джон Махама уже

и в годы (2012–2017) своего первого президентства проводил «гендерно-чувствительную» политику, учитывавшую различия в потребностях и интересах полов, можно объяснить наличием комплекса факторов, снижающих мотивацию ганок к политическому участию.

Хотя число женщин в парламенте росло, это происходило на фоне увеличения численности всего депутатского корпуса, а неофициальная квота в 30% достигнута не была. То есть, с одной стороны, наблюдается тенденция к возрастанию доли женщин-кандидатов, побеждающих на выборах; с другой – их незначительное представительство свидетельствует о низкой мотивации к масштабному участию в политической жизни.

Закон о позитивной дискриминации от 2024 г. поставил целевые показатели представительства женщин (до 50% к 2030 г.), однако не прописал механизмы их достижения. Обсуждение закона показало, что на практике женщины продолжают сталкиваться с насилием и запугиванием [Ekpe, 2026].

В ходе кампании 2024 г. и правящая Новая патриотическая партия (НПП), и оппозиционный Национальный демократический конгресс (НДК) декларировали приверженность гендерному равенству, однако результативность таких заявлений оказалась низкой: доля женщин в парламенте не достигла половины от предлагаемых квот. В своей инаугурационной речи 7 января 2025 г. Дж. Махама заявил, что НДК, ставший после всеобщих выборов 2024 г. правящей партией, намерен «разбить стеклянный потолок» для женщин в политике [Bauer, Darkwah, 2024]. Однако, как показывает опыт, само по себе введение квот не является панацеей. Эффективность этой стратегии зависит от квалификации кандидатов: простое заполнение мест ради квоты может привести к появлению некомпетентных лидеров.

На уровне местного самоуправления доля женщин в органах власти еще ниже, нежели в парламенте: в некоторых округах она едва достигает 5% [Odame, 2010]. Женщины составляют лишь около 15% глав администраций, а закон о резервировании 30% мест в окружных собраниях не работает из-за нехватки кандидатур. Несмотря на то, что в 10 регионах Ганы численность женщин превышает численность мужчин, лишь в двух из них женщины занимают посты окружных министров, а в четырех нет ни одной женщины – депутата районной ассамблеи [Azinim, 2023, p. 12–13].

Назначение женщин на ключевые посты (председателя Верховного суда, спикера парламента) и выдвижение Н.К.А. Ролингс в президенты создавали иллюзию прогресса, однако вызывали бурные общественные дебаты и не стали системной практикой. На 2026 г. из 19 министров, назначенных Махамой, женщинами являются шестеро (т.е. немногим более 30%) [Bauer, Darkwah, 2024]. Для сравнения: в 2013 г. доля женщин-министров в кабинете достигала 38,9%, а в 2023 г. – 16% [Azinim, 2023, p. 12–13], т. е. этот показатель зависит не только от гендерной политики, но и от наличия женщин, способных занять высокие правительственные должности.

РОЛЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ И ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ

Дж. Махама продолжил политику гендерного равноправия, начатую первым премьер-министром (1957–1960) и президентом (1960–1966) Ганы Кваме Нкрумой, еще в начале 1960-х гг. назначившим 10 женщин в Национальную ассамблею [Boateng, Kosi, 2015, p. 1]. К. Нкрума высоко оценивал политический потенциал женщин, отмечая, что «степень революционного сознания страны можно измерить политической зрелостью её женщин» [Ansah, Nketsiah, 2019, p. 296].

Со времен Нкрумы политические партии призваны были играть важную роль в вовлечении женщин в общественную деятельность. В настоящее время обе крупнейшие партии –

НДК и НПП – располагают женскими отделениями, занимающимися формированием соответствующего электората. Еще в 2015 г. НПП попыталась ввести правило преемственности, в соответствии с которым занимавшаяся женщиной должность должна была закрепляться за женщинами, но это предложение так и осталось на уровне риторики, не получив одобрения ни у одного из полов: опасения, что «обиженные» мужчины будут баллотироваться в качестве независимых кандидатов или переходить в другие партии, привели к отказу от этой идеи. Поддержка, которую на сегодняшний день получают кандидаты-женщины, заключается лишь в скидке для них на регистрационные сборы, взимающиеся за выдвижение от партии, но эта скидка меркнет по сравнению с огромными финансовыми затратами кандидатов [Azinim, 2023, p. 12–13], которые женщина-политик далеко не всегда может себе позволить.

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ И ТРАДИЦИОННЫЕ ИНСТИТУТЫ ВЛАСТИ

Традиционные нормы во многом определяют вовлеченность женщин в политику: эта сфера нередко воспринимается как мужская, а ассоциация женщин прежде всего с ролями жен и матерей снижает их готовность участвовать в принятии решений. Вместе с тем в Гане существуют устойчивые традиции женского политического участия. Однако речь не идет о матриархате: даже там, где важную роль играют матрилинейные механизмы наследования и преемственности, политические структуры в целом сохраняют преимущественно патриархальный характер.

Это, однако, не исключало появления влиятельных женских фигур в политической истории страны. В 1900 г. королева-мать Яаа Асантева возглавила сопротивление британским колонизаторам, став символом женского лидерства в истории Ганы.

Хотя в регионе Ашанти вождями общин, как правило, становятся мужчины, при отсутствии подходящего кандидата эту роль может занять и женщина. Например, с 1919 по 1934 г. общиной Азиаква управляла Нана Афия Боатемаа, а избранная в 1964 г. традиционным вождем Нана Шима Деки XIII за 38 лет (по 2002 г.) ее правления ни разу не столкнулась с недовольством ее подданных [Odame, 2012, p. 8]. У ашанти институт «королевы-матери» конституционно признан и наделяет женщин правом участвовать в управлении, назначать вождей и разрешать споры, что создает уникальный прецедент женского лидерства [*Constitution*, 1992, p. 134].

Между тем попытки женских НПО ввести институт «королевы-матери» на патриархальном севере натолкнулись на сопротивление. Женщины здесь лишены прав на землю и наследование, а попытки реформ через Центр знаний и развития коренных народов (ЦЗРКН) дали минимальные результаты. Многие женщины, прежде всего мусульманки, сопротивляются нововведениям и защищают свое, как они считают, «культурное наследие».

Когда в 2009 г. ЦЗРКН объявил о создании института королевы-матери на севере, это было воспринято наиболее активными и политизированными женщинами с радостью, но на практике влияние новых «королев» на принятие решений осталось незначительным.

Таким образом, если в обществах центральных районов Ганы, прежде всего у ашанти, где существенную роль играют матрилинейные механизмы наследования и преемственности, участие женщин в общественной и политической жизни получает большую культурную легитимность, то на патриархальном севере, особенно в мусульманских общинах, оно, хотя и не запрещается, но ограничивается обычаями: большинство северных племенных сообществ не имело в своей культуре ничего похожего на королеву или королеву-мать, поэтому и современным мужчинам труднее смириться со стремлением своих жен к управлению общиной [Odame, 2012, p. 8].

Даже успешные примеры женского лидерства на севере остаются единичными. Культурные нормы столь сильны, что сами женщины нередко отказываются от политических постов в пользу мужчин. Единственную назначенную женщину-парламентария из г. Калео её же соплеменницы уговорили уступить место мужчине [Odame, 2012, p. 19]. То есть даже женщины не готовы принимать своих «сестёр» в качестве политических лидеров: существуют культурные ценности, не подлежащие компромиссу ради перемен.

В целом же женское лидерство может принимать две основные формы: предписанное/наследственное (в Ашанти) и заслуженное/достигнутое (например, в Калео). В отличие от наследственных «королев» (сакральных фигур), женщины-лидеры, достигшие статуса личными усилиями, часто сталкиваются с противодействием и угрозами.

Существующие общественные собрания («дурбары») вовлекают женщин в патронажные сети, но редко приводят к реальному участию во власти. Модель «спроса и предложения» объясняет это тем, что патриархальный «спрос» подавляет политические амбиции женщин, даже если у них есть ресурсы. Потенциальные кандидаты, добровольно выдвигающие свои кандидатуры на политические должности, находятся под влиянием «факторов предложения» (личные качества, амбиции, жизненный опыт, образование, экономические ресурсы и пр.), формирующих цели и задачи претендентки. С другой стороны, «факторы спроса», т. е. особенности той или иной страны, её социальной структуры, избирательной системы или характера политических партий, влияют на вероятность того, что женщина будет вовлечена в политическую деятельность, т. е. на её самовыдвижение в качестве политика. Следует отметить, что культура, убеждения и взгляды, бытующие в том или ином обществе, влияют как на «предложение», так и на «спрос» на женщин-кандидатов. Например, в обществах с жёсткими патриархальными нормами политическое представительство женщин нередко воспринимается негативно, тогда как там, где позиции женщин в системе родства и локального управления институционально закреплены, такое участие легче легитимируется.

Все эти факторы формируют правила политической игры, однако не все категории людей готовы участвовать в политике даже в благоприятных для этого условиях: независимо от наличия факторов предложения (амбиции, ресурсы) возможности женщины стать потенциальным кандидатом по сравнению с возможностями мужчины остаются намного меньшими, поэтому она с большой вероятностью может отказаться от участия в выборах. То есть гендер влияет на политические амбиции. Действительно, устойчивая природа традиционной гендерной социализации, специфические семейные роли и ожидания продолжают оставаться препятствиями на пути женщины в политику.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО УЧАСТИЯ

С индексом человеческого развития (ИЧР) для женщин 0,505 (общий – 0,910) Гана входит в число стран с заметным гендерным неравенством. Известно, что ИЧР рассчитывается на основе показателей грамотности, образованности, уровня жизни и некоторых других. Что касается первого, то уровень грамотности женщин в Гане достигает 65%, мужчин – 78%, хотя девушек 15–24 лет – 83%, а юношей – 90%, т. е. разрыв постепенно сокращается. Данные же о посещаемости начальной и средней школы и вовсе свидетельствуют о практически полном паритете – 92,2% для девочек и 92,8% для мальчиков [*Brief*, 2024]. В высшей же школе на гуманитарных факультетах число девушек даже превышает число юношей и находится в пропорции 100 к 96 [*Ghana*, 2023(2)], т. е. можно предположить, что многие ганки вполне в состоянии разбираться в вопросах политики. Таким образом, сложившаяся в Гане ситуация опровергает широко распространенное представление о том, что отсутствие или недостаток образования предопределяют меньшее участие в политической жизни.

Хотя около трети ганок занято в предпринимательстве, связь между финансовой самостоятельностью и выходом в политику не является прямой. Для значительной части женщин барьером остается нехватка средств, необходимых для ведения кампании и удовлетворения неформальных материальных ожиданий избирателей; для части экономически самостоятельных женщин, напротив, сдерживающим фактором становится нежелание вкладывать собственный капитал в рискованную политическую инвестицию. Кроме того, женщины часто лишены прав на землю – главного ресурса в аграрной стране, что ограничивает возможности для удовлетворения материальных запросов избирателей. В большую политику идут преимущественно представительницы интеллигенции – юристы (Джорджина Вуд, Джойс Бэмфорд-Аддо), преподаватели университетов (Н.Дж.О. Агьеманг – профессор литературы, вице-канцлер Университета Кейп-Коста), – опирающиеся на профессиональный авторитет, а не на капитал. Существенным стимулом может стать и наличие политически активного родственника (яркий пример – супруга главы государства в 1979 и в 1981–2001 гг. Дж.Дж. Ролингса – Н.К.А. Ролингс). Примечательно, что политическое участие замужних женщин считается более приемлемым, нежели незамужних [Ichino, Nathan, 2017, p. 13].

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА И ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА

После Первой Всемирной конференции по положению женщин, состоявшейся в Мехико в 1975 г., в Гане – в качестве национального механизма решения гендерных вопросов – был создан Национальный совет по делам женщин и развитию (НСЖР). Позже, по результатам состоявшейся в Пекине в сентябре 1995 г. Четвертой Всемирной конференции по положению женщин, НСЖР представил в администрацию президента свою «дорожную карту» расширения политического участия женщин, что привело к интеграции НСЖР в правительственную администрацию и к созданию специальной системы взаимодействия его с соответствующими министерствами и ведомствами.

После введения в 1992 г. многопартийной системы и принятия Конституции, действующей и в настоящее время, Гана демонстрирует регулярность в проведении выборов и отсутствие препятствий в создании и деятельности общественных организаций, в т. ч. женских. В 1998 г. была сформулирована т. н. Политика позитивных действий, предусматривавшая обеспечение 40-процентного представительства женщин на всех уровнях власти: в государственных советах, комиссиях, комитетах, в т. ч. в Кабинете министров и Государственном совете. Однако по мере продвижения страны к достижению этой цели стала наблюдаться неоднозначная тенденция: в традиционных институтах управления функции королев-матерей расширились и даже само число традиционных правительниц/соправительниц увеличилось, а в современных органах власти представительство женщин осталось на прежнем уровне с незначительными улучшениями.

Массовые протесты женщин в июле 2000 г. против их политической и экономической маргинализации подтолкнули правительство к созданию в 2001 г. Министерства по делам женщин и детей (МДЖД). В 2004 г. в ответ на издание женскими НПО т. н. Женского манифеста МДЖД запустило Национальную политику по гендерным вопросам и вопросам детей, направленную на улучшение социальных, правовых, гражданских, экономических и культурных условий жизни этих групп населения [*National Gender Policy*, 2015]. В 2007 г. был принят Закон о домашнем насилии.

В 2013 г. после ряда реорганизаций и слияний профильное ведомство получило название Министерство по гендерным вопросам, делам детей и социальной защите (МГВВДСЗ)

[*Medium Term*, 2023] и возглавило процесс разработки Национальной гендерной политики (НГП) [*National Gender Policy*, 2015].

НГП была принята в 2015 г.; её основные положения включали достижение гендерного баланса во всех назначаемых правительством комитетах, советах и пр. официальных органах; институционализацию гендерно-ориентированного бюджетирования и обучение по вопросам гендерного равенства в государственных и муниципальных службах; внедрение мер по изменению поведенческих социокультурных норм и ценностей, препятствующих гендерному равенству; выделение министерствами и другими государственными учреждениями 30% средств на борьбу с бедностью среди женщин; расширение доступа к образованию, здравоохранению и обучению навыкам деятельности, приносящей доходы; поддержку программ наставничества для формирования пула женщин-лидеров [*Ghana*, 2023(1)]. В учредительных документах НГП достижение гендерного равенства рассматривается как реализация прав человека, как необходимое условие устойчивого развития и согласуется со статьями 17(1) и (2) Конституции 1992 г., гарантирующей «свободу женщин и мужчин, девочек и мальчиков» от всех видов дискриминации [*National Gender Policy*, 2015].

Следует отметить, однако, что препятствиями на пути обеспечения – под эгидой правительства – гендерного равенства и социальной защиты являются не только нехватка средств, выделяемых на эти цели, но и восприятие МГВВДСЗ как «потребляющего механизма», а не как учреждения, участвующего в цепочке создания стоимости, тем более что оно, в т. ч. из-за недостатка в соответственно обученных кадрах, неэффективно играет роль координатора решения гендерных вопросов, хотя и регулярно проводит семинары по развитию у ганок организационных навыков. Впрочем, упоминание подобных мероприятий в отчетах МГВВДСЗ и различных НПО вовсе не означает, что «курсистки» получают качественное обучение. Напротив, описания работы «гендерных семинаров» свидетельствуют о том, что женщин на них направляют по разнарядке, иначе они отказываются под предлогом отсутствия времени [Burgess, Ayentimi, 2020].

Между тем недостаточное представительство женщин в парламенте и на руководящих государственных должностях получило обратный – компенсирующий это обстоятельство – эффект: оно привело к созданию многочисленных женских организаций, направленных среди прочего на продвижение гендерного равенства в политике. Эти организации играют важную роль в формировании общественной повестки, продвижении законодательных инициатив, способствуют развитию политического образования и на выборах поддерживают женщин-кандидатов.

ЖЕНСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ: ОТ НАЦИОНАЛИЗМА К ПРАВОЗАЩИТЕ

Уже в первой половине XX в. в колонии Золотой Берег начали формироваться – по профессиональному, религиозному, региональному и пр. принципам – первые женские организации, ставшие площадками для обсуждения различных проблем, в т. ч. и политического свойства. Женщины – прежде всего рыночные торговки – активно участвовали в антиколониальном движении, поддерживая националистические политические партии и организуя массовые акции гражданского неповиновения, тем самым подрывая колониальную экономику и способствуя политическим переменам. Впрочем, эти действия были продиктованы интересами всего коренного населения и не были направлены на расширение прав женщин.

После создания в 1960 г. Национального совета женщин Ганы, контролировавшегося государством, и его роспуска в 1966 г. женское движение активизировалось лишь

в 1980-е гг. (тогдашней первой леди Н.К.А. Ролингс в 1981 г. было основано «Женское движение 31 декабря»), но настоящий расцвет независимых НПО начался с принятием Конституции 1992 г., закреплявшей за гражданами страны право на формирование независимых НПО, в т. ч. нацеленных на достижение гендерного равенства [*Constitution*, 1992, p. 36].

В 1991 г. в Лондоне была основана международная НПО *ABANTU for Development* (слово *abantu* в ряде африканских языков означает «народ»), целью которой стало расширение возможностей африканок в политической и экономической сферах [Ekpe, 2024]. Одним из наиболее значимых достижений *ABANTU* стало издание в 2004 г. Женского манифеста Ганы – документа, представляющего собой комплексный набор направленных правительству требований, касающихся вопросов политического представительства, экономических прав и социальной политики [Odame, 2010].

Совсем недавно, в 2024 г., *ABANTU* запустила проект под названием «Укрепление потенциала в области гендерного равенства и социальной интеграции в преддверии ганских выборов 2024 и в последующие годы» в целях мобилизации большего числа женщин на избирательные участки и обеспечения избрания большего числа женщин [Ekpe, 2024].

В 1999 г. была создана НПО «Сеть за права женщин в Гане» (СПЖГ), к концу 2010-х гг. ставшая зонтичной примерно для 80 женских правозащитных групп, разбросанных по стране. Среди заявленных целей «Сети» была выработка стратегии борьбы за расширение прав женщин в производственной сфере и участие в реформировании законодательства. Особенностью организации является её присутствие во всех регионах Ганы в форме соответствующих координационных центров. Секретариат, реализующий политику НПО и действующий под ежедневным контролем его главы, находится в Аккре. СПЖГ сохраняет структуру, управляемую исключительно женщинами, ограничивая участие мужчин вспомогательными функциями.

Одним из наиболее важных направлений деятельности «Сети» является отстаивание права женщин на владение землей – едва ли не главный источник их дохода. Входящие в «Сеть» НПО также активно участвуют в образовательных программах для женщин – кандидатов в депутаты, проводят исследования и публикуют аналитические отчеты, нацеленные на формирование общественной дискуссии по поводу роли женщин в политике. Между тем в своей работе СПЖГ сталкивается со многими трудностями, в т. ч. с нехваткой финансирования и отсутствием организационной гибкости. Предполагалось, что «Сеть» будет довольствоваться лишь внутренними ресурсами – материальными в виде членских и других добровольных взносов и человеческими в форме волонтерской работы: таким образом основатели НПО стремились сохранить её независимость от влияния правительства, и отчасти ей это удалось. Дополнительную поддержку СПЖГ обеспечивает сотрудничество с рядом панафриканских НПО [Britwum, 2017, p. 176–179].

В свою очередь, такие ганские НПО, как «Женщины в сферах права и развития в Африке» и Коалиция по борьбе с домашним насилием, участвовали в программах повышения осведомленности о судебных реформах, правах женщин и детей, а также о возможностях для женщин доступа к правосудию [*National Gender Policy*, 2015].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, женское движение в Гане отличается заметным разнообразием. В стране действуют НПО, работающие в различных сферах, включающих политическое представительство/участие, расширение экономических прав женщин, борьбу с домашним насилием и др. Однако слабая вовлеченность женщин в процессы принятия ответственных решений

обусловлена не только недостатком информации об их правах, но и национальным гендерным контекстом, который по-прежнему характеризуется сексистскими стереотипами и социальными нормами, затрудняющими применение правовой базы и мер, принимаемых для достижения гендерного равенства.

Несмотря на активность женских НПО и поддержку, оказываемую им международными институтами, политическое представительство ганок остается ограниченным из-за сочетания нескольких факторов: нехватки финансовых и имущественных ресурсов у значительной части потенциальных кандидаток, высокой стоимости избирательных кампаний, а также нежелания части экономически самостоятельных женщин вкладывать собственный капитал в политическую карьеру. Стереотипы в отношении политического представительства/участия женщин сохраняются не только в патриархальных общинах, но и на национальном уровне. Таким образом, именно женские НПО становятся теми политическими игроками, которые способны сыграть главную роль в продвижении гендерного равенства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

Гашков В.О. Особенности карьерных стратегий женщин в политической элите в странах Африки (Руанда, ЮАР) и Океании (Австралия, Новая Зеландия). *Социогуманитарные коммуникации*. 2023. № 3. С. 87–96 [Gashkov V.O. Features of Women's Career Strategies in the Political Elite in Africa (Rwanda, South Africa) and Oceania (Australia, New Zealand). *Social and Humanitarian Communications*. 2023. No. 3. Pp. 87–96 (in Russian)].

Гендерное насилие в Африке: истоки, мотивы, виды. Отв. ред. Н.Л. Крылова, Н.А. Ксенофонтова. М.: Институт Африки РАН, 2024 [*Gender-Based Violence in Africa: Origins, Motives, Types*. N.L. Krylova, N.A. Ksenofontova (eds.) Moscow: Institute for African Studies RAS, 2024 (in Russian)].

Гендерный аспект африканской культуры. Между архаикой и современностью. Отв. ред. Н.Л. Крылова, Н. А. Ксенофонтова. М.: Институт Африки РАН, 2022 [*Gender Aspects of African Culture. Between Archaic and Modernity*. N.L. Krylova, N.A. Ksenofontova (eds.) Moscow: Institute for African Studies RAS, 2022 (in Russian)].

Занина Т.М., Смирнова Ю.Ю. Эволюция моделей политического участия и современные вызовы политического развития в системе управления. *Вестник Воронежского института МВД России*. 2022. № 2. С. 220–224 [Zanina T.M., Smirnova Yu.Yu. Political Participation Models Transformation and Modern Challenges of Political Development. *Vestnik of Voronezh Institute of the Ministry of the Interior of Russia*. 2022. No. 2. Pp. 220–224 (in Russian)].

Ксенофонтова Н.А. «Африканская Лисистрата» – женщина, остановившая войну. *Азия и Африка сегодня*. 2024. № 1. С. 76–81 [Ksenofontova N.A. "African Lysistrata" – The Woman Who Stopped the War. *Asia and Africa Today*. 2024. No. 1. Pp. 76–81 (in Russian)].

Ксенофонтова Н.А., Ильина Н.Ю., Татаровская И.Г. *Женщины и культура. Африканские традиции. Современные тенденции*. М.: Институт Африки РАН, 2021 [Ksenofontova N.A., Ilina N.Yu., Tatarovskaya I.G. *Women and Culture. African Traditions. Modern Trends*. Moscow: Institute for African Studies RAS, 2021 (in Russian)].

Лакоба М.В. «Невидимые труженицы»: важнейшие тренды социально-экономического положения женщин в странах Африки южнее Сахары. *Ученые записки Института Африки РАН*. 2025. Т. 11. № 3. С. 148–162 [Lakoba M.V. Invisible Toilers: Critical Trends in Women's Socio-Economic Status in Sub-Saharan Africa. *Journal of the Institute for African Studies*. 2025. Vol. 11. No. 3. Pp. 148–162 (in Russian)].

Прокопенко Л.Я. *Женщины и власть (на примере стран Юга Африки)*. М.: Институт Африки РАН, 2018 [Prokopenko L.Ya. *Women and Power (Case Study of Southern African Countries)*. Moscow: Institute for African Studies RAS, 2018 (in Russian)].

Ansah R.A., Nketsiah J. Women's Participation in Local Politics in Agona East Constituency of Ghana. *International Journal of Scientific and Research Publications*. 2019. Vol. 9. No. 10. Pp. 294–306.

Azinim M. Under-representation of Women in Leadership in Ghana: Action Needed to Achieve the Sustainable Development Goals. *UNDP*. 2023. https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2023-09/undp_ghana_paper-_women_representation_in_governance_in_ghana-.pdf (accessed: 12.02.2026).

Bauer G., Darkwah K. Ghana's Election System Keeps Women out of Parliament. How to Change That. *The Conversation*. 2024. https://theconversation.com/ghanas-election-system-keeps-women-out-of-parliament-how-to-change-that-245187 (accessed: 08.02.2026).

Boateng J.S., Kosi I. Women's Representation and Participation in District Assemblies in Ghana: Analysis of Supply-Side and Demand-Side Framework. *International Journal of Scientific and Research Publications*. 2015. Vol. 5. No. 10. Pp. 1–6.

Brief on Gender Equality and Women Empowerment. *ADF*. April 2024. https://www.uneca.org/eca-events/sites/default/files/resources/ documents/acs/sixth-africa-gender-statistics-forum/03-genderbrief-ghana_en.pdf (accessed: 11.02.2026).

Britwum A. Women Organising in Ghana: The Network for Women's Rights (NETRIGHT) and NGO Networking for Policy Intervention. *Feminist Africa*. 2017. Vol. 22. Pp. 174–185. https://feministafrica.net/wp-content/uploads/2019/05/fa22_profiles_2.pdf (accessed: 01.03.2026).

Burgess J., Ayentimi D.T. Women in Ghana: Progress, but Important Challenges Remain. *The Conversation*. 06.03.2020. https://theconversation.com/women-in-ghana-progress-but-important-challenges-remain-130065 (accessed: 10.03.2026).

Constitution of the Republic of Ghana. 1992. https://constitutionnet.org/sites/default/files/Ghana%20Constitution.pdf (accessed: 11.02.2026).

Ekpe R. ABANTU Begins Project to Strengthen Capacity for Gender Equality and Social Inclusion in Polls. *Ghana Broadcasting Corporation*. 08.11.2024. https://www.gbcghanaonline.com/general/abantu-begins/2024 (accessed: 10.02.2026).

Ekpe R. Ghana's Gender Equity Agenda: Taking Stock of Affirmative Action. *Ghana Broadcasting Corporation*. 02.03.2026. https://www.gbcghanaonline.com/features/affirmative-action-ghana-2/2026 (accessed: 15.02.2026).

Ghana Population. *Worldometer*. 2026. https://www.worldometers.info/ world-population/ghana-population (accessed: 20.02.2026).

Ghana. Bridging the Gap: Policy Innovations to Put Women at the Center of Food Systems Transformation in Africa. *Malabo Montpellier Panel*. June 2023(1). https://www.mamopanel.org/media/uploads/ files/Ghana_Case_Study-Bridging_the_Gap-Policy_Innovations_to_Put_Women_at_the_Center _of_Food_Systems_Transformation_in_Africa.pdf (accessed: 11.02.2026).

Ghana: Female to male ratio, students at tertiary level education. *The Global Economy.* 2023(2). https://www.theglobaleconomy.com/ Ghana/Female_to_male_ratio_students_tertiary_level_educa (accessed: 10.03.2026).

Ghana: Women in Parliament. *The Global Economy.* 2024. https://www.theglobaleconomy.com/Ghana/Women_in_parliament (accessed: 10.03.2026).

Ichino N., Nathan N.L. Political Party Organization and Women's Empowerment: A Field Experiment in Ghana. *National Commission of Civic Education*. 2017. https://poverty-action.org/sites/default/ files/publications/Ichino _PoliticalPartiesWomensEmpowermentGhana.pdf (accessed: 18.02.2026).

Medium Term Expenditure Framework (MTEF) for 2023-2026. *Ministry of Gender, Children and Social Protection. Republic of Ghana*. 2023. https://mofep.gov.gh/sites/default/files/pbb-estimates/2023/2023-PBB-MOGCSP.pdf (accessed: 15.03.2026).

National Gender Policy. *Ministry of Gender, Children and Social Protection. Republic of Ghana*. 2015. https://www.mogcsp.gov.gh/mdocs-posts/national-gender-policy (accessed: 15.03.2026).

Odame F.S. Ghanaian Traditional Women Leaders and Sustainable Development: The Case of Nadowli Districts in Northern Part of Ghana. *APSA 2012 Africa Workshop Paper*. 2012. https://ssrn.com/abstract=2205435 (accessed: 10.02.2026).

Odame F.S. Women in Politics in Ghana. A Study on Local Government in the Greater Accra Region. *Wa: University for Development Studies*. 2010. https://www.ajol.info/index.php/gjds/article/download/61401/49552 (accessed: 14.02.2026).

Women in parliament – Country rankings. *The Global Economy.* 2023. https://www.theglobaleconomy.com/rankings/ Women_in_parliament/Africa (accessed: 10.03.2026).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ / INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

ДЕНИСОВА Татьяна Сергеевна – к.и.н., в.н.с., зав. Центром изучения стран Тропической Африки, Институт Африки РАН, Москва, Россия.

КОСТЕЛЯНЕЦ Сергей Валерьянович – к.полит.н., в.н.с., зав. Центром социологических и политологических исследований, Институт Африки РАН, Москва, Россия.

Tatyana S. DENISOVA, PhD (History), Leading Research Fellow, Head of the Center for Tropical Africa Studies, Institute for African Studies, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia.

Sergey V. KOSTELYANETS, PhD (Political Science), Leading Research Fellow, Head of the Center for Sociological and Political Sciences Studies, Institute for African Studies, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia.

КУЛЬТУРА И СОЦИУМ

DOI: 10.31696/S086919080039564-7

EUROPEAN CHRISTIANS (THE FRANKS) IN THE EXEGESIS OF THE QURAN AND HADITHS (14TH –18TH CENTURIES)[1]

© 2026

Oleg A. SOKOLOV [a]

[a] – Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia
ORCID: 0000-0002-6051-5239; o.a.sokolov@spbu.ru

Abstract: *Tafsirs and hadith commentaries retransmitted the views of theologians who were among the dominant opinion leaders in the pre-Modern and Early Modern Arab world. Therefore, these treatises represent a promising source for studying the perception of Europeans (Franks) in the Arab world during the period between the end of the Crusades and the French invasion of Egypt and Syria under Napoleon's command. A study of tafsirs and hadith commentaries from this period revealed the following four patterns of representation of the Franks in this kind of sources: antiquation of the conflict with the Franks by placing battles with them into pre-Islamic and early Islamic times such as the First (674–678) and Second (717–718) sieges of Constantinople by the Arabs and conquest of Rhodes (673); recent, ongoing and eschatological wars with them with the focus on the Crusades, the loss of Andalusia and battles against Dajjāl on the Day of Judgment; their recognition of the truth of Islam, including conversion to it after witnessing miracles on the battlefield or as a result of polemics with Islamic theologians; and everyday matters related to them, such as the prohibition of beard shaving or pork consumption. As for the ratio of mentions of the Franks in the tafsirs and hadith commentaries under consideration, it is crucial that these two types of sources generally demonstrate a unified system of patterns, though being less practice-oriented than works on fatwa collections of the considered period, which constitute a promising sphere for further enquiry.*

Keywords: Islamic history, Arab history, Islamic thought, Quran, Hadith, Crusades, Muslim-Christian Relations, Franks.

For citation: Sokolov O.A. European Christians (the Franks) in the exegesis of the Quran and Hadiths (14th –18th centuries). *Vostok (Oriens)*. 2026. No. 5. Pp. 175–185. DOI: 10.31696/S086919080039564-7

INTRODUCTION

The study of the image of Europeans (the Franks, Arabic *ifranj*) in the Islamic world before the 19th century focuses almost exclusively on the views of Muslim historians, travelers, and geographers. In this regard, it is relevant to examine the image of the Franks in tafsirs (commentaries on the Quran) and collections of hadiths (precedents from the life of the Prophet Muhammad), as well as to consider examples from the genre of biographies of the Prophet Muhammad (*sīrat rasūl Allāh*), a significant part of which de facto constitute a retelling of narratives from hadiths. The time frame of the study will cover the 14th – 18th centuries. The lower limit is the fall of the

[1] Funding: The study was funded by the Russian Science Foundation grant No. 24-78-10027, https://rscf.ru/en/project/24-78-10027/.

last Crusader fortresses in the Levant, as the image of the Franks during the Crusades has been extensively studied by Carole Hillenbrand [Hillenbrand, 1999] and other researchers. The upper limit is the landing of Napoleon I (1769–1821) in Egypt in 1798, which marked a new stage in the interactions between Europeans and the Arab world. The study will focus on the works of Arabic-speaking theologians who resided in the Middle East and North Africa during this period.

Until now, only sparse mentions of the Franks in the works of influential Muslim religious figures of the 14th –18th centuries have been examined, mostly from the treatises of Ibn Taymiyya (1263–1328). Toby Matthiesen notes that this religious thinker wrote about the enemies of the Sunnis as accomplices of the Franks and Mongols [Matthiesen, 2023, p. 80]. Suleiman Murad and James Lindsay point out that Ibn Taymiyya also criticized the Shiites, primarily the Ismailis [Mourad, Lindsay, 2013, p. 108–109], for peacefully coexisting with the Franks and aiding them. Daniel Koenig also examines Ibn Taymiyya's criticism of the Pope [Konig, 2015, p. 266]. However, in such cases, researchers cite this theologian's works on fiqh and collections of fatwas, rather than commentaries on the Quran and hadith. The views of another influential religious figure, Ibn Kathīr (1301–1373), on the Franks are examined primarily through his work on jihad [Frenkel, 2016, p. 109–110].

If we turn to studies of the image of Christians in the Quran and hadith, it appears that they mostly focus on how the sacred texts and commentaries depict Christians as a religious community in general. For example, the seminal work of Jane McAuliffe on the image of Christians in the Quran does not pay much attention to attitudes toward various ethnic groups professing Christianity [McAuliffe, 1991]. Other works examine the image of Christians in tafsirs and hadith commentaries from the 9th – 11th or 19th –20th centuries [Ridgeon, 2011]. Works devoted specifically to Muslim-Christian interactions in the Muslim world focus on Muslim perceptions of local Christians, leaving the Franks aside [Griffith, 2008]. Some studies even point out that Muslim theologians rarely addressed the key episode of Muslim-Frankish interaction i.e. the Crusades [Lazarus-Yafeh, 1996, p. 70].

Therefore, it seems relevant to study how the Franks were represented in tafsirs and hadith commentaries in the post-Crusade period. This approach is based on the assumption that religious figures in medieval traditional societies were opinion leaders, and thus they both set the direction of perception of various aspects of life and sought to provide answers to the concerns of their contemporaries [Rozov, 2026, p. 46]. Hence, I will analyze the patterns of depiction of the Franks categorizing the contexts in which Muslim theologians mention them.

BACKDATING THE CONFRONTATION WITH THE FRANKS

One of the most widespread types of references to the Franks in works on hadith is the antiquation of the confrontation with this ethnic group, placing wars and battles with them into pre-Islamic and early Islamic times. An illuminative example of this pattern is found in the 14th century commentary on the authoritative Sunni hadith collection *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* made by the Egyptian theologian 'Umar ibn al-Mulaqqin (1323–1401). This author mentions the Franks in the context of the Second siege of Constantinople by the Arabs in 717–718:

Maslama ibn 'Abd al-Malik ibn Marwān, son of the Commander of the Faithful al-Walīd, and his other brother, conquered the lands of the Romans/Byzantines (rūm), leading troops from the Levant into battle until they reached Constantinople. Maslama built a mosque there where Allah was worshipped, and the hearts of the Franks were filled with fear of them [Ibn al-Mulaqqin, 1990, vol. 7, ṣ. 3347].

In this case, it is important to note that, although the author discusses the Byzantine-Arab wars, he asserts that Maslama ibn 'Abd al-Malik's expedition frightened specifically the Franks,

then he goes on to mention the continuation of wars with them in the Iberian Peninsula [Ibn al-Mulaqqin, 1990, vol. 7, ṣ. 3348].

Another example of this pattern can be found in the work of an influential author Shams al-Dīn al-Kirmānī (1317–1384), who spent most of his life in Baghdad. He cites the opinion of Ibn Mas‘ūd al-Thaqafī, who said that “the enemies of Muslims are like a bird with a head, two wings, and two legs”. Al-Kirmānī then specifies:

And if you ask what these two legs are, I will answer, for example, the Emperor of the Franks and, for example, Khosrow of India [al-Kirmānī, 1981, vol. 13, ṣ. 127].

This context is illuminative because, although Ibn Mas‘ūd al-Thaqafī’s use of the term “emperor” (*qayṣar*) likely referred to the Byzantine emperor, as this opinion dates back to the late 7th century, al-Kirmānī interprets this title specifically as the emperor of the Franks, deriving his view from the realities of the 14th century. Later Shams al-Dīn al-Birmāwī (d. 1428) and Aḥmad al-Qasṭalānī (1448–1517) also translated this opinion.

Numerous examples of the archaizing of the confrontation with the Franks are found in tafsirs and hadith commentaries of the 15th century, in which battles against the Franks are placed during the reigns of the third Righteous Caliph ‘Uthmān (574/575–656), the founder of the Umayyad dynasty Mu‘āwiya ibn Abī Sufyān (603/605–680), and the 8th Umayyad Caliph ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azīz (682–720).

A telling illustration of this pattern is evidenced in the hadith commentary of Badr al-Dīn al-‘Aynī (1360–1451). The Franks appear in his commentary to hadith collection *Sunan Abī Dāwud*:

Muslims conquered the island of Rhodes under the command of Junāda ibn Abī Umayya in 53 AH. A Muslim detachment established itself there and fought fiercely against the infidels, intercepting them at sea and blocking their passage. Mu‘āwiya generously provided them with provisions and supplies. They were extremely wary of the Franks, spending their nights in a large fortress [al-‘Aynī, 1999, vol. 6, ṣ. 176].

It is important to note that although this passage covers the capture of Rhodes during the reign of Mu‘āwiya (673 CE), the Muslim garrison was on guard, specifically expecting a Frankish attack.

Another striking example of the antiquated confrontation with the Franks is seen in the work of the Egyptian theologian Ḥasan ibn ‘Alī al-Fayyūmī (1402–1466), who mentions the death of Abū Ayyūb al-Anṣarī near the walls of Constantinople during its first siege by the Arabs in 674–678:

His tomb, located near the city walls, is famous and venerated to this day. People pray for rain at it, and it pours. A large dome rises over his tomb, and it is visited and provides blessing to this day. This is one of the most miraculous and extraordinary events: a Muslim fought the Franks, killing as many of their leaders as Allah willed, and then, after he was killed and buried at their [land], they were doing with his tomb what we have mentioned. This is one of the miracles of the Companions of the Messenger of Allah [al-Fayyūmī, 2018, vol. 1, ṣ. 491].

It is crucial that in this case al-Fayyūmī specifically names the Franks as the Muslims’ adversaries.

Another authoritative Egyptian hadith scholar of the 15th century Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī (1372–1449) also mentions the Franks in the context of the second siege of Constantinople (717–718) following ‘Umar ibn al-Mulaqqin and further describes the continuation of the war with them in the Maghreb [al-‘Asqalānī, 1998–2000, vol. 18, ṣ. 262–263].

The association of *rūm* with *ifranj*/*faranj* also recurs in the work of Aḥmad ibn Raslān (1371–1440), a theologian from Ramla who spent most of his life in Jerusalem. Of particular interest is his commentary on the hadith about a companion whose horse was captured by *al-rūm* whom as he says are *al-faranj*, also called *banū aṣfar*. Later Khālid ibn al-Walīd returned his horse to him [Ibn Raslān, 2016, vol. 11, ṣ. 557].

Summarizing the analysis of all the above mentioned examples, it is important to note that in all contexts examined concerning the reigns of the Righteous Caliphs and the Umayyad dynasty, *ifranj* occupy the place of *rūm* in the interpretations of the corresponding hadiths, which marks the universalization of their image as Christian enemies in the Arab-Muslim intellectual space of the 15th century.

As for the works of the 16th century, it is essential to highlight the reproduction of the same pattern in the tafsir by a prominent theologian and Hanbali qadi of Jerusalem, Mujīr al-Dīn al-ʻUlaymī (d. 1522). In his commentary of surah *al-Isrāʼ* (17:7) this author tells how the future Roman emperor Titus Flavius Vespasianus (39–81) destroyed the Second temple in Jerusalem, presenting him as "the ruler of a city in the Frankish lands", not of the Roman state [al-ʻUlaymī, 2011, vol. 4, ṣ. 82].

A representative example of archaizing of the confrontation with the Franks is adduced in the 18th century tafsir by an Ottoman theologian Ismaʻīl al-Bursawī (1653–1725), who wrote a significant portion of his works while living in Damascus. He introduces the Franks in his commentary on surah *Ṣād* (38:39) in the context of the deeds of the Prophet Sulaymān (i.e. King Solomon):

He also conquered the lands of the Maghreb, including Andalusia, Tangier, the lands of the Franks, and the surrounding territories [al-Bursawī, [s.d.], vol. 8, ṣ. 38].

It is important to note that in this case, by indicating that Sulaymān conquered lands of the Franks, al-Bursawī marks their historical possession of these territories, thus backdating their history.

THE RECENT, ONGOING AND ESCHATOLOGICAL WARS WITH THE FRANKS

The examples of actual military confrontation with Western Europeans in the 12th –15th centuries also find their way into hadith commentaries. Aḥmad ibn Raslān mentions that, due to the strife of the "rulers of the Maghreb", the Franks took control of entire Andalusia and the surrounding islands and "are eager to seize the lands of Islam" [Ibn Raslān, 2016, vol. 16, ṣ. 672]. In his commentary on another hadith, when mentioning that its transmitter came from Tyre, the same theologian alludes to the era of the Crusades, noting that the Franks had previously captured the city [Ibn Raslān, 2016, vol. 16, ṣ. 491].

The capture of Jerusalem by the Franks during the First Crusade (1096–1099) is mentioned by Mujīr al-Dīn al-ʻUlaymī in his tafsir of surah *al-Rūm* (30:2–4). He notes that the Muslims held Jerusalem for 477 years, after which it was seized by the Franks, and then the city was liberated by Ṣalāḥ al-Dīn al-Ayyūbī (1137–1193) [al-ʻUlaymī, 2011, vol. 5, ṣ. 269]. Al-ʻUlaymī also cites the Andalusian Sufi Ibn Barrajān (d. 1141), who had predicted in his tafsir the recapture of Jerusalem from the Franks by Ṣalāḥ al-Dīn almost half a century before it occurred [al-ʻUlaymī, 2011, vol. 5, ṣ. 270].

Among the works of theologians of the 17th century, a telling example of the re-enactment of the Crusades memory can be found in the work of the Egyptian theologian Muḥammad al-Munāwī (1545–1621), who mentions the transfer of the head of Imam Ḥusayn to Cairo by the Fatimids after the capture of Ascalon by the Franks [al-Munāwī, 2001, vol. 1, ṣ. 265].

Among references to the Franks in the 18th century there are also many contexts that deal with military confrontation with Western Europeans, particularly examples of the perpetuation of the memory of the Crusades. Numerous illustrative examples of this appear in the works of an Egyptian hadith scholar Muḥammad ibn ʻAbd al-Bāqī al-Zurqānī (1645–1710). For instance, he praises the Zangid/Ayyubid commander Muẓaffar al-Din Kūkbūrī (1154–1232/1233), who established the celebration of the prophet Muhammad's birthday. It is noteworthy, however, that

al-Zurqānī notes that Muẓaffar al-Din Kūkbūrī died besieging Frankish-held Acre in 630 AH (i.e., 1232/1233):

His reign had been long until he died besieging the Franks in the city of Acre in 630 AH [al-Zurqānī, 1996, vol. 1, ṣ. 262].

In this case, it is important that, although the date of death is given correctly, Arab chroniclers agree that Muẓaffar al-Din Kūkbūrī died in the city of Balad in Iraq, not in the Levant; neither do they provide any information about the siege of Acre by the Ayyubids in 1232/1233. It can be assumed that al-Zurqānī's error is connected to the fact that Muẓaffar al-Din Kūkbūrī was famous for his battles with the Franks and the ransoming of captives from them, thus his death became associated with the struggle against the Crusaders.

Following 17th century authors, al-Zurqānī also refers to the memory of the Crusades in the context of the transfer of Ḥusayn's head to Cairo after the capture of Ascalon by the Franks [al-Zurqānī, 1996, vol. 10, ṣ. 151]. His contemporary, Isma'īl al-Bursawī, in turn, mentions the Frankish capture of Jerusalem in his commentary on surah *al-Baqara* (2:114). After listing all the conquerors of the city, including Titus Flavius Vespasian, he finally indicates the capture of the city by the participants of the First Crusade:

It then remained in the hands of the Christian Franks for over a hundred years, until it was conquered and liberated by the Ayyubid ruler al-Nāṣir Ṣalāḥ al-Dīn in 585 AH [al-Bursawī, [s.d.], vol. 1, ṣ. 208].

It is noteworthy that al-Bursawī, following some authors of previous centuries, erroneously states that the Franks held Jerusalem for "more than a hundred years" (*akthar min mi'at sana*) before Ṣalāḥ al-Dīn's recapture of the city. Furthermore, in his tafsir of surah *al-Rūm* (30:5–10), al-Bursawī, following his predecessors, cites the story of how Ibn Barrajān had predicted in his tafsir that Ṣalāḥ al-Dīn would recapture Jerusalem from the Franks [al-Bursawī, [s.d.], vol. 7, ṣ. 6].

The theme of the Franks as military adversaries, but in an eschatological vein, was also raised by many theologians.

A vivid example of introducing the Franks into the contexts about the coming of *Dajjāl* (i.e. Antichrist) is found in the work of Ibn Raslān, who reports the following commenting on a hadith mentioning Constantinople:

Constantinople <…> the great city, is now in the hands of the Franks from the Romans/Byzantines, and it will be mentioned in the epics that its conquest is a sign of the appearance of Dajjāl and the coming of the hour [of God's judgment] [Ibn Raslān, 2016, vol. 11, ṣ. 104].

Another illustrative eschatological context is provided by a famous theologian Nūr al-Dīn 'Alī al-Qārī (d. 1606), who spent most of his life in Mecca. This passage appears in his work on the biography of Muḥammad, which is mostly represented in a form of commentaries on the Quran and hadith. The author mentions the Franks in his exegesis of surah *al-Rūm*, examining its interpretation by Abū al-Qāsim al-Suhaylī (1114–1185), who noted that the Romans/Byzantines would not seize the lands of the Levant until the Day of God's Judgment (*yawm al-qiyāma*):

From this, al-Suhaylī concluded that the Romans/Byzantines would not have power over Shām until the Day of Judgment, and by Romans he meant infidels from the Franks and Christians [al-Qārī, 2001(2), vol. 1, ṣ. 682].

Thus, *rūm* are perceived here as a historical designation for Christian enemies, and al-Qārī interprets this word based on the realities of the turn of the 16th and 17th centuries, when the main adversaries of Muslims in the Mediterranean and Indian Ocean were the European Franks. On the other hand, it is affecting that Franks (*al-ifranj*) and Christians (*al-naṣārā*) are here considered to be units of the same level (*wa-arāda bi-l-rūm kuffārahum min al-ifranj wa-l-naṣārā*), i.e., the Franks are excluded from the followers of Christianity, although, most likely, the intended contrast is between European and Middle Eastern Christians.

Even more compelling are the examples from the tafsir by Isma‘īl l-Bursawī who predicted battles with the Franks on the Day of Judgment. For instance, in his tafsir of surah *al-A‘rāf* (7:156–160), this author asserts that the Ottoman Empire will exist until the end of time, and further insists that *Dajjāl*’s armies will consist of Franks and Hungarians:

After this, there will be no other state for anyone until the coming of the Mahdi and Jesus, and they will fight those whom the Dajjāl spoiled, from among the lawless infidels of the Franks, the Hungarians, and others, and there are a great many of them [al-Bursawī, [s.d.], vol. 3, ṣ. 253].

This author also places the Franks in another eschatological context, explaining the meaning of surah *al-Naml* (27:82):

And people will remain there for one hundred and twenty years after the rising of the sun from the West. From this it follows that Banū Aṣfar, that is, the Franks, according to hadith scholars, will emerge and remain in the depths for six years. The Mahdi will appear in the seventh year, then the Dajjāl will appear, then Jesus will descend, then the Beast will appear, and then the sun will rise from the West [al-Bursawī, [s.d.], vol. 6, ṣ. 372].

Thus, in al-Bursawī’s work, the Franks are represented as enemies in all eras: the Prophet Sulaymān attacked them in the distant past, then Ṣalāḥ al-Dīn was fighting them in the recent times, and finally, in the future, on the Day of God’s judgment, the Prophet ‘Īsā would also fight them.

RECOGNITION OF THE TRUTH OF ISLAM BY THE FRANKS

Another key pattern is the Franks’ recognition of the greatness and superiority of Islam. An illustrative example of this is found in the tafsir of Aḥmad al-Samīn al-Ḥalabī (d. 1355), a theologian from Aleppo who spent much of his life in Egypt. Referring to ayah (41:30) of surah *Fuṣṣilat*, he tells the story of how the son of a Frankish king named Shaṭā converted to Islam during the battle against the Muslims:

A righteous sheikh from Damietta told me during my journey there, when I visited the graves of the fallen in a place called Shaṭā, he showed me a fine grave with a magnificent structure and said, “This is the grave of Shaṭā”. I asked, “And who is Shaṭā?” He replied, “The son of one of the Frankish kings, he came with his father and an army to seize our land. When the battle ensued, Muslims were killed, and Shaṭā entered the fray and saw a Muslim man lying in his blood. He stepped on him, and by God’s will, miracle appeared to him. And he saw a heavenly houri approaching him with a jug of water” [al-Samīn al-Ḥalabī, 1996, vol. 2, ṣ. 299–300].

Shaṭā then converted to Islam, went over to the Muslims, and died in battle against the Franks, with his grave later becoming a place of pilgrimage. Given that the site mentioned is located near Damietta, the most likely inspiration for this story could have been the defection to the Muslim side of one of the participants of the Fifth (1217–1221) or Seventh (1248–1254) Crusades. Moreover, the name *Shaṭā* refers to a medieval city, located near Damietta and famous for its textile production. It is important to note that, although the city has been known by this name since at least the 7th century, popular etymology traced its name back to a Frankish prince.

Sources of the 15th century also provide a striking example of the recognition of the truth of Islam by the Franks. Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī and Badr al-Dīn al-‘Aynī in their commentaries on *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* introduce a narrative about how the Byzantine Emperor Heraclius I (575–641) received a copy of the Quran from Muḥammad, and then the Frankish kings kept it in secret from their subjects and considered it a source of their own power:

Al-Suhaylī mentioned hearing that Heraclius placed the book in a golden case as a sign of respect, and that it was passed down from generation to generation until it came into the possession of the Frankish king who conquered Toledo, and then passed to his grandson [al-‘Asqalānī, 1970, vol. 1, ṣ. 44].

Then comes the passage about how the ruler of the Maghreb sent an envoy to the Frankish king:

The ruler of the West sent me to the King of the Franks with a request for intercession, which he accepted. He offered me a place to stay with him, but I refused. He said to me, "I will show you a great rarity". He took out a gold-covered box, from which he extracted a golden case and then a book, most of the letters of which had faded and which was covered with a piece of silk. He said, "This is the book of your Prophet, passed down to my grandfather the Emperor. We passed it down from generation to generation, and he bequeathed it to us. Our ancestors said that as long as this book is with us, we will rule. Therefore, we carefully preserve it, revere it, and hide it from Christians so that power remains ours" [al-ʻAsqalānī, 1970, vol. 1, ṣ. 44].

The main message of this fragment is the recognition of the sacredness of the Quran and, accordingly, the truth of Islam by the Frankish elite. It is also important that al-ʻAsqalānī borrowed this plot from the Andalusian theologian Abū al-Qāsim al-Suhaylī (1114–1185), whose work did not mention the Franks, i.e. they were added by the 15th century religious scholars. The version of this story in the treatise by Badr al-Dīn al-ʻAynī [al-ʻAynī, [s.d.], vol. 1, ṣ. 99] in most details coincides with the one provided by Ibn Ḥajar al-ʻAsqalānī.

Theologians of the 16–17th century, such as Aḥmad al-Qasṭalānī (1448–1517), Shams al-Dīn al-Sufayrī (1472–1549), ʻAlī ibn Burhān al-Dīn al-Ḥalabī (1567–1635) also retell this story while Nūr al-Dīn ʻAlī al-Qārī cites it even twice, mentioning it in commentaries on two different hadiths [al-Qārī, 2001(1), vol. 7, ṣ. 434; vol. 10, ṣ. 547].

As for the treatises of the 18th century, this narrative is reproduced by Muḥammad ibn ʻAbd al-Bāqī al-Zurqānī [al-Zurqānī, 1996, vol. 5, ṣ. 18–19]. This theologian also cites an example of Frankish admiration for Muslims in the story of an Andalusian poet al-Ghazal (790–864), who was sent on a diplomatic mission to the Franks and greatly impressed their queen by his humor and youthful appearance [al-Zurqānī, 1996, vol. 6, ṣ. 443–444].

The conversion of the Franks to Islam also found its way into tafsirs. ʻAlī ibn Burhān al-Dīn al-Ḥalabī gives an illustrative example of this kind of narratives in his commentary on surah *al-Ṣaff* (61:6):

I say: I was asked about what al-Suyūṭī reported, that a Christian from the Franks arrived in Egypt and said: "I have a doubt; if you dispel it, I will convert to Islam". Then a council was convened for him in Madrasa al-Kāmiliyya, and the head of the scholars at that time was Sheikh ʻIzz al-Dīn ibn ʻAbd al-Salām. The Christian asked him in the presence of the people: "Which, in your opinion, is better: that which is generally accepted or that which is disputed?" Sheikh ʻIzz al-Dīn replied: "That which is generally accepted." The Christian said to him: "You and we agree on the prophethood of Jesus, but we differ regarding the prophethood of Muḥammad, peace and blessings of Allah be upon him. Therefore, it follows from this that Jesus is superior to Muḥammad" [al-Ḥalabī, [s.d.], vol. 1, ṣ. 373].

The sheikh then explained to the Frank that Jesus warned of Muhammad's arrival, and the Frank converted to Islam. In this context, however, it is significant that, to present anti-Christian arguments, the author chose the Franks as opponents among all the ethnic groups professing Christianity.

FRANKS AND EVERYDAY MATTERS

The religious thinkers of 15th century also addressed the Franks in relation to everyday topics. For example, the Egyptian theologian Badr al-Dīn al-Damāmīnī (1362–1424) in his commentary on *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* states that it is forbidden to accommodate Franks in inns that have built-in mosques:

Beneficiaries of inns are wary of building mosques containing mihrabs into them, fearing that [the rooms] will be rented out to Franks or similar people. This does not prevent inns from being sold. However, they cannot be rented out to Franks due to the inviolability of the mosque's space, even if it is privately owned [al-Damāmīnī, 2009, vol. 2, ṣ. 130].

Another illustrative example of a reference to the Franks in connection with everyday matters is found in the tafsir compiled by the Damascus theologian ʻUmar ibn ʻĀdil al-Ḥanbalī (1374–1475) in his commentary on surah *al-Mā'ida* (5:3):

Allah forbade people from eating pork so that they would not become accustomed to such behavior; this was because the Franks' constant consumption of pork instilled in them great greed and a strong desire for pleasure, and also led to a lack of jealousy [Ibn ʻĀdil al-Ḥanbalī, 1998, vol. 7, ṣ. 188].

It is important in this case that the theologian cites the Franks, not all Christians, as pork eaters. The same opinions was later recurred by Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī (1445–1505) and Shams al-Dīn al-Shirbīnī (d. 1571).

Mujīr al-ʻUlaymī in his commentary on surah *al-Tawba* (9:29), explaining who "the People of the Book" are in the section on *jizya*, almost excludes the Franks from the Christian community, as they are described as being merely "in agreement" with Christians (*al-naṣārā wa-man yuwāfiquhum fī al-tadayyun bi-l-tawrāt wa-l-injīl ka-l-sāmira wa-l-faranj*) [al-ʻUlaymī, 2011, vol. 3, ṣ. 175]. Thus, the Christians (*al-naṣārā)* in this context apparently refer only to local Middle Eastern Christian communities.

As for everyday contexts, among 17th century treatises, it is worth noting Nūr al-Dīn ʻAlī al-Qārī's mention of the Franks in his commentary on the hadith about the beard:

Beard trimming is a custom of non-Arabs, and today it is a symbol of many polytheists, such as the Franks and Indians [al-Qārī, 2001(1), vol. 2, ṣ. 84].

It is significant that in this context, the Franks are also disparagingly excluded from Christians and classified among the pagans.

References to the Franks regarding material matters are also present in the treatises of the 18th century. For example, al-Bursawī in his commentary on surah *al-Tawba* (9:111–116), while criticizing wearing of certain types of clothing and jewelry, also condemns shaving the beard, accusing the Franks who shave of effeminacy:

They shave their beards, and both actions are reprehensible. The first is because it is ostentatious clothing, which is forbidden. The second is because it is the work of the Franks, and it is a change from the divine plan and assimilation to women [al-Bursawī, [s.d.], vol. 3, ṣ. 512].

CONCLUSIONS

The conducted analysis of the portrayal of the Franks in the tafsirs and hadith commentaries of Muslim theologians of the Mamluk and Ottoman periods revealed the four following patterns.

First is the pattern of archaizing of the confrontation with the Franks. Aside from isolated instances of placing the confrontation with them in ancient times, such as the era of the Prophet Suleiman and the capture of Jerusalem by Titus, military actions against them are inclined to take place during the reign of the Righteous Caliphs and the early Umayyads. In such contexts, the Franks replace the Romans/Byzantines (*rūm*) during the Arab capture of Rhodes in 673, the sieges of Constantinople in 674–678 and 717–718, and so on. This pattern became widespread in the 15th century (with the first examples occurring as early as the 14th century) following the Ottoman conquest of the last territories of the Byzantine Empire. *Ifranj* thus took the place of *rūm* in the discourse of Christian-Muslim conflict, becoming the archetypal Christian enemies in history.

The second pattern embraces the references to actual wars with the Franks in the recent past and present, with most contexts reenacting the memory of the Crusades, primarily the Frankish capture of Jerusalem in 1099 and its subsequent reconquest by Saladin in 1187, as well as the capture of cities on the Levantine coast, such as Tyre and Ascalon. The events of the Reconquista in Andalusia are also regularly addressed. It should be emphasized that theologians from the Holy Land and, more broadly, the Levant, frequently addressed the topic of the Crusades, and this theme remained important until the end of the period considered in this article. The Franks appear in eschatological narratives as the armies of *Dajjāl*, the Antichrist. Thus, they are depicted as omnipresent in the chronotope of Islamic history.

The third pattern represents Franks' recognition of the truth of Islam and its superiority over Christianity. Frankish kings secretly kept the Quran, given to their emperor ancestor by the Prophet Muḥammad, from their lieges, and considered this copy of the holy book a source of their own authority. Franks also converted to Islam on the battlefield after witnessing miracles, as well as during polemics with Muslim theologians.

Finally, the fourth pattern involves commenting on interactions with the Franks in everyday situations. Islamic scholars warned people against shaving beards in the Frankish manner, forbade from hosting the Franks in inns that house mosques, and cited this ethnic group as an example of why pork is prohibited, as its consumption led the Franks to promiscuity and lack of jealousy.

Regarding the ratio of mentions of the Franks in the tafsirs and hadith commentaries examined, these two types of treatises generally demonstrate a unified system of patterns. It is important to note, however, that they are significantly less practice-oriented than works on fiqh and fatwa collections of the same period, which focused primarily on actual interactions with the Franks, i.e. topics of war, captivity, and trade, which is a topic for further research.

As for regional variations in the perception of the Franks, they are practically nonexistent, except for the aforementioned special attention of Levantine theologians to the Crusades. Most of the texts reviewed were written by religious figures from Egypt and the Levant, and to a lesser extent by authors from Iraq, the Arabian Peninsula, and the Maghreb. Muslims from the Maghreb, like those from the Levant and Egypt, actively fought and traded with Europeans in the Mediterranean, while those from Iraq and Arabia interacted with the Franks who operated around the Indian Ocean. Therefore, the difference in the number of texts mentioning the Franks is largely due to the fact that Egypt and the Levant, after the decline of Baghdad as a center of knowledge in the 11th century, became the core of the intellectual space of the Arabic-speaking Muslim world.

REFERENCES

Al-ʻAsqalānī Ibn Ḥajar. *Al-Maṭālib al-ʻāliyya bi-zawā'id al-masānīd al-thamāniyya*. M. 1–19. Al-Riyāḍ: Dār al-ʻāṣima li-l-nashr wa-l-tawzīʻ, 1998–2000 [Al-ʻAsqalānī Ibn Ḥajar. *The high demands of the eight Musnads*. Vol. 1–19. Riyadh: Dār al-ʻāṣima li-l-nashr wa-l-tawzīʻ, 1998–2000 (in Arabic)].

Al-ʻAsqalānī Ibn Ḥajar. *Fatḥ al-bārī fī sharḥ al-bukhārī*. M. 1–14. Al-Qāhira: al-Maktaba al-salafiyya, 1970 [Al-ʻAsqalānī Ibn Ḥajar. *Victory of the Creator: explanation of al-Bukhārī*. Vol. 1–14. Cairo: al-Maktaba al-salafiyya, 1970 (in Arabic)].

Al-ʻAynī Badr al-Dīn. *Sharḥ sunan abī dāwud li-l-ʻaynī*. M. 1–7. Al-Riyāḍ: Maktabat al-rushd, 1999 [Al-ʻAynī Badr al-Dīn. *Explanation of sunan abī dāwud by al-ʻAynī*. Vol. 1–7. Riyadh: Maktabat al-rushd, 1999 (in Arabic)].

Al-ʻAynī Badr al-Dīn. *ʻUmdat al-qārī sharḥ ṣaḥīḥ al-bukhārī*. M. 1–12. Bayrūt: Dār iḥyā' al-turāth al-ʻarabī, [s.d.] [Al-ʻAynī Badr al-Dīn. *Pillar of the Creator: explanation of ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Vol. 1–12. Beirut: Dār iḥyā' al-turāth al-ʻarabī, [s.d.] (in Arabic)].

Al-Bursawī Ismaʻīl. *Rūḥ al-bayān fī tafsīr al-qurān*. M. 1–10. Bayrūt: Dār al-fikr, [s.d.] [Al-Bursawī Ismaʻīl. *Spirit of clarification in the exegesis of the Quran*. Vol. 1–10. Beirut: Dār al-fikr, [s.d.] (in Arabic)].

Al-Damāmīnī Badr al-Dīn. *Maṣābīḥ al-jāmiʻ*. M. 1–10. Dimashq: Dār al-nawādir, 2009 [Al-Damāmīnī Badr al-Dīn. *The Lamps of the Collection*. Vol. 1–10. Damascus: Dār al-nawādir, 2009 (in Arabic)].

Al-Fayyūmī Ḥasan ibn ʻAlī. *Fatḥ al-qarīb al-mujīb ʻalā al-targhīb wa-l-tarhīb*. M. 1–15. Al-Riyāḍ: Maktabat al-malik fahd al-waṭaniyya, 2018 [Al-Fayyūmī Ḥasan ibn ʻAlī. *Opening of the Near Respondent regarding Encouragement and Admonition*. Vol. 1–15. Riyadh: Maktabat al-malik fahd al-waṭaniyya, 2018 (in Arabic)].

Griffith S. *The Church in the Shadow of the Mosque: Christians and Muslims in the World of Islam*. Princeton: Princeton University Press, 2008.

Al-Ḥalabī ʻAlī ibn Burhān al-Dīn. *Al-Sīra al-ḥalabiyya*. M. 1–3. Bayrūt: Dār al-maʻrifa, [s.d.] [Al-Ḥalabī ʻAlī ibn Burhān al-Dīn. *The Aleppine Biography*. Vol. 1–3. Beirut: Dār al-maʻrifa, [s.d.] (in Arabic)].

Hillenbrand C. *The Crusades: Islamic Perspectives*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1999.

Frenkel Y. Jihād in the Medieval Mediterranean Sea: Naval War and Religious Endowment under the Mamluks. *Crossroads between Latin Europe and the Near East*. S. Leder (ed.) Wurzburg: Orient-Institut Istanbul, 2016. Pp. 103–125.

Ibn ʻĀdil al-Ḥanbalī ʻUmar. *Al-Lubāb fī ʻulūm al-kitāb*. M. 1–20. Bayrūt: Dār al-kutub al-ʻilmiyya, 1998 [Ibn ʻĀdil al-Ḥanbalī ʻUmar. *The Essence of the sciences of the Book*. Vol. 1–20. Beirut: Dār al-kutub al-ʻilmiyya, 1998 (in Arabic)].

Ibn al-Mulaqqin ʻUmar. *Mukhtaṣar talkhīṣ al-dhahabī li-mustadrak al-ḥākim*. M. 1–8. Al-Riyāḍ: Dār al-ʻāṣima, 1990 [Ibn al-Mulaqqin ʻUmar. *The Abridgment of al-Dhahabī's Summary of al-Ḥākim's Mustadrak*. Vol. 1–8. Riyadh: Dār al-ʻāṣima, 1990 (in Arabic)].

Ibn Raslān Aḥmad. *Sharḥ sunan abī dāwud*. M. 1–20. Al-Fayyūm: Dār al-falāḥ li-l-baḥth al-ʻilmī wa-taḥqīq al-turāth, 2016 [Ibn Raslān Aḥmad. *Explanation of sunan Abī Dāwud*. Vol. 1–20. Faiyum: Dār al-falāḥ li-l-baḥth al-ʻilmī wa-taḥqīq al-turāth, 2016 (in Arabic)].

Al-Kirmānī Shams al-Dīn. *Al-Kawākib al-durārī fī sharḥ ṣaḥīḥ al-bukhārī*. M. 1–25. Bayrūt: Dār iḥyā' al-turāth al-ʻarabī, 1981 [Al-Kirmānī Shams al-Dīn. *The Brilliant Stars in the Explanation of ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Vol. 1–25. Beirut: Dār iḥyā' al-turāth al-ʻarabī, 1981 (in Arabic)].

Konig D. *Arabic-Islamic views of the Latin West: Tracing the emergence of medieval Europe*. Oxford: Oxford University Press, 2015.

Lazarus-Yafeh H. Some Neglected Aspects of Medieval Muslim Polemics against Christianity. *Harvard Theological Review*. 1996. Vol. 89. Pp. 61–84.

Matthiesen T. *The Caliph and the Imam: The Making of Sunnism and Shiism*. Oxford: Oxford University Press, 2023.

McAuliffe J. *Qur'ānic Christians: An Analysis of Classical and Modern Exegesis*. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.

Mourad S., Lindsay J. *The Intensification and Reorientation of Sunni Jihad Ideology in the Crusader Period: Ibn ʿAsākir of Damascus (1105–1176) and His Age, with an Edition and Translation of Ibn ʿAsākir's The Forty Hadiths for Inciting Jihad*. Leiden: Brill, 2013.

Al-Munāwī Muḥammad. *Fayḍ al-qadīr sharḥ al-jāmiʻ al-ṣaghīr*. M. 1–6. Bayrūt: Dār al-kutub al-ʻilmiyya, 2001 [Al-Munāwī Muḥammad. *The Bountiful Outpouring: Explanation of the small collection*. Vol. 1–6. Beirut: Dār al-kutub al-ʻilmiyya, 2001 (in Arabic)].

Al-Qārī Nūr al-Dīn ʻAlī. *Mirqāt al-mafātīḥ sharḥ mishkāt al-maṣābīḥ*. M. 1–12. Bayrūt: Dār al-kutub al-ʻilmiyya, 2001(1) [Al-Qārī Nūr al-Dīn ʻAlī. *The Ascent of the Keys: Commentary on the niche of lamps*. Vol. 1–12. Beirut: Dār al-kutub al-ʻilmiyya, 2001(1) (in Arabic)].

Al-Qārī Nūr al-Dīn ʻAlī. *Sharḥ al-shifā*. M. 1–2. Bayrūt: Dār al-kutub al-ʻilmiyya, 2001(2) [Al-Qārī Nūr al-Dīn ʻAlī. *Explanation of the healing*. Vol. 1–2. Beirut: Dār al-kutub al-ʻilmiyya, 2001(2) (in Arabic)].

Ridgeon L. (ed.) *Islamic Interpretations of Christianity*. London: Routledge, 2011.

Rozov V.A. The Attitude of Muslim Religious Authorities towards Marking Christian Sacred Spaces in Early Ottoman Egypt. *Christianity in the Middle East*. 2026. Vol. 10. No. 1. Pp. 44–56.

Al-Samīn al-Ḥalabī Aḥmad. *ʻUmdat al-ḥifāẓ fī tafsīr ashraf al-alfāẓ*. M. 1–4. Bayrūt: Dār al-kutub al-ʻilmiyya, 1996 [Al-Samīn al-Ḥalabī Aḥmad. *The Pillar of the memorizers in the interpretation of the Noblest Words*. Vol. 1–4. Beirut: Dār al-kutub al-ʻilmiyya, 1996 (in Arabic)].

Al-ʻUlaymī Mujīr al-Dīn. *Fatḥ al-raḥmān fī tafsīr al-qurān*. M. 1–7. Dimashq: Dār al-nawādir, 2011 [Al-ʻUlaymī Mujīr al-Dīn. *The Opening of the Merciful in the Exegesis of the Quran*. Vol. 1–7. Damascus: Dār al-nawādir, 2011 (in Arabic)].

Al-Zurqānī Muḥammad ibn ʻAbd al-Bāqī. *Sharḥ al-zurqānī ʻalā al-mawāhib al-laduniyya bi-l-minaḥ al-muḥammadiyya*. M. 1–12. Bayrūt: Dār al-kutub al-ʻilmiyya, 1996 [Al-Zurqānī Muḥammad ibn ʻAbd al-Bāqī. *Al-Zurqānī's commentary on the Divinely Bestowed Gifts: The Endowments of Muḥammad*. Vol. 1–12. Beirut: Dār al-kutub al-ʻilmiyya, 1996 (in Arabic)].

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ / INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

СОКОЛОВ Олег Александрович – кандидат исторических наук, доцент СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия.

Oleg A. SOKOLOV, PhD (History), Associate Professor, Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia.

DOI: 10.31696/S086919080039586-1

«ПОЛЕЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ»: ЛЮТЕРАНСКИЙ КАТЕХЕТ В ТАМИЛНАДУ (ИСТОРИЯ РАДЖАНАИКИ)

© 2026

К.Д. НИКОЛЬСКАЯ [a]

[a] – Институт стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия
ORCID: 0000-0001-5996-6318; sniff0210@gmail.com

Резюме: *С начала XVIII века на Юге Индии, в Тамилнаду (город Транкебар), работала Датская Королевская Миссия. Ее сотрудники, выпускники Галльского университета (Германия), создавали школы для местных жителей, занимались переводами Священного Писания, открыли типографию, печатали книги, построили кирху. Всю эту работу они не могли проводить исключительно своими силами. С первых лет помощь им оказывали т.н. катехеты из числа местных жителей, помощники пасторов. Упоминания катехетов в документах миссии встречаются с первых лет ее существования. Обязанности их были разнообразны, но главной задачей считались беседы о христианском учении с жителями региона. Потому более всего в катехетах ценились ораторские качества. Подготовкой таких сотрудников занимались миссионерские школы. В идеале талантливый их выпускник, сперва став катехетом, мог в будущем превратиться в проповедника (Prediger). Имена многих катехетов сохранились в документах миссии. Среди этих имен есть имя Раджанаики (Rajanaiken, Rayanayakkan, Rajaikkan, Rajanaikken). Рожденный в католической семье талантливый молодой человек, научившись читать, перешел из католичества в лютеранство. Однако стать проповедником он не смог. Основной причиной этого был его низкий кастовый статус. Несмотря на это его имя на протяжении многих лет постоянно встречается в документах миссии. Во многом внимание к нему объясняется его биографией, полной всевозможных бедствий. Это создает Раджанаике имидж стойкого христианина, претерпевающего муки за свою веру. В лютеранстве отсутствует практика почитания святых. Однако биографии, подобные жизнеописаниям Раджанаики, имеют сходство с типичной агиографией. Публикации о жизни молодого катехета отлично играли роль орудия пропаганды. Они не только рассказывали европейским читателям о работе миссии, но одновременно выполняли и другую задачу: укрепляли авторитет лютеранской церкви в регионе и наносили ущерб имиджу «врагов Раджанаики», католиков.*

Ключевые слова: Индия, миссионеры, лютеранство, катехеты, католицизм

Для цитирования: Никольская К.Д. «Полезный инструмент»: лютеранский катехет в Тамилнаду (История Раджанаики). *Восток (Oriens)*. 2026. № 5. С. 186–195. DOI: 10.31696/S086919080039586-1

“A USEFUL TOOL”: A LUTHERAN CATECHETE IN TAMIL NADU (THE STORY OF RAJANAIKA)

© 2026

Kseniia D. NIKOLSKAIA [a]

[a] – Institute of Asian and African Studies, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
ORCID: 0000-0001-5996-6318; sniff0210@gmail.com

Abstract: *Since the early 18th century, the Danish Royal Mission had been operating in the South of India. Its staff created schools, translated the Holy Scripture and built a church. They could not do all this work on their own. Since the beginning, so-called “catechetes”, or pastors’ assistants, from among local residents, helped them. Their duties were varied, but the main task was considered to be conversations about Christian teaching with the inhabitants of the region. Therefore, orator qualities were valued most of all in “catechetes”. Such staff were trained by missionary schools. A talented graduate who first became a “catechete” could become a preacher in the future. The names of many “catechetes” have been preserved in the documents. Among these names is the name of Rajanaika. Born into a Catholic family, the young man converted from Catholicism to Lutheranism. However, he could not become a preacher. The main reason for this was his low caste status. Despite this, his name has been constantly found in the documents for many years. Much of the attention paid to him is due to his extraordinary biography, full of all kinds of adversities. This creates the image of Rajanaika as a staunch Christian, suffering torments for his faith. Biographies like Rajanaika’s have similarities to typical hagiography. Publications about his life perfectly played the role of a propaganda tool. They strengthened the authority of the Lutheran Church in the region and damaged the image of the “enemies of Rajanaika”, Catholics.*

Keywords: India, missionaries, Lutheranism, catechetes, Catholicism

For citation: Nikolskaia K.D. “A Useful Tool”: A Lutheran Catechete in Tamil Nadu (The Story of Rajanaika). *Vostok (Oriens)*. 2026. No. 5. Pp. 186–195. DOI: 10.31696/S086919080039586-1

Говоря о работе миссионеров в Индии в эпоху Нового времени, мы, как правило, можем поименно назвать тех, кто в тот или иной период занимался обращением «*слепых язычников*». Многие из этих служителей церкви сегодня известны не только как религиозные деятели, но и как люди, стоявшие у истоков востоковедной науки. Изучение местных традиций и языков, переводы на них священных текстов, равно как и переводы с них на языки европейские – все это обеспечивает некоторым миссионерам заслуженное место в истории науки. В полной мере это касается работников т.н. Датской Королевской миссии, существовавшей в Тамилнаду (г. Транкебар) с начала XVIII века.

Изучение документов Транкебара ясно показывает: в каждый конкретный период самих выходцев из Европы на территории Тамилнаду было не слишком много. Начальный период работы миссии связан всего лишь с двумя именами – ее руководителя, знаменитого Бартоломеуса Цигенбальга (1682–1719), и куда менее известного Генриха Плютшау (1676–1752). Со временем численность миссионеров увеличивалась, но их в Тамилнаду никогда не было много. Так, по наблюдениям исследователей, через 10 лет после появления Цигенбальга в Транкебаре, в 1716 году, когда община была уже достаточно многочисленной и охватывала территории двух городских и четырех сельских поселений, в ней работа-

ло всего шесть миссионеров-европейцев [Liebau, 1998, S. 28]. Как правило, всех их мы действительно знаем поименно.

Учитывая масштабность той деятельности, которую вела миссия, трудно представить, что вся она вершилась лишь руками немногочисленных выходцев из Европы. И действительно, в письмах и отчетах, помимо европейских переселенцев, постоянно упоминаются их помощники из числа местных жителей. Новообращенные состояли при миссионерах не только в качестве слуг. Мы видим их, получивших должное образование в христианских школах, в качестве учителей, воспитателей, а также медиков, писцов и т.п. После же появления в Транкебаре типографии их готовили еще в печатники и переплетчики.

Особую группу среди работников миссии составляли т.н. катехéты. Этим термином и в католицизме, и в лютеранстве обыкновенно назывались те, кто занимал церковные должности, по сути не являясь священнослужителями. Обязанности катехетов были весьма разнообразны: оказывать помощь пастору во время причастия, читать Писание во время богослужений, проводить беседы с потенциальными неофитами и т.д.

В письмах и отчетах Бартоломеуса Цигенбальга катехеты присутствуют практически с самого начала работы миссии и в самых разных контекстах. Во всех этих случаях речь, без сомнения, идет именно о местных жителях, принявших крещение. Иногда это специально оговаривается, и упоминания катехетов сопровождаются эпитетом “*einheimisch*”, иногда же происхождение такого рода работников понятно лишь из контекста.

В письмах Цигенбальга они появляются уже на исходе первого года существования миссии. Так, в 1707 году пастор пишет о численности христианской общины – 36 человек, из которых миссионеры планируют в перспективе одного использовать после должной подготовки в качестве катехета. Выбор именно этого человека автор письма мотивирует тем, что тот демонстрирует удивительное рвение в вопросах христианской веры, а помимо того наделен удивительными ораторскими талантами («*мощь его речей изумляет каждого*») [Ziegenbalg, 1957, S. 63]. Этот фрагмент письма говорит нам о двух важных обстоятельствах. Во-первых, катехет – «штучный товар». Не всякий новообращенный может им стать. Для обретения этого статуса требуются и определенные природные данные, и специальная подготовка. Возможно, тот человек, о котором речь идет в письме, вообще будет в Транкебаре первым и до поры единственным катехетом. Во-вторых, главный талант, которым этот работник должен был обладать, – красноречие. К последнему качеству, необходимому катехету, мы еще вернемся.

В документах миссии эти работники классифицируются по языкам («*малабарские катехеты*», «*португальские катехеты*») [Ziegenbalg, 1957, S. 229, 378]. К слову, эта деталь в очередной раз демонстрирует принципиальное различие методов работы католиков и лютеран. Последние принципиально стремились быть понятыми своей аудиторией и потому всегда говорили с ней на ее языке. Про католиков же («папистов») Цигенбальг сообщает: «*Лишь немногие из работающих (здесь) изучают язык этих язычников, но во всем полагаются на своих индийских катехетов, которые зачастую знают столь же мало, сколь и те, кого они собираются наставлять*» [Ziegenbalg, 1957, S. 239].

Помимо языкового разделения катехеты различаются и по иному принципу: за некоторыми из них закрепляется наименование *Stadt-Katechet*, тогда как другие определяются как *Land-Katechet*. Очевидно, квалификация для городского и сельского специалиста требуется разная.

Х. Либау обращает внимание, что некоторые из катехетов меняли свои имена, а некоторые оставляли собственные. Либау полагает: меняли имена лишь те, кто полностью порывал со своим прежним окружением, что чаще происходило в ранние годы работы миссии. Катехеты этой группы-переходили в лютеранство, как правило, из индуизма. Вторая

группа катехетов приходила в протестантизм из числа католиков. Наконец, третья группа местных агентов состояла из христиан-протестантов второго и последующих поколений. Со временем эта именно эта группа, по мнению автора, становилась наиболее значимой [Liebau, 1998, S. 29–30].

Очевидно, что круг обязанностей катехетов в качестве помощников пасторов, как уже говорилось, был достаточно широк. Документы миссии все же позволяют выделить в их работе главное. В письмах Цигенбальга сообщается: в деловых поездках «*по городам и селам*» миссионер обыкновенно берет с собой катехета, задача которого состоит в том, чтобы «*дискутировать с язычниками*» [Ziegenbalg, 1957, S. 501]. Судя по всему, такие выездные рейды индийские катехеты могли совершать и без сопровождения европейцев. Длительность их достигала полумесяца. Часто хронологически они привязывались к церковным праздникам (Рождество, Пасха, Пятидесятница и т.п.) [Liebau, 2018, S. 53].

В письме от 1718 года Цигенбальг упоминает «*одного из наших катехетов*», который живет при новой школе в селении Борейяр (Порейяр) и обязанность которого состоит не только в проведении катехизации, но и в том, чтобы «*в дискуссиях переубеждать язычников*» [Ziegenbalg, 1957, S. 520]. В том же селении, пишет пастор, прежнюю маленькую кирху приспособили для того, чтобы у катехетов было постоянное место, где они ежедневно могли бы обучать новичков и катехуменов (т.е. лиц, готовящихся принять крещение), а также раз в неделю собирать малабарцев[1], чтобы им на примере «*малабарских книг законов*» объяснять «*нелепость их учения*». Здесь уместно вспомнить о том самом, возможно, первом (или одном из первых) катехете Транкебара, выбор на которого пал по той причине, что «*мощь его речей поражала каждого*» [Ziegenbalg, 1957, S. 63]. Итак, что бы ни писали миссионеры о работе катехетов, которые помогали им в подготовке к крещению, в совершении катехизации, докладывали ежедневно о том, что происходит в общине [Ziegenbalg, 1957, S. 523], все же главная их задача была вести религиозные диспуты и силой своего красноречия убеждать слушателей в истинности христианского вероучения. Это обстоятельство совершенно отвечает принципам протестантизма, ставящем слово «*в центр религиозной жизни*». При этом слово это «*могло быть словом Священного Писания, устным словом проповеди или разговорным словом общины*» [Пэриш, 2020, с. 70]. Иначе говоря, индийские катехеты – это прежде всего красноречивые агитаторы, и потому превыше всего в них ценятся качества пламенных пропагандистов.

Подготовка будущих катехетов, очевидно, проходила в миссионерских школах. Примечательно, что миссионеры часто определяют воспитанников этих школ как «*полезные инструменты*» [Ziegenbalg, 1957, S. 266], потребные для успешной работы миссии. Впрочем, такой прагматичный подход к ученикам совершенно не вступает в противоречие с той заботой, которой они были окружены в стенах образовательных учреждений.

В письме от 1710 года Цигенбальг рассуждает о возможной для талантливых выпускников миссионерских школ карьере. Среди прочих вариантов называется перспектива стать катехетом [Ziegenbalg, 1957, S. 179]. По всей вероятности, этот вариант развития событий мыслился как один из оптимальных: в письме 1711 года говорится о пяти мальчиках, которых теоретически можно использовать в качестве писцов, «*но хотелось бы подготовить их к более важной службе, чтобы сперва они некоторое время были школьными наставниками, а затем стали бы катехетами*» [Ziegenbalg, 1957, S. 195]. Очевидно, что в данном случае вероятные статусы выпускников перечисляются в порядке нарастания ценности для общины: столь необходимые писцы ценятся все же меньше, чем школьные наставники, но

[1] Здесь – местных жителей. В XVIII веке эта область именовалась «Малабар» (в XIX веке Малабаром называют лишь западное побережье). Соответственно, сами жителями в документах миссии именовались малабарцами, а тамильский язык – малабарским.

катехеты важнее и их! Эта же мысль подтверждается письмом от 1714 года, где, правда, уже в обратном порядке, перечисляются те, кого для общины можно взрастить в стенах школы: «*не только добрых христиан, но столь потребных катехетов, наставников, медиков, экономистов, писцов и иных подобных людей*» [Ziegenbalg, 1957, S. 379]. Примечательно, что именно статус школьного учителя оказывается в определенном смысле подготовкой к тому, чтобы стать катехетом. Стоит понимать, что преподавание в школе – деятельность, очевидно, требующая ораторских навыков. Так что тот факт, что именно она в некоторых случаях предшествует превращению выпускника в катехета, кажется вполне логичным. Наконец, и статус катехета определенно не является для новообращенного вершиной карьерного роста. В идеальной картине мира талантливый катехет может в конце концов стать проповедником (*Prediger*).

К примеру, одним из таких успешных катехетов был некий Аарон (1698–1745), крещеный в 1718 и рукоположенный в 1733 году – первый проповедник (*Land-Prediger*) из числа тамилов. Сохранилось существенное количество материалов, связанных с его, видимо, очень активной деятельностью в общине. Часть этих материалов была опубликована в Галльских отчетах в Европе. Примечательно, что в этих публикациях сохранился даже его портрет (редкий случай для уроженца региона!) – гравюра Готфрида Августа Грюндлера (1710–1775). Правда, учитывая, что сам гравер в Индии никогда не бывал, вряд ли следует ожидать излишней достоверности от изображения, сделанного, очевидно, по словесному описанию, (а сам Аарон на нем подозрительно похож обликом на раджпута в индийских миниатюрах) (рис. 1).

В ряде случаев мы имеем сведения о чрезвычайно одаренных катехетах, которые должны были стать проповедниками, но в силу определенных обстоятельств не смогли достичь этой наивысшей ступени в карьерной лестнице. Один из таких молодых людей – знаменитый Малейяппа (в крещении Петрус), верный спутник и помощник в трудах праведных сперва Бартоломеуса Цигенбальга, а позднее и его преемника Беньямина Шульце (1689–1760). Талантливый молодой человек должен был стать проповедником, но в 1730 года внезапно скончался от холеры [Никольская, 2020].

Имя другого несостоявшегося пастора часто встречается рядом с уже упомянутым выше Аароном. Очевидно, они долгое время работали бок о бок. В разных формах (*Rajanaiken*, *Rayanayakkan*, *Rajaikkan*, *Rajanaikken*) его имя на протяжении длительного времени повторяется в письмах и отчетах, а затем и в исследовательской литературе, в т.ч. и той, которая содержит материалы не сохранившихся до наших дней источников.

Судя по всему, катехет Раджанаика был не только чрезвычайно «*полезным инструментом*» (то есть талантливым, трудолюбивым и стойким в своей вере христианином), но и человеком в высшей степени неординарной биографии. Биография эта, с одной стороны, наполнена шекспировскими страстями, с другой – дает ясное представление о сущности и характере индийского христианства.

В Галльских архивах хранится большое количество биографий (*Lebenslauf*) и автобиографий людей, так или иначе связанных с работой миссии. Биографии Раджанаики среди них, похоже, нет. Это можно объяснить тем обстоятельством, что катехет – птица не слишком высокого полета, и потому его *Lebenslauf* никогда и не был составлен. Однако, видимо, в какой-то форме история жизни Раджанаики все же была зафиксирована. По крайней мере, в рассказах об этом человеке присутствуют как отсылки к его собственным рассказам о себе, так и указания на некоторые расхождения его версии и версий сторонних наблюдателей. Нам неизвестно, в каком виде жизненный путь Раджанаики оформился в текст, но главное – что и официальная, и «авторская версия» биографии все же существовали.



Рис. 1. Портрет катехета Аарона. Гравюра Готфрида Августа Грюндлера (1710–1775). Источник: https://digital.francke-halle.de/fsdhm/periodical/pageview/153376 (accessed: 26.01.2026)
Fig. 1. Portrait of the pastor's assistant Aaron. Engraving by Gottfried August Gründler (1710–1775). Source: https://digital.francke-halle.de/fsdhm/periodical/pageview/153376 (accessed: 26.01.2026)

Что мы знаем об этом неординарном человеке? Раджанаика родился в 1700 году в Танджоре. От рождения он был христианином уже в третьем поколении. Еще его дед принял католичество. Католиком был его отец. Естественно, католиками от рождения были и его братья, и он сам. До 1727 года молодой человек состоял в чине младшего офицера в войске танджорского правителя (что, к слову, сообщает нам интересные сведения о социальном составе этого войска, где нашлось место христианину).

Все тексты, говорящие о Раджанаике, единодушно отмечают его живой ум и стремление к знаниям [Ochs, 1860, S. 50; Samuel, 2020, p. 128]. При этом, судя по сообщениям, чтению молодой человек обучился довольно поздно – лишь в возрасте 20–22 лет [Ochs, 1860, S. 50]. Начав читать самостоятельно Священное Писание, он познакомился с текстами (кстати, в переводе Б. Цигенбальга), которые, согласно его словам, получил от нищенствующего католического монаха по имени Ситтананда. По другой версии, книга была передана ему Б. Шульце [Fenger, 1863, p. 175–176]. Так или иначе, именно это обстоятельство, по мнению и самого Раджанаики, и его будущих коллег, в корне поменяло мировоззрение молодого человека.

Связь между чтением Библии и переходом в лютеранство, единодушно устанавливаемая во всех версиях биографии неофита, заслуживает отдельного внимания. Именно она высвечивает известное различие между миссионерской политикой католиков и протестантов, а в сущности, даже шире – между католичеством и протестантизмом. Известно, что католицизм большую часть своего многовекового существования ограничивал доступ рядовых верующих к библейским текстам. Тогда как протестантизм видел лишь в Библии источник христианских доктрин, соответственно, самостоятельное чтение библейских текстов считалось всегда важнейшим инструментом обращения (отсюда такая активность протестантских миссионеров в деле их переводов и их публикации). В этой связи настоятельно повторяющаяся мысль, что Раджанаика в корне поменял свои взгляды и перешел в лютеранство, начав читать Библию, с идеологической точки зрения оказывается для Транкебарских миссионеров чрезвычайно выгодной.

В этом эпизоде жизни будущего катехета, сообразно его собственной версии, сообщается, в частности, что, читая библейские тексты, он был необыкновенно воодушевлен историей обращения в христианство римского центуриона Корнелия (*Деян*. 10:1–48), чей статус, как посчитал молодой человек, был тождественен военному чину его самого [Samuel, 2020, p. 128]. Сложно сказать, насколько можно доверять тому, что подобный механизм отождествления действительно сработал в сознании самого Раджанаики, а не был позднее предложен ему его наставниками. Так или иначе, идея о том, что верующий может узнать себя в библейском персонаже, была выгодна для работников миссии, стремящихся знакомить потенциальных неофитов со Священным Писанием.

С 1727 года Раджанаика трудился в составе миссии Транкебара, куда, кстати, он привел за собой еще трех солдат из армии танджорского правителя. Тридцатыми годами датируется множество его отчетов в статусе катехизатора (*Landkatechet*), опубликованных в Европе. Сороковыми и пятидесятыми – беседы Раджанаики о вере, притом не только с индусами, но и с мусульманами[2], и даже с католиками[3]. Сохранились свидетельства его переписки с идеологом и вдохновителем Транкебарской миссии, профессором Галльского университете А.Г. Франке[4]. С 1729 года и до самой смерти в 1771 году он был катехетом Танджора, где среди прочего работал в миссионерской школе [Ochs, 1860, S. 50]. Последнее

[2] Например: https://digital.francke-halle.de/fsha/content/titleinfo/623717 (accessed: 21.03.2026).

[3] Например: https://digital.francke-halle.de/fsha/content/titleinfo/635893 (accessed: 21.03.2026).

[4] Например: https://digital.francke-halle.de/fsdhm/periodical/titleinfo/171802 (accessed: 21.03.2026).

обстоятельство было чрезвычайно важным для общины: судя по всему, прежде Танджор был недоступен для усилий миссионеров [Fenger, 1863, p. 174].

Наконец, прожив долгую насыщенную событиями и деяниями жизнь, Раджанаика скончался 30 сентября 1771 года в городе Арантханги. Очевидный вопрос, который возникает при знакомстве с подобной биографией: почему человек с такими талантами, которые единодушно отмечают все наши информаторы, более 40 лет оставался в статусе катехета, так и не став проповедником?

Ответ очень простой. Все авторы, включавшие историю Раджанаики в свой рассказ о Датской Королевской миссии, единодушны в своем определении причины: новообращенный был парией по рождению. Термин «парий» в эпоху Нового времени обыкновенно использовался европейцами для обозначения неприкасаемых. Позднее он вышел за пределы сугубо индийских сюжетов и, широко используемый как в публицистике, так и в художественной литературе, превратился в указание на представителей низов всякого социума (не только индийского). Предположительно произошел он от тамильского слова *paraiyan* (мн.ч. – *paraiyar*), которым на Юге обозначали одну из низших каст (правда, к категории неприкасаемых не относящуюся) [*Hobson-Jobson*, 1990, p. 678ff].

Итак, по причине низкого социального статуса новообращенного Раджанаики история с его рукоположением сильно затянулась. Споры, письма в Европу, специальная конференция, призванная решить проблему, сперва породили осторожную идею, позволить Раджанаике выполнять свои новые обязанности, но только среди париев. Такое решение обосновывалось тем «*отвращением*», которое «*кастовые христиане*» испытывают к «*христианам-париям*» (ведь никто не решится брать из рук такого человека святое причастие!). Однако в конце концов рукоположение Раджанаики не состоялось вовсе («*ради христиан-шудр*», т.е. сообразно пожеланиям «*кастовых христиан*») [Ochs, 1860, S. 50–55]. И хотя катехет-парий так и не стал проповедником, карьера его, пусть не столь успешно, но сложилась [Lehmann, 1956, S. 240f, 244, 261 etc.]. Впрочем, проблема сосуществования кастовой идеологии и христианства – тема, выходящая за рамки настоящей статьи[5].

Все же постоянное присутствие Раджанаики в самых разных публикациях миссии (а затем и в исследовательской литературе, посвященной ее работе), пожалуй, не следует объяснять исключительно его природными дарованиями. Стоит заметить, что, помимо талантов, в самых разных публикациях, упоминающих его имя, бесконечно обсуждаются интригующие детали его биографии. И в самом деле, после перехода из католичества в лютеранство жизнь молодого человека стала напоминать не столько повседневность скромного работника христианской миссии, сколько самый настоящий триллер. Драматические события его жизни в литературе обсуждаются чуть ли не чаще, чем реальные заслуги перед общиной.

Самые разные авторы наперебой сообщают европейским читателям ужасающие подробности злоключений, через которые прошел Раджанаика. Он попадал в засады на дорогах, к нему подсылали наемных убийц [Ochs, 1860, S. 50], был жестоко убит его отец, двоих братьев ранили [Fenger, 1863, p. 185; Page, 1921, p. 26–27], а его дом едва не был снесен [Fenger, 1863, p. 184]. Такого рода нападения, сообщается читательской аудитории, происходили практически ежегодно [Fenger, 1863, p. 186]. Словно бы творя некий магический обряд, имя его написали на пальмовом листе, публично сожгли тот лист и «*словно прах от сожженного тела вынесли под завывания и вопли*» [Ochs, 1860, S. 50].

Виновники всех подобных бесчинств авторам публикаций обыкновенно хорошо известны, равно как и причины, коими они руководствовались. Во всех случаях злой силой, чинившей жестокие страдания молодому человеку и его близким, всегда называются ка-

[5] Подробнее см.: [Никольская, 2025].

толики! Именно ими, если верить текстам, были организованы преследования, которым тот подвергался на протяжении нескольких лет. Происходило же это лишь потому, что Раджанаика, по мнению его гонителей, покинув истинную церковь, «*присоединился к еретикам*» [Fenger, 1863, p. 184]. Весьма примечательным в этих обстоятельствах оказывается и то, что гонители, натравливая местных жителей на молодого лютеранина, не только называют его еретиком, но и сообщают всем: именно теперь, став лютеранином, он «*утратил свою касту*» [Fenger, 1863, p. 185], предполагая, вероятно, что в лоне католической церкви он ее сохранял.

Вряд ли повышенный интерес миссионеров к страданиям Раджанаики следует объяснять исключительно стремлением добавить публикациям черты авантюрной литературы. Думается, что объяснение тому должно быть иным. Ведь все эти повторяющиеся вновь и вновь сюжеты несомненно создают Раджанаике имидж стойкого христианина, претерпевающего муки за свою веру.

В лютеранстве, как известно, отсутствует практика почитания святых. Более того, в оппозиции к католицизму она в какой-то степени и критикуется, ибо для лютеранина всякий собрат во Христе может рассматриваться как тот, кто наделен определенной святостью[6]. Учитывая это, мы, казалось бы, не должны ждать от протестантской традиции чего-то, подобного житийной литературе (мученичествам, мартирологам и т.п.). И тем не менее нельзя не признать: биографии, подобные жизнеописаниям Раджанаики, до известной степени имеют сходство с типичной агиографией, в том числе и потому, что несут в себе очевидный назидательный смысл. История человека, «страдающего за веру», как нельзя лучше высвечивает, с одной стороны, достоинства и силу «правильных христиан», с другой – темные качества их оппонентов. Вероятно, именно по этой причине приключения новообращенного столь широко придавались гласности.

История жизни «полезного инструмента» по имени Раджанаика, долгие годы трудившегося на благо общины, из-за специфики его биографии отлично играла роль орудия пропаганды. Публикации о катехете не только сообщали европейским читателям детали работы миссии, но одновременно выполняли и другую задачу: они укрепляли авторитет лютеранской церкви в регионе, с одной стороны, и наносили ощутимый ущерб имиджу католиков – с другой.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

Никольская К.Д. Дети Транкебара. *Восточный курьер*. 2020. № 3–4. С. 206–216 [Nikolskaia K.D. Children of Tranquebar. *Oriental Courier*. 2020. No. 3–4. Pp. 206–216 (in Russian)].

Никольская К.Д. «Кастовый спор» лютеранских миссионеров на индийском Юге. *Восток (Oriens)*. 2025. № 4. С. 139–149 [Nikolskaia K.D. The “Casty Dispute” of Lutheran Missionaries in the Indian South. *Vostok (Oriens)*. 2025. No. 4. Pp. 139–149 (in Russian)].

Пэриш Х.Л. *Реформация*. М.: КоЛибри, 2020 [Parish H.L. *A Short History of the Reformation*. Moscow: KoLibri, 2020 (Russian translation)].

Fenger F.J. *History of Tranquebar Mission*. Tranquebar: Evangelical Lutheran Mission Press, 1863.

Hobson-Jobson. A Glossary of Colloquial Anglo-Indian Words and Phrases, and of Kindred Terms, Etymological, Historical, Geographical and Discursive. Calcutta, Allahabad, Bombay, Delhi, 1990.

Lehmann A. *Es began in Tranquebar. Die Geschichte der ersten evangelischen Kirche in India*. Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1956.

[6] Некоторые следы практики почитания святых, впрочем, сохраняются. Так, к примеру, они присутствуют в церковном календаре, связывающем определенные дни с их именами и т.п. Но в богослужениях к ним не обращаются.

Liebau H. Missionary Encounter. Interaction between Indian Mission Servants, European Missionaries and Local Population in 18th Century South India. *Essays on South Asian Society, Culture and Politics II*. B. Glatzer (ed.) Zentrum Moderner Orient, Geisteswissenschaftliche Zentren Berlin e.V. Berlin: Verl. Das Arab. Buch, 1998.

Liebau H. Missionsauftrag, Wissensdurst und Abenteuerlust. Reisen von hallischen Missionaren nach und durch Indien. *Durch die Welt im Auftrag des Herrn. Reisen von Pietisten im 18. Jahrhundert*. Hrsg. von A. Schröder-Kahnt und Cl. Veltmann. Halle (Saale) [u.a.]: Verl. der Franckeschen Stiftungen [u.a.], 2018.

Ochs C. *Die Kaste in Ostindien und die Geschichte derselben in der alten lutherischen Mission*. Rostock: Leopold, 1860.

Page J. *Schwartz of Tanjore*. London: Society of Promoting Christian Knowledge, 1921.

Samuel J. *Untouchable Bodies, Resistance, and Liberation: A Comparative Theology of Divine Possessions*. Leiden: Brill, 2020.

Ziegenbalg B. *Alte Briefe aus Indien. Unverőffentlichte Briefe von Bartholomäus Ziegenbalg 1706–1719*. Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1957.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ / INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

НИКОЛЬСКАЯ Ксения Дмитриевна – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Южной Азии ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия.

Kseniia D. NIKOLSKAIA, PhD (History), Associate Professor, Department of South Asian History, Institute of Asian and African Studies (IAAS), Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia.

DOI: 10.31696/S0869190800038007-4

МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ИНДИИ: ТИПОЛОГИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

© 2026

Л.Р. ЗАРИПОВА [a]

[a] – Институт востоковедения РАН, Москва, Россия
ORCID: 0000-0002-8272-1754; zlr-zlr@mail.ru

Резюме: *В статье рассматриваются ключевые межэтнические конфликты Северо-Восточной Индии (СВИ). Автор полагает, что традиционное деление населения СВИ на «равнинные» и «горные» народы не позволяет адекватно осмыслить природу конфликтов, и предлагает более детальную классификацию, учитывающую правовой статус, историю расселения и характер отношений каждой группы с государством и соседними общинами.*

На основе предложенной классификации в статье выделяются и анализируются три основных типа конфликтов. Первый тип – противостояние местного населения и беженцев, которое рассмотрено как долгосрочное следствие раздела Британской Индии. Если в 1980-е гг. такие конфликты выливались в открытое насилие – резня в Мандае (Трипура, 1980 г.) и в Нелли (Ассам, 1983 г.) – то в XXI в. они принимают формы политического кризиса (споры вокруг поправок к закону о гражданстве 2019 г. и противоречия, вызванные притоком беженцев из Мьянмы). Второй тип – борьба за статус зарегистрированного племени. На примере конфликта мейтеев и куки в Манипуре и ситуации вокруг «чайных племен» Ассама показано, как позитивная дискриминация, изначально призванная защищать уязвимые народы, обернулась источником острой межобщинной конкуренции. Третий тип – межплеменные конфликты, в частности противостояние мизо и брю в Мизораме. Отдельно рассматривается движение народов СВИ за автономию.

Сделан вывод о том, что конфликты в СВИ носят системный, а не случайный характер. Они являются продуктом как колониального прошлого, так и постколониальной государственной политики. Их глубинные причины до сих пор не устранены: экономическая отсталость региона, колониальное наследие в виде несоответствия административных и этнических границ, а также внутренние противоречия института позитивной дискриминации. Относительная стабилизация ситуации с середины 2000-х гг. является хрупкой: многие противоречия заморожены, тогда как политических механизмов их окончательного урегулирования пока не выработано.

Ключевые слова: Северо-Восточная Индия, межэтнические конфликты, зарегистрированные племена, беженцы, автономистские движения, позитивная дискриминация

Для цитирования: Зарипова Л.Р. Межэтнические конфликты в Северо-Восточной Индии: типология и современное состояние. *Восток (Oriens).* 2026. № 5. С. 196–206. DOI: 10.31696/S0869190800038007-4

INTERETHNIC CONFLICTS IN NORTHEAST INDIA: TYPES, PATTERNS, AND CURRENT TRENDS

© 2026

Liliia R. ZARIPOVA [a]

[a] – Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
ORCID: 0000-0002-8272-1754; zlr-zlr@mail.ru

Abstract: *The article examines the major interethnic conflicts of Northeast India (NEI). The author argues that the conventional division of NEI's population into "plains" and "hill" peoples fails to capture these conflicts, and proposes a more detailed classification based on legal status, settlement history, and each group's relations with the state and neighboring communities.*

Three main conflict types are identified. The first is the confrontation between local communities and refugees, treated as a long-term consequence of the Partition of British India. In the 1980s, tensions erupted into open violence – the massacres at Mandai (Tripura, 1980) and Nellie (Assam, 1983); in the 21st century they resurfaced as political crises: disputes over the 2019 Citizenship Act amendments and tensions over the influx of refugees from Myanmar. The second type is the struggle for Scheduled Tribe status. Originally designed to protect vulnerable communities, affirmative action policies have become a driver of inter-communal competition, as seen in the Meitei–Kuki conflict in Manipur and the situation of the tea tribes in Assam. The third type covers inter-tribal conflicts, notably the Mizo–Bru confrontation in Mizoram. Autonomy movements of NEI's peoples are also discussed.

The article concludes that conflicts in NEI are systemic rather than incidental. Underlying causes remain unresolved: persistent economic underdevelopment, the colonial legacy of mismatched administrative and ethnic boundaries, and the unintended consequences of affirmative action. The relative stabilization since the mid-2000s is fragile: tensions are frozen rather than resolved, and effective political mechanisms for their lasting settlement have yet to be developed.

Keywords: Northeast India, interethnic conflicts, Scheduled Tribes, refugees, autonomy movements, affirmative action

For citation: Zaripova L.R. Interethnic Conflicts in Northeast India: Types, Patterns, and Current Trends. *Vostok (Oriens).* 2026. No. 5. Pp. 196–206. DOI: 10.31696/S086919080038007-4

Северо-Восточная Индия (далее – СВИ) – это уникальный регион во многих отношениях. Прежде всего, здесь проходит этническая и культурная граница между Южной и Юго-Восточной Азией. В составе Британской Индии Северо-Восток имел важное стратегическое значение, т.к. находился на границе империи. Колониальные власти не вмешивались в дела местных племенных вождей или князей, таким образом, народы Северо-Востока, оставаясь в изоляции, смогли сохранить свой традиционный уклад жизни. К середине XX в. большая часть этих народов находилась еще на догосударственной стадии развития общества [Chaube, 1990].

В 1947 г. в результате раздела британских владений СВИ стала частью Индийского союза, в состав которого вошли три административные единицы – это новообразованный штат Ассам и два бывших княжества, Манипур и Трипура. Их в 1952 г. посетил первый премьер-министр Индии, Джавахарлал Неру. Своими впечатлениями о поездке он поделился в письме кабинету министров: «Мы должны помнить, что эти народы и племена были полностью отрезаны от остальной Индии: наша национально-освободительная борьба не оказала

никакого влияния на них. Единственные “чужаки”, с которыми им доводилось общаться, – это английские офицеры и христианские миссионеры, не ставившие своей целью сделать народы Северо-Востока индийцами» [Nehru, 1987, p. 150]. Раздел Индии послужил катализатором резкого роста националистических настроений среди народов Северо-Востока, что привело к возникновению межэтнических противоречий, острота которых с каждым годом только нарастала. Нестабильная ситуация в регионе стала большой проблемой для Нью-Дели. За семь десятилетий, прошедших с момента обретения Индией независимости, многое удалось сделать для стабилизации ситуации, например, было создано семь «лингвистических» или «национальных» штатов, так называемые «семь сестер» (Ассам, Аруначал-Прадеш, Нагаленд, Манипур, Мегхалая, Трипура и Мизорам). С середины 2000-х гг. уровень межэтнической напряженности в регионе заметно снизился. В последние годы можно говорить об установлении хрупкого мира между многочисленными народами Северо-Востока. В данной статье рассматриваются главным образом современные межэтнические противоречия, которые формируют социально-политическую повестку региона.

НАРОДЫ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ИНДИИ

На сегодняшний день здесь, на относительно небольшой территории, проживают около двухсот народов (площадь СВИ сопоставима с размерами Великобритании или Румынии). Есть два устойчивых предубеждения касательно населения СВИ, которые не позволяют адекватно оценивать ситуацию в регионе, поэтому требуют пояснения.

Во-первых, принято считать, что Северо-Восток Индии – это преимущественно племенное население [Singh, 1982], однако, если проанализировать доступные данные последней переписи (2011 г.), то складывается более сложная картина. Зарегистрированные племена (далее – ЗП) составляют 27,6% от всего населения СВИ, что уже нельзя назвать большинством. К тому же, такое обобщение не отражает специфику концентрации племен в регионе. В Ассаме племенами представлено 12% населения штата, в Трипуре – 31%, эта ситуация сложилась в результате интенсивной миграции бенгальцев и других народов, из-за чего коренные жители превратились в этих штатах в меньшинство. Если посмотреть статистику без Ассама и Трипуры, то в пяти горных штатах СВИ (Аруначал-Прадеш, Манипур, Мегхалая, Мизорам и Нагаленд) племена – это 72% населения. Из них по-настоящему племенными можно назвать только три: Мизорам (94,4%), Нагаленд (86,5%) и Мегхалая (86%); имеют меньшую долю племенного населения Аруначал-Прадеш (68,8%) и Манипур (40,9%) [*ST Statistical Profile*]. Хотя, что касается Ассама и Манипура, то в этих штатах есть группы, которые фактически сохраняют племенные черты или заявляют об их наличии, но не имеют соответствующего юридического статуса.

В рамках переписей населения этническая принадлежность спрашивается только у ЗП, поэтому для остальных народов ее маркером служит родной язык. Исходя из этого, можно сделать вывод, что помимо племен в СВИ проживают следующие большие народы: в Ассаме – ассамцы (48,4%) и бенгальцы (28,9%); в Трипуре – бенгальцы (65,7%); в Манипуре – мейтеи (53,3%), которые ведут активную борьбу за внесение в списки ЗП; в Аруначал-Прадеше – бенгальцы (7,3%), носители-хинди (7%), непальцы (7%) и ассамцы (4%); в Мегхалае – бенгальцы (7,8%); в Мизораме – бенгальцы (9,8%); в Нагаленде – бенгальцы (3,8%), носители-хинди (3,2%) и непальцы (2,2%) [*Language Atlas of India*, 2022]. Таким образом, ассамцы, которые проживают преимущественно в Ассаме, и бенгальцы, чье присутствие значительно в каждом штате, – это 60% населения СВИ[1].

[1] Сложение процента племенного населения с данными о языке может не соответствовать 100%, т.к. сравниваются разные категории – держатели племенного сертификата и носители языков.

Второе предубеждение заключается в том, что исследователи вслед за колониальными чиновниками условно делят население СВИ на две большие группы – равнинные и горные народы. На наш взгляд, это достаточно грубое обобщение, которое дает искаженное представление о межэтнических противоречиях в регионе, поэтому ниже предлагается следующая классификация:

1. Большие народы, которые традиционно называют равнинными. Они представлены двумя основными этносами – это ассамцы и бенгальцы; среди последних значительная часть – это беженцы из Восточной Бенгалии.
2. Коренные жители, к которым можно отнести и ЗП (мизо-лушаи, кхаси, гаро, нага, трипури и др.), и неплемена (мейтеи). Эти народы часто противопоставляют себя остальным, считая, что за ними приоритетное право проживания в СВИ и использования ее ресурсов.
3. Племена-переселенцы (миграция внутри СВИ в XVIII – нач. XX вв.), среди них куки (собирательный термин для родственных групп), брю (рьянг), хмар и др. Несмотря на культурную и антропологическую близость, коренные народы часто относятся к ним враждебно и считают чужаками.
4. Племена-беженцы из Восточного Пакистана/Бангладеш и Мьянмы (чакма, хаджонг, чин и др.). Это миграции, которые спровоцированы социально-политическими потрясениями в соседних государствах.
5. Племена-трудовые мигранты, так называемые «чайные племена»: санталы, мунда, ораоны, гонды и др. Живут преимущественно в Ассаме. Сложность их положения заключается в том, что на родине они внесены в списки ЗП, а в СВИ имеют статус прочих отсталых классов и подвергаются дискриминации.
6. Неплемена-трудовые мигранты – бенгальские мусульмане, бихарцы, пенджабцы, хиндиязычные рабочие и др. Несмотря на то, что в процентном отношении это немногочисленная часть населения, с ней связаны многие инциденты на почве межэтнических конфликтов.
7. Племена-метисы – этнические группы, возникшие в результате взаимодействия соседних народов, например, бишнуприя (мейтеи и бенгальцы), хаджонг (видимо, гаро и бенгальцы), лингнгам/мегам (кхаси и гаро) и др. Их положение в социальной иерархии часто четко не определено и зависит от многих факторов. Например, бишнуприя тяготеют к мейтеям, в то время как мейтеи не считают их частью своей общины [Acharya, 1990, p. 82–83].

Такая детальная классификация населения СВИ позволяет глубже проанализировать природу конфликтов в регионе, возникающих на национальной почве.

ТИПЫ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ

Главная причина межэтнической нестабильности СВИ связана с экономической отсталостью региона и его изолированностью. Конфликты, как правило, разгораются из-за земли, доступа к природным ресурсам, рабочим местам или из-за представительства в органах местного самоуправления. Дополнительным фактором межэтнической напряженности в регионе стало проведение государственных границ и границ между штатами. Учитывая этнонациональный состав СВИ, можно выделить следующие типы межэтнических конфликтов:

1. Конфликты между местными жителями и беженцами из соседних государств. Проблема беженцев в СВИ возникла в результате раздела Британской Индии в 1947 г.:

здесь речь идет прежде всего о бенгальцах, выходцах из Восточного Пакистана. В отличие от Пенджаба переселение беженцев из Бенгалии затянулось на несколько десятилетий и закончилось только после войны за независимость Бангладеш 1971 г. Несмотря на то, что основной поток шел в Западную Бенгалию, значительная часть отправилась на восток, в СВИ. Главный удар пришелся на Ассам, бывший округ которого, Силхет, был поделен между новыми государствами, и бывшее княжество Трипура, где из-за переселения бенгальцев-индусов к началу XXI в. коренное население, племена, превратилось в меньшинство и было оттеснено в горные районы [Debbarma, 2021]. Если до раздела Британской Индии экономика Ассама и Трипуры ориентировалась на Восточную Бенгалию, то с проведением государственной границы эти территории оказались в экономической изоляции и стали приходить в упадок. Резкий рост населения стал дополнительным катализатором социальной напряженности, что привело к конфликтам между местными жителями и переселенцами. Наивысшей точки эта конфронтация достигла в 1980-е гг., когда вспышки насилия приводили к массовой резне мирного населения. В Трипуре 6 июня 1980 г. вооруженные боевики из племен расстреляли более 200 бенгальцев, жителей деревни Мандай. Это вылилось в кровавые столкновения в штате: несколько сотен тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома. По оценке правительственной комиссии, работавшей в Трипуре в июле 1980 г., всего за месяц беспорядков погибло 539 чел. [Bhattacharyya, 2014, p. 125, 174–175]. В Ассаме 18 февраля 1983 г. в деревне Нелли атаке подверглись бенгальцы-мусульмане. Среди нападавших были и племена, и ассамцы, они сначала поджигали дома, а затем расстреливали спасавшихся от огня людей. Число погибших оценивается в 1,6 тыс. чел. [Kimura, 2003].

В последующие годы кровавые инциденты подобных масштабов в СВИ не повторялись, однако антагонизм местных жителей с бенгальцами продолжал иметь место и на бытовом, и на политическом уровнях. Например, поправки к закону о гражданстве 2019 г., принятые правительством Нарендры Моди, по которым представители религиозных меньшинств из соседних государств могут по упрощенной схеме получать индийское гражданство, спровоцировали недовольство и протесты в СВИ. Если в соответствии с Ассамским соглашением 1985 г. на индийское гражданство могли претендовать лица, переселившиеся в СВИ до 1971 г., то новая поправка увеличила этот срок до 2014 г. [Ahmed, 2020]. Для местного населения это означает новый приток мигрантов-индусов из Бангладеш и легализацию уже проживающих в регионе беженцев. В декабре 2019 г. протесты и связанные с ними беспорядки охватили все штаты региона. Наиболее серьезные столкновения с полицией были в Ассаме и Трипуре, где для урегулирования ситуации вводился комендантский час, ограничивалось движение транспорта и был отключен интернет. Беспорядки сопровождались погромами магазинов и лавок, чьи владельцы являются бенгальцами или выходцами из других штатов [Muller, 2019]. Необходимо отметить, что такие случаи были единичны, и общая логика развития протеста показала, что главным объектом нападений и недовольства стали политические лидеры, правительственные чиновники, государственные учреждения и партийные организации. Таким образом, можно сделать осторожный вывод, что межэтническая напряженность между бенгальцами, переселившимися в СВИ с 1947 по 1971 гг., и местными жителями постепенно ослабевает, и теперь они зачастую вместе выступают против новых мигрантов и борются за свои общие права.

Для СВИ и Бенгалии характерно, что многие малые народы рассеяны по территории, населенной крупными народами. Поэтому помимо бенгальцев беженцами, вынужденными переселиться в Индию, становились и так называемые племена. Индийское правительство создавало специальные условия для их расселения, реабилитации и оказывало помощь.

Несмотря на эти меры, два малых народа, чакма и хаджонг, оказались в сложной ситуации, разрешение которой в современных условиях представляет большие трудности.

В СВИ чакма проживают в Трипуре, Мизораме, Ассаме и Аруначал-Прадеше, а хаджонг – в Ассаме, Мегхалае и Аруначал-Прадеше. В каждом штате положение этих народов отличается, связано это с разными историческими условиями расселения. В Трипуре и Мизораме чакма поселились еще в мусульманский и английский периоды истории Бенгалии, они имеют в этих штатах статус ЗП и пользуются правами представительства в органах местного самоуправления [Majumdar, 2013]. В Ассаме их количество незначительно, тем не менее им там также предоставлен статус ЗП. Хаджонг считаются коренными народами Ассама и Мегхалаи, и имеют в этих штатах статус ЗП [*Statistical Profile*, 2013, p. 367–382]. Иная ситуация сложилась в Аруначал-Прадеше, куда индийское правительство в 1960-е гг. поселило чакма и хаджонг. В 1964 г. эти народы были вынуждены покинуть свои дома в Читтагонгском горном районе Восточного Пакистана по двум причинам: во-первых, из-за строительства плотины их земли затапливались, во-вторых, они подверглись гонениям как немусульманские народы (чакма – буддисты, хаджонг – индусы) [*People of India*, 1995, p. 151]. Тогда по централизованному плану реабилитации после переговоров с администрацией Северо-Восточного пограничного агентства (НЕФА) около 3 тыс. семей чакма и хаджонг (14–15 тыс. чел.) получили земли [Das, Rahman, 2015]. Проблемы начались с 1980-х гг., когда местные власти начали ущемлять и ограничивать права этих общин. Дело в том, что за два десятилетия численность чакма и хаджонг значительно увеличилась, из-за чего местные племена превратились в меньшинство и стали требовать выселения переселенцев. Главную роль здесь играет не вопрос о земле, а вопрос о представительстве в органах местного самоуправления. Если чакма и хаджонг получат право голоса, то их представительство в законодательной ассамблее будет больше, чем у некоторых коренных племен. Верховный суд в январе 1996 г. объявил чакма и хаджонг гражданами Индии и запретил их принудительное выселение. В сентябре 2015 г. суд повторно обязал местные власти оформить гражданство в трёхмесячный срок [Izzat, 2022]. Правительство штата саботирует решения суда: отменяет свидетельства о проживании, не регистрирует рождения детей, не включает людей в избирательные списки, не распространяет на них социальные программы. После окончания школы молодежь чакма и хаджонг без документов не имеет возможности получения высшего образования и легального трудоустройства. Сегодня община занимается натуральным сельским хозяйством и не имеет нормального доступа к образованию и здравоохранению. Несмотря на несколько десятилетий конфликта, протекает он преимущественно в политической сфере, и прямого насилия между чакма, хаджонг и коренным населением не было. Согласно учету 2015–16 гг. численность чакма и хаджонг в Аруначал-Прадеше составляет около 65–66 тыс. чел. [Bath, 2020]. На сегодняшний день ведутся переговоры центрального правительства с властями Аруначал-Прадеша о предоставлении этим народам индийского гражданства, но без статуса ЗП, который они имеют в других штатах СВИ. Таким образом, чакма и хаджонг не смогут пользоваться привилегиями, которые имеют коренные народы штата, – правом представительства общины в органах местного самоуправления, правом на землю и резервированием мест на государственных должностях и в учебных заведениях.

К настоящему моменту вопрос о беженцах из Восточной Бенгалии, переселившихся в СВИ до 1971 г., в целом решен – большинство переселенцев стало гражданами Индии. Ситуация, сложившаяся вокруг положения общин чакма и хаджонг в Аруначал-Прадеше – это единственная проблема такого масштаба, которая сохраняется на протяжении нескольких десятилетий.

Парадоксальная ситуация с новыми беженцами в СВИ сложилась в XXI в. Очередную волну миграций на территорию Индии спровоцировала гражданская война в Мьянме,

развязанная в 2021 г. Представители народа чин бежали в штаты Манипур и Мизорам. По индийским законам они считаются нелегальными мигрантами, для которых пересечение государственной границы чревато арестом и депортацией. Никаких возможностей получения индийского гражданства в этом случае нет, упомянутые выше поправки к закону о гражданстве 2019 г. на переселенцев из Мьянмы не распространяются. Если в Манипуре к чин относятся как к нелегальным мигрантам и применяют соответствующие меры, то в Мизораме ситуация иная. Мизо и чин – это, по сути, один народ, поэтому Мизорам предоставил беженцам временное убежище. Из-за чего у штата возник конфликт с центральным правительством, т.к. предоставлять статус беженца – это прерогатива центра. Более того, Индия не имеет национального закона о беженцах, поэтому нет единой процедуры предоставления убежища. В ситуации с Мьянмой Министерство внутренних дел в июле 2021 г. направило штатам СВИ директиву о предотвращении нелегального пересечения границы [*Illegal Influx of People*, 2021]. Однако правительство Мизорама заняло противоположную позицию: для беженцев (ок. 40 тыс. чел.) было создано 160 временных лагерей в приграничных районах, также им был открыт доступ в государственные больницы и школы [Khai, 2024]. Это значительная нагрузка на инфраструктуру такого небольшого штата как Мизорам. Несмотря на возросшую социальную напряженность, основное недовольство местных жителей связано не с беженцами, а с действиями центрального правительства. Например, планы строительства стены на границе для предотвращения нелегальной миграции вызывают негативную реакцию и протесты, потому что зачастую члены одной семьи живут по обе стороны границы [Karmakar, 2024]. На сегодняшний день беженцы в Мизораме находятся в правовом вакууме.

2. Борьба за статус ЗП. В Индии принадлежность к какому-либо племени – это юридический статус гражданина, который подтверждается наличием специального сертификата (Scheduled Tribe Certificate/Anusuchit Janjati Praman Patra). Юридический статус часто не соответствует реальному положению вещей, т.е. группа, внесенная в списки ЗП, может не иметь черт «племени» в антропологическом или этнографическом смысле. И наоборот, группа, которая фактически сохраняет традиционный племенной уклад или имеет другие признаки племени, закрепленные индийским законодательством, может не иметь соответствующего юридического статуса. В конституции Индии нет определения термина «зарегистрированное племя», поэтому сразу после независимости ориентировались на колониальные списки так называемых «отсталых племен». В 1965 г. в отчете комитета, возглавляемого Б.Н. Локуром, были предложены 5 критериев, которые используются до сих пор: это 1) признаки первобытных черт; 2) самобытная культура; 3) географическая изоляция; 4) робость при контактах с представителями других сообществ; 5) отсталость [Lokur, 1965, p. 7]. Нужно отметить, что критерии эти достаточно расплывчатые и спорные, их содержание можно трактовать по-разному. Статус ЗП дает значительные привилегии: помимо резервирования мест в образовании, на госслужбе и в парламенте племена имеют право на расширенное представительство в органах местного самоуправления, права на автономное управление в рамках Шестого приложения конституции, а главное – имеют защиту прав на свои земли, т.е. во многих штатах запрещена передача и продажа племенных земель не-держателям племенного сертификата [*The Constitution of India*, 2021]. В СВИ действует особый конституционный режим, поэтому земля фактически принадлежит общинам.

Из-за этих привилегий разгорелся межэтнический конфликт в Манипуре, где, как указано выше, ЗП составляют 40,9% населения. До раздела Индии Манипур – это независимое княжество с многовековой историей и своей династией. Мейтеи – это типичный оседлый рисоводческий народ, живший в долине Импхал (Манипурская долина), именно вокруг него строилась государственность княжества. Окружали долину горы, где по соседству с

мейтеями жили нага и куки, традиционно занимавшиеся подсечно-огневым земледелием. Мейтейские правители периодически совершали походы в горы, собирали дань, заключали союзы с вождями племён, поэтому считали себя выше по иерархии. Уже в составе независимой Индии мейтеи не были включены в список ЗП в отличие от живущих в горах нага и куки. Таким образом, в современном штате Манипур 90% территории – это горные районы, где проживают ЗП, поэтому земля там не продается и вообще никак не может использоваться представителями других общин; а 10% территории – это собственно долина Импхал, где только и могут жить мейтеи. Изначально мейтеи сами отказались от включения в списки ЗП, потому что никаким «отсталым племенем» в колониальном смысле себя не считали [Oinam, 2003]. Несмотря на это обстоятельство, мейтеи в социально-экономическом плане не слишком отличались от других народов СВИ, которые были включены в списки ЗП, и нуждались в поддержке государства, поэтому с течением времени часть мейтеев попала в список зарегистрированных каст, а часть – в список прочих отсталых классов. Эти две категории населения имеют меньше привилегий по сравнению с ЗП: нет права отдельного представительства общины и права на защиту своих земель (мейтеи не могут покупать земли куки и нага в горах, а куки и нага могут покупать земли в долине Импхал). Мейтеи составляют большую часть населения штата (53,3%), им принадлежит большинство мест в Законодательной ассамблее.

Ситуация в Манипуре – это наглядный пример того, как земельный вопрос напрямую переплетается со статусом ЗП. Именно это противоречие стало поводом к беспрецедентному за последние годы насилию в СВИ. В 2023 г. суд Манипура рекомендовал правительству штата рассмотреть вопрос о предоставлении мейтеям статуса ЗП, на что маршем протеста отреагировали студенты из племен, начались столкновения и беспорядки – в итоге погибло более 200 чел., тысячи вынуждены были покинуть свои дома. Правительство ввело комендантский час и отключило интернет на несколько месяцев [Haokip, 2023]. По состоянию на сегодня конфликт не разрешён. Фактически штат остаётся разделённым на этнические районы, периодически происходят вспышки насилия, а политического решения не просматривается.

Помимо мейтеев за статус ЗП ведут борьбу так называемые «чайные племена» Ассама. Еще в XIX в. для работы на плантациях колониальные власти переселяли племена из Центральной и Восточной Индии: санталов, мунда, ораонов, гондов и др. [Sharma, Khan, 2018]. Сегодня чайные плантации принадлежат крупным корпорациям и частным компаниям, которые полностью обеспечивают работников жильем, водой, медицинскими услугами и т.п. То есть сложилась ситуация, при которой люди, проживающие на земле более 200 лет, не имеют права собственности на жилье, могут быть выселены в любой момент и вообще не владеют ничем. На практике качество услуг, предоставляемых владельцами плантаций, – ужасное. Из-за низкого уровня жизни эти народы получили в Ассаме статус прочих отсталых классов, однако меры поддержки, которые он дает, не решают главного вопроса – права собственности на землю, на которой люди живут уже несколько поколений [Rao, Bernaz, 2020]. В штатах Центральной Индии эти народы считаются племенами и внесены в соответствующие списки. «Чайные племена» Ассама также сохраняют многие племенные черты и в соответствии с критериями Локура могут претендовать на статус ЗП, что бы позволило значительно улучшить их положение. Однако эти стремления сталкиваются с интересами ЗП Ассама: как в случае с чакма и хаджонг в Аруначал-Прадеше, при расширении списка ЗП размывается представительство коренных общин в органах местного самоуправления. В Ассаме ситуация осложняется вопросом о земле, так как статус ЗП подразумевает защиту земельных прав, и племена Ассама опасаются, что «чайные племена» смогут претендовать на их земли. За десятилетия борьбы за статус ЗП в Ассаме

было несколько серьёзных эпизодов насилия [Das, 2020]. В 2014 г. Нарендра Моди лично пообещал статус ЗП шести общинам Ассама, благодаря чему Бхаратия джаната парти получила их голоса на выборах. Выполнить это обещание не удалось, т.к. любое решение вызывает недовольство одной из крупных групп населения [*Six ethnic communities*, 2024].

С одной стороны, позитивная дискриминация ЗП действительно защищает права племенных народов и до сих пор является необходимой мерой; с другой стороны, она создает противоречия, ведущие к конфликтам интересов разных общин.

3. Межплеменные конфликты. В борьбе за собственную этническую идентичность и ресурсы также разгораются конфликты между коренными народами СВИ и возникает спор о том, чьи предки раньше заняли эти земли. В последние годы особенно обострилась ситуация вокруг конфликта мизо и брю (рьянгов) в Мизораме. Административное деление СВИ зачастую не соответствует этническим границам, из-за чего малые народы оказываются разделены между штатами, в каждом из которых их юридическое положение может отличаться. Основной штат проживания народа брю – это Трипура, однако их общины присутствуют и в Ассаме, и в Мизораме, и в Бангладеш. Конфликт с мизо развернулся с начала 1990-х гг., когда брю стали добиваться автономии в рамках Шестого приложения, против чего резко выступили националистические организации мизо. С середины 1990-х гг. мирные требования брю переросли в вооружённое сопротивление. В результате притеснений и насилия со стороны мизо около 30 тыс. чел. брю вынуждены были бежать из Мизорама на север Трипуры, где расселились в лагерях для беженцев. Вопрос об их дальнейшей судьбе решился только в 2020 г., когда было подписано четырехстороннее соглашение между правительством Индии, правительствами Мизорама и Трипуры и представителями брю. Предыдущие договоренности о возвращении брю в Мизорам не приводили к прекращению насилия, поэтому им разрешили на постоянной основе поселиться в Трипуре, где были разработаны специальные меры реабилитации и поддержки [Bijukumar, 2022]. Трипури воспринимают брю как родственный народ, говорящий на взаимопонимаемом диалекте языка кокборок, поэтому не возникает острых конфликтов с местными племенами. Фактически соглашение 2020 г. зафиксировало невозможность возвращения брю на родину.

АВТОНОМИСТСКИЕ ДВИЖЕНИЯ

В рамках этого повествования стоит упомянуть неразрывно связанное с межэтническими конфликтами движение народов СВИ за национальное самоопределение, которое приняло форму борьбы за отдельный штат, автономию или даже собственное государство. Ранее отмечалось, что административное деление СВИ еще с колониальных времен создавалось без учета этнических границ, что породило массу проблем уже в независимой Индии. В результате борьбы племен из «большого» Ассама выделились современные штаты Нагаленд, Мегхалая и Мизорам. Специально для СВИ было подготовлено Шестое приложение конституции, по которому ЗП в пределах штата могли бы получить широкую автономию в управлении своими землями и общиной. К настоящему моменту на территории СВИ функционирует десять племенных автономий в рамках Шестого приложения конституции, помимо них существуют автономные советы, созданные законами штатов (имеют меньше полномочий по сравнению с Шестым приложением) [*The Constitution of India*, 2021, p. 335–336]. Несмотря на это, движение за автономию продолжается и сегодня. Условно можно выделить несколько уровней борьбы: общины, которые не имеют никакой автономии и хотят ее получить; ЗП, которые имеют автономные советы по законам штата и хотят перейти под Шестое приложение; ЗП, которые имеют автономию по Шестому приложению, но хотят полноценный штат; и те, кто хочет интеграции территорий через границы штатов.

Каждый уровень порождает конфликты – и с государством, и с соседними этническими группами, которые видят в расширении чужой автономии угрозу собственным территориям и ресурсам. Наглядный пример того, как создание автономии для одних ущемляет интересы других, – штат Мегхалая, который выделился из Ассама для защиты от ассамского доминирования трех горных народов: кхаси, джайнтия и гаро. В нем снова выстроилась иерархичная система, где родственные кхаси и джайнтия преобладают в органах местного самоуправления, из-за чего гаро считают свои права ущемленными и требуют отдельного штата. В то же время эти три главные общины доминируют над малыми племенами штата, которые хотят отдельного регионального совета для себя. Одновременно с этим все племена вместе выступают против мигрантов из других частей Индии, а также против нелегальной миграции из Бангладеш [Haokip, 2014]. Такая «матрешка» конфликтов – характерная черта СВИ, когда вопросы этнической идентичности связаны и с борьбой за автономию, и с правами на землю, и с политическим представительством.

ВЫВОДЫ

Проведённый анализ межэтнических конфликтов в СВИ позволяет сделать ряд выводов относительно природы этнополитической нестабильности региона и перспектив её преодоления.

Важно подчеркнуть, что конфликты в СВИ носят не случайный, а системный характер. Их питательной средой служат экономическая отсталость и изолированность региона, исторически сложившееся несоответствие административных границ этническим, а также колониальное наследие в виде правовых механизмов, закрепивших неравенство между общинами. История региона наглядно показывает, что урегулирование отдельных конфликтов без воздействия на эти структурные причины, как правило, порождает новые противоречия.

Институт ЗП, задуманный как инструмент защиты уязвимых групп населения, превратился в главный предмет конкурентной борьбы между общинами в СВИ. Любое расширение списков ЗП ущемляет уже включённых в них, а отказ в статусе лишает целые народы базовых прав.

Роль центрального правительства в этнополитических процессах СВИ остаётся двойственной. С одной стороны, именно вмешательство Нью-Дели позволило урегулировать ряд затяжных конфликтов. С другой стороны, зачастую этнические противоречия переходят в противостояние регионов с центром.

Подводя итог, необходимо разграничить два явления: снижение интенсивности насилия и подлинное урегулирование конфликтов. С середины 2000-х гг. регион действительно стал заметно спокойнее, однако многие противоречия не разрешены, а лишь заморожены. СВИ по-прежнему остаётся пороховой бочкой, где достаточно одной искры, чтобы пожар межэтнических конфликтов разгорелся с новой силой.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

Acharya S.K. Ethnic Processes in North-Eastern India. *Nationality, Ethnicity and Cultural Identity in North-East India*. B. Pakem (ed.) New Delhi: Guwahati, 1990. Pp. 69–108.

Ahmed H. Making Sense of India's Citizenship Amendment Act 2019: Process, Politics, Protests. *Asie. Visions. No. 114.* Paris: Ifri, 2020.

Bath N. Chakma-Hajong population: It's beyond numbers. *The Arunachal Times.* 28.01.2020. https://arunachaltimes.in/index.php/2020/01/28/chakma-hajong-population-its-beyond-numbers/ (accessed: 08.12.2025).

Bhattacharyya S. *Genesis of Tribal Extremism in Tripura.* New Delhi, 2014.

Bijukumar V. Enigma of ‘Brus’ in Mizoram: Displacement, Repatriation and Livelihood. *Refugee Watch.* 2022. No. 59. Pp. 20–33.

Chaube S.K. Tribal Societies and the Problem of Nation-Building. *Nationality, Ethnicity and Cultural Identity in North-East India*. Ed. by B. Pakem. New Delhi, Guwahati, 1990. Pp. 15–25.

The Constitution of India. New Delhi: Ministry of Law and Justice, Government of India, 2021.

Das D. Work life experience of Adivasi (indigenous) workers in Tea Plantation Industry on conflict-ridden areas in India: A qualitative study in Assam. *Journal of Public Affairs.* 2020. e2446. Pp. 1–9.

Das K.C., Rahman A. Statelessness: A Study of Chakma Refugees of Arunachal Pradesh. *Cross-Currents: An International Peer-Reviewed Journal on Humanities & Social Sciences.* 2015. Vol. 1. No. 2. Pp. 50–54.

Debbarma N.A *Critical Study on Migration and Refugee Problem in Tripura.* Agartala, 2021.

Haokip T. Inter-ethnic relations in Meghalaya. *Asian Ethnicity.* 2014. Vol. 15. No. 3. Pp. 302–316.

Haokip T. Unfolding the Manipur Riots. *Economic and Political Weekly.* 2023. Vol. 58. No. 19. 13.05.2023. https://www.epw.in/journal/2023/19/comment/unfolding-manipur-riots.html (accessed: 16.12.2025).

Illegal Influx of People. *Ministry of Home Affairs, Press Information Bureau.* New Delhi, 27.07.2021. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1739494 (accessed: 08.03.2025).

Izzat M. The Chakmas’ Struggle for Citizenship: Breaking Down India’s Citizenship Acquisition Regime. *NUJS Law Review.* 2022. Vol. 15. No. 3–4. Pp. 1–11.

Karmakar S. Fencing the border with Myanmar not acceptable: Mizoram NGOs to Centre. *Deccan Herald*. 2024. https://www.deccanherald.com/india/mizoram/fencing-the-border-with-myanmar-not-acceptable-mizoram-ngos-to-centre-2904338 (accessed: 14.03.2025).

Khai T.S. India’s refugee policy dilemma and its impact on Myanmar refugees at the India–Myanmar frontier. *Discover Public Health.* 2024. Vol. 21. Art. 153.

Kimura M. Memories of the Massacre: Violence and Collective Identity in the Narratives on the Nellie Incident. *Asian Ethnicity*. 2003. Vol. 4. No. 2. Pp. 225–239.

Language Atlas of India, 2011. New Delhi: Census of India, 2022.

Lokur B. N. *Report of the Advisory Committee on the Revision of the Lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.* New Delhi: Department of Social Security, Government of India, 1965.

Majumdar P. *The Chakmas of Tripura*. Agartala, 2013.

Nehru J. *Letters to Chief Ministers 1947–1964.* Vol. 3 (1952–1954). New Delhi, 1987.

Muller N. Frustrations Flare in India’s Northeast Over Citizenship Bill. *The Diplomat.* 16.12.2019. https://thediplomat.com/2019/12/frustrations-flare-in-indias-northeast-over-citizenship-bill/ (accessed: 14.03.2025).

Oinam B. Patterns of Ethnic Conflict in the North-East: A Study on Manipur. *Economic and Political Weekly.* 2003. Vol. 38. No. 21. Pp. 2031–2037.

People of India: Arunachal Pradesh. K.S. Singh, S.I. Ahmad, P. Dutta (eds.) Calcutta: Anthropological Survey of India, 1995.

Rao M., Bernaz N. Corporate Responsibility for Human Rights in Assam Tea Plantations: A Business and Human Rights Approach. *Sustainability.* 2020. Vol. 12. Art. 7409.

Sharma A., Khan S. The paradox of indigeneity: Adivasi struggle for ST status in Assam. *Contributions to Indian Sociology.* 2018. Vol. 52. No. 2. Pp. 1–26.

Singh K.S. Introduction. *Tribal Movements in India.* K.S. Singh (ed.) Vol. I. New Delhi, 1982. Pp. vii–xiv.

Six ethnic communities protest for ST status in Guwahati, burn effigies over broken promises. *The Assam Tribune.* 04.09.2024. https://assamtribune.com/assam/six-ethnic-communities-protest-for-st-status-in-guwahati-burn-effigies-over-broken-promises-1550263 (accessed: 09.03.2025).

ST Statistical Profile – at a glance. *Ministry of Tribal Affairs. Government of India.* https://tribal.nic.in/downloads/Statistics/STsStatisticalProfileAtaGlance_09072024.pdf (accessed: 18.02.2025).

Statistical Profile of Scheduled Tribes in India 2013. Government of India, Ministry of Tribal Affairs, 2013.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ / INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

ЗАРИПОВА Лилия Рафисовна – младший научный сотрудник Института востоковедения РАН, Москва, Россия.

Liliia R. ZARIPOVA, Junior Research Fellow, Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia.

DOI: 10.31696/S086919080039213-1

АРХИТЕКТУРА МАЛИ ГЛАЗАМИ ЕВРОПЕЙЦЕВ: ПОИСКИ ПРОТОТИПА

© 2026

П.А. КУЦЕНКОВ [a]

[a] – Институт востоковедения РАН, Москва, Россия
ORCID: 0000-0002-4288-6167; p.kutsenkov@ivran.ru

Резюме: *Первые упоминания об архитектурных сооружениях на территории Мали в письменных источниках датируются XI в.: ал-Бакри и аль-Идриси сообщают о дворцах и о городской застройке из камня и дерева. Первым из европейцев архитектуру и городскую застройку типичного малийского города обрисовал Мунго Парк. По-настоящему первооткрывателем архитектуры Мали для Европы стал французский журналист и путешественник Феликс Дюбуа (1862–1945). Мысли о египетском происхождении малийской архитектуры высказывались и до него. Но именно Дюбуа стал автором «древнеегипетской» гипотезы происхождения малийской архитектуры. Сейчас она имеет только историографическое значение. В отличие от «египетской», «исламская» гипотеза происхождения западноафриканской архитектуры выглядит вполне обоснованной. Так, не вызывает никаких сомнений, что ислам действительно обогатил архитектуру Мали новым для неё типом сооружений, мечетью. Но сам Суданский стиль явно сложился без влияния ислама и даже вопреки ему. На это ясно указывает антропоморфный (иногда зооантропоморфный) характер Стиля тукулёров. Что касается европейского влияния на традиционную малийскую архитектуру, то, исключая современные постройки, невозможно указать какие-либо его следы. Несостоятельной оказывается попытка приписать появление стрельчатых арок европейскому влиянию, а это единственный аргумент в пользу последнего. Гневные филиппики Дюбуа или рассуждения Лейриса относительно «домашней утвари в соседней забегаловке» аргументами не являются. В трудах Энгестрёма, Деньер и многих других исследователей архитектура Мали и всей Западной Африки исследуется вполне объективно. Но параллельно существовала и существует другая тенденция, предельно ясно выраженная Морисом Делафоссом: кто-то «познакомил чернокожих с “суданской” архитектурой, а до этого они строили только глиняные хижины с коническими соломенными крышами». И не имело значения, кем были те культуртрегеры, что принесли в Западную Африку развитые архитектурные традиции – кто угодно, только не сами африканцы.*

Ключевые слова: Архитектура Мали, Древний Египет, мусульманская архитектура, Европа

Для цитирования: Куценков П.А. Архитектура Мали глазами европейцев: поиски прототипа. *Восток (Oriens).* 2026. № 5. С. 207–219. DOI: 10.31696/S086919080039213-1

MALIAN ARCHITECTURE THROUGH THE EYES OF EUROPEANS: THE SEARCH FOR A PROTOTYPE

© 2026

Petr A. KUTSENKOV [a]

[a] – Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
ORCID: 0000-0002-4288-6167; p.kutsenkov@ivran.ru

Abstract: *The first written references to architectural structures in Mali date back to the 11th century: al-Bakri and al-Idrisi mention palaces and urban developments. Mungo Park was the first European to describe the architecture of a typical Malian city. The true discoverer of Malian architecture for Europe was Félix Dubois (1862–1945), who developed the "ancient Egyptian" hypothesis for the origins of Malian architecture. However, the idea of an ancient Egyptian origin of Malian architecture had been expressed before him. Currently, this hypothesis has merely a historiographic significance. There is no doubt that Islam did indeed enrich Malian architecture with a new type of building: the mosque. However, the Sudanese style itself clearly developed without the influence of Islam, and even in spite of it. The anthropomorphic (sometimes zoomorphic) nature of the Toucouleur style clearly indicates this. As for European influence on traditional Malian architecture, it is impossible to identify any traces of it. Attempts to attribute the appearance of pointed arches to European influence, which is the only argument in favor of the latter, prove untenable. The works of Engeström, Denyer, and many other researchers examine the architecture of Mali and entire West Africa quite objectively. However, another trend existed in parallel, articulated with utmost clarity by Maurice Delafosse: someone "introduced Black people to 'Sudanese' architecture, and before that they had only built clay huts with conical thatched roofs." It didn't matter who were the cultural bearers bringing developed architectural traditions to West Africa – anyone, but not the Africans themselves.*

Keywords: *a*rchitecture of Mali, Ancient Egypt, Muslim architecture, Europe

For citation: Kutsenkov P.A. Malian Architecture through the Eyes of Europeans: The Search for a Prototype. *Vostok (Oriens)*. 2026. No. 5. Pp. 207–219. DOI: 10.31696/S086919080039213-1

ИСТОЧНИКИ И ИСТОРИОГРАФИЯ ПО АРХИТЕКТУРЕ ЗАПАДНОЙ АФРИКИ

Первые упоминания об архитектурных сооружениях на территории Мали в письменных источниках датируются XI в.: ал-Бакри сообщает о городской застройке столицы средневековой империи «из камня и дерева ас-синт», о царском дворце с купольной беседкой и об арочных постройках вокруг него [*Древние и средневековые источники*, 1965, с. 181]. Аль-Идриси очень кратко описал «основательно построенный и прочно сделанный дворец на берегу Нила[1], жилые помещения которого украшены разного рода скульптурой, рисунками и стеклянными окнами», построенный «в 510 году после светоча хиджры[2]» [*Древние и средневековые источники*, 1965, с. 286].

Первым из европейцев архитектуру и городскую застройку типичного малийского города обрисовал Мунго Парк. Рассказывая о городе Сегу, Мунго Парк описал двухэтажные дома, «мавританские мечети» и «улицы, хотя и узкие, но достаточно широкие для любой полезной цели в стране, где колесные экипажи совершенно неизвестны» [Park, 1816, p. 195]. Мунго Парк упоминает и о сельской архитектуре, весьма отличной от городской: «При строительстве своих жилых домов мандиго[3] также следуют общей практике африканских народов этой части континента, довольствуясь маленькими и неудобными лачугами. Круглая глинобитная стена высотой около четырех футов, на которой установлена коническая крыша из бамбуковых прутьев, крытая травой, образует как дворец царя, так и лачугу раба» [Park, 1816, p. 22].

[1] Т.е. Нигера.
[2] 1116/1117 г.
[3] Мандинго, манден.

Следующим европейским путешественником, посетившим территорию Мали, стал Рене Кайе, который оставил монументальное трёхтомное сочинение «Дневник путешествия в Тембокту и Дженне в Центральной Африке, которому предшествовали наблюдения, сделанные среди мавров бракна, налу и других народов; в течение 1824, 1825, 1826, 1827, 1828 гг.» [Caillié, 1830]. В томе II содержится множество описаний архитектурных сооружений, от весьма нелицеприятной характеристики знаменитой мечети XVIII в. в Саматигила [Caillié, 1830, II, p. 100] (теперь на крайнем северо-западе Кот д'Ивуар, на стыке границ Кот д'Ивуар, Мали и Гвинеи), до описания старой мечети в Дженне, уже заброшенной ко времени визита Кайе [Caillié, 1830, II, p. 206].

Сразу после завоевания Сегу Эль-Хадж Омаром, в долине Нигера побывал капитан-лейтенант Эжен Маж [Mage, 1868]. В его книге описаний архитектуры как таковых очень мало, однако есть 81 ксилография, выполненная по рисункам автора.

По-настоящему первооткрывателем архитектуры Мали для Европы стал французский журналист и путешественник Феликс Дюбуа (1862–1945), развивший идею о египетском источнике западноафриканской архитектуры, о чём мы подробно поговорим в следующем разделе.

До начала 1960-х гг. исследования западноафриканской архитектуры появлялись в печати, но в небольшом количестве. Здесь следует отметить труды шведского исследователя Тора Энгестрёма [Engeström, 1955; 1957; 1959]. Видимо, он был первым, кто связал характерный декор западноафриканской архитектуры с техникой строительства [Engeström, 1955, p. 122] и усомнился в прямой связи Суданского стиля с исламом [Engström, 1959, p. 64].

В литературе, посвящённой архитектуре Мали и всего Западного Судана, особняком стоят имена двух исследователей – Сьюзен Деньер и Лабелль Пруссен. В книге «Традиционная африканская архитектура в исторической и географической перспективе» С. Деньер первой исчерпывающе полно описала признаки Суданского стиля: плоскую с парапетом или коническую крышу, деревянный каркас и использование сырцовых кирпичей разной формы в качестве основного строительного материала [Denyer, 1978, p. 160]. Сложился Суданский стиль, по мнению С. Деньер, задолго до появления в Западной Африке ислама.

Другая исследовательница, сыгравшая, несомненно, выдающуюся роль в изучении архитектуры Мали и всего Западного Судана – Лабелль Пруссен. Её многочисленные работы, посвящённые архитектуре Мали и всего Западного Судана, начали публиковаться с конца 1960-х гг. [Prussin, 1968; 1969; 1970; 1974; 1982; 1986; 2008]. Л. Пруссен принадлежит гипотеза о связи Суданского стиля с миграциями мусульман (торговцев-диула) [Prussin, 1970, p. 12–19, 64–67].

Из опубликованных относительно недавно работ по архитектуре Мали следует отметить монументальную, прекрасно иллюстрированную монографию Вольфа Шийнса «Народная архитектура догонов в Мали. Типологическая эволюция и будущее всемирного наследия», до сих пор остающуюся наиболее обстоятельным трудом, посвящённым архитектуре этого народа [Schijns, 2009].

ЕГИПЕТСКИЙ МИРАЖ

Первым о связи древнеегипетской архитектуры с малийской кратко высказался капитан-лейтенант Эжен Маж. В его книге есть изображение «общественного дома» народа сомоно, который Маж описывает как «своего рода сарай для ремонта сетей и разделки рыбы», который «своей архитектурой напоминает египетские дворцы» [Mage, 1868, p. 377].

Всерьёз об «отпечатке Египта» на архитектуре принигерских городов заговорил только французский путешественник и журналист Феликс Дюбуа. Он очень внимательно отнёсся

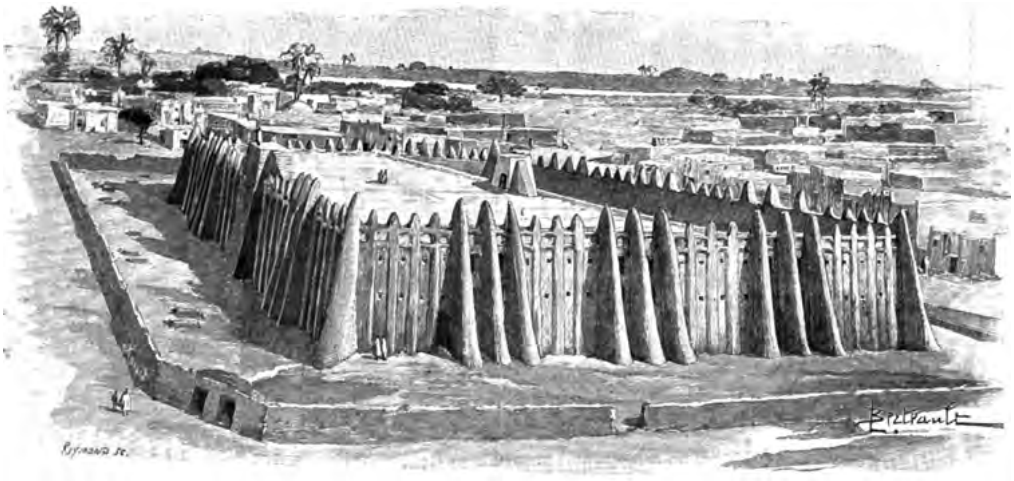


Рис. 1. Реконструкция первой мечети в Дженне по Ф. Дюбуа. XIII в. (по: [Dubois, 1897, p. 157])
Fig. 1. Reconstruction of the first mosque in Djenne based on F. Dubois's work. 13th century (based on: [Dubois, 1897, p. 157])

к традиционному строительству, прекрасно осознавая приспособленность его к местным природным условиям и связь техники строительства со стилем: «В тропиках удобное или высококачественное жилье в первую очередь должно обеспечить тень и прохладу. Местные архитекторы решают эту задачу благодаря строительству домов с внутренним двором и толстыми стенами, почти слепыми, с крошечными и очень редкими окнами. Отсюда и плоские террасные крыши, на которых проводят теплые ночи, что являются естественным результатом массивности построек. Очарование стиля Дженне заключается в том, что там сумели придать тяжести этих масс некое величие, не лишенное благородства и гармонии» [Dubois, 1911, p. 186]. В статье, опубликованной в Фигаро 27 июля 1895 г., Дюбуа первым обратил внимание на сходство долин Нила и Нигера (цит. по: [Dubois, 1911, p. 24]), что, по его собственному выражению, вызвало «взрыв смеха в стане пессимистов и Тартаренов из Тараскона» [Dubois, 1911, p. 25–26]. Двумя годами позже, характеризуя архитектуру города Дженне, Дюбуа писал: «Наконец я припоминаю эти величественно массивные формы; и воспоминание это доносится до меня с другого края Африки. Их прототипы возвышаются на берегах другой великой реки, но никакая жизнь не связана с их образом. Это мертвые города, или, скорее, города мертвых; ибо именно в безжизненных городах фараонов и их гипогеях, именно на руинах Древнего Египта в долине Нила я прежде уже встречал это искусство» [Dubois, 1897, p. 86]. Поэтому-то нет ничего удивительного в том, что своей реконструкции первой мечети Дженне он придал откровенно «мастабообразный» характер (*рис. 1*).

Не один только Дюбуа был уверен в том, что архитектура Дженне и других городов связана с Древним Египтом: в 1907 г. британец Арнольд Ландор отметил египетское влияние на архитектуру Мали [Landor, 1907, p. 403–404], а в 1912 г. о том же писал Луи Соноле, который усматривал его не только в Дженне: «Рассмотрим, например, Сегу, бывшую крепость Амаду, захват которой потребовал от наших войск столько мужества и решительности. Все важные дома в городе построены по единой модели. Над входными воротами возвышаются четырехугольные пирамиды, обрамленные пилястрами в форме усеченных пирамид. Линии прямые и симметричные. Все это вызывает в памяти далекие и смутные воспоминания о Древнем Египте времен фараонов» [Sonolet, 1912, p. 114].

К настоящему времени «египетская» гипотеза происхождения западноафриканской архитектуры имеет только историографическое значение; теперь-то понятно, что история последней восходит, по крайней мере, ко II тыс. до н.э., к культуре Тишит, которая существовала на пространстве от юго-восточной Мавритании до Мема в Мали в 1900 г. до н.э. – 400 г. н.э. (см. *Карта 1*). По мере высыхания Сахары её носители перемещались по направлению к реке Сенегал и к излучине Нигера, где, благодаря этой миграции, возникли первые крупные поселения. Они и стали ядром последующих великих империй Сахеля. Однако в египетской гипотезе было и вполне рациональное зерно – замечание Дюбуа о сходстве между долинами Нила и Нигера, что привело к использованию одних и тех же строительных материалов, и, соответственно, к возникновению сходных форм в строительстве.

Но в рассуждениях о древнеегипетском происхождении западноафриканского зодчества уже ясно прослеживается и другая мысль, которая, как мы увидим, в том или ином виде будет регулярно возникать на страницах европейских публикаций: «сами они не могли построить ничего, кроме примитивных глинобитных хижин».

ИСЛАМ И СУДАНСКИЙ СТИЛЬ

В отличие от «египетской», «исламская» гипотеза происхождения западноафриканской архитектуры выглядит вполне обоснованной. Так, не вызывает никаких сомнений, что ислам действительно обогатил архитектуру Мали новым для неё типом сооружений, – мечетью, – причём, совершенно определённой её разновидностью, т.н. «арабской», или «колонной» мечетью с большим прямоугольным двором с примыкающим к нему гипостильным залом. В Западной Африке этот тип благополучно доживает до XXI в.

Самым ранним ныне известным памятником мусульманской архитектуры Мали является «дворец» в Древнем Гао (в будущей столице державы Сонгай). Раскопки, предпринятые там в 2001–2009 гг. Соишира Такезава, Тереба Тогола и Мамаду Сиссе, открыли крупные сооружения из камня, сырцового и обожжённого кирпича, построенные около 900 г. [Takezawa, Cisse, 2012]. Они представляют собой длинные узкие помещения, но также гипостильный зал, который, предположительно, представляет собой одну из самых ранних мечетей в Западной Африке. Однако в этом сооружении отсутствует михраб, обязательный элемент в архитектуре мечетей. Поэтому-то постройки в Древнем Гао могут быть интерпретированы по-разному – «как “рынок”, “дворец” или, возможно, просто элитная городская застройка», причём, «элитный характер этих зданий дополнительно подтверждается двумя внушительными входами, один из которых окружен массивными столбами из обожженного кирпича», а колонны «могли быть просто средством создания больше́го (дворцового?) пространства» [Donnay, MacDonald, 2019, p. 14].

Вероятно, чуть позже «дворца» в Гао была построена большая колонная мечеть в Кумби Сале (46×23 м). В западной, до сих пор нераскопанной её части, скорее всего, находился большой двор, такой же, как в мечети Дженне (*рис. 2*[4]). Раскопки Раймона Мони 1950 г. [Mauni, Thomassey, 1951] раскрыли михраб, который трижды перестраивался в X–XV вв. В конце XI – начале XII вв. мечеть была значительно расширена.

Самым известным и до сих пор непонятным зданием Кумби Сале остаётся Гробница с колоннами. Впервые она была описана Альбером Боннелем де Мезьером в 1914 г. (но опубликована только в 1923 г.: [Bonnel de Mézières, 1923]), когда она была ещё в приличном состоянии (сейчас гробница практически разрушена). Она была окружена шестью квадратными концентрическими оградами с несколькими воротами и занимала площадь

[4] Рис. 2 и 5 см. на цветной вклейке.

около 6 га. Центральной её частью была каменная конструкция размером 5×5 м, с углами, ориентированными по сторонам света, и с круглой каменной колонной в каждом углу. Изначально все стороны этого склепа имели входные проемы, но позже два из них были засыпаны. От юго-западного входа лестница из обожженного кирпича вела в подземную камеру с тремя погребениями, чьи стены этой камеры были покрыты белой штукатуркой с красной росписью (не сохранилась). При помощи радиоуглеродного анализа погребения были датированы промежутком между 1050–1200 гг. План центральной части Гробницы с колоннами удивительно близок плану мавзолея Саманидов в Бухаре, построенного на рубеже IX и X вв. (т.е. обе постройки разделяют около ста лет). За один век культурная информация с востока мусульманского мира вполне могла достичь юго-западной его оконечности, т.е. влияние мавзолея Саманидов на Гробницу с колоннами вполне возможно. В то же время, Кло Капель и группа исследователей предположила, что это сооружение могло быть связано и с местными доисламскими обычаями [Capel et al, 2015, p. 74]. Но в любом случае, Гробница с колоннами с предыдущей и с последующей историей архитектуры Мали никак не связана.

Сейчас в архитектуре Мали и во всей Западной Африке господствует т.н. Суданский стиль. Он подразделяется на Марокканский стиль и Стиль тукулёров, из самих названий которых следует, что своим происхождением они обязаны мусульманам с севера и крайнего запада Африки. Наиболее вероятная дата возникновения первого – начало – середина XVII в., когда территория Мали находилась под марокканской оккупацией. Второй, если судить по его названию, не мог возникнуть ранее 1862 г., когда практически весь юг Мали вошёл в состав теократической империи Тиджанийя, основанной Эль-Хадж Омар Таллем. Но в марокканском стиле единственные действительно марокканские черты – очень характерные двери и окна, которые можно видеть только в Дженне, Тимбукту, Мопти и в отдельных сооружениях в других городах, явно построенных под влиянием архитектуры Дженне. Эти детали действительно имеют марокканское происхождение. Но массивные кубические объёмы зданий в Марокканском стиле с характерными стенами, расчленёнными тонкими пилястрами, появились в Дженне задолго до марокканцев…

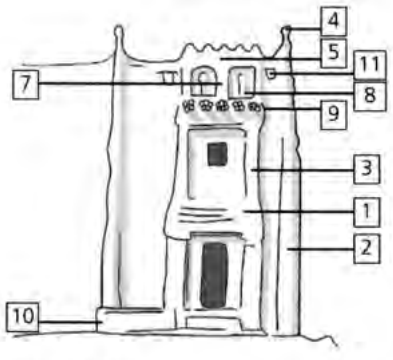
Дело в том, что дома в деревне Буну (*Bounou*) на севере нагорья Бандиагара в культурно-исторической области Ловель Геу (*Lowel Gueou*) обнаруживают поразительное сходство с постройками в Марокканском стиле в Дженне, но без «марокканских» деталей – окон и характерных дверей (*рис. 3*). Часть населения Ловель Геу, джанаге, или дженненке, т.е. «люди Дженне» (яз. бозо и бамананкан), мигрировала на нагорье Бандиагара, скорее всего, в XV в. [Blom, 2011, p. 64], т.е. минимум за сто лет до начала марокканской оккупации. Правда, такие дома можно видеть только в деревне Буну. В соседних деревнях, жители которых по происхождению тоже связаны с Дженне, этот стиль не фиксируется.

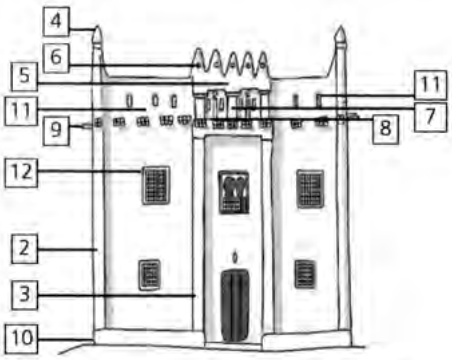
Что касается Стиля тукулёров, то и в этом случае есть очень веские основания предполагать, что возник он задолго до завоевания Дженне Эль-Хадж Омар Таллем. Во-первых, та архитектура тукулёров, что существовала у них до начала джихада, представлена, по крайней мере, в одном памятнике – в деревне Альвар (Хальвар) на границе между Сенегалом и Мавританией, на родине Эль-Хадж Омар Талля, сохранилась мечеть, построенная ещё при его жизни. Как и следует ожидать от архитектуры тукулёров, она полностью лишена какого-либо «греховного» декора, в отличие от Стиля тукулёров в Дженне и Мопти.

К нему-то и следует присмотреться очень внимательно. Дело в том, что, как видно на *рис. 4*, фасады домов, построенных и в Марокканском стиле, и в Стиле тукулёров, осознаются в антропоморфных образах. Об этом говорят названия элементов декора: *sarafar har* – «взрослый мужчина», *sarafar woy* – «взрослая женщина», *sarafar ydie* – «ребёнок», *sarafar fuula* – «шляпа взрослого мужчины». Есть и зооморфный образ (*musi bumo* – «голова



Рис. 3. Дома в деревне Буну, северо-запад нагорья Бандиагара (по: [Blom, 2011, p. 69])
Fig. 3. Houses in the village of Bounou, northwest of the Bandiagara plateau
(based on: [Blom, 2011, p. 69])





1. Крыльцо (gum hu)
2. Угловой пилястр (sarafar har - "взрослый мужчина")
3. Пилястр sarafar woy - "взрослая женщина"
4. Макушка башенки sarafar fuula - "шляпа взрослого мужчины"
5. Фронтон, декорированный остроконечными башенками sarafar ydie - "ребёнок"
6. Сферический декор башенки sarafar dyutu
7. Малый пилястр (gaga)
8. Декор фронтона musi bumo - "голова кошки"
9. Toron - деревянные балки
10. Tintin - глинобитная скамья
11. Слуховые окна (funey)
12. Окно с деревянной решёткой koyradi funey, дословно - "открывающиеся в сторону города"

Рис. 4. Стиль тукулёров (слева) и Марокканский стиль (справа)
Fig. 4. Toucouleur style (left) and Moroccan style (right)

кошки»). Таким образом, в Мали архитектурные детали осознаются в понятиях системы родства: дом как целое представляет собой традиционную семью, а на фасад выносится её зримое и осязаемое обозначение.

Именно в Стиле тукулёров антропоморфизм архитектуры доводится до высшей черты. Так, дом в Мопти, расположенный напротив мечети, представляет собой схематичное, но ясно читаемое изображение личины: выступающий вперёд массивный портал образует рот, а окна – глаза. Есть даже нос в виде тонкого полупилястра между окнами (*рис. 5*). Можно предположить, что фланкирующие портал тонкие пилястры, имеющие продолжение в виде невысоких пинаклей, представляют собой ни что иное, как предельно схематичное изображение поднятых вверх рук. Если это так, то порталы имеют аналогии в старой скульптуре дженненке, и та же композиционная схема характерна и для скульптуры догонов XIX–XX вв.

Наиболее веский аргумент в пользу дотукулёрского происхождения Стиля тукулёров можно видеть в мечети в Дженне. Несмотря на многочисленные упоминания о ней в Суданских хрониках, о её облике там нет ни слова. Первым описал её только Рене Кайе. В 1828 г. он застал её уже в довольно плачевном состоянии, поскольку за десять лет до его визита город был захвачен Секу Амаду, который украшательства в архитектуре отнюдь не поощрял, и мечеть была заброшена. Вскоре после того, как в апреле 1893 г. французы захватили Дженне, была сделана фотография, запечатлевшая руины старой мечети (*рис. 6*). В то время по ним ещё можно было составить представление о характере её декора. Примерно в том же состоянии её застал и Феликс Дюбуа, который посетил Дженне в 1896 г. Наконец, в 1906 г. французские власти Дженне начали строительство новой мечети на месте первой постройки XIII в. Строительство шло под руководством вождя каменщиков Дженне Исмаила Траоре.

На фотографии 1893/1894 г. ясно видно, что её портал, как и современный, был образован тремя пилонами. И тут обращает на себя внимание одно любопытное обстоятельство: порталы мечетей Дженне и Мопти, построенной в подражание первой, обнаруживают явное сходство с маской Валу догонов, на что ещё в 1971 г. обратил внимание британский исследователь Фрэнк Уиллетт [Willett, 1971, p. 184]. Любопытно, что в многочисленных мечетях в самой Стране догонов в архитектуре эта форма не встречаются, однако в мечетях может присутствовать в виде маскоида: в маленькой деревне Уме на севере Страны догонов ворота мечети запираются на засов типичной для декоративно-прикладного искусства догонов формы в виде маски Валу, при этом в культурно-исторической области Бондум, где расположена деревня Уме, масок вообще нет. Поскольку современный портал мечети в Дженне воспроизводит портал первой постройки XIII–XIV вв., логично будет предположить, что эта стилеобразующая зооантропоморфная деталь является доисламским наследием.

Сходство с «тукулёрскими» порталами обнаруживается и в архитектуре хауса в Нигерии, т.е. на той территории, которая никогда не входила в состав теократического государства тукулёров – так, портал дворца правителя города Бибеджи неподалёку от города Кано (Нигерия), в целом, выполнен именно в упрощённом и укрупнённом Стиле тукулёров. В том же стиле выполнены ворота стены дворца эмира города Кано и портал самого дворца. Хаусанский стиль отличается от малийского более крупными, даже лапидарными формами и отсутствием зооантропоморфных черт, выраженных так же ярко, как в порталах малийских сооружений. Но, несмотря на все различия, композиционная схема «тукулёрских» порталов остаётся неизменной – в хаусанских постройках можно видеть тот же массивный наплывающий над дверным проёмом навес, фланкируемый двумя мощными пилястрами, нередко имеющими продолжение в виде двух невысоких пинаклей на крыше. Зооантропоморфная образность фасадов у хауса выражена не так ярко, как в архитектуре



Рис. 6. Развалины старой мечети в 1893–1894 гг.
Fig. 6. Ruins of the old mosque in 1893–1894 (based on: https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Mosque_of_Djenn%C3%A9#/media/File:Djenne_ruins_ancient_mosque_-_Albert_Rousseau.jpg (accessed: 22.12.2025))

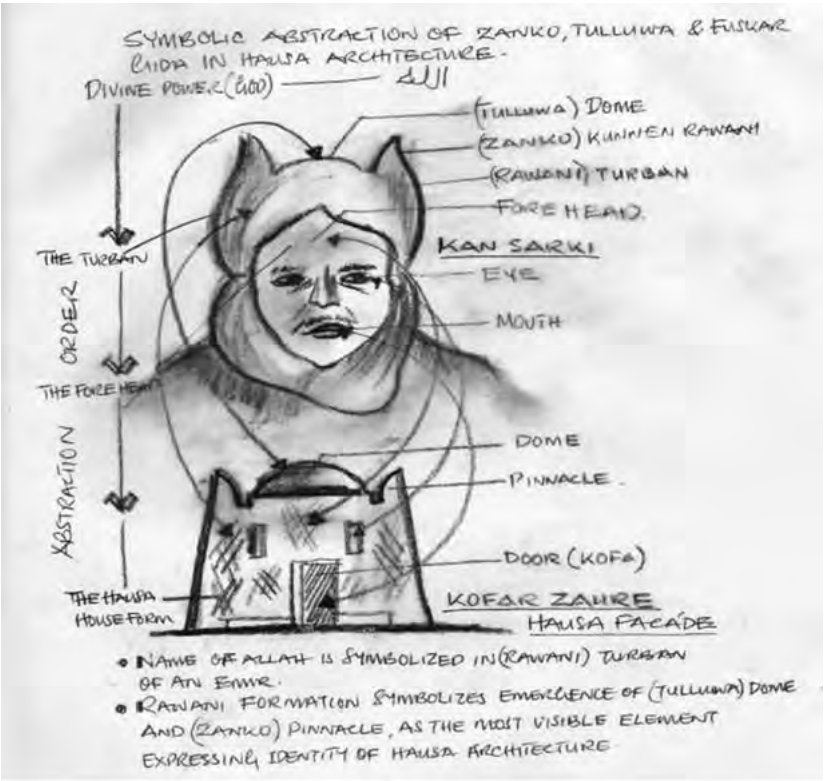


Рис. 7. Антропоморфный символизм фасадов хауса (по: [Bena, 2012, p. 72, fig. 2.6])
Fig. 7. Anthropomorphic symbolism of hausa facades (based on: [Bena, 2012, p. 72, fig. 2.6])

Мали, однако она присутствует и там: «Пинакли (*zankwaye* – яз. хауса) стали воспринимать как художественную деталь традиционного фасада хауса, без которой мастера-каменщики описывают его как быка без рогов или, скорее, как вождя без головного убора» [Gali et al, 2019, p. 6]. Традиционная постройки хауса самими носителями культуры воспринимается именно в антропоморфных образах [Bena, 2012, p. 72, fig. 2.6] (*рис. 7*).

Таким образом, Стиль тукулёров осознанно антропоморфен, что для тукулёров, которые, в известном смысле, были предшественниками современного радикального ислама, выглядит странно.

В связи с мусульманским влиянием на Суданский стиль остаётся ещё упомянуть «архитектурную легенду» об андалузце Абу Исхаке ас-Сахели[5], которому, с лёгкой руки Генриха Барта и Мориса Делафосса, приписывается выдающаяся роль в истории малийской архитектуры. По-видимому, создал легенду об ас-Сахели в 1857 г. немец Генрих Барт [Barth, 1965, p. 662, app. 9], когда «собрал воедино как реально существующие, так и предполагаемые упоминания ас-Сахели (без указания источников)» [Aradeon, 1989, p. 100]. Другой выдающийся африканист, Морис Делафосс, утверждал, что именно ас-Сахели «познакомил чернокожих с “суданской” архитектурой, а до этого они строили только глиняные хижины с коническими соломенными крышами» [Delafosse, 1924, p. 159–160]; цит. по: [Aradeon, 1989, p. 100]. Но это утверждение весьма далеко от реальности. Как заметила Сьюзен Арадеон, «не проводя стилистического анализа ни арабоберберской архитектуры, встречающейся на юге Марокко и в оазисах, ни африканского стиля, который он назвал “суданским”, Делафосс предположил, что между этими двумя смутно понятыми им “стилями” существует достаточное сходство, чтобы утверждать, что ас-Сахели черпал вдохновение из своего марокканского опыта» [Aradeon, 1989, p. 100]. Но источники эту точку зрения не подтверждают – нет даже ясных указаний на то, что ас-Сахели вообще имел к архитектуре какое-либо отношение[6].

ЕВРОПЕЙСКОЕ ВЛИЯНИЕ?

Аутентичность стиля новой мечети в Дженне поставил под сомнение ещё Феликс Дюбуа, который «придумал египетское происхождение» городу [Brunet-Jailly, 1999, p. 174]: «вместо архитектуры Дженне, теперь под видом мечети мы видим карикатуру!» [Dubois, 1911, p. 189]. Впрочем, его возмущение, возможно, объясняется тем, что строители не приняли во внимание его мастабообразную реконструкцию с наклонными контрфорсами, явно навеянными впечатлением от пилонов храмов Древнего Египта.

Более ясно в книге «Призрачная Африка», впервые опубликованной в 1934 г., высказался известный участник миссии Дакар-Джибути Марселя Гриоля, сюрреалист Мишель Лейрис: «Ближе к вечеру учитель-француз сообщил нам, что мечеть – это работа европейца, бывшего администратора. Чтобы осуществить свои планы, он разрушил старую мечеть. Туземцы испытывают такое отвращение к новому зданию, что для того, чтобы они согласились его подметать, их приходится наказывать тюрьмой» [Leiris, 1981, p. 206].

На этом-то основании и сложилось мнение, что мечеть – продукт французского творчества. Между тем Лейрис – не самый надёжный источник информации. Он отличался «удивительно субъективным восприятием Африки» [Clarck-Taoua, 2002, p. 479] и в определённых кругах даже заслужил звание «мастера этнографических провалов» [Phipps, 2005]. Так, описывая улицы Дженне, он проявил то ли самое вопиющие непонимание того просто-

[5] Родился в Гранаде в 1290 г., но известность обрёл в Сахеле, при дворе Мансы Мусы, и был похоронен в Тимбукту.

[6] См. подробнее: [Poissonnier, 2018].

го факта, что жители города строили свои дома для себя, а не для того, чтобы понравиться французскому сюрреалисту с его «удивительно субъективными взглядами», то ли ради острого словца готов был пожертвовать элементарным здравым смыслом: «Знакомство со всем городом, с узкими улочками, домами с великолепными фасадами, но внутренне убогими, старым городом, привлекательным как “театральная декорация”, но таким же нищим, как антикварные кулисы или как убогий магазин домашней утвари в соседней забегаловке...» [Leiris, 1981, p. 206].

После Лейриса сомнения в аутентичности новой мечети высказывали и другие авторы: «Портал в северо-восточном крыле представляет собой ...новинку, несомненно, вдохновленную Европой... внутри мечети мы видим стрельчатые арки, которые являются элементом, чуждым суданской традиции, и которые были добавлены во время реконструкции» [Domian, 1989, p. 51]; цит. по: [Brunet-Jailly, 1999, p. 174].

Что касается стрельчатых арок внутри мечети, то арочные конструкции, судя по сообщению ал-Бакри, в западноафриканской архитектуре были известны уже в XI в. [*Древние и средневековые источники*, 1965, с. 181]. Кроме того, стрельчатые арки в мусульманской архитектуре зафиксированы уже в мечети Ибн Тулуна в Каире (876–879 гг.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы вряд ли ошибёмся, если предположим, что историю малийской архитектуры надо начинать с культуры Тишит, причём она последовательно, без перерывов и оставивших видимые следы кризисов, развивалась со II тыс. до н.э. до наших дней. Усматривать же древнеегипетское влияние на архитектуру Западной Африки нет никакого смысла – определённое сходство между ними, действительно, существует, но обусловлено это не контактами, а сходством климатических условий и строительных материалов.

Что касается влияния мусульманской архитектуры, то не вызывает сомнений только то, что типичные для Суданского стиля сооружения – арабские мечети – были заимствованы вместе с самим исламом. Но сам Суданский стиль явно сложился без влияния ислама и в определённом смысле даже вопреки ему. На это ясно указывает антропоморфный (иногда зооантропоморфный) характер Стиля тукулёров.

Что касается европейского влияния на традиционную малийскую архитектуру, то, исключая современные постройки, невозможно указать какие-либо его следы. Как мы видели, несостоятельной оказывается попытка приписать появление стрельчатых арок европейскому влиянию, а это практически единственный аргумент в пользу последнего – если не считать таковым гневные филиппики Дюбуа или рассуждения Лейриса относительно «домашней утвари в соседней забегаловке».

Спору нет – в трудах Энгестрёма, Деньер и многих других исследователей архитектура Мали и всей Западной Африки исследуется вполне объективно. Но параллельно существовала и существует другая тенденция, предельно ясно выраженная Морисом Делафоссом: кто-то «познакомил чернокожих с “суданской” архитектурой, а до этого они строили только глиняные хижины с коническими соломенными крышами». И не имело значения, кем были те культуртрегеры, что принесли в Западную Африку развитые архитектурные традиции – кто угодно, только не сами африканцы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

Древние и средневековые источники по этнографии и истории народов Африки южнее Сахары. Т. 2. *Арабские источники X–XII веков.* Подготовка текстов и перевод Л.Е. Куббеля, В.В. Матвеева.

М.; Л.: Наука, 1965 [*Ancient and medieval sources on the ethnography and history of the peoples of Sub-Saharan Africa*. Vol. 2. *Arabic sources of the 10th–12th centuries*. L.E. Kubbel, V.V. Matveyev (tr., ed.) Moscow; Leningrad: Nauka, 1965 (in Russian)].

Aradeon S.B. Al-Sahili: the historian's myth of architectural technology transfer from North Africa. *Journal des africanistes*. 1989. T. 59, fasc. 1–2. Pp. 99–131.

Barth H. *Travels and Discoveries in North and Central Africa in the Years 1849–1855*. Vol. 3. London: Frank Cass & Co (Reprint of the 1857 edition), 1965.

Bena A.A. *Integrating Cultural Identity in the Upgrading of Argungu Fishing and Cultural Festival Centre, Kebbi State*. A thesis submitted to the Postgraduate school, Ahmadu Bello University, Zaria, Nigeria. Zaria, Nigeria: Ahmadu Bello University, 2012.

Blom H. *Dogon Images and Traditions*. Brussels: Momentum Publication, 2011.

Bonnel de Mézières A. Recherche de l'emplacement de Ghana (fouilles à Koumbi et Settah). *Mémoires présentés par divers savants à l'Académie de Inscriptions et Belles Lettres.* 1923. T. 13 (1). Pp. 227–264.

Brunet-Jailly J. (Dir.). *Djenné d'hier à demain*. Bamako: Donniya, 1999.

Caillié R. *Journal d'un voyage à Temboctou et à Jenné dans l'Afrique Central, précédé d'observations faites chez les maures Braknas, les Nalous et d'autres peuples; pendant les années 1824, 1825, 1826, 1827, 1828.* T. I–III. Paris: Imprimé par autorisation du roi à l'imprimerie royale, MDCCCXXX (1830).

Capel C., Zazzo A., Polet J., Saliège J.-F. The End of a Hundred-Year-Old Archaeological Riddle: First Dating of the Columns Tomb of Kumbi Saleh (Mauritania). *Radiocarbon*. 2015. Vol. 57 (1). Pp. 65–75.

Clarck-Taoua P. In Search of New Skin: Michel Leiris's L'Afrique fantôme. *Cahiers d'Études africaines*. 2002. Vol. 167, XLII–3. Pp. 479–498.

Delafosse M. Les relations du Maroc avec le Soudan à travers les âges. 1924. *Hesperis*. Vol. 4. Pp. 153–174.

Denyer S. *African traditional architecture: an historical and geographical perspective*. London: Heinemann, 1978.

Domian S. *Architecture soudanaise: vitalité d'une tradition urbaine et monumentale, Mali, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Ghana*. Paris: L'Harmattan, 1989.

Donnay S.C., MacDonald K.C. West Africa, 400–1400. *Sir Banister Fletcher's Global History of Architecture, 21st edition*. Vol. 1. London: Bloomsbury Visual Arts, 2019. Pp. 820–832.

Dubois F. *Timbuctoo the Mysterious. Translated from the French by Diana White. With One hundred and fifty-three Illustrations from Photographs and Drawings made on the spot and Eleven Maps and Plans*. London: William Heinemann, 1897.

Dubois F. *Notre beau Niger*. Paris: Flammarion, 1911.

Engeström T. Contribution aux connaissances des styles de construction au Soudan français. *Ethnos*. 1955. Vol. 2–3. Pp. 122–126.

Engeström T. *Notes sur les modes de construction au Soudan. Statens Etnografiska Museum Memoir*, n°26. Stockholm: Statens Ethnografiska Museum, 1957.

Engeström T. The Origin of Pre-Islamic Architecture in West Africa. *Ethnos*. 1959. Vol. 24. Pp. 64–69.

Gali K.U., Danjuma A.Y., Abubakar A., Abdullahi M.U. The practice of Hausa traditional architecture: Towards conservation and restoration of spatial morphology and techniques. *Scientific African*. 2019. Vol. 5. Pp. 1–8.

Landor A. *Across Widest Africa.* T. 2. London: Hurst and Blackett, 1907.

Leiris M. *L'Afrique fantôme. De Dakar à Djibouti (1931–1933)*. Paris: Gallimard, 1981.

Mage M.E. *Voyage dans le Soudan occidental (Sénégambie-Niger)*. Paris: L. Hachette et Cie, 1868.

Mauni R., Thomassey P. Campagne de fouilles à Koumbi Saleh. *Bulletin de l'IFAN*. 1951. T. 13. Pp. 438–462.

Park M. *Travels in the Interior Districts of Africa: Performed in the Years 1795, 1796, and 1797*. London: John Murray, 1816.

Phipps P. Michel Leiris: Master of Ethnographic Failure. *Celebrating Transgression: Method and Politics in Anthropological Studies of Cultures. A book in Honour of Klaus Peter Koepping*. Eds.: U. Rao , J. Hutnyk. New York, Oxford: Berghahn Books, 2005. Pp. 181–194.

Poissonnier B. The Great Mosque of Timbuktu: Seven Centuries of Earthen Architecture. *Earthen Architecture in Muslim Cultures: Historical and Anthropological Perspectives*. Leiden: Brill, 2018. Pp. 22–36.

Prussin L. The architecture of Islam in West Africa. *African Arts*. 1968. Vol. 1–2. Pp. 32–35, 70–74.

Prussin L. *Architecture in Northern Ghana: A Study of Forms and Functions*. Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 1969.

Prussin L. Sudanese architecture and the Manding. *African Arts*. 1970. Vol. 3–4. Pp. 8–19, 97–98.

Prussin L. An Introduction to Indigenous African Architecture. *Journal of the Society of Architectural Historians*. 1974. Vol. 33.3. Pp. 182–205.

Prussin L. *Shelter for the Soul. Shelter: Models of Native Ingenuity*. J.M. Fitch (ed.) Katonah: The Katonah Gallery, 1982.

Prussin L. *Hatumere: Islamic Design in West Africa*. Berkeley: University of California, 1986.

Prussin L. *Convivencia at Timbuktu: Archetypes, Architects, and Artisans*. Gainesville: University of Florida, Harn Eminent Scholar Chair in Art History Program Presentation, 2008.

Schijns W. *L'architecture vernaculaire des Dogons du Mali. L'évolution typologique et l'avenir d'un patrimoine mondial*. Amsterdam: Gopher, 2009.

Sonolet L. *L'Afrique occidentale française*. Paris: Hachette, 1912.

Takezawa S., Cisse M. Discovery of the Earliest Royal Palace in Gao and Its Implications for the History of West Africa. *Cahiers d'études africaines*. 2012. Vol. 52. No. 208. Pp. 813–844.

Willett F. *African art: An introduction*. London: Thames & Hudson, 1971.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ / INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

КУЦЕНКОВ Пётр Анатольевич – доктор культурологии, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН, Москва, Россия.

Petr A. KUTSENKOV, DSc (Cultural Studies), Leading Research Fellow, Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia.

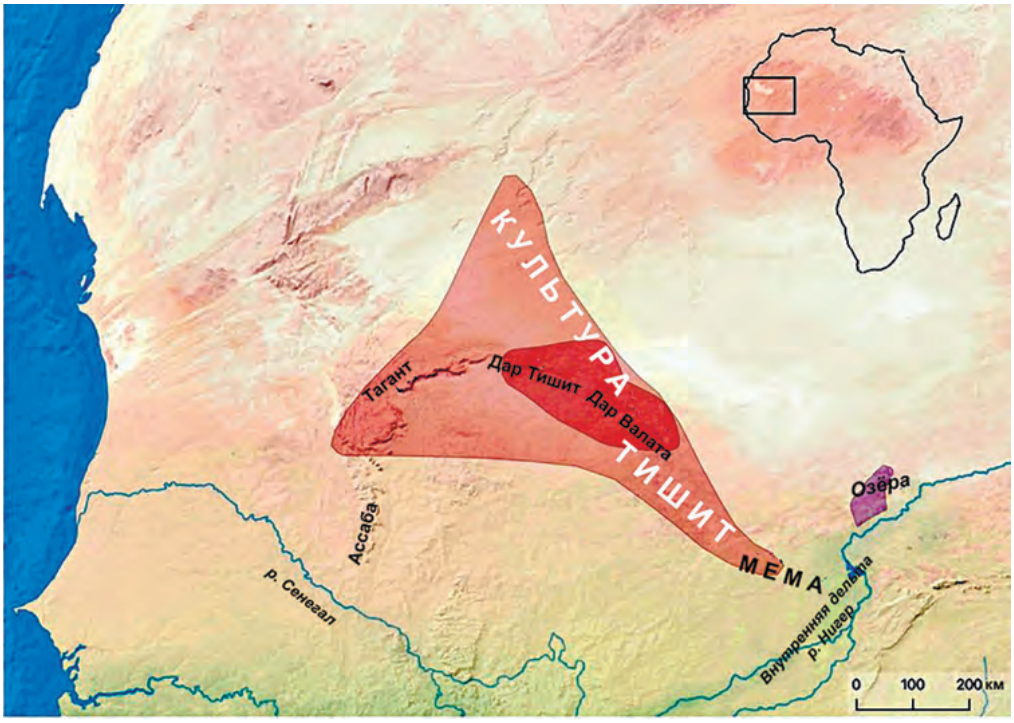
Иллюстрации к статье П.А. Куценкова



Рис. 2. Мечеть в Дженне с высоты птичьего полёта. 2018 г. (фото Н.М. Жилина)
Fig. 2. Bird's-eye view of the mosque in Djenne. 2018 (photo by N.M. Zhilin)



Рис. 5. Дом в Стиле тукулёров в городе Мопти, напротив северного фасада мечети. 2015 г. (фото автора)
Fig. 5. Toucouleur style house in Mopti, opposite the northern facade of the mosque. 2015 (photo by the author)



Карта 1. Культура Тишит (2000 г. до н.э. – 400 г. н.э.)
Map 1. Tichitt culture (2000 BC–400 AD)

DOI: 10.31696/S086919080039429-8

ЯПОНСКАЯ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ САХАЛИНА В 1850-х ГОДАХ В КОНТЕКСТЕ РУССКО-ЯПОНСКИХ ОТНОШЕНИЙ[1]

© 2026

А.Ю. ПЕТРОВ [a], А.О. САПРЫКИНА [b]

[a, b] – Институт всеобщей истории РАН, Москва, Россия
[a] – Московский государственный лингвистический университет, Москва, Россия
ORCID: 0000-0002-1688-4096; alaska13@yandex.ru
[b] – Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина, Рязань, Россия
ORCID: 0009-0008-6166-4034; keide@yandex.ru

Резюме: *В статье исследуется ключевой этап эволюции российско-японских отношений во второй половине XIX века, проходивший в условиях активной колониальной экспансии западных держав на Тихом океане. Речь идёт, прежде всего, о политике США и ведущих европейских империй, которые стремились к проникновению в регион. Их растущее влияние создавало новый геополитический контекст, требовавший пересмотра изоляционистских стратегий. Эта динамика привела к более агрессивной политике Японии по отношению к близлежащим территориям и Сахалину. Россия адаптировала свою внешнеполитическую стратегию, взяв курс на активизацию дипломатических усилий на Дальнем Востоке. Это выразилось не только в усилении военного присутствия, но и в интенсификации двусторонних контактов для поиска компромиссов. Исследование фокусируется на изучении разграничения территорий Японии и России, где Сахалин стал камнем преткновения сторон. Уже в Симодском трактате 1855 г. отмечалось, что граница пройдет между островами Итуруп и Уруп, оставив статус Сахалина неразделённым. Такая двусмысленность позволяла обеим сторонам не связывать себя обязательствами, оставляя пространство для дипломатического маневра. Однако на практике совместное владение порождало конфликты: японские власти усиливали административное присутствие на юге, а Россия основывала военные посты и проводила научные экспедиции. Последующее приобретение Россией Приамурья в 1858 г. обострило сахалинский вопрос, сделав его центральной темой двусторонних отношений. Особую научную ценность работе придаёт привлечение редких японских источников и новых архивных материалов из Российского государственного архива Военно-Морского Флота (РГАВМФ), позволяющих дать более детальную и объёмную реконструкцию переговорных процессов, скрытых мотивов сторон и влияния международного контекста. Введение в научный оборот этих документов позволяет по-новому взглянуть на механизмы принятия решений и показать, как локальные интересы на Сахалине переплетались с глобальной политикой в Северо-Восточной Азии.*

Ключевые слова: Сахалин, Япония, российско-японские отношения, Временные правила относительно острова Сахалин, Азиатско-Тихоокеанский регион, борьба за колонии, Симодский трактат

[1] Данная статья подготовлена за счет гранта Российского научного фонда № 22-18-00043-П «Борьба за колонии на Севере Тихого океана в XVIII–первой половине XIX вв.» в Институте всеобщей истории Российской Академии Наук. https://rscf.ru/project/22-18-00043/

Для цитирования: Петров А.Ю., Сапрыкина А.О. Японская политика в отношении Сахалина в 1850-х годах в контексте русско-японских отношений. *Восток (Oriens).* 2026. № 5. С. 220–231. DOI: 10.31696/S086919080039429-8

JAPANESE POLICY ON SAKHALIN IN THE 1850s IN THE CONTEXT OF RUSSIAN-JAPANESE RELATIONS[2]

© 2026

Aleksandr Yu. PETROV [a], Anastasiya O. SAPRYKINA [b]

[a] – Institute of World History, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
Moscow State Linguistic University, Moscow, Russia
ORCID: 0000-0002-1688-4096; alaska13@yandex.ru
[b] – Institute of World History, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
Yesenin Ryazan State University, Ryazan, Russia
ORCID: 0009-0008-6166-4034; keide@yandex.ru

Abstract: *This article examines a crucial stage in the evolution of Russian-Japanese relations during the second half of the 19th century, a period marked by active colonial expansion by Western powers in the Pacific Ocean, primarily the policies of the USA and leading European empires seeking to penetrate the region. This dynamic contributed to a more assertive Japanese policy towards adjacent territories, particularly Sakhalin. Japan's growing interest in the island was driven by both strategic considerations and the desire to protect its northern frontiers from foreign encroachment. In response, Russia adapted its foreign policy strategy, opting to intensify its diplomatic efforts in the Far East. This was expressed not only in a strengthened military presence but also in increased bilateral contacts aimed at finding compromises. The study focuses on the delimitation of Russian and Japanese territories, where Sakhalin emerged as a major stumbling block. The Treaty of Shimoda (1855) stipulated that the border would run between the islands of Iturup and Urup, while deliberately leaving Sakhalin under joint possession without clear division. This deliberate ambiguity allowed both parties to avoid binding commitments. The academic value of this work is enhanced by its use of rare Japanese sources and new archival materials from the Russian State Archive of the Navy (RGAVMF). These documents enable a more detailed and comprehensive reconstruction of the negotiation processes, the hidden motives of the parties involved, and the influence of the international context, revealing how the Sakhalin question became inextricably linked to broader geopolitical rivalries in Northeast Asia.*

Keywords: Sakhalin, Japan, Russo-Japanese relations, Provisional Treaty of Karafuto Island, Asia-Pacific region, struggle for colonies, Treaty of Shimoda

For citation: Petrov A.Yu., Saprykina A.O. Japanese Policy on Sakhalin in the 1850s in the Context of Russian-Japanese Relations. *Vostok (Oriens).* 2026. No. 5. Pp. 220–231. DOI: 10.31696/S086919080039429-8

В современных условиях, характеризующихся активизацией российской политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе и необходимостью отстаивания национальных территориальных интересов, проблема русско-японских отношений приобретает особую научно-

[2] This article was prepared at the expense of the Russian Science Foundation grant No. 22-18-00043-P, "Struggle for colonies in the North Pacific in the 18th–first half of the 19th centuries at the Institute of World History of the Russian Academy of Sciences". https://rscf.ru/project/22-18-00043/

политическую актуальность. При этом в ряде зарубежных исследований прослеживается тенденция к односторонней, преимущественно негативной интерпретации российской внешней политики, что обусловливает необходимость объективного исторического анализа всего спектра двусторонних отношений – как периодов конструктивного взаимодействия, так и этапов напряжённости.

Ключевое значение для понимания эволюции российско-японского диалога имеет период 1850-х гг., когда японцы усиливали свое давление для того, чтобы закрепить Сахалин за собой, а российские дипломаты и государственные деятели последовательно отстаивали национальные интересы в условиях сложной геополитической конъюнктуры.

Несмотря на наличие исследований по данной теме в отечественной историографии (в частности, работы Э.Я. Файнберг, К.Е. Черевко и Е.А. Сысоевой, И.А. Сенченко и др. [Файнберг, 1960; Черевко, 1999; Сысоева, 2004]), их источниковая база характеризуется ограниченным привлечением японских материалов и материалов отечественных архивов, особенно РГАВМФ.

Ограниченный объём статьи позволяет лишь кратко коснуться источниковедческого анализа, однако следует подчеркнуть, что проведённое исследование опирается на широкий круг источников. В статье использовались документы на японском языке из электронных хранилищ Японии, таких как архив Министерства иностранных дел Японии, Библиотека префектуры Вакаяма, электронный архив исторических документов NDL, представляющие собой официальные отчёты, дипломатическую переписку и периодические издания эпохи, что позволило сопоставить внешнюю перспективу с данными отечественных архивов. Среди работ японских авторов нами использовались как классические труды по истории японо-российских отношений (Сигэтада Манабэ [Манабэ, 1978]), так и современные исследования, основанные на архивных документах. В частности, важное значение имеет монография Тосиюки Акидзуки «Японо-российские отношения и Сахалин» (1994), в которой детально рассмотрена эволюция статуса острова в период с конца эпохи Эдо до начала Мэйдзи [Акидзуки, 1994]. В другой своей работе (1993) тот же автор на основе российских источников середины XIX века проанализировал положение японского и айнского населения на Сахалине, а также проблематику совместного проживания японцев и русских на острове в начале эпохи Мэйдзи [Акидзуки, 1993]. Работа Эномори Сусуму (2014) позволила уточнить действия японской стороны после подписания «Японо-российского договора о дружбе» (1855) [Эномори Сусуму, 2014], а исследование Синъити Фумото [Фумото, 2006] дало представление о взаимосвязи между формированием правительства Мэйдзи и сахалинской политикой России. Значительную часть источниковой базы составили опубликованные официальные документы, в том числе текст «Японо-российского договора о дружбе» (1855), «Временные правила относительно острова Сахалин» (1867), а также раздел, посвящённый сахалинскому вопросу, в официальных «Документах японской дипломатии» [*Нихон гайко: бунсё*, 1870]. Кроме того, были привлечены такие исторические материалы, как записи Дэндзюро Мацуда «Беседы о северных варварах» и созданный в результате правительственной экспедиции «Историко-географический атлас Хоккайдо» Тэтавакэ Мэгата, которые помогают понять восприятие северных территорий в Японии в указанный период.

Наряду с этим привлечены архивные документы РГА ВМФ (фонды № 16 – «Канцелярия морского министерства» и № 410 – «Главный морской штаб»), а также материалы АВПРИ, дающие представление о межведомственном взаимодействии и внешнеполитическом контексте изучаемых событий. Особо отметим, что ряд документов РГА ВМФ впервые вводится в научный оборот – в частности, донесения, депеши и частные письма участников событий, проливающие свет на оперативные решения и личные оценки современников.

Комплексный подход к источникам, включая сопоставление японских и российских материалов, позволил выявить расхождения в интерпретации отдельных эпизодов, что усиливает заявленную новизну исследования и открывает перспективы для дальнейшей детализации проблематики в последующих работах.

Цель нашего исследования заключается в том, чтобы проанализировать эволюцию русско-японских отношений в 1850-х гг. сквозь призму «сахалинского вопроса», показать позицию японской стороны, выявить ключевые механизмы дипломатического урегулирования территориального спора. Новизна работы заключается в привлечении малоизученных и впервые вводимых в научный оборот архивных материалов и источников на японском языке, не задействованных в предшествующих исследованиях[3], что позволяет скорректировать устоявшиеся в отечественной историографии оценки и расширить анализ за счёт учёта внутренней политики Японии (Реставрация Мэйдзи, административные преобразования) и внешнеполитических воздействий (поддержка Японии Великобританией и Францией, последствия Крымской войны для России). Выбранные хронологические рамки обусловлены событиями, связанными с Сахалином после заключения Симодского трактата. Методология, которая применяется в статье, опирается на комплексный историко-документальный анализ: сопоставление текстов международных соглашений (Симодский трактат 1855 г., «Временные правила относительно острова Сахалин» 1867 г. [*Карафуто: карикисоку*]), дипломатической переписки, отчётов российских и японских чиновников, а также материалов Русской Православной Церкви, чья миссионерская деятельность способствовала закреплению российского присутствия на Сахалине.

Дипломатическая миссия во главе с вице-адмиралом Евфимием Васильевичем Путятиным была направлена в Японию в 1852 г. с целью установления официальных отношений. В это время в 1853 г. был основан первый русский военный пост в заливе Анива (Муравьёвский): началось систематическое освоение Сахалина, и Россия утвердила на этом острове свои позиции [Акидзуки, 1994; Сенченко, 2005] (рис. 1)[4]. Переговоры же Путятина проходили в сложной международной обстановке, связанной с Крымской войной, в которой Россия противостояла коалиции в составе Великобритании, Франции и Османской империи. После прибытия в Японию миссия Путятина столкнулась со значительными трудностями, включая природные катаклизмы – землетрясение и цунами, которые повредили фрегат «Диана». Между тем Путятину удалось заключить договор с Японией. Симодский трактат, заключенный 26 января (7 февраля) 1855 г., стал первым дипломатическим соглашением между Россией и Японией. Данный документ не только установил правовые основы взаимоотношений между двумя странами, но и определил территориальное разграничение в регионе, создав предпосылки для дальнейшего развития русско-японских отношений.

Переговоры велись при посредничестве голландских переводчиков, поскольку ни одна из сторон не располагала квалифицированными специалистами по языку другой страны. После продолжительных обсуждений 26 января (7 февраля) 1855 г. в городе Симода договор был подписан Путятиным с российской стороны и представителем сёгуната Токугава Тосиакирой Кавадзи с японской стороны. Трактат состоял из 9 статей и устанавливал правовую основу для развития двусторонних отношений. В сёгунате Токугава существовала точка зрения о целесообразности укрепления союза с Россией в противовес западноевропейским державам и США [Neumann, 1963, p. 42].

[3] Мы благодарны Такэси Мацумура, профессору факультета экономических наук университета Дайто Бунка в Токио (Япония), за предоставленные копии нужных нам материалов.

[4] Рис. 1 и 2 см. на цветной вклейке.

Несмотря на то что Симодский трактат получил определённое освещение в историографии, мы стремимся рассмотреть его с позиций как японских, так и отечественных исследователей, чтобы сформулировать собственную оценку.

Симодский трактат определил статус острова Сахалин как неразделенной территории, находящейся в совместном владении России и Японии. Как отмечается в японской историографии, в договоре было установлено: 「カラフト島は日本国と魯西亜国の間において、界を分たず是迄仕来の通たるべし」 («Остров Карафу-то: [Сахалин] не разделяется границей между Японией и Россией и остается в совместном владении, как было до сих пор по обычаю») [*Нитиро васин дзё:яку уцуси*]. Данное решение было зафиксировано в статье 2 договора, которая устанавливала границу между государствами по проливу Фриза, разделяющему острова Итуруп и Уруп. Курильские острова к северу от Урупа признавались владениями России, острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи переходили под юрисдикцию Японии [Сапрыкина, 2023].

Для российской стороны формулировка о «неразделённости» Сахалина означала откладывание окончательного разграничения на будущее, открывая пространство для постепенного укрепления позиций на всём острове. В то же время японская сторона воспринимала эту норму как закрепление сложившегося к 1854–1855 гг. статус-кво, предполагавшее, что русские не будут продвигаться южнее уже существовавших японских поселений, особенно в заливе Анива. Японцы, опираясь на 2 статью Симодского трактата, начали заселять юг острова. Параллельно с этим процессом укреплялась и административная система на соседних территориях: в 1855 г. управление островом Эдзо (современный Хоккайдо) перешло под прямой контроль центрального правительства, что создавало инфраструктурную и логистическую базу для дальнейшей колонизации Сахалина.

В период позднего сёгуната Токугава (первая половина – середина XIX века) вопрос освоения северных территорий приобрёл особую актуальность на фоне усиления внешнеполитических вызовов, в т. ч. продвижения России на Дальнем Востоке. В рамках этой стратегии высокопоставленные чиновники сёгуната Хори Тосихиро и Мурагаки Норимаса, ответственные за освоение Эдзо, предприняли ряд конкретных мер по ускоренной колонизации региона.

Хори Тосихиро, занимавший ключевые посты в администрации Эдзо и обладавший значительным опытом в вопросах региональной политики, совместно с Мурагаки Норимаса инициировали пересмотр ограничительных норм, действовавших в отношении переселения на северные территории. Их усилия привели к снятию действовавшего запрета на переселение женщин и детей на Эдзо – мера, имевшая принципиальное значение для устойчивого демографического роста и формирования постоянных поселений. До этого ограничения препятствовали созданию полноценных семей и закреплению населения на новых землях.

Параллельно правительство сёгуната активизировало меры по укреплению обороноспособности. Токугава Нариаки, правитель княжества Мито и влиятельный политик, выступавший за усиление военной мощи Японии, настаивал на размещении постоянных военных гарнизонов вдоль предполагаемой русско-японской границы. Его позиция опиралась на анализ растущей активности русских экспедиций и поселений на Курильских островах и Сахалине. По инициативе Токугавы Нариаки в 1840-х гг. были развёрнуты мероприятия по организации военных постов и административных пунктов на юге Сахалина (южнее 48° с. ш.). Это привело к параллельному заселению южной части острова японскими подданными – в основном выходцами из княжеств региона Тохоку и Эдзо. На местах создавались опорные пункты, склады снабжения, рыболовные станции и наблюдательные посты, что позволяло: закрепить фактическое присутствие Японии на острове; наладить контроль над прибрежным промыслом и торговлей; обеспечить сбор разведывательной информа-

ции о действиях русских отрядов; создать условия для дальнейшего административного оформления территории.

Меры, предпринятые Хори Тосихиро, Мурагаки Норимасой и поддержанные Токугавой Нариаки, заложили институциональную и демографическую основу для интеграции Эдзо в состав централизованного японского государства, а также обозначили чёткую позицию Токио в отношении территориальной принадлежности Сахалина и Курильских островов. Эти шаги стали важной частью общей стратегии сёгуната по консолидации северных рубежей Японии в условиях нарастающего давления со стороны внешних держав в середине XIX века [*РГАВМФ*, ф. 16, оп. 1, д. 283, л. 4–14].

Реализация условий Симодского трактата проходила с определенными сложностями. Согласно договору, для русских судов открывались порты Хакодатэ, Нагасаки и Симода, где разрешались торговые сделки в ограниченных размерах и под присмотром японских чиновников. Россия получила право назначить консула в одном из открытых портов, что было реализовано в 1856 году, когда первым консулом в Хакодатэ был назначен И.А. Гошкевич. Территориальные положения трактата выполнялись обеими сторонами, хотя совместный статус Сахалина вызывал практические трудности. Русские продолжали осваивать остров, что периодически приводило к конфликтам и требовало дополнительных дипломатических усилий для их урегулирования. В 1856 г. был основан пост Дуэ у одноименного мыса на берегу Татарского пролива и начата эксплуатация Дуйского рудника [*АВПРИ*, ф. РАК, д. 391, л. 36–37], а в 1857 г. лейтенант Н.В. Рудановский основал пост Кусунайский на острове Сахалин у мыса Дуэ на берегу Татарского пролива.

Проблема Сахалина стала ключевым элементом русско-японских отношений, обусловленным трансформацией российской внешней политики после Крымской войны. Дипломатическая изоляция и проблемы с западноевропейскими странами способствовали тому, что Правительство Российской империи стало смещать приоритеты в сторону внутреннего развития и Дальнего Востока, где Сахалин, Приморский край, Курильские и Алеутские острова рассматривались как «дверь в океан» [Макарова, 1974]. При этом российская сторона учитывала специфику военной организации соседних государств: если в Китае система комплектования и управления армией была жестко централизована с концентрацией основных сил в столице, то в Японии войска дислоцировались по всей стране и находились в ведении местных властей, что создавало иную динамику региональной безопасности [Рябинин, 2025, с. 53]. Переговоры Е.В. Путятина стимулировали интерес российского общества к региону, отразившийся в публикациях «Морского сборника», «Современника» и «Отечественных записок», а «Северная пчела» настаивала на торговом соглашении с Японией и строительстве Амурской железной дороги.

В 1858 году вице-адмирал Е.В. Путятин вновь прибыл в Японию и 11 (23) августа подписал в Канагаве Дополнительный трактат к Симодскому договору 1855 года, который расширил возможности для российской торговли в открытых портах Японии (Хакодате, Нагасаки и Симода), предусмотрел право российских подданных свободно перемещаться в пределах поселений, разрешил учреждение российского консульства в одном из портов, установил режим наибольшего благоприятствования для российских купцов и зафиксировал фиксированные таможенные пошлины на уровне 5% от стоимости товара. Однако вопрос о статусе Сахалина оставался открытым и продолжал вызывать разногласия между двумя странами.

19 мая 1858 г. в докладной записке «Относительно разграничения острова Сахалин», представленной генерал-губернатору Восточной Сибири Н.Н. Муравьёву-Амурскому, чиновник для особых поручений, полковник Н.В. Буссе сформулировал две главные цели России на Сахалине: освоение богатых каменноугольных копей острова и установление

такой границы между русскими и японскими заселениями, которая исключила бы возможность претензий со стороны иных держав на выгодные пункты между русскими и японскими владениями. В этой связи он предложил занять гавань в заливе Анива и провести границу по реке Кусунай до её истока и далее по хребту до залива Анива. Н.Н. Муравьёв-Амурский настаивал на полном владении островом с сохранением японских рыболовных прав в заливе Анива, считая это необходимым для свободного плавания через пролив Лаперуза. Позиция Муравьёва-Амурского получила поддержку царской семьи [Файнберг, 1960, с. 189]: Александр II разделял его позицию. 17 декабря 1858 г. он утвердил его полномочия вести переговоры о Сахалине, предписав избегать мер, истолковываемых как принуждение [*РГАВМФ*, ф. 410, оп. 2, д. 1579, л. 183–192 об.].

12 июня 1859 года Муравьёв-Амурский уведомил высокопоставленного представителя сёгуната Токугава Городзю о намерении прибыть в Эдо для переговоров. 5 августа в Эдоском заливе сосредоточилась русская эскадра из 9 паровых судов. На заседании 12 августа Муравьёв-Амурский заявил о правах России на Сахалин, ссылаясь на тождество названия с рекой Амур (Сахалян ула), и предложил границу по проливу Лаперуза с сохранением японских промыслов на юге Сахалина. Эта инициатива была продиктована не только стратегическими соображениями (контроль над проливом как ключом к Амуру), но и осознанием того, что время работает на Россию. В условиях внутренней нестабильности в Японии, слабости бакуфу и зависимости Токио от советов западных дипломатов российская дипломатия стремилась к безболезненному, но окончательному решению «сахалинского вопроса». При этом, несмотря на военное превосходство, Россия, по оценке исследователя, демонстрировала сдержанность, полагаясь на «моральное преимущество» великой державы, что позволяло ей избегать открытого конфликта и вести переговоры с позиции силы, но без агрессии. Дипломатическая поездка Н.Н. Муравьёва-Амурского проходила на фоне активности западных держав, прежде всего США, Великобритании и Франции, стремившихся закрепиться в стратегически важных проливах (Лаперуза, Сангарский, Корейский, Цусимский) и получить от Японии в аренду территории Цусимы, порта Хакодате и залива Анива, что усиливало значение Сахалина как потенциальных «вторых Дарданелл». Японские уполномоченные под влиянием английского посланника Олькока и французского поверенного Белькура восприняли демонстрацию эскадры как давление и отклонили предложение, ссылаясь на 2 статью Симодского трактата и предлагая границу по 50° с. ш. Провал переговоров 18 октября 1859 г. объяснялся отсутствием международных актов, закрепляющих российские права на остров, ограниченными военно-морскими силами и отсутствием единой позиции внутри правительства [*РГАВМФ*, ф. 16, оп. 1, д. 48, л. 30–32].

Япония, в свою очередь, проводила политику укрепления своего присутствия на юге острова. Эта политика имела не только внешний, но и глубокий внутренний административный аспект. Японские власти предоставляли князьям права на рыбную ловлю с условием защиты территорий и запрещали айнам вступать в контакты с русскими. Как свидетельствуют документы сёгуната (например, записи чиновника Дэндзюро Мацуда в «Историях о северных варварах» [Мацуда, 1969]), еще в 1809 г. было официально приказано именовать Сахалин «Северная земля Эдзо» (北蝦夷地), тем самым подчёркивая принадлежность территории к японской сфере управления. Важно подчеркнуть, что термин «Северная земля Эдзо» отражал внутреннюю административную позицию Японии, но не имел международного юридического статуса. Данный топоним использовался в официальных бумагах вплоть до 1869 г., когда новое правительство Мэйдзи ввело более современное название 樺太 *карафу*. Этот терминологический сдвиг демонстрирует эволюцию японской политики – от внутриполитической концепции «внешней периферии» к международно признаваемой территориальной единице. Одновременно началась поли-

тика японизации айнов (和風化), известная также как «вафу-ка»: их принуждали менять айнские имена на японские крестьянские (например, ヲマシネВомасинэ → 万平Мамбэй), носить японские причёски (выбривать лоб и завязывать волосы в пучок). Так, традиционные вожди 乙名 *отона* были переименованы в 名主 *нануси* – деревенских старост, а старшие вожди 惣乙名 *со:отона* – в 庄屋 *сё:я* [Эномори, 2014]. Подобные меры были направлены не столько на культурную ассимиляцию саму по себе, сколько на юридическое включение айнов в феодальную систему подданства, что позволяло Японии обосновывать свои территориальные претензии как «управление собственными подданными». При анализе глубинных причин различий в политическом поведении сторон следует учитывать геополитический фактор. Как отмечают исследователи [Рябинин, 2025, с. 50], в истории Востока прослеживается закономерность: чем ближе государства находились к континентальному «кочевому поясу», протянувшемуся от Маньчжурии до Дуная, тем жестче были их режимы, тяготевшие к деспотии. Напротив, страны, изолированные от этого пояса (в частности, островные государства), развивались по модели, близкой к европейскому феодализму, с относительно слабым центральным аппаратом и сильным обществом. Экспансионистские устремления Японии, прослеживающиеся уже в этот период, не были случайными – они коренились в особенностях японской военно-политической традиции, сохранившей своё влияние и в последующие десятилетия [Попов, Казенков, 2023; Попов и др., 2023].

Зафиксированный в договоре компромиссный вариант относительно Сахалина отражал баланс интересов двух стран на момент его подписания. Если Россия была заинтересована в сохранении своего присутствия на всем острове, то Япония же, не имевшая в тот момент достаточного флота для эффективного контроля над территорией, стремилась закрепить свои права на юге Сахалина. Демилитаризованный статус неразделенного Сахалина позволял обеим сторонам продолжать освоение территории, откладывая окончательное решение вопроса о границе. Наглядным примером сосуществования двух государств на одной территории может стать иллюстрация из атласа 1859 г. (рис. 2) [Мэгата].

28 февраля 1861 г. Амурский комитет одобрил занятие южной оконечности острова, опираясь на формулировку Симодского трактата о неразделённости. Японское правительство, поощряемое западными державами, раздавало северным кланам (Акита, Сэндай, Сэнай, Айдзу) земельные участки на Эдзо и южном Сахалине. Параллельно велось научное изучение острова Сахалина: в 1861 г. экспедиция Русского географического общества под руководством начальника физического отдела Сибирской экспедиции Императорского Русского географического общества Ф.Б. Шмидта составила первую подробную карту данного острова.

22 сентября 1861 года Мурагаки Авадзи-но-ками – японский чиновник в ранге «дайкан» (высокопоставленный администратор сёгуната Токугава, ответственный за внешние сношения) – выдвинул предложение о разграничении Сахалина по 50-й параллели северной широты. Инициатива была официально направлена российской стороне и рассмотрена русским консулом И.А. Гошкевичем, который её отклонил, сочтя невыгодной для интересов Российской империи. 23 декабря 1861 года по итогам обсуждения вопроса Особый комитет, созданный для выработки позиции по сахалинской проблеме, утвердил альтернативный подход: добиваться полной уступки всего острова Сахалин под контроль России при условии сохранения японских поселений на его южной части; в качестве компенсационного предложения японской стороне был обозначен остров Уруп из группы Курильских островов. Данная позиция зафиксировала приоритет российских территориальных интересов в регионе при одновременном учёте необходимости минимизации дипломатического напряжения с Японией [*РГАВМФ*, ф. 410, оп. 2, д. 25321, л. 2–8].

Русская Православная Церковь сыграла существенную роль в закреплении Сахалина за Россией, действуя не через формальные правовые механизмы, а посредством духовного присутствия, миссионерской работы и утверждения российской идентичности на острове. Ключевым событием стало прибытие 17 июня 1861 года в пост Кусунай (ныне Ильинское) иеромонаха Николая (Касаткина) – будущего равноапостольного Николая Японского, основателя Православной церкви в Японии, – на пароходе «Америка». По приглашению местных жителей он совершил освящение здания военной казармы, что символически закрепило российское военное присутствие, благословил место под строительство часовни как будущего духовного центра, отслужил молебен о здравии и панихиду, включив территорию в православный литургический календарь. Эти действия демонстрировали не только религиозную, но и государственную принадлежность острова, поскольку церковь выступала проводником российской культуры и власти [Акимов, 2024]. В августе 1861 года на Сахалине побывал святитель Иннокентий (Вениаминов), оказавшийся там во время крушения клипера «Гайдамак», на котором он направлялся из Николаевска на Камчатку; проведя около двух недель в порту Дуэ, он заложил основы будущего миссионерского служения.

Таким образом, в 50-гг. XIX века российско-японские отношения характеризовались подписанием в 1855 году Симодского трактата, закрепившего Сахалин как неразделённую территорию в совместном владении. Однако баланс интересов быстро нарушился: обе стороны активно осваивали остров – основывали военные посты, разрабатывали угольные месторождения, переселяли колонистов, что порождало трения. Несмотря на первоначальные договоренности, японцы переходили к более агрессивной манере переговоров. Освоение Сахалина сопровождалось и деятельностью Русской Православной Церкви, укреплявшей российское присутствие на острове.

СОКРАЩЕНИЯ / ABBREVIATIONS

АВПРИ – Архив внешней политики Российской империи [AVPRI – Archive of Foreign Policy of the Russian Empire].

РАК – Российско-американская компания [RAC – Russian-American Company].

РГАВМФ – Российский государственный архив Военно-Морского Флота [RGAVMF – Russian State Archive of the Navy].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

АВПРИ. Ф. РАК. Д. 391. Л. 36–37 [*AVPRI*. Fund RAC. Case 391. Pp. 36–37 (in Russian)].

Акидзуки Тосиюки (秋月俊幸). Мэйдзи сёнэн но Карафуто: Нитиро дзаккё о мэгуру сёмондай (Сахалин в начале эпохи Мэйдзи: проблемы, связанные с совместным проживанием японцев и русских; 明治初年の樺太: 日露雑居をめぐる諸問題). Сураву кэнкю: (*Славянские исследования*; スラヴ研究). Т. 40. Саппоро, 1993. С. 1–21 [Akizuki Toshiyuki. Meiji shonen no Karafuto: Nitiro zakkyo o meguru shomondai (Sakhalin in the Early Meiji Years: Various Problems Concerning Japanese-Russian Mixed Residence). *Surabu kenkyuu* (*Slavic Studies)*. Vol. 40. Sapporo, 1993. Pp. 1–21 (in Japanese)].

Акидзуки Тосиюки (秋月俊幸). *Нитиро канкэй то Карафуто:* (Японо-российские отношения и Сахалин; 日露関係とサハリン島). Токио: Тикума Сёбо, 1994 [Akizuki Toshiyuki. *Nitiro Kankei to Karafuto* (Japanese-Russian Relations and Sakhalin). Tokyo: Chikuma Shobo, 1994 (in Japanese)]. https://dl.ndl.go.jp/pid/12721964 (accessed: 23.02.2026).

Акимов Ю.Г. «В каждом месте, где я останавливался, находил я православных людей»: отчет о миссионерской поездке иеромонаха Севастиана (Дабовича) по западу Северной Америки в 1892 г.

Американский ежегодник 2024. М.: Весь мир, 2024. С. 340–352 [Akimov Yu.G. “In Every Place Where I Stopped, I Found Orthodox People”: Report on the Missionary Trip of Hieromonk Sebastian (Dabovich) to the West of North America in 1892. *American Yearbook 2024*. Moscow: Ves Mir, 2024. Pp. 340–352 (in Russian)].

Карафуто: карикисоку (Временные правила относительно острова Сахалин; 樺太島仮規則). Сэкай то Нихон (Мир и Япония; 世界と日本). Сэйсаку кэнкю: дайгакуйн дайгаку, Токио: дайгаку то:ё: бунка кэнкю:дзё (Университет политических исследований, Институт восточной культуры Токийского университета; 政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所) [*Karafutoo Karikisoku* (Provisional Regulations Concerning Karafuto Island). Sekai to Nihon (World and Japan). National Graduate Institute for Policy Studies, Institute of Oriental Culture, University of Tokyo (in Japanese)]. https://worldjpn.net/documents/texts/pw/18670330.T1J.html (accessed: 23.02.2025).

Макарова Р.В. *Внешняя политика России на Дальнем Востоке: вт. пол. XVIII–60-е гг. XIX вв.* М.: Наука, 1974 [Makarova R.V. *Russian Foreign Policy in the Far East: Second Half of the 18th Century – 1860s*. Moscow: Nauka, 1974 (in Russian)].

Манабэ Сигэтада (真鍋重忠). *Нитиро канкэйси 1697–1875* (История японо-российских отношений в 1697–1875; 日露関係史 1697-1875). Токио: Ёсикава кобункан, 1978 [Manabe Shigetada. *Nitiro Kankeishi 1697–1875* (History of Japanese-Russian Relations 1697–1875). Tokyo: Yoshikawa Kobunkan, 1978 (in Japanese)].

Мацуда Дэндзюро (松田傳十郎). Хокуидан (Беседы о северных варварах; 北夷談). *Нихон сёмин сэйкацу сирё: сю:сэй : дайёнкан* (Сборник материалов по жизни простых людей Японии: Т. 4); 日本庶民生活史料集成: 第四巻). Токио: Санъи сё:бо, 1969. С. 401–438 [Matsuda Denjuro. Hokuidan (Conversations about Northern Barbarians). *Nihon Shomin Seikatsu Shiryo: Shyu:sei : daiyonkan* (Collection of Historical Materials on the Life of the Common People of Japan: Vol. 4). Tokyo: San-I Shobo, 1969. Pp. 401–438 (in Japanese)].

Мэгата Тэтавакэ (目賀田帯刀). Хоккайдо: рэкикан дзу (Историко-географический атлас Хоккайдо; 北海道歴検図). *Вакаяма кэнрицу тосёкан* (Библиотека префектуры Вакаяма; 和歌山県立図書館) [Megata Tatewake. Hokkaido Reikanzu (Historical and Geographical Atlas of Hokkaido). *Wakayama kenritsu toshokan* (Wakayama Prefectural Library) (in Japanese)]. https://www.lib.wakayama-c.ed.jp/digitalarchive/cat86/cat91/ (accessed: 23.02.2026).

Нитиро васин дзё:яку уцуси (Договор о мире и дружбе; 日露和親条約写). *NDL Digital Collections*. [Nitiro Washin Joyaku Utsushi (Treaty of Peace and Amity). *NDL Digital Collections*. (in Japanese)]. https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11125297 (accessed: 23.02.2026).

Нихон гайко: бунсё (Документы японской дипломатии; 日本外交文書). Токио: Гайму: сё: (Министерство иностранных дел; 外務省). Т. 4. Кн. 1. 1870 [*Nihon Gaiko Bunsho* (Documents on Japanese Foreign Policy). Tokyo: Gaimusho (Ministry of Foreign Affairs). Vol. 4. Book 1. 1870 (in Japanese)]. https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/archives/4.html (accessed: 23.02.2026).

Попов Г.Г., Казенков О.Ю. Первый год Войны на Тихом океане. Перспективы сторон. *Восток (Oriens)*. 2023. № 5. С. 57–69 [Popov G.G., Kazenkov O.Y. The First Year of the Pacific War. Prospects of the Belligerents. *Vostok (Oriens)*. 2023. No. 5. Pp. 57–69 (in Russian)].

Попов Г.Г., Касахара К., Давыдов С.Г., Казенков О.Ю. Конфликт на Халхин-Голе и внешняя политика Японии в 1939 – начале 1941 гг. (обзор японской историографии). *Восток (Oriens)*. 2023. № 2. С. 181–192 [Popov G.G., Kasahara K., Davydov S.G., Kazenkov O.Y. The Khalkhin Gol Conflict and Japan’s Foreign Policy in 1939 – Early 1941 (Review of Japanese Historiography). *Vostok (Oriens)*. 2023. No. 2. Pp. 181–192 (in Russian)].

РГАВМФ. Ф. 16. Оп. 1. Д. 48. Л. 30–32 [*RGAVMF*. Fund 16. Inv. 1. Case 48. Pp. 30–32 (in Russian)].

РГАВМФ. Ф. 16. Оп. 1. Д. 283. Л. 4–14 [*RGAVMF*. Fund 16. Inv. 1. Case 283. Pp. 4–14 (in Russian)].

РГАВМФ. Ф. 410. Оп. 2. Д. 1579. Л. 183–192 об. [*RGAVMF*. Fund 410. Inv. 2. Case 1579. Pp. 183–192 rev. (in Russian)].

РГАВМФ. Ф. 410. Оп. 2. Д. 25321. Л. 2–8 [*RGAVMF*. Fund 410. Inv. 2. Case 25321. Pp. 2–8 (in Russian)].

Рябинин А.Л. Факторный анализ исторического развития стран Востока. Японский вариант. Часть 1. Создание в Японии государства «рицурё» и переход к политической системе феодализма. *Восток (Oriens)*. 2025. № 6. С. 48–60 [Ryabinin A.L. Factorial Analysis of the Historical Development of Eastern Countries. The Japanese Variant. Part 1. The Establishment of the “Ritsuryo” State in Japan and the Transition to Feudal Political System. *Vostok (Oriens)*. 2025. No. 6. Pp. 48–60 (in Russian)].

Сапрыкина А.О. Сравнительный анализ текстов Симодского трактата 1855 года на русском и японском языке с точки зрения соответствия признаков прототипического концепта жанра «договор». *Вестник РГУ имени С.А. Есенина*. 2023. № 2 (79). С. 166–173 [Saprykina A.O. Comparative Analysis of the Russian and Japanese Texts of the Treaty of Shimoda (1855) and Correspondences between Properties of the Prototypical Concept of the Contract Genre. *The Bulletin of Ryazan State University named for S.A. Yesenin*. 2023. No. 2 (79). Pp. 166–173 (in Russian)].

Сенченко И.А. *История Сахалина и Курильских островов: к проблеме русско-японских отношений в XVII–XX веках*. М.: Экслибрис-Пресс, 2005 [Senchenko I.A. *History of Sakhalin and the Kuril Islands: On the Problem of Russian-Japanese Relations in the 17th –20th Centuries*. Moscow: Exlibris-Press, 2005 (in Russian)].

Сысоева Е.А. *Сахалин и Курильские острова в русско-японских отношениях 1855–1875 гг. (от Симодского трактата до Петербургского договора)*. Дисс. на соиск. уч. ст. канд. ист. наук. Владимир, 2004 [Sysoeva E.A. *Sakhalin and the Kuril Islands in Russian-Japanese Relations in 1855–1875 (from the Treaty of Shimoda to the Treaty of St. Petersburg)*. PhD Thesis. Vladimir, 2004 (in Russian)].

Файнберг Э.Я. *Русско-японские отношения в 1697–1875 гг*. М.: Издательство восточной литературы, 1960 [Faynberg E.Ya. *Russian-Japanese Relations in 1697–1875*. Moscow: Izdatelstvo vostochnoy literatury, 1960 (in Russian)].

Фумото Синъити (麓慎一). Исин сэйфу но сэрицу то Росиа но Сахарин то: сэйаку – Пуриамуру: тиики по мондай ни кан суру токубэцу сингикай по гидзироку о тю:син ни – (Становление правительства Мэйдзи и политика России в отношении острова Сахалин: по материалам протоколов Особого совещания по вопросам Приамурского края; 維新政府の成立とロシアのサハリン島政策—ブリアムール地域の問題に関する特別審議会の議事録を中心に—). *Нихон то Росиа но кэнкю:ся но мэ кара миру Сахалин ·Карафуто: но рэкиси (I)* (История Сахалина/Карафуто с точки зрения японских и российских исследователей (I); 日本とロシアの研究者の目から見るサハリン·樺太の歴史 (I)). Хоккайдо: дайгаку сураву кэнкю: сэнта: (Славянский исследовательский центр Хоккайдского университета; 北海道大学スラブ研究センター), T. 11. 2006. С. 1–20 [Fumoto Shinichi. Ishin seifu no seiritsu to Roshia no Karafuto-to seiyaku – Puriamuru chiiki no mondai ni kansuru tokubetsu shingikai no gijiroku o chushin ni – (The Establishment of the Meiji Government and Russia’s Policy toward Karafuto Island: Focusing on the Minutes of the Special Deliberative Council on Priamur Region Issues). *Nihon to Roshia no Kenkyusha no Me kara Miru Saharin-Karafuto no Rekishi (I)* (History of Sakhalin/Karafuto from the Perspective of Japanese and Russian Researchers (I)). Hokkaido Daigaku Suravu Kenkyu Senta (Hokkaido University Slavic Research Center). Vol. 11. 2006. Pp. 1–20 (in Japanese)].

Черевко К.Е. *Зарождение русско-японских отношений. XVII–XIX века*. М.: Наука, 1999 [Cherevko K.E. *The Origin of Russian-Japanese Relations. 17th –19th Centuries*. Moscow: Nauka, 1999 (in Russian)].

Эномори Сусуму (榎森進). «Нитиро васин дзё:яку» тё:ин го но бакуфу но хокубо тиики сэйсаку ни цуйтэ (О политике сёгуната в отношении северных регионов после подписания «Японо-российского договора о дружбе»; {日露和親条約} 調印後の幕府の北方地域政策について). *Тохоку гакуин дайгаку ронсю: Рэкиси то бунка* (*Сборник статей Университета Тохоку Гакуин: История и культура*; 東北学院大学論集: 歴史と文化). № 52. Сэндай, 2014. С. 17–37 [Enomori Susumu. “Nichiro Washin Joyaku” Choin go no Bakufu no Hokubo Chiiki Seisaku ni Tsuite (On the Shogunate’s Northern Region

Policy after the Signing of the “Treaty of Amity between Japan and Russia”). *Tohoku Gakuin Daigaku Ronshu: Rekishito Bunka (Tohoku Gakuin University Review: History and Culture)*. No. 52. Sendai, 2014. Pp. 17–37 (in Japanese)].

Neumann W.L. *America Encounters Japan: From Perry to MacArthur*. Baltimore: Johns Hopkins Press, 1963.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ / INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

ПЕТРОВ Александр Юрьевич – доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, Москва, Россия; профессор Московского государственного лингвистического университета, Москва, Россия.

Alexander Yu. PETROV, DSc (History), Chief Research Fellow, Institute of World History, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia; Professor, Moscow State Linguistic University, Moscow, Russia.

САПРЫКИНА Анастасия Олеговна – младший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, Москва, Россия; старший преподаватель кафедры восточных языков и методики их преподавания РГУ имени С.А. Есенина, Рязань, Россия.

Anastasiya O. SAPRYKINA, Junior Research Fellow, Institute of World History, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia; Senior Lecturer, Department of Oriental Languages and Methods of Teaching, Yesenin Ryazan State University, Ryazan, Russia.

Иллюстрации к статье А.Ю. Петрова, А.О. Сапрыкиной

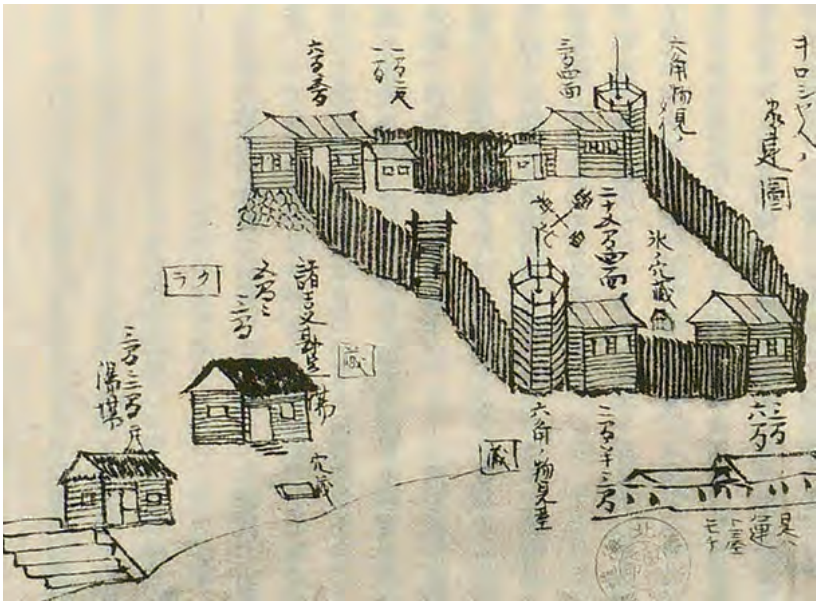


Рис. 1. Муравьёвский пост.
Fig. 1. Muravyov Post.

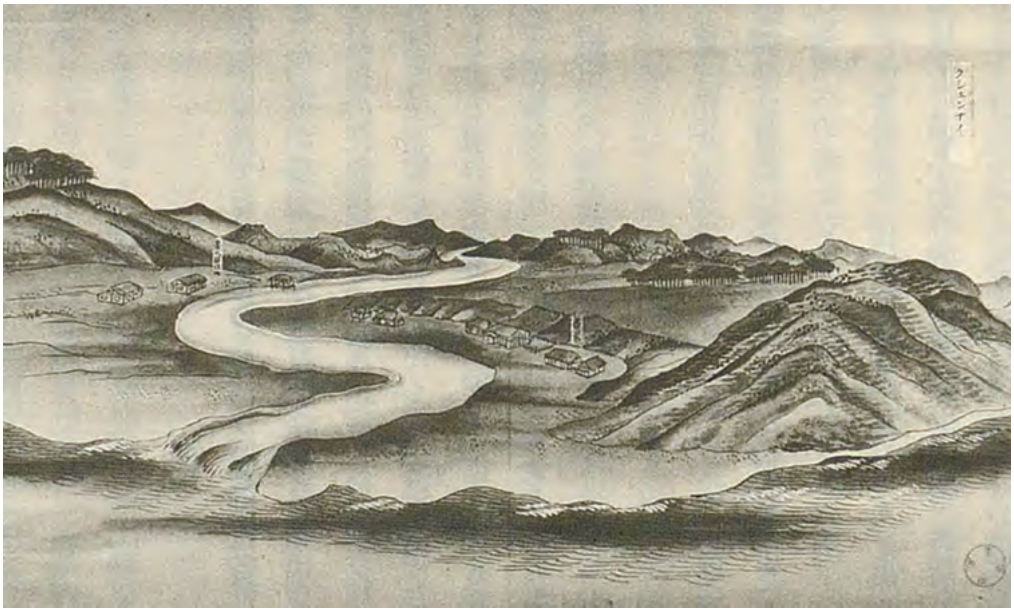


Рис. 2. Посты Японии и России, стоящие друг против друга по разные стороны реки Кусунай.
Fig. 2. Japanese and Russian posts facing each other across the Kushunnai River.

DOI: 10.31696/S086919080039822-1

ВОСТОЧНАЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОЙ РОССИИ И ВЕЙМАРСКОЙ ГЕРМАНИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ (1919–1925)

© 2026

Б. КАМБАК [a]

[a] – Российский университет дружбы народов (РУДН), Москва, Россия
ORCID: 0000-0002-4545-4343; buragkambak@hotmail.com

Резюме: *В статье представлен сравнительный анализ восточного вектора внешней политики Советской России (позднее СССР) и Веймарской Германии в период 1919–1925 гг. Рассматриваемый этап начинается с окончания Первой мировой войны и формирования Версальско-Вашингтонской системы международных отношений и завершается подписанием Локарнских соглашений, существенно изменивших расстановку сил в Европе. Анализируются политические, экономические и идеологические предпосылки обращения двух государств к восточному направлению внешней политики в условиях послевоенной международной изоляции.*

Особое внимание уделяется советской внешней политике, сочетавшей революционно-идеологические установки с прагматическими государственными интересами. Рассматриваются основные направления деятельности Советской России на турецком, персидском и афганском направлениях, а также роль Коминтерна в реализации внешнеполитических задач советского государства. Показано, что советское руководство стремилось использовать восточный вектор как инструмент укрепления международных позиций страны и обеспечения безопасности ее границ.

Параллельно исследуется политика Веймарской Германии, для которой восточное направление было связано прежде всего с развитием отношений с Советской Россией. Германия рассматривала сотрудничество с Москвой как возможность смягчить последствия Версальского договора, расширить экономические связи, получить доступ к новым рынкам и укрепить собственное положение на международной арене. Особое место в исследовании занимает Рапалльский договор 1922 г., ставший важнейшим этапом советско-германского сближения и создавший основу для последующего политического, экономического и военно-технического сотрудничества.

Анализируются внешнеполитические концепции обеих стран и влияние советско-германского сотрудничества на международные отношения первой половины 1920-х гг. Делается вывод о том, что, несмотря на различие политических режимов и идеологических установок, Советская Россия и Веймарская Германия использовали восточное направление как инструмент преодоления международной изоляции и укрепления собственных позиций в мировой политике. Показано значение восточного фактора для обеих стран. Рассматриваются перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

Ключевые слова: Советская Россия, Веймарская республика, восточная политика, постверсальская система, ревизионизм, советско-германские отношения, Рапалльский договор, Коминтерн

Для цитирования: Камбак Б. Восточная политика Советской России и Веймарской Германии: сравнительный анализ (1919–1925). *Восток (Oriens).* 2026. № 5. С. 232–239. DOI: 10.31696/S086919080039822-1

EASTERN POLICY OF SOVIET RUSSIA AND WEIMAR GERMANY: A COMPARATIVE ANALYSIS (1919–1925)

© 2026

Burak KAMBAK [a]

[a] – RUDN University, Moscow, Russia
ORCID: 0000-0002-4545-4343; buragkambak@hotmail.com

Abstract: *This article examines the Eastern vector of the foreign policy of Soviet Russia (later the USSR) and Weimar Germany in 1919–1925. The study covers the years from the end of the First World War to the signing of the Locarno Treaties and analyzes political, economic, and ideological factors that led both states to turn toward the East in conditions of post-war international isolation.*

Particular attention is paid to Soviet foreign policy, which combined ideological objectives with pragmatic state interests. The article explores Soviet relations with Turkey, Persia, and Afghanistan and considers the role of the Comintern in the implementation of foreign policy goals. It is argued that the Soviet leadership regarded the Eastern direction as a means of strengthening security and improving the country's international position.

The study also examines the policy of Weimar Germany. For German policymakers, the East was closely connected with relations with Soviet Russia. Germany viewed cooperation with Moscow as a means of strengthening its international position. The article focuses on the 1922 Treaty of Rapallo, which marked an important stage in Soviet-German rapprochement and contributed to the development of political and economic cooperation.

The article examines the significance of Soviet-German cooperation for international relations during the first half of the 1920s. It concludes that, despite ideological differences, Soviet Russia and Weimar Germany used the Eastern direction as an instrument for overcoming international isolation and defending their national interests. The importance of diplomacy is emphasized.

Keywords: Soviet Russia, Weimar Republic, Eastern policy, post-Versailles system, revisionism, Soviet German relations, Treaty of Rapallo, Comintern

For citation: Kambak B. Eastern Policy of Soviet Russia and Weimar Germany: A Comparative Analysis (1919–1925). *Vostok (Oriens).* 2026. No. 5. Pp. 232–239. DOI: 10.31696/S086919080039822-1

Завершение Первой мировой войны привело к радикальной трансформации геополитического ландшафта. Версальский мирный договор 1919 г. де-факто исключил из «клуба великих держав» двух ключевых игроков – поверженную Германию и охваченную гражданской войной Россию. Оказавшись в состоянии международной изоляции и под давлением стран Антанты, оба государства были вынуждены искать альтернативные пути восстановления своего влияния [Jacobson, 1994(2), p. 12–15]. В этом контексте «Восток» (в широком смысле – от Ближнего Востока до Центральной и Восточной Азии) приобрел для Москвы и Берлина особое значение.

Целью данного исследования является выявление общих и специфических черт в восточной политике Советской России и Веймарской республики в 1919–1925 гг. Задачи включают анализ идеологических установок, экономических стимулов и военно-политических соглашений, которые легли в основу их деятельности на восточном направлении.

Проблема советско-германских отношений в межвоенный период традиционно занимает важное место в отечественной и зарубежной историографии. Значительный вклад в

изучение данной темы внесли работы А.А. Ахтамзяна, в которых подробно рассматриваются дипломатические и политические аспекты советско-германского взаимодействия и раппальской политики [Ахтамзян, 1974]. Советская историография делала акцент на «братской помощи» угнетенным народам Востока и «прогрессивном» характере Рапалльского договора [Павлов, 2011, с. 114]. Немецкая историография (особенно работы К.Д. Эрдмана) рассматривала восточную политику сквозь призму «балансирования» Веймарской республики между Западом и Востоком [Kochan, 1954].

В современной политической науке обе державы данного периода часто характеризуются как «ревизионистские», поскольку их целью был пересмотр итогов Первой мировой войны. Однако формы этого ревизионизма существенно различались.

Для большевистского руководства Восток представлялся «черным ходом» мирового империализма. В 1919–1921 гг. внешняя политика РСФСР на Востоке носила дуалистический характер. С одной стороны, через Коминтерн продвигалась идея мировой революции. С другой – Наркоминдел (Г.В. Чичерин) выстраивал прагматичные отношения с национально-освободительными движениями [Хейфец, 1968, с. 102].

Важной вехой в идеологическом обосновании восточного вектора стал I Съезд народов Востока, прошедший в Баку в сентябре 1920 г. Это событие ознаменовало переход от сугубо европейской ориентации большевиков к мобилизации «угнетенных масс» Азии [Островский, 1934]. Провозглашенный на съезде призыв к борьбе против мирового империализма стал важным элементом советской революционной пропаганды на Востоке. Бакинский съезд продемонстрировал державам Антанты потенциал Москвы использовать антиколониальные движения как инструмент политического давления на их колониальные владения [Васильев, 2018].

Статистические данные свидетельствуют о быстром росте германо-советской торговли в первой половине 1920-х гг. Уже к 1923–1924 гг. Германия занимала одно из ведущих мест среди торговых партнеров СССР, особенно в поставках промышленного оборудования и технологий [*Документы внешней политики СССР*, т. IV, 1960]. Существенную роль играл также транзит через советскую территорию в Персию по каспийскому направлению [Кочешков, 2010].

Конкретным примером германо-советского экономического сотрудничества являлась деятельность смешанного общества «Русгерторг» и логистической компании «Дерутра» (Deutsch-Russische Lager- und Transportgesellschaft). Через структуры подобного типа осуществлялась значительная часть транзитной торговли между Германией и странами Ближнего и Среднего Востока [Bayer, 2013]. Использование советской территории позволяло немецким экспортерам частично обходить морской путь через Суэцкий канал, находившийся под контролем Великобритании. Одновременно наблюдался рост экспорта немецкого промышленного оборудования в Афганистан при посредничестве советских торговых представительств в первой половине 1920-х гг., что способствовало модернизационным проектам в Кабуле [Кочешков, 2010].

Ключевыми вехами стали договоры 1921 года с Персией (Ираном), Афганистаном и Турцией. В случае с Турцией Мустафы Кемаля Москва пошла на значительную военно-техническую и финансовую помощь, рассматривая кемалистское движение как союзника против британского влияния [Хейфец, 1968, с. 154]. Этот период показал, что ради геополитического выживания советское руководство было готово временно ограничить коммунистическую агитацию в пользу государственных интересов.

Для Германии восточное направление (Ostpolitik) имело иное измерение. Согласно ст. 116 Версальского договора, за Германией признавалось право на восстановление отношений с Россией, чем и воспользовались немецкие дипломаты и военные

(Х. фон Сект) [Павлов, 2011, с. 118]. «Восток» для Берлина начинался сразу за польской границей.

Особую роль в реализации германских интересов играла сеть торговых представительств и консульств на Востоке, которые фактически стали легальным прикрытием для восстановления утраченного влияния. После 1921 года германские фирмы (такие как Junkers, Krupp) при поддержке МИД Германии активно использовали территорию Советской России как транзитный коридор для выхода на рынки Персии и Афганистана [Bayer, 2013, p. 102]. Развитие советского транзита позволяло немецкому капиталу обходить ограничения, наложенные странами-победительницами на морские перевозки, и выстраивать прямые логистические цепочки вглубь Азии. Это создавало ситуацию взаимозависимости: Москва получала доходы от транзита и доступ к технологиям, а Берлин – защищенный сухопутный маршрут для экономического проникновения на Восток [Jacobson, 1994(2), p. 84].

Германская стратегия строилась на концепции «моста»: Германия рассматривалась как посредник между западным капиталом и российскими ресурсами. Подписание Рапалльского договора в 1922 г. стало дипломатическим прорывом, позволившим Германии легализовать свои экономические интересы на Востоке и начать секретное военное сотрудничество (авиашкола в Липецке, танковая школа в Казани [Jacobson, 1994(2), p. 214], что противоречило ограничениям Версальского договора.

При детальном сопоставлении внешнеполитических стратегий двух государств обнаруживается сложное сочетание сходств и различий, продиктованное их уникальным положением в послевоенной системе координат. Прежде всего, обе державы [Kochan, 1954, p. 115] объединяла общность стратегических задач, обусловленная необходимостью преодоления «санитарного кордона» и жесткой международной изоляции. Поиск альтернативных рынков сбыта и сырьевых баз вне зоны контроля Антанты вынуждал Москву и Берлин рассматривать Восток как пространство маневра, позволяющее нивелировать торгово-финансовое давление со стороны Лондона и Парижа. В условиях системного ревизионизма Версальского порядка «восточный вектор» использовался обоими государствами как эффективный рычаг геополитического давления, целью которого было принуждение западных демократий к признанию их субъектности и восстановлению их статуса в мировой политике.

Экономическая выгода подкреплялась военно-техническим бартером. Как указывает Л.В. Ланник, для германского командования (Reichswehr) сотрудничество с РСФСР было не просто вынужденным шагом, а стратегической ставкой на сохранение кадров и технологий в обход ограничений Версаля [Ланник, 2016, с. 214]. В рамках работы авиашколы в Липецке и химических объектов («Томка») Германия инвестировала в советскую оборонную промышленность ежегодно от 10 до 20 миллионов золотых марок. К 1925 году советские заказы обеспечивали работой до 20% мощностей заводов Круппа [*Документы внешней политики СССР*, т. IV, 1960, с. 520], что де-факто спасало германский военно-промышленный комплекс от полной деградации в условиях версальских ограничений.

Однако за внешним сходством тактических приемов скрывалась фундаментальная дихотомия идеологических парадигм [Островский, 1934, с. 45]. Советская восточная политика опиралась на мессианскую идею глобального антиколониализма, в рамках которой «пробуждение Востока» трактовалось как важнейший этап мировой революции. При этом важно отметить, что практическая реализация этих идей часто сталкивалась с фиаско: например, Съезд народов Востока в Баку (1920) имел огромный пропагандистский эффект, но Совет пропаганды и действия, созданный на нем, оказался нежизнеспособным и прекратил существование менее чем через два года из-за внутренних противоречий и сопротивления местных элит.

Особое место в системе восточных приоритетов Москвы занимала Турция. Упрощённая трактовка советской помощи Мустафе Кемалю как поддержки «без обязательств по советизации» не выдерживает критики при обращении к исследовательской литературе. В.В. Наумкин подчёркивает, что советская политика на турецком направлении строилась на доктрине «дружественного нейтрализма», за финансовой помощью стоял прагматический расчёт – не допустить превращения Анатолии в плацдарм Антанты [Наумкин, 2021, с. 12]. По данным, приводимым в исследовании А.М. Васильева, в 1921–1922 гг. Турция получила около 10 млн золотых рублей. При этом советское руководство стремилось сочетать поддержку кемалистского движения с сохранением политического влияния в регионе. Значительная часть предоставленных средств использовалась Турцией для закупки германского вооружения, которое транспортировалось через советскую территорию. Таким образом формировался своеобразный «треугольник ревизионизма» [Васильев, 2018, с. 88].

В отличие от Москвы, политика Веймарской республики была деидеологизирована. Ю.Н. Тихонов отмечает, что немецкий интерес в Афганистане и Персии носил сугубо прагматичный характер: Германия стремилась к созданию транзитных путей и закреплению своих концернов (таких как Junkers) на рынках, недоступных для британского капитала [Тихонов, 2007, с. 45]. Для германских элит Восток не был территорией освобождения, а выступал объектом восстановления промышленного присутствия.

Восприятие восточной политики в общественном мнении двух стран также существенно различалось. В Германии «восточная ориентация» поддерживалась как националистическими кругами (видевшими в этом путь к реваншу), так и промышленниками, но вызывала опасения у либерального крыла, боявшегося разрыва с Западом. В СССР восточная политика преподносилась как священная борьба с империализмом, что находило широкий отклик в условиях постреволюционного подъема, хотя реагматики в НКИД осознавали инструментальность этих союзов.

Ключевое различие проявилось и в функциональной роли «восточного фактора» в глобальных планах сторон. Если для советского руководства Восток превратился в самостоятельный приоритетный театр, то для Берлина он носил инструментальный характер. Курс Густава Штреземана рассматривал активность на Востоке лишь как временный трамплин. Итогом этой асимметрии стал 1925 год: подписание Локарнских соглашений наглядно продемонстрировало, что Германия использовала восточный ресурс как средство интеграции в западную систему.

Вопрос о динамике советско-германского сотрудничества после 1925 г. остаётся дискуссионным. Локарнские соглашения не привели к немедленному прекращению двусторонних контактов: военно-техническое взаимодействие продолжалось и во второй половине 1920-х гг. [Ланник, 2016, с. 214]. Вместе с тем политический контекст отношений постепенно менялся. Вступление Германии в Лигу Наций в 1926 г. свидетельствовало о её возрастающей ориентации на интеграцию в европейскую систему международных отношений. В результате к концу 1920-х гг. значение восточного направления для германской внешней политики стало постепенно снижаться, что отразилось и на масштабах наиболее амбициозных совместных проектов с СССР.

Апеллируя к национально-освободительным движениям в Турции, Персии и Китае, Москва выстраивала модель солидарности «угнетенных народов» против империалистического центра. В противоположность этому политика Веймарской республики была деидеологизирована и строилась на принципах консервативного национализма и экономического экспансионизма. Для германских элит Восток не был территорией освобождения, а выступал объектом восстановления промышленного присутствия, утраченного после 1918 года. Немецкий подход базировался на классической Realpolitik, где инвестиции и

торговые представительства служили инструментом реанимации германского экономического могущества без попыток радикальной трансформации мироустройства.

Особое значение в восточной политике Советской России имели отношения с Турцией. Поддержка кемалистского движения сочетала политические и военно-финансовые мотивы и была связана с задачей ограничения влияния держав Антанты в регионе. В 1921–1922 гг. Турция получила от РСФСР около 10 млн золотых рублей и более 30 тыс. винтовок [*Документы внешней политики СССР*, т. IV, 1960, с. 215; Васильев, 2018, с. 112].

Ключевое различие проявилось и в функциональной роли «восточного фактора» в глобальных планах сторон. Если для советского руководства, особенно после затухания революционных ожиданий в Европе к 1923 году, Восток превратился в самостоятельный и приоритетный театр стратегической борьбы, то для Берлина азиатское направление носило инструментальный характер. Германская дипломатия, планомерно реализуя курс Густава Штреземана, воспринимала активность на Востоке (включая стратегическое партнерство с СССР в Рапалло) лишь как временный трамплин для возвращения Германии в систему европейских великих держав. Итогом этой асимметрии стал 1925 год: подписание Локарнских соглашений наглядно продемонстрировало, что Германия рассматривала восточный ресурс как средство интеграции в западную систему безопасности на более выгодных условиях. В то время как Москва продолжала инвестировать в создание антизападного фронта в Азии, Берлин использовал свои восточные успехи для окончательной легитимации своего статуса в Европе, что к середине 1920-х годов привело к естественному расхождению векторов внешней политики двух недавних союзников по «лагерю отверженных» [Jacobson, 1994(2), p. 167].

Таблица 1. Сравнительная характеристика восточной политики СССР и Веймарской Германии в 1923–1925 гг.

Показатель / Направление	**Веймарская Германия (1923–1925)**	**Советская Россия (1923–1925)**
Экономическое направление	Торговля с СССР, промышленные кредиты и развитие транзита через советскую территорию	Экономическая и финансовая поддержка дружественных государств Востока
Ключевое направление на Востоке	Транзит через СССР в Иран, Афганистан и другие страны Азии	Поддержка Турции и национально-освободительных движений народов Востока
Политическая цель	Расширение экономического влияния и укрепление международных позиций Германии	Ослабление влияния держав Антанты и укрепление международных позиций СССР
Военно-техническое сотрудничество	Подготовка военных кадров и развитие военного сотрудничества с СССР	Использование германского военно-технического опыта для укрепления оборонных возможностей

Период 1919–1925 гг. продемонстрировал, что восточная политика стала для Советской России и Веймарской Германии эффективным инструментом выхода из международной изоляции. Взаимное сближение (Рапалло) и активная работа с восточными соседями по-

зволили обеим державам к 1925 году стабилизировать свое положение. Однако если СССР закрепился на Востоке на десятилетия, то Германия после 1925 года начала постепенный дрейф в сторону Запада, что на время снизило интенсивность её восточного ревизионизма.

Таблица составлена автором на основе обобщения данных, представленных в работах А.А. Ахтамзяна, Л. Кохана и А.Н. Хейфеца [Ахтамзян, 1974; Kochan, 1954; Хейфец, 1972]:

Период 1919–1925 гг. продемонстрировал, что «восточный вектор» стал для Москвы и Берлина не просто вынужденной мерой в условиях дипломатической блокады, но и эффективным инструментом ослабления Версальской системы. Однако к середине 1920-х годов траектории развития двух государств начали существенно расходиться, что предопределило новую конфигурацию сил в Евразии.

Для СССР закрепление на Востоке носило стратегический, фундаментальный характер. К 1925 году Москва совершила переход от романтических ожиданий «мировой революции» к строительству системы региональной безопасности, основанной на двусторонних договорах о ненападении и нейтралитете (Турция – договор о дружбе и нейтралитете, 1925; Афганистан – 1926; Иран – 1927) [Васильев, 2018, с. 140]. Советская Россия не просто присутствовала на Востоке – она сформировала модель альтернативной модернизации. Предложенный Наркоминделом формат отношений (отказ от капитуляций, списание долгов, техническая помощь) превратил СССР в важного политического посредника в азиатских делах на десятилетия вперед. Это позволило Москве сформировать систему дружественных государств на южных рубежах, которая в дальнейшем стала важным элементом стратегического противостояния с Западом в годы Холодной войны.

Для Веймарской республики восточная политика к 1925 году выполнила свою основную тактическую задачу. Договоры в Локарно и последующее вступление Германии в Лигу Наций в 1926 году ознаменовали частичное возвращение страны в систему европейских держав. Несмотря на то что экономическое присутствие Германии в Персии, Китае и Афганистане сохранялось, политический фокус Берлина сместился на достижение компромисса с Лондоном и Парижем. Густав Штреземан рассматривал связи с Востоком (и СССР, в частности) как инструмент дипломатического давления, позволявший добиваться пересмотра репарационных условий и международного статуса Германии. Этот «дрейф на Запад» временно снизил накал восточного ревизионизма, однако одновременно усилил внутренние разногласия в германских элитах между сторонниками западной ориентации и сторонниками континентальной геополитики, что впоследствии было использовано радикальными политическими силами.

Снижение интенсивности взаимодействия в треугольнике Берлин – Москва – Восток после 1925 года имело долгосрочные последствия. Ослабление германо-советского сотрудничества (временный «застой» рапалльской линии) усилило в советском руководстве восприятие «капиталистического окружения», что стало одним из факторов ускорения курса на форсированную индустриализацию и милитаризацию.

Неудача Веймарской республики в попытке полностью интегрировать свои восточные интересы в западную систему безопасности подготовила почву для реваншизма 1930-х годов. Позже нацистская Германия попыталась вернуть «восточное пространство» уже не через экономическую кооперацию и транзит (как это делал Веймар через РСФСР), а через прямую военную агрессию и концепцию Lebensraum [Васильев, 2018, с. 147].

Если советский «восточный вектор» 1919–1925 гг. заложил основы будущего геополитического влияния и антиколониального лидерства, то германская стратегия этого периода оказалась эффективным, но краткосрочным дипломатическим маневром. Успешный выход из изоляции через Рапалло и Восток позволил Германии укрепить свои позиции, но не разрешил её фундаментального геополитического противоречия – положения между Востоком

и Западом. В конечном счете опыт 1919–1925 гг. показал, что в условиях кризиса мирового порядка Восток становится важным фактором перераспределения сил, а те преимущества, которые Москва смогла закрепить (в то время как Германия временно обменяла их на европейское признание), во многом предопределили развитие международных отношений во второй половине XX века [Васильев, 2018, с. 140].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

Ахтамзян А.А. *Рапалльская политика. Советско-германские дипломатические отношения в 1922–1932 гг.* М.: Международные отношения, 1974 [Akhtamzyan A.A. *Rapallo Policy. Soviet-German Diplomatic Relations in 1922–1932*. Moscow: Mezhdunarodnye otnosheniya, 1974 (in Russian)].

Васильев А.М. *От Ленина до Путина. Россия на Ближнем и Среднем Востоке*. М.: Центрполиграф, 2018 [Vasiliev A.M. *From Lenin to Putin. Russia in the Middle East*. Moscow: Tsentrpoligraf, 2018 (in Russian)].

Документы внешней политики СССР. Т. IV. М.: Госполитиздат, 1960 [*Documents of the Foreign Policy of the USSR*. Vol. IV. Moscow: Gospolitizdat, 1960 (in Russian)].

Кочешков А.А. *Веймарская республика и советская Россия: политика, экономика, культура (1918–1933)*. Ярославль: ЯрГУ, 2010 [Kocheshkov A.A. *The Weimar Republic and Soviet Russia: Politics, Economy, Culture (1918–1933)*. Yaroslavl: Yaroslavl State University, 2010 (in Russian)].

Кочешков А.А. *Внешнеполитические стратегии России и Германии на Востоке в 1920-е гг.* М., 2010 [Kocheshkov A.A. *Foreign Policy Strategies of Russia and Germany in the East in the 1920s*. Moscow, 2010 (in Russian)].

Ланник Л.В. *Русский фронт германской стратегии*. М.: Политическая энциклопедия, 2016 [Lannik L.V. *The Russian Front of German Strategy*. Moscow: Politicheskaya entsiklopediya, 2016 (in Russian)].

Наумкин В.В. Россия/СССР – Тюркие/Турция: «дружественный нейтралитет». Цели советской политики на турецком направлении. *Восток (Oriens)*. 2024. № 1. С. 56–71 [Naumkin V.V. Russia/USSR – Türkiye/Turkey: Legacy of “Friendly Neutrality”. Goals of Soviet Policy toward Turkey. *Vostok (Oriens)*. 2024. No. 1. Pp. 56–71 (in Russian)].

Островский З.Г. *Первый съезд народов Востока*. М.: Партиздат, 1934 [Ostrovsky Z.G. *The First Congress of the Peoples of the East*. Moscow: Partizdat, 1934 (in Russian)].

Павлов Н.В. *Внешняя политика Веймарской республики (1919–1933)*. М.: МГИМО, 2011 [Pavlov N.V. *Foreign Policy of the Weimar Republic (1919–1933)*. Moscow: MGIMO, 2011 (in Russian)].

Тихонов Ю.Н. *Афганская политика Германии и России (1918–1945)*. М.: Гелиос АРВ, 2007 [Tikhonov Yu.N. *Afghan Policy of Germany and Russia (1918–1945)*. Moscow: Gelios ARV, 2007 (in Russian)].

Хейфец А.Н. *Советская дипломатия и народы Востока. 1921–1927*. М.: Наука, 1968 [Kheifets A.N. *Soviet Diplomacy and the Peoples of the East. 1921–1927*. Moscow: Nauka, 1968 (in Russian)].

Bayer P. *Weimar Germany and the East*. London: Oxford University Press, 2013.

Jacobson J. *Locarno Diplomacy: Germany and the West, 1925–1929*. Princeton: Princeton University Press, 1994(1).

Jacobson J. *When the Soviet Union Entered World Politics*. Berkeley: University of California Press, 1994(2).

Kochan L. *Russia and the Weimar Republic*. Cambridge: Bowes & Bowes, 1954.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ / INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

КАМБАК Бурак – аспирант, Российский университет дружбы народов (РУДН), Москва, Россия.

Burak KAMBAK, Postgraduate Student, RUDN University, Moscow, Russia.

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

DOI: 10.31696/S086919080038353-5

НЕМЕЦКАЯ АФРИКАНИСТИКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ДОКОЛОНИАЛЬНОГО ПРОШЛОГО АФРИКИ (КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XX вв.)[1]

© 2026

А.Е. ГАВРЮШЕВА [a]

[a] – Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, Ярославль, Россия
ORCID: 0000-0001-5819-5785; alexandra-gavr@mail.ru

Резюме: *В статье анализируются механизмы производства знания о доколониальной Африке в немецкой историографии конца XIX – начала XX вв. Автором показано, что немецкая африканистика формировалась как неотъемлемая часть колониального проекта, совмещая прагматические задачи управления колониями и миссионерской деятельности с эпистемологическими установками европейского эволюционизма, диффузионизма и расовых теорий. На основе реконструкции карты научных центров в различных федеральных землях Германии (Пруссия, Ганзейские города, Саксония, Бавария, Баден-Вюртемберг) выявлена прямая зависимость направлений и методов исследования Африки от региональных экономических и политических интересов. В Пруссии доминировала государственная легитимация колониализма через академические институты; Гамбург и Бремен использовали торговые сети для сбора этнографических коллекций; в Саксонии и южных землях исследования стимулировались нуждами текстильной промышленности и католических миссий. В рамках исследования были рассмотрены ключевые институциональные структуры: университетские семинары, музеи (в первую очередь Берлинский этнографический музей), колониальные институты (в частности, Гамбургский колониальный институт), архивы и научные общества. Данные институты не только обеспечивали сбор эмпирического материала, но и формировали публичный образ Африки как «отсталого» континента, нуждающегося в европейском управлении. Особое внимание уделено доминирующим теоретическим парадигмам: теории «культурных кругов» Л. Фробениуса, антропогеографии Ф. Ратцеля и сравнительному языкознанию К. Майнхофа. Несмотря на эмпирическую ценность собранных данных, эти концепции конструировали образ Африки как пространства, лишённого самостоятельной исторической субъектности. В настоящей статье прослеживается эволюция интерпретаций доколониального прошлого: от прямого отрицания африканского авторства сложных культурных феноменов (руины Большого Зимбабве, бронзы Ифе) до теорий «упадка», также оправдывавших колониальное вмешательство. Делается вывод, что немецкая африканистика исследуемого периода представляла собой институциональный механизм символического присвоения прошлого Африки, а её двойственное наследие (уникальные коллекции и евроцентристские нарративы) требует деколонизации современных академических подходов.*

[1] Статья подготовлена при поддержке Российского научного фонда (проект № 25-28-00439 «История Африки: от колониального к постколониальному дискурсу»), https://rscf.ru/project/25-28-00439/

This article was prepared with the support of the Russian Science Foundation (project No. 25-28-00439 “African History: From Colonial to Postcolonial Discourse”), https://rscf.ru/project/25-28-00439/

Ключевые слова: немецкая африканистика, доколониальная Африка, колониализм, история науки

Для цитирования: Гаврюшева А.Е. Немецкая африканистика и исследование доколониального прошлого Африки (конец XIX – начало XX вв.). *Восток (Oriens).* 2026. № 5. С. 240–251. DOI: 10.31696/S086919080038353-5

GERMAN AFRICAN STUDIES AND RESEARCH OF AFRICA'S PRECOLONIAL PAST (LATE 19TH – EARLY 20TH CENTURIES)

© 2026

Aleksandra E. GAVRIUSHEVA [a]

[a] – P.G. Demidov Yaroslavl State University, Yaroslavl, Russia
ORCID: 0000-0001-5819-5785; alexandra-gavr@mail.ru

Abstract: *The article examines the mechanisms of knowledge production about precolonial Africa in German historiography of the late 19th – early 20th centuries. It demonstrates that German African studies emerged as an integral part of the colonial project, combining the pragmatic tasks of colonial administration and missionary work with the epistemological frameworks of European evolutionism, diffusionism, and racial theories. By reconstructing the map of research centers across various German federal states, the study reveals a direct dependence of the directions and methods of African research on regional economic and political interests. Key institutional structures are analyzed. These institutions not only collected empirical data but also shaped the public image of Africa as a "backward" continent in need of European governance. Special attention is paid to the dominant theoretical paradigms: Leo Frobenius's theory of "culture circles," Friedrich Ratzel's anthropogeography, and Carl Meinhof's comparative linguistics. Despite the empirical value of the gathered material, these paradigms constructed an image of Africa as a space devoid of autonomous historical subjectivity. The article also traces the evolution of interpretations of the precolonial past – from the outright denial of African authorship of complex cultural phenomena to "decline" theories that likewise served to justify colonial intervention. It is concluded that German African studies of this period constituted an institutional mechanism for the symbolic appropriation of Africa's past. Its dual legacy poses a challenge for the decolonization of contemporary academic approaches, including the identification of hidden ideologemes, the restitution of cultural assets, and the amplification of African voices in historical scholarship.*

Keywords: German African studies, precolonial Africa, colonialism, history of science

For citation: Gavriusheva A.E. German African Studies and Research of Africa's Precolonial Past (Late 19th – Early 20th Centuries). *Vostok (Oriens).* 2026. No. 5. Pp. 240–251. DOI: 10.31696/S086919080038353-5

Настоящее исследование посвящено анализу механизмов производства знания о доколониальной Африке в немецкой историографии конца XIX – начала XX вв. Предметом исследования выступает процесс конструирования исторических нарративов о доколониальном прошлом Африки в немецкоязычном академическом и публичном дискурсе. Целью исследования является выявление и анализ механизмов влияния региональных и институциональных интересов немецких земель на формирование историографических

образов доколониальной Африки в конце XIX – начале XX вв. Для достижения цели поставлены следующие задачи:

– реконструировать карту научных центров в зависимости от экономических и политических приоритетов Пруссии, Ганзейских городов, Саксонии и южных земель;

– охарактеризовать ключевые типы институциональных структур, вовлеченных в производство знания об Африке;

– выявить доминирующие теоретические парадигмы (диффузионизм, теория «культурных кругов», расовый эволюционизм) и показать их роль в легитимации германского колониализма.

Анализ того, каким образом в Германии конструировалось знание о доколониальной Африке, как оно было институционализировано и функционировало в рамках колониального дискурса, позволяет выявить механизмы взаимосвязи между производством «экспертного» знания и практиками колониального господства, демонстрируя, как наука участвовала в создании и легитимации образов «Другого» [Gretz, 2016, S. 281]. Такой подход обуславливает актуальность исследований в области переосмысления истории европейской африканистики, и в частности немецкой, поскольку они находятся в эпицентре современных постколониальных и деколониальных дискуссий[2] и позволяют деконструировать устоявшиеся историографические нарративы, демонстрируя, что знание о «Другом» никогда не было нейтральным [Deutsch, Wirz, S. 1997]. Например, изучение языков и культур часто было связано с необходимостью обеспечить грамотное управление колониями и активизировать миссионерскую деятельность; этнографические данные могли использоваться для укрепления контроля над местным населением, а археологические находки – для демонстрации «исторической миссии» европейцев в Африке[3].

Вместе с тем развитие немецкой африканистики, особенно в ее академическом сегменте, обладало и определенной автономией. Интерес к доколониальной истории Африки подкреплялся и утилитарными запросами, и внутренней логикой развития таких дисциплин, как этнография, антропология и сравнительное языкознание [Zimmerman, 2001, p. 10, 85]. Географические открытия и результаты исследования африканских культур нашли отражение в колониальных отчетах, а также в собственно научной и даже художественной литературе, что свидетельствует о более сложной и многогранной природе производства знания об Африке в Германии [Penny, 2002, p. 15].

ИНТЕРЕСЫ ОТДЕЛЬНЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗЕМЕЛЬ

Разные федеральные земли (ранее – отдельные государства в составе Германской империи) проявляли различную степень вовлеченности в исследования, связанные с Африкой, а также в колониальную политику, что было обусловлено их историческими, экономическими и культурными связями. Ведущую роль в колониальной политике играла Пруссия, являясь движущей силой объединения Германии в 1871 г. Ее элиты активно поддерживали колониальную экспансию как способ усиления международного престижа. Берлин, столица Пруссии, стал центром колониальной администрации. Прусские промышленники и торговцы были заинтересованы в доступе к африканским ресурсам, таким как каучук, хлопок и

[2] В рамках немецкой историографии обращают на себя внимание труды М. Альбрехт, А. Эккерта, Й. Зенфт [Albrecht, 2020; Eckert, 2021; Senft, 2022]. В России исследованиями, связанными со становлением немецкой африканистики занимались и занимаются Н.В. Охотина [Brauner, Ochotina, 1982; Охотина, 1983], А.С. Балезин [Балезин, 2000], Т.М. Гавристова [Гавристова, 2002].

[3] См., например, исследование М. Эккардта [Eckardt, 2019].

минералы, что поспособствовало развитию научных исследований Африки, ее природных богатств, народов, проживающих на ее территории [Besier, 1992; Smith, 2011, p. 112].

Центрами изучения истории и культуры народов Африки были Прусская академия наук[4] и Берлинский университет[5]. Ключевую роль в систематизации знаний играли Семинар восточных языков[6] при Берлинском университете и Королевский этнографический музей[7] (*Königliches Museum für Völkerkunde*), коллекция которого стремительно росла за счет трофеев и приобретений из немецких колоний [Penny, 2002, p. 78].

Пруссия финансировала большое количество экспедиций, а также создание этнографических коллекций. В частности, на ее средства была организована одна из экспедиций под руководством Лео Фробениуса[8] (1904–1905), собравшего в Западной Африке обширные этнографические и археологические материалы [Frobenius, 1911; Stelzig, 2004, S. 154].

Ганзейские города Гамбург и Бремен при установлении контактов с Африкой также преследовали экономические интересы. Будучи крупными портовыми городами, они имели давние торговые связи с африканскими государствами, еще до начала колониальной экспансии вели торговлю на западном побережье континента и были заинтересованы в установлении контроля над морскими торговыми путями. Гамбургские и бременские торговые компании сыграли важную роль в основании немецких колоний в Того и Камеруне. Компания «*Woermann-Linie*[9]» из Гамбурга занималась перевозкой товаров и людей между Германией и Африкой. Отчеты капитанов судов компании «*Woermann-Linie*» об обычаях прибрежных народов легли в основу первых этнографических описаний, публиковавшихся в местных научных журналах [Gretz, 2016, S. 291].

В Гамбурге и Бремене был создан ряд музеев, выставляющих экспонаты из Африки и популяризировавших знания о континенте[10], были организованы семинары на базе образовательных учреждений и специальные институты, занимающиеся изучением культуры, истории, языков народов Африки[11]. Наиболее показателен пример Гамбургского этногра-

---

[4] Учреждена в Берлине в 1700 г., в XIX в. вопросами истории и языков Африки занимались ученые филологического и исторического классов [Stroux, 2008].

[5] Берлинский университет им. Гумбольдта, основанный в 1809 г. (до 1945 г. Берлинский университет им. Фридриха Вильгельма), поддерживал исследования Р. Вирхова, Р. Коха и других ученых, вынесших научную славу Берлинского университета за пределы национальных границ, в частности, работавших в Африке [Sachau, 1912].

[6] Учреждение финансировалось Министерством иностранных дел и Имперским колониальным ведомством. В рамках обучения студенты усваивали практические знания, изучали особенности гигиены и здравоохранения в тропиках, колониальное право и экономику, географию и историю немецких колоний [Sachau, 1912].

[7] Основан в 1873 г., корни восходят к Бранденбургско-прусской кунсткамере Великого курфюрста в Берлинском дворце. Первые предметы из Африки появились в данном собрании во второй половине XVII в. Директор музея А. Бастиан значительно расширил его фонды. В 1876 г. концепция музея изменилась, целью составления коллекций стала максимально полная документация культур неевропейских народов [König, 2003, S. 14, 17].

[8] Лео Фробениус (1873–1938) – немецкий этнограф, исследователь Африки, основоположник теории культурных кругов.

[9] Подробнее об истории компании *C.-Woermann* и ее работе в Африке см. https://www.c-woermann.de/deutsch/afrikahaus (accessed: 07.03.2026).

[10] В Гамбурге, помимо Гамбургского этнографического музея (*Museum am Rothenbaum – Kulturen und Künste der Welt*, ранее Музей этнографии и доисторического периода, 1842), в 1844 г. был открыт Музей естественной истории, куда передавались коллекции, собранные по всему миру [Göpel, 2021]. Среди бременских музеев необходимо отметить Заморский музей (1896 г.), а также Музей Фокке, возникший в результате слияния Торгового музея, открытого в 1884 г., с Историческим музеем, созданным в 1900 г. [Ahrndt, 2019].

[11] К ним относятся, в частности, семинар африканских языков при Гамбургском университете, а также Гамбургский колониальный институт. Среди ученых университета и Колониального института, вовлеченных в африканские исследования, необходимо отметить Карла Майнхофа (1857–1944), чьи сравнительно-лингвистические исследования, хотя и были новаторскими, несли на себе отпечаток расовых теорий своего времени [Meinhof, 1966].

фического музея, получавшего прямое финансирование от торговых компаний и использовавший их сети для пополнения коллекций [Göpel, 2021].

Саксония, будучи одним из промышленных регионов Германии, была заинтересована в африканских ресурсах, в частности, в поставках сырья для текстильной промышленности. На территории Саксонии был создан научный центр для изучения африканских языков и культур на базе Лейпцигского университета[12]. Значительный вклад в африканистику внес профессор университета Фридрих Ратцель[13], в своих трудах (например, в «Народоведении») он использовал материал, собранный в экспедициях, для обоснования теорий географического детерминизма и «жизненного пространства» [Ratzel, 1966]. Его работы оказали значительное влияние на развитие колониальной идеологии [Steinmetz, 2007, p. 204].

В Юго-Западной Африке (современная Намибия) активно работали протестантские миссии из Баден-Вюртемберга. Для повышения эффективности миссионерской деятельности, а затем и для научных исследований на основе университета Тюбингена возник научный центр для изучения Африки [Pugach, 2012, p. 71; Grüttner, 2023, S. 12].

Менее всего в колониальную политику были вовлечены северные земли (Шлезвиг-Гольштейн, Мекленбург и Передняя Померания), а также Бавария. В Восточной Африке (современная Танзания) работали Баварские католические миссии[14]; миссионеры не только занимались религиозной деятельностью, но и собирали этнографические данные. Их отчеты обрабатывались в научном центре Мюнхенского университета, который позднее организовывал и собственные экспедиции для исследования природы Африки, а также культуры и истории ее народов [Hestermann, 1929]. Деятельность баварских миссионеров из Миссионерского общества в Аугсбурге привела к созданию одних из первых письменных грамматик и словарей языков суахили и других народов в Восточной Африке. Данные материалы также подлежали систематизации в Мюнхенском университете [Eckardt, 2019].

Таким образом, географическая картина африканских исследований на рубеже веков напрямую отражала структуру колониальных интересов империи. Научные центры в разных землях возникали в качестве ответа на конкретные запросы: потребность Берлина в легитимации власти, потребность Ганзейских городов в коммерческой информации, потребность миссионерских центров в эффективных инструментах распространения веры. Производство знания было регионально ориентированным, но подчинялось общей логике колониального проекта. Несмотря на различия в интересах у разных земель, все они были заинтересованы в доступе к ресурсам и рынкам, а колониальная политика в основном определялась прусской элитой.

НАУЧНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА В ГЕРМАНИИ

Формирование в Германии на рубеже XIX–XX вв. разветвленной научной инфраструктуры, направленной на изучение Африки, стало прямым следствием колониальных амбиций империи. Данный институциональный каркас, включавший университетские семинары, музеи, исследовательские общества и колониальные институты, обеспечивал практические нужды управления заморскими территориями, а также создавал определен-

[12] Научный центр в настоящее время продолжает работу в качестве Института Африки, подробнее об истории африканистики в университете см.: https://www.gkr.uni-leipzig.de/institut-fuer-afrikastudien (accessed: 07.03.2026).

[13] Фр. Ратцель (1844–1904) – немецкий зоолог, географ, один из основоположников антропогеографии, диффузионизма и политической географии.

[14] Подробнее см.: https://kath-akademie-bayern.de/veranstaltung/missionare-in-kolonialen-afrika/ (accessed: 07.03.2026).

ный образ африканского континента, его истории и культур, встраиваясь в общий дискурс колониального господства [Zimmerman, 2001, p. 134–135].

Основу научной инфраструктуры заложили не университеты, а научные общества и музеи. Берлинское общество антропологии, этнографии и древней истории[15] (1869) и Берлинское географическое общество[16] (1828) стали центрами координации первых экспедиций и обсуждения их результатов [Penny, 2002, p. 33–37]. Параллельно формируются крупные музейные коллекции. Королевский этнографический музей выполнял роль хранилища артефактов и исследовательского центра, чьи экспозиции легитимировали колониальную политику через демонстрацию «экзотичности» и «отсталости» африканских культур. Германское колониальное общество[17], будучи лоббистской организацией, играло ключевую роль в популяризации колониальных идей и финансировании прикладных исследований [Demhardt, 2002].

С середины XIX в. в университетах возникают первые лингвистические семинары[18], чьей первоочередной задачей была подготовка переводчиков и административных кадров. По мере углубления колониального присутствия возникла потребность в более фундаментальных исследованиях, что привело к созданию таких учреждений, как научные центры и институты, специализирующиеся на преподавании колониальных экономики, права, географии, истории и культуры[19] [Stoecker, 2008, S. 55], а также специализированные архивы (в частности, Африканский архив[20]), которые вывели африканистику за рамки сугубо прикладных задач.

Апогеем сращивания науки и колониальной практики стало создание Колониального института в Гамбурге (1908). Это была уникальная структура, сочетавшая в себе функции учебного заведения (подготовка чиновников), научно-исследовательского центра (изучение географии, экономики, этнографии колоний) и экспертного органа при правительстве. Его создание символизировало окончательную институционализацию африканистики как инструмента имперской политики [Friedrich, 2002, S. 180].

В рамках столь разветвленной инфраструктуры сформировались ключевые направления исследования Африки. Экспедиции и полевые исследования Л. Фробениуса и

---

[15] Берлинское общество антропологии, этнографии и древней истории (*Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte*) относится к наиболее известным европейским научным объединениям, оказывающим серьезную поддержку исследовательским проектам и разрабатывающим новые методы и подходы к их изучению. Общество организовывало и финансировало экспедиции и исследования, вело активную издательскую деятельность, собирало этнографические и другие коллекции.

[16] Деятельность Общества была направлена на содействие географическим и геологическим исследованиям, делая их результаты доступными для заинтересованной общественности. Кроме того, с 1833 г. общество выпускало журнал «*Die Erde*».

[17] В 1882 г. под его эгидой объединилось более 15000 сторонников колониальной политики, члены ассоциации требовали экономической поддержки существующих колоний и освоения новых территорий.

[18] Особое внимание привлекают семинары в университетах Берлина, Гамбурга, Мюнхена, именно там работали крупные теоретики языка (в частности, Д. Вестерманн). Одним из первых академический интерес к африканским языкам проявил В.Г.И. Блик (1827–1875), защитив диссертацию об их номинальных классах в период, когда официальная лингвистика считала африканские языки недостойными научного изучения. Считается, что его публикации не были искажены ни христианскими миссионерскими взглядами, ни расовыми теориями [Köpke, 1998].

[19] К ним относятся, например, Центр африканских исследований при Берлинском университете (1899), Африканский центр в Кельне (1898), Немецкое общество исследования экваториальной Африки в Берлине (1873), институт им. Л. Фробениуса на базе университета им. И.В. Гете во Франкфурте-на-Майне (1898) и др.

[20] Африканский архив был основан Л. Фробениусом в 1898 г. в Берлине, после Первой мировой войны он был перенесен в Мюнхен, где в 1920 г. был основан Научно-исследовательский институт культурной морфологии. К другим архивам, созданным в этот период, относится Африканский археологический архив в Кельне, архивы в библиотеках Берлинского университета им. Гумбольдта, а также университета во Франкфурте-на-Майне.

Б. Анкерманна[21] позволили собрать данные о традициях, верованиях и социальной организации африканских народов, а также об истории их формирования. Несмотря на то, что благодаря работе Л. Фробениуса был собран бесценный материал, свидетельствующий об истории и культурах Африки, он романтизировал и мистифицировал африканские общества[22], что подпитывало колониальную идеологию [Stelzig, 2004, S. 188; Marchand, 2009, p. 295].

Изучение африканских языков оставалось неизменным направлением исследований, связанных с Африкой. Среди ученых, работавших над классификацией языков и изучением их грамматических структур, можно отметить Дидриха Вестерманна[23], составившего грамматику и словарь языка эве, а также К. Майнхофа, ставшего одним из первых, кто систематически изучал языки банту. Стройные лингвистические классификации К. Майнхофа часто базировались на идее о «примитивных» языках, которая возводила иерархию между «более развитыми» и «менее развитыми» народами, что идеально вписывалось в колониальную идеологию [Pugach, 2012, p. 112–118].

С начала XX в. немецкая африканистика стала развиваться как самостоятельная научная дисциплина. В университетах Германии начали открываться кафедры, посвященные африканским исследованиям[24] [Gosewinkel, 2008, S. 274]. Возникли миссионерские и административные школы в колониях, были открыты научные станции для сбора этнографического материала[25] и изучения истории и культуры народов Африки.

В настоящее время многие из этих институтов (как на территории Германии, так и на территории ее бывших колоний) продолжают свою работу; их фокус сместился на академические исследования. Музей этнографии в Берлине и Гамбургский университет (в некоторой степени преемник Колониального института) остаются важными центрами изучения Африки. Ряд институтов (в частности, Берлинский музей этнографии в составе Гумбольдт-форума) являются ареной ожесточенных дискуссий о реституции артефактов, колониальном наследии и деколонизации самих академических подходов [Zimmerer, 2011, S. 15].

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Немецкие научные публикации о доколониальной истории Африки, несмотря на кажущееся разнообразие дисциплин, от этнографии и антропологии до лингвистики и археологии, объединяла общая эпистемологическая установка. Реконструкция африканского прошлого осуществлялась не с позиций его внутренней логики, а исключительно через призму господствовавших в Европе теоретических схем, таких как эволюционизм, диффузионизм и расовые теории, что приводило к фундаментальному парадоксу: пытаясь открыть историю Африки, немецкая наука фактически «присваивала» ее, встраивая в заранее заданные нарративы.

---

[21] Бернхард Анкерманн (1859–1943) – немецкий этнолог и африканист, сторонник культурно-исторического метода и теории «культурных кругов», директор отдела Африки и Океании в Этнографическом музее Берлина.

[22] В частности, связывал происхождение ряда археологических памятников и артефактов, найденных на их территории, с влиянием выходцев из Атлантиды [Frobenius, 1911].

[23] Дидрих Вестерманн (1875–1956) – немецкий африканист и этнолог, руководил кафедрой африканских языков в Берлинском университете, был содиректором Международного африканского института.

[24] В частности, кафедра, а позже Институт африканских исследований университета Байройта, кафедра африканской этнографии университета в Майнце, Институт африканских исследований Базельского университета.

[25] Например, временная научная станция под руководством немецкого путешественника и колониального чиновника А. Фридриха, научный лагерь Ф. Течмера близ Ливале, лагерь Л. Фробениуса в Конго.

Ранние попытки осмыслить место Африки в мировой истории исходили из универсалистских, но глубоко евроцентричных моделей. Адольф Бастиан[26] в своих сравнительных исследованиях религий и культур, включая африканские, искал «элементарные мысли» (*Elementargedanken*), общие для всего человечества. Однако его подход, изложенный в трудах (в частности, в «Народах Восточной Азии»: «*Die Völker des östlichen Asien*»), помещал африканские общества на низшую ступень единой эволюционной лестницы, представляя их живыми свидетельствами «первобытного» состояния, которое Европа уже преодолела [Smith, 2011, p. 178].

Более специфическую теорию предложил Фр. Ратцель, основатель антропогеографии. В фундаментальном труде «Народоведение» («*Völkerkunde*», 1885–1888) он доказывал прямую зависимость социального развития от географической среды. Применительно к Африке это означало, что особенности ее доколониальных обществ объяснялись не их собственной историей, а «консервирующим» влиянием природных условий. Таким образом, эволюционистский подход, будь то в универсалистском или географическом ключе, представлял Африку как «заповедник» прошлого, нуждающийся во внешнем вмешательстве для движения по общему для всех пути прогресса [Steinmetz, 2007, p. 190].

Наиболее влиятельной парадигмой, в числе прочего, разработанной для интерпретации африканского материала, стала теория «культурных кругов». Ее основатель, Л. Фробениус, в таких работах, как «Маски и тайные общества Африки» («*Die Masken und Geheimbünde Afrikas*», 1898) и «И Африка заговорила» («*Und Afrika sprach*», 1912), предпринял попытку реконструкции истории культурных контактов и миграций. Однако его теория «культурной морфологии» и концепция «культурных кругов», развитая затем Б. Анкерманном в работе «Африканские культурные круги» («*Die afrikanischen Kulturkreise*», 1905), использовалась для объяснения любых сложных явлений в доколониальной Африке исключительно через внешние, часто неафриканские влияния. Наличие монументальных руин или сложных политических структур автоматически приписывалось миграциям «высших» культурных кругов. Данная диффузионистская модель, по сути, отрицала способность африканских обществ к самостоятельному историческому творчеству. Реконструкция прошлого сводилась к картографированию наложений чуждых влияний, что идеологически оправдывало колониализм как возврат к «порядку», некогда установленному такими же «цивилизованными» пришельцами [Marchand, 2009, p. 322].

Другие дисциплины перенимали и усиливали этот дискурс. Социолог Рихард Турнвальд[27] в труде «Человеческое общество в его этносоциологических основах» («*Die menschliche Gesellschaft in ihren ethnisch-soziologischen Grundlagen*», 1931), анализируя социальные структуры, выстраивал их в эволюционные ряды, где африканские модели занимали начальные позиции, тем самым лишая их исторической динамики. Показательным примером являются лингвистические исследования [Grosse, 2008, S. 144]. Работы К. Майнхофа («*Grundriss einer Lautlehre der Bantusprachen*», 1899; «*Die Sprachen der Hamiten*», 1912) и Д. Вестермана («*Die Sudansprachen*», 1911; «*Die westatlantische Gruppe der Sudansprachen*», 1927), при всей их филологической ценности, были тесно переплетены с расистскими теориями. Противопоставление «примитивных» языков банту «более развитым» языкам,

[26] Филипп Вильгельм Адольф Бастиан (1826–1905) – немецкий врач, этнограф, основатель Этнографического музея в Берлине. А. Бастиан в ходе составления коллекций руководствовался необходимостью доказать общее происхождение человечества, а также изменить представление о его развитии, добавив историческую перспективу. Он сосредоточился на изучении бесписьменных народов, считавшимися лишенными истории и нецивилизованными [König, 2003, S. 17].

[27] Рихард Турнвальд (1869–1954) – немецкий социолог и этнограф австрийского происхождения, проводил этнографические полевые работы в немецких колониях.

связываемым с миграцией «высших» рас, создавало псевдонаучное обоснование для исторического «превосходства» одних народов над другими [Pugach, 2012, p. 102].

Даже исследователи, собиравшие уникальный эмпирический материал, не могли избежать действия дискурсивных рамок. Иоганн Генрих Барт[28] в «Путешествиях и открытиях в Северной и Центральной Африке» («*Reisen und Entdeckungen in Nord- und Zentralafrika*», 1857–58) скрупулезно описал историю доколониальных государств Сонгай и Канем-Борну. Георг Швейнфурт[29] в книге «В сердце Африки» («*Im Herzen von Afrika*», 1874) зафиксировал сложность культур, с которыми столкнулся. Однако собранные ими данные в метрополии интерпретировались через призму господствующих теорий. Например, К. Вейле в работе «Древние связи египтян с народами Судана» («*Die älteren Beziehungen der Ägypter zu den Völkern des Sudan*», 1908) искал и находил следы влияния Древнего Египта, встраивая историю Судана в удобную для европейского понимания схему средиземноморского культурного импульса [Stoecker, 2008, S. 172].

Таким образом, немецкие научные публикации о доколониальной Африке, при всем их эмпирическом богатстве, стали инструментом ее символического присвоения. Независимо от конкретной дисциплины, они сходились в одном: история Африки не имела самостоятельной ценности и могла быть осмыслена лишь как отклонение от универсальной (фактически – европейской) нормы или как результат внешних влияний. Данный научно сконструированный образ «неисторических» народов или народов с «привнесенной» историей стал краеугольным камнем идеологического обоснования колониализма, представляя германскую экспансию как возвращение Африке ее утраченного места в общечеловеческом историческом процессе.

ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАЗОВ ДОКОЛОНИАЛЬНОГО ПРОШЛОГО

Эволюция взглядов ученых на доколониальную историю Африки представляла собой смену доминирующих стратегий интерпретации, каждая из которых оставалась в плену колониального мировоззрения, не признававшего за африканскими обществами право на собственную, автохтонную историю.

В середине XIX в. способность африканцев к самостоятельному историческому творчеству отвергалась напрямую. Происхождение любых сложных культурных объектов (в частности, бронзы Ифе, руины Большого Зимбабве) приписывалось внешним, неафриканским силам. Данные объяснения варьировались от «библейских» (поиск следов царства Соломона [Peters, 1902]) до «легендарных» (гипотезы о выходцах из Атлантиды [Frobenius, 1911]) и «историко-диффузионистских» (финикийские, арабские или египетские корни [Bent, 1892]). Общим для всех стратегий был вывод: коренное население не могло быть создателем ничего подобного, будучи пассивным наследником или хранителем указанных феноменов.

В начале XX в. такие исследователи, как Дэвид Рэндалл-МакАйвер[30], а вслед за ними и часть немецких ученых, начали признавать африканское происхождение памятников, что часто носило двойственный характер. Как показывает пример Л. Фробениуса, признание «великого прошлого» могло служить основой для теории упадка: современные африканцы

[28] Иоганн Генрих Барт (1821–1865) – немецкий исследователь Африки, историк, филолог и географ.

[29] Георг Август Швейнфурт (1836–1925) – русский и немецкий исследователь Африки.

[30] Дэвид Рэндалл-МакАйвер (1873–1945) – британский археолог, известен благодаря своим работам в Египте (эль-Амра и Абидос) и Нубии (Арейка, Караног), проведенным совместно с Артуром Мейсом и Леонардом Вулли, а также раскопкам Большого Зимбабве.

рассматривались как деградировавшие потомки великих строителей, неспособные самостоятельно возродить былое величие [Conrad, 2012, p. 101].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что немецкая африканистика рубежа XIX–XX вв. была неотъемлемой частью колониального предприятия. Ее развитие определялось и внутренней логикой научного поиска, и прагматическими запросами империи, что проявлялось на нескольких уровнях. Географическая и тематическая направленность исследований напрямую зависела от экономических и политических интересов конкретных немецких земель, а научная инфраструктура институционализировала производство знания, подчиненного целям управления и легитимации колониального господства. Господствовавшие теоретические парадигмы выступали в роли интеллектуального аппарата, перерабатывающего эмпирические данные в идеологически приемлемые конструкции.

Таким образом, немецкая африканистика конца XIX – начала XX вв. представляла собой институциональный механизм символического присвоения, который через экспедиции, исследовательские работы и публикации конструировал образ Африки как пространства, лишённого самостоятельной исторической субъектности. Двойственное наследие этого периода (уникальные эмпирические коллекции и одновременно глубоко укоренённые евроцентристские нарративы) ставит перед современной наукой задачу деколонизации знания. Речь идёт о выявлении скрытых идеологем, возвращении голоса африканским источникам и реституции культурных ценностей. Перспективы исследования лежат в сравнительном анализе немецкой, британской и французской традиций африканистики, а также в изучении рецепции колониальных нарративов в постколониальной Африке.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

Балезин А.С. «Афронемцы» в Германии: судьбы в условиях радикализирующегося европоцентризма. *Евроцентризм и афроцентризм накануне XXI века: африканистика в мировом контексте*. Под ред. А.С. Балезина. М.: ИВИ РАН, 2000 [Balezin A.S. “Afro-Germans” in Germany: Destinies in the Context of Radicalizing Eurocentrism. *Afrocentrism and Eurocentrism on the Eve of the 21st Century: African Studies in World Context.* A.S. Balezin (ed.) Moscow: Institute of World History RAS, 2000 (in Russian)] https://africana.ru/biblio/afrocentrism/10_Balezin.htm (accessed: 25.09.2025).

Гавристова Т.М. *Африканские интеллектуалы за пределами Африк*и. Ярославль: ЯрГУ, 2002 [Gavristova T.M. *African Intellectuals Beyond Africa*. Yaroslavl: Yaroslavl State University, 2002 (in Russian)].

Охотина Н.В. *Введение в африканистику. Учебное пособие*. М.: РУДН, 1983 [Okhotina N.V. *Introduction to African Studies: A Textbook.* Moscow: RUDN University (in Russian)].

Ahrndt W. *Spurensuche. Geschichte eines Museums*. Bremen: Überseemuseum, 2019.

Albrecht M. *Europas Südliche Ränder*. Bielefeld: Transcript, 2020.

Bent J.Th. *The Ruined Cities of Mashonaland: Being a Record of Excavation and Exploration in 1891*. London: Longmans, Green & C., 1892.

Besier G. Mission und Kolonialismus im Preußen der Wilhelminischen Ära. *Kirchliche Zeitgeschichte*. 1992. Vol. 5, No. 2. S. 239–253.

Brauner S., Ochotina N.V. Studien zur nationalsprachlichen Entwicklung in Afrika. *Soziolinguistische und sprachpolitische Probleme*. Berlin: Akademie-Verlag, 1982.

Conrad S. *German Colonialism: A Short History*. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

Demhardt I.J. *Deutsche Kolonialgesellschaft 1888–1918: Ein Beitrag zur Organisationsgeschichte der deutschen Kolonialbewegung*. Wiesbaden: Selbstverlag, 2002.

Deutsch J.-G., Wirz A. *Geschichte in Afrika. Einführung in Probleme und Debatten. Studien 7*. Berlin: Verlag Das Arabische Buch, 1997.

Eckardt M. *Mission Afrika: Geschichtsschreibung über Grenzen hinweg*. (*Missionsgeschichtliches Archiv*. Bd. 29). Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2019.

Eckert A. Postkoloniale Zeitgeschichte? *Zeithistorische Forschungen – Studies in Contemporary History*. Potsdam: Zeithistorische Forschungen, 2021.

Friedrich A. Das Kolonialinstitut: Gründung und Frühgeschichte. Hamburg: Universität Hamburg Verlag, 2002.

Frobenius L. *Auf dem Wege nach Atlantis. Bericht über den Verlauf der zweiten Reise-Periode der DIAFE in den Jahren 1908 bis 1910*. Berlin, Charlottenburg: Vita Deutsches Verlaghaus, 1911.

Göpel M. Von kolonialen Sammlungen und Dekolonisierungsversuchen. Das (ehemalige) Museum für Völkerkunde Hamburg als (post-)kolonialer Erinnerungsort. *Hamburg: Tor zur kolonialen Welt. Erinnerungsorte der (post-) kolonialen Globalisierung*. Hrsg.: J. Zimmerer, K.S. Todzi. Göttingen: Wallstein, 2021. S. 279–292.

Gosewinkel D. *Wissenschaft, Politik und Verfassungsgericht: Beiträge zur Geschichte des 20. Jahrhunderts*. Berlin: Suhrkamp, 2008.

Gretz D. Eine groЯe Zeitungsthat: Die serielle Exploration des I/inneren Afrika/s in populären Zeitschriften des 19. Jahrunderts. *Archiv/Fiktionen. Verfahren des Archivierens in Literatur und Kultur des langen 19. Jahrhunderts*. Freiburg: Rombach, 2016. S. 279–315.

Grosse P. *Kolonialismus, Eugenik und bürgerliche Gesellschaft in Deutschland 1850–1918*. Frankfurt: Campus Verlag, 2008.

Grüttner M. *Ausgegrenzt: Entlassungen an den deutschen Universitäten im Nationalsozialismus. Biogramme und kollektivbiografische Analyse*. Berlin, Boston: de Gruyter, 2023.

Hestermann F. *Die deutsche Afrikanistik bis 1913. Kritische Darstellung der neuesten Ansichten über Gruppierungen und Bewegungen der Sprachen und Völker in Afrika*. Wien, Hamburg: Mechitharisten-Kongregations-Buchdruckerei, 1929.

König V. *Ethnologisches Museum Berlin*. München: Prestel, 2003.

Köppe W. Philologie im südlichen Afrika: Wilhelm Heinrich Immanuel Bleek (1827–1875) *Zeitschrift für Germanistik. Neue Folge*. Berlin: Peter Lang, 1998. S. 580–589.

Marchand S.L. *German Orientalism in the Age of Empire: Religion, Race, and Scholarship*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

Meinhof K. *Grundriß einer Lautlehre der Bantusprachen*. New York: Kraus Reprint, 1966.

Penny H.G. *Objects of Culture: Ethnology and Ethnographic Museums in Imperial Germany*. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2002.

Peters C. *Im Goldland des Altertums: Forschungen zwischen Zambesi und Sabi. Mit 50 an Ort und Stelle gemachten Original-Illustrationen von Tennyson Cole*. München: Lehmann, 1902.

Pugach S. *Africa in Translation: A History of Colonial Linguistics in Germany and Beyond, 1814–1945*. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2012.

Ratzel F. *Der Lebensraum. Eine biogeographische Studie. Sonderausgabe. Unveränderter reprografischer Nachdruck. Wissenschaftliche Buchgesellschaft*. Darmstadt, 1966.

Sachau E. *Denkschrift über das Seminar für Orientalische Sprachen an der Königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin 1887 bis 1912*. Berlin: Reichsdruckerei (Reimer), 1912.

Senft J. *Diesseits von Afrika: Ein postkoloniales Essay – in autobiographischen Dekaden – mit afrikanischen Rekursen*. Berlin: Lit Verlag, 2022.

Smith W.D. *The German Colonial Empire*. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2011.

Steinmetz G. *The Devil's Handwriting: Precoloniality and the German Colonial State in Qingdao, Samoa, and Southwest Africa*. Chicago: University of Chicago Press, 2007.

Stelzig C. *Afrika am Museum für Völkerkunde zu Berlin 1873–1919: Aneignung, Darstellung und Konstruktion eines Kontinents*. Freiburg: Centaurus Verlag & Media, 2004.

Stoecker H. *Afrikawissenschaften in Berlin von 1919 bis 1945. Zur Geschichte und Topographie eines wissenschaftlichen Netzwerkes*. Stuttgart: Franz Steiner Verlag GmbH, 2008.

Stroux L. Die Gründung der Brandenburgischen Sozietät der Wissenschaften durch Gottfried Wilhelm Leibniz und Daniel Ernst Jablonski. *Daniel Ernst Jablonski. Religion, Wissenschaft und Politik um 1700*. Hrsg.: J. Baalcke, W.Korthaase. Berlin: Harrassowitz Verlag, 2008. S. 409–434.

Zimmerer J. *Von Windhuk nach Auschwitz? Beiträge zum Verhältnis von Kolonialismus und Holocaust*. Berlin: Lit Verlag, 2011.

Zimmerman A. *Anthropology and Antihumanism in Imperial Germany*. Chicago: University of Chicago Press, 2001.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ / INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

ГАВРЮШЕВА Александра Евгеньевна – кандидат филологических наук, научный сотрудник Научно-образовательной лаборатории «Россия и Европа: сравнительное изучение доиндустриальных обществ» Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова, Ярославль, Россия.

Aleksandra E. GAVRIUSHEVA, PhD (Philology), Research Fellow, Research and Education Laboratory «Russia and Europe: Comparative Study of Pre-Industrial Societies», P.G. Demidov Yaroslavl State University, Yaroslavl, Russia.

DOI: 10.31696/S086919080039428-7

О «БРИТАНСКОЙ ЩЕДРОСТИ» В СВЕТЕ ОДНОЙ ЕГИПТОЛОГИЧЕСКОЙ ГИПОТЕЗЫ

© 2026

Д.Б. ПРУСАКОВ [a]

[a] – Институт востоковедения РАН, Москва, Россия
ORCID: 0000-0001-6065-4610; dmprusakov@mail.ru

Резюме: *Распространенное представление о «щедрости» британцев находит своеобразное преломление в современной попытке их «отказа» от принадлежащего крупному британскому египтологу авторства одной из известнейших в его научной области гипотез, согласно которой цивилизация древнего Египта была основана некоей высокоразвитой иноземной «династической расой», пришедшей на Нил, вероятнее всего, из Передней Азии. Эту диффузионистскую гипотезу в конце XIX — начале XX вв. разработал «отец египетской археологии» У.М. Флиндерс Питри, находившийся под влиянием евгенического учения Ф. Гальтона, также британца, с которым Питри тесно сотрудничал, обеспечивая его антропометрическую лабораторию в Лондоне человеческим костным материалом своих многочисленных раскопок. Историки науки неоднократно отмечали расистские взгляды Флиндерса Питри, убежденного сторонника евгеники и социал-дарвинизма. В одной из своих монографий современный британский египтолог Тоби Уилкинсон, игнорируя эти хорошо известные обстоятельства научной деятельности своего соотечественника, приписал авторство гипотезы «династической расы» немецкому антропологу Хансу Винклеру, имевшему к ней лишь косвенное отношение (в 1936–1937 гг. он открыл в Восточной пустыне Верхнего Египта петроглифы больших «морских» лодок, послуживших основанием для популярной версии о вторжении придуманных Питри «цивилизаторов» в долину Нила с побережья Красного моря здешним кратчайшим маршрутом по Вади-Хаммамат). При этом Уилкинсон огульно обвинил Винклера в приверженности нацистской идеологии и употреблении вытекающего из нее понятия «раса господ», хотя оно ни разу не встречается в публикациях немецкого ученого. Более того, в 1920-е гг. Винклер состоял в коммунистической партии Германии, что стало причиной его увольнения из Тюбингенского университета нацистами после их прихода к власти. За «щедростью» британцев в этой нелепой уступке национального научного приоритета, сопровождавшейся искажением фактов и откровенной ложью, угадывается стремление отмежеваться от принадлежащих им неполиткорректных теорий.*

Ключевые слова: гипотеза «династической расы», евгеника, расизм, история египтологии, Гальтон, Флиндерс Питри, Винклер, Уилкинсон

Для цитирования: Прусаков Д.Б. О «британской щедрости» в свете одной египтологической гипотезы. *Восток (Oriens).* 2026. № 5. С. 252–259. DOI: 10.31696/S086919080039428-7

“BRITISH GENEROSITY” IN THE LIGHT OF AN EGYPTOLOGICAL HYPOTHESIS

© 2026

Dmitry B. PROUSSAKOV [a]

[a] – Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
ORCID: 0000-0001-6065-4610; dmprusakov@mail.ru

Abstract: *The idea of “generosity” of the British finds a peculiar refraction in their attempt to “renounce” the authorship of a famous hypothesis, belonging to a British Egyptologist, according to which the civilization of Ancient Egypt was founded by a foreign “Dynastic Race”. This diffusionist hypothesis was developed by W.M. Flinders Petrie, who was influenced by the eugenic doctrine of F. Galton, with whom Petrie collaborated, supplying his anthropometric laboratory in London with human bones from his excavations. Historians of science have repeatedly noted the racist views of Petrie, a supporter of eugenics and social Darwinism. In one of his monographs, a British Egyptologist Toby Wilkinson attributed the authorship of the “Dynastic Race” hypothesis to the German anthropologist Hans Winkler, who had only an indirect connection with it (he discovered petroglyphs of large boats in the Eastern Desert of Upper Egypt, which served as the basis for the version of the invasion of Petrie’s “civilizers” into the Nile Valley from the Red Sea coast along Wadi Hammamat). Wilkinson accused Winkler of adherence to Nazi ideology and the use of the concept of “master race”, although it never appears in Winkler’s publications. Moreover, in the 1920s, Winkler was a member of the German Communist party, what led to his dismissal from the University of Tübingen by the Nazis. Behind “generosity” of the British in this absurd concession of national scientific priority, accompanied by distortion of facts and outright lies, one can discern a desire to distance themselves from their politically incorrect theories.*

Keywords: “Dynastic Race” hypothesis, eugenics, racism, history of Egyptology, Galton, Flinders Petrie, Winkler, Wilkinson

For citation: Proussakov D.B. “British Generosity” in the Light of an Egyptological Hypothesis. *Vostok (Oriens).* 2026. No. 5. Pp. 252–259. DOI: 10.31696/S086919080039428-7

«Британцы во все времена считались самой интеллигентной и щедрой нацией, щедрой не только в материальном, но и в эмоциональном и духовном смыслах» [Неклюдова, 2016, p. 1146]. Добровольный отказ от научного приоритета в пользу более очевидного претендента, наверное, можно было бы отнести и к духовной, и к материальной стороне отмеченного в цитате феномена. Споры о том, какой нации и кому лично принадлежит первенство в изобретении паровой машины, электролампочки, радиосвязи и т.п. не кончаются; никто не хотел и не хочет делиться правами на открытия, инновации и даже гипотезы в любой сфере профессиональной и интеллектуальной деятельности, поэтому крайне примечателен явленный современным англичанином и рассматриваемый ниже обратный (хотя и весьма своеобразный) пример в науке пусть не жизненной важности для человечества, но в которой британцы изначально занимали одни из ведущих «учредительских» и академических позиций – в египтологии.

Британцем был «отец египетской археологии» сэр Уильям Мэтью Флиндерс Питри (1853–1942) [Petrie, 1892(2); 1904; 1931; Smith, 1942; Drower, 1985; 2004]. Именно он впервые сформулировал в общих чертах гипотезу «династической расы», лидировавшую в западной египтологии первой половины XX в. среди зарождавшихся представлений

о происхождении цивилизации древнего Египта. Если опустить фактологические и хронологические корректировки, которые она претерпевала в ходе продолжавшихся раскопок (ср.: [Petrie, Quibell, 1896; de Morgan, 1897; Petrie, 1900; 1901; Quibell, 1900; Quibell, Green, 1902; Brunton, Caton-Thompson, 1928; Brunton, 1937] и др.), то согласно ее опорным положениям, некий чужеземный (вероятнее всего, переднеазиатский) народ – «высшая раса, заложившая фундамент египетской истории», «родоначальники египетской династической расы», «оккупационная раса I династии» и т.п. [Petrie, 1892(1), p. 21; 1896, p. 9; Petrie et al., 1913, p. 18] – вторгся в отсталую первобытную долину Нила, принеся с собой «прогрессивные» воззрения, технологии и организацию и став катализатором или непосредственным устроителем силового объединения Верхнего и Нижнего Египта в прочное территориальное государство, возглавленное выдвинувшимися из «элиты» интервентов царями (I династия).

В специальной литературе все чаще пишут, что гипотеза «династической расы» была логическим следствием увлечения Питри «модными» в его время в «мыслящих слоях англо-американского сообщества» евгеническими теориями и практиками британских ученых Ф. Гальтона[1], К. Пирсона и др. (в частности, краниометрией [Petrie, 1887; 1902]), а также его собственных расово-детерминистских и колониалистских взглядов [Petrie, 1906; 1907; 1922], вполне ординарных «в напряженный период расизма в Европе и Америке, предшествовавший Второй мировой войне» [Silberman, 1999; Ramsey, 2004; Sheppard, 2010; Challis, 2013; 2015; Lightbody, 2019]. «Отец евгеники» Гальтон, в свою очередь, был впечатлен «необычайными способностями» молодого Флиндерса Питри, в том числе математическими, и убедил Королевское общество профинансировать его первую большую публикацию «Пирамиды и храмы Гизы» [Petrie, 1883] с результатами их тщательных инструментальных обмеров автором. Спустя три года Гальтон выделил свои личные средства на целевую экспедицию Питри в Египет, предоставившую для текущих евгенических исследований «Фотографии расовых типов на египетских памятниках» [Petrie, 1887] и запечатленную на них коллекцию гипсовых слепков голов представителей разных древних народностей (египтян, кушитов, ливийцев, сирийцев, хеттов, «народов моря» и др.) с гробничных и храмовых каменных рельефов начала Старого – конца Нового царства. В дальнейшем Питри регулярно поставлял в антропометрическую лабораторию Университетского колледжа Лондона, которой руководили Гальтон и (после его смерти в 1911 г.) Пирсон, человеческий костный материал из своих раскопок в Нагаде, Балласе, Абидосе и многих др., исчислявшийся тысячами экземпляров (нижних челюстей, черепов, костей, полных скелетов), и помогал в его статистическом анализе. «Питри не только проявлял особый интерес к биометрии, но и сыграл значительную роль в развитии и реализации евгенических идеалов»; его археологические находки «внесли неоценимый вклад в коллективную практику лаборатории», а взгляды и выводы в целом совпадали с установками основоположников евгеники: «Как и многие его коллеги того времени, Питри в некоторых отношениях был расистом от науки» [Drower, 1985, p. 24, 68; Ramsey, 2004, p. 17; Sheppard, 2010, p. 18–19, 22–24, 29; Challis, 2015, p. 39; Lightbody, 2019].

Историки науки справедливо заключают, что «интеллектуальные корни» селекционистских концепций в духе социал-дарвинизма «неотделимы от общественных, экономических и идеологических реалий Британии девятнадцатого столетия» [Young, 1985, p. 609]. Даже викторианские простолюдины Гальтон (посвященный в рыцари лишь незадолго до кончины) и его сотоварищи по профессионально-социальному классу были «убеждены в своем культурно-расовом превосходстве» [Stocking, 1987, p. 80]; в частности, «отношение

[1] Двоюродного брата и сторонника идей Чарльза Дарвина [Galton, 1869; 1874; 1883; Galton, Schuster, 1906; Gillham, 2001].

Гальтона к еврейскому населению Англии было в значительной степени антисемитским» [Ambridge, 2014, p. 543]. Свое учение он называл «наукой улучшения породы», призванной определить всю совокупность факторов, способствующих тому, чтобы «более подходящие расы или кровнородственные группы имели больше шансов быстро одержать верх над менее подходящими» [Galton, 1883, p. 17]; он прямо заявлял о своей нетерпимости к идее (приемлемой только «в рассказах, написанных для обучения детей доброте»), что все люди на Земле рождаются одинаковыми: «В самой безоговорочной форме я возражаю против претензий на естественное равенство» [Galton, 1869, p. 14]. Далее провозглашалось, что в «дарвиновской борьбе за существование» побеждают наиболее приспособленные нации, причем перспективы здесь за национал-социализмом [Kevles, 1985, p. 23] («научным социализмом» в этой компании единомышленников особенно серьезно увлекался Пирсон [Sheppard, 2010, p. 20]). «В Англии евгенисты намеревались прежде всего “избавиться” от нежелательных членов общества и таким простым способом повысить чистоту национальной “зародышевой плазмы”» [Ramsey, 2004, p. 18]. Британские евгенисты 1930-х гг. рассматривали проекты этнических чисток в гитлеровской Германии «со смешанным чувством восхищения и тревоги», «потому что немцы якобы крали идеи британцев и внедряли их раньше всех» [Searle, 1976, p. 35; Ramsey, 2004, p. 18].

«Евгенические представления Гальтона оказали глубокое влияние на Флиндерса Питри» [Gillham, 2001, p. 308]. Последний полагал, что именно практическая евгеника, умеющая «тщательно отделять лучшие расы и препятствовать дальнейшему смешению», поможет в будущем создать «новую, одаренную цивилизацию на месте старой, непригодной»; принципиально соглашаясь с Гальтоном, Питри допускал вмешательство государства в брачные и семейные отношения, принудительную стерилизацию «худших сортов» женщин и т.п. [Petrie, 1907, p. 89; Petrie, 1922, p. 131; Sheppard, 2010, p. 27–29]. Кульминацией его евгенических размышлений и опытов, которая, по высказывавшимся негативным оценкам, в полной мере воплотила в себе «расистскую природу» творчества Питри [Silberman, 1999, p. 70], стало завещание собственной головы (как следствие «веры в способность черепной коробки отражать расовые и личностные свойства человека» [Challis, 2015, p. 41]) Королевской коллегии хирургов «для дальнейшего научного изучения и в качестве образца типичного британского черепа» [Drower, 1985, p. 424]. Питри вовсе не был «введен в заблуждение» своими старшими партнерами-евгенистами, как иногда пытаются утверждать в его оправдание; он «доверял биометрическим методам и решениям, которые евгеника предлагала для борьбы с пороками общества, и был их сторонником»; по довольно парадоксальному мнению американской исследовательницы К. Шеппард, невзирая ни на какие крайности образа мыслей и действий Гальтона, Питри и им подобных интеллектуалов, «нам не нужно бояться, что репутация наших героев будет запятнана» [Sheppard, 2010, p. 23, 29; 2013, p. 231].

Похоже, однако, что так рассуждают не все англосаксы. В 2003 г. вышла в свет монография известного британского египтолога Тоби Уилкинсона «Происхождение фараонов» [Wilkinson, 2003], где приоритет Флиндерса Питри в измышлении ключевого положения гипотезы «династической расы» – идеологемы ее культурного превосходства и цивилизующей роли в египетском захолустье (а по сути, и в разработке самой гипотезы) – неожиданно «щедро» передавался другому герою. Им оказался немецкий этнолог и антрополог Ханс Винклер, чьи открытия в 1936–1937 гг. доисторических наскальных рисунков (прежде всего петроглифов огромных «морских» лодок) в Восточной пустыне Верхнего Египта [Winkler, 1936; 1938] послужили наглядной материальной основой популярнейшей версии о вторжении «цивилизаторов» Питри (Винклер называл их «восточными захватчиками») в долину Нила по Вади-Хаммамат – здешнему кратчайшему пути к ней через Этбай и

пустыню от побережья Красного моря [Прусаков, 2015, p. 13–22]. По прочтении книги Уилкинсона у неискушенного в теме человека неизбежно сложится впечатление, что «отец египетской археологии» Флиндерс Питри непричастен к идее «династической расы». Автор утверждает, что эта «смелая теория» на самом деле зародилась в голове Винклера, научные взгляды которого испытывали постоянное влияние «мифа об арийской исключительности». Гипотеза создания цивилизации фараонов высокоразвитыми иноземцами гармонировала с мировоззрением, которое, делая упор на природное неравенство людей и целых народов, «соответствовало колониальному мышлению и находило особый отклик в нацистской Германии, где режим все больше увлекался извращенной идеологией расового превосходства». Среди многочисленных петроглифов, скопированных Винклером со скал египетских вади, Уилкинсон выделяет знаки, напоминающие свастику, которые немецкий ученый перерисовывал якобы «с наибольшим усердием». «У современного читателя записных книжек Винклера эта одержимость свастикой вызывает дискомфорт. Нацистская идеология явно запечатлелась в сознании Винклера». Именно он, убеждает нас Уилкинсон, первым заговорил о «расе господ» в контексте предположения об основании цивилизации древнего Египта «не “дикими” африканцами, а просвещенными завоевателями из “арийского” мира на востоке». Повторю: британец Уилкинсон, игнорируя заслуги своего именитого соотечественника Питри и прочие объективные факты, прямо называет эту расовую концепцию «теорией Винклера», идеологическая подоплека которой «привела Европу к краю пропасти» [Wilkinson, 2003, p. 18–26, 147, 187].

В свое время еще К. Бутцер, видный американский (немецкого происхождения) палеогеограф и геоархеолог [Butzer, 1964; 1971; 1976; 1995; 1998; Butzer, Hansen, 1968 и мн. др.], чья антинацистски настроенная католическая семья покинула Германию в 1930-е гг. [Doolittle, 2016, p. 11382], «напрасно искал» в публикациях Винклера с их корректной «нейтральной» антропологической терминологией дефиницию «раса господ» [Butzer, 2004, p. 119], каковая, я подтверждаю, там отсутствует. Зато у британца У. Эмери, младшего коллеги и «преемника» Флиндерса Питри на поприще египетской раннединастической археологии [Emery, 1938; 1939; 1949; 1954; 1958], она фигурирует прямым текстом (“master race”, калька нем. “Herrenvolk”, они же протофараоновские «полубоги истории Манефона» или «спутники» Хора – обожествляемого фараона, «цивилизованная аристократия» и т.п.) [Emery, 1961, p. 39–42, 112, 255]. Немецкий исследователь в данном случае имел все предпосылки не походить на «расистски ориентированных» британских современников-египтологов.

Винклер родился в 1900 г. в Бремерхафене в небогатой семье преподавателя технического училища; в 1917 г. добровольцем ушел в кайзеровскую армию, награжден железным крестом второго класса. После войны в 1919 г. он поступил в Геттингенский, откуда перевелся в Тюбингенский университет, где учился у крупного немецкого востоковеда Энно Литмана (который считал его одним из своих лучших студентов), но из-за нехватки средств был вынужден на время бросить учебу и искать работу. В 1922 г., работая шахтером на калийных рудниках Айслебена, Винклер вступил в коммунистическую партию Германии. Этот факт его биографии, как и брак с армянкой (также состоявшей в КПГ), аукнулся ему после прихода к власти национал-социалистов. В 1933 г. супруги Ханс и Айастан Винклеры были уволены из Тюбингенского университета с лишением преподавательской лицензии. Заступничество ряда немецких ученых и попытки реабилитации в глазах нацистского режима оказались тогда безуспешными «из-за политической и личностной оценки», данной Винклеру эсасовскими кураторами имперского образования[2], и он отбыл в Лондон, приняв

[2] В мемуарной литературе в этой связи упоминается оберштурмбаннфюрер СА Грундиг, «в гражданской жизни безработный ученик кожевника» [Scherzer, 1965, S. 50; Junginger, 1995, S. 96].

предложение возглавить археологическую экспедицию в пустыни Египта, которую задумал и профинансировал богатый британский ученый-химик и любитель «всего египетского» Роберт Монд [Winkler, 1938; 1939]. После смерти Монда в 1938 г. Винклер, не найдя для себя новых возможностей в Англии и опять очутившись «на грани профессионального краха» без средств к существованию, вернулся в Германию (его жена умерла в Женеве в 1937 г.). Благодаря знанию Востока он был зачислен в рейхсминистерство иностранных дел и затем назначен на должность атташе по культуре немецкого посольства в Тегеране, для чего ему пришлось вступить в нацистскую партию; однако «своим» в ней он, похоже, не стал: этому мешало коммунистическое прошлое, вызывавшее к нему недоверие у главарей рейха (в частности, о продлении его испытательного срока в НСДАП перед принятием на госслужбу распорядился лично Борман). После высылки немецких дипломатов из Ирана в 1941 г. Винклер был направлен в североафриканский корпус Роммеля, где служил в ранге зондерфюрера и в наступлении на Египет в 1942 г. получил тяжелое ранение; в 1943 г. он был демобилизован и переведен на дипломатическую работу в Испанию. В 1944 г., узнав о дезертирстве своего двадцатилетнего сына Хайко (впоследствии казненного гестапо), Винклер подал прошение об отправке на фронт простым солдатом (есть основания полагать, что это был не акт «арийского» патриотизма, а способ самоубийства). Согласно официальному уведомлению о смерти, Ханс Винклер погиб 20 января 1945 г. в Польше при обороне Торуня; его тело в условиях сокрушительного удара войск 2-го Белорусского фронта маршала К.К. Рокоссовского «не удалось эвакуировать с поля боя и захоронить» [Junginger, 1995].

Из документальной биографии Винклера отнюдь не явствует, что он был убежденным нацистом и адептом расистской идеологии, как пытается уверить нас Уилкинсон. Его «лояльность» преступному режиму рейха проглядывала разве что в годы дипломатической и военной службы и носила скорее вынужденный характер; в предшествующие времена исследовательской работы в Египте и написания главных научных трудов Винклер и вовсе никакими «свастиками» одержим не был и проевгенических псевдоисторических теорий не строил. По заключению Бутцера, «династическая раса была очень даже британской идеей» [Butzer, 2004, p. 119], неполиткорректность которой в наши дни, очевидно, побудила хозяев «уступить» ее наиболее подходящей, по их мнению, стороне, сложив с себя досадную ответственность. Попутно в научной среде распространена заведомая ложь, искажены факты, оклеветан человек и ученый. Мораль? Как говорят сами британцы: “A leopard can’t change its spots”.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

Неклюдова Е.М. Вербализация концепта «щедрость» в английской языковой картине мира. *Молодой ученый*. 2016. № 8 (112). С. 1145–1148 [Neklyudova E.M. Verbalization of the Concept of “Generosity” in the English Linguistic Worldview. *Young Scientist*. 2016. No. 8 (112). Pp. 1145–1148 (in Russian)].

Прусаков Д.Б. *Додинастический Египет: лодка у истоков цивилизации*. М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2015 [Proussakov D.B. *Predynastic Egypt: A Boat at the Source of the Civilization*. Moscow: Russky fond sodeystviya obrazovaniyu i nauke, 2015 (in Russian)].

Ambridge L. Review: The Archaeology of Race: The Eugenic Ideas of Francis Galton and Flinders Petrie, by Debbie Challis, 2013. London: Bloomsbury. *Cambridge Archaeological Journal*. 2014. Vol. 24. Pp. 543–544.

Brunton G. *Mostagedda and the Tasian Culture. British Museum Expedition to Middle Egypt 1928, 1929*. London: Bernard Quaritch, 1937.

Brunton G., Caton-Thompson G. *The Badarian Civilisation and Predynastic Remains near Badari*. London: British School of Archaeology in Egypt, 1928.

Butzer K.W. *Environment and Archaeology: An Introduction to Pleistocene Geography*. Chicago: Aldine Publishing Company, 1964.

Butzer K.W. *Environment and Archeology: An Ecological Approach to Prehistory*. Chicago: Aldine-Atherton, 1971.

Butzer K.W. *Early Hydraulic Civilization in Egypt: A Study in Cultural Ecology*. Chicago: The University of Chicago Press, 1976.

Butzer K.W. Environmental Change in the Near East and Human Impact on the Land. *Civilizations of the Ancient Near East*. Vol. 1. J.M. Sasson (ed.). New York: Charles Scribner's Sons, 1995. Pp. 123–151.

Butzer K.W. Late Quaternary Problems of the Egyptian Nile: Stratigraphy, Environments, Prehistory. *Paléorient*. 1998. Vol. 23. Pp. 151–173.

Butzer K.W. Rock Engravings Pose Enduring Problems (Review Feature. Genesis of the Pharaohs: Dramatic New Discoveries that Rewrite the Origins of Ancient Egypt, by Toby Wilkinson. London: Thames & Hudson, 2003). *Cambridge Archaeological Journal*. 2004. Vol. 14. Pp. 117–119.

Butzer K.W., Hansen C.L. *Desert and River in Nubia: Geomorphology and Prehistoric Environments at the Aswan Reservoir*. Madison: University of Wisconsin Press, 1968.

Challis D. *The Archaeology of Race: The Eugenic Ideas of Francis Galton and Flinders Petrie*. London: Bloomsbury Academic, 2013.

Challis D. The Petrie Museum of "Race" Archaeology? *Think Pieces: A Journal of the Joint Faculty Institute of Graduate Studies, University College London*. 2015. Vol. 1. Pp. 34–43.

de Morgan J. *Recherches sur les origines de l'Égypte: Ethnographie préhistorique et tombeau royal de Négadah*. Paris: Ernest Leroux, 1897.

Doolittle W.E. Karl W. Butzer: Interdisciplinary Mentor. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*. 2016. Vol. 113. Pp. 11382–11383.

Drower M.S. *Flinders Petrie: A Life in Archaeology*. London: Victor Gollancz Ltd., 1985.

Drower M.S. (ed.). *Letters from the Desert: The Correspondence of Flinders and Hilda Petrie*. Oxford: Aris and Phillips, 2004.

Emery W.B. *The Tomb of Hemaka*. Cairo: Government Press, 1938.

Emery W.B. *Ḥor-Aḥa*. Cairo: Governement Press, 1939.

Emery W.B. *Great Tombs of the First Dynasty I*. Cairo: Government Press, 1949.

Emery W.B. *Great Tombs of the First Dynasty II*. London: Egypt Exploration Society and Oxford University Press, 1954.

Emery W.B. *Great Tombs of the First Dynasty III*. London: Egypt Exploration Society, 1958.

Emery W.B. *Archaic Egypt*. Harmondsworth: Penguin Books, 1961.

Galton F. *Hereditary Genius: An Inquiry into Its Laws and Consequences*. London: Macmillan and Co., 1869.

Galton F. *English Men of Science: Their Nature and Nurture*. London: Macmillan and Co., 1874.

Galton F. *Inquiries into Human Faculty and Its Development*. London: J.M. Dent and Co., 1883.

Galton F., Schuster E. *Noteworthy Families (Modern Science). An Index to Kinships in Near Degrees between Persons Whose Achievements are Honourable, and Have Been Publicly Recorded.* Vol. 1. London: John Murray, 1906.

Gillham N.W. *A Life of Sir Francis Galton: From African Exploration to the Birth of Eugenics*. Oxford: Oxford University Press, 2001.

Junginger H. Das tragische Leben von Hans Alexander Winkler (1900–1945) und seiner armenischen Frau Hayastan (1901–1937). *Bausteine zur Tübinger Universitätsgeschichte*. 1995. Flg. 7. S. 83–110.

Kevles D.J. *In the Name of Eugenics: Genetics and the Uses of Human Heredity*. New York: Knopf, 1985.

Lightbody D.I. Editor's Introduction. *"Wisdom of the Egyptians" by W.M. Flinders Petrie. First Digital Edition.* 2019. AWOL – The Ancient World Online. URL: https://ancientworldonline.blogspot.com/2019/03/wisdom-of-egyptians-by-wm-flinders.html (accessed: 26.08.2026).

Petrie W.M.F. *The Pyramids and Temples of Gizeh*. London: Field & Tuer, 1883.

Petrie W.M.F. *Racial Photographs from the Egyptian Monuments*. London: British Association, 1887.

Petrie W.M.F. *Medum*. London: David Nutt, 1892(1).

Petrie W.M.F. *Ten Years' Digging in Egypt, 1881–1891*. London: The Religious Tract Society, 1892(2).

Petrie W.M.F. *Koptos*. London: Bernard Quaritch, 1896.

Petrie W.M.F. *The Royal Tombs of the First Dynasty. 1900.* Pt. I. London: Egyptian Exploration Fund, 1900.

Petrie W.M.F. *The Royal Tombs of the Earliest Dynasties. 1901.* Pt. II. London: Egyptian Exploration Fund, 1901.

Petrie W.M.F. The Use of Diagrams. *Man*. 1902. Vol. 2. Pp. 81–85.

Petrie W.M.F. *Methods and Aims in Archaeology*. London: MacMillan and Co., 1904.

Petrie W.M.F. *Migrations (The Huxley Lecture for 1906)*. London: Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, 1906.

Petrie W.M.F. *Janus in Modern Life*. New York: G.P. Putnam's Sons, 1907.

Petrie W.M.F. *The Revolutions of Civilisation*. London, New York: Harper and Brothers, 1922.

Petrie W.M.F. *Seventy Years in Archaeology*. London: Sampson Low, Marston and Co., 1931.

Petrie W.M.F., Quibell J.E. *Naqada and Ballas. 1895*. London: Bernard Quaritch, 1896.

Petrie W.M.F., Wainwright G.A., Gardiner A.H. *Tarkhan I and Memphis V*. London: School of Archaeology in Egypt, Bernard Quaritch, 1913.

Quibell J.E. *Hierakonpolis.* Pt. I. London: Bernard Quaritch. 1900.

Quibell J.E., Green F.W. *Hierakonpolis.* Pt. II. London: Bernard Quaritch. 1902.

Ramsey J. Petrie and the Intriguing Idiosyncrasies of Racism. *Bulletin of the History of Archaeology*. 2004. Vol. 14. Pp. 15–20.

Scherzer O. Physik im totalitären Staat. *Deutsches Geistesleben und Nationalsozialismus: eine Vortragsreihe der Universität Tübingen*. A. Flitner (Hrsg.). Tübingen: Rainer Wunderlich Verlag Hermann Leins, 1965. S. 47–58.

Searle G.R. *Eugenics and Politics in Britain, 1900–1914*. Leyden: Noordhoff International Publishing, 1976.

Sheppard K.L. Flinders Petrie and Eugenics at UCL. *Bulletin of the History of Archaeology*. 2010. Vol. 20. Pp. 16–29.

Sheppard K.L. Afterword. *The Archaeology of Race: The Eugenic Ideas of Francis Galton and Flinders Petrie*. D. Challis (ed.) London: Bloomsbury Academic, 2013. Pp. 223–232.

Silberman N.A. Petrie's Head: Eugenics and Near Eastern Archaeology. *Assembling the Past: Studies in the Professionalization of Archaeology*. A.B. Kehoe, M.B. Emmerichs (eds.). Albuquerque: University of New Mexico Press, 1999. Pp. 69–79.

Smith S. Sir Flinders Petrie, 1853–1942. *Proceedings of the British Academy*. 1942. Vol. 28. Pp. 307–324.

Stocking G.W., Jr. *Victorian Anthropology*. New York: The Free Press, 1987.

Wilkinson T.A.H. *Genesis of the Pharaohs: Dramatic New Discoveries Rewrite the Origins of Ancient Egypt*. London: Thames & Hudson, 2003.

Winkler H.A. Felsbilder und Inschriften aus der Ostwüste Oberägyptens. *Forschungen und Fortschritten: Nachrichtenblatt der deutschen Wissenschaft und Technik*. 1936. Bd. 12. S. 237–238.

Winkler H.A. *Rock-Drawings of Southern Upper Egypt I. Sir Robert Mond Desert Expedition, Season 1936–1937, Preliminary Report.* London: Egypt Exploration Society, 1938.

Winkler H.A. *Rock-Drawings of Southern Upper Egypt II (Including 'Uwēnât). Sir Robert Mond Desert Expedition, Season 1937–1938, Preliminary Report.* London: Egypt Exploration Society, 1939.

Young R.M. Darwinism Is Social. *The Darwinian Heritage*. D. Kohn (ed.). Princeton: Princeton University Press, 1985. P. 609–638.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ / INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

ПРУСАКОВ Дмитрий Борисович – доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН, Москва, Россия.

Dmitry B. PROUSSAKOV, DSc (History), Chief Research Fellow, Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia.

ПУБЛИКАЦИИ

DOI: 10.31696/S086919080039544-5

КАМЕННЫЕ КОСМЕТИЧЕСКИЕ СОСУДЫ ИЗ ПОГРЕБЕНИЙ РАННЕГО БРОНЗОВОГО ВЕКА МОГИЛЬНИКА ФАРХОР В ЮЖНОМ ТАДЖИКИСТАНЕ

© 2026

Н.М. ВИНОГРАДОВА [a]

[a] – Институт востоковедения РАН, Москва, Россия
ORCID: 0000-0003-1628-7037; vinogradova.nataliya@gmail.com

Резюме: *В середине – второй половине III тыс. до н.э. на территории Южного Таджикистана формируется местный вариант древнебактрийской культуры, тесно связанной с культурной общностью населения Северного Афганистана. К этой культурной общности относятся раскопанные в последнее десятилетие в Пархаро-Кулябском регионе Хатлонской области земледельческие памятники Фархор и Кангурттут-2. Эти погребальные комплексы вместе с земледельческие могильниками Северного Афганистана (разграбленные погребения) относятся к местному варианту древнебактрийской культуры – пянджиско-фархорской культуре. Могильник Фархор – самый ранний из всех известных погребальных комплексов на юге Таджикистана. В погребальном инвентаре могильника имеются четыре каменных косметических сосуда из богатых захоронений 18, 19, 65 и 82. Косметические сосуды вместе с косметическими палочками из металла или камня встречаются как в женских, так и в мужских «элитных» захоронениях. На Алтын-депе косметические сосуды выявлены только в погребениях девочек и женщин. В Фархоре и Шахри-Сохте подобные сосуды были найдены как в женских, так и мужских могилах. Рентгеновские и магнитно-резонансные исследования итальянских ученых порошка из 13 косметических сосудов в Шахри-Сохте показали содержание косметических веществ во всех сосудах. Список смесей минеральных фаз (природных и, возможно, синтетических) указывает на использование зеленых, синих и белых пигментов. Близкие аналогии каменным флаконам из могильника Фархор имеются на некрополях Алтын-депе, Шахри-Сохте, Гиссар IIIC, Шахдад (некрополь А) и в Северном Афганистане (разграбленные могильники). Столь широкий ареал распространения каменных косметических сосудов свидетельствует о существовании в начале – середине III тыс. до н.э. торгово-обменных отношений между населением этих регионов. Торговый путь мог проходить и около Фархора, где находится удобная переправа через реку Пяндж. Население Фархора могло участвовать в межрегиональных контактах и сырьевой торговле минералами (лазуритом) с соседними территориями.*

Ключевые слова: Таджикистан, Фархор, ранний бронзовый век, могильник, погребальный обряд, косметические сосуды, торговля, лазурит

Для цитирования: Виноградова Н.М. Каменные косметические сосуды из погребений раннего бронзового века могильника Фархор в Южном Таджикистане. *Восток (Oriens).* 2026. № 5. С. 260–269. DOI: 10.31696/S086919080039544-5

STONE COSMETIC VESSELS FROM THE EARLY BRONZE AGE BURIALS OF THE FARKHOR GROUND IN SOUTHERN TAJIKISTAN

© 2026

Natalia M. VINOGRADOVA [a]

[a] – Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
ORCID: 0000-0003-1628-7037; vinogradova.nataliya@gmail.com

Abstract: *In the middle – second half of the 3rd millennium B.C., a local variant of the ancient Bactrian culture emerged in Southern Tajikistan, which includes the sites of Farkhor and Kangurtutt-2 in the Parkharo-Kulyab region of the Khatlon Region. The burial equipment of Farkhor burial ground includes four stone cosmetic vessels from rich burials 18, 19, 65, and 82. Cosmetic vessels, along with metal or stone cosmetic sticks, are found in both female and male "elite" burials. In Altyn-Depe, cosmetic vessels were found only in the burials of girls and women. In Farhor and Shahri-Sokhta, similar vessels were discovered in both female and male graves. X-ray and magnetic resonance studies conducted by Italian scientists on the powder from 13 cosmetic vessels in Shahri-Sokhta revealed the presence of cosmetic substances in all the vessels. The list of mixtures of mineral phases (natural and possibly synthetic) indicates the use of green, blue, and white pigments. Close analogies of the stone flacons from the Farkhor burial ground were found in the necropoleis of Altyn-depe, Shahri-Sokhta, Gissar IIIC, Shahdad (Necropolis A), and Northern Afghanistan (looted burial grounds). This wide distribution of stone cosmetic vessels suggest the existence of trade and exchange relations between the populations of these regions in the early to middle 3rd millennium B.C. The trade route could pass near Farkhor, where a convenient crossing over the Panj River is situated. The population of Farkhor could participate in interregional contacts and trade in raw materials such as lapis lazuli with neighboring territories.*

Keywords: Tajikistan, Farkhor, Early Bronze Age, burial ground, burial rites, cosmetic vessels, trade, lapis lazuli

For citation: Vinogradova N.M. Stone Cosmetic Vessels from the Early Bronze Age Burials of the Farkhor Ground in Southern Tajikistan. *Vostok (Oriens).* 2026. No. 5. Pp. 260–269. DOI: 10.31696/S086919080039544-5

Посвящается светлой памяти Л.Б. Кирчо, первоклассному исследователю памятников эпохи энеолита и средней бронзы Средней Азии

В середине – второй половине III тыс. до н.э. на территории нынешнего Южного Таджикистана формируется местный вариант древнебактрийской культуры, тесно связанной с культурной общностью населения Северного Афганистана. К этой культурной общности относятся раскопанные в последнее десятилетие в Пархаро-Кулябском регионе Хатлонской области земледельческие погребальные памятники Фархор и Кангурттут-2 (*рис. 1*). Учитывая значение этих погребальных комплексов для юга Средней Азии, мы предложили объединить земледельческие памятники (разграбленные могильники Северного Афганистана, Фархор, Кангурттут-2) в единую пянджиско-фархорскую культуру [Виноградова, Бобомуллоев, 2020, с. 94].

Могильник Фархор – самый ранний из всех известных погребальных комплексов на юге Таджикистана. Древний могильник находится на возвышенности Уртобоз в местности

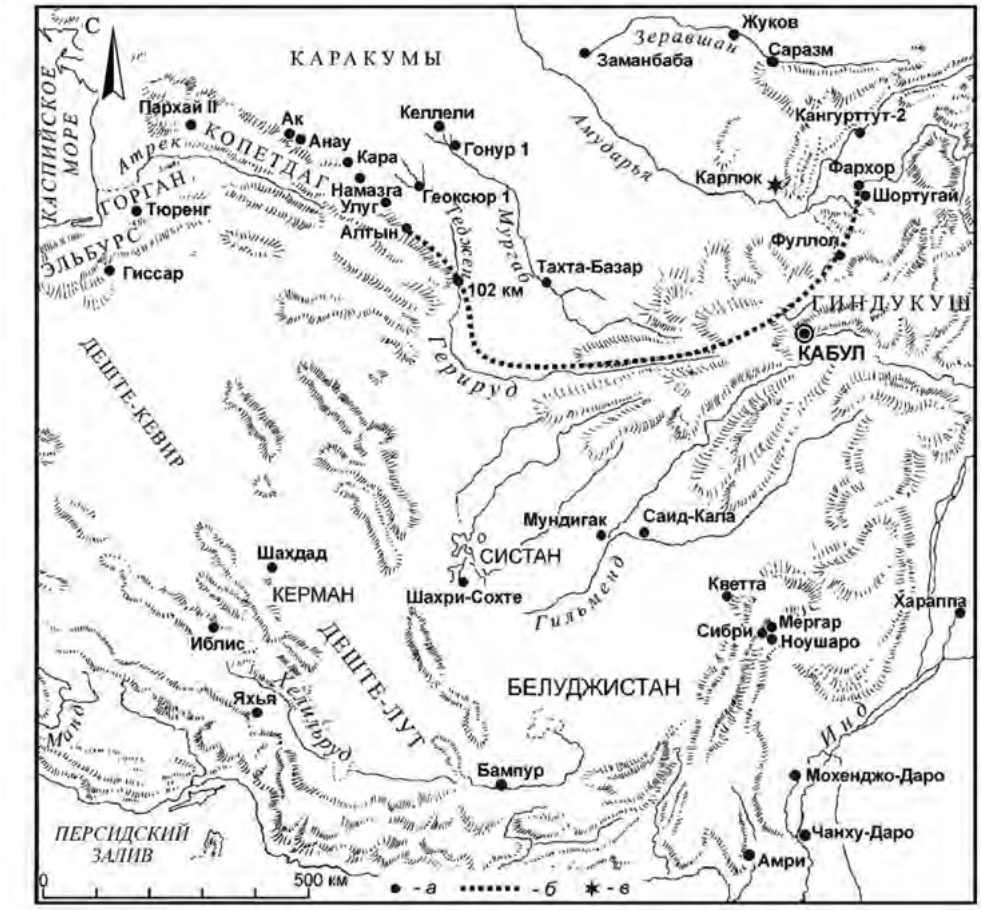


Рис. 1. Схематическая карта Средней Азии и Среднего Востока:
а – памятники конца IV–III тыс. до н.э.; б – предположительные культурные связи;
в – месторождение медового мраморного оникса (по: [Кирчо, 2018, с. 58])
Fig. 1. Schematic map of Central Asia and the Middle East:
a – monuments from the late 4th to 3rd millennium B.C.; b – possible cultural connections;
c – honey marble onyx deposit (based on: [Kircho, 2018, p. 58])

Чилтанбобо на окраине города Пархар. Это южная часть лессового массива Уртабоз на стрелке двух рек – Пянджа и Кызылсу. Все холмы в местности Чилтанбобо сплошь покрыты современными могилами. При устройстве могил были обнаружены многочисленные предметы, датируемые эпохой ранней и средней бронзы.

В настоящее время на могильнике на склонах лессовых холмов, в местах, свободных от современных могил, заложено 14 раскопов и открыто 87 погребений (*рис. 2*).

В погребальном инвентаре могильника особый интерес представляют находки трех каменных косметических сосудов с крышечками в богатых захоронениях 18 и 19 [Виноградова, Бобомуллоев, 2020, с. 26–27]. Ранее в археологической литературе эти предметы функционально обозначались как светильники. Изучение состава вещества, находившегося внутри или на стенках «светильников» и крышек из Шахри-Сохте и Алтын-депе, подтвердило, что эти сосуды предназначались для косметики [Vidale, et al., 2016, p. 19–20].

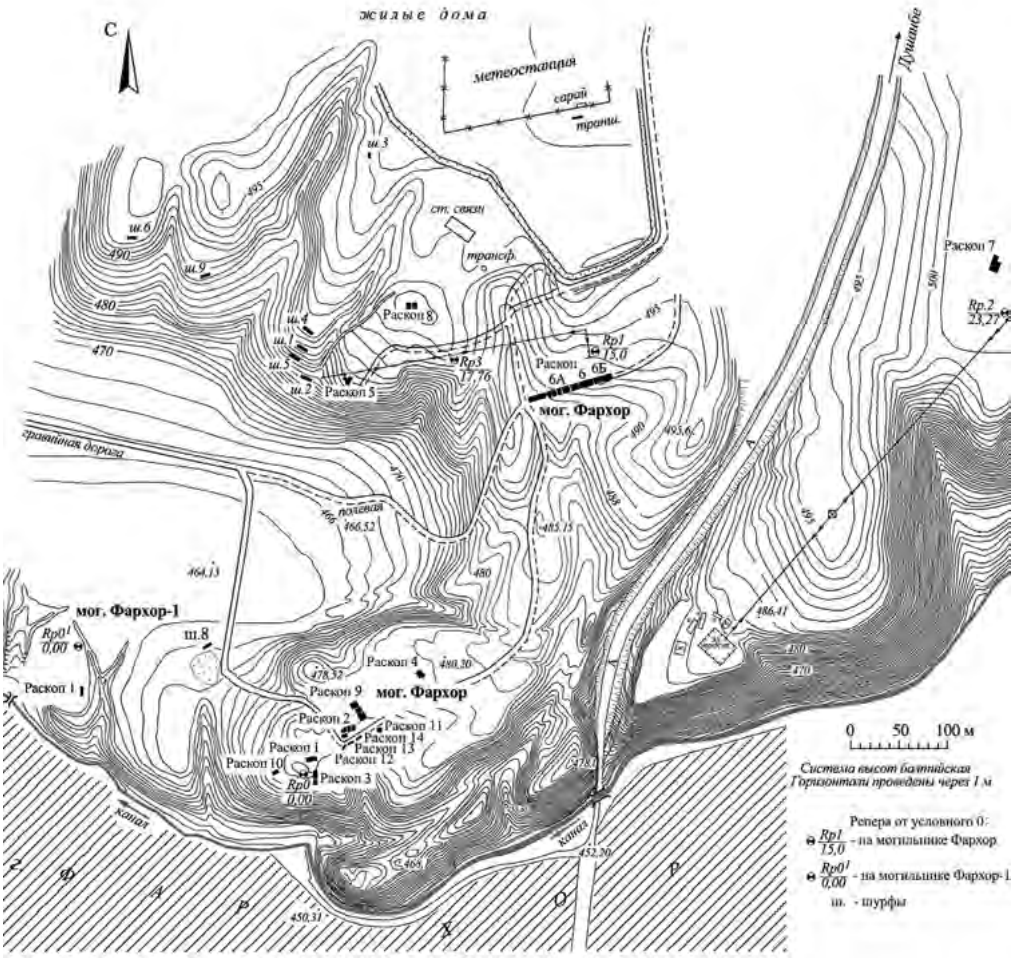


Рис. 2. Могильник Фархор. Топографический план (2013–2025 гг.)
Fig. 2. Farkhor burial ground. Topographic plan (2013–2025)

В порошке из Алтын-депе была найдена светло-зеленая краска на основе карбонатов свинца [Кирчо, 2018(1), с. 25].

В женском погребении (могила 18) за спиной скелета были расчищены косметический сосуд и рядом с ним – косметическая бронзовая палочка с навершием в виде лопаточки (*рис. 3*[1], *4.5*). Другой косметический флакон вместе с металлической косметической лопаточкой был найден в мужском захоронении (могила 19) у колен скелета (*рис. 5, 6.1*). Третий сосуд был обнаружен в мужском захоронении (могила 65) рядом с фалангами пальцев левой ноги (*рис. 7, 8.2; 9.2*). Рядом лежала косметическая лопаточка из камня – родусита (*рис. 8.1, 9.1*).

Все каменные флаконы изготовлены из мягкого минерала – гипса и однотипны по форме и орнаментации. Это вытянутые вверх параллелепипеды, прямоугольные в сечении, с небольшим высверленным отверстием в центре верхней части сосуда. Крышки флаконов

[1] Рис. 3, 5, 7, 9–11 см. на цветной вклейке.

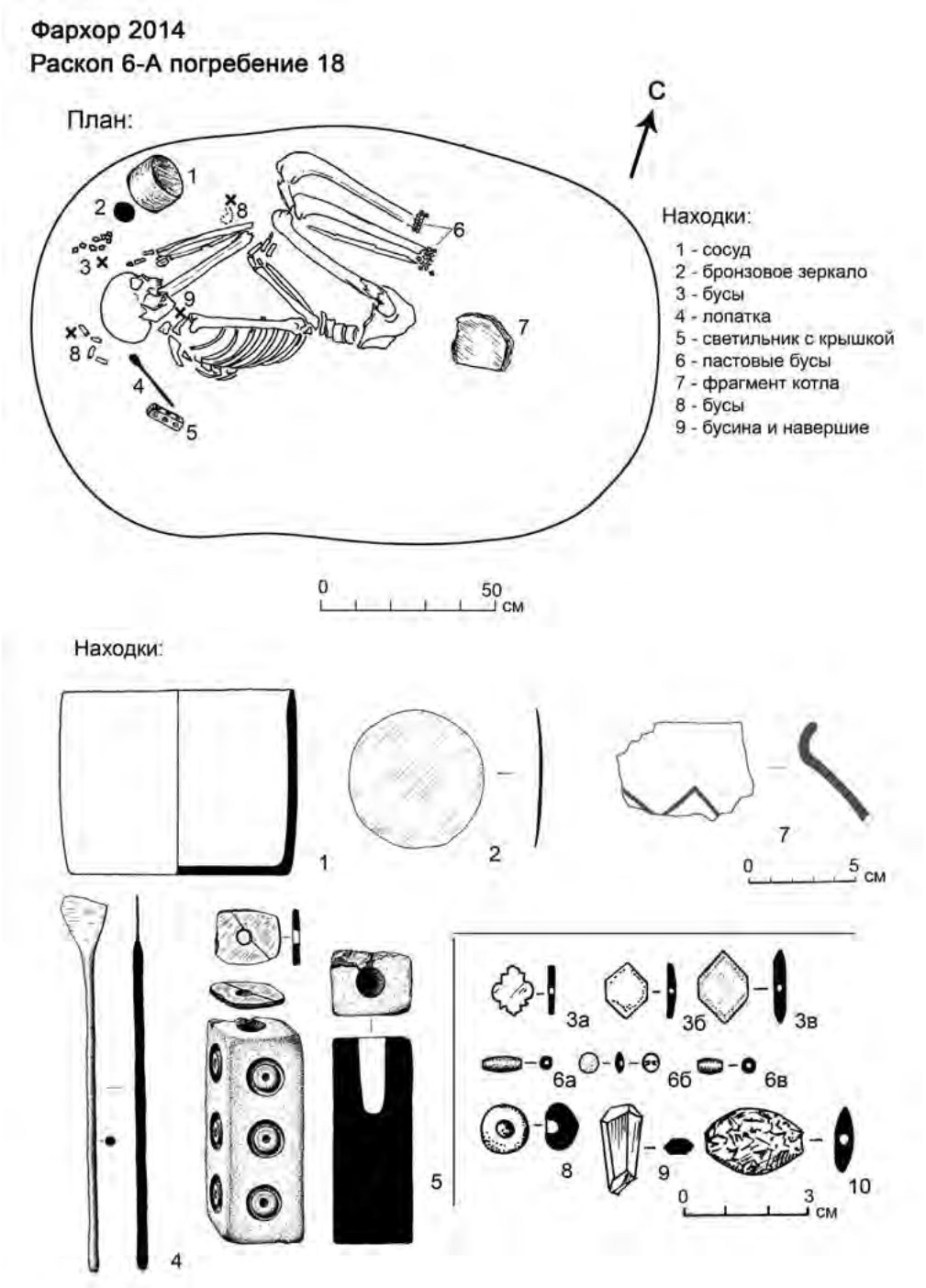


Рис. 4. Могильник Фархор. Раскоп 6А. Погребение 18. План и погребальный инвентарь
Fig. 4. Farkhor burial ground. Excavation 6A. Burial 18. Plan and burial equipment

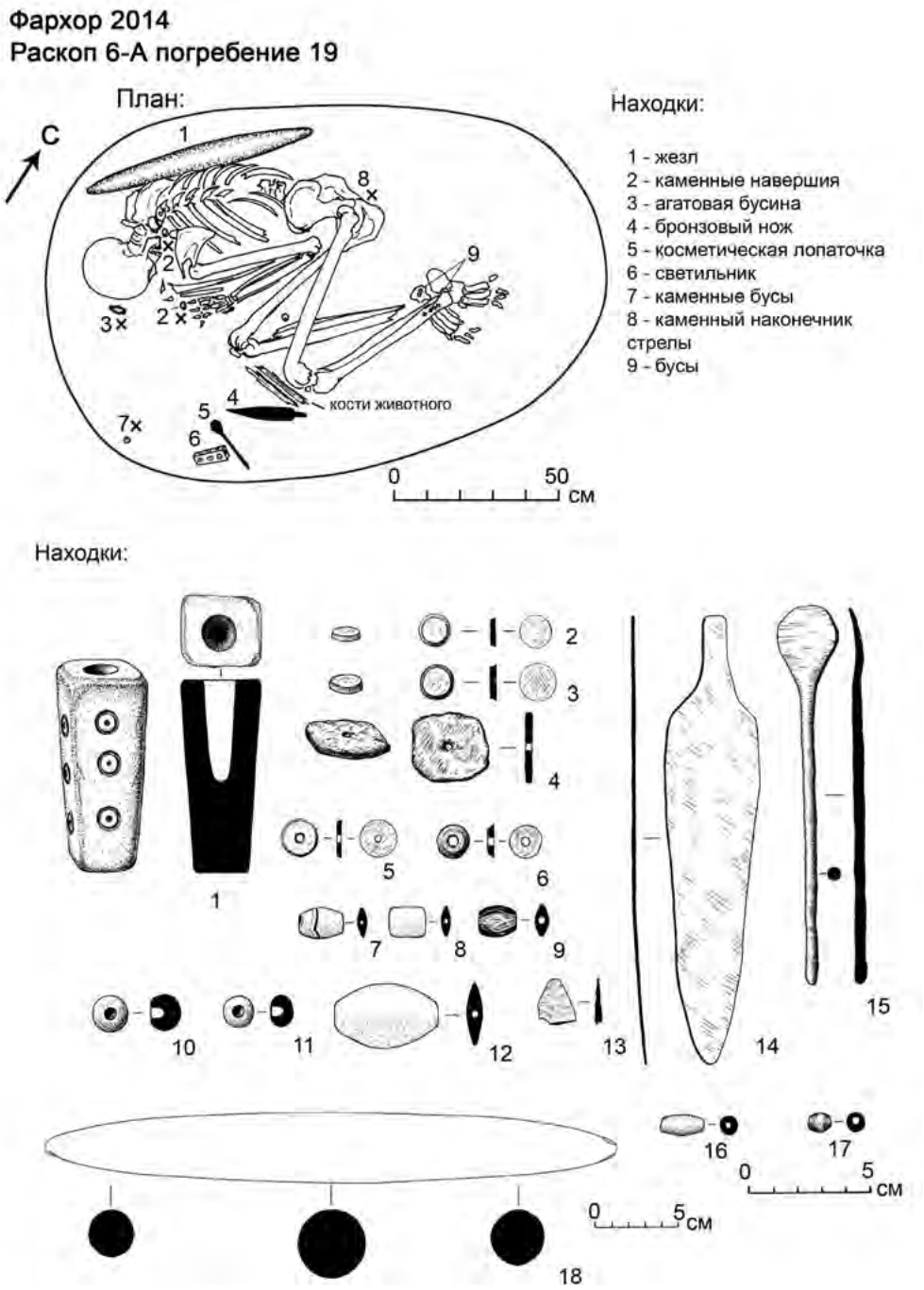


Рис. 6. Могильник Фархор. Раскоп 6А. Погребение 19. План и погребальный инвентарь
Fig. 6. Farkhor burial ground. Excavation 6A. Burial 19. Plan and burial equipment

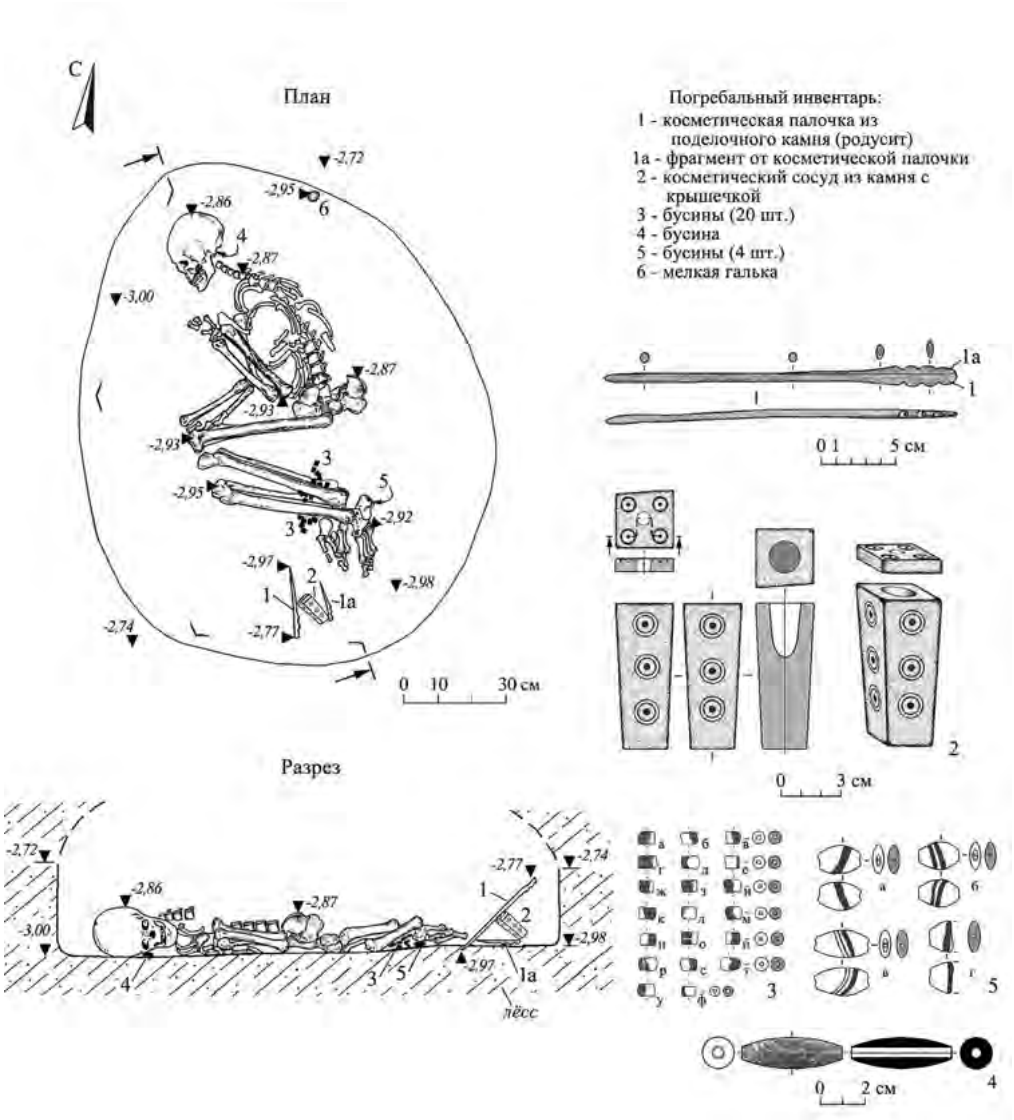


Рис. 8. Могильник Фархор. Раскоп 3. Погребение 65. План и погребальный инвентарь
Fig. 8. Farkhor burial ground. Excavation 3. Burial 65. Plan and burial equipment

плоские, подквадратной формы, с отверстием небольшого диаметра в центре. На стенках косметических сосудов со всех четырех сторон имеются изображения трех прорезанных кружков с точкой в центре. Наиболее близкие аналогии нашему флакону можно найти на Алтын-депе – в погребении 828 времени ранней Намазги IV [Кирчо, 2005, с. 350, рис. 4.23]. На квадратном в поперечном сечении сосуде, на каждой его стороне изображен орнамент из четырех прорезанных кружков с точкой в центре. Г.Ф. Коробкова после изучения этого сосуда под микроскопом установила, что кружки прорезаны циркульным резцом [Кирчо, 2014, с. 70]. По заключению Л.Б. Кирчо, косметические сосуды на Алтын-депе представлены почти исключительно в погребениях и культурных слоях ранней бронзы (на раннем

этапе средней бронзы найден единственный экземпляр в погребении 893) и являются типичным признаком комплекса времени Намазга IV [Кирчо, 2005, с. 452].

На стенках каменных косметических флаконов памятников Ирана, Южного Туркменистана и Афганистана часто имеются изображения прорезанных кружков: Гиссар IIIC [Schmidt, 1937, p. 217, fig. 130, pl. LX, H3498], Шахдад – некрополь A [Hakemi, 1997, p. 618–619], из разграбленных могил в Северном Афганистане [Amiet, 1977, p. 97, fig. 7.4].

Во время раскопок весной 2025 г. на могильнике Фархоре в разграбленном погребении 82 был найден еще один косметический сосуд из белого гипса иной формы [Виноградова, 2026, с. 25]. К сожалению, по сохранившимся костям не удается определить пол погребенного здесь человека. Сосуд представляет собой изделие кубической формы с выраженным раструбообразным горлом и отогнутом наружу подтреугольным венчиком (*рис. 10.А1*). На его внешней поверхности имеется орнамент в виде вертикальных желобков. Подобные флаконы с кубическим резервуаром найдены на Алтын-депе в погребении 828 в слоях позднего энеолита [Кирчо, 2005, табл. 132.1].

На могильнике Фархор встречались косметические палочки из серебра и бронзы, но каменная косметическая палочка появляется впервые. Аналогий подобной форме среди известных памятников эпохи бронзы в Средней Азии, Иране и Афганистана не найдено, за исключением бронзовой косметической палочки из Шахри-Сохте в фондах музея Цивилизации и Музея восточного искусства в Риме[2].

Еще один косметический сосуд без крышки в форме т.н. «факела» (*рис. 11* (справа)) найден в женском погребении могильника раннебронзового века Кангурттут-2 [Виноградова, Бобомуллоев, 2020, с. 194–195]. Многочисленные аналогии этой форме сосуда имеются также в Северном и Южном Афганистане [Кирчо, 2018(1), с. 23, рис. 2.7], Алтын-депе [Кирчо, 2005, табл. 116.6, 134.13, 135.9] и в Шахри-Сохте [Vidali et al., 2016, p. 3, fig. 2].

Представленные выше материалы из могильника Фархор позволяют заключить, что косметические сосуды вместе с косметическими палочками помещали как в женские, так и в мужские «элитные» захоронения. На Алтын-депе косметические сосуды встречаются только в погребениях девочек и женщин; в Шахри-Сохте подобные сосуды были найдены и в женских, и в мужских захоронениях.

Итальянскими учеными во главе с Массимо Видали были проведены рентгеновские и магнитно-резонансные исследования порошка из 13 косметических сосудов в Шахри-Сохте [Vidali et al., 2016]. Во всех флаконах содержались косметические вещества. Удивительно разнообразный список смесей минеральных фаз (природных и, возможно, синтетических) указывает на использование зеленых, синих и белых пигментов. Итальянские исследователи констатируют отсутствие красных компонентов, которые могли бы быть получены из относительно распространенных базовых материалов, таких как гематит и охра. Также нет никаких свидетельств о лазурите – камне, импортированном из рудных районов Бадахшана, который мог бы использоваться в качестве синего косметического пигмента.

На основании вышеприведенных аналогий косметических сосудов в погребальном инвентаре могильников Фархор, Алтын-депе и Шахри Сохте можно прийти к выводу о существовании древнейших торгово-обменных отношений между населением этих памятников в эпоху ранней и средней бронзы. По заключению Л.Б. Кирчо близкие соответствия в наборах погребального инвентаря конца IV – первых веков III тыс. до н.э. Южного Туркменистана и захоронений эпохи бронзы Южного Таджикистана не могли носить случайный характер. Эти аналогии и появление изделий из лазурита на памятниках северной подгорной зоны Копетдага в конце среднего энеолита (Намазга II, около 3300-х гг.

[2] Shahr-Sokhta, Sistan, Iran, Museo delle Cività – Museo d'Arte Orientale (Mu-CIV MAO), Rome, inv. no. 8927.

до н.э.) позволяют предполагать существование древнейшего торгово-обменного пути на восток уже в последних веках IV тыс. до н.э. Этот путь шел вверх по течению реки Теджен (Герируд), истоки которой находятся в горах Северо-Восточного Афганистана, где расположены месторождения лазурита, или вдоль северных склонов невысоких хребтов на севере Афганистана (*рис. 1*). Торговый путь мог проходить и около Фархора, где находится удобная переправа через реку Пяндж, открывающая дорогу к богатым минералами горам Таджикистана [Кирчо, 2018(2), с. 56].

В настоящее время ближайшая к Фархору переправа имеется у кишлака Кокул (раннее Мол), откуда еще в древние времена торговцы могли ехать в Толукан и Балх [Виноградова, 2025, с. 11–25]. Расстояние между Балхом и Пархаром составляет 230 км. Население пянджско-фархорской культуры могло участвовать в межрегиональных контактах и сырьевой торговле минералами (лазуритом) с соседними территориями (Алтын-депе в Южном Туркменистане) и в северном направлении с Зерафшанской долиной (могильник Заманбаба, Саразм IV).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

Виноградова Н.М. Культурные контакты древнего населения Южного Таджикистана в III – начале II тыс. до н.э. *Археологические Вести.* 2025. Вып. 46. С. 11–22 [Vinogradova N.M. Cultural contacts of the early population of South Tajikistan in the III – beginning of the II millennium BC. *Archaeological News.* 2025. Iss. 46. Pp. 11–22 (in Russian)].

Виноградова Н.М. *Новые исследования погребальных памятников эпохи энеолита и бронзового века в Таджикистане (конец IV – начало II тыс. до н.э.).* М.: ИВ РАН, 2026 [Vinogradova N.M. *New studies of burial monuments of the Chalcolithic and Bronze Age in Tajikistan (late 4th – early 2nd millennium B.C.).* Moscow: IOS RAS, 2026 (in Russian)].

Виноградова Н.М., Бобомуллоев С. *Могильник Фархор – памятник эпохи ранней и средней бронзы в Юго-Западном Таджикистане*. М.: ИВ РАН, 2020 [Vinogradova N.M., Bobomulloev S. *Farkhor burial ground – a monument of the Early and Middle Bronze Age in Southwestern Tajikistan.* Moscow: IOS RAS, 2020 (in Russian)].

Кирчо Л.Б. Погребальный инвентарь Алтын-депе. *Хронология эпохи позднего энеолита – средней бронзы Средней Азии (погребения Алтын Депе).* СПб.: Нестор-История, 2005. С. 347–421 [Kircho L.B. Burial equipment of Altyn-Depe. *Chronology of the Late Eneolithic – Middle Bronze Age of Central Asia (burials of Altyn-Depe).* Saint Petersburg: Nestor-Istoriya, 2005. Pp. 347–421 (in Russian)].

Кирчо Л.Б. Изделия из камня и источники сырья в период ранней бронзы (по данным Алтын-депе, Южный Туркменистан). *Археология древних обществ Евразии: хронология, культурогенез, религиозные воззрения. Памяти Вадима Михаайловича Массона (03.05.1929–19.02.2010).* Отв. ред. В.А. Алёкшин. СПб.: ИИМК РАН; Арт-Экспресс, 2014. С. 62–85 [Kircho L.B. Stone products and sources of raw materials in the Early Bronze Age (based on the data from Altyn-Depe, Southern Turkmenistan). *Archaeology of ancient Eurasian societies: chronology, cultural genesis, religious beliefs. In memory of Vadim Mikhaylovich Masson (03.05.1929–19.02.2010).* V.A. Alekshin (ed.) Saint Petersburg: Institute of the History of Material Culture RAS; Art-Express, 2014. Pp. 62–85 (in Russian)].

Кирчо Л.Б. О функции так называемых каменных светильников эпохи бронзы на юге Центральной Азии и Среднем Востоке. *Записки Института истории материальной культуры РАН.* 2018(1). Вып. 18. С. 20–27 [Kircho L.B. On the function of so called stone lamps from the Bronze Age of South Central Asia and Middle East. *Transactions of the Institute for the History of Material Culture.* 2018 (1). Iss. 18. Pp. 20–27 (in Russian)].

Кирчо Л.Б. Путь на восток (контакты Южного Туркменистана и Южного Таджикистана в III тыс. до н.э.). *Записки Института истории материальной культуры РАН*. 2018(2). Вып. 19. С. 56–69

[Kircho L.B. Road to the East (contacts between South Turkmenistan and South Tajikistan in the III millennium B.C.). *Transactions of the Institute for the History of Material Culture.* 2018(2). Iss. 19. Pp. 56–69 (in Russian)].

Amiet P. Bactriane proto-historique. *Syria.* 1977. T. 54. Fasc. 1–2. Pp. 89–121.

Hakemi A. *Shahdad. Archaeological Excavations of a Bronze Age Center in Iran.* Rome, Oxford: IsMeo, IBH Publishing Co, 1997.

Schmidt E.F. *Excavations at Tepe Hissar, Damghan.* Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1937.

Vidale M., Salviulo G., Zorzi F., Mocchiutti I. Cosmetics and cosmetology at Shahr-i Sokhta. *Iran.* 2016. Vol. 54 (2). Pp. 1–24.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ / INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

ВИНОГРАДОВА Наталия Матвеевна – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, Москва, Россия.

Natalia M. VINOGRADOVA, PhD (History), Senior Research Fellow, Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia.

Иллюстрации к статье Н.М. Виноградовой



Рис. 3. Могильник Фархор. Раскоп 6А. Погребение 18
Fig. 3. Farkhor burial ground. Excavation 6A. Burial 18



Рис. 5. Могильник Фархор. Раскоп 6А. Погребение 19
Fig. 5. Farkhor burial ground. Excavation 6A. Burial 19



Рис. 7. Могильник Фархор. Раскоп 3. Погребение 65
Fig. 7. Farkhor burial ground. Excavation 3. Burial 65



Рис. 9. Могильник Фархор. Раскоп 3. Погребение 65. Погребальный инвентарь:
1 – косметическая палочка из родусита, 2 – косметический сосуд из гипса,
3 – бусины из известняка, 4 – агатовая бусина; 5 – бусины из гипса
Fig. 9. Farkhor burial ground. Excavation 3. Burial 65. Burial equipment:
1 – cosmetic rodusite stick, 2 – cosmetic vessel of gypsum, 3 – beads of limestone, 4 – agate bead;
5 – gypsum beads





Рис. 10. Могильник Фархор. Раскоп 13. Погребение 82: А – погребальный инвентарь: 1 – сосуд из гипса; 2–5 – бусины; Б – бусины из агата (2), известняка (3), бирюзы (4) халцедона (5)

Fig. 10. Farkhor burial ground. Excavation 13. Burial 82: A – burial equipment: 1 – gypsum vessel; 2–5 – beads; B – beads made of agate (2), limestone (3), turquoise (4), and chalcedony (5)



Рис. 11. Могильник Кангурттут-2. Раскоп 1. Каменные сосуды из погребений 4 и 5
Fig. 11. Kanguurtut-2 burial ground. Excavation 1. Stone vessels from burials 4 and 5

DOI: 10.31696/S086919080039902-9

КОЛЛЕКЦИЯ МАГОМЕД-ГАЛИБА САДЫКИ В ИНСТИТУТЕ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ РАН: РУКОПИСИ И ДОКУМЕНТЫ ЮЖНОГО ДАГЕСТАНА XIX–XX вв.[1]

© 2026

Т.А. АНИКЕЕВА [a], И.А. ЧМИЛЕВСКАЯ [b]

[a] – Институт востоковедения РАН, Москва, Россия
ORCID: 0000-0002-0653-3970; tatiana.anikeeva@gmail.com
[b] – Институт иранистики Австрийской Академии наук, Вена, Австрия
ORCID: 0000-0002-9362-8977; ilonach1905@mail.ru

Резюме: *Статья посвящена коллекции рукописей, документов и старопечатных книг, принадлежавших известному дагестанскому ученому-арабисту и собирателю рукописей Магомед-Галибу Мухиддиновичу Садыки (1918–2000). Осенью 2025 г. собрание было передано в Центр исламских рукописей ИВ РАН. В настоящий момент оно полностью атрибутировано, но его подробное описание и частичная оцифровка продолжаются. Коллекция М.-Г.М. Садыки объединяет множество документов и рукописей из различных разрозненных частных и мечетных собраний Южного Дагестана преимущественно XIX – начала XX вв. В ней присутствуют как довольно распространенные в частных коллекциях списки сочинений на арабском языке, так и тексты, имеющие непосредственное отношение к истории региона; имеются также рукописи и книги на тюркском языке, что является яркой отличительной особенностью письменной культуры Южного Дагестана относительно других регионов республики. Особое место в коллекции занимают материалы, относящиеся к творчеству и биографии поэта Етима Эмина (1841–1880) – одного из основоположников письменной лезгинской литературы нового времени. Эти материалы отражают целенаправленный характер собирательской деятельности М.-Г.М. Садыки. Основное внимание в статье уделено корпусу правовых документов, насчитывающему более семидесяти писем и отдельных текстов, преимущественно относящихся к 1860–1890-м гг. Значительная их часть связана с деятельностью Ялцугского сельского суда и позволяет проследить практики рассмотрения имущественных, наследственных и семейных споров, а также взаимодействие сельской судебной инстанции с окружной администрацией в период, когда новая правовая система получила распространение в крае. Документы демонстрируют постепенную интеграцию имперских административно-судебных норм в локальную правовую практику, а также представляют собой набор микро-кейсов, позволяющих исследовать трансформацию правовой культуры мусульман «снизу». Коллекция М.-Г.М. Садыки представляет ценный источник для изучения повседневной истории Южного Дагестана, локальных правовых практик, документооборота сельских судов и региональной интеллектуальной традиции XIX в.*

Ключевые слова: Южный Дагестан, книжная культура, Магомед-Галиб Садыки, частные рукописные коллекции, Етим Эмин, судебные дефтеры, сельские суды

[1] Авторы статьи выражают глубокую признательность дочерям М.-Г.М. Садыки – Н.М.-Г. Кочеровой и Ф.М.-Г. Садыки, а также Н.А. Абдугамидову за доверие и передачу коллекции в Институт востоковедения РАН и содействие в сохранении собранного М.-Г.М. Садыки рукописного наследия Южного Дагестана.

Для цитирования: Аникеева Т.А., Чмилевская И.А. Коллекция Магомед-Галиба Садыки в Институте востоковедения РАН: рукописи и документы Южного Дагестана XIX–XX вв. *Восток (Oriens)*. 2026. № 5. С. 270–279. DOI: 10.31696/S086919080039902-9

THE COLLECTION OF MAGOMED-GALIB SADYKI AT THE INSTITUTE OF ORIENTAL STUDIES OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES: MANUSCRIPTS AND DOCUMENTS FROM SOUTHERN DAGESTAN, 19TH–20TH CENTURIES[2]

© 2026

Tatiana A. ANIKEEVA [a], Ilona A. CHMILEVSKAIA [b]

[a] – Institute of Oriental Studies, RAS, Moscow, Russia;
ORCID: 0000-0002-0653-3970; tatiana.anikeeva@gmail.com
[b] – Institute of Iranian Studies, Austrian Academy of Sciences, Vienna, Austria
ORCID: 0000-0002-9362-8977; ilonach1905@mail.ru

Abstract: *The article examines the collection of manuscripts, documents, and early printed books that belonged to the Dagestani Arabist scholar and manuscript collector Magomed-Galib Mukhiddinovich Sadyki (1918–2000). In autumn 2025, the collection was transferred to the Center of Islamic Manuscripts of the Institute of Oriental Studies RAS. The collection has been catalogued, while detailed description and partial digitization are ongoing. The collection of M.-G.M. Sadyki brings together documents and manuscripts from dispersed private and mosque collections in Southern Dagestan. It includes both common Arabic works and texts related to regional history. It contains manuscripts and books in Turkic, characteristic of Southern Dagestan's written culture. Materials concerning the work and biography of the Lezgin poet Etim Emin (1841–1880) occupy a special place and reflect the deliberate nature of Sadyki's collecting activities. The article focuses primarily on a corpus of legal documents comprising more than seventy letters and texts, dating from the 1860s–1890s. A part is connected with the Yaltsug rural court and traces practices of adjudicating property, inheritance, and family disputes, as well as interactions between the rural court and district administration during the spread of the legal system in the region. These documents demonstrate the integration of imperial judicial norms into local legal practice and provide micro-cases for studying transformations in Muslim legal culture from below. The collection of M.-G.M. Sadyki is an important source for studying the everyday history of Southern Dagestan, legal practices, rural court record-keeping, regional intellectual traditions, and documentary heritage in the 19th century.*

Keywords: Southern Dagestan, book culture, Magomed-Galib Sadyki, private manuscript collections, Etim Emin, judicial registers (*defters*), rural courts

For citation: Anikeeva T.A., Chmilevskaya I.A. The Collection of Magomed-Galib Sadyki at the Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences: Manuscripts and Documents from Southern Dagestan, 19th–20th Centuries. *Vostok (Oriens)*. 2026. No. 5. Pp. 270–279. DOI: 10.31696/S086919080039902-9

[2] The authors of the article express their deep gratitude to the daughters of M.-G.M. Sadyki, Nayilya M.-G. Kocherova and Fayilya M.-G. Sadyki, as well as to Nizami A. Abdugamidov, for their trust and for donating the collection to the Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences, as well as for their assistance in preserving the manuscript heritage of Southern Dagestan collected by M.-G.M. Sadyki.

КОЛЛЕКЦИЯ М.-Г.М. САДЫКИ

Центр исламских рукописей ИВ РАН продолжает работу над составлением описаний и каталогизации имеющихся арабских, персидских и тюркских рукописей собрания ИВ РАН, включая новые поступления. В числе последних – коллекция рукописей и книг, связанная с именем известного ученого-арабиста Магомед-Галиба Мухиддиновича Садыки (1918–2000). Это собрание содержит рукописи, документы (прежде всего, разнообразные письма) на арабском, тюркском и лезгинском языках в арабской графике – в том числе многочисленные образцы поэзии Етима Эмина (1841–1880).

Магомед-Галиб Мухиддинович Садыки родился в феврале 1918 г. в селении Ашага-Стал (ныне в Сулейман-Стальском районе Дагестана)[3]. Его отец получил традиционное образование и знал арабский язык; закончив учительские курсы, преподавал в школе, был репрессирован и расстрелян в 1937 г. (впоследствии реабилитирован). М.-Г.М. Садыки закончил Дагестанский педагогический институт (в 1957 г. педагогический институт был преобразован в Дагестанский государственный университет), преподавал в школе, а с 1958 г. стал преподавателем арабского языка в Дагестанском государственном университете. Темой кандидатской диссертации, защищенной М.-Г.М. Садыки в 1969 г., стало творчество лезгинских поэтов XVII–XIX вв. (Мирза-Али ал-Ахти, Мухаммада ал-Йараги и др.) на арабском и тюркском языках [Садыки, 1969].

Особое внимание в своей исследовательской деятельности М.Г.-М. Садыки уделял наследию Етима Эмина, основоположника литературы на лезгинском языке[4]: «По сути, наши сегодняшние представления об Эмине и его творчестве сложились прежде всего благодаря стараниям и трудам Г.М. Садыки, а после они лишь уточнялись, существенно не меняясь» [Кюреви, 2020]. Очевидно, и свою рукописную коллекцию М.-Г.М. Садыки целенаправленно пополнял документами, связанными с Етимом Эмином. Собирание рукописей являлось еще одним важным направлением деятельности М.-Г.М. Садыки, что подчеркивается почти во всех публикациях, посвященных ему: «В советское время он без устали ездил в самые отдаленные районы республики в поисках, заброшенных и истлевающих в старых мечетях и склепах рукописей» [Албанви, 2020].

После смерти ученого в 2000 г. значительная часть его архива находилась у его ближайших родственников – дочерей, пока не была передана в Центр исламских рукописей Института востоковедения РАН. Собранная М.-Г.М. Садыки коллекция ранее уже привлекала внимание исследователей – прежде всего в контексте биографии и поэтического творчества Етима Эмина: документы этого собрания в том числе легли в основу исследований Мансура Кюреви (Н.А. Абдугамидова) [Кюреви, 2020].

Пока судить о точных хронологических границах архива М.-Г.М. Садыки сложно, так как его изучение в Центре исламских рукописей только начато. Однако значительное количество документов, книг, рукописей и писем относится ко второй половине XIX – началу

---

[3] К сожалению, на русском языке книг и статей о жизни и деятельности М.-Г.М. Садыки пока немного.

[4] Етим Магомед-Эмин (1840–1880) – лезгинский поэт XIX в., один из основоположников письменной лезгинской литературы нового времени. Писал на тюрки и лезгинском языках в арабской графике, владел арабским языком. Биография Етима Эмина традиционно реконструируются на основании его поэтических произведений и редких сохранившихся документов – посемейных списках, переписках и проч. Етим Эмин родился в селении Ялцуг, куда на должность кади был назначен его отец Севзихан. Начальное образование получил в мактабе при Ялцугской мечети. Позднее он продолжил занятия в медресе Абдуллаха-эфенди в Алкадаре и обучался индивидуально у Исмаила-эфенди в Яраге. В 1868 г., после имперских административных преобразований в Кюринском округе, он занял должность *кади* Ялцугского сельского суда, где служил приблизительно до 1876 г. В 1877 г., несмотря на тяжелое состояние здоровья, поддержал восстание против имперской власти. Скончался Етим Эмин в 1880 г. в родном селении. Подробнее см.: [Кюреви, 2020; Чмилевская, 2026].

XX вв. Очевидно, что коллекция М.-Г.М. Садыки объединяет множество документов и рукописей из различных разрозненных ко времени его работы и, вероятно, утраченных дагестанских частных коллекций манускриптов. На сегодняшний день достоверно установить источники пополнения коллекции М.-Г.М. Садыки достаточно непросто и вряд ли возможно – по ряду владельческих надписей на книгах и рукописях его архива можно лишь предположить довольно широкий охват селений различных районов Южного Дагестана (например, Чувек, Ялцуг, Рутул[5] и др.), где работал ученый и откуда происходили рукописи.

В той части коллекции М.-Г.М. Садыки, что была передана в Центр исламских рукописей ИВ РАН, присутствуют и довольно часто встречающиеся в частных коллекциях арабографичных рукописей Дагестана списки сочинений на арабском языке («Шарх джам‘ ал-джавами‘» ал-Махалли, «Шарх Силк ал-‘айн», выписки из сочинения крупного дагестанского ученого Абу Бакра ал-Аймаки (1711–1799) и др.), и разнообразные тексты магического характера / амулеты, и, наконец, тексты, имеющие непосредственное отношение к истории региона: например, перечень домов/хозяйств селения Ухул[6] на арабском языке, местные судебные дефтеры (в основном из селения Ялцуг) и др.

Некоторая часть собрания М.-Г.М. Садыки представлена старопечатными книгами и рукописями на тюркском языке. Мы уже отмечали [Аникеева, 2026], что значительный пласт литературы на тюрки в рукописных коллекциях Южного Дагестана занимают разнообразные сборники молитв, мунаджатов и проповедей (хутбы), мавлиды, рассказы о пророках (*кысас ал-анбийа’*), переписанные также в Дагестане. Печатные книги и литографии на тюркском языке в Южном Дагестане в основном представлены турецкими изданиями, которые, скорее всего, экспортировались в регион через Ширван, в меньшей степени – местной продукцией (издания типографии М.-М. Мавраева, типо-литографии А.М. Михайлова в Петровске). В качестве примера можно привести литографию «Мухаммадийи» Мехмеда Языджиоглу[7] среди книг коллекции Садыки, изданную в 1324 г.х./1906 г. в типографии «Хюрриет» («Дар Саадет») в Стамбуле. В предыдущих публикациях [Аникеева, Чмилевская, 2023] мы уже обращали внимание на тот факт, что присутствие тюркоязычных материалов в рукописных собраниях Южного Дагестана позволяет говорить об особенностях интеллектуальной традиции в микрорегионе: во-первых, о широком распространении и использовании тюркского языка жителями Южного Дагестана в рукописях и книгах, а также интересе не только к классическим произведениям по шафиитскому *фикху*, грамматике арабского языка или комментариям к Корану, но и к произведениям, распространенным в регионе.

Коллекция М.-Г.М. Садыки, в отличие от собраний, формировавшихся в пределах одной семьи в течение десятилетий и столетий, показывает целенаправленную стратегию исследователя и собирателя рукописей, стремившегося как сохранить часть рукописного насле-

---

[5] См., например, о работе в Рутуле: «С этой рукописью меня ознакомил известный арабист Дагестана Магомед-Галиб Садыки. Он случайно нашёл её в 60-е годы 20 века в с. Рутул. Кое-какие места рукописи были переведены самим Магомед-Галибом Садыки…» [Багандова, 2023].

[6] Покинутое селение ныне в Ахтынском районе Республики Дагестан.

[7] Поэма в трех частях, посвященная пророку Мухаммаду, представляет собой памятник османской религиозной дидактической поэзии. Мехмед Челеби Языджиоглу начал писать эту поэму, следуя, по его словам, повелению, полученному им во сне от самого Посланника Аллаха. Он завершил книгу в Гелиболу в джумада ассани 853 г.х. (август 1449 г.). «Мухаммадийа» известна во многих рукописных списках и изданиях – как типографских, так и литографиях. Она пользовалась огромной популярностью не только в Османской Турции, но и среди российских мусульман (в основном, в Поволжье). Одной из важных особенностей «Мухаммадии» является то, что некоторые её литографские экземпляры были переписаны известными каллиграфами того времени и содержали различные религиозные изображения и рисунки [Uzun, 2013, p. 363–364]. После типографского издания в Казани (1845) между 1846–1910 гг. «Мухаммадийа» выдержала двадцать два издания в Стамбуле, девять из которых были иллюстрированными.

дия Южного Дагестана, так и сфокусироваться на определенной проблематике, связанной с локальной поэтической традицией, которая прежде всего восходит к имени Етима Эмина.

МАТЕРИАЛЫ СЕЛЬСКИХ СУДОВ В КОЛЛЕКЦИИ

Заметная часть собрания М.Г.-М. Садыки представлена судебными документами. В настоящее время описание материалов продолжается, но уже с уверенностью можно сделать заключение, что более семидесяти писем и отдельных документов являются фрагментами судебных тяжб, различных имущественных сделок и переписок между инстанциями. Документы преимущественно охватывают промежуток с 1860-х гг. по конец XIX в. – т.е. период, когда новая судебная система, имплементированная Российской империей в Дагестанской области, только приобретала устойчивые институциональные формы.

Вхождение Дагестанской области в состав Российской империи повлекло за собой масштабную реорганизацию судебных институтов края. Первый, появившийся после завоевания «Проект управления Дагестанской областью» (от 5 апреля 1860 г.), установил новую единую судебную иерархию. В нее вошли: Дагестанский народный суд – наивысшая инстанция, находившаяся в Темир-Хан-Шуре; следующая ступень была представлена девятью окружными судами, учрежденными в административных центрах округов; и сельские словесные, или, как их также называют источники, горские суды представляли собой низшую инстанцию в новой судебной системе. Последние предполагалось организовать в каждом селении[8]. Иерархия имела юрисдикционное значение: каждая вышестоящая инстанция обладала более широкой компетенцией, разрешая дела, выходившие за пределы юрисдикции нижестоящих судов и рассматривала апелляции на вынесенные ими решения. Правовой основой для всех инстанций должны были служить *‘адат* и *шари‘ат*, а также «особые правила, постепенно составляемым на основании опыта и развивающейся в них потребности» [*Проект управления Дагестанской областью*, 1904, с. 435].

Именно сельские суды представляют особый интерес в контексте материалов собрания М.-Г.М. Садыки. Они фактически не упоминаются в проекте от 1860 г., где фиксируется лишь факт их создания и работа по принципу окружных судов – словесная и гласная с последующий фиксацией обстоятельств разбираемых дел в «особые книги». Подробнее деятельность сельских судов описывается в более позднем «Проекте положения о сельских обществах, их общественном управлении и повинностях государственных и общественных в Дагестанской областью» (от 1868 г.). В соответствии с этим документом, в каждом селении должен был быть организован суд, состоящий из нечетного количества человек для возможности принятия решения большинством голосов, в числе которых председатель суда, *кади*, выбиравшийся на три года, и члены суда (*‘урафа’*). В соответствии с документом, в судах должны были разбираться дела по искам о займах и сделках купли-продажи, кражам и неправомерным завладеваем, убыткам, не превышающим сто рублей, а также дела о наследование и несогласиях внутри семьи, дела о воровстве свыше тридцати рублей, поранения, увоз женщин и прелюбодеяние, грабеж с насилием, дела по кровной мести и самоуправству [*Проект положения о сельских обществах*, 1868, с. 15]. В ведомстве сельского суда были также дела об опеке над малолетними, сиротами и недееспособными членами общины.

Несмотря на то, что мозаичная и гибридная правовая культура Дагестана получила довольно широкое внимание в историографии (см.: [Омаров, 1968; Бобровников, 2002; 2009; Абдулмаджидов, 2016] и проч.), повседневная деятельность учрежденных Российской

[8] На практике сельские суды существовали далеко не в каждом селении. В частности, сохранившиеся в коллекции М.-Г.М. Садыки источники показывают, что они действовали преимущественно в более крупных населенных пунктах, тогда как небольшие хутора собственных судов не имели.

империей судебных институтов остается существенной лакуной: применявшиеся в них практики и формы документооборота до сих пор практически не описаны. В особенности это заметно в контексте сельских судов, которые помимо судебных и нотариальных функций, выступали связующим звеном между дагестанскими сельскими общинами и окружной администрацией в крае [Чмилевская, 2024].

Вероятно, одна из причин отсутствия большого количества исследований по этой теме связана с неоднородностью и фрагментарностью источниковой базы, а также специфическими условиями ее сохранности. Материалы сельских судов в основном обнаруживаются в частных, мечетных и государственных коллекциях – т.е. за пределами институтов, где они создавались. Более того, судебные документы не всегда сохранялись в виде отельных архивов или реестров (судебных книг и *дафтаров*). Чаще всего они доходят до нас в виде разрозненных документов и фрагментов переписки, позволяя зафиксировать лишь конкретный правовой акт – тяжбу, раздел имущества, развод и т.д. Однако вне более крупного массива источников такие документы едва ли дают возможность реконструировать устойчивые практики работы суда. Тем не менее, как было убедительно доказано, это не отменяет микроисторической ценности этих источников [Алибеков и др., 2025].

Ввиду обозначенных причин документы из собрания М.-Г.М. Садыки имеют особую значимость. Среди более чем семидесяти различных документов, наблюдается массив данных, связанных работой Ялцугского[9] сельского суда. Тем не менее, атрибутировать эти источники исключительно как судебный архив было бы ошибочно. Многие документы использовались повторно, что привело к неожиданным соседствам, когда на одной стороне документа сохранялась юридическая фиксация, а на другой – отдельный текст, не связанный с ней. Так, фрагмент земельной тяжбы от 1872 г. записан вместе с отрывком суры «ал-Кахф» (№ 25[10]), другой документ объединяет описание тяжбы и запись лечебной практики с использованием дождевой воды и чтением суры «ал-Фатиха» (№ 35). В других случаях жалобы и судебные постановления соседствуют со стихотворными и религиозными текстами, а также личной перепиской. Что касается отдельных писем в собрании, одна из жемчужин коллекции – письмо, составленное в 1873 г. известными суфийскими шейхами Исмаилом ал-Йалаки (из селения Ялак[11]) и Хаджи Рамазаном аш-Штули (из селения Штул[12]) во время их ссылки в Тамбов (№ 24). В письме они сообщают, что они находятся «в здравии и благополучии», а также, что им подписано находиться в ссылке в течение трех лет. Они просят адресатов «постараться и приложить усилия, чтобы [их] вернули из упомянутой ссылки в городе Тамбове».

Также немаловажно, что правовые документы из коллекции М.-Г.М. Садыки, как и многие прочие материалы, связаны с личностью Етима Эмина (1840–1880). Предположительно, он выполнял обязанности кади Ялцугского сельского суда в период с 1862 по 1874 гг. [Кюреви, 2020, с. 106–111][13]. Некоторые личные письма в коллекции не имеют указания отправителя, но на основании знакомства предшествующих владельцев коллекции почерком Етима Эмина, были атрибутированы как составленные им [Кюреви, 2020]. Тем не

[9] Селение Ялцуг находилось в современном Сулейман-Стальском районе Дагестана, в настоящий момент упразднено.

[10] Нумерация документов была осуществлена нами при их поступлении в Центр исламских рукописей ИВ РАН и первоначальном описании.

[11] Ныне в Ахтынском районе Республики Дагестан.

[12] Ныне в Курахском районе Республики Дагестан.

[13] Столь длительное нахождение Етима Эмина в должности *кади* вызывает некоторые вопросы, поскольку имперские правовые акты фиксируют эту должность как выборную «сроком на 3 года» [*Проект положения о сельских обществах*, 1868]. Тем не менее, подобное несоответствие проекту лишь подтверждает, что их окончательная имплементация растянулась на значительный период.

менее, основная часть материалов коллекции выходит за пределы жизни и службы Эмина и датируется 1880–1890-ми гг.

Сохранившиеся судебные материалы позволяют сфокусироваться на работе одной инстанции на протяжении по меньшей мере двух десятилетий, в течение которых правовые практики и границы юрисдикций сельских судов еще не были окончательно закреплены и продолжали уточняться в повседневной судебной практике. С точки зрения количества в собрании превалируют документы, посвященные земельным и наследственным спорам. В некоторых случаях они фиксируют лишь позиции тяжущихся сторон. Так, в 1871 г. Хуммат сын Хуммата обратился в Ялцугский суд с жалобой на Рамазана, Джанната и Баба, обвиняя их в посягательстве на два принадлежавших ему дерева. Ответчики, в свою очередь, заявили, что деревья находятся в их собственности (№ 36б). Сохранившийся текст обрывается на указании установить их принадлежность. Другой спор возник вокруг мельницы, построенной Султаном ʻАли (№ 35). В этом случае обвинителем стал не отдельный человек, а *джамаʻат*. Члены *джамаʻат*а утверждали, что мельница находится на общинной земле, составлявшей *харим* – неделимую общественную собственность, тогда как ответчик настаивал, что участок вместе с постройкой перешел к нему по наследству от отца и находился во владении его семьи уже более двадцати лет.

Примечательно, что тяжбы о собственности нередко инициировались женщинами. Например, в одном из дел от 1870 г. предметом спора стал участок земли, приобретенный неким Занги и ранее обрабатывавшийся Хаджи Тахиром и его сестрой (имя неизвестно) (№ 36а). Последняя оспорила совершенную сделку. После рассмотрения дела члены суда предложили сторонам прекратить тяжбу посредством соглашения, согласно которому Баба и Рамазан должны были выплатить женщине десять манатов. Стороны приняли предложенные условия, после чего разбирательство было прекращено.

Рассмотрение земельного спора могло выходить за пределы одного заседания сельского суда и сопровождаться перепиской с окружной администрацией. Один из документов 1871–1872 гг. содержит сообщение Ялцугского суда начальнику Кюринского округа о споре между Занкой сыном Замира и Мухаммадом Каримом и Амир-беком, сыновьями Халила (№ 43а, 43б). Последним ранее было поручено разделить зерно, однако исполнить это распоряжение, по их утверждению, уже было невозможно, поскольку зерно успели посеять. На другой стороне того же листа сохранилось письмо начальника округа судьям Ялцуга, касающееся раздела пахотной земли между Занкой и его оппонентами. Два текста, сохранившиеся на одном листе позволяют также проследить движение одного конфликта между сельским судом и окружной администрацией.

Конечно, земельными и наследственными спорами деятельность сельского суда не ограничивалась. Среди материалов собрания сохранились жалобы о кражах, долгах и конфликтах между членами семьи. Масштаб подобных дел мог быть весьма небольшим. Так, в 1878–1879 гг. Исраил сын Мухаммада ал-Цици[14] обратился в Ялцугский суд по поводу Хафизат дочери ʻАли, обвиненной в краже петуха (№ 54а). В другом случае предметом разбирательства стала кража лошади стоимостью 25 манатов (№ 22а).

Отдельную группу составляют конфликты внутри семьи. В одном из недатированных документов Наджав дочь ʻАли ал-Гумуки (из селения Кумух) пожаловалась в Ялцугский суд на своего мужа ʻАлила сына Хусайна ал-Цици, обвинив его в растрате ее имущества; сохранившаяся запись фиксирует также ответ мужа, отрицавшего предъявленные ему обвинения (№ 21б). В другом документе зафиксирован развод некоего Дамира с его женой ʻАишат (№ 37б). На первый взгляд, эти дела могут показаться несущественными и банальными. Однако именно их повседневный характер делает эти документы особенно

[14] Из селения Цициг, ныне не существует, современный Сулейман-Стальский район Республики Дагестан.

показательными и позволяет сделать вывод том, что учрежденные Российской империей судебные институты активно использовались жителями Дагестанской области. Жители Ялцуга и соседних селений обращались в них для решения как крупных, так и сравнительно небольших конфликтов. Иными словами, учрежденный имперской администрацией суд постепенно встраивался в локальные практики разрешения споров.

Помимо отдельных споров и конфликтов, рассматриваемых в сельских судах, источники демонстрируют постепенное усвоение предписанной судам бюрократии и адаптации к ней местных жителей. В письме от 1871 г., адресованном судьям – *'урафа'* селения Ялцуг, прямо содержится указание записать принятое по делу решение в *дафтар* (№ 12а). Аналогичное требование встречается и в переписке между кади. В 1874 г. Хаджи Исмаил ал-Йараги обращался к своему отцу, кади Ялцугского суда Мулле Амину, с просьбой отправиться в другое селение, разделить имущество покойного между его наследниками в соответствии с *шари'атом*, а затем зафиксировать произведенный раздел в судебном дефтере (№ 7а). В данном случае запись служила для завершения конкретной юридической процедуры и сохранении ее результатов в документации суда.

О том, как могли использоваться подобные фиксации впоследствии, свидетельствует сохранившаяся в собрании выписка из *дафтара* Ялцугского сельского суда (№ 3). Документ содержит перечень имущества, полученного сиротой Муслимат, дочерью Муллы Амина ал-Ялцугари, на протяжении нескольких лет, с 1302 по 1308 г.х. (21 октября 1884 – 12 августа 1891 г.). В нем последовательно перечислены переданные ей зерно, ткань, рубашка и денежные суммы в *манатах* и *аббасах*. Выписка заверена печатями шести членов суда и гербовой печатью Ялцугского сельского суда.

Подводя итог, следует отметить, что коллекция М.Г.-М. Садыки представляет значительный интерес для дальнейших исследований. Сосуществование в одном собрании материалов из разрозненных частных коллекций преимущественно Южного Дагестана делает ее незаменимым источником для описания письменной, а также и правовой культуры региона. Не менее важно то, что существенная часть коллекции представлена материалами на тюрки, лезгинском и персидском языках. Это представляет дополнительный вектор для исследования многоязычной письменной культуры региона, которая в настоящий момент изучена довольно ассиметрично, т.е. в основном фокусируется на арабоязычных текстах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

Абдулмаджидов Р.С. Институт соприсяжничества в Дагестане. *Вестник Дагестанского научного центра РАН*. 2016. № 60. С. 26–37 [Abdulmajidov R.S. The Institution of Co-Jurors in Dagestan. *Bulletin of the Dagestan Scientific Center of the Russian Academy of Sciences*. 2016. No. 60. Pp. 26–37 (in Russian)].

Албанви А. *Магомед-Галиб Садыки – выдающийся филолог-арабист*. Публикация на платформе «Яндекс Дзен» 6 сентября 2020 [Albanvi A. *Magomed-Galib Sadyki – An Outstanding Arabist Philologist*. Published on the Yandex Zen platform on September 6, 2020 (in Russian)]. https://dzen.ru/a/X1Sl3HKyvUaXN-fZ?sid=122709632145452019 (accessed: 25.08.2026).

Алибеков Х.Г., Абдулмажидов Р.С., Аникеева Т.А. Договорные отношения в дагестанском ауле: журнал Унчукатлинского сельского суда (1898–1900 гг.). *История, археология и этнография Кавказа*. 2025. Т. 21. № 4. С. 465–480 [Alibekov Kh.G., Abdulmazhidov R.S., Anikeeva T.A. Contractual Relations in a Dagestani Aul: The Journal of the Unchukatl Rural Court (1898–1900). *History, Archeology and Ethnography of the Caucasus*. 2025. Vol. 21. No. 4. Pp. 465–480 (in Russian)].

Аникеева Т.А. Тюркоязычная словесность в рукописных собраниях Южного Дагестана. *Восток (Oriens)*. 2026. № 2. С. 277-284 [Anikeeva T.A. Turkic-language Literature in the Manuscript Collections of Southern Dagestan. *Vostok (Oriens)*. 2026. No. 2. Pp. 277-284 (in Russian)].

Аникеева Т.А., Чмилевская И.А. Опыт оцифровки некоторых рукописных собраний Южного Дагестана. *Цифровое востоковедение*. 2023. № 3–4 (3). С. 76–82 [Anikeeva T.A., Chmilevskaya I.A. The Experience of Digitizing Some Manuscript Collections of Southern Dagestan. *Digital Orientalia*. 2023. No. 3–4 (3). Pp. 76–82 (in Russian].

Багандова Э.К. *Шиназ – культурный и религиозный центр Южного Дагестана*. 2023 [Bagandova E.K. *Shinaz – A Cultural and Religious Center of Southern Dagestan.* 2023 (in Russian)]. https://kizdgu.ru/news/преподаватель-кафедры-экономико-пра.html (accessed: 25.08.2026).

Бобровников В.О. *Мусульмане Северного Кавказа: обычай, право, насилие: Очерки по истории и этнографии права Нагорного Дагестана*. М.: Восточная литература, 2002 [Bobrovnikov V.O. *Muslims of the North Caucasus: Custom, Law, Violence: Essays on the History and Ethnography of Law in Highland Dagestan*. Moscow: Vostochnaia literatura, 2002 (in Russian)].

Бобровников В.О., сост. и отв. ред. *Обычай и закон в письменных памятниках Дагестана V – начала XX в.* Т. I. М.: Марджани, 2009 [Bobrovnikov V.O., ed. and comp. *Custom and Law in Written Sources of Dagestan from the 5th to the Early 20th Century*. Vol. I. Moscow: Marjani, 2009 (in Russian)].

Кюреви М. *Етим Эмин (1840–1880).* М.: Азбука-2000, 2020 [Kurevi M. *Etim Emin (1840–1880).* Moscow: Azbuka-2000, 2020 (in Russian)].

Омаров А.С. *Из истории права народов Дагестана. Материалы и документы*. Отв. ред. Г.Д. Даниялов. Махачкала: Типография Дагфилиала АН СССР, 1968 [Omarov A.S. *From the History of the Law of the Peoples of Dagestan: Materials and Documents.* Ed.: G.D. Daniyalov. Makhachkala: Printing House of the Dagestan Branch of the Academy of Sciences of the USSR, 1968 (in Russian)].

Проект положения о сельских обществах, их общественном управлении и повинностях государственных и общественных в Дагестанской областью. Темир-Хан-Шура, 1868 [*Draft Regulations on Rural Communities, Their Public Administration, and State and Community Obligations in Dagestan Oblast.* Temir-Khan-Shura, 1868 (in Russian)].

Проект управления Дагестанской областью от 5 апреля 1860 г. Акты, собранные Кавказской археографической комиссией. Т. 12, под ред. А.П. Берже. Тифлис: Типография Главного Управления Наместника Кавказского, 1904. С. 344–440 [*The Dagestan Region Management Project of April 5, 1860. Acts collected by the Caucasian Archaeographic Commission*. Vol. 12. Ed.: A.P. Berger. Tiflis: Printing House of the Main Directorate of the Viceroy of the Caucasus, 1904. Pp. 344–440 (in Russian)].

Садыки М.-Г.М. *Творчество лезгинских поэтов XIX в. на арабском и азербайджанском языках*. Дисс. ... канд. филол.н. Махачкала: ДГУ, 1969 [Sadyki M.-G.M. *The Works of Lezgin Poets of the 19th Century in Arabic and Azerbaijani*. PhD dissertation in Philology. Makhachkala: DGU, 1969 (in Russian)].

Чмилевская И.А. Етим Эмин (и его документы в собрании Центра исламских рукописей ИВ РАН). *Словарь исламской книжности и книжников России*. 2026 [Chmilevskaia I.A. *Etim Emin (and His Documents in the Collection of the Center of Islamic Manuscripts of the Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences). Thesaurus of Islamic Literacy and Scribes of Russia. 2026* (in Russian)] https://ilyaauej.beget.tech/articles/етим-магомед-эмин-и-его-документы-в-собрании-центра-исламских-рукописей-ив-ран (accessed: 25.08.2026).

Иллюстрация к статье Т.А. Аникеевой А, И.А. Чмилевской

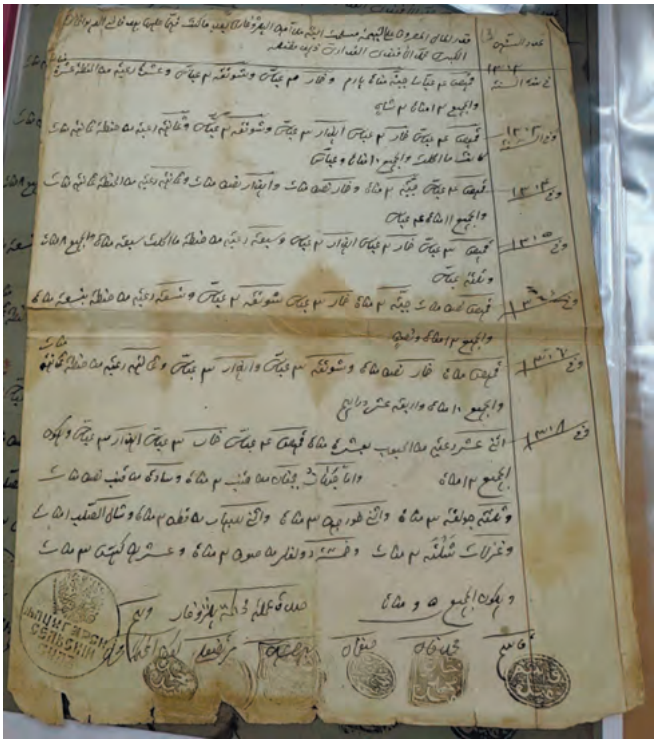


Рис. 1. Документ № 3 из собрания М.-Г.М. Садыки. Перечень имущества, полученного сиротой Муслимат, дочерью Муллы Амина ал-Ялцугари

Иллюстрация к статье Ш.Х. Чориева

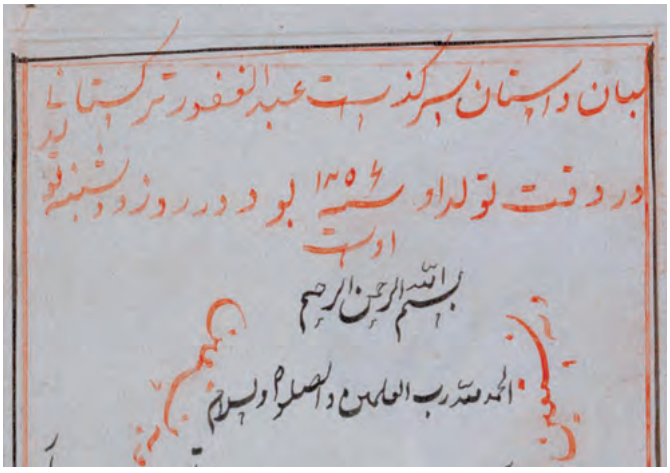


Рис. 1. Рукопись Ханыков 53 [*ОР РНБ*, ф. 947, л. 2б., ʿунван]
Fig. 1. Manuscript Khanykov 53 [*OR RNB*, h. 947, f. 2б., ʿunvan]

DOI: 10.31696/S086919080039557-9

СОЧИНЕНИЕ «БАЙАН-И ДАСТАН-И САРГУЗАШТ-И ʿАБД АЛ-ГАФУР ТУРКИСТАНИ» В РУКОПИСИ РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ: ПРОБЛЕМЫ АТРИБУЦИИ И ДАТИРОВКИ

© 2026

Ш.Х. ЧОРИЕВ [a]

[a] – Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия
ORCID: 0000-0001-9731-9891; chorievshahzod1336@gmail.com

Резюме: *В статье предпринимается попытка атрибуции и датировки уникальной и малоизученной рукописи сочинения «Байан-и дастан-и саргузашт-и ʿАбд ал-Гафур Туркистани» («Изложение рассказов о странствиях ʿАбд ал-Гафура Туркистани»), хранящейся в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки (РНБ), в фонде № 947 «Собрание восточных рукописей Н.В. Ханыкова (1819–1878)» под шифром «Ханыков 53». Рукопись была кратко описана в каталогах Б.А. Дорна и Г.И. Костыговой и введена в научный оборот. Кроме того, этому источнику была посвящена обзорная статья Б.М. Бабаджанова и А.К. Муминова. Г.И. Костыгова и авторы статьи разошлись во мнениях относительно даты рождения автора, времени создания сочинения и ряда других деталей, касающихся атрибуции и датировки как рукописи, так и текста. В частности, исследователи предположили, что рукопись, вероятнее всего, была приобретена Н.В. Ханыковым во время его пребывания в Бухаре в 1842 г. Ознакомление с рукописью и текстом сочинения показало, что и в указанном каталоге, и в статье содержатся ошибки. Комплексный источниковедческий анализ памятника позволяет опровергнуть прежнюю атрибуцию и датировку рукописи и выдвинуть альтернативную версию ее происхождения. Из содержания текста и хатимы (заключения) следует, что автор написал сочинение в шестнадцатилетнем возрасте, в городе Тебриз в 1271 г.х./1854 г. Прямые и косвенные доказательства, приводимые в статье, позволяют предположить, что Н.В. Ханыков, находившийся в Тебризе в качестве генерального консула Российской империи в 1853–1857 гг., мог выступить инициатором написания мемуаров и оказать автору необходимое содействие. Результаты исследования позволяют впервые корректно ввести указанный источник в научный оборот и определить его место в корпусе мемуарных памятников, обладающих существенным значением для изучения истории, культуры, этнографии и интеллектуальной среды Центральной Азии XIX в.*

Ключевые слова: Бухарский эмират, мемуарная литература, ʿАбд ал-Гафур Туркистани, Н.В. Ханыков, источниковедческий анализ, Российская национальная библиотека, атрибуция и датировка, рукописное наследие

Для цитирования: Чориев Ш.Х. Сочинение «Байан-и дастан-и саргузашт-и ʿАбд ал-Гафур Туркистани» в рукописи Российской национальной библиотеки: проблемы атрибуции и датировки. *Восток (Oriens).* 2026. № 5. С. 280–291. DOI: 10.31696/S086919080039557-9

THE MANUSCRIPT OF "BAYĀN-I DĀSTĀN-I SARGUZASHT-I ʿABD AL-GHAFŪR TURKISTĀNĪ" IN THE NATIONAL LIBRARY OF RUSSIA: ISSUES OF ATTRIBUTION AND DATING

© 2026

Shakhzod Kh. CHORIEV [a]

[a] – Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia
ORCID: 0000-0001-9731-9891; chorievshahzod1336@gmail.com

Abstract: *The article examines the attribution and dating of the unique and understudied manuscript of the work "Bayān-i dāstān-i sarguzasht-i ʿAbd al-Ghafūr Turkistānī" ("An account of the wanderings of ʿAbd al-Ghafūr Turkistānī"), preserved in the Manuscripts Department of the National Library of Russia (NLR), in Collection No. 947, "Collection of Oriental Manuscripts of N.V. Khanykov", shelfmark "Khanykov 53". The manuscript was previously described in the catalogues of B.A. Dorn and G.I. Kostygova and discussed in a review article by B.M. Babadjanov and A.K. Muminov; however, these studies proposed conflicting hypotheses regarding the author's biography, the date of composition, and the circumstances under which the manuscript entered the Khanykov collection. The researchers assumed that the manuscript was acquired by N.V. Khanykov in Bukhara in 1842. A comprehensive source-based analysis, including codicological and textual examination, demonstrates that a number of conclusions presented in the earlier catalogues and studies are inaccurate. Based on internal evidence and the khātima, the article argues that the work was composed by the author at the age of sixteen in Tabriz in 1271 A.H. (1854 A.D.). The study further suggests that N.V. Khanykov, who served as Consul General of the Russian Empire in Tabriz between 1853 and 1857, may have played a role in initiating the writing of the memoir and supporting its author. The findings of this study enable the manuscript to be properly contextualized within scholarship and clarify its place in the memoir literature on the history and ethnography of Central Asia in 19th century.*

Keywords: Emirate of Bukhara, memoire literature, ʿAbd al-Ghafūr Turkistānī, N.V. Khanykov, source studies, National Library of Russia, attribution and dating, manuscript heritage

For citation: Choriev Sh.Kh. The manuscript of "Bayān-i dāstān-i sarguzasht-i ʿAbd al-Ghafūr Turkistānī" in the National Library of Russia: issues of attribution and dating. *Vostok (Oriens).* 2026. No. 5. Pp. 280–291. DOI: 10.31696/S086919080039557-9

В Отделе рукописей Российской национальной библиотеки, в фонде № 947 собрания восточных рукописей Н.В. Ханыкова (1819–1878), хранится рукопись[1], которая содержит уникальный список (вероятнее всего, автограф) сочинения «Байан-и дастан-и саргузашт-и ʿАбд ал-Гафур Туркистани» («Изложение рассказов о странствиях ʿАбд ал-Гафура Туркистани») под шифром «Ханыков 53». Она поступила в РНБ в составе коллекции Н.В. Ханыкова, приобретенной в 1864 г. в рассрочку на 7 лет (161 рукопись за 3500 рублей)[2]. Как указывается в описи фонда, «еще до поступления коллекции в библиотеку ака-

[1] Приятным долгом автора статьи является выражение искренней благодарности научному руководителю О.М. Ястребовой за помощь в подготовке данной работы и в работе над рукописью в целом. Также автор признателен Б.М. Бабаджанову, указавшему на данную рукопись и рекомендовавшему автору заняться именно ею в рамках магистерской диссертации.

[2] Собрание восточных рукописей Ханыкова Николая Владимировича: Опись фонда. Л., 1985. 21 с. [*ОР РНБ*, ф. 947, Опись фонда, 1985, л. 1]. Подробнее см.: [Ханыков, 1973, с. 17].

демики Б.А. Дорн (1805–1881) и В.В. Вельяминов-Зернов (1830–1904) составили ее опись, а в 1865 г. Дорн издал на немецком языке каталог собрания» [*ОР РНБ*, ф. 947, Опись фонда, 1985, л. 1]. Рукопись была описана в каталогах Б.А. Дорна и Г.И. Костыговой (1926–1999) [Dorn, 1865, S. 23; Костыгова, 1988, с. 50–51]. Несмотря на публикацию Б.М. Бабаджанова и А.К. Муминова, в которой авторы ставили целью привлечь внимание специалистов к этому памятнику и продемонстрировать ценность содержащихся в нем сведений, источник остается малоизученным [Бабаджанов, Муминов, 2002, с. 7].

Рукопись ранее не была опубликована. Из известных нам работ материалы данного источника привлекались в исследованиях таких ученых, как Б.М. Бабаджанов и Дж. Пикетт. Б.М. Бабаджанов ссылается на сочинение ʿАбд ал-Гафура в своей монографии «Кокандское ханство: власть, политика, религия» [Бабаджанов, 2010, с. 579], а также в комментариях к фотоальбому «Узоры Регистана. Самарканд» [Kavrein, Babadzhanov, 2024][3]. Дж. Пикетт обращается к этому источнику в статье “Nadir Shah’s Peculiar Central Asian Legacy: Empire, Conversion Narratives, and the Rise of New Scholarly Dynasties” [Pickett, 2016, p. 508], а также в книге “Polymaths of Islam: Power and Networks of Knowledge in Central Asia” [Pickett, 2020, p. 15, 124–125, 183, 186]. При этом оба автора в своих исследованиях допускают фактологические ошибки в ссылках на источник различного масштаба, о чём будет сказано ниже. Кроме того, на этот источник опосредованно, через статью Б.М. Бабаджанова и А.К. Муминова, ссылаются А.Ш. Бимендиев, М.Б. Кожа и К.З. Ускенбай в статье «Малоизвестный план города Туркестана 1854 года из архива Русского географического общества» [Бимендиев и др., 2022, с. 230].

«Изложение рассказов о странствиях ʿАбд ал-Гафура Туркистани» является мемуарами, содержащими в себе элементы автобиографии и путевых заметок (*сафарнаме*) ʿАбд ал-Гафура Туркистани ибн ʿАбд ал-Каййума Шахрисабзи. Сочинение относится к середине XIX в. «Странствия» автора начинаются с переезда из Туркестана (Кокандское ханство, совр. юг Казахстана) в Бухару (Бухарский эмират, совр. Узбекистан) в целях получения образования. Автор подробно описывает свои приключения и посещенные им города, такие как Туркестан, Ташкент, Чиназ, Самарканд, Шахрисабз, Бухара и другие.

Сочинение состоит из традиционного для мусульманских произведений предисловия со славословиями Аллаху, пророку и его семье, основного повествования, разделенного на главы (*фасл*), заключения (*хатима*) и колофона. Если события, описываемые до главы о приезде дяди ʿАбд ал-Гафура ʿАбд ар-Рахима, считать за первую главу, то всего глав в сочинении семь, как было отмечено в статье Б.М. Бабаджанова и А.К. Муминова [Бабаджанов, Муминов, 2002, с. 8]. Если же эту часть рассматривать как своеобразное введение, то тогда глав основного текста шесть. Замечание авторов статьи по поводу того, что главы сочинения никак не выделены ни порядковыми номерами, ни особыми к ним названиями, не совсем верно [Бабаджанов, Муминов, 2002, с. 8–9]. Действительно, порядковых номеров глав нет, однако стоит отметить, что четыре главы имеют названия и написаны красными чернилами. Обозначения глав (*фасл*), не имеющих особых названий, также выделены красными чернилами, вероятно, автор не придумал для них названий. Ниже приведем названия этих глав по порядку с указанием листов, где они начинаются:

1 глава. Л. 12а. «Глава-история о прибытии дяди (*ʿаму* – брат отца) ʿАбд ал-Гафура, и о том, что он увез его в Шахрисабз, и о казни дедушки рафидита из Ташкента от рук/из-за ʿАбд ал-Гафура Туркистани» (*Фасл-и дастан-и амадан-и ʿаму-йи ʿАбд ал-Гафур ва бурдан-и ʿАбд ал-Гафур-ра ба Шахрисабз ва кушта шудан-и баба-йи рафиди-йи Ташканди ба даст-и ʿАбд ал-Гафур Туркистани*).

[3] Пассаж, на который ссылается исследователь, нам не удалось найти в тексте сочинения.

2 глава. Л. 37а. «Глава-история о том, как любовник[4] был зажарен ʿАбд ал-Гафуром» (*Фасл-и дастан-и бирйан шудан-и уйнаш ба даст-и ʿАбд ал-Гафур Туркистани*)[5].

3 глава. Л. 48б. «Глава-история о прибытии ʿАбд ал-Гафура в Бухару вместе с ʿАбд ар-Рахимом и дедушкой ʿАбд ал-Вали и о его обучении; и о том, что он стал писцом при дворе Саййида Амира Наср-Аллаха Мухаммада Бахадура Султана и о том, что он стал товарищем с семью верными ребятами» (*Фасл-и дастан-и амадан-и ʿАбд ал-Гафур ба Бухара хамрахи-йи ʿАбд ар-Рахим ва баба ʿАбд ал-Вали ва тахсил-и ʿилм кардан ва ʿариза-навис шудан-и у ба дарбар-и Саййид Амир Наср-Аллах Мухаммад Бахадур Султан ва шарик шудан-и у ба хафт бачча-йи вафадар*).

4 глава. Л. 60а. «О дорогой, оставьте ʿАбд ал-Гафура за учебой, послушайте немного о другом» (*ай ʿазиз ʿАбд ал-Гафур ба дарс хвандан гузарид ду калима аз джа-йи дигар шинавид*)[6].

5 глава. Л. 80а. «Глава-история о новом годе в Благородной Бухаре и о том, как эмир украсил Регистан Благородной Бухары» (*Фасл-и дастан-и сал-и нав-и Бухара-йи шариф ва ара дадан-и амир Ригистан-и Бухара-йи шариф-ра*).

6 глава. Л. 87а. «Оставьте их в пении и послушайте два слова о счастливом/могущественном эмире» (*Инха-ра ба хваниш ва нагма-пардази гузарид ду калима аз амир-и бадавлат шинавид*).

Язык сочинения, как правильно предположили Б.М. Бабаджанов и А.К. Муминов, представляет собой бухарский диалект таджикского языка, иными словами, диалект персидского языка, употребительный у бухарских таджиков[7] [Бабаджанов, Муминов 2002, с. 9]. Если нет других более ранних известных рукописей сочинений, написанных на персидском языке бухарского говора таджиков, кроме записок Мирзы-Шемса Бухари[8], то сочинение ʿАбд ал-Гафура должно стать первым подобным сочинением, т.е. наиболее ранним, т.к. оно было написано в 1854 г.[9] В тексте также встречаются пассажи на тюркских языках: на казахском и узбекском. Первый в эпизоде с казахами в Чиназе[10], второй во время церемонии *таʿзим*

---

[4] Автор использует тюркское слово *уйнаш* (любовник/любовница) производное от глагола *уйнамок* (играть). Этот термин и сейчас довольно распространен в обиходе современного узбекского языка и имеет негативную коннотацию, обозначая любовные интриги на стороне или вне брака.

[5] Дж. Пикетт неточно интерпретирует события, описанные автором, утверждая, что ʿАбд ал-Гафур застал жену своего дяди за поцелуем с другим мужчиной, и тот после разоблачения подал на развод [Pickett, 2020, p. 186]. На самом деле, это была жена дедушки ʿАбд ал-Вали, который после развода продал все свое имущество и отправился в путь вместе с автором и его дядей [Туркистани, 1854, л. 34а–42а].

[6] Именно в этой главе содержится рассказ о паломничестве автора с друзьями к мазару Касим-шайха ʿАзизана Карминаги (ум. 1570), который Б.М. Бабаджанов в своей монографии «Кокандское ханство: власть, политика, религия» упоминает в контексте ненормативных сексуальных отношений [Бабаджанов, 2010, с. 579]. Однако в этой истории никаких упоминаний гомосексуальных отношений нет. В ней содержится рассказ о том, как ʿАбд ал-Гафур «проучил» своих друзей, жестоко разыграв их [Туркистани, 1854, л. 64б–70б].

[7] Если взять обозначения этого языка как у В.В. Григорьева, который является первым автором, определившим и изучившим этот диалект [Григорьев, 1861]. См. также примечания В.В. Григорьева «Обозрение диалектических отличий употребительного у бухарских таджиков персидского языка» [Григорьев, 1861, с. 111–125]. Имеется и тегеранское издание записок Мирзы-Шемса, однако оно обладает меньшей ценностью для изучения языка сочинения, поскольку было переведено на персидский язык через текст русского перевода [ʿAshiq, 1998].

[8] Мы имеем здесь в виду именно полноценные сочинения, поскольку В.В. Григорьев указывает, что на этом языке уже имелись два документа, однако их малый объем не позволял изучить этот предмет обстоятельно [Григорьев, 1861, с. 111]. Мемуары ʿАбд ал-Гафура Туркистани и Мирзы-Шемса Бухари имеют достаточный объём для исследования персидского языка бухарских таджиков.

[9] Изучению говора таджиков Бухары также посвящена книга А.А. Керимовой «Говор таджиков Бухары», где она отмечает, что первые сведения о нем появились в записках Мирзы-Шемса Бухари, изданных В.В. Григорьевым в 1861 г. [Керимова 1959, с. 1]. Сами записки Мирза-Шемс Бухари написал в 1859 г. [Григорьев, 1861, с. IV].

[10] Например, в Чиназе автор описывает гостеприимных казахов: «*…Казакбай буд дар сар-и карван амада гуфт: ой байав менинг уйум(га) михман килибтугуй Джантай саган деймен айран, кимиз, сармай … карта алиб*

(поклона, оказании почестей)[11] въезжающему в Арк эмиру, соответственно [Туркистани, 1854, л. 26б–28б, 56б–57б].

В сочинении есть стихотворные вставки, скорее всего, все они принадлежат авторству ʿАбд ал-Гафура. Кроме того, в нем содержатся ценные сведения для этнографов, антропологов и др. Например, в повествовании автора значимое место уделено местам паломничества (*зийаратгах*), что делает сочинение ценным источником для изучения духовного ландшафта Центральной Азии, описаны праздники, такие как Новый год (*сал-и нав*)[12], Рамадан, Сайл[13], Гул-и Сурх[14]. Последнее описываемое событие в мемуарах – попытка совершить хадж.

Настоящая статья посвящена вопросам атрибуции и датировки указанной рукописи, а также датировке событий, описанных в тексте сочинения.

КАТАЛОГИ Б.А. ДОРНА И Г.И. КОСТЫГОВОЙ

Итак, обратимся поочередно к вышеуказанным каталогам и статье. В каталоге Б.А. Дорна было приведено только название сочинения с пометкой «с его портретом» [Dorn, 1865, S. 23]. В каталоге Г.И. Костыговой [Костыгова, 1988] приводится более подробное описание, но не без ошибок. Основные неточности в описании Г.И. Костыговой касаются датировок и характеристики автора. В каталоге ошибочно приведены дата и место рождения автора. Проблема прочтения даты рождения автора обуславливается тем, что ее можно прочесть четырьмя разными способами (*рис. 1*)[15]. Так, Г.И. Костыгова указывает, что ʿАбд ал-Гафур Туркистани родился в 1206 г.х. / 1791–1792 г. в городе Шахрисабз в семье богослова, чтеца Корана и каллиграфа ʿАбд ал-Каййума. Также она пишет, что сам автор – известный богослов, поэт и просветитель. Дату написания сочинения Г.И. Костыгова указывает 20 раби‘ ал-аввал 1271 г.х. / 11 декабря 1854 г. [Костыгова, 1988, с. 50–51]. Даты мы рассмотрим позднее в связи со статьей Б.М. Бабаджанова и А.К. Муминова, а сейчас обратимся к другим сведениям, приведенным Костыговой.

Во-первых, нужно отметить, что автор родился в городе Туркестан (на юге современного Казахстана), на что указывает его *нисба*, и о чем он пишет на первых страницах сочинения, начав повествование с рассказа о своем отце[16]. Отец автора – ʿАбд ал-Каййум Шахрисабзи, уехавший в «вилайат-и Казакстан» и так и не вернувшийся в родной город, женился в Туркестане, и умер там, когда ʿАбд ал-Гафуру было около 3–4 лет[17] [Туркистани, 1854, л. 5а].

кел …» (Был там Казакбай. Он подошел к началу каравана и сказал: «Ой-вой, в мой дом гости пришли! Джантай, говорю тебе: айран, кумыс, топленое/сливочное масло… карта (деликатес из конины) – принеси!»). Автор далее переводит пассажи на казахском на основной язык произведения, в то время как короткие пассажи на узбекском не переведены.

[11] Приведём пример из церемонии *таʿзима*, которую автор описывает так: *«Удайчи амада: “хазрат амирни эсанлик …(?) худа тавуфиг ʿадолат берсун”»* (Удайчи (придворный глашатай-церемониймейстер) пришел: «Да даст Бог Его Высочеству эмиру здоровье, успех и справедливость»).

[12] То есть *навруз* – древнеиранский праздник, знаменующий собой день весеннего равноденствия, широко отмечающийся и поныне в Иране и странах Центральной Азии.

[13] *Сайл* – народные гуляния.

[14] Подробнее об этом празднике см.: [Бабаджанов, 2006]. Одним из источников статьи о празднике является рассматриваемая нами рукопись.

[15] Рис. 1 см. на цветной вклейке.

[16] Эти моменты сочинения довольно подробно отражены в публикации Б.М. Бабаджанова и А.К. Муминова [Бабаджанов, Муминов, 2002, с. 9–10].

[17] В статье исследователи пишут, что ʿАбд ал-Гафуру было 4–5 лет, что, в свою очередь, является результатом ошибочного прочтения [Бабаджанов, Муминов, 2002, с. 10].

Во-вторых, характеризуя автора, Г.И. Костыгова, по-видимому, слишком буквально восприняла его самовосхваления и даже преувеличила его достижения, нарекая его богословом и просветителем. Впрочем, описания автором своего отца мы никак верифицировать не можем[18]. Однако текст сочинения, которым мы располагаем, показывает, что, несмотря на то, что автор овладел грамотой и сочинял стихи, он делал это непрофессионально и допускал ошибки в письме. То, что он известный богослов и просветитель, видимо, написано под впечатлением от рассказа о том, как автор обучал грамоте раба-перса Ширин-хана [Туркистани, 1854, л. 62б], назначенного эмиром *харам-баши*[19], и поэтому нарек себя *муллой*[20]. Важно отметить, что сведений об авторе сочинения больше нигде нет.

Относительно датировки сочинения следует отметить наличие внутреннего несоответствия в авторском указании. В *хатиме* он сообщает, что написал сочинение сам 20 раби‘ ал-аввал 1271 г.х. / 11 декабря 1854 г.: «*…ин китабат ба даст-и ‘Абд ал-Гафур Туркистани навишта шуд ба тарих-и дар бистум мах-и раби‘ ал-аввал сана-йи хазар-у двист-у хафтад-у йак буд...*» [Туркистани, 1854, л. 123а]. В каталоге 1988 г. Г.И. Костыгова также указывает, что рукопись представляет собой автограф, и приводит ту же дату её завершения [Костыгова, 1988, с. 51]. Однако на том же листе рукописи, в колофоне, автор указывает, что закончил сочинение в четверг[21], тогда как 20 раби‘ ал-аввал 1271 г.х. приходится на понедельник [Туркистани, 1854, л. 123а]. Таким образом, возникает расхождение между календарной датой и указанным днём недели. В этой связи можно предположить, что ошибка допущена самим автором либо в обозначении дня недели, либо в указании числа. При этом оснований сомневаться в правильности прочтения *хатимы*, предложенной Г.И. Костыговой, нет; следовательно, несоответствие дня недели следует рассматривать как наиболее вероятную описку.

СТАТЬЯ Б.М. БАБАДЖАНОВА И А.К. МУМИНОВА

Теперь перейдем к статье Б.М. Бабаджанова и А.К. Муминова, которые обратили внимание на ошибку Г.И. Костыговой в определении даты рождения автора, приведен-

---

[18] Однако есть интересная деталь касаемо правителя Туркестана Кана‘ат-шаха, которому ‘Абд ал-Каййум был представлен и который назначил его чтецом Корана в ханской *максуре* [Туркистани, 1854, л. 3а–4а]. Дело в том, что если это тот Кана‘ат-шах (таджик), который был назначен губернатором Туркестана при правителе Кокандского ханства Худайар-хане и позднее губернатором Ташкента и Туркестана при его преемнике Малла-хане, то и первое (1840-е гг.), и второе (1860-е гг.) назначение приходятся к более позднему времени, учитывая, что это происходило еще до рождения автора.

[19] Так, по Н.В. Ханыкову и по В.В. Григорьеву *махрам* – это не евнух, а придворный чин, имеющий доступ во внутренние покои [Ханыков, 1843, с. 185–186; Григорьев, 1861, с. 64]. У Ширин-хана была должность *махрам-баши*, что означает «глава *махрамов*/приближенных», однако в описываемых Ханыковым 8 разрядах/степенях *махрамов* такой должности нет. Кроме того, как пишет Н.В. Ханыков: «Эмир из чинов *махрамов*, может дать какой хочет сначала» [Ханыков, 1854, с. 186]. Учитывая эти сведения и сам текст сочинения, можно заключить, что эмир Наср-Аллах, выкупив у туркменов, назначил его (Ширин-хана) просто одним из придворных приближенных [Туркистани, 1854, л. 62б]. Наша дефиниция обозначенного термина, исходя из текста сочинения, отличается от того, что было предложено Т.К. Бейсембиевым в «Глоссарии Среднеазиатских терминов XIII–XIX вв.» [Бейсембиев, 2009, с. 36].

[20] Хотя если опять обратимся к глоссарию Т.К. Бейсембиева, то увидим, что *муллой* и *дамуллой* можно было назвать каждого, кто окончил мадраса [Бейсембиев, 2009, с. 26, 37]. В тексте ‘Абд ал-Гафур по отношению к себе использует оба эти термина.

[21] В колофоне автор пишет такую формулу крест-накрест в поэтической форме: *«Хар ки хванад ду‘а тама‘ дарам / З-ан-ки ман банда-йи гунах-кар-ам / Шуд ба тауфиг-и худа-йи ла-найам / Ин китабат руз-и панджшанба тамам»* (От всякого, кто прочтёт [это], я ожидаю/сильно желаю молитвы / ибо я – грешный раб / С помощью Бога, не ведающего сна, эта перепись [книги] в четверг была завершена) [Туркистани, 1854, л. 123а].

ной в самом начале сочинения [Туркистани, 1854, л. 2б]. Исследователи предложили другую дату рождения, 1204 г.х. / 1789–1790 гг., и выдвинули гипотезу, согласно которой сочинение было написано в промежутке между 1835–1842 гг., а Н.В. Ханыков приобрел рукопись в 1842 г. в Бухаре [Бабаджанов, Муминов, 2002, с. 8]. Последнее описанное автором событие – попытку совершить хадж – они относят к 1833–1835 гг., а в другом месте – к 1832 г. и утверждают, что он описывает Мекку и Медину [Бабаджанов, Муминов, 2002, с. 8, 14].

На самом же деле автор в *хатиме* сообщает, что на время окончания работы над текстом ему было шестнадцать лет от роду[22] [Туркистани, 1854, л. 122б] и что дописал он сочинение 20 числа месяца раби‘ ал-аввал 1271 г.х. / 11 декабря 1854 г. [Туркистани, 1854, л. 123а], на что мы указывали выше. Следовательно, дату рождения, которую он приводит в начале рукописи на л. 2б, следует читать как 1254 г.х. / 1838 г. Получается, что и Г.И. Костыгова, и Б.М. Бабаджанов с А.К. Муминовым ошиблись в дате рождения ‘Абд ал-Гафура.

В то же время предложенные нами датировки вполне соответствуют логике повествования, поскольку автор в нескольких местах сочинения обозначает свой возраст на момент описываемых событий. Например, на л. 32а дядя ‘Абд ар-Рахим говорит, что ‘Абд ал-Гафуру 8 лет. На л. 62б–63а и 87а сообщается, что ему было 14 лет; в первом случае автор говорит, что одному писцу[23] (скорее всего, он имеет в виду себя, так как очень сильно его восхваляет) было 14 лет, а во втором один из его друзей ‘Абд ас-Самад говорит, что ему 14 лет.

Кроме того в сочинении немаловажное место отведено эмиру Бухары, и, как сообщает автор, эмиром тогда был «*амир ал-му’минин*[24] Саййид Амир Наср-Аллах Мухаммад Бахадур Султан» (1806–1860) [Туркистани, 1854, л. 57б] – седьмой правитель Бухарского эмирата из династии мангытов (правил в 1826–1860 гг.). Однажды Бухарский эмир расспросил ‘Абд ал-Гафура у Лаб-и Хауза, выучил ли тот Коран и овладел ли грамотой. ‘Абд ал-Гафур ответил утвердительно и даже прочитал панегирик в честь эмира, в результате чего его взяли на службу в качестве ‘*ариза-нависа* в Арк [Туркистани, 1854, л. 52б–53б].

Последнее событие, описываемое ‘Абд ал-Гафуром – попытка совершить хадж, с караваном из Афганистана вместе со своим дядей (*тагайи* – брат матери), сапожником из Бухары, переехавшим в Карши по личным и профессиональным обстоятельствам. В один из дней случается горе: сын дяди, двоюродный брат ‘Абд ал-Гафура Мухаммад-Шариф, умирает [Туркистани, 1854, л. 109б]. Автор, услышав об этой трагедии, спешит к дяде из Бухары в Карши. Там дядя сообщает ему, что хочет совершить паломничество в Мекку и Медину и уедет с караваном из Афганистана [Туркистани, 1854, л. 116б–117а]. ‘Абд ал-Гафур, несмотря на уговоры дяди остаться в Бухаре, решает поехать в хадж

---

[22] Здесь мы обнаруживаем пассаж фаталистического характера, который может намекать на авторскую интенцию: «*дигар худа чи чиз хвахад ан шавад зира ки аз таваллуд та ба ин вакт-и шанздах сала шудан ба инмикдар кар-ха ба сар аварда-аст*...» (Теперь будет то, что Бог пожелает, ибо с [момента] рождения до настоящего времени, к моменту достижения [мною] шестнадцатилетнего возраста столько дел/приключений/событий [мне] пришлось пережить) [Туркистани, 1854, л. 122б].

[23] В тексте ‘*ариза-навис* – писец, составитель письменных заявлений. ‘Ариза – прошение, докладная, любого рода письмо от нижестоящего к вышестоящему [Бейсембиев, 2009, с. 22].

[24] «Повелитель правоверных». В тексте ‘Абд ал-Гафур приводит долгие эпитеты (на 4 строки), характерные для обозначения мусульманских правителей, перед тем как назвать имя эмира. Переход к легитимации через Ислам посредством титула эмира у правителей Бухары из династии мангытов можно проследить, начиная с Шахмурада (1785–1800). В 1800 г. его сын Амир Хайдар короновал себя именно «повелителем правоверных» [фон Кюгельген, 2004, с. 24]. Подробнее см.: [фон Кюгельген, 2004].

вместе с ним, продает все свое имущество (чалму и одежду) и покупает дервишескую[25] одежду и осла [Туркистани, 1854, л. 117а–117б]. По пути умирают оба осла, которых он купил [Туркистани, 1854, л. 120б–121а]. Видимо, у него не остается денег, так как путь из Герата в Тебриз он преодолевает пешком [Туркистани, 1854, л. 122а]. В конце сочинения автор сообщает, что по божественному предопределению ему пришлось остаться в Тебризе[26], и этим сочинение заканчивается, начинается *хатима* (заключение) и приводится колофон. Таким образом, нет никаких сведений о том, что ʿАбд ал-Гафур добрался до Хиджаза, и даты попытки совершить хадж стоит относить к 1852–1854 гг.

Стоит добавить, что Дж. Пикетт тоже указывает, что автор – подросток (teenager), а его мемуары представляют собой «своеобразную смесь юмористических историй и духовных размышлений, пронизанных разговорным диалектом» [Pickett, 2020, p. 15]. В целом, как мы видим, замечания американского исследователя вполне оправданы. Однако в своей более ранней работе – статье 2016 г. – Дж. Пикетт обращается к сочинению ʿАбд ал-Гафура в контексте антишиитских настроений в Центральной Азии и в качестве примера приводит события из первой главы сочинения, которые вынесены самим автором в её заглавие. При этом указанное событие он относит к 1830-м гг., что, в свою очередь, не согласуется ни с нашими датировками, ни с ранее предложенными [Pickett, 2016, p. 508]. Был ли он знаком с каталогом Г.И. Костыговой и статьей Б.М. Бабаджанова и А.К. Муминова при работе с рукописью, сказать не можем, но в характеристике рукописи он их не упоминает.

КОДИКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Перейдем к кодикологическому анализу рукописи, чтобы привести косвенные аргументы для подтверждения нашего предположения. Мы считаем, что рукопись, хранящаяся в ОР РНБ, представляет собой автограф в единственном экземпляре; списки данного сочинения не выявлены. Текст не подвергался редакторской обработке, черновик отсутствует: автор писал сразу в чистовик, то есть непосредственно в настоящую рукопись. В тексте зафиксированы орфографические ошибки, описки, небрежности, зачеркивания, а также дополнительные вставки, выполненные вне основной текстовой рамки. Подобные ошибки и исправления встречаются достаточно часто. Признаков редакторской правки не обнаружено. До л. 21а текст заключен в рамку, выполненную красными и черными чернилами; на л. 21б–22б рамка прочерчена исключительно черными чернилами. Начиная с последующих листов, рамка отсутствует.

Объем книги 123 листа, текст написан каллиграфическим почерком наста᾽лик. Переплёт рукописи традиционный каджарский – лаковый с росписью. Использована фабричная европейская (или русская (из-за отсутствия водяных знаков трудно установить происхождение бумаги)) лощеная бумага небесного цвета. В начале и в конце книги размещены переплетные листы из плотной желтоватой бумаги со штемпелем. На первом из них изображён портрет автора, держащего в руках бумагу. Внизу подписано: «Мулла ʿАбд ал-Гафур Туркистани ибн ʿАбд ал-Каййум Шахрисабзи». Портрет выполнен акварелью в европейской манере, что отметили исследователи. Единственное расхождение между ними –

[25] В тексте дервишеский (в других местах обозначает термином *каландари*) не указывается, но автор ведет себя как дервиш на пути в святые места. Сравнивает себя с популярным ранним суфийским подвижником Ибрахимом б. Адхамом (ум. 777).

[26] «*Ба панздах руз дахил-и Табриз шуданд аз када-йи илахи дар Табриз ʿАбд ал-Гафур манд хамма-йи хаджийан гузашта рафтанд ин камина(-йи) хамин саргузашт-ра дид*» (За пятнадцать дней [они] вошли в Тебриз; по божественному предопределению ʿАбд ал-Гафур остался в Тебризе; все [прочие] паломники ушли; этот ничтожнейший стал свидетелем таких событий) [Туркистани, 1854, л. 122а].

в исполнителе портрета; в отличие от Г.И. Костыговой [Костыгова, 1988, с. 51] исследователи полагают, что это автопортрет, «свидетельствующий о незаурядном таланте автора как живописца» [Бабаджанов, Муминов, 2002, с. 8–9]. Мы же в этом вопросе придерживаемся мнения Г.И. Костыговой, учитывая то обстоятельство, что в обозначенный период заказать подобный портрет на базарах в Иране было вполне обычным делом[27].

Штемпель на первых двух листах желтоватого цвета Фабрики Маршева – типа Клепиков 1968, № 93 (1854 г.) [Клепиков, 1966, с. 128][28]. Немаловажно отметить, что лакированный переплет, выполненный в традиционном каджарском стиле, приклеен неправильно, что, в свою очередь, отразилось на расположении штемпеля.

Эти и вышеприведенные другие обстоятельства исключают гипотезу, выдвинутую в статье Б.М. Бабаджанова и А.К. Муминова, что автор написал сочинение в промежутке между 1835–1842 гг., и что Н.В. Ханыков[29] (1819–1878) приобрел рукопись в 1842 г. в Бухаре. Напротив, можно предположить, что Н.В. Ханыков встречался с ʿАбд ал-Гафуром Туркистани в Тебризе, куда был назначен управляющим генеральным консульством в 1853 г. Вероятно, он же и дал Туркистани бумагу, учитывая ее происхождение и качество, и предложил написать данное сочинение[30], но никаких свидетельств об этом в самой рукописи нет[31]. Можно предположить, что Н.В. Ханыковым двигал такой же научный интерес, как и В.В. Григорьевым, и он попросил изложить ʿАбд ал-Гафура Туркистани свои приключения в мемуарах [Григорьев, 1861, с. IV].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный источниковедческий анализ опровергает прежнюю атрибуцию рукописи. Данные текста и колофона свидетельствуют в пользу альтернативной версии ее происхождения и попадания в собрание Н.В. Ханыкова, что позволяет впервые корректно ввести этот источник в научный оборот, учитывая исторический контекст его появления. Это, в свою очередь, представляет благоприятную почву для его дальнейшего изучения, а также возможной публикации в будущем.

Кодикологический, палеографический и текстологический анализы источника указывают на то, что автор написал сочинение в шестнадцатилетнем возрасте в 1271 г.х. / 1854 г. в городе Тебриз. Это обстоятельство опровергает ранее выдвинутую гипотезу о происхождении и атрибуции рукописи, и позволяет нам выдвинуть предположение, что рукопись попала в руки Н.В. Ханыкова во время его пребывания в Тебризе в качестве генерального консула с 1853 по 1857 гг. Кроме того, русская (европейская) бумага, переплет в каджарском стиле, а также сведения, представляющие большой интерес для такого ориенталиста как

---

[27] Также не исключаем возможность того, что автором портрета может быть один из художников, с которыми сотрудничал Н.В. Ханыков во время своего пребывания на Кавказе. Подробнее см.: [Крачковская, 1948].

[28] Выражаю благодарность Е.С. Дилигул и Д.О. Мартыновой за консультацию и помощь в данном вопросе.

[29] Подробнее о биографии Н.В. Ханыкова см.: [Халфин, Рассадина, 1977].

[30] Интерес Н.В. Ханыкова к подобного рода работам можно видеть в ряде собранных им коротких сочинениях: «Хождение в Кербелу и Неджеф…» [Ханыков, 1864] и «Самарканд: (Рассказ очевидца)» [Ханыков, 1868]. Первое сочинение написано неизвестным автором татарином-шиитом в 1852 г. в Тебризе о его паломничестве в святые шиитские места и было представлено в (Императорское) Археологическое общество в переводе И. Кайтмазова членом корреспондентом Н.В. Ханыковым. Второе сочинение является мемуарами самого Н.В. Ханыкова, написанными в Париже 5 (17) июня 1868 г., где он находился в командировке с 1860 г. Здесь можно отметить и его работу «Описание Бухарского Ханства» [Ханыков, 1843] и «Городское управление в Средней Азии» [Ханыков, 1844].

[31] Никаких свидетельств со стороны Н.В. Ханыкова в доступных архивных данных и работах обнаружить не удалось.

Н.В. Ханыков, позволяют предположить, что именно он попросил автора написать мемуары (автобиографию с элементами путевых заметок) и предоставил для этого все необходимые принадлежности.

СОКРАЩЕНИЯ / ABBREVIATIONS

ОР РНБ – Отдел рукописей Российской национальной библиотеки, Санкт-Петербург, Россия [*OR RNB* – Manuscript Department of the National Library of Russia, Saint Petersburg, Russia].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

Бабаджанов Б.М. Гул-и сурх. *Исламология: Ислам на Территории бывшей Российской Империи. Энциклопедический Словарь*. М.: Восточная литература, 2006 [Babadzhanov B.M. Gul-i Surkh. *Islamology: Islam in the Territory of the Former Russian Empire. Encyclopaedic Dictionary.* Moscow: Vostochnaya literatura, 2006 (in Russian)]. https://islamology.ru/content/гул-и-сурх/ (accessed: 04.04.2025).

Бабаджанов Б.М. *Кокандское ханство: власть, политика, религия*. Ташкент, Токио: Yangi nashr, 2010 [Babadjanov B.M. *The Kokand Khanate: Power, Politics, Religion*. Tashkent, Tokyo: Yangi nashr, 2010 (in Russian)].

Бабаджанов Б.М., Муминов А.К. Абд ал-Гафур Туркестани и его рассказы о странствиях. *Известия Министерства образования и науки Республики Казахстан, Национальной академии наук Республики Казахстан. Серия общественных наук*. 2002. № 4 (239). С. 7–14 [Babadjanov B.M., Muminov A.K. Abd al-Ghafur Turkestani and his tales of travels. *News of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan, National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. Social Sciences Series*. 2002. No. 4 (239). Pp. 7–14 (in Russian)].

Бейсембиев Т.К. *Кокандская историография: Исследование по источниковедению Средней Азии XVIII–XIX веков*. Алматы: Print-S, 2009 [Beisembiev T.K. *Kokand Historiography: A Study of Sources from Central Asia in the 18th–19th Centuries*. Almaty: Print-S, 2009 (in Russian)].

Бимендиев А.Ш., Кожа М.Б., Ускенбай К.З. Малоизвестный план города Туркестана 1854 года из архива Русского географического общества. *Былые годы*. 2022. Т. 17. № 1. С. 225–236 [Bimendiev A. Sh., Kozha M.B., Uskenbay K.Z. A Little-Known Plan of the City of Turkestan in 1854 from the Archive of the Russian Geographical Society. *Bylye Gody (= Bygone Years)*. 2022. Vol. 17. No. 1. Pp. 225–236 (in Russian)].

Григорьев В.В. *О некоторых событиях в Бухаре, Хоканде и Кашгаре. Записки Мирзы-Шемса Бухари*. Казань: Университетская типография, 1861 [Grigoriev V.V. *On Certain Events in Bukhara, Khokand, and Kashgar. Notes by Mirza-Shems Bukhari*. Kazan: Universitetskaya tipografiya, 1861 (Russian translation)].

Керимова А.А. *Говор таджиков Бухары*. М.: Издательство восточной литературы, 1959 [Kerimova A.A. *The Dialect of the Tajiks of Bukhara*. Moscow: Izdatelstvo vostochnoy literatury, 1959 (in Russian)].

Клепиков С.А. *Штемпели на бумаге русского и иностранного производства XIX–XX вв. (Дополнение к таблице)*. Археографический ежегодник за 1966 г. М.: Наука, 1968. С. 116–142. [Klepikov S.A. *Stamps on Paper of Russian and Foreign Origin from the 19th and 20th Centuries (Supplement to the Table)*. Archeographic Yearbook for 1966. Moscow: Nauka, 1968. Pp. 116–142. (in Russian)].

Костыгова Г.И. *Персидские и таджикские рукописи Государственной публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. Алфавитный каталог.* Вып. 1. Л.: Государственная Публичная библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, Редакционно-издательский отдел, 1988 [Kostygova G.I. *Persian and Tajik manuscripts of the M.E. Saltykov-Shchedrin State Public Library. Alphabetical catalogue.* Vol. 1. Leningrad: Gosudarstvennaya publichnaya biblioteka im. M.E. Saltykova-Schedrina, Redaktsionno-izdatelsky otdel, 1988 (in Russian)].

Крачковская В.А. Неизвестный альбом по арабской и персидской эпиграфике. *Эпиграфика Востока*. 1948. Вып. II. С. 19–40 [Krachkovskaya V.A. Unknown album on Arabic and Persian epigraphy. *Epigraphika Vostoka (= Epigraphy of the East)*. 1948. Vol. II. Pp. 19–40 (in Russian)].

Туркистани, ʿАбд ал-Гафур ибн ʿАбд ал-Каййум Шахрисабзи. *Байан-и дастан-и саргузашт-и ʿАбд ал-Гафур Туркистани*. 1854. ОР РНБ, Ф. №947 собрания восточных рукописей Н.В. Ханыкова, ед. хр. № 53 [Turkistānī, ʿAbd al-Ghafūr ibn ʿAbd al-Qayyum Shahrisabzī. *Bayān-i dāstān-i sarguzasht-i ʿAbd al-Ghafūr Turkistānī*. 1854. OR RNB, Collection No. 947, Collection of Oriental Manuscripts of N.V. Khanykov, Khanykov 53 (in Persian)].

фон Кюгельген А. *Легитимация среднеазиатской династии мангитов в произведениях их историков (XVIII–XIX вв.).* Алматы: Дайк-Пресс, 2004 [von Kügelgen A. *Legitimation of the Central Asian Manghit Dynasty in the Works of Their Historians (18th–19th Centuries).* Almaty: Daik-Press, 2004 (in Russian)].

Халфин Н.А., Рассадина Е.Ф. *Н.В. Ханыков – востоковед и дипломат*. М.: Наука, 1977 [Khalfin N.A., Rassadina E.F. *N.V. Khanykov: Orientalist and Diplomat*. Moscow: Nauka, 1977 (in Russian)].

Ханыков Н.В. *Описание Бухарского Ханства*. СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1843 [Khanykov N.V. *Description of the Bukharan Khanate*. Saint Petersburg: Tip. Imp. Akad. nauk, 1843 (in Russian)].

Ханыков Н.В. *Городское управление в Средней Азии.* СПб.: Журнал Министерства внутренних дел, 1844 [Khanykov N.V. *Urban Administration in Central Asia*. Saint Petersburg: Zhurnal Ministerstva vnutrennikh del, 1844 (in Russian)].

Ханыков Н.В. *Хождение в Кербелу и Неджеф: Путевые заметки магометанского богомольца из Тавриза*. СПб.: Труды Восточного отделения Императорского Археологического общества, 1864 [Khanykov N.V. *Pilgrimage to Kerbela and Nejef: Travel notes of a Muslim pilgrim from Tabriz.* Saint Petersburg: Trudy Vostochnogo otdeleniya Imperatorskogo Arkheologicheskogo obschestva, 1864 (in Russian)].

Ханыков Н.В. *Самарканд: (Рассказ очевидца)*. СПб.: Воен. тип., 1868 [Khanykov N.V. *Samarkand: (An eyewitness account).* Saint Petersburg: Voen. tip., 1868 (in Russian)].

Ханыков Н.В. *Экспедиция в Хорасан.* М.: Наука, 1973 [Khanykov N.V. *Expedition to Khorasan*. Moscow: Nauka, 1973 (in Russian)].

ʿAshiq Mohammad Akbar (ed.). Mirza Shams Boxarayi. *Tarix-e Boxara, Xuqand va Kashgar*. Tehran: Ayene-ye Miras, 1998 (in Persian).

Dorn B. *Die Sammlung von morgenländische Handschriften welche die Kaiserliche öffentliche Bibliothek zu St. Petersburg im Jahre 1864 von Hrn. v. Chanykov erworben hat.* Saint Petersburg: Buchdruckerei der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 1865.

Kavrein V., Babadzhanov B.M. *Patterns of Registan. Samarkand*. Tashkent: Baktria Press, 2024 (in English and Russian).

Pickett J. Nadir Shah's Peculiar Central Asian Legacy: Empire, Conversion Narratives, and the Rise of New Scholarly Dynasties. *International Journal of Middle East Studies*. 2016. Vol. 48(3). Pp. 491–510.

Pickett J. *Polymaths of Islam: Power and Networks of Knowledge in Central Asia.* Cambridge: Cambridge University Press, 2020.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ / INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

ЧОРИЕВ Шахзод Холтура угли – студент магистратуры Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербург, Россия.

Shakhzod Kh. CHORIEV, Master's Student, Faculty of Asian and African Studies, Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia.

Иллюстрация к статье Т.А. Аникеевой А, И.А. Чмилевской

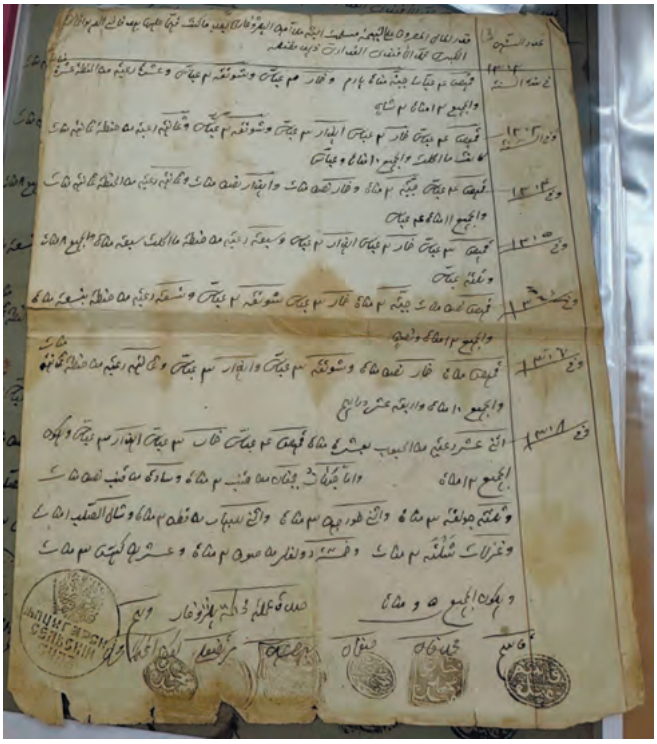


Рис. 1. Документ № 3 из собрания М.-Г.М. Садыки. Перечень имущества, полученного сиротой Муслимат, дочерью Муллы Амина ал-Ялцугари

Иллюстрация к статье Ш.Х. Чориева

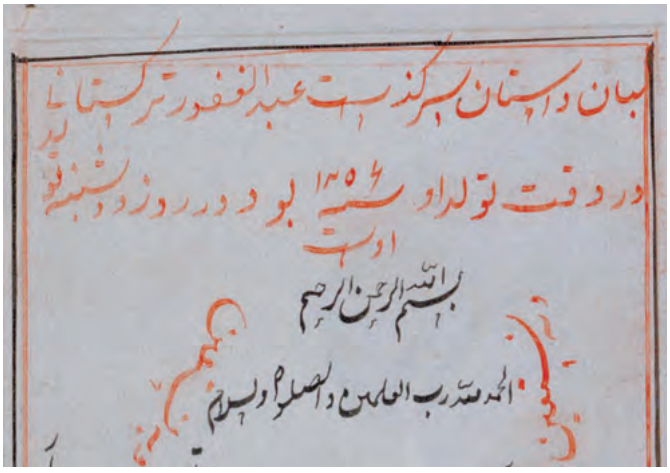


Рис. 1. Рукопись Ханыков 53 [*ОР РНБ*, ф. 947, л. 2б., ʿунван]
Fig. 1. Manuscript Khanykov 53 [*OR RNB*, h. 947, f. 2б., ʿunvan]

Р Е Ц Е Н З И Я

DOI: 10.31696/S086919080039579-3

ШАРОНОВ А.М. *МАСТОРАВА*: 5-е ИЗДАНИЕ, ИСПРАВЛЕННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ. НАУЧ. РЕД. В.В. НАУМКИН. САРАНСК: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ «НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА», 2022. 512 с. ISBN: 978-5-7103-4300-5

Для цитирования: Загребин А.Е., Устьянцев Г.Ю. [Рец. на:] Шаронов А.М. *Масторава*: 5-е издание, исправленное и дополненное. Науч. ред. В.В. Наумкин. Саранск: Научный центр социально-экономического мониторинга, 2022. 512 с. ISBN: 978-5-7103-4300-5. *Восток (Oriens).* 2026. № 5. С. 292–296. DOI: 10.31696/S086919080039579-3

For citation: Zagrebin A.E., Ustyantsev G.Yu. [Review of:] Sharonov A.M. *Mastorava*: 5th edition, revised and expanded. Ed. by V.V. Naumkin. Saransk: Scientific Center for Socio-Economic Monitoring, 2022. 512 p. ISBN: 978-5-7103-4300-5. *Vostok (Oriens).* 2026. No. 5. Pp. 292–296. DOI: 10.31696/S086919080039579-3

© 2026

А.Е. ЗАГРЕБИН [a], Г.Ю. УСТЬЯНЦЕВ [b]

[a] – Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, Москва, Россия
ORCID: 0000-0001-9381-9581; zagreb72@izh.com

[b] – Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, Москва, Россия; МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
ORCID: 0000-0003-0655-3127; ustyan-93@mail.ru

Предпосылки к созданию национального мордовского эпоса появились ещё в 1950–1960-е гг., в период послевоенного переосмысления, а по сути «переоткрытия», этнокультурного наследия народов России [Шаронова, 2022, с. 488]. Уже тогда историки, филологи и этнографы обратили внимание на эпические памятники, а многие исследователи видели в легендах и преданиях не только художественную ценность, но и потенциал историко-этнографического источника. Разрозненные мордовские мифологические тексты получили воплощение в виде законченного и структурированного произведения только в 1990-е гг., когда в культурной жизни мордвы появилось новое явление – книжный эпос «Масторава».

Автор «Масторавы» – мордовский поэт, филолог и исследователь мифологии А.М. Шаронов. Делом жизни ученого стало написание единого стройного эпоса мордовского народа, который бы прославил народное творчество мордвы. А.М. Шаронов также известен как автор научных трудов о мифологии, например, «Мордовский героический эпос. Сюжеты и герои» [Шаронов, 2001]. В основу «Масторавы» положен преимущественно эрзянский фольклор, а также мокшанский и русский. А.М. Шаронов опирался на более

ранние фольклорные записи Х. Паасонена, М.Е. Евсевьева, П.И. Мельников-Печерского, А.А. Шахматова, Л.С. Кавтаськина, К.Т. Самородова, А.И. Маскаева, В.К. Радаева и собственные изыскания [Кудрявцева, Кузнецова, 2020, с. 482].

Символично название литературного эпоса – «Масторава», что означает имя богини земли (эрз. *мастор* – земля; *ава* – мать, женщина, богиня). В тексте А.М. Шаронова отражены мифологические представления мордовского народа об истории родного края и традициях предков. Время создания «Масторавы» – 1990-е гг. – это эпоха роста этнических идентичностей, интереса к локальной самобытности, к историческим корням. В связи с глобальными идеологическими трансформациями в обществе вновь проявился запрос на развитие национальных языков и литератур, а также сохранение фольклорного наследия. Выход в свет книжного мордовского эпоса ознаменовал собой не только общественную заинтересованность в народной мифологии, но и продемонстрировал потенциал развития фольклорного творчества. С течением времени «Масторава» стала не просто литературным памятником, но и символом «новой» мордовской культуры, узнаваемым фольклорным брендом. Впервые эпос был опубликован на эрзянском языке в 1994 г., затем на мокшанском в 2001 г., на русском в 2003 г., на венгерском и финском в 2010 и 2015 гг. соответственно [Шаронова, 2022, с. 469–470]. «Масторава» получила признание на официальном уровне: литературный памятник был отмечен Государственной премией Республики Мордовия, а также Первой литературной премией общества М.А. Кастрена [Дёмин, 2017, с. 22]. За прошедшие десятилетия труд А.М. Шаронова, который раскрыл образность и эстетику мордовской мифологии, узнали в регионах России и мира. Справедливо «Мастораву» сравнивают с другими книжными эпосами финно-угорских народов: карело-финским «Калевала» Э. Лённрота, эстонским «Калевипоэг» Ф.Р. Крейцвальда, коми эпической поэмой «Биармия» К.Ф. Жакова, удмуртским «Дорвыжы» М.Г. Худякова. В 1990-е гг. в свет выходит марийский эпос «Югорно», написанный изначально на русском языке А.Я. Спиридоновым. В общественном восприятии эти литературные памятники часто фигурируют как подлинно народные произведения. Это говорит о таланте авторов-собирателей, их умении отражать коллективную память и традиции языком мифа.

Структура «Масторавы» представляет собой историко-мифологический нарратив из пяти частей и двадцати одного сказания, в котором события разворачиваются от «времен творения» до средневековых героических преданий. За время своего существования текст эпоса претерпел ряд изменений: так, ранее он включал восемнадцать сказаний [Арзамазов, 2022, с. 558]. Эпическое повествование разворачивается на двух уровнях: *мифологическом* (сюжеты о создании мира и людей) и *героическом* (сюжеты о деяниях князей и богатырей) [Кудрявцева, Кухнецова, 2020, с. 482]. Первая часть под названием «Век богов» посвящена мордовской космогонии, созданию мира и деяниям верховного бога Инешкипаза. В этой части компилируются этиологические и антропогонические сюжеты, рассказывается о «начале времен». Центральным образом этого текста является Мировое древо – ось, которая соединяет небо и землю. Главная же идея этого раздела – созидание мира и человека: «Основной мотив “Масторавы” – мотив рождения и творения Жизни» [Шаронова, Ингл, 2022, с. 489]. Во второй части под названием «Древний век» происходит переход от «мифологической поэзии к эпико-исторической» [Наумкин, Шаронова, 2022, с. 8]. В эту часть включены сказания «Сураля», «Кудадей», «Тёкшонь». Герои этих текстов – не божества, а люди-культуртрегеры. Они создают эрзянский социум, общественный порядок и организуют власть. В третьей части «Век Тюштяна» центральным персонажем является мордовский герой Тюштян. Текст последовательно описывает жизнь легендарного правителя от избрания его князем до смерти. В данный раздел «Масторавы» входит восемь сюжетов: приход к власти Тюштяна, битва героя со змеями, свадьба Тюштяна, путеше-

ствие его по эрзянской земле, основание города, противостояние Тюштяна и хана Сарды, смерть Тюштяна, правление его наследника Инязора. В мордовском эпосе правление Тюштяна предстает классическим «золотым веком», периодом могущества мордовского народа, процветания его земли. Образ героя в эпосе последовательно развивается, проходя через три стадии. На первом этапе Тюштян – это божество, затем, на эпической стадии, он становится полубогом и, наконец, предстает как человек, земной правитель (*инязор*) [Кудрявцева, Кузнецова, 2020, с. 484]. Некоторые авторы сравнивают легендарного героя мордвы с князем Рюриком, указывая на роль обоих правителей в централизации власти среди разрозненных племенных групп [Шаронов, Шаронова, 2018, с. 51–53]. Четвертая часть «Век ворогов» носит более исторический характер: в ней появляется реальный противник мордвы – монгольские завоеватели. Примечательно, что основными действующими лицами здесь выступают женщины-богатырки Килява, Нарчатка, Кастуша. Особое распространение получило повествование о борьбе с захватчиками и трагической смерти княгини Нарчатки. Она стала героем художественных произведений и музыкального спектакля. Образы, которые описывает А.М. Шаронов, соответствуют духу мордовской мифологии, в которой женские персонажи играют ключевую роль. В мордовском пантеоне широко представлены именно женские божества, милостивые, справедливые и сильные [Мокшин, 1998, с. 134–135]. Более поздний исторический период описан в последней, пятой части «Масторавы» «Новый век». В этом тексте рассказывается о присоединении эрзянских земель к Российскому государству. Интересно сказание о Саманьке, мордовской девушке, которая делает подкоп под стенами Казани и взрывает их с помощью пороховых бочек, тем самым помогая русским войскам взять неприступную крепость (для сравнения, в горномарийском фольклоре эти действия соотносят с образом князя Акпарса). Историчность этой части эпоса придает реальная фигура – русский царь Иван Грозный. Таким образом, повествование в «Масторавe» строится от абстрактных времен первотворения до исторических сказаний, основанных на событиях средневековой истории. Эта логика изложения соответствует и эволюции мифа в целом, от более архаичных форм к классическому эпосу [Мелетинский, 2001, с. 55–61]. Временные рамки и события в тексте являются условными, в то время как эпическая география носит реальные черты: это территории расселения мордвы, бассейны рек Ра, Мокша, Сура, Клязьма и Ока [Федосеева, 2007, с. 16].

В завершении эпоса А.М. Шаронов задумывается о судьбе мордовского народа. Автор с надеждой смотрит в будущее, предвещая мордовскому народу новую жизнь.

Создание книжного варианта эпоса является дискуссионной темой в этнологии и филологии. Исследователи закономерно задаются вопросом: насколько правомерно написание национального «фольклора» автором? Где проходят границы дозволенного влияния собирателя на устное народное творчество? «Масторава», по мнению многочисленных рецензентов, занимает промежуточное место между художественным произведением и фольклором. Безусловно, это художественная интерпретация мифов, легенд и исторических преданий мордвы, однако авторское влияние не является здесь недостатком «Масторавы». А.М. Шаронов смог создать стройный структурированный текст, рассказать о культурном наследии своего народа доступным языком, отражающим красоту мордовской словесности. Наконец, основная значимость книжного эпоса заключается в широких возможностях для популяризации традиций. «Масторава» становится частью культурного наследия мордвы, которое представляет особый интерес как феномен развития современной мордовской культуры.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

Арзамазов А.А. Художник, создавший эпос. Отзыв на эпос «Масторава» А.М. Шаронова. Шаронов А.М. *Масторава*. Науч. ред. В.В. Наумкин. Саранск: Государственное казенное учреждение Республики Мордовия «Научный центр социально-экономического мониторинга», 2022. С. 557–559 [Arzamazov A.A. The artist who created the epic. Review of the epic “Mastorava” by A.M. Sharonov. Sharonov A.M. *Mastorava*. Ed. by V.V. Naumkin. Saransk: State Public Institution of the Republic of Mordovia “Scientific Center for Socio-Economic Monitoring”, 2020. Pp. 557–559 (in Russian)].

Дёмин В.И. Историзм творчества современных эрзянских писателей. *Вестник угроведения*. 2017. № 3 (30). С. 20–27 [Dyomin V.I. The Historicism of the Creativity of Modern Erzya Writers. *Bulletin of Ugrology*. 2017. No. 3 (30). Pp. 20–27 (in Russian)].

Кудрявцева Р.А., Кузнецова М.Н. Мордовский эпос «Масторава» А. Шаронова (к вопросу о типологических признаках книжной формы эпоса финно-угорских народов). *Вестник угроведения*. 2020. Т. 10. № 3. С. 479–488 [Kudryavtseva R.A., Kuznetsova M.N. The Mordovian epic “Mastorava” by A. Sharonov (on the issue of typological features of the book form of the epic of the Finno-Ugric peoples). *Bulletin of Ugrology*. 2020. Vol. 10. No. 3. Pp. 479–488 (in Russian)].

Мелетинский Е.М. *От мифа к литературе*. М.: Издательский центр Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), 2001 [Meletinsky E.M. *From myth to literature*. Moscow: Publishing Center of the Russian State University for the Humanities (RGGU), 2001 (in Russian)].

Мокшин Н.Ф. *Религиозные верования мордвы*. Саранск: Мордовское книжное издательство, 1998 [Mokshin N.F. *Religious beliefs of the Mordvins*. Saransk: Mordovian Book Publishing House, 1998 (in Russian)].

Наумкин В.В., Шаронова Е.А. «Масторава» – космос и социум. Шаронов А.М. *Масторава*. Науч. ред. В.В. Наумкин. Саранск: Государственное казенное учреждение Республики Мордовия «Научный центр социально-экономического мониторинга», 2022. С. 3–15 [Naumkin V.V., Sharonova E.A. “Mastorava” – space and society. Sharonov A.M. *Mastorava*. Ed. by V.V. Naumkin. Saransk: State Public Institution of the Republic of Mordovia “Scientific Center for Socio-Economic Monitoring”, 2022. Pp. 3–15 (in Russian)].

Федосеева Е.А. Формирование книжной формы мордовского героического эпоса. *Финно-угроведение*. 2007. № 2. С. 3–20 [Fedoseeva E.A. The formation of the book form of the Mordovian heroic epic. *Finno-Ugrian studies*. 2007. No. 2. Pp. 3–20 (in Russian)].

Шаронов А.М. *Мордовский героический эпос: сюжеты и герои*. Саранск: Издательство Мордовского университета, 2001 [Sharonov A.M. *The Mordovian heroic Epic: plots and heroes*. Saransk: Mordovian University Press, 2001 (in Russian)].

Шаронов А.М., Шаронова Е.А. О некоторых особенностях эрзянского героического эпоса. *Ежегодник финно-угорских исследований*. 2018. Т. 12. Вып. 3. С. 47–60 [Sharonov A.M., Sharonova E.A. On Some Features of the Erzya Heroic Epos. *Yearbook of Finno-Ugric Studies*. 2018. Vol. 12. Issue 3. Pp. 47–60 (in Russian)].

Шаронова Е.А. «Масторава» – книжная форма эрзянского героического эпоса. Шаронов А.М. *Масторава*. Науч. ред. В.В. Наумкин. Саранск: Государственное казенное учреждение Республики Мордовия «Научный центр социально-экономического мониторинга», 2022. С. 469–481 [Sharonova E.A. “Mastorava” – book form of Erzyan heroic epic. Sharonov A.M. *Mastorava*. Ed. by V.V. Naumkin. Saransk: State Public Institution of the Republic of Mordovia “Scientific Center for Socio-Economic Monitoring”, 2022. Pp. 469–481(in Russian)].

Шаронова Е.А., Ингл О.П. Образ Жизни в эпосе «Масторава» А.М. Шаронова. *Финно-угорский мир*. 2022. Т. 14. № 4. С. 486–494 [Sharonova E.A., Ingl O.P. Lifestyle in the Epic “Mastorava” by A.M. Sharonov. *Finno-Ugric World*. 2022. Vol. 14. No. 4. Pp. 486–494 (in Russian)].

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ / INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

ЗАГРЕБИН Алексей Егорович – д.и.н., профессор, директор Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук, Москва, Россия.

Alexey E. ZAGREBIN, Professor, DSc (History), Director of the Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia.

УСТЬЯНЦЕВ Герман Юрьевич – к.и.н., старший научный сотрудник Отдела Урала и Поволжья Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук; старший преподаватель исторического факультета Московского государственного Университета им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия.

German Yu. USTYANTSEV, PhD (History), Senior Researcher at the Department of the Urals and Volga Region, Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences; Senior Lecturer at the Faculty of History, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia.

Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность
научный журнал Российской академии наук
(свидетельство о СМИ № 0110166 от 18.01.1994 г.)

Подписано к печати 19.10.2026 Формат 70×100/16 Усл. печ. л. 21,25
Тираж 250 экз. Зак. № 1003 Цена свободная

Учредители: Российская академия наук,
Институт востоковедения РАН, Институт Африки РАН
Издатель: Институт востоковедения РАН
20 экз. распространяется бесплатно
Исполнитель: ИП Сеньковский Н.А.
115407, Москва, Нагатинская наб., д. 54, пом. 4
Отпечатано: ИП Сеньковский Н.А.

Восток (Oriens)

Vostok (Oriens)

№ 5 · 2026

Учредитель: Институт востоковедения РАН
Дата выхода в свет: 21.10.2026
ISSN 0869-1908 (Print)
ISSN 2713-0401 (Online)
vostokoriens.is.ivran.ru

Выпуск на сайте